6Б
21
1

Н. П. Гиляровъ-Платоновъ.

СБОРНИКЪ СОЧИНЕНІЙ.

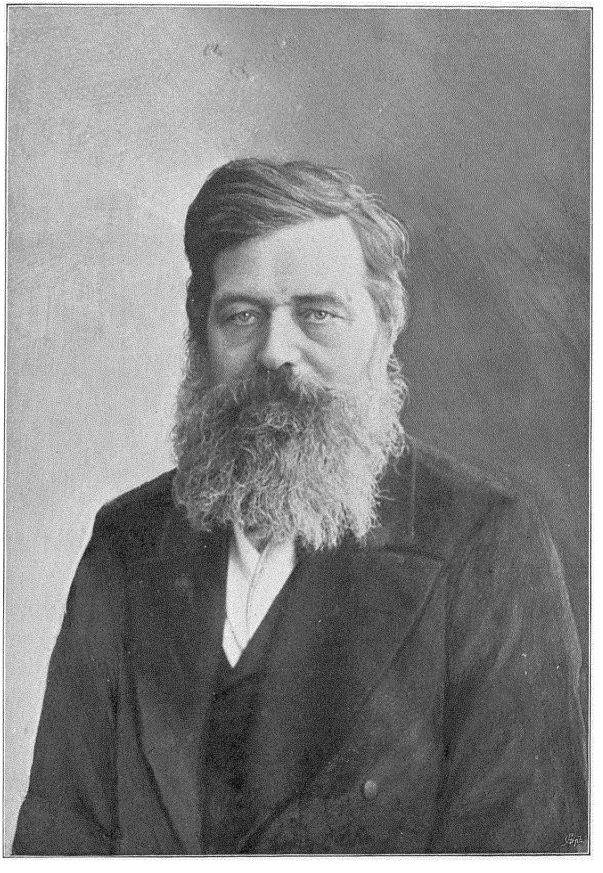
Томъ II.

Изданіе К. П. Побѣдоносцева.



МОСКВА.
Синодальная Типографія.
1899.

43461



ЛИЧНОЕ и ОБЩЕСТВЕННОЕ.*)

(По поводу статьи г. Дубенскаго: „Свобода и Рабство“ Ж. 33. № 22.)

Отдавая справедливость многимъ частнымъ сужденіямъ, высказаннымъ въ статьѣ г-на Дубенскаго, мы не можемъ согласиться съ нѣкоторыми наиболѣе существенными ея мѣстами, именно съ тѣми, гдѣ авторъ излагаетъ относительное значеніе личныхъ и общественныхъ интересовъ. Объ этомъ несогласіи нашемъ—нѣсколько словъ.

Авторъ находитъ отсталымъ и даже не христіанскимъ взглядъ, что люди должны быть разсматриваемы, какъ „члены общества, человѣчества или даже вселенной“. По его мнѣнію, такого рода правила, какъ: „для блага общества нужно жертвовать личными интересами“, или: „въ обществѣ каждый долженъ думать обо всѣхъ и всѣ о каждомъ“,—проповѣдуютъ нравственный коммунизмъ, устанавливаютъ неразумныя отношенія. Мы держимся совершенно обратнаго мнѣнія. По нашему мнѣнію, че-

*) Напечатано въ «Журналѣ Землевладѣльцевъ» 1859 г. № 24, стр. 411—438. На экземплярѣ этой статьи, подаренномъ Никитой Петровичемъ И. Ѳ. Романову, рукою автора написаны слѣдующія строки: „Къ нижеписаннымъ основнымъ началамъ я часто возвращался и въ газетѣ. Они—зерно моего этическаго и соціальнаго воззрѣнія. А мой взглядъ на исторію отчасти изложенъ въ статьѣ моей „О механическомъ способѣ изслѣдованія исторіи,“ помѣщенной за какой-то годъ въ *Русской Бесѣдѣ*. Для васъ лично не безынтересно будетъ знать, что статья *О механическомъ способѣ* etc. въ свое время привела въ восхищеніе Хомякова.“

ловѣкъ просвѣщенный, и притомъ христіански просвѣщенный, долженъ сознавать себя именно не иначе, какъ „членомъ общества, человѣчества, иль даже вселенной“, и что правила, осуждаемыя авторомъ, вовсе не составляютъ нравственнаго коммунизма,—употребляя это слово въ смыслѣ чего нибудь неразумнаго, но напротивъ суть истинныя человѣческія обязанности.

Авторъ предчувствовалъ самъ, что взглядъ его встрѣтитъ возраженія. Онъ спѣшитъ предупредить читателей, что, защищая уваженіе къ человѣческой личности, онъ безконечно далекъ отъ противоположной крайности—требовать пожертвованія всѣмъ для личности, что взглядъ его вовсе не есть эгоизмъ, а только—индивидуализмъ. Но да проститъ намъ авторъ,—всѣ доводы, представленные имъ въ этомъ смыслѣ, доказываютъ, по нашему мнѣнію, совершенно противное тому, что онъ хочетъ сказать, и подтверждаютъ напротивъ, что его теорія есть именно эгоизмъ, только переименованный въ другое названіе.

Начнемъ съ того, что чистый эгоизмъ, въ томъ крайнемъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ его авторъ, есть совершенная немыслимость. Отдѣльное лицо, въ пылу горячечнаго воображенія, можетъ, конечно, пожелать иногда, чтобъ „всѣмъ было жертвуемо для его личности“: но отъ бреда болѣзненно развитой фантазіи до практическаго ея осуществленія, а тѣмъ болѣе—до осуществленія всеобщаго, до возведенія ея въ принципъ всечеловѣческихъ отношеній—безконечно далеко. Сказанное отдѣльное лицо, NN, можетъ найти, пожалуй, нѣсколько простаковъ, которые согласятся для его личности пожертвовать собою; но большинство человѣчества, и притомъ къ большинству его личныхъ интересовъ, отнесется совсѣмъ иначе. Причина простая. Если NN имѣетъ свои личные интересы, то и всѣ прочіе имѣютъ то же; и если NN хочетъ, чтобы для его личныхъ интересовъ жертвовали собою прочіе, то всѣ прочіе находятъ, напротивъ, свой личный интересъ въ томъ, чтобы не жертвовать собою ни для кого. Итакъ, безконечный эгоизмъ, и въ одномъ отдѣльномъ лицѣ взятый, не осуществимъ вовсе. Но какъ же подумать возвести его въ принципъ всеобщій? Это было бы верхъ

несообразности и противорѣчія. Какъ сказать каждому отдѣльному лицу: „для твоей личности должно быть жертвуемо всѣмъ общественнымъ“? Это значило бы сказать въ одно и то же время, чтобы не было интересовъ ни личныхъ, ни общественныхъ,—разрушить совсѣмъ и личное стремленіе и общественное начало, и слѣдовательно самому опровергнуть свое положеніе въ самой глубочайшей его сущности. Въ самомъ дѣлѣ, личные интересы достигаются только чрезъ взаимныя услуги одного другому. Но какъ никто даромъ не захочетъ оказывать другимъ услуги: то, слѣдовательно, если каждый будетъ требовать отъ другихъ только жертвъ,—каждый тѣмъ самымъ будетъ отказываться и отъ достиженія своихъ интересовъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ, каждый тѣмъ самымъ будетъ исключать себя и изъ общества: ибо общество только и держится этими взаимными услугами.

Итакъ, если авторъ опасается, чтобъ ему не приписали желанія утверждать эгоизмъ, въ безконечномъ, сейчасъ объясненномъ смыслѣ: то онъ можетъ успокоиться. Никто этого не подумаетъ; потому что утверждать голо такого рода эгоизмъ было бы самою вопіющею изъ несообразностей, значило бы утверждать невозможность, для всѣхъ очевидную. И странно было бы за кѣмъ предполагать, чтобы рѣшился на это.

Но что же такое, однако, взглядъ автора?

„Отдѣльное лицо“ говоритъ онъ,—„не должно жертвовать личными интересами для общаго блага“. Что это значитъ?—Другими словами, это значитъ сказать: если благо общее, иначе—всѣхъ и каждаго, кромѣ меня,—требуетъ, чтобы я поступился какимъ нибудь своимъ интересомъ, то я долженъ допустить вредъ общества, но сохранить свой интересъ.

Часовой охраняетъ постъ, защита котораго важна для безопасности десятка тысячъ соотечественниковъ. Долженъ ли онъ подать своимъ знакъ, при приближеніи непріятеля, что̀ впрочемъ можетъ стоить ему жизни?—По теоріи г-на Дубенскаго,—не долженъ; по крайней мѣрѣ, оставляется это на добрую волю солдата. Иначе вѣдь онъ долженъ былъ бы воображать себя „членомъ общества“, это было бы какое-то „обязательное брат-

ство“,—„нравственный коммунизмъ“, какъ выражается г-нъ Дубенскій.

Къ судьѣ привели разбойника. За взятку представляется легкій случай оправдать его. Позволительно ли судьѣ сдѣлать это? А почему жъ и нѣтъ, скажемъ мы, слѣдуя строго теоріи г-на Дубенскаго. Своимъ личнымъ интересомъ не должно жертвовать для блага общества!

Съ меня требуютъ подать. Это тоже нужно бы для блага общества. Но это также затрогиваетъ мой интересъ. Къ чемужъ мнѣ жертвовать имъ? „Въ обществѣ каждый долженъ думать обо всѣхъ и всѣ о каждомъ“:—это взглядъ отсталой, говоритъ г-нъ Дубенскій. А подать и есть именно фактическое выраженіе и осуществленіе этой самой „мысли всѣхъ о каждомъ и каждаго обо всѣхъ“.

Однимъ словомъ, можно представить безчисленное множество примѣровъ подобнаго столкновенія интересовъ личныхъ съ общественными, и вездѣ, слѣдовательно, по теоріи г-на Дубенскаго, отдѣльная личность уполномочивалась бы на поступки совершенно въ родѣ тѣхъ, какіе представлены выше. Какъ же назвать эту теорію? Авторъ называетъ ее *индивидуализмомъ*. Пусть такъ. Но названіе не измѣняетъ сущности дѣла. Явно, что кто утверждаетъ необязательность пожертвованія личными интересами для блага общественнаго, тотъ тѣмъ самымъ утверждаетъ необходимость пожертвованія благомъ общественнымъ для личныхъ интересовъ. Короче сказать, кто утверждаетъ необязательность личныхъ пожертвованій для общества, тотъ утверждаетъ, только другими словами, именно тотъ самый безконечный эгоизмъ, котораго бы онъ не рѣшился никогда поставить голо, защищать въ чистомъ видѣ, отъ котораго отступилъ бы, какъ отъ самой вопіющей несообразности, самой очевидной невозможности.

Но какъ же это однако? Очень просто. Не всегда ясно сознается то, что̀ высказывается. Индивидуалистъ, защищая начало личности, вовсе не думаетъ и не хочетъ утверждать эгоизмъ, и притомъ въ его безконечномъ, сколько возмутительномъ,

столько же и неосуществимомъ смыслѣ. Но на дѣлѣ выходитъ такъ. И выходитъ именно потому, что начало личности само по себѣ уже несовмѣстимо съ идеею общества. Общество есть именно ограниченіе личности. Мы въ силу того и собираемся въ общество, что каждый изъ насъ поступается частію своихъ личныхъ интересовъ, частію своей личной свободы,—отказываемся каждый отъ своей исключительности. Итакъ, коль скоро мы не только становимъ личность началомъ, но даже просто даемъ ей самостоятельное, неограниченно-независимое значеніе, мы тѣмъ самымъ уже неизбѣжно подрываемъ основаніе общества, отнимаемъ у него свободу въ пользу своей.

„Общее не уничтожаетъ частей“, говоритъ г-нъ Дубенскій. Совершенно справедливо. Но это самое и доказываетъ, что часть должна быть разсматриваема именно какъ часть, а не какъ самостоятельная отдѣльность. Если мы даемъ части самостоятельно-отдѣльное значеніе, мы тѣмъ самымъ уничтожаемъ цѣлое. Цѣлое потому и есть цѣлое, что оно имѣетъ другія цѣлыя, какъ свои *части*.

„Личность служитъ основаніемъ всему“, замѣчаетъ опять г-нъ Дубенскій; „уничтожить личность значитъ уничтожить міръ“. Второе справедливо; но первое вовсе не связано съ нимъ необходимо. Уничтожить члены тѣла значитъ уничтожить самое тѣло. Но слѣдуетъ ли отсюда, что члены служатъ *основаніемъ* всему тѣлу?

Однимъ словомъ, сколько мы ни станемъ разсматривать,—отрицаніе подчиненнаго значенія личности есть, само по себѣ, уже отрицаніе всякаго значенія общественности; и, слѣдовательно, мысль о необязательности личныхъ пожертвованій, объ отсутствіи членовности отдѣльныхъ лицъ по отношенію къ обществу, о неестественности круговой заботы всѣхъ и каждаго, есть именно эгоизмъ въ его саморазрушающемъ значеніи. Индивидуализмъ есть именно эгоизмъ, съ тою только разницею, что это эгоизмъ—скрытый, къ основному своему противорѣчію прибавляющій еще новое противорѣчіе внутренней непослѣдовательности,—желающій при основномъ своемъ началѣ сохра-

нить то самое, къ разрушенію чего онъ именно стремится, разрушеніе чего составляетъ самую его сущность.

Многочисленные защитники теоріи, представителемъ которой является г-нъ Дубенскій, скажутъ намъ: „Но мы не отвергаемъ взаимныхъ услугъ, на которыхъ держится общество. Напротивъ, мы признаемъ ихъ необходимость и даже думаемъ, что онѣ нужны къ сохраненію и развитію самихъ личныхъ интересовъ. Мы отрицаемъ только необходимость *пожертвованій*. А безъ пожертвованій благо общества можетъ обойтись".

Мы скажемъ на это съ своей стороны: „Это мечта. Простая услуга отъ пожертвованія отличается тѣмъ, что въ первой предполагается обмѣнъ обоюдно выгодный и, прибавимъ къ этому,—*равноцѣнно* выгодный. Коль скоро же этого нѣтъ, услуга перестаетъ уже быть простою услугою и становится *жертвою*. Но при исполненіи общественныхъ обязанностей, то, что отдѣльное лицо получаетъ отъ общества, всегда ли бываетъ равноцѣнно тому, что ему приходится отдавать? Чтобъ не ходить далеко за примѣрами, возвратимся къ одному изъ тѣхъ, которые уже были представлены. Солдатъ отдаетъ обществу жизнь, а въ обмѣнъ получаетъ.... но здѣсь и рѣчи не можетъ быть о самомъ обмѣнѣ и полученіи, а не только что о ихъ выгодности или равноцѣнности. Тутъ самая идея обмѣна неприложима. Жизнь вовсе не есть то, что, напримѣръ, трудъ, или отъ труда сбереженный капиталъ, или вообще какая нибудь собственность,—словомъ, такая принадлежность, затрачивая которую я самъ всетаки остаюсь, не исчезаю. Кто отдаетъ жизнь, тотъ отдаетъ *себя*. Предметъ мѣны и мѣняющее лицо здѣсь сливаются совершенно, и одна изъ обмѣнивающихъ сторонъ сама исчезаетъ. Такимъ образомъ, приношеніе жизни всегда есть жертва. Видѣть тутъ возможность обмѣна, значитъ предполагать двѣ стороны, гдѣ существуетъ всего одна, и уничтоженіе считать за пріобрѣтеніе."

Пожалуй, намъ и на это скажутъ: „При нормальномъ устройствѣ общества, служба солдата есть такой же договоръ, какъ и всякій другой. Жизнь, такъ же какъ и все, имѣетъ цѣну,

и одинъ цѣнитъ ее дороже, другой дешевле, смотря по обстоятельствамъ. Въ перспективѣ двухъ смертей, NN находитъ для себя болѣе выгодною сытую смерть на полѣ сраженія, чѣмъ смерть голодную отъ недостатка работы: вотъ и все,—весь смыслъ службы солдата. Тутъ такой же размѣнъ услугъ и цѣнностей, какъ и вездѣ; отрицать его здѣсь, значило бы отрицать его во всякомъ трудѣ, при которомъ жизнь работника подвергается опасности.“

На это также отвѣтимъ съ своей стороны: „Мы понимаемъ возможность договора, когда приходится порисковать жизнію, не слишкомъ обезпеченною, или даже и безъ того опасною; но мы совершенно отвергаемъ въ немъ всякій смыслъ, когда требуется идти на вѣрную смерть, при полной возможности сохранить жизнь, безъ всякой потери. Солдатъ, такъ же какъ и рудокопъ, за хорошее вознагражденіе можетъ подвергать жизнь опасности; но не понимаемъ, почему бы часовой непремѣнно предпочелъ смерть, когда измѣной онъ очень хорошо могъ бы сохранить жизнь?“—„Свободное обязательство....“—„Но съ точки зрѣнія личной выгоды, свободное обязательство имѣетъ надо мною силу только потому, что нарушеніемъ его я подвергаю себя еще бо̀льшей потерѣ, чѣмъ исполненіемъ. Но что̀ же можетъ быть больше потери жизни, которая должна послѣдовать часовому отъ исполненія договора? Если, помимо всего этого, свободное обязательство имѣетъ надъ нимъ силу, стало быть есть нѣчто выше личнаго интереса, что̀ понуждаетъ его быть вѣрнымъ своему слову. И опять выходитъ то же заключеніе: что начало личнаго интереса недостаточно къ исполненію общественныхъ обязанностей, и что безъ личныхъ пожертвованій не можетъ быть сохранено общественное благо.“

Но мы не станемъ перебирать здѣсь всѣхъ софизмовъ, которые употребляетъ, къ сожалѣнію, слишкомъ господствующій нынѣ индивидуализмъ, чтобы прикрыть свою несостоятельность. Для этого слѣдовало бы написать цѣлую книгу. Всѣ они ведутъ совершенно къ одному и тому же; всѣ они, при внимательномъ разсмотрѣніи, выказываютъ бездну противорѣ-

чія, въ которой стоитъ эта теорія, желая отстоять свое эгоистическое начало и въ то же время сохранить идею общественности. Возвратимся къ статьѣ, которая подала поводъ къ настоящимъ замѣчаніямъ.

Естественно, что автору хотѣлось бы при своемъ началѣ оставить неприкосновеннымъ значеніе общественности и, вообще, разумно-нравственныя междучеловѣческія отношенія. Посмотримъ, какіе онъ употребляетъ для этого доводы.

„Цивилизованный человѣкъ", говоритъ авторъ,—„тѣмъ и отличается отъ дикаго, что ему, кромѣ личныхъ интересовъ, доступны интересы общественные, народные и общечеловѣческіе." Совершенная истина! Но для того, чтобъ она служила въ пользу индивидуализма, нужно доказать сперва, что успѣхи цивилизаціи и развитіе личности, какъ личности, одно и то же; а въ этомъ весь и вопросъ. Г-нъ Дубенскій, вмѣстѣ со многими другими, полагаетъ, что основаніемъ къ успѣхамъ европейской цивилизаціи послужило современное имъ движеніе развитія личности. А мы полагаемъ совершенно противное: именно, что цивилизація развилась помимо развитія личности и часто вопреки ему; что личное начало задерживало успѣхи просвѣщенія, а не способствовало имъ. Католицизмъ есть высшее освященіе личнаго авторитета въ сферѣ религіи: ему въ бытѣ вполнѣ соотвѣтствовала форма феодальныхъ отношеній. То, что составляетъ основную идею теперешняго индивидуализма,—идея личнаго самоуваженія,—возникло, развилось и получило значеніе именно въ эту пору. И это—пора рабства и крайняго невѣжества. Протестантизмъ смягчилъ личное начало, замѣнивъ личный авторитетъ личною же свободою, по отношенію къ авторитету абстрактному; ему соотвѣтствуетъ теперешнее модное общественное устройство, основанное на такъ называемомъ общественномъ равновѣсіи,—на отвлеченномъ равновѣсіи взаимнопротивоположныхъ или даже враждебныхъ элементовъ. И это смягченіе личнаго начала, именно самое изгнаніе прямого личнаго авторитета и замѣна его абстрактнымъ, принесло свой плодъ въ успѣхахъ просвѣщенія.

Но исчезло ли всетаки при этомъ, скажемъ кстати, рабство въ Европѣ? Нѣтъ, оно только смѣнило свой видъ на другой. Сколько ни толкуйте, а насиліе капитала надъ трудомъ право стоитъ стараго патріархальнаго насилія господина надъ рабомъ. Различіе только въ томъ, что право насилія перешло изъ однихъ рукъ въ другія, отъ аристократовъ къ богачамъ, и потеряло прежнюю непосредственность, достигая того же результата путемъ болѣе далекимъ и процессомъ болѣе сложнымъ.

Скажемъ, наконецъ, и о другой, еще новой возникающей власти, которая идетъ умѣрить и, если можно, смѣнить собою голую власть богача, хотя и болѣе тонкую, чѣмъ прежняя власть господина, но всетаки очень замѣтную, и уже чувствуемую теперь въ ея тяжести, и которую восхваляютъ нынѣшніе публицисты, какъ верхъ освобожденія, какъ цвѣтъ просвѣщенія, какъ окончательное выраженіе нормальной цивилизаціи. Мы говоримъ о власти общественнаго мнѣнія. Признавая вполнѣ всю законность общественнаго мнѣнія, коль скоро оно дѣйствительно основано на всецѣломъ общественномъ духѣ и,—прибавимъ къ этому,—коль скоро самъ общественный духъ подчиняетъ себя высшимъ требованіямъ, мы тѣмъ не менѣе полагаемъ, что при современномъ господствующемъ началѣ, единственная форма, въ которой можетъ осуществиться власть общественнаго мнѣнія, есть и будетъ тѣмъ же насиліемъ надъ свободою, какъ и всякое другое. Это будетъ насиліе не господина надъ рабомъ, или плантатора надъ негромъ, не богача надъ бѣднымъ, но насиліе болѣе ловкихъ, болѣе остроумныхъ надъ лицами болѣе простодушными и честными, болѣе скромными, хотя, можетъ быть, иногда и менѣе даровитыми. И если хотите, это насиліе еще хуже всякаго другаго. Это—насиліе соблазна и обольщенія;—это насиліе, поражающее уже не физическую сторону человѣка, и не внѣшнее выраженіе его убѣжденія, но идущее противъ самаго священнѣйшаго тайника человѣческой свободы. И тѣмъ оно опаснѣе, чѣмъ оно тоньше: оно убиваетъ свободу

въ самомъ корнѣ, подъ видомъ уваженія именно къ той же самой свободѣ.*)—Мы говоримъ, разумѣется, въ томъ предположеніи, что началомъ сохранится всетаки то же начало личности.

Сейчасъ сказанное нами служитъ, въ то же время, и отвѣтомъ на мнѣніе г-на Дубенскаго, общее ему почти со всѣми, что „вся исторія цивилизаціи есть исторія эманципаціи личности". Авторъ, разумѣется, имѣетъ въ виду цивилизацію новоевропейскую. Нѣтъ, скажемъ мы, исторія европейской цивилизаціи есть исторія перемѣнъ одного вида рабства на другой. И это неизбѣжно, и именно потому, что въ основаніе европейской исторіи положено столь восхваляемое начало личности. При личномъ началѣ, при стремленіи дать просторъ личности, какъ личности, въ строгомъ значеніи этого слова, порабощеніе неизбѣжно. Причина та самая, которою авторъ очень справедливо опровергаетъ мечты коммунизма. Въ людяхъ нѣтъ равенства, иначе и строже,—нѣтъ физической и нравственной одинаковости, и не можетъ быть. Итакъ, давая просторъ лицу, какъ лицу, вы даете просторъ именно тѣмъ самымъ преимуществамъ, которыя естественно имѣетъ одинъ надъ другимъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ,—давая просторъ одному, вы непремѣнно угнетаете другаго. Цивилизація есть, дѣйствительно, стремленіе къ эманципаціи. Гнетъ чувствуется; онъ тяготитъ; его скидываютъ,—но скидываютъ самый фактъ, не уничтожая его начала, и даже скидываютъ во имя самаго этого начала. Начало остается; оно живетъ и ищетъ новыхъ и новыхъ, болѣе и болѣе тонкихъ видовъ порабощенія. Новый видъ, естественно, сперва незамѣтенъ, но и онъ сознается; и для него наступитъ пора, и его скинутъ, и такъ далѣе, доколѣ наконецъ замѣтятъ, что вина не въ фактѣ, а въ самомъ началѣ. Возвратимся для лучшаго объясненія къ

*) Уголовнымъ законодательствомъ уже усмотрѣнъ этотъ видъ рабства, хотя понятіе и примѣнено пока къ ограниченной сферѣ юридическихъ житейскихъ отношеній. Оно отличаетъ: 1) *разбой* (насиліе съ оружіемъ въ рукахъ = рабство въ голомъ смыслѣ, феодальный бытъ); 2) *грабежъ* (открытое насиліе = капиталистическій строй современный; 3) *мошенничество* (обманное похищеніе съ выманеннымъ согласіемъ жертвы = будущее рабство). 13 ноября 1886 г.— Примѣчаніе Н. Ц. Гилярова на экземплярѣ, принадлежащемъ И. Ѳ. Романову.

тому, что было уже сказано. Въ формѣ, въ какой проявляется въ настоящую минуту власть общественнаго мнѣнія, таится, какъ мы сказали, начало гнета и гнета наиболѣе страшнаго, чѣмъ всѣ, какіе бывали прежде. И что жъ? Скажите о безнравственности, какая существуетъ въ этой quasi-общественности: послѣ нѣсколькихъ минутъ объясненія, вы убѣдитесь, что встрѣтились съ точкою современнаго умопомѣшательства Европы. Васъ не станутъ слушать. Насилія, какое существуетъ въ умственномъ, взаимномъ обольщеніи и соблазнѣ, даже не поймутъ. „Какое же тутъ насиліе?“ скажутъ вамъ,—„вы совершенно свободно проповѣдуете свое мнѣніе, и я совершенно свободно принимаю его. Въ моей волѣ—принять его и не принять“. И при этомъ забываютъ, что совершенно также разсуждали и защитники рабства, въ тѣснѣйшемъ смыслѣ этого слова. „Рабъ“, говорили они, „совершенно свободно, по собственному убѣжденію, по христіанскому смиренію, предо мною рабствуетъ. Онъ мнѣ преданъ всей душей, и служба его—для него наслажденіе. Гдѣ же тутъ гнетъ, гдѣ безнравственность?“ И забываютъ при этомъ также, что если въ моей совершенно власти принять иль не принять чужое мнѣніе, то, строго говоря, все равно вѣдь, совершенно также въ волѣ негра оставаться у плантатора въ рабствѣ, или нѣтъ, ибо физическая сила всетаки на сторонѣ рабовъ,—численный перевѣсъ всетаки на ихъ сторонѣ. Итакъ, разницы въ степени гнета тутъ собственно нѣтъ, и разница только въ формѣ. Но дѣло въ томъ, что идея свободнаго quasi-общественнаго мнѣнія теперь въ полномъ ходу, въ полномъ цвѣту; она еще только идетъ къ своей настоящей силѣ: въ немъ видятъ пока еще только эманципирующую сторону; и въ настоящую минуту, оно, дѣйствительно, пока еще таково. Однимъ словомъ, выраженіе общественнаго мнѣнія теперь идетъ пока еще къ *свободѣ*, но не достигло до полной *власти*. И дѣло въ томъ также, что, чувствуя фактъ гнета отъ осуществленія личнаго начала въ одной формѣ, настоящее время хочетъ сбросить фактъ, но не желаетъ еще покамѣстъ разстаться съ самымъ началомъ, и форму одной личной зависимости перемѣняетъ на другую зависимость, столь же

личную. И это, повторяемъ, необходимо должно продолжаться, пока не войдетъ, наконецъ, въ общее сознаніе, что бѣда здѣсь не въ формѣ, а въ самомъ существѣ; что бѣда въ неправильности самаго понятія о свободѣ; что истинная свобода вовсе не есть *личная* свобода; что свобода есть безпрепятственная возможность согласія личности съ тѣми разумно-нравственными законами, которые вложены въ нее, съ тѣмъ божественнымъ сѣменемъ, которое всѣмъ намъ одинаково дано для произращенія; и что, наконецъ, въ этомъ смыслѣ, истинная личная свобода есть именно личное порабощеніе, совершенное самоотреченіе личности, совершенное ея самоотверженіе и самопокореніе закону божественному.

„Уважай прежде самого себя, если хочешь, чтобы тебя уважали другіе“, говоритъ г-нъ Дубенскій, вѣрный своему началу личности. Изъ предшествующаго читатели могутъ замѣтить, что мы вообще противъ всякаго личнаго уваженія, будетъ ли оно относиться къ себѣ или къ другимъ, и что, по нашему мнѣнію, оно во всякомъ случаѣ, не можетъ служить признакомъ полнаго развитія. Но замѣтимъ здѣсь всю софистичность этого свидѣтельства прописей, которое, въ слѣдъ за другими, приводитъ г-нъ Дубенскій въ защиту начала личности. „Уважай прежде самого себя....“—Но если я буду, прежде всего, уважать себя, какъ себя, какъ личность въ строгомъ смыслѣ слова, какъ этого именно Ивана Петровича или Степана Семеновича,—я не понимаю, почему жъ меня будутъ уважать другіе? Тутъ совершенно нѣтъ послѣдовательности. Ужъ если можетъ что нибудь случиться съ другими отъ моего самоуваженія, такъ скорѣе то, что и другіе будутъ уважать также самихъ себя,—а не меня же. Если же я буду уважать въ себѣ собственно не себя, а именно тѣ разумно-нравственные законы, которые въ меня вложены, или даже тѣ особенности народныя и общественныя, которымъ я служу частнымъ выраженіемъ, то дѣйствительно меня могутъ, въ силу этого, уважать другіе. Но, въ такомъ случаѣ, изреченіе: „уважай себя“,—будетъ скорѣе значить: „уважай другихъ прежде, чѣмъ себя“,—то есть, мысль совершенно противоположную. Такимъ образомъ, дѣлать изъ этого изреченія

выводъ въ пользу начала личности, значитъ пользоваться двусмысленностію основанія для того, чтобъ вывести ложное заключеніе.

„Мы обращаемъ вниманіе“, говоритъ г-нъ Дубенскій, желая отстоять эгоистическое начало и, между тѣмъ, отнять у него эгоистическое значеніе:—„мы обращаемъ вниманіе на значеніе человѣческой личности, требуемъ уваженія къ ней....“—„Неужели это эгоизмъ?“ спрашиваетъ онъ.—„Смотря потому“, отвѣтимъ мы ему,—„*какого* значенія и *какого* уваженія вы требуете. Если вы даете значеніе личности служебное, и если требуете уваженія собственно не къ личности, а къ разумно-нравственнымъ законамъ, то, разумѣется, это не будетъ эгоизмъ. Но индивидуализмъ требуетъ, именно, противоположнаго: иначе, онъ перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть.“

„Мы говоримъ *каждому* человѣку...“ продолжаетъ г-нъ Дубенскій.—Но чтожъ изъ того? Этимъ вы говорите только *каждому* человѣку: „будь эгоистомъ“, а вовсе не прекращаете эгоизма.

„Мы говоримъ каждому человѣку“, замѣчаетъ далѣе г-нъ Дубенскій,—„развивай свои силы, совершенствуйся, потому что чѣмъ болѣе будешь развитъ, тѣмъ будешь свободнѣе“.

Это совсѣмъ другое. Развитіе и совершенствованіе, дѣйствительно, есть начало свободы и вовсе не ведетъ къ эгоизму. Но дѣло въ томъ, выходитъ ли то и другое изъ личнаго начала? Это-то и требуется доказать. А между тѣмъ, на самомъ-то дѣлѣ, истинное развитіе и истинное совершенство, какъ мы выше уже сказали, и есть именно не что другое, какъ самоотреченіе личности и покореніе ея высшимъ нравственнымъ законамъ. Истинная свобода человѣка есть именно независимость его не только отъ чужой, но и отъ собственной личности, отъ собственнаго произвола.

„Уважай другихъ“, продолжаетъ рѣчь свою г-нъ Дубенскій,—„отдавай справедливость каждому въ своихъ сношеніяхъ съ людьми; имѣй всегда въ виду, что они такъ же свободныя личности, какъ ты самъ. Цѣни ихъ достоинство и будь снисходителенъ къ ихъ недостаткамъ.“

Все это прекрасно. Но какъ все это можетъ быть достигнуто единственно на *личномъ* основаніи? Гдѣ для меня *личное* по-

бужденіе отдавать другимъ справедливость въ сношеніяхъ съ ними? Справедливость вовсе не личное начало. Я знаю, конечно, что другіе суть такъ же свободныя личности, какъ я самъ. Ну, чтожъ, пусть же каждый и промышляетъ о себѣ, такъ какъ онъ такая же свободная личность, какъ и я. Пусть каждый ищетъ самъ себѣ справедливости и достаетъ ее. Мое дѣло до меня; мнѣ важенъ мой собственный интересъ, а не чужой. Какое также для меня личное основаніе цѣнить чужія достоинства и быть снисходительнымъ къ чужимъ недостаткамъ? Умѣй каждый самъ быть для меня нужнымъ, и тогда я оцѣню его достоинство, чего оно будетъ для меня стоить. А если я вижу недостатки, какое для меня личное основаніе быть снисходительнымъ? Не будетъ ли это—„обязательное братство“, какой-то „нравственный коммунизмъ“? И если я могу чужими недостатками воспользоваться, чтобъ на счетъ ихъ увеличить свои интересы, какое побужденіе мнѣ удержаться отъ того? Мнѣ нѣтъ обязанности изъ за другихъ „жертвовать своими интересами“! Не я виноватъ, что NN слабѣе меня, PP бѣднѣе, RR недогадливѣе. Пусть они принимаютъ свои мѣры, пусть развиваются, пусть богатѣютъ, если хотятъ и находятъ случай. Они такія же свободныя личности, какъ и я. Я въ ихъ дѣла не мѣшаюсь, и они не мѣшай мнѣ и не стѣсняй меня.

Такъ, дѣйствительно, и разсуждаетъ строго проведенный индивидуализмъ. Ему соотвѣтствуетъ въ бытѣ даже цѣлая форма общественнаго устройства; на немъ и основано то знаменитое self-government, къ которому приближаются Сѣверо-Американскіе Штаты, и будущее, окончательное развитіе котораго, и именно въ этомъ государствѣ, мы представляемъ не чѣмъ инымъ, какъ крайнимъ, неминуемымъ выраженіемъ, которое должно найти себѣ въ бытѣ индивидуалистическое воззрѣніе, зачатое въ Европейской исторіи [1]). „Промышляй о

[1]) Надѣемся, читатели обратятъ вниманіе, что мы говоримъ не о самоуправленіи вообще, а именно о *томъ* самоуправленіи, къ полному осуществленію котораго идетъ Сѣверная Америка. Предметъ этотъ, впрочемъ, заслуживаетъ особаго подробнаго разсмотрѣнія.

себѣ, насколько хватитъ силъ; эксплоатируй другихъ, насколько они сами тебя допустятъ. Не пеняй, коли приходитъ плохо; не упускай, коли выходитъ случай.“ Вотъ, въ самомъ дѣлѣ, строго говоря, вся программа этого общественнаго устройства, представляющагося нѣкоторымъ, какъ верхъ доступной человѣку свободы, и, не споримъ, конечно, всетаки лучшаго, чѣмъ многія и очень многія другія общественныя формы.

Но авторъ не рѣшается идти до этихъ выводовъ. Съ непослѣдовательностію, которая дѣлаетъ ему честь, онъ желалъ бы не допускать эксплоатаціи ближняго; онъ желалъ бы водворить справедливость, внушить снисходительность.... Но какъ же это сдѣлать, при сохраненіи личнаго начала? Какъ достигнуть, не жертвуя личными интересами? При совершенно одинаковой заботливости и совершенно объ однихъ и тѣхъ же интересахъ, сильный всегда будетъ жить на счетъ слабаго, богатый на счетъ бѣднаго, смѣтливый на счетъ малосмысленнаго. Какъ же достичь снисхожденія къ слабому, бѣдному и малосмысленному, не стѣсняя выгодъ сильнаго, богатаго и смѣтливаго, которые вовсе въ своихъ преимуществахъ не виноваты? И какъ сохранить право на личныя выгоды однимъ, не заставляя другихъ страдать отъ своихъ недостатковъ, въ которыхъ, большею частію, они вѣдь тоже сами не виноваты? Какъ же быть въ самомъ дѣлѣ?... Устроить развѣ такъ, чтобы предупредить самое появленіе этихъ горестныхъ недостатковъ, и чтобъ устранить самое появленіе этихъ обидныхъ преимуществъ? Чтобъ, предоставляя каждому право на исключительную заботу о собственныхъ интересахъ, дать каждому и способы къ достиженію этихъ интересовъ?...

Въ самомъ дѣлѣ, это представляется единственнымъ случаемъ ограничить каждаго собственными интересами и сохранить общественную справедливость,—оставить личный интересъ единственнымъ всеобщимъ двигателемъ и предотвратить въ то же время необходимо соединенныя съ нимъ личныя насилія однихъ и личныя страданія другихъ....

Но это будетъ.... коммунизмъ!

Коммунизмъ,—и это, дѣйствительно, послѣднее слово индивидуализма, неминуемый выходъ строго-послѣдовательнаго его развитія....

Но коммунизмъ и индивидуализмъ враждебны между собою?—Совершенно: и едва ли есть еще сфера, въ которой бы противоположныя мнѣнія враждовали такъ ожесточенно, какъ враждуютъ, въ настоящее время, между собою эти двѣ крайнія соціальныя школы...

Но коммунизмъ не состоятеленъ?—Несомнѣнно,—и авторъ во многомъ совершенно вѣрно отмѣтилъ его немыслимость....

Что же это значитъ?—Но то самое и значитъ, что индивидуализмъ столь же несостоятеленъ, какъ и противоположный ему коммунизмъ, и потому же самому, почему этотъ послѣдній. Удары, которые такъ щедро и такъ мѣтко сыплютъ индивидуалисты своимъ противникамъ, падаютъ, по прямой линіи, на ихъ же собственную голову.

Сущность въ томъ, что коммунизмъ, какъ и индивидуализмъ, оба равно построены на эгоистическомъ началѣ, и какъ тотъ, такъ и другой, оба равно служатъ химерической мечтѣ примирить исключительное самоугожденіе личности съ идеею общественности: разница между ними только въ способѣ примѣненія основнаго начала. И въ этомъ именно смыслѣ оба они ложны, хотя и взаимно противоположны; оба взаимно между собою враждебны, и въ то же время каждый ведетъ и указываетъ къ другому. Словомъ, это два члена дилеммы, построенной на одномъ и томъ же ложномъ основаніи. Опровергая одинъ, вы непремѣнно приходите къ другому; но и этотъ окажется непремѣнно столь же ложнымъ, какъ и предшествующій, и поведетъ опять къ нему же. Это, именно, и сбывается теперь съ горячею борьбою между индивидуализмомъ и коммунизмомъ. Обѣ стороны правы, но обѣ стороны и виноваты; обѣ опровергаютъ одна другую, и каждая, въ своей послѣдовательности, ведетъ, въ то же время, къ своей другой, какъ къ своей истинѣ. Обѣ стороны совершенно правы въ своихъ нападеніяхъ одна

на другую, и обѣ вполнѣ несостоятельны, каждая въ своей положительной части. И здѣсь-то собственно причина той ожесточенности, съ какою ведутъ эту борьбу два соціальныя ученія. Нельзя не видѣть индивидуализму всей мечтательности коммунизма; нельзя не видѣть и коммунизму всей дикости индивидуализма: но нельзя, въ то же время, каждому и не чувствовать всей силы ударовъ, которые наноситъ ему противникъ. И вотъ каждый отъ чувствительныхъ для него ударовъ спѣшитъ укрыться въ самую дальнюю крайность своего воззрѣнія; спасая послѣдовательность, каждый тѣмъ думаетъ спасти всю свою теорію: но каждый тѣмъ самымъ только въ большей наготѣ обнаруживаетъ ея несостоятельность. Индивидуалистъ, въ виду нападеній коммунизма, спѣшитъ провести свое начало личной исключительности до самыхъ послѣднихъ предѣловъ прямаго вывода. И чтожъ? Кому бы, напримѣръ, могло прійти въ голову защищать хоть такую мысль, какова странная мысль о необязательности личныхъ пожертвованій въ пользу общества, высказываемая г. Дубенскимъ со словъ его европейскихъ учителей? Или, еще болѣе, кому бы могло прійти въ голову защищать мысль, уже не просто странную, а даже цоражающую своею дикостію, какова мысль о недозволительности личнаго благодѣянія, высказываемая тѣмъ же г. Дубенскимъ, и опять со словъ тѣхъ же своихъ учителей? Мало того, что дозволить жестокосердое безчувствіе къ бѣдамъ ближняго, но еще положить запретъ на дѣла милосердія, осудить чувство сострадательной любви, какъ незаконное, какъ безнравственное! До чего не доводитъ система! А всего этого не было бы, если-бъ, какъ мы сказали, корифеямъ политической экономіи, со словъ которыхъ записываетъ г. Дубенскій, не грозилъ страшный для нихъ призракъ коммунизма; если-бъ не приходилось имъ чувствовать, что, въ противномъ случаѣ, имъ должно было бы согласиться съ тяжеловѣсными уликами въ собственной непослѣдовательности, и чрезъ то самое, слѣдовательно, подписать добровольно, съ одной стороны, свой собственный смертный приговоръ, и съ другой—признаніе системы, самой по себѣ, все-

таки, не менѣе очевидно ложной. Полагаемъ также, что и коммунизмъ, съ своей стороны, и вся прилегающая къ нему школа, никогда не дошли бы до тѣхъ чудовищныхъ размѣровъ немыслимости, въ какіе они развились теперь, если-бъ предъ ними, въ свою очередь, не стоялъ бытъ Европы съ своимъ личнымъ началомъ, очерченнымъ въ такой рѣзкой односторонности! Борьба *вынуждаетъ* обѣ стороны къ крайностямъ, на которыя они безъ этого никогда не рѣшились бы, и которыя каждый безпристрастно размышляющій несомнѣнно отвергнетъ при первомъ разсмотрѣніи. Однимъ словомъ сказать, достаточно, по нашему мнѣнію, только сопоставить эти два ученія со всѣми ихъ доводами и противодоводами, и это простое сопоставленіе, само по себѣ, было бы уже рѣшительнымъ смертоубійствомъ того и другаго.

Гдѣ же исходъ, спросятъ насъ, когда та и другая школа ложны?—Исходъ въ томъ, что слѣдуетъ отвергнуть самое начало, на которомъ онѣ построены. Начало это, какъ мы сказали, у обѣихъ—эгоистическое. Слѣдовательно, должно поискать другаго основанія для соціальной науки. Объяснимъ это въ двухъ словахъ.

Каждый желаетъ наслаждаться. Но наслажденіе никому не дается даромъ. При ограниченіи личныхъ стремленій самыми незатѣйливыми потребностями, и притомъ въ странѣ наиболѣе кипящей готовыми благами природы, всетаки нужно извѣстное напряженіе личной силы, чтобы достать себѣ эти блага, и чтобы удовлетворить эти свои незатѣйливыя потребности. Островитянинъ Тихаго Океана, въ двухъ шагахъ отъ готово-насыщающаго хлѣбнаго дерева, всетаки долженъ дойти, или хоть, по крайней мѣрѣ, поднять руку, чтобы достать нужный себѣ плодъ.—Отсюда необходимость труда для собственнаго каждаго счастія.

Совокупный трудъ несравненно производительнѣе отдѣльнаго: многія силы, дружно работающія вмѣстѣ, произведутъ не только бо́льшее количество, чѣмъ каждая изъ нихъ взятая порознь, что́ уже само собою очевидно, но и произведутъ гораздо

больше, чѣмъ всѣ эти силы взятыя вмѣстѣ, но работающія отдѣльно.—Отсюда—необходимость общественности для собственнаго блага каждаго лица въ отдѣльности.

Какъ воспользоваться несомнѣннымъ благомъ общественности, къ возможно полнѣйшему удовлетворенію стремленій каждаго къ личному наслажденію?—Вотъ общій вопросъ, который задаютъ себѣ обѣ, нынѣ препирающіяся соціальныя школы, и на который обѣ онѣ отвѣчаютъ совершенно одинаково, различаясь между собою только способомъ примѣненія основнаго взгляда.

„Хлопочи каждый *самъ* о себѣ, и не обращай вниманія на другихъ, коль скоро не видишь, что можно изъ нихъ выжать собственную выгоду“, говоритъ индивидуалистъ;—„и чѣмъ болѣе ты будешь заботиться о себѣ, чѣмъ менѣе о другихъ, тѣмъ лучше. Каждый будетъ дѣлать то же самое,—и всеобщее довольство обезпечено. Исключительное стремленіе каждаго къ собственной выгодѣ увеличитъ общее напряженіе силъ. Увеличеніе общаго напряженія силъ повлечетъ къ увеличенію всеобщаго изобилія; а всеобщимъ изобиліемъ увеличивается и выпадающее, при всеобщемъ трудѣ, на долю каждаго личное наслажденіе. Между тѣмъ, самое стремленіе каждаго получить именно какъ можно больше, а дать какъ можно меньше, или, говоря благороднымъ языкомъ, всеобщее соревнованіе умѣритъ взаимныя притязанія и установитъ необходимое равновѣсіе. Въ суммѣ произведеній, добытыхъ общимъ трудомъ, каждый получитъ себѣ долю личнаго наслажденія, именно въ той самой мѣрѣ, въ какой онъ заслуживаетъ своею личною дѣятельностію“.

Словомъ, *завистъ*, съ личнымъ самоуправствомъ, признается началомъ общественной жизни, обезпеченіемъ всеобщей справедливости и источникомъ общаго счастія.

„Но всеобщее равновѣсіе, при неравенствѣ силъ, есть мечта“,—возражаетъ индивидуализму коммунистъ;—„сильный всегда будетъ давить слабаго и заставитъ его работать въ свою пользу. Добытое чужою работою, за исключеніемъ удовлетворенія потребностей, составитъ для сильнаго, въ свою очередь, новую силу; образуетъ собственность, образуетъ капиталъ, на ко-

торыя онъ снова, дешевле дѣйствительной стоимости, купитъ себѣ услуги слабаго и бѣднаго. Въ результатѣ вашего порядка вещей, вашего неограниченнаго простора личности и уединенія въ кругу собственныхъ интересовъ, будетъ всеобщее рабство, при исключительномъ господствѣ не многихъ счастливыхъ избранниковъ, и всеобщая отягчающая бѣдность, при тунеядствѣ меньшинства. Нужно сдѣлать такъ", заключаетъ коммунистъ,—„чтобы *всѣ* заботились *о каждомъ*, и никто не смѣлъ брать больше того, что ему дадутъ. Обезпечьте каждому совершенно равное участіе въ дарахъ природы, и вы тѣмъ обезпечите самую возможность труда. А обезпеченіемъ труда обезпечивается самая свобода личнаго дѣйствія. Между тѣмъ, увѣренность каждаго въ неизмѣнномъ полученіи справедливаго вознагражденія и неизбѣжная для всѣхъ необходимость достигать этого вознагражденія именно трудомъ уничтожитъ тунеядство и увеличитъ трудъ каждаго въ отдѣльности: а чрезъ то самое и увеличится идущая въ раздѣлъ всѣмъ сумма предметовъ личнаго наслажденія".

Итакъ, *зависть*, съ насильственнымъ нивелированіемъ всѣхъ посредствомъ общества, признается опять закономъ общественной жизни, началомъ справедливости и средствомъ къ достиженію всеобщаго счастія.

Но зависть, по самому существу своему, противна той *дружности*, которая составляетъ необходимое основаніе общества. Поэтому, ставить ее началомъ общественной жизни, значитъ вступать въ прямое логическое противорѣчіе.—И въ этомъ состоитъ коренная ошибка обѣихъ системъ.

Въ практическомъ примѣненіи своемъ, зависть не иначе можетъ разрѣшиться, какъ въ личное насиліе. Будетъ ли то насиліемъ, въ формѣ личнаго самоуправства, какъ допускаетъ индивидуализмъ, или насиліемъ со стороны всего общества, какъ требуетъ коммунизмъ;—явится ли оно неизбѣжнымъ послѣдствіемъ общественнаго устройства, какъ это видимъ въ индивидуализмѣ, или будетъ первымъ актомъ, съ котораго начинается преобразованіе общества, какъ этого хочетъ комму-

низмъ:—все равно. Въ томъ и другомъ случаѣ, оно неразрывно связано съ признаваемымъ основнымъ началомъ.—И въ этомъ состоитъ вторая, уже производная ошибка той и другой системы. Полагать, что на основаніи личнаго насилія, или при допущеніи его, возможно устроить общее всѣхъ личное довольство и счастіе, значитъ вступать въ такое же прямое логическое противорѣчіе, какъ и думать, что во взаимно-враждебныхъ отношеніяхъ можетъ скрываться основаніе общественной дружности.

А полагать, что въ томъ или другомъ случаѣ, при тѣхъ или другихъ формахъ, основанныхъ на той же враждѣ и на томъ же насиліи, можетъ быть хоть тѣнь справедливости междучеловѣческихъ отношеній—просто смѣшно.

Та и другая школа очень хорошо видитъ производныя ошибки своихъ противниковъ и ловко выставляетъ на видъ. Но ни та ни другая никакъ не умѣютъ понять, что существо ошибки заключается въ общемъ ихъ коренномъ основаніи, а совсѣмъ не въ томъ, какъ оно примѣняется; что различія большаго тутъ нѣтъ, стоитъ ли насиліе и несправедливость въ самомъ началѣ, какъ исходъ, или отнесено въ конецъ, какъ дальнее послѣдствіе; что въ томъ и другомъ случаѣ насиліе остается все тѣмъ же насиліемъ, и несправедливость все тою же несправедливостію, и система, которая ихъ освящаетъ, все также негодною.

Если индивидуалистъ воображаетъ, что личною разнузданностію можно достигнуть благодѣяній общественности,—онъ дѣйствительно ошибается, и коммунистъ правъ, когда возражаетъ ему, что при неравенствѣ силъ, какое существуетъ въ современномъ обществѣ, неограниченный просторъ личности ведетъ къ несправедливому господству немногихъ личностей надъ всѣми. Но ошибка индивидуализма не въ томъ, что въ обществѣ существуетъ неравенство силъ, а въ томъ, что, при неравенствѣ силъ, дозволяется личности преслѣдовать свои исключительные интересы.

Равнымъ образомъ, если коммунистъ воображаетъ, что удовлетвореніе личныхъ нуждъ можетъ быть достигнуто пред-

установленнымъ общеніемъ собственности: то онъ заблуждается, и индивидуалистъ правъ, когда замѣчаетъ ему, что, при условіи предлагаемаго имъ равенства правъ всѣхъ и каждаго, общеніе собственности разграбитъ всѣхъ, а не успокоитъ никого. Но ошибка коммунизма не та, что онъ признаетъ равенство правъ всѣхъ и каждаго на участіе въ благахъ природы, но та, что, осуществляя это равенство въ формѣ всеобщаго принужденія, онъ надѣется достигнуть чрезъ то всеобщаго удовлетворенія.

„Всеобщее уравненіе есть мечта“, говоритъ индивидуалистъ, и говоритъ совершенно справедливо.—Неравенство лежитъ въ самой природѣ; особенности физическаго и нравственнаго устройства въ людяхъ будутъ всегда, и никакой нивелировкой вы ихъ не истребите. „Слѣдовательно мечта“,—заключаетъ индивидуалистъ,—„и всеобщее одинаковое всѣхъ удовлетвореніе равнымъ для всѣхъ общественнымъ обезпеченіемъ, и, слѣдовательно, коммунизмъ несостоятеленъ“.—Но, слѣдовательно, потому же самому несостоятеленъ и индивидуализмъ: ибо при неравенствѣ необходимо должно быть насиліе однихъ и стѣсненіе другихъ.

„Неограниченный просторъ личности есть тоже мечта“, замѣчаетъ коммунистъ, и замѣчаетъ совершенно справедливо.—Въ сущности, это есть взаимное ограниченіе одной личности другою, основанное на совершенномъ случаѣ и произволѣ. „Слѣдовательно мечта“—заключаетъ коммунистъ,—„и достиженіе личной свободы, при личномъ началѣ, и, слѣдовательно, индивидуализмъ несостоятеленъ“.—Но, слѣдовательно, потому же самому несостоятеленъ и коммунизмъ: ибо тѣмъ менѣе возможна личная свобода при всеобщемъ на всѣхъ одинаковомъ давленіи.

Обезпечивая интересы каждаго цѣлымъ обществомъ, вы не поощряете, напротивъ—ослабляете трудолюбіе“, замѣчаютъ индивидуалисты коммунистамъ, и опять—справедливо.—Какая охота особенно напрягать силы, когда трудъ заранѣе взвѣшенъ, измѣренъ, опредѣленъ, и когда результаты его заранѣе извѣстны? Неизвѣстность и борьба суть самые лучшіе возбудители энергіи.

„Предоставляя каждому неограниченное стремленіе къ собственнымъ интересамъ, вы устанавливаете не вознагражденіе за трудъ, а напротивъ—похищеніе труда", замѣчаютъ своимъ противникамъ коммунисты, и—тоже справедливо.—Не самое ли естественное побужденіе—сработать всего меньше, а взять всего больше, если только мнѣ исключительно предоставлено опредѣлить себѣ цѣну?

Индивидуалистъ предоставляетъ лицу иниціативу: совершенно справедливо. Безъ личной иниціативы не можетъ быть никакого преуспѣянія. Все обратится въ застой и спячку. Общество явится однообразною, откуда-то разъ на всегда заведенною машиною. Родъ человѣческій перестаетъ быть живымъ организмомъ, а становится въ рядъ съ слѣподѣйствующими явленіями природы.—Но несправедливъ индивидуализмъ, что отдѣльному лицу въ немъ же самомъ предоставляетъ и цѣль его дѣйствія.

Коммунистъ подчиняетъ лицо цѣлямъ общественнымъ: совершенно справедливо. Безъ этого никакія человѣческія права, даже самыя священныя, не обезпечены. Человѣкъ пріучается смотрѣть на подобныхъ себѣ, какъ на своихъ естественныхъ враговъ. Общество разъединяется; и семья человѣческаго рода превращается въ звѣрей, готовыхъ, при первомъ случаѣ, изгрызть другъ друга.—Но несправедливъ коммунизмъ, что иниціативу общественнаго дѣйствія предоставляетъ всему же обществу.

Идеалъ коммунистическаго устройства есть механическій приборъ, правильный, но безжизненный. Идеалъ индивидуализма—стая звѣрей живыхъ, но дикихъ.

Индивидуализмъ есть эгоизмъ непосредственный, дѣйствующій во всей случайности произвола и жертвующій многими для нѣсколькихъ. Коммунизмъ есть эгоизмъ, возведенный въ абстрактъ, дѣйствующій въ силу предуставленной необходимости и жертвующій всѣми—ни для кого.

Но къ счастію человѣчества, полное осуществленіе ни той ни другой системы невозможно. Люди—не машины и не звѣри,

а существа духовно-нравственныя. На зло всѣмъ системамъ на свѣтѣ, въ человѣческой природѣ есть бездна непослѣдовательности, уходящей отъ всякаго искуственнаго построенія законовъ человѣческой жизни, и тѣмъ самымъ обличающей ихъ искуственность. Въ силу того, зачастую случается, что не смотря на всю искренность, твердость и крайнюю послѣдовательность проповѣдуемыхъ убѣжденій, жесточайшіе въ теоріи безбожники и попиратели всѣхъ понятій о нравственномъ долгѣ, на практикѣ являются добрѣйшими людьми, нѣжными друзьями, великодушными гражданами. Равнымъ образомъ, искреннѣйшіе проповѣдники страшнѣйшаго нравственнаго ригоризма, строжайшіе въ теоріи каратели самомалѣйшихъ слабостей, не допускающіе никакихъ, даже самыхъ невиннѣйшихъ ласкъ чувству, на дѣлѣ оказываются, нерѣдко, отъявленными мерзавцами и подлецами. Въ силу того самаго, и индивидуализмъ, нынѣ господствующій въ наукѣ и во всецѣломъ европейскомъ бытѣ, въ сущности, вовсе не такъ безжалостенъ, какъ онъ хочетъ себя корчить, вопреки здравому смыслу и прямому нравственному чувству. То же самое, навѣрное, случилось бы и съ коммунизмомъ, еслибъ удалось ему когда стать на твердую ногу въ практикѣ. Не слишкомъ-то бы удалось ему прекратить личную иниціативу, или же остановить естественно присущее каждому стремленіе къ личнымъ интересамъ! Насколько слова наши справедливы относительно той и другой изъ упоминаемыхъ системъ, разительнѣйшимъ доказательствомъ можетъ служить одна изъ самыхъ вопіющихъ несообразностей, успѣвшая проникнуть въ ту и другую, даже въ теоріи. Кто бы могъ подумать, что, въ послѣдовательномъ приложеніи основнаго соціальнаго начала къ отношеніямъ половымъ и родовымъ, индивидуалистъ явится защитникомъ семейныхъ узъ и родственныхъ обязанностей, и даже,—вопреки коммунизму! А между тѣмъ,—это такъ же вѣрно, какъ вѣрно и то, что извѣстные оттѣнки коммунизма склоняются, напротивъ, на обратную сторону. Это обстоятельство сколько показываетъ непослѣдовательность той и другой теоріи,—неизбѣжную принадлежность всякой одно-

сторонней системы, при соприкосновеніи съ вопросами наиболѣе жизненными и близкими: столько же, съ другой стороны, именно тѣмъ самымъ свидѣтельствуетъ опять о ихъ обоюдной лжи и односторонности.

Гдѣ же истина?

Истина въ томъ самомъ ученіи, на которое одинаково ссылается та и другая сторона въ свое подтвержденіе, одинаково не понимая, ни та ни другая его духа. Истина—въ христіанствѣ. Вслѣдъ за своими авторитетами, и г. Дубенскій, въ защиту отстаиваемаго имъ ученія, тоже ссылается на христіанство. „Только въ XIX вѣкѣ, сбросившемъ съ христіанскаго человѣчества иго коммунизма,"—говоритъ онъ, рисуя въ блестящемъ свѣтѣ свой индивидуализмъ,—„поняли настоящимъ образомъ свободу и значеніе человѣка." И вслѣдъ за тѣмъ, тотчасъ излагаетъ свой уже приведенный и разобранный нами взглядъ противъ членовности человѣческаго общества, противъ людскаго братства. Авторъ воображаетъ, вѣроятно, что всѣ эти, такъ называемыя имъ „понятія XIX вѣка" и выражаютъ, дѣйствительно, христіанство.... Но впрочемъ, объ этомъ и спорить не стоитъ. Нужно посовѣтовать автору только развернуть Евангеліе, на любой страницѣ. Тамъ онъ увидитъ, къ своему удивленію, до какой степени обратно должны быть приложены употребленные имъ эпитеты „христіанскій" и „классическій." Въ словахъ г. Дубенскаго слышно обычное воззрѣніе западныхъ ученыхъ, въ которомъ постоянно смѣшивается христіанство собственно съ католичествомъ. Къ этому послѣднему, дѣйствительно, вполнѣ могутъ и должны быть отнесены обыкновенные возгласы о возвышеніи, будто бы, христіанствомъ человѣческой личности (какъ личности собственно) и объ освященіи *личнаго* самоуваженія. Но римское пониманіе христіанской истины, и сама христіанская истина—не одно и то же.—То же самое, только совсѣмъ въ другомъ видѣ, случается, въ свою очередь, и съ соціалистами. Обращаясь гораздо правильнѣе своихъ противниковъ за ссылками къ первоначальному источнику христіанскаго ученія, съ желаніемъ показать, что ихъ

система есть будто бы только возстановленіе христіанства въ чистомъ его видѣ,—тѣ, съ своей стороны, не менѣе непростительно смѣшиваютъ духовное съ матеріальнымъ, и правила, касающіяся отношеній чисто нравственныхъ, низводятъ, совершенно вопреки ихъ точному смыслу, въ кругъ предметовъ и потребностей, грубо и односторонне чувственныхъ.

Не распространяясь болѣе объ этихъ недоразумѣніяхъ, перескажемъ кратко, въ заключеніе своихъ замѣчаній, тѣ истинныя основанія соціальной науки, которыя отчасти уже сами собой выходятъ изъ предыдущаго сопоставленія двухъ теорій, построенныхъ на началѣ ложномъ, и которыя не мнимо, а дѣйствительно согласны съ христіанствомъ. Вотъ они:

Жизнь есть подвигъ, а не наслажденіе.

Трудъ есть долгъ, а не средство своекорыстія.

Верховный законъ междучеловѣческихъ отношеній есть всеотдающая себя любовь, а не зависть.

Люби ближняго, какъ самого себя,—вотъ въ двухъ словахъ все начало должныхъ общественныхъ отношеній, истинно христіанскихъ и истинныхъ во всякомъ другомъ значеніи этого слова.

Лицо сохрани свою иниціативу, владѣй всею свободою, какою одарено, употребляй всю энергію, къ какой способно, но клони всѣ свои дѣйствія на благо человѣчества, на пользу братьевъ. Представьте, что это соблюдается всѣми,—и никакого противорѣчія, никакого неудобства нѣтъ: общество сохраняется, трудъ увеличивается, счастіе всѣхъ и каждаго достигается.

Можетъ быть, на сказанное нами г. Дубенскій отвѣтитъ такъ же, какъ отвѣтилъ онъ на подобное нашему возраженіе со стороны Иллюстраціи,—словами своего учителя Бастіа, особенно имъ уважаемаго, какъ мы замѣтили. „Но неужели соціалисты“—говоритъ словами Бастіа г. Дубенскій—„упорно будутъ отвергать, несмотря на свидѣтельство всемірныхъ фактовъ, ту истину, что человѣческія отношенія дѣлятся на двѣ категоріи: одни зависятъ отъ начала симпатическаго—ихъ предоставляемъ мы наукамъ нравственнымъ, другія раждаются изъ личнаго интереса, существуютъ между людьми незнакомыми (кото-

рые ничѣмъ не обязаны другъ другу кромѣ правосудія) и опредѣляются добровольными условіями свободно обсужденными? Эти-то послѣднія отношенія составляютъ область политической экономіи. Но эти отношенія такъ же невозможно основать на принципѣ симпатіи, какъ нельзя построить семейныя и дружескія отношенія на принципѣ личнаго интереса." (№ 23 Ж. З. стр. 125).

Скажемъ на это возраженіе г. Дубенскаго, въ свою очередь, слѣдующее. Что̀ касается лично до насъ, то мы далеко не раздѣляемъ всей полноты уваженія, какое питаетъ г. Дубенскій къ авторитетамъ политической экономіи, а къ Бастіа, какъ къ наиболѣе пустозвонному изъ нихъ, во многихъ случаяхъ,—по преимуществу. Отдаемъ всѣмъ имъ полную справедливость тамъ, гдѣ дѣло идетъ до разработки вопросовъ экономическихъ въ тѣснѣйшемъ смыслѣ слова. Что же касается до вопросовъ соціальныхъ, въ болѣе обширномъ смыслѣ, то не разъ приходится у нихъ встрѣчаться съ понятіями до такой степени странными, неясными, противорѣчащими,—что это, признаемся, нисколько не можетъ насъ обязывать къ согласію съ ними. Вотъ, хоть бы и это мѣсто изъ Бастіа. Ну, скажите, есть ли тутъ хоть капля смысла? Человѣческія отношенія, видите, дѣлятся на двѣ категоріи: одни зависятъ отъ начала симпатическаго, (какъ слышна тутъ пустота француза, употребившаго фразу и воображающаго, что онъ сказалъ мысль: что такое это за начало *симпатическое?*) Другія отношенія раждаются отъ личнаго интереса.—Чтожъ, скажемъ мы,—въ человѣкѣ, по представленію Бастіа, существуютъ двѣ совершенно отдѣльныя полости, не смѣшиваемыя одна съ другою: въ одной онъ долженъ блюсти свой интересъ, (мы говоримъ *долженъ*, ибо дѣло идетъ объ *основаніи* соціальныхъ отношеній); въ другой долженъ быть симпатиченъ. Но гдѣ же эти полости? Какъ ихъ отличить? Гдѣ сторона личнаго интереса, и гдѣ—симпатіи? Когда, въ какой день и часъ, я долженъ быть симпатичнымъ, и когда—интересаномъ? Къ кому питать дружбу, и въ комъ видѣть доходную статью? Развѣ всѣ люди, съ которыми я нахожусь въ сношеніяхъ, не одни и тѣ же люди? Развѣ

завтра для меня долженъ быть совсѣмъ иной законъ, не тотъ же самый, что̀ вчера, что̀ нынѣ? Развѣ, наконецъ, самыя отношенія, въ какія я вступаю по симпатичному началу, и въ какихъ нахожусь по началу интереса,—развѣ это суть не одни и тѣ же отношенія, касаются не однихъ и тѣхъ же предметовъ, вызываютъ не одни и тѣ же дѣйствія? Развѣ семейныя и дружескія отношенія, которыя не подлежатъ, по словамъ Бастіа, началу личнаго интереса,—развѣ эти отношенія не могутъ касаться также денегъ, труда, размѣна услугъ и всего прочаго, что̀ вращается въ отношеніяхъ, основанныхъ на началѣ интереса? И что за различеніе! Люди незнакомые не обязаны другъ другу ничѣмъ кромѣ правосудія; а друзья и семейство имѣютъ право на симпатію! Итакъ, науки нравственныя, къ которымъ, по словамъ Бастіа, относятся только симпатическія отношенія, касаются, слѣдовательно, только семейныхъ и дружескихъ связей!! Отношенія ко всѣмъ прочимъ смертнымъ уже не имѣютъ нравственнаго значенія,—человѣкъ тутъ, стало, перестаетъ быть существомъ духовно-нравственнымъ, подлежащимъ нравственному, закону!!!—И потомъ, какъ понять еще, что по отношенію къ лицамъ, къ которымъ мы не обязаны симпатическими отношеніями (!), и въ поступкахъ съ которыми стоимъ внѣ вѣдѣнія нравственныхъ наукъ (!), мы „*ничѣмъ не обязаны кромѣ правосудія?*“ Да развѣ правосудіе не имѣетъ нравственнаго характера и не относится къ предметамъ наукъ нравственныхъ?... Нѣтъ, сколько ни ворочайте, съ какой стороны ни заходите, а здраваго смысла не отыщете: не отыщете простой логической связи между двумя понятіями, какой имѣемъ право требовать отъ всякаго, сколько нибудь смыслящаго школьника.

Одно серьезное возраженіе можемъ встрѣтить противъ своихъ замѣчаній, и спѣшимъ предупредить его. Намъ скажутъ: но развѣ возможно гдѣ либо всеобщее осуществленіе утверждаемыхъ вами соціальныхъ началъ? Соглашаемся, что начала эти вполнѣ истинны и единственно истинны. Но личное самолюбіе, тѣмъ не менѣе, врождено человѣку, и отказаться отъ него почти сверхъестественно. Гдѣ вы найдете государство такихъ святыхъ

людей, которые всѣ добровольно бы осуществляли въ своихъ общественныхъ отношеніяхъ законъ любви, во всей его чистотѣ? И возможно ли же на предположеніи такого осуществленія основать политическую экономію?

На это нашъ отвѣтъ: но гдѣ же поводъ предполагать, что мы считаемъ государство такою сферою, въ которой возможно осуществленіе сказанныхъ соціальныхъ началъ? И что политическую экономію мы считаемъ такою наукою, которая смѣетъ касаться этихъ началъ? Въ томъ-то все и дѣло. Государство, по самой идеѣ своей, есть сфера правды чисто отрицательной; оно есть начало собственно оберегательное,—организмъ, возникающій именно подъ условіемъ безнравственности, не на чемъ другомъ основанный, какъ именно на предположеніи необходимаго нарушенія истинныхъ законовъ общественной жизни. Политическая экономія, съ своей стороны, есть наука также чисто отрицательная; значеніе ея тоже не болѣе, какъ оберегательное; она существуетъ опять также подъ условіемъ неизбѣжнаго нарушенія началъ и истинъ общественныхъ и, притомъ, собственно въ сферѣ экономической. Ея дѣло—представить общій ходъ и связь существующихъ экономическихъ отношеній, основанныхъ на *ложномъ,* самомъ по себѣ, началѣ личнаго интереса; ея назначеніе—показать общія мѣры, которыми государство можетъ сколько нибудь предотвращать постоянныя и неизбѣжныя въ этой сферѣ нарушенія человѣческихъ правъ, искусно пользуясь, безъ нарушенія свободы отдѣльныхъ лицъ, внутреннею борьбою самаго этого начала личнаго интереса. И только. Но въ такомъ случаѣ, не ея же дѣло браться за начала положительныя, или, что̀ еще хуже, выдавать за положительныя начала свои собственныя,—отрицательныя и условныя. И, тѣмъ болѣе, не ея дѣло придавать значеніе обязательности и законности тому самому, что, по самому существу своему, есть именно отрицаніе всякихъ обязанностей и нарушеніе истиннаго закона. Въ этомъ то собственно и состоитъ различіе между науками нравственными и экономическими, (равно какъ между нравственными и политическими вообще;) а не въ безсмысленномъ различеніи между

симпатичностію и корыстностію, какъ будто одинаково въ человѣкѣ законными, и—между друзьями и незнакомыми, какъ будто тѣ и другіе не тѣ же люди и не одинаково намъ братья, и не въ одинаково нравственныхъ отношеніяхъ къ намъ находятся! И противъ этого-то собственно правила грѣшатъ какъ большинство политико-экономовъ,—эти, называемые авторомъ индивидуалисты,—такъ и новая соціальная школа, характеризуемая авторомъ подъ общимъ названіемъ коммунизма. На этомъ-то постоянномъ смѣшеніи и основаны всѣ ихъ ошибки. Толкуя о началахъ отрицательныхъ, дѣйствующихъ въ сферѣ безнравственности, они даютъ имъ значеніе законовъ положительныхъ; или, ратуя противъ злоупотребленій въ сферѣ отрицательной, во имя законовъ положительныхъ, хотятъ низвести эти послѣдніе въ ту же сферу безнравственности, и дѣйствіе ихъ подчинить тѣмъ же отрицательнымъ условіямъ.

Нѣтъ, признайте, что людямъ врождено самолюбіе; что въ каждомъ изъ насъ существуютъ звѣрскіе инстинкты; что рѣдкій охотно жертвуетъ другимъ своими интересами, рѣдкій чувствуетъ себя членомъ семьи человѣческой, братомъ всѣхъ людей; но не говорите же, что все это такъ и должно быть; что это отношенія истинныя; что отъ нихъ происходитъ и на нихъ основано все благо человѣчества; что дѣйствовать и мыслить иначе, значитъ дѣйствовать и мыслить ко вреду человѣчества; что проповѣдывать братство и любовь значитъ утверждать нравственный коммунизмъ....

Равнымъ образомъ, признайте, что всѣ люди братья; что между всѣми ими должно бы быть равенство, любовь, взаимопожертвованіе, общеніе: но не мечтайте же, что эти святыя и высокосвободныя отношенія могутъ быть предметомъ внѣшнепринудительнаго закона, и что всеобщее осуществленіе ихъ на землѣ когда нибудь возможно...

Равенство и братство всегда останутся на землѣ идеаломъ, только идеаломъ; это—желанный образъ, который всегда долженъ предноситься человѣчеству, и несомнѣнно всегда будетъ ему предноситься въ его прогрессивномъ движеніи, но который

не осуществится никогда. На этомъ основана самая идея прогресса. Это—дальнѣйшая мѣта, общее мѣрило, верховный законъ, съ которымъ должны сообразоваться всѣ соціальныя науки; онѣ всѣ должны имѣть его въ виду, всѣ должны направляться къ его осуществленію, при полной увѣренности въ его неосуществимости; но именно *его* имѣть въ виду, и къ *нему* направляться. Великую заслугу оказала бы человѣчеству политическая экономія, если бы хорошенько поняла въ этомъ смыслѣ свою задачу и старалась ее выполнить. Это было бы гораздо полезнѣе, чѣмъ всѣ ея пустые теперешніе споры съ настоящими и мнимыми соціалистами.

О СУДЬБѢ УБѢЖДЕНІЙ.

ПО ПОВОДУ СМЕРТИ

А. С. ХОМЯКОВА.

(Рѣчь, произнесенная въ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности 6 Ноября 1860 г.)[1])

Мм. Гг.! Г. временный предсѣдатель, въ рѣчи своей, по поводу нашей утраты, затронулъ вопросъ, внѣ предѣловъ простаго личнаго воспоминанья. Въ недавней потерѣ онъ указалъ намъ отраженье общей судьбы, какъ-будто писанной нашему времени. Онъ напомнилъ намъ странный фактъ, уже переставшій казаться страннымъ,—такъ онъ сдѣлался обыкновененъ: лучшіе наши дѣятели уносятся преждевременно, въ цвѣтѣ лѣтъ, въ полнотѣ силъ, мало того,—уносятся въ ту минуту, когда именно и наступаетъ для нихъ зрѣлая пора, когда кончается процессъ внутренняго развитія и только что открывается настоящая общественная дѣятельность.

Фактъ знаменательный! Имъ поразился еще Гоголь, впослѣдствіи самъ испытавшій ту же участь. Кончина первоклассныхъ нашихъ поэтовъ, не только неожиданная, но насильственная

---

[1]) Напечатано въ *Русской Бесѣдѣ* 1860 года. Книга II. Приложеніе: Въ память объ Алексѣѣ Степановичѣ Хомяковѣ. Стр. 61–84.

въ полнѣйшемъ смыслѣ, внушила ему мысль искать въ этомъ обстоятельствѣ даже особый, такъ сказать, ниспосылаемый нравственный урокъ,—что-то чрезвычайное, самою чрезвычайностію долженствующее поражать современниковъ. „Три первыхъ поэта“—восклицаетъ онъ въ одномъ изъ извѣстныхъ своихъ писемъ, „Пушкинъ, Грибоѣдовъ и Лермонтовъ, одинъ за другимъ, въ виду всѣхъ, были похищены насильственною смертію, въ порѣ самаго цвѣтущаго мужества, въ полномъ развитіи силъ своихъ, и никого это не поразило! Даже не содрогнулось вѣтреное племя!“

Нравственное значеніе въ этомъ фактѣ, конечно, есть, какъ и во всякомъ житейскомъ обстоятельствѣ, какъ во всякомъ даже явленіи природы. Но попробуемъ взглянуть на него съ физіологической точки зрѣнія. Намъ кажется, что глубина значенія скрывается здѣсь не въ чрезвычайности факта, а, напротивъ, въ его естественности, въ томъ именно самомъ, что въ немъ нѣтъ ничего особеннаго.

Что это, въ самомъ дѣлѣ—чистая случайность? Но случай, однообразно повторяющійся, перестаетъ быть случаемъ даже для обыкновеннаго воззрѣнія, признающаго существованіе случая вообще. Статистикъ изъ суммы отдѣльныхъ случаевъ выводитъ среднія цифры и записываетъ: что врачи повсюду пользуются сравнительно меньшимъ долголѣтіемъ, чѣмъ поселяне; что въ младенческомъ возрастѣ вообще людей умираетъ всего болѣе, въ среднихъ лѣтахъ всего менѣе; что изъ странъ—Алжиръ представляетъ пропорціонально втрое большую смертность, чѣмъ Швеція, а Австрія на третью долю больше, чѣмъ Англія, и на четвертую меньше, чѣмъ Россія; что въ Индіи, между Европейцами, бываетъ смертность втрое сильнѣйшая, чѣмъ между туземцами, а въ Америкѣ и на Тихомъ океанѣ, наоборотъ, туземное населеніе не только умираетъ въ большемъ количествѣ противъ Европейскаго, но исчезаетъ совершенно, помимо всякихъ насильственныхъ мѣръ, какъ бы таетъ отъ одного соприкосновенія съ цивилизующею колонизаціею. Предположимъ, какъ и бываетъ, что эти и подобные имъ выводы, въ продол-

женіе нѣсколькихъ лѣтъ и даже десятилѣтій, безпощадно повторяются одни и тѣ же. Тогда и обыкновенное воззрѣніе согласится, что хотя каждый фактъ, взятый въ отдѣльности, и былъ случаемъ, словомъ — обстоятельствомъ, которое могло быть и не быть, но что вся сложность ихъ, или цѣлая группа, представляетъ *законъ*; что существуютъ нѣкоторыя постоянныя причины, вслѣдствіе которыхъ общая, всѣмъ прирожденная необходимость умирать, опредѣляется для извѣстной страны, возраста, образа жизни, происхожденія и т. под., болѣе частнымъ образомъ, какъ необходимость смертности въ томъ именно, а не другомъ количествѣ. Такимъ образомъ, обыкновенное воззрѣніе отказывается, на этотъ разъ, отъ своего понятія о случайности и оставляетъ его только для мелочи обстоятельствъ, которыми отличается каждое отдѣльное явленіе отъ другихъ сродныхъ.

Но станемъ немного выше обыкновеннаго воззрѣнія, — намъ придется ограничить понятіе случайности даже въ приложеніи къ отдѣльному явленію. Такой-то NN умеръ, говорятъ, случайно: онъ выѣхалъ, а вѣтеръ былъ сѣверо-восточный, онъ не остерегся, не запахнулся, и схватилъ plevritis. Если бы не это случайное обстоятельство, все прошло бы благополучно. Но, однако, это обстоятельство было: онъ выѣхалъ, и при сѣверовосточномъ вѣтрѣ, и не запахнулся? Слѣдовательно, причина смерти была дана, — то не правда ли, и послѣдствіе, т. е. смерть должна была произойти неизбѣжно? Да, говорятъ, не подвернулся тутъ хорошій докторъ; если бъ онъ случился, болѣзнь была бы прервана, и несчастіе не совершилось. Но, однако, это *если* не существовало, и, слѣдовательно, опять, должно же было произойти то, что произошло. И такъ далѣе, и такъ далѣе, чѣмъ болѣе мы входили бы въ подробности явленія, тѣмъ болѣе находили бы основаній признать его неизбѣжнымъ; и если бъ мы перебрали всю безчисленную мелочь самихъ обстоятельствъ, отъ которыхъ оно зависѣло, мы увидѣли бъ, что каждое изъ нихъ само, опять, связано было совокупностію условій, вслѣдствіе которыхъ каждое было такъ, а не иначе, потому что должно было быть такъ, и не могло быть

иначе. Когда открылась бы намъ исторія организма, до малѣйшихъ подробностей, отъ самаго зарожденія и далѣе, въ каждый моментъ жизни: когда бы прослѣдили мы, какъ, подъ взаимнымъ вліяніемъ наслѣдственныхъ стихій и внѣшней среды, сообразно со степенью ихъ взаимной упругости, въ общей, однако, покорности ихъ высшему закону природы, образовывалось такое, а не другое строеніе организма, съ тѣми, а не другими развѣтвленіями тончайшихъ сосудовъ; когда бъ уловили мы потомъ, какъ, подъ вліяніемъ особенности въ строеніи организма, развивалась особенность въ питаніи и во впечатлительности, а затѣмъ и во всей возвратной физической и духовной дѣятельности; какъ, потомъ, самая дѣятельность воздѣйствовала, въ свою очередь, частію на среду, измѣняя, иногда и покоряя ее, частію на организмъ, поддерживая, истощая, иль даже перестроивая, частію на себя саму, рождая привычку, опредѣляя свое будущее направленіе; когда бъ мы все это видѣли, или, точнѣе сказать, могли видѣть,—тогда открылось бы намъ, что были свои необходимыя условія даже для такого обстоятельства, что въ данную минуту двигательный нервъ бездѣйствовалъ, мускулъ не сжался и рука не поднялась запахнуть грудь, угрожаемую вѣтромъ. Словомъ, оказалось бы, что ничто въ мірѣ не приходитъ внезапно, такъ же какъ и не уходитъ *даромъ*, и потому самому ничто не внезапно, что ничто не даромъ; слѣдовательно, ничто не случайно, ниже самая одинокая дробь самаго отдѣльнаго явленія, и потому именно опять, что, строго говоря, никакая дробь не одинока и никакое явленіе не отдѣльно.

Но гдѣ же свобода? спросятъ меня.—Но гдѣ же и основаніе предполагать, что міръ внѣшне-являемаго есть міръ свободы? Всякое явленіе имѣетъ предѣлъ, всякій предѣлъ предполагаетъ ограниченіе: гдѣ же тутъ свобода? Что можетъ быть свободнѣе мысли? Но чтобъ явиться, мысль нуждается въ словѣ; а размѣръ слова ограниченъ, и само оно есть результатъ постепеннаго движенія. Мысль даже для того, чтобы возникнуть опредѣленно, имѣетъ нужду въ предварительномъ опытѣ; а опытъ подчиненъ закону постепенности. Не разумнѣе ли сказать, что свободѣ

принадлежитъ не самое явленіе, какъ явленіе, а его самовмѣненіе, признаніе его своимъ, направленіе къ нему своего изволенія? Да и здѣсь возможность отрицанія—неодобреніе и сожалѣніе, относимое къ собственнымъ моимъ поступкамъ,—не служитъ ли это свидѣтельствомъ, что даже въ этой области свобода бываетъ безсильна? И наконецъ, не случается ли, что самое это признаніе своимъ и не своимъ, самое даже это самовмѣненіе бываетъ призрачнымъ: то, что признавали мы своимъ, черезъ часъ считаемъ не болѣе какъ стихійнымъ требованіемъ, обманувшимъ насъ самихъ. Не показываетъ ли это, что свобода, въ самомъ корнѣ своемъ, какъ бы подрыта и задавлена? И если есть сила, которая бы могла возстановить ее, то не должна ли и она, въ силу самаго существа вещи, вступить въ тотъ же міръ явленій, и слѣдовательно подчиниться тоже условіямъ постепенности и взаимности?

Итакъ, въ мірѣ нравственномъ, какъ и въ мірѣ физическомъ, въ цѣломъ ходѣ, какъ и мелкихъ подробностяхъ, во всей являемой жизни случайности нѣтъ и быть не можетъ. То, что мы называемъ случаемъ, есть не болѣе какъ математическій x, простой указатель величины, несомнѣнно существующей, но покамѣстъ не опредѣленной. Это—одно изъ словъ, которыя придумало человѣчество, въ удовлетвореніе неотразимому требованію причинности: причину указать нужно, а между тѣмъ явленіе такъ единично, и причинъ столпилось совокупно такое множество, что ни въ единичности явленія не откроешь общаго, ни во множествѣ причинъ не найдешь единства. Но это—только близорукость зрѣнія, а частію и свидѣтельство несущественности самаго міра явленій. Въ строгомъ смыслѣ, случайно только то, что не предопредѣлено разумно. Въ этомъ смыслѣ, если угодно, всѣ явленія будутъ случайны, поколику ни одно изъ нихъ само не предшествуетъ себѣ, какъ идея въ своей непосредственной причинѣ. Но, при сколько-нибудь послѣдовательномъ размышленіи, должны же будемъ предположить, поверхъ слѣпыхъ частныхъ причинъ, высшую разумную причину, а слѣдовательно и отвергнуть первоначальное предположеніе о случайности. Наконецъ,

въ томъ же смыслѣ, зло случайно, ибо оно есть даже прямое противорѣчіе идеѣ; и оно, дѣйствительно, есть единственно случайное. Но и здѣсь не можемъ не признать, что, разъ явясь случайно, должно же оно, въ дальнѣйшемъ своемъ ходѣ, подвергнуться всей неумолимости закона послѣдовательности и взаимодѣйствія, которому вообще подчиненъ міръ явленій.

Какъ бы то ни было, но предъ нами явленіе постоянное, слѣдовательно, и причины для него существуютъ постоянныя. Извѣстнаго рода дѣятельность у насъ прекращается преждевременно: не свершивъ пути, она прерывается смертію дѣятелей, или же вдругъ становится въ тупикъ, сворачиваетъ въ сторону, какъ видимъ это въ Гоголѣ, и также опять кончается смертію дѣятеля. И это не вчера или сегодня, а постоянно. Отвѣтъ ясенъ: стало быть, такіе люди намъ не нужны, говоря телеологически. Или, переведя это на языкъ простой причинности: стало быть, нѣтъ полныхъ жизненныхъ условій для такой дѣятельности. Остается указать: чѣмъ же эти дѣятели провинились предъ нами, или чего не достаетъ въ нашей жизни для ихъ дѣятельности?

Не виноватъ ли здѣсь самый родъ дѣятельности,—не противенъ ли онъ законнымъ историческимъ стихіямъ народа, или всѣмъ физіологическимъ его условіямъ? Трудно было бы ожидать, въ самомъ дѣлѣ, особеннаго процвѣтанія музыки въ Англіи, иль философіи въ Турціи. Но мы теряемъ ученыхъ, какъ и литераторовъ, музыкантовъ, какъ и живописцевъ.—Погибаютъ ли у насъ, по крайней мѣрѣ, относительно легкіе таланты,—можетъ быть, заслоняется ихъ личная дѣятельность другою, болѣе сильною? Въ тѣни дуба, не удобно рости мелкому кустарнику.—Напротивъ, не спорится у насъ именно дѣятелямъ крупныхъ размѣровъ, а посредственность процвѣтаетъ. А родятся, однако, и выростаютъ у насъ сильные таланты по всѣмъ родамъ, не въ примѣръ другимъ странамъ, часто. Давно замѣчено, что въ литературѣ у насъ художниковъ даже болѣе, чѣмъ беллетристовъ. И это при всей ограниченности размѣровъ, съ какой, относительно къ массѣ народонаселенія, распространено обра-

зованіе, сравнительно съ другими странами! Стало быть, почва здорова, есть откуда тянуть жизненные соки; стало быть, бѣда собственно въ атмосферѣ, неблагопріятна среда, въ которой долженъ развернуться цвѣтъ.—Что жъ, не служитъ ли помѣхою временное, одностороннее настроеніе общества? Одинъ сильный интересъ охватилъ цѣлый край, и нѣтъ простора другой дѣятельности? Въ минуту разгара реформаціи, не могла бы, напримѣръ, имѣть успѣха дѣятельность поэтическая или ученая, безъ отношенія къ тогдашнему религіозному движенію.—Но я желалъ бы, чтобы мнѣ указали: какой же интересъ и притомъ въ продолженіе столькихъ лѣтъ, владѣетъ нашимъ обществомъ. Я желалъ бы, чтобы мнѣ указали хоть воззрѣніе, котораго бы у насъ крѣпко держались; указали бы даже просто какое-нибудь воззрѣніе, назвали хоть какой-нибудь общій образъ мыслей! Замѣчательно, напротивъ, что печальная участь тѣхъ-то и постигаетъ, въ комъ слышенъ общій интересъ, кто имѣетъ воззрѣніе, кто проводитъ въ общество образъ мыслей. Въ этомъ собственно и сходятся наши, рано погибающіе, дѣятели; это и есть ихъ существенная черта: ихъ дѣятельность, духовная, высоко-нравственная, дѣятельность, въ которой всѣ силы души съ глубокаго стихійнаго дна собираются и подымаются въ сознаніе, чтобы перейти потомъ опять со всею силою въ жизнь, при посредствѣ движущей личной энергіи, однимъ словомъ—дѣятельность убѣжденія. Въ остальномъ выступаетъ разница и даже противоположность.—Итакъ, ужели мы положительно безнравственны, имѣемъ прямое отвращеніе ко всему честному, окончательно погрязли въ грубо матеріальные интересы?—Нельзя сказать и того. Мы любимъ науку и искуство, сочувствуемъ талантамъ, рукоплещемъ ихъ успѣхамъ, плачемъ о потеряхъ, много говоримъ о долгѣ и чести, проникаемся негодованіемъ противъ общественной безнравственности; хотя, правда, и не прочь, при всемъ этомъ, показать, что вотъ мы отличаемъ честное отъ безчестнаго, и знаемъ, что цѣнить и чего отвращаться.

Мнѣ кажется, пока мы разбирали фактъ, болѣзнь, которая служитъ ему причиной, уже названа. Въ томъ-то и дѣло,

что въ насъ нѣтъ ни того, ни другаго, ни этого; нѣтъ духовной полноты и искренности,—какое-то полузнаніе, полуневѣжество, получестность, полубезчестность, полумысль, полусонъ, полусочувствіе, полуравнодушіе, однимъ словомъ—бездушіе. Прямая безнравственность, какъ всякое крайнее отрицаніе, способна возбуждать, по крайней мѣрѣ, противодѣйствіе и тѣмъ оживлять, хотя косвенно. А у насъ едва ли не простая апатія, съ наружными признаками одушевленія. Нравственный воздухъ настолько рѣдокъ, что дышать можно, но кровь достаточно не окисляется; говорить можно, но слышатъ только ближайшіе, дальніе ряды схватываютъ лишь звуки, ловятъ одни внѣшнія движенія и на нихъ успокоиваются.

Предоставляю, мм. гг., повѣрить мое замѣчаніе собственными вашими наблюденіями надъ состояніемъ нашей литературы и, такъ называемой, мыслящей части общества вообще: надѣюсь, никто изъ васъ не упрекнетъ меня въ преувеличеніи. Предлагаю припомнить вамъ общія жалобы на недостотокъ серьезнаго труда въ образованномъ поколѣніи, на господство фразъ и скудость мыслей. Предлагаю припомнить столь же, къ сожалѣнію, общее и не менѣе постыдное явленіе, которое можетъ быть названо поискомъ за убѣжденіями. Убѣжденій ищутъ, какъ будто убѣжденія такая вещь, которую можно поднять на полу и положить въ карманъ. Новые органы мысли открываются не съ тѣмъ, чтобы высказать извѣстныя убѣжденія, а извѣстныя убѣжденія принимаются и высказываются, потому что сочтено нужнымъ открыть новый органъ мысли! Сообразно съ этимъ, не правда ли, что низко упало у насъ и самое понятіе объ убѣжденіи? Не правда ли, что слово „убѣжденіе“ зачастую принимается у насъ для обозначенія простой искренности и отличенія ея отъ лжи: такъ мало ожиданія и привычки у насъ, чтобъ говорили даже простую правду! А много, много,—и это самое высшее, до чего доходятъ у насъ такъ называемыя убѣжденія,—когда бываютъ хотя честныя увлеченія, то есть, такого рода духовное состояніе, которое кажется выраженіемъ всей жизненной цѣлости, но въ сущности захватываетъ только одинъ мо-

ментъ ея, отдавая послѣдующій совершенно противоположному, столь же призрачно жизненному состоянію! Сколь не много найдется у насъ людей, которыхъ можно было бы даже увѣрить, что увлеченіе такъ же далеко отъ убѣжденія, какъ минутная прихоть отъ истинной привязанности; что увлеченіе и въ самомъ существѣ своемъ неразумно, и въ дѣйствіи своемъ вредно для общества; что оно хорошо въ актерѣ, который дѣйствуетъ формальною истиною искусственнаго положенія, а не въ дѣятелѣ, назначеніе котораго служить обществу прямою истиною своего слова и поступка. Сколь многимъ еще у насъ,—да и не всѣмъ ли почти, наконецъ?—это призрачное состояніе, эта несомнѣнно суетящая дѣятельность представляется даже едва ли не высшимъ духовнымъ проявленіемъ, благороднѣйшимъ выраженіемъ человѣческаго достоинства!

При такихъ условіяхъ, можно ли ждать, чтобъ разростались у насъ убѣжденія глубокія, сильныя, постоянныя, однимъ словомъ—истинныя? Никто не скажетъ, чтобъ растеніе могло жить въ безвоздушномъ пространствѣ, хотя и назначено само оно своею жизнію дѣйствовать на воздухъ. Ему нужна приличная атмосфера столько же, сколько и доброе сѣмя, и годная почва. Этотъ законъ круговой поруки выдерживается во всей органической жизни; сила его чувствуется и въ области духовно-органической, въ жизни общественной. О бытѣ матеріальномъ уже признано, что личное довольство сколько содѣйствуетъ общественному, столько жъ взаимно отъ него и зависитъ. Не то же ли должно быть и въ другихъ, высшихъ областяхъ жизни?-Нѣтъ сомнѣнія, что сильная дѣятельность личнаго убѣжденія сама призвана двигать поколѣніями. Скажу болѣе: нѣтъ сомнѣнія, что каждое личное проявленіе, слабое, какъ и сильное, все равно,—каждое движеніе, каждый отдѣльный вздохъ иль радостная слеза, скоро или медленно, прямо или косвенно, посредственно иль непосредственно, непремѣнно, однако, разносятся своимъ дѣйствіемъ по всему обществу, разлагаясь каждое на безчисленныя, милліонно-малыя доли, но образуя въ совокупности страшную силу—общественный духъ.

Но столь же несомнѣнно, что этотъ самый всесовокупный духъ, это всецѣлое общественное настроеніе, нравственное и умственное, должно тѣмъ съ большею силою, по вѣчно присущему всѣмъ явленіямъ закону отраженія, воздѣйствовать на личную дѣятельность, возбуждать ее, усиливать, ослаблять иль даже убивать въ зародышѣ.

Когда въ полночный часъ Свѣтлаго Воскресенья загудитъ въ Москвѣ торжественный звонъ; улицы наполняются оживленнымъ народомъ; на всѣхъ лицахъ явится особенное, свѣтлое выраженіе; послышатся всюду радостныя восклицанія и привѣтствія; все сливается въ одно торжественное чувство,—мнѣ часто, въ эти минуты, приходитъ на мысль положеніе людей, которые, такъ или иначе, отрѣшились отъ народныхъ преданій, которымъ живые обычаи представляются пустою церемоніею, словомъ, для которыхъ связь съ народною жизнію и ея вѣрованіями совершенно порвана.—Что они дѣлаютъ, что они думаютъ? Продолжаютъ ли они, въ этотъ день, вести свои обыкновенныя дѣла, обыкновеннымъ порядкомъ?—Но это невозможно, при всеобщемъ разстройствѣ будничной житейской машины. Стараются ли они искусственно войти во всеобщее, имъ однако чуждое, настроеніе?—Но это крайне тяжело и неловко, при сознаніи своей неискренности, своего внутренняго противорѣчія, и для честнаго человѣка невыносимо. Остаются ли они спокойными, холодными, можетъ быть нѣсколько насмѣшливыми зрителями общаго движенія?—Но чувство нравственнаго одиночества томительно. Думаю скорѣе, что на этотъ разъ въ душу ихъ закрадывается скука и нѣкоторое озлобленіе: это будетъ логичнѣе, и самъ нравственный законъ выдерживается вѣрнѣе. Противонравственное отчужденіе отъ общаго единства должно разрѣшиться въ противонравственное же чувство озлобленія, и, въ этомъ самомъ озлобленіи, понести для себя и нравственное возмездіе.

Предположимъ и обратный случай, когда вздумалъ бы кто сказать задушевное и разумное слово толпѣ, гдѣ царствуетъ разноголосица и безтолковая суетливость. Вы предполагаете

обратиться къ цѣльному обществу, а встрѣчаете итогъ разрозненныхъ личностей; думаете обмѣняться словомъ, а кругомъ васъ безсмысленныя лица, безсвязныя рѣчи...

Въ томъ и другомъ случаѣ, послѣдствіе, кажется, одинаково. Сколько-нибудь продолженное состояніе подобнаго духовнаго одиночества невозможно. Скоро, либо среда затянетъ одинокую личность—въ свою жизненность, или въ свою безжизненность, все равно,—либо, когда натура крѣпка, она сломится предъ средою окончательно. Долгая дѣятельность для нея, во всякомъ случаѣ, немыслима. Не то же ли и въ болѣе обширной средѣ, съ болѣе обширною дѣятельностію? Страшно-громадная личность нужна, чтобы одолѣть всенародный сонъ, иль усыпить всенародное вниманіе. Но и та не является, обыкновенно, безъ историческихъ подготовленій.

Я не намѣренъ останавливаться долѣе на этихъ общихъ соображеніяхъ. Полагаю, что законъ общественнаго взаимодѣйствія, самъ по себѣ, понятенъ каждому. Но не могу не договорить, что, съ указанной точки зрѣнія, судьба убѣжденій нашего покойнаго предсѣдателя стоитъ особеннаго вниманія.

Давно тому назадъ, не помню кто, едва ли не Гакстгаузенъ, въ своемъ извѣстномъ сочиненіи о Россіи, подводилъ воззрѣнія Хомякова къ слѣдующему положенію: „Греція призвана была проявить красоту. Римъ—силу, новая Европа—разсудокъ. Будущая эпоха должна осуществить любовь, и къ осуществленію ея призваны народы Славянскіе.“ Если бъ спросили меня, какъ вкратцѣ выразить воззрѣнія Хомякова, я бы отвѣчалъ однимъ словомъ: *любовь*. Любовь—это, дѣйствительно, первое и послѣднее слово, къ которому сводились всѣ его убѣжденія. Въ любви Хомяковъ признавалъ не только высшее начало дѣятельности въ практическомъ смыслѣ, но и высшее начало знанія, единственное твердое обезпеченіе истины. Изъ сказаннаго другими въ настоящемъ засѣданіи вы отчасти прослѣдите сами, мм. гг., проявленіе этой главной идеи въ дѣятельности Хомякова общественной, художественной и ученой. Насколько выказалась она въ его образѣ мыслей и дѣятель-

ности, по крестьянскому вопросу, понятно безъ поясненія. Дѣло освобожденія само есть дѣло любви, и не можетъ быть иначе понимаемо. Но вспомните его стихотворенія: въ какомъ онъ не обращается къ этому чувству, къ этой заповѣди, къ этому началу, назовите какъ хотите. Во всѣхъ онъ зоветъ къ братству, къ духовному сліянію, и не во имя вражды къ чему нибудь, не для противостанія кому-нибудь, но единственно, ради самаго братства, ради животворной силы духовнаго сліянія, не болѣе и не менѣе,—чтобы соединить, если возможно, и всѣхъ людей, и всѣ народы въ этотъ живой нравственный узелъ. Къ любви онъ обращается за утѣшеніями, какъ и за укоризнами; въ любви же указываетъ цѣль подвигу, отвращая высокомѣрныя мысли и сокрушительные замыслы. Выше любви онъ не находитъ призванія горячо любимой родинѣ. Тѣмъ самимъ, кому пророчитъ паденіе, онъ предсказываетъ кару именно за нарушеніе закона братства, за отступленіе отъ любви. Словомъ, любовь есть высшій подвигъ, какъ и высшая радость, есть высшая сила, есть—все.

Понятно отселѣ, почему, въ историческихъ своихъ убѣжденіяхъ, Хомяковъ примкнулъ къ школѣ, такъ называемой, славянофильской: ея воззрѣнія строились на замѣчательномъ фактѣ, что государство началось у насъ не завоеваніемъ, какъ повсюду, а добровольнымъ призваніемъ власти, и что, въ дальнѣйшемъ ходѣ, основою къ историческому развитію служила у насъ не вражда сословій, какъ на Западѣ. Хомяковъ здѣсь долженъ былъ видѣть жизненное проявленіе признаваемаго имъ начала. А отсюда, какое поле представляется для новой постановки соціальныхъ вопросовъ, независимой отъ идеи раздора, которая, по необходимости, присуща западному уму при сужденіи о государствѣ и общественныхъ отношеніяхъ! При взглядѣ на историческое существованіе отношеній мирныхъ, основанныхъ на любви, не воздвигается ли само собою понятіе объ обществѣ, какъ единицѣ живой, органической, а не отвлеченной, внѣшней, условной, и не измѣняются ли этимъ самымъ обычныя старыя построенія, со всѣми ихъ послѣдствіями? А отсюда, ка-

кое прямое указаніе на существенное значеніе единоплеменности и единовѣрности, и какой близкій для Хомякова переходъ къ славянофильству въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, къ особенной любви его къ Славянамъ! А отселѣ понятно и то, почему Хомяковъ столько дорожилъ русскою общиною: въ ней видѣлъ онъ бытовое явленіе не только коренное Славянское, но именно то, въ которомъ обезпечивается свобода любовью.

Не боясь показаться слишкомъ утонченнымъ, скажу, что даже теоретическія воззрѣнія Хомякова на искуство, даже его соображенія философскія, и, наконецъ, самые взгляды филологическіе, стояли не внѣ зависимости отъ его главной идеи. Я бы назвалъ, что все это — отраженіе начала любви въ области отвлеченнаго мышленія. Существенное значеніе любви то, что она есть связь живая, духовная, цѣлостная. Кто убѣжденъ въ такомъ началѣ для жизни, не естественно ли тому искать соотвѣтствующихъ законовъ и въ мірѣ отрѣшенномъ? По крайней мѣрѣ, знаю людей, которые, наоборотъ, отъ живыхъ началъ въ отрѣшенной мысли пришли къ признанію любви, какъ начала соціальнаго, видя въ послѣдней существенное отраженіе и необходимое дополненіе первыхъ; сошлись, такимъ образомъ, съ Хомяковымъ, независимо отъ его воззрѣній, и идя обратною дорогою. Какъ бы то ни было, Хомяковъ и въ теоретической области повсюду искалъ именно живаго, духовнаго и цѣлостнаго. Съ этой точки, во время господства крайнихъ теорій объ односторонней объективности въ искусствѣ, высказалъ онъ свои мысли о необходимой связи художника съ своимъ произведеніемъ. Въ силу того самаго, съ другомъ своимъ Кирѣевскимъ, въ философской области возставалъ онъ противъ односторонности исключительнаго логическаго направленія, и требовалъ признанія правъ цѣльному разуму; а тѣмъ съ большею вѣрностію главной идеѣ,—и это собственно была уже его мысль,—искалъ онъ и въ отрѣшенномъ мірѣ утвердить болѣе живое, *волящее* начало: въ признаніи безвольной мысли за верховное начало онъ и видѣлъ главнѣйшій недостатокъ нѣмецкой философіи. Слышанное вами письмо г. Гильфердинга по-

казываетъ, съ какою послѣдовательностію и полнотою переносилъ Хомяковъ тѣ же стремленія къ живому, духовному, цѣлостному и въ область своихъ филологическихъ занятій.

Я умолчалъ бы о самомъ существенномъ, когда бы не сказалъ, что глубочайшею основою, на которой коренилось убѣжденіе во всеобъемлющемъ началѣ любви, служили для Хомякова убѣжденія религіозныя; самою сферою, гдѣ осуществляется это начало, онъ признавалъ именно Церковь, въ смыслѣ, который сейчасъ объясню. На счастливомъ совпаденіи православной вѣры съ общиннымъ устройствомъ въ Русскомъ народѣ Хомяковъ и основывалъ свое чаяніе о великомъ историческомъ призваніи своей родины. Въ вѣрности церковному духу онъ и видѣлъ существенный, если не единственный залогъ ея преуспѣянія. Внѣ общенія съ Церковію онъ отрицалъ всякую полноту жизни нравственной и даже умственной. Надѣюсь, что предшествовавшимъ изложеніемъ я не подалъ настолько поводовъ къ недоразумѣнію, чтобы кто могъ предполагать, будто Хомяковъ находилъ условіе жизни собственно въ какихъ-нибудь положеніяхъ, принимаемыхъ изъ уваженія къ авторитету, отвлеченно, съ полною увѣренностію, притомъ, въ неспособности ихъ къ дальнѣйшему развитію. Такая мысль была бы прямо противоположна его воззрѣніямъ. Церковь есть высшее, возможное на землѣ, осуществленіе начала любви; а въ любви, какъ сказалъ я, Хомяковъ поставлялъ не только высшее начало дѣятельности въ тѣсномъ смыслѣ, но и единственное начало живаго, цѣльнаго и твердаго знанія: надѣюсь, этимъ все сказано. Нравственный вопросъ Хомяковъ постоянно выдвигалъ впередъ, все остальное бралъ уже, какъ необходимое дополненіе иль слѣдствіе. Такимъ образомъ, по его понятіямъ, выходъ изъ церковнаго единства, то есть изъ церковной любви, необходимо разрушаетъ цѣльность духовнаго бытія, какъ потому, что нравственное бытіе, само по себѣ, составляетъ существенную сторону духовности человѣка, такъ и потому, что заключаетъ въ себѣ почти корень всему. Между тѣмъ, пребываніе въ церковномъ общеніи не только не мѣшаетъ развитію, напротивъ, только помогаетъ, взаимнымъ

восполненіемъ, личной ограниченности, какъ въ сферѣ жизни, такъ и знанія. Самое признаніе церковныхъ истинъ перестаетъ быть отвлеченнымъ признаніемъ: оно является живымъ взаимосоглашаніемъ знанія. Самый авторитетъ, при этомъ, перестаетъ быть авторитетомъ, хотя и остается имъ. Возможно полное знаніе истины дано только всеобщей равноправности, и единодушная любовь есть его мѣрило: авторитетъ есть только выраженіе этой всеобщности, и самъ является только служеніемъ этой любви.—На этихъ простыхъ умозаключеніяхъ держались всѣ воззрѣнія Хомякова, бытовыя, историческія, философскія. На нихъ опирались его извѣстныя мысли о ходѣ жизни и просвѣщенія въ Европѣ. Отсюда истекали его требованія новой постановки философскихъ вопросовъ и сознаніе неудовлетворительности Европейскихъ системъ. Въ одностороннемъ ходѣ жизни и просвѣщенія въ Европѣ онъ видѣлъ естественное слѣдствіе ея церковнаго отпаденія. Наоборотъ, если замѣчалъ гдѣ-нибудь полноту духовнаго проявленія, онъ не упускалъ это объяснять всегда болѣе или менѣе близкимъ вліяніемъ Церкви. Увѣренность во всеотзывающемся вліяніи церковныхъ началъ Хомяковъ проводилъ столь послѣдовательно, что даже въ такомъ обстоятельствѣ, какова послѣдняя война, онъ находилъ отраженіе мысли, положенной въ исторію церковнымъ отпаденіемъ Европейскихъ народовъ.

Хомяковъ не таилъ отъ себя и отъ другихъ, что народы, оставшіеся исторически вѣрными Церкви, сами стоятъ на крайне низкой степени развитія. „Я знаю“, писалъ онъ, обращаясь къ западному міру, „вы можете требовать отъ насъ строгаго отчета въ плодахъ, которые должна бы истина принести народамъ, ее хранящимъ, въ плодахъ, которыхъ должно бы ожидать отъ нашей признательности, и которые отвергнуты нашею неблагодарностію. Мы не станемъ оправдываться. Не будемъ говорить ни о борьбахъ и страданіяхъ нашей исторіи, ни о лжи образованія, почерпаемаго болѣе нежели столѣтіе изъ источниковъ нечистыхъ. Все это насъ не оправдываетъ. Каковы бы ни были ваши обвиненія, допускаемъ ихъ справедливость; въ

какихъ бы порокахъ вы насъ ни упрекали, не отрицаемся: сознаемся въ нихъ со смиреніемъ, со скорбію, съ горечью." Но этимъ, въ глазахъ Хомякова, нисколько не уменьшалась сила заключенія, что блестящее развитіе Европы всетаки односторонне, и что полнота развитія возможна всетаки только тамъ, гдѣ сохранено для него начало. Можетъ быть жизнь,—скажемъ его словами,—при всѣхъ признакахъ смерти; и можетъ быть смерть при всей кажущейся жизни. Будущее только тамъ, гдѣ Церковь.

Понятно, что, давая религіознымъ началамъ столь важное значеніе, Хомяковъ долженъ былъ углубляться въ нихъ особенно настойчивымъ вниманіемъ. Дѣйствительно, три богословскія брошюры его представляютъ особенную выдержанность и законченность. Основное положеніе, повторяясь во всѣхъ трехъ, является даже какъ бы отлитымъ въ стереотипную форму, недопускающую прибавленій или измѣненій. Понятно, съ другой стороны, что, вѣрный коренному направленію, Хомяковъ обратился въ этой области не къ сухой переборкѣ отвлеченныхъ положеній, къ чему и безъ него и до него много сдѣлано уже другими, но старался проникнуть въ духъ церковной жизни, раскрыть ея внутренній смыслъ. Чтобы дать понятіе не только о ходѣ мысли, но и о самомъ способѣ изложенія, рѣшаюсь передать въ переводѣ мѣсто изъ его брошюръ, гдѣ ставятся начала вопроса и кладется зерно дальнѣйшему изслѣдованію.

Дѣло идетъ о существѣ различія между тремя главными Христіанскими обществами.

„Что такое протестантство?"—спрашиваетъ нашъ изслѣдователь. „Въ томъ ли его отличительность, что оно протестуетъ въ вопросѣ вѣры? Но тогда протестантами были бы апостолы и мученики, протестовавшіе противъ заблужденій Іудейства и лжи идолопоклонства; всѣ отцы Церкви были бы тоже протестанты, ибо они протестовали противъ ересей; вся Церковь постоянно была бы въ протестантствѣ, ибо она постоянно и во всѣ вѣка протестуетъ противъ заблужденій каждаго вѣка. Слово *протестантъ*, такимъ образомъ, не опредѣляетъ ничего".

„Состоитъ ли протестантство въ свободномъ изслѣдованіи? Но апостолы свободное изслѣдованіе дозволяли и одобряли. Но святые отцы свободнымъ изслѣдованіемъ защищали истины вѣры,—свидѣтель въ особенности великій Св. Аѳанасій, въ своей героической борьбѣ противъ аріанства. Но свободное изслѣдованіе, такъ или иначе, составляетъ единственное основаніе истинной вѣры. Римское исповѣданіе, повидимому, осуждаетъ свободное изслѣдованіе; но когда бы человѣкъ, свободно изслѣдовавъ всѣ авторитеты Писанія и разума, пришелъ къ признанію всего его ученія,—стало ли бы оно смотрѣть на него, какъ на протестанта? Еще болѣе: когда бы человѣкъ, пользуясь свободою изслѣдованія, просто на-просто пришелъ къ тому убѣжденію, что папскія опредѣленія непогрѣшительны въ дѣлѣ догмата, и что ему остается не болѣе, какъ покориться имъ,—осудитъ ли оно его какъ протестанта? А не правда ли, между тѣмъ, что этотъ пунктъ, который для него дороже прочихъ, будетъ достигнутъ свободнымъ изслѣдованіемъ? Наконецъ, всякое вѣрованіе, всякая смыслящая вѣра есть актъ свободы и исходитъ изъ предварительнаго свободнаго изслѣдованія, которому человѣкъ подчинитъ явленія ли то міра внѣшняго и движенія временъ прошедшихъ, или явленія своего міра внутренняго и свидѣтельство своихъ современниковъ. Смѣю сказать болѣе. Въ случаяхъ исключительныхъ, въ случаяхъ, когда гласъ Бога самого приходитъ взыскать и возставить душу заблудшую или падшую, душа, простирающаяся ницъ и покланяющаяся, начинаетъ тѣмъ, что узнаетъ божественный голосъ: она начинаетъ актомъ свободнаго изслѣдованія. Въ этомъ отношеніи, христіанскія общества различаются одно отъ другого единственно тѣмъ, что нѣкоторыя допускаютъ изслѣдованіе всѣхъ данныхъ, другія же ограничиваютъ ихъ число. Приписывать право изслѣдованія одному протестантству, значитъ приписывать ему честь единственной смыслящей вѣры; но, конечно, это не будетъ ни сколько по вкусу его противникамъ, и всѣ мыслители, сколько-нибудь серьезные, отклонятъ такое предположеніе“.

„Есть ли протестантство—реформа, чѣмъ оно надѣялось быть съ первоначала? Но церковь постоянно реформировала свои обряды и свои чиноположенія, а изъ-за этого никому не приходила мысль назвать ее протестантскою".

„Итакъ, протестантство есть не просто реформа, но сомнѣніе въ существующемъ догматѣ, то есть отрицаніе преданнаго догмата, или живаго преданія, однимъ словомъ—Церкви".

. . . . . .

„Міръ протестантскій не есть міръ свободнаго изслѣдованія—оно принадлежитъ всѣмъ людямъ, но—міръ, который свободнымъ изслѣдованіемъ отрицаетъ другой міръ. Отнимите у него міръ, имъ отрицаемый,—онъ умеръ, ибо онъ только и живъ своимъ отрицаніемъ. Составъ ученія, соблюдаемаго имъ еще,—трудъ, выработанный произволомъ нѣсколькихъ ученыхъ и принятый апатическимъ легковѣріемъ нѣсколькихъ милліоновъ невѣждъ, продолжаетъ существовать, благодаря только необходимости противостоять нападеніямъ со стороны Римскаго исповѣданія. Какъ скоро эта необходимость перестаетъ чувствоваться, протестантство тотчасъ разсыпается на индивидуальныя мнѣнія, безъ общей связи. И будто такова цѣль церкви вполнѣ положительной? Вся ея забота относительно другихъ исповѣданій, въ продолженіе 18 вѣковъ, не возбуждается ли единственно желаніемъ, дабы всѣ люди обратились къ истинѣ?"

. . . . . .

„Должно замѣтить, что протестантскій міръ раздѣляется на двѣ части, весьма неравныя по своему числу и по своей важности,—части, которыхъ не слѣдуетъ смѣшивать. У одной есть свое логическое преданіе, хотя она и отрицаетъ преданіе болѣе древнее. Другая довольствуется преданіемъ нелогическимъ. Первая слагается изъ квакеровъ, анабаптистовъ и другихъ сектъ подобнаго рода. Другая состоитъ изъ прочихъ сектъ, называемыхъ реформатскими. У этихъ двухъ половинъ протестантства одинъ общій пунктъ: это точка отправленія,—отрицаніе преданія, существовавшаго въ продолженіе многихъ вѣковъ. Далѣе они расходятся въ своихъ принципахъ. Первая,—связующаяся

съ христіанствомъ, впрочемъ только весьма слабою нитью,—допускаетъ новое откровеніе, прямое вмѣшательство божественнаго Духа и, отправляясь съ этого пункта, думаетъ образовать одну церковь или многія церкви, съ принимаемымъ безъ сомнѣній преданіемъ и съ постояннымъ вдохновеніемъ. Данная можетъ быть ложною, но ея приложеніе и ея развитіе раціональны: преданіе получаетъ логическое бытіе. Въ другой половинѣ реформатовъ — иначе. Она принимаетъ преданіе на дѣлѣ и отрицаетъ его право. Примѣръ объяснитъ это противорѣчіе. Въ 1847 г., плывя на пароходѣ по Рейну, я вступилъ въ разговоръ съ однимъ почтеннымъ пасторомъ, человѣкомъ образованнымъ и серьезнымъ. Разговоръ мало по малу перешелъ на предметы религіозные, и въ частности на вопросъ о догматическомъ преданіи, котораго законность пасторъ отвергалъ. Я спросилъ у него, къ какому исповѣданію онъ принадлежитъ. Онъ былъ лютеранинъ. На какихъ основаніяхъ онъ предпочитаетъ Лютера Кальвину? Онъ предложилъ мнѣ весьма ученые доводы. Въ эту минуту, слуга, его сопровождавшій, подносилъ ему стаканъ лимонада. Я спросилъ пастора сказать мнѣ, какому исповѣданію принадлежитъ его слуга. Тотъ былъ также лютеранинъ. Почему онъ предпочитаетъ Лютера Кальвину?—Пасторъ остался безъ отвѣта и показалъ недовольный видъ. Я увѣрилъ его, что не имѣю въ мысляхъ ни малѣйшаго желанія его оскорбить, но думалъ только показать ему бытіе преданія въ протестантствѣ. Смутясь нѣсколько, но тѣмъ не менѣе дружелюбно, пасторъ сказалъ мнѣ, что онъ надѣется—невѣжество, условливающее эту видимость преданія, разсѣется предъ свѣтомъ науки. „А люди съ слабыми способностями?“ спросилъ я его,—„а большая часть женщинъ, а рабочій, которому время едва достаетъ для добыванія насущнаго хлѣба, а дѣти, а незрѣлые юноши, чье сужденіе о вопросахъ столь ученыхъ, каковы раздѣляютъ міръ реформатовъ, не выше дѣтскаго сужденія?“ Пасторъ замолчалъ и послѣ нѣсколькихъ минутъ размышленія сказалъ: „Да, да, тутъ есть кой что (es ist etwas darin), я объ этомъ подумаю.“ Мы разстались. Не знаю, думаетъ ли онъ еще до сихъ поръ,

но знаю вѣрно, что фактъ преданія у реформатовъ несомнѣнно существуетъ, хотя они и отрицаютъ всѣми силами его начало и законность; и они не могутъ ни поступить иначе, ни выйти изъ этого неизбѣжнаго противорѣчія. Въ самомъ дѣлѣ, когда извѣстныя общества, допуская божественное вдохновеніе для всѣхъ своихъ ученій, и для своихъ основателей, съ которыми связаны непрерывною нитью, допускаютъ въ то же время, скрытно или прямо, преданіе: это раціонально, какъ нельзя болѣе. Но какое право имѣютъ на это тѣ, кто опираетъ свое вѣрованіе на научномъ знаніи своихъ предшественниковъ? Справедливо или ложно вѣрить, будто Римскій дворъ получаетъ себѣ вдохновеніе съ неба, будто Фоксъ или Іоаннъ Лейденскій были вѣрными органами божественнаго Духа: ихъ рѣшенія остаются тѣмъ не менѣе обязательными для тѣхъ, кто вѣруетъ ихъ призванію. Но вѣрить непогрѣшимости научнаго знанія и знанія противорѣчащаго, это — невозможность въ глазахъ здраваго смысла. Слѣдовательно, всѣ реформатскіе ученые, отвергающіе преданіе, какъ постоянное откровеніе, обязаны смотрѣть на всѣхъ своихъ братій, менѣе ученыхъ, чѣмъ они сами, какъ на лишенныхъ вовсе дѣйствительнаго вѣрованія. Чтобы быть послѣдовательными, они должны сказать имъ: „Братья и друзья, у васъ нѣтъ законной религіи, и она у васъ будетъ только тогда, какъ сдѣлаетесь вы богословами въ родѣ насъ. А покамѣстъ обойдитесь безъ нея!“ Не знаю, бывала ли такая рѣчь, но знаю, что это было бы дѣломъ чистосердечія. Очевидно, что большая половина протестантскаго міра довольствуется преданіемъ, незаконнымъ въ собственныхъ глазахъ; а другая половина, болѣе логическая, столько удалилась отъ христіанства, что нечего на ней останавливаться. Итакъ, основнымъ характеромъ реформы должно быть признано отсутствіе законнаго преданія. Что отсюда слѣдуетъ? То, что протестантство не расширило правъ свободнаго изслѣдованія, но только уменьшило число несомнѣнныхъ данныхъ, которыя подвергаетъ свободному изслѣдованію своихъ вѣрующихъ (оставляя только Писаніе); точно такъ же, какъ Римъ уменьшилъ это число для большей части мірянъ тѣмъ, что отнимаетъ у нихъ Священное Писаніе“.

„Достовѣрно, что положеніе протестантовъ, какъ церкви, несостоятельно, и что, отметая законное преданіе, они не могутъ осудить человѣка, когда бы онъ, признавая божественность Св. Писанія, не дошелъ до открытія въ немъ опроверженія ересей Арія или Несторія: ибо такой человѣкъ былъ бы виновенъ только въ глазахъ науки, а не въ глазахъ вѣры. Но я не имѣю здѣсь намѣренія нападать на реформатовъ. Для меня важно показать, что они поставлены въ необходимость принять свое теперешнее положеніе, доведены до этого логически, тогда какъ такого рода необходимость и этого рода логика въ Церкви невозможны“.

„Со времени основанія своего апостолами, Церковь была едина. Это единство, обнимавшее весь извѣстный міръ, связывавшее Британскіе острова и Испанію съ Египтомъ и Сиріею, не было нарушаемо. Когда возставала ересь, христіанскій міръ посылалъ своихъ представителей, своихъ высшихъ сановниковъ на эти священно-важныя собранія, называемыя соборами, собранія, которыя, не смотря на безпорядки и иногда даже насиліе, затмѣвавшія ихъ чистоту, представляютъ своимъ мирнымъ характеромъ и возвышенностію вопросовъ, подлежавшихъ рѣшенію, благороднѣйшее изъ всѣхъ зрѣлищъ въ исторіи человѣчества. Церковь всецѣло принимала или отвергала опредѣленія этихъ собраній, смотря потому, находила ли ихъ сообразными или противными своей вѣрѣ и своему преданію, и называла вселенскими тѣ изъ соборовъ, которыя признавала выраженіемъ своей внутренней мысли. Временный авторитетъ въ вопросахъ дисциплины,—они становились неопровержимымъ и непоколебимымъ свидѣтельствомъ въ вопросахъ вѣры. Они были голосъ Церкви. Ереси не нарушали этого божественнаго единства: онѣ были заблужденіями личными, а не расколами провинцій или епархій. Таковъ былъ порядокъ церковной жизни, внутренній смыслъ котораго, много вѣковъ уже, забытъ совершенно на всемъ Западѣ.“

„Предположимъ, какой-нибудь путешественникъ, въ концѣ 8 или въ началѣ 9 вѣка, приходитъ съ Востока въ одинъ изъ

городовъ Франціи или Италіи. Полный мыслью объ этомъ древнемъ единствѣ, полагая себя среди братьевъ, онъ входитъ въ храмъ, дабы освятить седьмой день недѣли. Полный собранности и любви, онъ присутствуетъ при богослуженіи. Онъ слышитъ эти высокія молитвы, наполнявшія его сердце радостію, съ самаго ранняго дѣтства. Онъ слышитъ слова: „Возлюбимъ другъ друга, да единомыслiемъ исповѣмы Отца, Сына и Св. Духа“. Онъ слушаетъ. А вотъ въ церкви возглашается символъ вѣры христіанской и каѳолической,—символъ, для котораго каждый христіанинъ долженъ жить, и за который долженъ умѣть умирать. Онъ слушаетъ..... это символъ измѣненный, символъ неизвѣстный. На яву или во снѣ онъ это слышитъ? Онъ не вѣритъ своимъ ушамъ, сомнѣвается въ своихъ чувствахъ. Онъ освѣдомляется, проситъ поясненій. Онъ полагаетъ, что зашелъ въ собраніе сектантовъ, отвергнутыхъ мѣстною церковію. Увы, нѣтъ. Онъ слышалъ голосъ самой мѣстной церкви. Весь патріархатъ, и наиболѣе обширный, цѣлый міръ произвелъ расколъ..... Удрученный печалью, путешественникъ жалуется: его утѣшаютъ. „Мы прибавили самую малость“, говорятъ ему, какъ не перестаютъ это повторять намъ Латины до сихъ поръ.—Если это малость, зачѣмъ же вы прибавили?—„Это вопросъ совершенно отвлеченный“.—Почему же знаете вы, что вы его поняли?...—„Но это наше мѣстное преданіе“.—Какъ оно могло найти мѣсто во вселенскомъ символѣ, вопреки формальному опредѣленію вселенскаго собора, воспретившаго всякое измѣненіе символа?—„Но это преданіе общее, и мы выразили его смыслъ по мѣстному мнѣнію“.—Мы не знаемъ этого преданія; да и во всякомъ случаѣ, какимъ образомъ мѣстное мнѣніе можетъ найти мѣсто во всеобщемъ символѣ? Познаніе божественныхъ истинъ, развѣ уже не есть даръ, ниспосылаемый всеобщности Церкви? Чѣмъ заслужили мы такое исключеніе? Не только не подумали вы съ нами посовѣтоваться, но даже не приняли на себя труда увѣдомить насъ. Ужели мы такъ глубоко пали? И однако, едва ли вѣкъ прошелъ, какъ Востокъ произвелъ величайшаго изъ христіанскихъ поэтовъ,

и, можетъ быть, блистательнѣйшаго изъ богослововъ, Дамаскина? И мы считаемъ еще среди себя исповѣдниковъ, мучениковъ вѣры, ученыхъ, философовъ, полныхъ знаніемъ христіанства, подвижниковъ, чья жизнь вся есть молитва? За что вы насъ отвергли? Но сколько бы ни говорилъ бѣдный путешественникъ, расколъ былъ сдѣланъ. *Міръ Римскій совершилъ дѣйствіе, въ которомъ подразумѣвалось объявленіе, что міръ Восточный есть не болѣе, какъ міръ илотовъ въ вѣрѣ и ученіи. Церковная жизнь кончилась для половины Церкви*".

Въ дальнѣйшемъ изслѣдованіи авторъ указывалъ, что протестантство есть только продолженіе того отрицанія, того превозношенія частнаго предъ общимъ, которое явилось въ Римскомъ отпаденіи, или, точнѣе сказать, было вторымъ моментомъ, логическимъ послѣдствіемъ перваго отрицанія. Превозношеніе частнаго предъ совокупнымъ должно было вести, въ силу принятаго начала, равное превозношеніе личнаго предъ частнымъ, внутри сферы самаго частнаго, а съ тѣмъ вмѣстѣ и объявить, слѣдовательно, внутреннюю, скрытую ложь того и другого.—Впрочемъ, я не намѣренъ вдаваться въ подробныя объясненія этихъ мыслей. Въ дополненіе характеристики, прибавлю только немногія слова, которыми самъ авторъ заключительно выразилъ сущность своего воззрѣнія. „Три великіе голоса",—говоритъ онъ въ концѣ послѣдней изъ своихъ брошюръ,—„слышатся въ Европѣ:

„Повинуйтесь и вѣруйте моимъ декретамъ,—говоритъ голосъ Рима".

„Будьте свободны, и постарайтесь составить себѣ какое-нибудь вѣрованіе,—говоритъ голосъ протестантства".

„А голосъ Церкви говоритъ своимъ дѣтямъ: возлюбимъ другъ друга, да единомыслiемъ исповѣмы Отца и Сына и Святаго Духа."

Но, возвращаясь къ мысли, съ которой началъ свое слово, я позволю себѣ спросить: что, въ воззрѣніи, съ которымъ мы познакомились, слышна ли только недалекая посредственность, не заслуживающая даже упоминаній?—Нужно

быть слишкомъ высокоумнымъ, или до крайности малоумнымъ, чтобы рѣшиться на такой отзывъ.—Или касается оно интересовъ столь далекихъ, что вниманіе невольно отвлекается другими, болѣе близкими? Но интересъ религіозный собственно никогда не можетъ быть далекимъ. Онъ есть первый всегда и для всякаго, даже для того, кто рѣшился бы сказать о себѣ, что онъ не имѣетъ никакой религіи. То самое, что онъ не признаетъ никакой религіи, было бы уже его религіею. Это было бы своего рода исповѣданіемъ, которое хотя выраженное отрицательно, сохраняло бы всетаки за собою значеніе основнаго начала для жизни и, по самому существу своему, не могло и не должно быть ничѣмъ инымъ. Но тѣмъ менѣе можно упрекнуть въ далекости интересъ, возбуждаемый тою религіозною стихіею, среди которой мы живемъ, которая составляетъ несомнѣнную основу нашего прошлаго, и которая, если не для всѣхъ продолжаетъ быть такою же основою въ настоящемъ, то, по крайней мѣрѣ, ни для кого не составляетъ чего-либо, прямо и сознательно отринутаго.—Но, можетъ быть, воззрѣніе объ этой стихіи выражено слишкомъ стереотипно, все это сто тысячъ разъ слышано, и вниманіе притупилось? Но въ томъ-то и дѣло, что, съ *этой* точки, различіе между тремя главными вѣроисповѣданіями печатно высказано именно въ первый разъ.—Сдѣлаемъ еще предположеніе. Не идетъ ли высказанное воззрѣніе противъ господствующаго у насъ, не скажу—общаго образа мыслей,—его нѣтъ никакого,—но хотя противъ моды на извѣстныя фразы, съ которыми такъ любитъ носиться все, имѣющее притязаніе на образованность? Но если самое популярное слово послѣдняго времени,—что, конечно, внѣ всякаго сомнѣнія,—есть слово „прогрессъ“, и если съ прогрессомъ желаютъ соединять понятія свободы и разумности,—что равно несомнѣнно,—то чего бы, казалось, лучше, даже для поверхностнаго образованія, даже для этого призрачнаго мышленія, какъ не воззрѣніе, въ которомъ свободѣ изслѣдованія дается право едва ли не обширнѣйшее, чѣмъ какое бывало уступлено ей какимъ бы то ни было по-

ложительнымъ ученіемъ?—Но можетъ быть, наконецъ, именно это самое и было виною воззрѣнія: ученіе о необходимости авторитетовъ, можетъ быть, у насъ еще такъ сильно, потребность въ нихъ такъ обща? Но провозглашаемое начало любви тѣмъ-то и дорого, что оно одинаково признаетъ какъ свободу независимости, такъ и свободу въ избраніи авторитета, что свобода поставляется имъ не въ безконечности личнаго права, но само личное право, напротивъ, утверждается имъ въ своей свободѣ именно чрезъ безконечное признаніе права всѣхъ другихъ, взятыхъ вмѣстѣ; что ему противно, слѣдовательно, всякое принужденіе, всякое насиліе, идетъ ли оно съ одного конца или съ другаго; что всякое право, а слѣдовательно и право свободы, само въ себѣ опредѣляется имъ прежде всего, какъ обязанность. Таковъ, по крайней мѣрѣ, логическій ходъ мысли. Припоминаю, что подобное мнѣніе высказано было прямо Хомяковымъ въ письмѣ къ Сербамъ. Не помню точныхъ словъ, но смыслъ именно тотъ: „Для полнаго гражданскаго счастія нужно, чтобъ каждый думалъ прежде о своихъ обязанностяхъ, чѣмъ о правахъ, и самое право сознавалъ какъ обязанность“.

Итакъ, повидимому, были всѣ данныя, чтобы печатно заявленное воззрѣніе встрѣтило, если не сочувствіе, то по крайней мѣрѣ, разумный споръ, или повело хотя къ живому обмѣну мыслей. Но сочувствіе.... его выказалъ едва ли не одинъ какой-то Итальянецъ, который, по появленіи брошюръ, откликнулся на нихъ въ Москву съ своей далекой родины, и, можетъ быть, еще нѣсколько другихъ, столь же мало извѣстныхъ. Разумный споръ поднятъ былъ, но собственно въ Германіи, какимъ-то Нѣмцемъ Капфомъ, послѣ перевода брошюръ на Нѣмецкій языкъ. Обмѣна же мыслей, съ обыкновенными при семъ взаимными поясненіями, уступками и т. п., вовсе не послѣдовало даже въ той сферѣ, которая, повидимому, спеціально на то призвана. Въ нашей литературѣ, правда, подымался по временамъ споръ, но впрочемъ противъ цѣлой школы, къ которой принадлежалъ Хомяковъ, и собственно противъ соціальныхъ иль историческихъ частностей ея воззрѣнія. Съ видомъ

большаго или меньшаго небреженія, стыдили, напримѣръ, школу заимствованіемъ понятій о Русской общинѣ у Гакстгаузена, странно не доглядывая при этомъ, что самъ Гакстгаузенъ, наоборотъ, нѣкоторымъ лицамъ этой школы, и между прочимъ Хомякову, обязанъ своими свѣдѣніями о Русской общинѣ. Или, съ большимъ или меньшимъ сознаніемъ безконечнаго превосходства, говариваемо было о неразумномъ стремленіи воротить Россію на полтораста лѣтъ назадъ, какъ-будто когда, гдѣ и кѣмъ это было высказано, хотя однимъ словомъ! Собственное же воззрѣніе Хомякова и коренная сущность его воззрѣнія, убѣжденія философскія и религіозныя, игнорировались совершенно, и развѣ изрѣдка встрѣчали презрительное указаніе на *византійство*,—какъ будто словомъ этимъ что-нибудь сказывается!

„Однако это не добросовѣстно“, скажутъ, можетъ быть, нѣкоторые. Я не скажу и этого,—и не потому только, что всякая укоризна была бы недостойна настоящаго печальнаго воспоминанія. Нѣтъ, но мнѣ кажется, вообще говорить о добросовѣстности можно только тамъ, гдѣ вопросъ о совѣсти поставленъ. А гдѣ нѣтъ и этого, тамъ странно укорять за недобросовѣстность,—столь же странно, какъ гнѣваться на міръ глухихъ за несоблюденіе мелодіи. Въ фактѣ, который мы указали, и который есть одинъ изъ тысячи другихъ, повторяющихся при другой обстановкѣ, совсѣмъ въ другихъ приложеніяхъ, я нахожу простое физіологическое отправленіе нашего общественнаго организма; это—естественное послѣдствіе всего характера нашего образованія. Прибавлю къ этому, что здѣсь видѣнъ слѣдъ его происхожденія. Тамъ, гдѣ образованіе есть всенародно чувствуемая потребность, гдѣ разработка въ мысленной сферѣ является, какъ отвѣтъ на вопросы, прямо возбуждаемые коренными стихіями быта и непосредственно окружающею природою,—тамъ ученый, литераторъ, артистъ и всякаго рода общественный дѣятель, являются не болѣе, какъ сотрудниками и спомогателями въ общемъ движеніи народнаго преуспѣянія; тамъ есть общее начало, которому служить всѣ одинаково считаютъ себя обязан-

ными, и которое безмолвнымъ согласіемъ каждаго признается выше мелкихъ требованій личности и частныхъ интересовъ всякаго рода. Тамъ, стало быть, и возможенъ нравственный элементъ въ образованіи: потому именно самому, что есть взаимность, основываемая не на исключительномъ интересѣ, но на уваженіи къ общему началу, представляющему интересъ всесовокупный. Тамъ, стало быть, возможно и нравственное сочувствіе, то есть, основанное на этомъ самомъ уваженіи къ общему. Тамъ, стало быть, возможенъ и разумный споръ, ибо дано для него единство основанія. Тамъ, наконецъ, возможенъ и плодотворный обмѣнъ мыслей, ибо каждая частная мысль и каждая частица дѣятельности можетъ быть органическимъ членомъ въ общемъ движеніи, взаимно зависѣть отъ другихъ и взаимно условливать другія.—Но тамъ, гдѣ образованіе пришло сверху, явилось внезапно, съ перваго раза опредѣлилось какъ власть, водворялось насильно,—тамъ, по необходимости, оно должно явиться привиллегіею, даровымъ удѣломъ меньшинства, для котораго малознающій становится уже не спомогающимъ братомъ, имѣющимъ право взаимно и на мою помощь, а илотомъ, паріею, нуждающимся въ моемъ снисхожденіи и покровительствѣ. Въ просвѣщеніе примѣшанъ элементъ презрѣнія къ ближнему, господство частнаго и личнаго, и нравственное значеніе загублено съ перваго раза. Самое знаніе получаетъ, затѣмъ, всѣ признаки, отличающіе внѣшнее пріобрѣтеніе вообще. Мнѣнія мѣняются легко, ибо держатся не на существенной потребности. Между тѣмъ, къ каждому изъ нихъ, пока оно держится, прилагается вся исключительность нетерпимости, опять потому же самому, что нѣтъ общаго, чему бы оно покорялось,—оно только представитель частнаго иль личнаго. Словомъ, духовная дѣятельность пріобрѣтаетъ характеръ матеріальной собственности; а съ тѣмъ вмѣстѣ, образованіе, слѣдовательно, перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ оно должно быть, т. е. образованіемъ. Оно становится не дѣятельностію мысли, а пустою внѣшностію, массою свѣдѣній и общихъ мѣстъ, иногда съ призрачнымъ нарядомъ систематичности: духовное начало даже не тронуто. Какая

же тутъ возможна логичность спора? Какая возможна безкорыстность сочувствія? Споръ долженъ являться одною заносчивостью, несогласіе—отзываться личнымъ оскорбленіемъ. А обмѣнъ мыслей и будетъ не болѣе какъ обмѣномъ, т. е. механическимъ отложеніемъ и приложеніемъ. И когда, среди такой сферы, нечаянно явится въ комъ не призракъ только мысли, а мысль, и не призракъ убѣжденія, а истинное убѣжденіе, не правда ли, они не будутъ не только признаны, но даже узнаны? Къ нимъ отнесутся, какъ къ тому же, чѣмъ заявляетъ себя вся общность существующаго образованія, т. е. какъ къ призраку. И какъ среди данныхъ условій, при отсутствіи высшаго духовнаго начала, съ которыми бы свѣрялась частная мысль, и тѣмъ рѣшалась ея пріемлемость, словомъ—при отсутствіи нравственной силы мнѣнія, опредѣляющимъ началомъ должна вступить сила физическая, такъ сказать—внѣшняя обширность голоса, или простое количество провозглашателей,—то всякая живая и самостоятельная мысль рискуетъ пройти даже совершенно незамѣченною.

Скоро ли пройдетъ эта печальная пора нашего развитія: не поднимается ли уже заря новой, лучшей для него эры; и не предвидится ли она именно въ грядущей важной нашей реформѣ: все это покажетъ,—оправдаетъ или опровергнетъ время. Но дотолѣ, къ остающимся еще дѣятелямъ, для которыхъ нравственный вопросъ въ образованіи не пустое слово, которые всѣми силами души служатъ высшему духовному началу, каждый по степени своего разумѣнія, словомъ, дотолѣ, ко всѣмъ остающимся людямъ убѣжденія нельзя не обратиться съ словами поэта, того же поэта, нашего покойнаго предсѣдателя:

Жаль мнѣ васъ, людей безсонныхъ!
Цѣлый міръ кругомъ храпитъ,
А отъ думъ неугомонныхъ
Вашъ тревожный умъ не спитъ:
Бродитъ, ищетъ, рѣчь заводитъ
Съ тѣмъ, съ другимъ,—все пользы нѣтъ!
Тотъ глазами чуть поводитъ,

Тотъ сквозь сонъ кивнетъ отвѣтъ.
Вотъ, оставивъ братьевъ спящихъ,
Вы ведете въ тмѣ ночной,
Не смыкая вѣждъ горящихъ,
Думу долгую съ собой.
И надумались, и снова
Мысли бурно закипятъ:
Будите того, другого,—
Всѣ киваютъ, да молчатъ!
Вы волнуетесь, горите,
Въ сердцѣ горечь, въ слухѣ звонъ,—
А кругомъ-то, посмотрите,
Какъ отраденъ сладкій сонъ!
Жаль мнѣ васъ, людей безсонныхъ:
Ужъ не лучше ль вамъ заснуть,
И отъ думъ неугомонныхъ,
Хоть на время, отдохнуть.

Письмо Н. П. Гилярова-Платонова къ Юрію Ѳедоровичу Самарину о терминологіи А. С. Хомякова.

Какъ я радъ, многолюбезнѣйшій Юрій Ѳедоровичъ, Вашему письму, и какъ жаль, что я почти никогда ихъ отъ Васъ не получаю. Переписка съ Вами была бы очень полезна, и притомъ, пожалуй, не только для меня, но и для насъ обоихъ. Вы очень справедливо оцѣнили побужденія, почему я отказался бы одинъ писать предисловіе къ переводу Хомяковскихъ брошюръ. Но не то же ли самое во мнѣ постоянно и по отношенію ко всякому вопросу? Думается иногда о чемъ нибудь написать, даже садишься за писанье и начинаешь, но тотчасъ же вопросъ, который казался тебѣ такимъ необширнымъ, вырастаетъ въ размѣры громадные; чувствуешь, что у тебя готовъ въ головѣ цѣлый трактатъ,—и бросаешь перо, потому что для трактата недостаточно у тебя времени. Иное дѣло—частная переписка. Здѣсь можно намекнуть, не договорить, сказать съ перерывами. Для меня, такимъ образомъ, переписка, и именно съ Вами, весьма полезна была бы въ своекорыстномъ смыслѣ: многое моего успѣло бы лечь на бумагу, что сидитъ покамѣстъ въ головѣ, а между тѣмъ Ваши указанія и возраженія многое для меня уяснили бы, что можетъ быть не довольно во мнѣ ясно и даже не довольно вѣрно. Но не то же ли отчасти и съ Вами? Не оказала ли бы переписка наша взаимно и на Васъ свое дѣйствіе? Не помогла-ли бы и Вамъ высказаться, и можетъ быть, также, въ чемъ нибудь себя

выяснить? А не безпокойтесь: *Ваши* письма никогда не останутся безъ отвѣта съ моей стороны.

О философской терминологіи замѣчанія Ваши вѣрны; прибавлю къ нимъ слѣдующія мои замѣчанія. Бѣдность терминологіи не должна служить затрудненіемъ; единственнымъ затрудненіемъ можетъ быть незнаніе системы, которой держался авторъ, а зная его философскія понятія передать его фразу на другомъ языкѣ легко, условившись разъ въ значеніи терминовъ. Хомяковскую фразу тѣмъ легче перевести, что философскія сочиненія его существуютъ и на русскомъ. Я было думалъ послѣ перевода перечитать примѣчанія Хомякова къ отрывкамъ, оставшимся послѣ И. В. Кирѣевскаго (примѣчанія эти напечатаны были въ Русской Бесѣдѣ). Чтеніе этихъ примѣчаній дало бы возможность войти вполнѣ въ терминологію Хомякова, а затѣмъ легко было бы внести ту же терминологію и въ переводъ. Но я этого сдѣлать не успѣлъ. Попробуйте это Вы на свободѣ.

Терминологія, къ которой привыкъ я лично, есть слѣдующая. *Умъ* есть способность мысли (а пожалуй отчасти и просвѣтленной воли) вообще; сверхъ того, тотъ же терминъ беру я (когда самъ отъ себя пишу) для означенія нераздѣльнаго постиженія, въ которомъ нѣтъ мѣста ни анализу ни синтезу, а есть простое созерцаніе міра сверхчувственнаго, или—что то же—бытія премірнаго. Помнится мнѣ, чуть-ли я гдѣ-то не высказалъ даже печатно основаній къ такой терминологіи. Словомъ *умъ* счастливъ русскій языкъ; этого слова нѣтъ въ нѣмецкомъ, нѣтъ въ латинскомъ, не говоря уже о другихъ языкахъ. Оно есть только въ греческомъ: νοῦς; ему соотвѣтствовало бы нѣмецкое *Nunft* (отъ nehmem), какъ умъ отъ *ять*. *Ver*nunft есть *раз*умъ, способность анализа и синтеза и всего, что этимъ условливается,—способность логическая по преимуществу, и на этомъ основаніи соотвѣтствуетъ латинскому *ratio,* которое собственно значитъ *расчетъ* и затѣмъ *основаніе,* стало быть въ переносѣ значенія на самую способность будетъ значить силу усматривать основанія, или—что то же—способность логическую. *Raison* есть *ratio,* объ этомъ и говорить нѣтъ нужды. *Разсудокъ* есть *разумъ,* но въ низшей своей функціи, въ исключительной функціи разложенія, способность сличаю-

щая то, что разложено, или что пока не соединено; въ мышленіи теоретическомъ это есть способность чисто формальная, разумъ освобожденный отъ предмета постиженія, каковой предметъ постиженія въ разумѣ и для него остается отъ ума; въ смыслѣ практическомъ разсудокъ, поэтому, есть основаніе благоразумія и вполнѣ владѣетъ матеріаломъ, который дается ему міромъ чувственнымъ. Кратко: умъ есть чувство, обращенное къ бытію премірному; мысль, обращенная къ уму, есть разумъ, она же, обращенная къ чувству, есть разсудокъ; въ томъ и другомъ случаѣ она формальна и заимствуетъ предметъ либо изъ міра вещественнаго чрезъ чувства, либо изъ невещественнаго чрезъ умъ.

Терминологія Хомякова и, кажется, Кирѣевскаго—совсѣмъ иная, и, по моему мнѣнію,—неправильная. Они называли *разумомъ* противоположность вещественному; человѣкъ, поколику онъ невещественное, есть разумъ. Это невѣрное означеніе, и притомъ означеніе путающее. Противоположность веществу есть *духъ*, πνεῦμα. Поколику человѣкъ есть не вещество, онъ есть духъ, и цѣлую тысячу лѣтъ не иначе славянскій языкъ называлъ это понятіе. Хомяковъ употреблялъ слово разумъ въ этомъ случаѣ, мнѣ кажется, по двоякой причинѣ; потому во первыхъ, что воспитаніе его было всетаки французское, и ему представлялось прежде всего всетаки l' intelligence, удивительно-убогое слово этого убогаго на высшія понятія языка. Esprit—буквальный переводъ *духа* во французскомъ, совсѣмъ иное значитъ, и потому не давало употребить слово духъ, гдѣ нужно, хотя сама Библія могла бы натолкнуть на это: «Богъ есть духъ, и иже кланяется Ему, духомъ и истиною достоитъ кланятися.» Во вторыхъ мѣшала правильному словоупотребленію гегелевщина. Der Geist, хоть и есть собственно *духъ*, у Гегеля обратился въ нѣчто собирательное, принялъ значеніе подобное тому, какое соединяемъ мы съ фразою, напримѣръ, *духъ писателя*, или *духъ времени*.

Жалко, что остается не много времени, а писать приходится еще очень многое. Чтобы не удаляться отъ предмета, о которомъ рѣчь уже начата, выскажу Вамъ свое мнѣніе, что слова *умный*, въ смыслѣ отеческомъ, не только не слѣдуетъ избѣгать, но необходимо вводить его понемногу изъ литера-

туры чисто церковной въ обыкновенную, житейскую. Выраженіе «вѣра *осмысленная*», по моему разумѣнію, неправильно. Осмысленнымъ должно быть названо то, чему дается смыслъ отвнѣ со стороны; вѣра *осмыслена,* если она принимается въ объективномъ смыслѣ и если какой нибудь писатель, разсуждая о ней, указалъ и раскрылъ ея смыслъ. Но вѣра непремѣнно *смыслящая* (въ дѣйствительномъ залогѣ), коль скоро съ нею соединяется *собственное ея* разумѣніе. Въ страдательномъ залогѣ можно употребить въ этомъ смыслѣ слово *просвѣтленная.*

Программу предисловія я пробѣжалъ; сказать объ ней, на нее и для нея имѣю чрезвычайно много. Чрезъ три часа ѣду въ Питеръ; поэтому извините, что не стану сейчасъ распространяться, а изложу свое мнѣніе особымъ письмомъ, и попрошу Васъ съ тѣмъ вмѣстѣ вызвать меня на это мнѣніе поскорѣе новымъ письмомъ, которое оживитъ во мнѣ мысль. Теперь скажу кратко. *Тонъ* предисловія есть тонъ поклонника Хомякову безусловнаго; мнѣ кажется болѣе практичнымъ отнестись, позволю себѣ такъ выразиться, нѣсколько объективнѣе къ переводимому писателю, показать отношеніе его къ предшествовавшимъ писателямъ, какъ писателя, не заѣзжая въ душу покойнаго, не трогая мнѣній, которыя о немъ составлялись въ гостинныхъ, на основаніи гостинныхъ разговоровъ, и не трогая внутреннихъ мыслей покойнаго, которыхъ нѣтъ прямо въ переводимой книгѣ. Иначе мы зайдемъ слишкомъ далеко. Сказать мало, будетъ слабо; сказать полно, будетъ жестоко много.

Съ этимъ возраженіемъ связывается другое — о *точкѣ зрѣнія.* Я бы посмотрѣлъ нѣсколько съ иной (которой, впрочемъ, Вы отчасти и касаетесь). Будемъ говорить о *догматѣ* и *вѣрѣ,* различимъ двѣ возможныя точки зрѣнія: внѣшнюю и, такъ сказать, внутреннюю. Въ первомъ случаѣ догматъ есть нѣчто искомое, нѣчто такое, отъ чего требуютъ доказательствъ; во второмъ случаѣ является простое раскрытіе разумѣнія о догматѣ, заранѣе принятомъ и увѣрованномъ. Мало того, что богословская литература никогда не касалась внутренняго содержанія догмата, а опредѣляла только отношенія его ко лжи внѣцерковной; но она сверхъ того постоянно относится къ нему, какъ къ чему-то внѣ лежащему, резонировала о немъ, а не рас-

крывала его. Достаточно ли такое отношеніе къ догмату? Позволительно ли и до какой степени возможно, наоборотъ, раскрытіе догмата? И прочее, и прочее, о чемъ надѣюсь побесѣдовать въ другой разъ подробнѣе, въ полной увѣренности впрочемъ, что Вы и изъ этихъ намековъ поймете мою мысль.

13 Ноября 1866 г. Вашъ *Н. Гиляровъ.*

Уѣзжая въ Питеръ, очень жалѣю, что Васъ нѣтъ въ Москвѣ, и я лишился возможности познакомиться съ Н. А. Милютинымъ.

ЗАМѢТКА

по поводу статьи г. Чистовича объ Аѳеніи Маціевичѣ.*)

Г. Чистовичъ въ статьѣ своей, напечатанной въ 15 № *Дня*, совершенно справедливо говоритъ, что дѣло объ отобраніи монастырскихъ имуществъ вполнѣ принадлежитъ исторіи и что теперь трудно въ комъ-либо предположить сочувствіе или вражду къ лицамъ, дѣйствовавшимъ въ этой драмѣ. Но никакъ нельзя согласиться съ тѣмъ, чтобы событіе это, какъ говоритъ Чистовичъ, уже „получило свою настоящую оцѣнку.“ Напротивъ, отобраніе монастырскихъ имуществъ не получило доселѣ не только настоящей, но и ровно никакой оцѣнки. Никто не потрудился ни выработать общихъ точекъ зрѣнія, съ какихъ можно смотрѣть на этотъ вопросъ, ни даже разработать относящіяся къ нему фактическія данныя.

Что такое церковныя имущества? Какое мѣсто занимаютъ они въ ряду съ имуществами государственными и съ личною собственностью? Составляютъ ли они исключительную собственность духовенства? Если нѣтъ, то принадлежатъ-ли они всему народу, какъ государству, или народу, какъ Церкви, и если справедливо послѣднее, то не возникаютъ-ли отсюда нѣкоторыя особенности въ правѣ распоряженія церковными имуществами. Не отнимается-ли отъ него черезъ это вполнѣ характеръ безусловности, которою отличается распоряженіе обыкновенною собственностью? Понятіе безусловности не переносится-ли здѣсь съ вла-

*) *День* 1861 г., № 16.

дѣющихъ лицъ на то назначеніе, которому должно служить имущество? И какъ опредѣлить это назначеніе?

Но это вопросы не только не рѣшенные, но даже не тронутые у насъ. А безъ рѣшенія ихъ невозможно и сужденіе объ отобраніи церковныхъ имуществъ.

Столь же мало рѣшенъ у насъ вопросъ объ имуществахъ монастырскихъ въ частности: объ ихъ отношеніи къ церковному имуществу вообще, о томъ, чѣмъ соглашается пріобрѣтеніе этихъ имуществъ съ монашескою нестяжательностью, о томъ, какое ихъ назначеніе, кто у нихъ главный хозяинъ и кто наслѣдникъ.

Если обратимся къ самой исторіи отобранія монастырскихъ имѣній, мы здѣсь встрѣчаемъ только пробѣлы. Намъ неизвѣстны вполнѣ даже документы этого важнаго дѣла. Но кромѣ того, никто доселѣ съ надлежащею ясностью не указалъ, что государство взяло у монастыря не только крестьянъ, но и земли съ угодьями, и что самые крестьяне взяты были *не съ цѣлью освобожденія, ибо тотчасъ же раздавались* десятками, чуть не сотнями тысячъ душъ, *въ частное владѣніе*. Равнымъ образомъ, угодья были взяты не съ цѣлью освободить духовенство отъ неудобствъ хозяйничанья: ибо монастырямъ не только были оставлены нѣкоторыя угодья, хотя и въ самомъ ничтожномъ количествѣ, но и дальнѣйшее пріобрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ не было запрещено, а лишь обставлено нѣкоторыми затрудненіями. Никто также не оцѣнилъ доселѣ всей важности того обстоятельства, что за отобранныя имущества дано было не вознагражденіе, опредѣляемое стоимостью того, что отобрано, а—такъ сказать—обязательство государства *принять содержаніе духовенства на свой счетъ;* но что первымъ шагомъ затѣмъ, однако, было сокращеніе монастырей и ограниченіе въ каждомъ числа монашествующихъ, а дальнѣйшимъ послѣдствіемъ—ложное и двусмысленное положеніе, въ которое поставлено было духовенство. Въ этомъ дѣлѣ важны самыя мелочи. Важно, напримѣръ, что Императрица въ предварительномъ указѣ выразила обѣщаніе не отнимать церковныхъ имѣній и даже упрекнула предшествовавшее правительство за несправед-

ливый образъ дѣйствія. „Кажется, надобность состояла только въ томъ, говоритъ она, чтобы отобрать у духовныхъ имѣнія, а чтобы взять осмотрительныя мѣры о содержаніи духовнаго чина, о томъ и не думано.... Мы не имѣемъ намѣренія присвоить себѣ церковныя имѣнія, но только предписать законъ о лучшемъ ихъ устройствѣ, для пользы отечества". Важно также, что въ то самое время, когда коммиссія признала владѣніе имуществами для монаховъ и архіереевъ неприличнымъ, *предсѣдателю этой коммиссіи*, митрополиту Димитрію Сѣченову, за успѣшное приведеніе дѣла къ окончанію, *была пожалована тысяча душъ крестьянъ*. Важно было бы также вообще прослѣдить, какъ именно передана впослѣдствіи изъ казны большая часть монастырскихъ крестьянъ и каково было положеніе ихъ до отобранія отъ духовенства, и по отобраніи, и пр. и пр. Но все это до сихъ поръ почти не тронуто.

Итакъ, отобраніе церковныхъ имуществъ еще ждетъ своей исторіи и своей оцѣнки. Но г. Чистовичу показалось, что это событіе уже оцѣнено и оцѣнено, притомъ, въ извѣстномъ смыслѣ.

А потому—естественно, что онъ счелъ себя обязаннымъ представить въ извѣстномъ смыслѣ и Арсенія Маціевича, судьба котораго такъ тѣсно связана съ судьбою монастырскихъ имуществъ. Удивительно только то, какъ авторъ рѣшился высказать мнѣніе, опровергаемое собственными его доводами.

Признаемся, лично мы всегда бываемъ предупреждены въ пользу тѣхъ лицъ, о которыхъ народъ хранитъ почтительное воспоминаніе, не смотря на оффиціальное забвеніе или молчаніе. Память объ Арсеніи доселѣ живетъ и притомъ не въ черномъ духовенствѣ, что было бы естественно, а именно въ бѣломъ, и отчасти даже въ простонародьѣ. Преданіе успѣло собрать даже легенды о его жизни и кончинѣ, можетъ быть, суевѣрныя, но всѣ проникнутыя уваженіемъ къ страданію. Такимъ образомъ, мы всегда заранѣе составляли себѣ высокое понятіе объ Арсеніи; но свѣдѣнія, представленныя г. Чистовичемъ, вопреки собственному его взгляду, подтверждаютъ наше предположеніе даже болѣе, чѣмъ мы ожидали.

Арсеній требовалъ школъ для духовенства. Обстоятельства, среди которыхъ высказано было это требованіе, даютъ догадаться, что, по предположенію Арсенія, эти школы должны были содержаться изъ монастырскихъ и архіерейскихъ доходовъ. Угрожавшее отчужденіе церковныхъ имуществъ заставляло опасаться, что просвѣщеніе духовенства чрезъ это замедлится. Если это такъ, то Арсеній былъ правъ. На ряду съ общественнымъ благотвореніемъ, содержаніе училищъ есть одно изъ лучшихъ назначеній, на которое могутъ и должны употребляться церковныя имущества, будетъ-ли спорить съ этимъ г. Чистовичъ? Или, быть можетъ, онъ скажетъ, что опасенія Маціевича были не основательны? но пусть припомнитъ онъ, много-ли у насъ учреждено было духовныхъ училищъ послѣ отобранія монастырскихъ имуществъ до того времени, пока организація свѣчного сбора, то есть изобрѣтеніе новаго дохода съ церквей же, дало возможность устроить эти училища на болѣе прочныхъ основаніяхъ? Мы прибавимъ здѣсь отъ себя только одно замѣчаніе, съ которымъ, надѣемся, согласится всякій, кто знакомъ съ нашими духовно-учебными заведеніями. Изъ семинарій и академій *историческихъ*, т. е. устроенныхъ монастырями и архіереями на свой счетъ и добровольно, до отобранія церковныхъ имуществъ, выходятъ доселѣ сравнительно лучшіе воспитанники. Духъ, вложенный въ эти училища при самомъ ихъ основаніи, хоть слабо, но живетъ еще въ нихъ; преданіе, хотя исчезаетъ, но еще держится кое-какъ: а оттого и наука тамъ, какова она ни есть, стоитъ всетаки на первомъ планѣ, а форма на второмъ. Напротивъ того училища, въ буквальномъ смыслѣ *заведенныя*, съ наукою *заказанною*, отличаются, какъ и естественно, особенною безжизненностью, хотя, можетъ быть, и бо́льшимъ порядкомъ. И не съ тѣхъ-ли поръ вообще начинается паденіе семинарскаго образованія, какъ предъ начальствомъ сталъ носиться, по преимуществу, идеалъ *благоустройства*, и духовно-учебныя заведенія стали изо всѣхъ силъ тянуться къ благоустройству гимназій и даже, если возможно, кадетскихъ корпусовъ?

Изъ словъ г. Чистовича видно, что Арсеній не только желалъ школъ, но желалъ притомъ, чтобы онѣ были непремѣнно *русскія*. Изъ этого оказывается, что Арсеній стоялъ не только на ряду съ просвѣщеннѣйшими своими современниками, но и опередилъ ихъ цѣлымъ вѣкомъ. Превращеніе семинарій изъ школъ латинскихъ въ русскія совершилось не ранѣе, какъ на нашей памяти, въ концѣ тридцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія. И мы знаемъ, что даже въ эти времена находились люди, негодовавшіе на прекращеніе обычая преподавать богословіе полатыни. Мы сами нисколько не противъ классическаго образованія, и даже думаемъ, что ослабленіе этого элемента въ семинарскомъ ученіи было другою важною причиною упадка семинарій. Но стоя всею душею за латынь классическую, мы всею душею противъ преобладанія латыни схоластической, средневѣковой. Мы знаемъ, что въ этомъ преобладаніи кроется существенная, если не единственная причина всей безплодности нашего богословскаго образованія въ послѣдніе полутораста лѣтъ, и того практическаго отчужденія отъ народа, въ какомъ находилось образованное духовенство. Мы знаемъ, что и теперешнюю маложизненность нашей духовной литературы должно приписать тому обстоятельству, что, не смотря на изгнаніе средневѣковой латыни, въ семинарскомъ преподаваніи доселѣ продолжаетъ щеголять все она же самая, только въ другомъ платьѣ, русскомъ переводѣ. Не говоримъ уже о прискорбныхъ явленіяхъ прошлаго, а отчасти даже нынѣшняго столѣтія, когда русскіе богословы, въ замѣнъ того, чтобы разработывать собственныя начала, раболѣпно преклонялись, одинъ передъ Белларитомъ, другой передъ Герардомъ или Квинштедтомъ, находивъ въ защитѣ ихъ положеній жизненный для себя интересъ, и до того иногда простирали забвеніе исконной церковной мысли, что только спрашиваешь себя невольно: какъ это могло быть? Ужели всего этого не знаетъ Чистовичъ? А Арсеній Маціевичъ видно зналъ и понималъ, какъ неразумно и постыдно переносить на нашу почву совершенно чуждые интересы и чуждые вопросы.

Арсеній жалуется на свое время, что „число церквей умаляется, а не умножается: подлѣ церквей заводятся питейные дома; инвалидами наполнены и наполняются монастыри, какъ будто для нихъ только служили и за нихъ только сражались инвалиды“. Онъ жалуется также, что изъ свѣтскихъ людей, которыхъ ставятъ въ надзиратели къ духовенству, „иной насилу и въ Бога вѣруетъ“. Все это, по отношенію къ Арсеньевскимъ временамъ, было опять-таки какъ нельзя болѣе справедливо. Для тѣхъ, кто не знаетъ подробно, чѣмъ было Екатерининское общество, считаемъ нелишнимъ указать на анекдотъ, напечатанный въ автобіографіи Фонъ-Визина. Фонъ-Визинъ встрѣтилъ одного изъ своихъ знакомыхъ на гостинномъ дворѣ. Знаешь-ли, Фонъ-Визинъ, сказалъ ему тотъ, говорятъ, что Бога нѣтъ? Кто это тебѣ сказалъ? спросилъ Фонъ-Визинъ. Петръ Петровичъ Ч.... отвѣчалъ знакомый. Замѣчательно, что этотъ Петръ Петровичъ Ч. (Чебышевъ), проповѣдывавшій безбожіе, былъ въ то время не что иное, какъ оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода!... Какъ думаетъ г. Чистовичъ: не извинительно-ли было Арсенію и высказать иногда свое неудовольствіе на такія, или подобныя такимъ, явленія, совершавшіяся передъ его глазами.

Но г. Чистовичъ *считаетъ Арсенія только фанатикомъ*: это, по его словамъ, какой-то старовѣръ, „возмущавшійся рѣшительными мѣрами“ Петра (къ которымъ авторъ, напротивъ, питаетъ, повидимому, особенное сочувствіе). Г. Чистовичъ простираетъ свою нѣжность къ XVIII столѣтію до того, что глумится даже надъ негодованіемъ Арсенія по поводу замысловъ Орлова; авторъ напротивъ, повидимому, готовъ жалѣть, что планы Орлова не состоялись. Надобно имѣть много мужества, чтобы высказывать въ настоящее время подобное сочувствіе: охотно отдаемъ въ этомъ справедливость автору, но не можемъ не сказать, что, по нашему мнѣнію, это—храбрость совершенно безполезная: едва ли найдешь теперь кого-нибудь, кто бы убѣдился, что надобно восхищаться „рѣшительными“ мѣрами, глумиться надъ жертвами этихъ мѣръ, или жалѣть о неудавшихся намѣреніяхъ Орлова.

Гораздо справедливѣе можно было бы осудить Маціевича, во первыхъ, за его пристрастіе къ издѣльной повинности, и во вторыхъ, за жалобы его на прекращеніе строгихъ мѣръ противъ раскольниковъ. Въ этомъ онъ, дѣйствительно, былъ дитя своего вѣка. Да и то сказать,—своего-ли только? Не найдется-ли и теперь людей, которые готовы въ этомъ сочувствовать Арсенію? Судя по тому, какъ авторъ отзывается о рѣшительныхъ мѣрахъ, можно подумать, что собственное его воззрѣніе, по крайней мѣрѣ относительно втораго пункта, весьма недалеко отъ воззрѣній Маціевича.

Въ заключеніе своей замѣтки, позволяемъ себѣ обратиться къ г. Чистовичу съ тѣми самыми выраженіями, которыми онъ характеризуетъ Арсенія: скажемъ откровенно, что г. Чистовичъ стоитъ на „ложной дорогѣ“. Если бы онъ принадлежалъ къ числу людей, которые воображаютъ, что въ Россіи есть какая-то „клерикальная партія“ и считаютъ нужнымъ съ нею бороться, для насъ, по крайней мѣрѣ, было бы понятно, куда онъ бьетъ. Но мы имѣемъ основаніе думать, что г. Чистовичъ совсѣмъ не изъ того числа; нѣтъ сомнѣнія, онъ, такъ же какъ и мы, увѣренъ, что даже самое отдаленное примѣненіе понятій о „клерикальности“ въ Россіи есть чистая безсмыслица. Итакъ, откуда же у него идетъ этотъ слишкомъ суровый взглядъ на Маціевича? Не изъ одного ли желанія „*оправдать совершившійся фактъ*“? *Признавать* совершившійся фактъ слѣдуетъ,—съ этимъ мы согласны, слѣдуетъ, пожалуй, и *помириться* съ фактомъ, особенно когда со времени его протекло уже полтораста или сто лѣтъ,—и это такъ. Мы сами, оспаривая г. Чистовича, вовсе не думали раздѣлять преувеличенныхъ похвалъ, какія дѣлаются иногда—или нравственности духовенства до-петровскаго времени, или же благоденствію крестьянъ подъ монастырскимъ управленіемъ.* Но....

*) Такого рода мнѣніе объ особенномъ благоденствіи крестьянъ подъ монастырскимъ управленіемъ, между прочимъ, ясно высказывается въ Исторіи Русской Церкви преосв. Филарета еп. Черниговскаго, бывш. еп. Рижскаго. При всемъ полномъ уваженіи къ ученому автору Исторіи, мы не можемъ въ этомъ случаѣ согласиться вполнѣ съ его взглядомъ.

Вмѣсто того, чтобы развивать это „но“ дальнѣйшими разсужденіями, объяснимъ дѣло примѣрами. Г. Чистовичу извѣстна полемика о. Васильева, протоіерея при Парижскомъ посольствѣ, съ однимъ изъ римско-католическихъ епископовъ. Г. Чистовичъ знаетъ, что о. Васильевъ защищаетъ самую чистую истину, но знаетъ также, что Парижскій протоіерей все-таки иногда находится въ нѣкоторомъ затрудненіи, и именно, когда приходится ему отдѣлять идею отъ *факта* или примирять первую съ послѣднимъ. Укажемъ еще примѣръ, можетъ быть неизвѣстный г. Чистовичу. Въ книгѣ „Прогулка съ дѣтьми по Россіи,“ составленной г. Гурьяновымъ и напечатанной въ Петербургѣ въ 1837 г., между прочимъ опредѣляется такимъ образомъ отношеніе Государя къ Церкви въ Россіи: „Русскій Государь есть *Патріархъ* или *Глава Церкви Греко-Россійской,* и поэтому, будучи помазанъ муромъ при короновании, Онъ *можетъ,* еслибы захотѣлъ, *служить обѣдню.*“ *

Какъ думаетъ г. Чистовичъ: еслибы не совершилось фактовъ, которые онъ желалъ оправдать во что бы то ни стало, еслибы не совершилось ни того факта, противъ котораго, повидимому, протестовалъ Арсеній, отказываясь отъ присяги на званіе члена Св. Синода, ни того, противъ котораго возставалъ онъ при концѣ своего архіерейскаго поприща; какъ думаетъ г. Чистовичъ, спрашиваемъ мы, не гораздо-ли легче было-бы тогда отцу Васильеву защищать нашу Церковь, и не гораздо ли надежнѣе мы были-бы обезпечены отъ появленій такихъ до странности, чтобы не сказать болѣе, неосновательныхъ мыслей, какую позволилъ себѣ во всеуслышаніе высказать г. Гурьяновъ?

* Ч. I, стр. 176. Эта книга *одобрена* цензурой.

Два слова объясненія къ отвѣту „Сіона“.*)

День, помѣщая въ своихъ столбцахъ отвѣтъ „Сіона“, долженъ быть вполнѣ доволенъ. Во первыхъ, онъ доказываетъ свое безпристрастіе, и во вторыхъ, знакомитъ публику съ такимъ возраженіемъ, которое благопріятнѣе прямаго одобренія. Почтенная редакція *Сіона* не соглашается со *Днемъ* въ выводахъ. Это правда; иначе, конечно, не могло и быть. Но она вполнѣ признаетъ и подтверждаетъ точку зрѣнія, съ которой *День* смотритъ на Еврейскій вопросъ, а это гораздо важнѣе.

Должно-ли государство жертвовать нравственнымъ началомъ, которое лежитъ въ его основѣ? И можно-ли вообще требовать отъ народа, чтобы онъ въ своей странѣ давалъ хозяйскую власть пришельцамъ? Таковы вопросы, задаваемые *Днемъ*, и изъ этихъ вопросовъ выходитъ онъ къ извѣстному воззрѣнію своему на право Евреевъ. *Сіонъ* не отрицаетъ ни законности этихъ вопросовъ вообще, ни ихъ естественности при разсужденіи о политическихъ правахъ Евреевъ. Онъ не прочь даже отвѣчать на оба эти вопроса отрицательно и прибавляетъ лишь одно условіе, условіе весьма разумное, котораго и *День* съ своей стороны, вѣроятно тоже не отвергнетъ. Да, разсуждаетъ *Сіонъ*, когда Евреямъ въ христіанской странѣ предоставляется право на участіе въ законодательствѣ, судѣ и администраціи,—это точно значитъ, что христіанскимъ началомъ жертвуется въ

*) „День“ № 33, 1862 г.

пользу еврейскаго и Евреевъ сажаютъ на хозяйское мѣсто. Не въ иномъ смыслѣ мы и понимаемъ эти права; не въ иномъ смыслѣ желаемъ мы и надѣемся дѣйствовать, т. е. „*въ духѣ и интересахъ своихъ единовѣрцевъ.*“ Да, продолжаетъ еврейскій журналъ, государство, дѣйствительно, не должно-бы жертвовать своимъ нравственнымъ началомъ, и хозяева, дѣйствительно, могли бы не сажать на свое мѣсто гостей; но для этого надобно, прибавляетъ онъ, чтобы начало *по праву* называлось началомъ и чтобы хозяева *по праву* называли себя хозяевами; а этого права, говоритъ *Сіонъ*, мы не можемъ признать ни за христіанскимъ идеаломъ въ общежитіи, ни за русскими жителями въ Россіи.... Какъ и слѣдовало ожидать отъ людей искренно вѣрующихъ, издатели *Сіона* предпочитаютъ христіанскому идеалу свой еврейскій;—и, какъ повидимому трудно было ожидать отъ племени, недавно поселившагося въ странѣ и примкнувшаго уже къ готовому, они не признаютъ русскихъ людей даже настоящими хозяевами въ Россіи. Христіанскій идеалъ неосуществимъ, говорятъ они, что же за нимъ и гнаться? „Гдѣ намъ мечтать о безпредѣльномъ братолюбіи и самопожертвованіи, когда и дѣло неполной еще справедливости возмущаетъ насъ?.. Да невозможно и признать, чтобы въ основу государственнаго и общественнаго быта христіанскихъ земель легли идеальныя начала христіанскаго ученія, и пока невозможно даже и предположить, чтобы это когда-либо исполнилось.“ А раздѣленіе жителей Россіи на хозяевъ и гостей почтеннымъ представителямъ Евреевъ кажется даже просто „курьезнымъ....“ „Въ предѣлахъ нынѣшней Россіи, говорятъ они, Евреи жили еще въ то время, когда о Славянахъ не было и помину, и когда христіанская религія здѣсь вовсе не была извѣстна.“ (Мы полагаемъ, только скромность попрепятствовала *Сіону* прямо прибавить, что природными хозяевами въ Россіи, по крайней мѣрѣ—въ Новороссіи, должно бы по настоящему признать Евреевъ). Какъ хотите, заключаетъ *Сіонъ*, „такъ или иначе, но судьба опредѣлила намъ жить не особнякомъ, а сообща съ вами, съ другими народами: поэтому, требуя отъ насъ соотвѣтствую-

щей части трудовъ на общее дѣло, вы должны предоставить намъ соотвѣтствующую часть въ завѣдываніе этимъ общимъ дѣломъ."

Не правду-ли мы сказали, что такое возраженіе гораздо благопріятнѣе для *Дня*, чѣмъ прямое одобреніе? Послѣ него падаетъ все, что въ прочихъ журналахъ было писано по еврейскому вопросу. На чемъ въ самомъ дѣлѣ основывались эти многочисленныя обвиненія и обличенія, которымъ подвергся *День* отъ Русской публицистики? Они основывались частію на смѣшеніи понятій и выходили изъ мысли, что предоставленіе Евреямъ правъ *политическихъ* есть не что иное, какъ обнаруженіе вѣротерпимости и признаніе простыхъ правъ *человѣческихъ* (какъ будто свободно исповѣдывать свою вѣру среди чужаго народа и начальствовать надъ этимъ народомъ есть одно и то же и одинаково не восходитъ далѣе правъ *человѣческихъ*.) Они основывались потомъ на особенномъ взглядѣ на религію и выходили изъ мысли, что различіе въ вѣрѣ не должно имѣть ни малѣйшаго вліянія на права политическія (тогда какъ различіе въ *богатствѣ* должно, напротивъ, имѣть большое значеніе и служить основаніемъ *цензу*). Они основывались, наконецъ, на совершенно произвольныхъ гаданіяхъ, что Евреи конечно не будутъ идти противъ христіанскихъ началъ общежитія и, безъ сомнѣнія, никакъ уже не предполагали, что Евреи вообразятъ себя настоящими хозяевами Россіи! Законные представители Евреевъ прямо и рѣшительно опровергаютъ теперь всѣ эти произвольныя гаданія и черезчуръ поспѣшныя увѣренія. Съ достойнымъ уваженія религіознымъ убѣжденіемъ, они отклоняютъ отъ себя всякое подозрѣніе въ холодности къ началамъ своего вѣроученія или въ неспособности служить имъ всѣми своими силами, на низшихъ и даже высшихъ постахъ государственной службы. Съ достойною удивленія откровенностью, они отказываютъ Русскимъ людямъ въ правѣ называть себя *хозяевами въ своей* землѣ. Они даже не стѣсняются прямо выразить свое презрѣніе къ легкомыслію своихъ непрошенныхъ защитниковъ; поспѣшное сочувствіе Русской публицистики они заслуженно чествуютъ назва-

ніемъ моды, давая этимъ знать, что за этимъ сочувствіемъ нѣтъ ни серьезнаго убѣжденія, ни сердечной мысли (см. начало „*Отвѣта*“), что того и другого можно ждать только отъ времени, отъ котораго, вѣроятно, *Сіонъ* и ожидаетъ, что оно воспитаетъ, наконецъ, когда-нибудь Русскую публику въ покорномъ признаніи превосходства еврейскихъ началъ предъ христіанскими и въ подобающемъ уваженіи къ господственному авторитету Еврейскаго населенія.

Однимъ словомъ, еврейскій вопросъ становится отселѣ на ту самую точку, которую указалъ ему *День* и которую подтвердительно признаетъ *Сіонъ*. Если суждено еще отселѣ продолжаться полемикѣ, ей предстоитъ рѣшить только слѣдующіе вопросы: дѣйствительно-ли еврейскій идеалъ долженъ быть предпочтенъ христіанскому, и дѣйствительно-ли Русскіе не хозяева въ своей землѣ?

Надѣемся, что читатели не ждутъ отъ насъ рѣшенія на эти вопросы, отвѣты на нихъ, надѣемся, написаны слишкомъ ясно въ совѣсти каждаго Русскаго. Мы смѣемъ даже думать, что нѣтъ той силы въ мірѣ, которая переубѣдила бы десятки милліоновъ Русскихъ людей такъ, какъ желалъ бы этого *Сіонъ*. „Какъ хотите — скажутъ эти десятки милліоновъ, повторяя слова *Сіона* — какъ хотите, такъ или иначе, но судьба, но тысячелѣтняя исторія дали христіанскимъ началамъ превозмогающее значеніе во всей всемірной жизни, а намъ, Русскимъ, опредѣлили господственное положеніе въ той землѣ, которую мы населяемъ. Вы должны признать этотъ фактъ и покориться всѣмъ его послѣдствіямъ. А послѣдствія эти таковы: вы живете *въ нашей* землѣ, слѣдовательно, должны подчиняться *нашимъ* законамъ и слѣдовать *нашимъ* порядкамъ, которые *мы* устанавливаемъ. Не хотите: ищите другого отечества. Нѣтъ у васъ другого отечества: мы въ этомъ не виноваты, а отсюда опять слѣдствіе то же, — живите, какъ мы установляемъ, а не какъ вамъ заблагоразсудится“.

Прибавимъ къ сказанному только одно замѣчаніе. Какъ однако въ этихъ отзывахъ *Сіона* о сравнительномъ достоинствѣ

христіанскаго и еврейскаго идеаловъ и о сравнительной важности русскаго и еврейскаго народонаселенія,—какъ въ этихъ отзывахъ отражается вся несчастная ограниченность еврейскаго міросозерцанія. И какъ опять этимъ самымъ подтверждается вся неспособность еврейски-мыслящаго гражданина къ благотворному участію въ управленіи христіанскимъ населеніемъ. „Христіанскій идеалъ неосуществимъ,—говоритъ Сіонъ, слѣдовательно, нечего за нимъ и гнаться.“ Какъ? Вы даже неспособны понять, что въ этомъ-то и состоитъ все великое значеніе христіанскихъ началъ для общественно-прогрессивнаго движенія? Вы не понимаете и того, что идеалъ, по самому существу своему, долженъ быть неосуществимымъ, хотя и вѣчно осуществляемымъ, что потому-то онъ и есть идеалъ? И развѣ вы не видите, что всѣ высокія общественныя движенія,—возьмите уничтоженіе рабства, или даже ту самую вѣротерпимость, которою вы пользуетесь, и всѣ высокіе подвиги (дѣянія Франклиновъ и Говардовъ), подвиги личные, но не оставшіеся безъ вліянія на общество,—словомъ, развѣ не видите, что все, чѣмъ достойно славится новая исторія, истекло изъ этого неосуществимаго и, по вашему мнѣнію, непригоднаго къ жизни идеала, и никакъ не могло бы изойти изъ признаваемыхъ вами началъ простой справедливости, или точнѣе—законовъ обоюду-равнаго возмездія? Ужели вы не видите, что христіанскія общества, дѣйствительно далекія, обыкновенно, отъ собственныхъ своихъ началъ, поднимаются однако по временамъ и возносятся, не говоримъ—до всей высоты, но хотя до половины своего недосягаемаго идеала, и оттуда и именно оттуда льются всѣ блага цивилизаціи? Да, вы этого не видите и не признаете, и не можете ни видѣть, ни признавать, скованные своимъ узкимъ, національно—вѣроисповѣднымъ воззрѣніемъ.

Просимъ гг. издателей *Сіона* не оскорбиться нашимъ заключеніемъ, но смѣемъ увѣрить ихъ, что оно нисколько не преувеличено. Ожидаютъ-ли даже они? Стоитъ вѣдь только прочитать сдѣланныя ими сопоставленія Евангельскихъ мѣстъ съ изреченіями Талмуда, всякій, кто не ослѣпленъ еврейскими

предразсудками, непремѣнно скажетъ, что *Сіонъ* не въ состояніи правильно даже понять, въ чемъ состоитъ различіе и сходство Талмуда съ Евангеліемъ? Вѣдь мѣста-то, почитаемыя ими за тождественныя, говорятъ совсѣмъ разное, почти противуположное? знаютъ-ли они также, что стоитъ только прочитать ихъ выводы о правахъ ихъ на хозяйское мѣсто, всякій, кто только разсуждаетъ не по талмудической, а по общечеловѣческой логикѣ, непремѣнно скажетъ: „да, они не въ состояніи возвыситься даже до простаго здраваго смысла, коль скоро заходитъ рѣчь о значеніи народовъ и государствъ! У насъ нѣтъ отечества, слѣдовательно, мы вездѣ хозяева“. Какъ такъ? А почему же Россія есть Россія, а не Франція; Франція есть Франція, а не Англія; и Англія есть Англія, а не Франція и не Россія? Почему же такъ? На этотъ вопросъ *Сіонъ* ничего не отвѣчаетъ, да и ничего не можетъ отвѣтить...

По поводу будущаго суда присяжныхъ.*)

I.

Что либеральная фраза есть нашъ теперешній недугъ, это дѣло извѣстное. Что недугъ празднословія, хотя бы и либеральнаго, есть недугъ важный, свидѣтельствующій объ уродливости развитія и объ отсутствіи истиннаго чувства свободы, это также не новость. Но едва ли многимъ приходило въ голову, что праздныя фразы о либеральныхъ началахъ, плодъ мелкаго желанія похвастаться небывалыми чувствами и небывалыми знаніями, далеко не такъ опасны для будущаго нашего развитія, какъ осуществленіе этихъ началъ на самомъ дѣлѣ, въ видѣ положительнаго учрежденія, и притомъ въ видѣ отвѣта на настоятельную потребность страны. Однако это такъ, и чѣмъ серьезнѣе осуществленіе этихъ началъ, тѣмъ опаснѣе; чѣмъ самыя начала чище и выше, тѣмъ перспектива плачевнѣе; чѣмъ настоятельнѣе въ нихъ потребность страны, тѣмъ сомнительнѣе будущее развитіе. Какъ это ни парадоксально, но это вѣрно. Самый лучшій исходъ болѣзни либеральнаго словотеченія тотъ, что мы опрофанируемъ священныя требованія и опошлимъ высокія истины, что отчасти съ нами уже и происходитъ. Но здѣсь же и начало къ исцѣленію. Опошленіе фразы не убьетъ самаго понятія; напротивъ, это только отрезвитъ мысль, воз-

* Статьи, помѣщенныя въ №№ 45, 46 и 49 газеты «День» 1862 года.

вратитъ ей сознаніе дѣйствительности, а, слѣдовательно, возвратитъ и чувство истинной свободы. Мы можемъ оставаться вѣрными идеѣ свободы, если и не будемъ, вкривь и вкось, кстати и не кстати, возглашать „о гласности“ и „самоуправленіи“, или о „прогрессѣ и „цивилизаціи“; мы даже вѣрнѣе будемъ служить свободѣ, если вовсе не станемъ употреблять этихъ словъ и имъ подобныхъ, а будемъ говорить только о томъ, что ими выражается, и въ чемъ дѣйствительно состоитъ гласность или самоуправленіе, прогрессъ или цивилизація, и т. д. Но что будетъ, если мы тѣ же самыя начала сумѣемъ опошлить, унизить, осквернить, когда они предстанутъ предъ насъ, не какъ мечта объ отдаленномъ и нечаемомъ благѣ, а какъ насущный жизненный фактъ во-очію, не какъ предметъ для празднаго чесанія языка, а какъ матеріалъ для ежедневной гражданской дѣятельности?....

Этотъ печальный вопросъ невольно задаемъ мы себѣ, когда пересматриваемъ въ *Основныхъ Положеніяхъ преобразованія судебной части* параграфы, относящіеся къ суду *присяжныхъ*, къ *прокуратурѣ* и къ *адвокатурѣ*.

Безспорно, что изъ всѣхъ учрежденій, какими славится образованная Европа, судъ присяжныхъ есть учрежденіе самое высокое, самое чистое, самое безупречное. Судъ присяжныхъ есть освященіе уголовнаго правосудія постояннымъ участіемъ живой народной совѣсти. Государство находитъ въ немъ высшее, возможное на землѣ оправданіе для самой тягостной изъ своихъ обязанностей. Общество находитъ въ немъ средство къ наиболѣе справедливому огражденію своей безопасности. Законъ получаетъ въ немъ возможность быть вполнѣ живымъ посредникомъ между властію и народомъ, посредникомъ, вѣ время строгимъ, вѣ время сострадательнымъ, безконечно разнообразнымъ въ своемъ примѣненіи, какъ безконечно разнообразны сами лица и случаи, ему подлежащія, словомъ—получаетъ возможность быть живымъ лицомъ, не теряя чрезъ то строгой неизмѣнности, свойственной ему, какъ мертвой буквѣ, и не увлекаясь пристрастіемъ, свойственнымъ обыкновенной живой лич-

ности. Учрежденіе собственно представительное, судъ присяжныхъ заключаетъ въ себѣ всѣ выгоды представительства и избѣгаетъ всѣхъ его недостатковъ. Народъ здѣсь не беретъ себѣ никакой *власти*; напротивъ, въ одной и той же тѣсной области суда, даже въ одномъ и томъ же, повидимому, нераздѣльномъ судебномъ рѣшеніи, здѣсь тонкимъ образомъ различенъ внутренній актъ нравственнаго приговора отъ внѣшней дѣятельности, которою опредѣляется матеріальная участь подсудимаго, присяжнымъ предоставлено участіе только въ первомъ изъ этихъ двухъ моментовъ правосудія. Судъ присяжныхъ не знаетъ и другой лжи, столь свойственной всякому другому представительству. Подъ видомъ избранныхъ народныхъ *представителей* здѣсь не подлагаются избранные народные *правители*, какъ это бываетъ съ членами всякихъ представительныхъ собраній. Призванный на рѣшеніе опредѣленнаго случая, избранный, такъ сказать, на мгновеніе, присяжный не перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть по своей идеѣ, то есть откровеніемъ народной совѣсти, органомъ народной мысли. Присяжный есть орудіе не личныхъ интересовъ или интересовъ отдѣльнаго сословія, что поставляется почти въ обязанность членамъ представительныхъ собраній. Напротивъ, непремѣнное условіе суда присяжныхъ, чтобы присяжные судили о дѣлѣ совершенно для себя чужомъ (право безусловнаго отвода), чтобы вносили, слѣдовательно, въ сужденіе чувства, свободныя отъ всякаго своекорыстія. Отъ этого и самая дѣятельность присяжныхъ есть дѣятельность не препирающаяся, а совѣщательная, и приговоръ ихъ выражается не въ раздѣленіи голосовъ, а въ единодушномъ соглашеніи. (Мы говоримъ, собственно, о величавомъ первообразѣ суда присяжныхъ). Послѣднее условіе особенно важно. Оно истекаетъ изъ той глубоко-вѣрной мысли, что нравственный приговоръ, какъ свидѣтельство безусловной правды, по самому существу своему не терпитъ разнорѣчій; что, если въ рѣшеніи нравственныхъ вопросовъ возможны недоумѣнія, они, при искреннемъ желаніи убѣдиться, легко уступаютъ соглашенію; что отсутствіе согласія всегда есть признакъ незрѣлости убѣжденія и

поверхностности совѣщанія; что рѣшительная неуступчивость въ мнѣніи можетъ быть плодомъ только крайняго нравственнаго отупѣнія или же полнаго равнодушія къ такимъ вопросамъ, каковы вопросы о жизни и чести согражданина, и въ обоихъ случаяхъ есть признакъ неспособности быть нравственнымъ судьей; что, поэтому, признавать разнорѣчивый приговоръ за достаточный значило бы утверждаться на случайныхъ мнѣніяхъ, не достигшихъ или вовсе лишенныхъ нравственно разумнаго характера; что допускать самую возможность такихъ приговоровъ значило бы сомнѣваться въ нравственной способности присяжныхъ, или даже поощрять ихъ къ постыдному равнодушію о судьбѣ ближняго; что, наконецъ, въ особенности, основываться при этомъ на большинствѣ голосовъ значило бы совершенно забыть нравственный характеръ присяжныхъ, окончательно отказаться отъ внутренней правды, принести ее въ жертву чистому произволу, плохо закрытому множественностью голосовъ, и сдѣлать изъ суда лотерею, гдѣ вопросъ о жизни и смерти рѣшается простымъ математическимъ уравненіемъ.

Разсматриваемый съ этой точки зрѣнія, судъ присяжныхъ можетъ быть названъ учрежденіемъ истинно христіанскимъ: своею идеею и своею формою онъ почти прямо напоминаетъ церковный соборъ, хотя и отличается отъ него предметомъ своей дѣятельности. И едва-ли даже это не единственное государственное учрежденіе изъ всѣхъ существующихъ, которое вполнѣ достойно назваться христіанскимъ! Къ прочимъ преимуществамъ, дѣлающимъ его достойнымъ христіанства, нужно отнести и то, что нѣтъ и не можетъ быть ни одного народа въ мірѣ, начиная племенами, еще не вышедшими изъ патріархальнаго быта, и оканчивая народами, стоящими на самыхъ высшихъ ступеняхъ развитія, гдѣ бы судъ присяжныхъ былъ не пригоденъ, или гдѣ бы онъ не могъ оказаться благодѣтельнымъ. Да и понятно: нѣтъ и не можетъ быть народа, для котораго была бы излишня внутренняя правда, и нѣтъ народа, въ которомъ бы ея откровеніе подлежало инымъ законамъ, а не общечеловѣческимъ. Поэтому и мы, русскіе, не можемъ не привѣтство-

вать радостными надеждами возникающее у насъ учрежденіе присяжныхъ, и не можемъ не благодарить Власть за ея рѣшимость дать намъ высокій судъ по совѣсти. Наши надежды должны бы быть тѣмъ радостнѣе, чѣмъ неудовлетворительнѣе нашъ теперешній, основанный на *доказательствахъ* судъ, имѣющій незавидное искуство подводить подъ наказаніе только искренно кающихся грѣшниковъ, то есть людей большею частію нравственно чистыхъ, и оправдывать только закоснѣлыхъ злодѣевъ, изучившихъ наглую формулу: „знать не знаю, вѣдать не вѣдаю“.

И однако же мы всетаки повторяемъ себѣ свой вопросъ: а что, если сумѣемъ мы опошлить, унизить, осквернить и это высокое начало, и это чистѣйшее изъ чистыхъ учрежденій? Не беремся быть предсказателями, но осмѣливаемся представить читателямъ картину того, что по нашему предположенію можетъ у насъ выйти съ судомъ присяжныхъ. Можетъ выйти вотъ что:

Сессія окружного суда назначена; присяжные избраны; по городамъ и городкамъ, по селамъ и деревушкамъ летятъ повѣстки, что такіе-то и такіе-то должны явиться къ такому-то числу въ такой-то городъ, на *ассизы*, подъ опасеніемъ заплатить за неявку штрафъ въ триста рублей серебромъ. „Пропади они пропадомъ!“ говоритъ себѣ по этому случаю крестьянинъ Ефремъ Сидоровъ, которому, вмѣстѣ съ прочими, на этотъ разъ выпалъ жребій“. Что это, Господи, за напасть! Время теперь дорогое! А не поѣдешь,—заморятъ небось въ острогѣ, окаянные! Легкое ли дѣло, двѣсти верстъ! (Читатель не найдетъ это разстояніе слишкомъ преувеличеннымъ, если приметъ въ соображеніе, что губерній, имѣющихъ въ поперечникѣ четыреста верстъ, у насъ довольно, а окружныхъ судовъ въ каждой губерніи будетъ суда по четыре, пожалуй даже по три, слѣдовательно, каждый округъ будетъ имѣть въ поперечникѣ по крайней мѣрѣ верстъ двѣсти). И дернула же меня тогда нелегкая, продолжаетъ разсуждать Ефремъ Сидоровъ, пойти въ церковные старосты! Конечно, это божье дѣло и ради Бога дѣлается, да если бы я не былъ старостой, напасть-то бы эта теперь засѣдательская на

меня не нашла! Закажу и дѣтямъ и внукамъ идти въ церковные старосты!“ И крехтя и охая, плетется Ефремъ Сидоровъ за двѣсти верстъ, разумѣется, пѣшкомъ, съ сапогами на плечахъ, питаясь большею частію Христовымъ именемъ, въ чемъ ему и не отказываютъ, какъ человѣку „въ неволѣ“, немного отстающему отъ арестанта.

Не болѣе веселые разговоры ведетъ съ собою и купецъ и даже помѣщикъ-хозяинъ. И имъ это не въ пору и не въ мочь. Ну, да впрочемъ тутъ на всякій случай есть доктора: свидѣтельство о болѣзни небось дешевле трехъсотъ рублей обойдется, а повальныя болѣзни у насъ бываютъ часто!

Крехтитъ и чиновникъ Семеновъ.... Но что-жъ дѣлать, думаетъ онъ, *служба!* А кабы за эту *командировку* да тройные прогоны, думаетъ онъ, дало начальство, вотъ это было бы ладно!

И только молодой помѣщикъ изъ прогрессистовъ, недавній студентъ или кадетъ, весело летитъ на ассизы, обгоняя плетущихся туда Ефремовыхъ, Гавриловыхъ и разныхъ подобоименныхъ имъ засѣдателей! Ему весело представить себя *присяжнымъ* (крестьянинъ будетъ видѣть въ себѣ *засѣдателя,* а образованный человѣкъ—*присяжнаго*). Онъ воображаетъ, что ему придется непремѣнно быть *предсѣдателемъ присяжныхъ.* Какъ важно выйдетъ онъ, послѣ совѣщанія, въ залу публичнаго суда, какъ торжественно произнесетъ извѣстную формулу, которую столько разъ приходилось ему читывать!

Но вотъ засѣданіе. Не безъ достоинства, но съ нѣкоторою сдержанностію сидятъ на *скамьѣ присяжныхъ* Русскіе люди изъ „православныхъ“ и „почтенныхъ“. Съ недоумѣніемъ взираютъ они на совершающійся предъ ними парадъ. Допросы, предъ ними производимые, они, разумѣется, понимаютъ, и сущность дѣла смекаютъ. Но что-то странны имъ кажутся прокурорскія и адвокатскія рѣчи (можетъ быть даже съ позами и жестами, какъ слѣдуетъ по-французски); но дико имъ это названіе *господъ присяжныхъ,* съ которымъ къ нимъ обращаются, и окончательно не возьмутъ они въ толкъ, что такое за „смягчающія вину обстоятельства“, о которыхъ имъ что-то много го-

ворятъ, и съ которыми имъ, кажется, придется имѣть дѣло. (Чего добраго, имъ будутъ говорить даже о *фактѣ* преступленія!)

Однако все кончается; уходятъ присяжные въ особенную комнату, и здѣсь произойдетъ слѣдующая сцена:

Помолчатъ нѣсколько времени, и потомъ кто-нибудь скажетъ такую рѣчь:

— А что, вѣдь это стало-быть намъ велятъ сказать: виноватъ ли этотъ парень?

— Нешто.

— Что же, православные, на чемъ положимъ?

— Да Богъ его знаетъ, чужая душа потемки; можетъ онъ и причиненъ этому дѣлу, а можетъ и нѣтъ.

— Оно точно. Да и какъ на душу себѣ грѣхъ брать! Онъ можетъ быть и виноватъ, да кто же Богу не грѣшенъ, кто царю не виноватъ! съ кѣмъ грѣхъ да бѣда не живетъ! Не равно въ лихой часъ и съ тобой бѣда стрясется.

— Поди, чай, въ Сибирь ушлютъ. Отдашь Богу отвѣтъ за христіанскую душу.

— Не наше дѣло чужіе грѣхи судить. Помилуешь,—самого Богъ помилуетъ.

— Вотъ это правда.

Мы не беремся описывать, что должно происходить, когда среди присяжныхъ будутъ находиться люди цивилизованные. Думаемъ скорѣе, что „господа“ мало будутъ съ мужиками разговаривать, и сами „православные“ не очень охотно будутъ вступать съ ними въ бесѣды. Да въ такихъ бесѣдахъ и не будетъ настоять ни малѣйшей надобности. *Основныя Положенія* вовсе не требуютъ совѣщанія отъ присяжныхъ и не ожидаютъ отъ нихъ зрѣлыхъ *убѣжденій*, они требуютъ и ожидаютъ готовыхъ личныхъ мнѣній, а мнѣніе можно дать, вовсе и не сносясь съ своимъ сосѣдомъ.

Войдутъ присяжные, и принесутъ приговоръ,—какой и въ какой формѣ? Это будетъ зависѣть отъ того, какой будетъ на этотъ разъ составъ присяжныхъ, и какой составъ самаго суда.

Если присяжныхъ жребій наберетъ исключительно изъ простонародья, то приговоры, во первыхъ, будутъ непремѣнно единогласные (отдѣляться отъ общаго голоса позволятъ себѣ только присяжные цивилизованные). Во вторыхъ, отвѣты будутъ получаться (на первыхъ порахъ учрежденія) въ слѣдующей формѣ: „не знаемъ, кормилецъ“, или даже: „какъ прикажетъ ваша милость, на томъ и станетъ“. Если судъ будетъ состоять изъ обыкновенныхъ смертныхъ, онъ придетъ, разумѣется, въ ужасъ и негодованіе отъ „мужичьей безтолковости“. Болѣе или менѣе безцеремонно постарается предсѣдатель объяснить *мужикамъ*, чего отъ нихъ требуютъ, и присяжные волею-неволею вынуждены будутъ дать отвѣтъ по формѣ, и притомъ въ такомъ смыслѣ, какой, по ихъ мнѣнію, именно желателенъ суду. Разумѣется, это поощритъ судъ впослѣдствіи прямо диктовать приговоры присяжнымъ, чѣмъ послѣдніе будутъ очень довольны.

Если же въ составѣ присяжныхъ попадутся господа, и если господа захотятъ вступить въ совѣщаніе съ присяжными изъ простонародья, или, говоря проще, настроить ихъ на извѣстное рѣшеніе, то приговоръ будетъ данъ согласно съ желаніемъ „барина“: „чтожъ намъ порознь идти, какъ вы, такъ и мы.“

Въ крайнемъ случаѣ, когда судъ будетъ состоять изъ лицъ высоко-добросовѣстныхъ (оглянемся, читатель, гдѣ они?), и если имъ удастся добыть отъ присяжныхъ голосъ совершенно свободный, приговоры будутъ въ большей части оправдательные, и притомъ въ слѣдующей постепенности: преступленія противъ собственности будутъ оправдываться почти всегда; убійства довольно часто; преступленія, въ тѣсномъ смыслѣ нравственныя, гораздо рѣже.

Одинъ только родъ преступленій непремѣнно подвергался бы всякій разъ обвинительному приговору, это — преступленія и проступки политическіе, или всякое, хотя бы и легкое, возстаніе противъ власти, совершенное словомъ или дѣломъ. Но именно эта-то сфера преступленій и не будетъ подлежать суду нашихъ присяжныхъ.

Извиняясь въ распространеніяхъ, допущенныхъ нами изъ желанія придать изложенію большую наглядность, мы обращаемся къ читателю съ вопросомъ: находитъ ли онъ картину, гадательно нами предъизображенную, довольно вѣрною? Вѣроятно, что большинство читателей, знакомыхъ съ Русскою жизнію и съ Русскимъ обществомъ, отвѣтитъ намъ утвердительно: да, это будетъ такъ! Мы не столь рѣшительны, и не станемъ утверждать, что будетъ непремѣнно такъ, но позволяемъ себѣ выразить опасеніе, что такъ быть *можетъ*, и что есть много условій къ тому, чтобъ было такъ, а не иначе. А если же такъ будетъ, то что же такое будутъ наши присяжные, наши адвокаты, нашъ обвинительно-защитительный процессъ, нашъ уголовный судъ вообще? Если такъ будетъ, то присяжные будутъ лишнею мебелью въ судѣ, адвокаты—парадною драпировкою судебной залы, весь обвинительно-защитительный процессъ—пустою формою, самый судъ—насмѣшкою надъ судомъ по совѣсти. Отправленіе правосудія, конечно, улучшится, какъ все улучшается со временемъ; улучшится, сначала и частію, вслѣдствіе преобразованія, а потомъ улучшится еще болѣе отъ распространенія просвѣщенія, отъ развитія нравственныхъ понятій и неразрывно соединеннаго съ нимъ уваженія къ свободѣ. Но самый судъ будетъ всетаки не судомъ присяжныхъ, а судомъ приказныхъ, какимъ онъ есть, какимъ онъ былъ искони, и какимъ остался, не смотря на кажущееся преобразованіе свое изъ приказнаго въ земскій. А между тѣмъ мы будемъ утѣшаться мыслію, что владѣемъ тоже великимъ учрежденіемъ *джюри*, что и въ нашихъ судебныхъ залахъ слышится откровеніе высшей народной совѣсти. Впрочемъ, это наше увлеченіе и эта увѣренность пробудетъ недолго. Скоро мы сами же насмѣемся надъ своимъ увлеченіемъ; будемъ презрительно отзываться о новомъ судопроизводствѣ, какъ отзываемся о теперешнемъ, и въ добавокъ будемъ обвинять, пожалуй, самое учрежденіе, опошлимъ и осмѣемъ самую идею суда присяжныхъ, назовемъ ее нелѣпостью, химерою, самообольщеніемъ. Въ частности, присяжные напомнятъ намъ теперешнихъ засѣдателей, которыхъ кстати они и

повторятъ своимъ названіемъ, или же теперешнихъ добросовѣстныхъ. Вѣдь и засѣдатели, и въ особенности добросовѣстные—какое высокое въ идеѣ учрежденіе! Добросовѣстный, это—избранный нами согражданинъ, охраняющій нашу личную неприкосновенность и неприкосновенность нашего домашняго очага, это стражъ нашего habeas corpus! Между тѣмъ, что такое добросовѣстный на дѣлѣ? Большею частію пропившійся мѣщанинъ, презираемый своею собратьею, и потому именно подпавшій избранію, что не заслужилъ ничьего уваженія; лицо презираемое полиціею (хотя она и не можетъ ступить безъ него ни шага), презираемое домохозяевами, и едва ли не презираемое самимъ собой. Какъ бы не сталось того же самаго съ присяжнымъ засѣдателемъ, котораго обязанность, хотя и совсѣмъ въ другой сферѣ, будетъ имѣть много общаго съ обязанностію добросовѣстнаго?

Не правду ли мы сказали въ началѣ, что для нашего будущаго развитія не столько страшны празднословныя разсужденія о высшихъ общественныхъ началахъ, сколько осуществленіе этихъ началъ въ самой жизни, въ видѣ положительнаго учрежденія? и что, чѣмъ серьезнѣе ихъ осуществленіе, чѣмъ сами они выше и чѣмъ настоятельнѣе въ нихъ потребность общества, тѣмъ для насъ опаснѣе?

Многіе, соглашаясь съ нашими предчувствіями, можетъ быть, обвинятъ при этомъ законодательство за его неумѣнье приладиться къ настоящимъ народнымъ нуждамъ, или судебное сословіе за недостаточное уваженіе къ своему долгу, или же самый народъ за его неспособность возвыситься до истинной оцѣнки закона. Мы не пристаемъ ни къ одному изъ этихъ голосовъ. Конечно, предпринимаемая судебная реформа не чужда частныхъ недостатковъ, какъ не чуждо ихъ всякое человѣческое дѣло, но вообще, по нашему мнѣнію, законодательство съ своей стороны сдѣлало здѣсь все, что оно могло сдѣлать, и, скажемъ болѣе, все, что оно должно было сдѣлать. Конечно, и магистратура наша не можетъ похвалиться вполнѣ безупречнымъ исполненіемъ обязанностей: но чтожъ дѣлать, когда, какъ

говорится, уже ее такъ Богъ создалъ? Возлагать на нее отвѣтственность за будущія неудачи судебныхъ преобразованій значило бы то же самое, что сердиться на свои волосы, зачѣмъ они такого, а не другого цвѣта. Въ особенности же мы просили бы не спѣшить обвиненіемъ народа, въ „варварствѣ и закоснѣлости“. Въ отвѣтъ образованной публикѣ, со стороны которой къ сожалѣнію еще возможны въ настоящее время подобныя обвиненія, можно было бы сказать словами басни:

Чѣмъ кумушекъ считать трудиться,
Не лучше-ль на себя, кума, оборотиться?

Причину возможной у насъ неудачи суда присяжныхъ, равно какъ возможной неудачи судебнаго преобразованія вообще, нужно искать глубже, чѣмъ въ этихъ частныхъ явленіяхъ. Она лежитъ въ существѣ переживаемой нами эпохи, и есть результатъ цѣлой исторіи, въ которомъ невиноватъ никто, и котораго отвратить никто не въ силахъ. Самое печальное въ нашемъ положеніи, напротивъ, именно то, что дѣлается все возможное, чтобы легче совершился кризисъ; приносятся для этого добросовѣстныя жертвы, совершаются подвиги, иногда не громкіе, но всегда существенные, и часто запечатлѣнные высокимъ характеромъ самоотреченія. Но тяжелая эпоха все длится и будетъ длиться, продлится можетъ быть десятки лѣтъ и даже цѣлое столѣтіе. А между тѣмъ чувствуется общая разладица, вездѣ видится хаосъ мысли, взаимныя недоразумѣнія, неустановленность потребностей и фальшивый задоръ необуздавшейся воли. Печально жить въ это время, и нужно имѣть много нравственнаго мужества, чтобы спасать себя отъ этого мутнаго водоворота бодрою надеждою на далекое свѣтлое будущее. Надѣемся, что сказанное нами вполнѣ подтвердится дальнѣйшими нашими соображеніями.

II.

Переживаемое нами положеніе можетъ быть означено двумя словами: *государство упраздняетъ служилое сословіе.* Освобожденіемъ крестьянъ порѣшивъ остатки помѣстной системы, оно развязывается теперь съ системой приказной. Какъ, полтораста лѣтъ назадъ, всю землю приставило оно къ ратному дѣлу, такъ теперь всей землѣ предоставляетъ вѣдать судъ. Какъ тогда, вслѣдъ за служилыми людьми, повлекло оно и землю на службу, потянувъ сюда всѣ ея жилы,—установивъ рекрутчину, ревизію, подушныя, паспорты, систему всеобщаго сословнаго и мѣстнаго прикрѣпленія, такъ теперь, напротивъ, служилыхъ людей оно распускаетъ въ земствѣ, снимая съ самого суда значеніе службы,—установляя независимость судей, адвокатуру, присяжныхъ. Государство исполняетъ требованіе исторіи, и въ настоящее время, скажемъ не обинуясь, оказываетъ дѣйствіе великодушія, которое будетъ оцѣнено потомствомъ. Но землѣ приходится стать у такихъ дѣлъ, отъ которыхъ она доселѣ тщательно держала себя въ сторонѣ. Сладится-ли это сейчасъ? Никто не посмѣетъ отвѣчать утвердительно, когда вспомнитъ, что отходящій порядокъ стоялъ слишкомъ восемьсотъ лѣтъ, и только полтораста лѣтъ прошло, какъ совершается его переломъ. Но время здѣсь ничего не значитъ. Гораздо важнѣе—склонности народа, воспитанныя этою тысячелѣтнею привычкою, склонности, успѣвшія стать—не догматомъ, нѣтъ! догматъ, сознательно принятый, легко поколебать и опровергнуть,—но стихіею, которая, помимо участія личнаго разума и воли, входитъ, какъ необходимая подкладка, въ каждое представленіе народа о своемъ общественномъ бытіи.

Неоднократно былъ возбужденъ вопросъ, отчего не удались Екатерининскія учрежденія: учрежденіе о губерніяхъ, городовое положеніе, самая дворянская грамота,—съ такими обширными правами, предоставленными земству? Сколько намъ извѣстно, на это давалось четыре отвѣта: 1) „Выборныя должности не вознаграждаются жалованьемъ. Кому охота тратить даромъ время и трудъ!“ Отвѣтъ былъ бы основателенъ, если-бы лица,

подлежащія избранію, не тратили своего времени даромъ и внѣ общественныхъ должностей, если-бы занятіе этихъ должностей не было связано съ охраненіемъ интересовъ, болѣе или менѣе близкихъ должностнымъ лицамъ, и если-бы, наконецъ, корысть была единственнымъ двигателемъ всѣхъ человѣческихъ дѣйствій, и всѣхъ дѣйствій русскаго человѣка въ особенности. Согласимся, что ни того, ни другого, ни третьяго условія не существуетъ. 2) „Выборныя должности вполнѣ зависимы отъ администраціи; ни для кого нѣтъ большой пріятности подвергаться распеканьямъ губернскаго правленія, пускай даже и самого министерства!“ Фактъ справедливъ, но заключеніе имѣло-бы силу, когда нельзя было-бы съ равною основательностію вывести противоположнаго заключенія: безцеремонное обращеніе администраціи не зависѣло-ли наоборотъ отъ податливости самого земства? Законъ, давая земству права, конечно, не думалъ играть комедіи; съ другой стороны видимъ примѣры, что сознаніе своего достоинства, твердое и единодушное, накладываетъ иногда нравственную узду и на русскую администрацію. 3) „Выборныя лица не приносятъ къ своимъ должностямъ необходимыхъ спеціальныхъ свѣдѣній; поневолѣ все отдается въ руки канцелярій“. Въ гражданскомъ судѣ такъ. Но въ распоряженіи городскими и земскими сборами выборныя лица суть судьи наиболѣе компетентные. А въ судѣ уголовномъ, присутствующія лица могли-бы пользоваться предоставленною имъ свободою мнѣнія, и не стѣсняясь своимъ незнаніемъ закона, не стѣсняясь даже своею безграмотностію: имъ не грозитъ штрафъ за неправильное рѣшеніе. Съ другой стороны, присутствіе всегда можетъ поставить канцелярію въ такое положеніе, что она будетъ не диктовать рѣшенія, а, напротивъ, только облагоображивать и „оформливать“ рѣшеніе судей, какъ это и бываетъ иногда, и какъ это ввелось даже въ постоянный обычай въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ. Наконецъ, 4) „вся бѣда, говорятъ, отъ того, что наши распорядительныя учрежденія и наши суды суть учрежденія и суды—сословные, и самые выборы суть выборы также сословные; избранныя лица приносятъ съ собою узкіе сословные взгляды, естественный залогъ неспособно-

сти служитъ истиннымъ интересамъ правды, общимъ интересамъ отечества". Это объясненіе, самое модное теперь, когда у всѣхъ на языкѣ „сліяніе сословій", всѣхъ менѣе основательно. Оно исходитъ изъ представленія о вещи, которой не существуетъ: оно предполагаетъ сословія, тогда какъ, за исключеніемъ естественнаго раздѣленія на „господъ" и „простыхъ людей" съ одной стороны, и за исключеніемъ раздѣленія на „поповъ" и „мірянъ" съ другой (раздѣленія, впрочемъ, нисколько не относящагося къ настоящему вопросу), у насъ нѣтъ никакихъ сословій, и всѣ остальныя дѣленія народа суть только воображаемыя, а не дѣйствительныя. И, конечно, не бывало примѣровъ у насъ, чтобъ кто-нибудь вносилъ въ общественную должность какіе-то неслыханные „сословные взгляды"; только развѣ въ случаѣ смѣшаннаго суда иногда, то или другое изъ сведенныхъ присутствій „постоитъ за своего брата". Скорѣе должно у насъ жаловаться на совершенное отсутствіе всякихъ взглядовъ, чѣмъ на воображаемую ихъ узкость; справедливѣе обвинять насъ въ замѣчательной неспособности — чувствовать свое сословіе, чѣмъ въ особенной къ нему чуткости и, наконецъ, основательнѣе предполагать въ насъ возможность увлекаться пристрастіемъ племеннымъ или религіознымъ, чѣмъ способность стоять за сословные предразсудки!

Очевидно, что ни одно изъ этихъ объясненій, ни всѣ они вмѣстѣ не указываютъ главной причины и не обнимаютъ сущности явленія. Всѣ они винятъ обстановку существующихъ выборныхъ должностей, и ни одно не предполагаетъ, чтобы эти должности, сами по себѣ, помимо всякой обстановки, были русскому человѣку не по сердцу. Но чѣмъ однако объяснимъ это единодушіе, съ какимъ всѣ уклоняются отъ избранія въ общественную должность, и всѣ относятся къ должности совершенно внѣшнимъ образомъ, по избраніи? Отчего то же явленіе не повторяется въ другихъ странахъ, и даже въ Остзейскомъ краѣ, гдѣ внѣшнія условія почти тѣ же самыя? Почему участіе въ мѣстномъ судѣ и администраціи, даруемое какъ право и всѣми народами почитаемое за право, русскимъ народомъ положительно признается

за повинность? Почему, если иногда ищутъ у насъ подпасть избранію, то ищутъ либо въ надеждѣ поживиться отъ должности, либо изъ желанія воспользоваться внѣшнимъ почетомъ, присвоеннымъ званію (напримѣръ, головы или предводителя), либо съ цѣлію, чрезъ занятіе пустой должности, избѣгнуть избранія на другую, болѣе серьезную; но никто никогда не искалъ должности ради ея самой, ради ея идеи, ради внутренней обязанности, съ нею соединенной? Самыя жалобы на отсутствіе вознагражденія за выборныя должности не показываютъ-ли, что этимъ должностямъ не придается внутренней цѣны? Отчего, скажемъ мимоходомъ, не только на выборной, но и на всякой другой службѣ, рѣдко кто успѣваетъ у насъ *увѣровать* въ свое званіе, проникнуться уваженіемъ къ нему, помимо почета, богатства, силы, которыя оно доставляетъ,—единственно за то, что оно есть живое олицетвореніе закона? Намъ не случалось видѣть должностныхъ лицъ французскихъ, но мы встрѣчали беамтеровъ нѣмецкихъ и понимаемъ, что можно *священнодѣйствовать* не только въ церковной службѣ, но и въ государственной! А говорятъ, что французъ способенъ еще благоговѣйнѣе относиться къ своему оффиціальному званію. Отчего не способенъ къ этому русскій?

Многіе, подходя къ этимъ фактамъ, не рѣшаются назвать ихъ прямымъ именемъ, намъ кажется, единственно изъ ложнаго стыда, изъ похвальнаго, но неосновательнаго патріотизма, однимъ словомъ—изъ боязни придти къ заключенію, что русскій народъ „не способенъ къ самоуправленію.“ Отсюда всѣ эти изгороты, эти жалобы на недостаточное матеріальное и нравственное обезпеченіе должностей, эти желанія сваливать вину на обстоятельства побочныя или даже несуществующія, эти попытки объяснять не слѣдствія изъ причинъ, а причины изъ слѣдствій. Нѣкоторые, болѣе откровенные, менѣе стѣсняются въ заключеніяхъ, и съ послѣдовательностію, весьма понятною, утверждаютъ, что русскій народъ страдаетъ недугомъ всѣхъ восточныхъ племенъ и не понимаетъ иной формы общественныхъ отношеній, кромѣ самоуправства, и что потому самому слѣдуетъ устроивать его благо, не спрашивая его желаній, къ

которымъ онъ не способенъ, и не стѣсняясь его упорствомъ, которое есть слѣдствіе дикости. Такихъ впрочемъ господъ теперь немного. Мы, со своей стороны, не стѣсняясь невзрачностію факта (если онъ не хорошъ, его не поправишь ложнымъ истолкованіемъ) и не давая преждевременныхъ заключеній (всѣ они выходятъ изъ готовыхъ теорій государственнаго устройства и изъ желанія видѣть народъ скроеннымъ по готовому образцу), выскажемъ мнѣніе, что русскій человѣкъ дѣйствительно не имѣетъ ни малѣйшаго позыва къ общественной власти и не чувствуетъ никакой въ ней сладости. Въ предлагаемой ему власти онъ видитъ частію оскорбленіе своего здраваго смысла, частію посягательство на свою нравственную свободу. Вы позовете его быть „органомъ центральной власти въ приложеніи государственнаго закона къ управленію общественнымъ хозяйствомъ и къ отправленію правосудія гражданскаго и уголовнаго, къ возстановленію оспариваемыхъ или нарушаемыхъ правъ, и къ отмщенію правды“.... Но здѣсь для русскаго человѣка, что ни слово, то недоразумѣніе, что ни шагъ, то нравственное покушеніе.

Русскій человѣкъ понимаетъ *власть*, какъ живую силу, готовую для его внѣшней и внутренней обороны, какъ живую свою защиту отъ супостата и лиходѣя. Въ этомъ смыслѣ онъ признаетъ ея необходимость, чтитъ ее, покоряется ея велѣніямъ, даетъ ей матеріальныя средства, насколько хватаетъ силъ, и оказываетъ ей возможную нравственную подпору. Послѣднее вытекаетъ изъ того убѣжденія, что оберегаемый властію, онъ обязанъ самъ беречь ее,—разумѣется, нравственными средствами, такъ какъ у него другихъ нѣтъ.

Вѣрный этому основному воззрѣнію, народъ крѣпко убѣжденъ въ трехъ непреложныхъ для него истинахъ: 1) что власть, хотя существуетъ постоянно, но дѣйствуетъ только въ исключительныхъ случаяхъ, обнаруживая притомъ свое дѣйствіе преимущественно въ видѣ кары противъ недобрыхъ людей; 2) что поэтому она есть совершенно отдѣльное явленіе, которому нѣтъ дѣла до обыкновеннаго теченія жизни людской, и 3) что по силѣ

всего этого, и обыкновенному человѣку брать на себя дѣйствіе власти непригоже и совѣсти противно.

Изложите русскому человѣку теорію раздѣленія властей на законодательную, судебную и исполнительную: ему трудно будетъ васъ понять. Растолкуйте ему въ особенности значеніе власти исполнительной: ему покажется въ вашихъ словахъ contradictio in adjecto, совмѣщеніе двухъ противорѣчащихъ понятій. „Если только исполнять, что наказано, какая тутъ власть? Это значитъ быть не хозяиномъ въ дому, а прикащикомъ". Скажите ему еще, что бываетъ власть въ тѣсномъ смыслѣ *общественная*, здѣсь ему тоже представится противорѣчіе: „Если до этихъ дѣлъ всѣмъ намъ равно, скажетъ онъ, то всѣ мы сообща и разсудимъ. Ну, а тамъ, кому вѣдать это дѣло, какъ мы его положимъ, на это можно приставить человѣка. Какая-же тутъ власть?"

Припоминаемъ при этомъ случай, съ нами бывшій. Узнавъ какъ-то, давно тому назадъ, о существованіи въ Московскихъ городскихъ рядахъ особыхъ рядскихъ старостъ, избираемыхъ каждымъ рядомъ, мы обратились съ вопросами къ нѣкоторымъ изъ рядовичей и къ другимъ, знакомымъ съ рядскими обычаями; но въ отвѣтъ получили только выраженіе недоумѣнія, почему такое незначущее явленіе можетъ быть интересно.

— Это пустое! не стоитъ объ этомъ и толковать! Такъ, знаете, иногда человѣкъ упадшій, а хорошій, ну вотъ ему и помогутъ, и выберутъ, и приставятъ къ этому дѣлу.

— Однако-же онъ завѣдуетъ общими рядскими дѣлами? Онъ дѣлаетъ сборы съ лавокъ?

— Конечно.

— Такъ въ чемъ-же его дѣло собственно?

— Да такъ, пустое. Ну, вотъ икона рядская, молебны тамъ, и все такое.

— Однако онъ же съ полиціей сносится?

— Кому-же больше! Конечно, онъ.

Толкуйте имъ тутъ, что для васъ важна самая эта самостоятельность организаціи, что интересно знать, какъ и чѣмъ

опредѣляются обязанности старосты, какъ и чѣмъ опредѣляется сборъ и расходъ денегъ; что наконецъ самое существованіе этого организованнаго мірка, не признаннаго, но и не отвергнутаго правительствомъ, есть фактъ любопытный: на васъ посмотрятъ во всѣ глаза, не поймутъ, о чемъ тутъ можетъ быть вопросъ, и въ особенности,—что тутъ можетъ быть общаго съ „правительствомъ!“

Этотъ примѣръ можетъ дать нѣкоторое понятіе о томъ недоумѣніи, съ которымъ, вѣроятно, встрѣчено было Городовое Положеніе Екатерины, съ широкими, по мнѣнію законодательства, правами городского сословія. Не понимая, въ чемъ тутъ право и гдѣ предметъ власти, городовое сословіе, естественно, не съ большою охотою пошло на управленіе своимъ, заранѣе разсчитаннымъ, хозяйствомъ. Изъ этого не слѣдуетъ, конечно, чтобы оно отнеслось къ новымъ обязанностямъ враждебно; оно стало исполнять ихъ съ полною покорностію, изъ уваженія къ власти; но, вѣроятно, долго было убѣждено, что исправляетъ этимъ, собственно, какія-то невѣдомыя ему нужды власти, а никакъ не свои собственныя. Отсюда-то и происходили явленія, въ родѣ случившагося съ г. Мологой и описаннаго нѣкогда въ *Днѣ*, что городскія нужды, нужныя для власти, исправлялись своимъ заведеннымъ порядкомъ, а исправленіе городскихъ нуждъ, нужныхъ для города, шло своимъ чередомъ.

Русскій человѣкъ понимаетъ *законъ* въ смыслѣ закона христіанскаго, предначертаннаго въ совѣсти всѣхъ и каждаго, и заключеннаго въ „писаніи“. Велѣнія этого закона онъ считаетъ равно обязательными и для себя и для власти, и затѣмъ считаетъ излишними всякія другія обязательства; а тѣмъ менѣе допускаетъ существованіе такихъ правилъ, которыми можно было-бы оправдать дѣйствія, явно противныя совѣсти и закону Божію. Противорѣчіе между закономъ и совѣстію, столь извѣстное для насъ, для него немыслимо. Конечно, онъ и себя не признаетъ исполнившимъ въ точности законъ Христовъ, и въ органахъ власти не предполагаетъ, чтобъ они всегда дѣйствовали „по душѣ, по совѣсти, да по христіански“. Примѣняя

ихъ дѣйствія къ своимъ собственнымъ, онъ охотно снисходитъ къ ихъ недобрымъ дѣйствіямъ, увѣренный впрочемъ, что во всякомъ случаѣ, для добраго человѣка—всякая власть добра. Власть на злыхъ, а не на добрыхъ, говорилъ намъ скромный мѣщанинъ одного маленькаго города. Если я никого не трогаю, да веду себя тихо да смирно, что мнѣ городничій?—Однако-же онъ можетъ прицѣпить тебя, ни за что ни про-что.—Что-жъ, али въ немъ нѣтъ совѣсти? Я же къ нему со всякимъ почтеніемъ.—Однакоже это можетъ быть?—Чего не можетъ! Ну да ужъ это Божіе наказаніе за наши грѣхи.

Значеніе закона, печатной книги, въ которой изложенъ дѣйствующій уставъ государства и всѣ его порядки, для русскаго человѣка мало понятно. Окончательно онъ пойметъ только то, что есть „такая книга царскихъ указовъ, чтобъ вѣдали подначальные люди волю царскую. Нельзя-же царю вездѣ поспѣть самому!“ Но чтобы законъ былъ выше живой власти, или даже равенъ ей, чтобъ онъ былъ чѣмъ-то такимъ, предъ чѣмъ должно быть „слугой“, этого не поймутъ. Въ послѣднемъ выраженіи для русскаго человѣка послышится даже нѣчто языческое,— и не безъ основанія.

Слова *право* нѣтъ въ русскомъ языкѣ. Слово *право* есть собственно усѣченное прилагательное: *правое* (т. е. дѣло или слово). Въ собственномъ своемъ значеніи и въ народномъ употребленіи оно нимало не соотвѣтствуетъ слову jus, которое литература переводитъ словомъ *право*. Въ этомъ смыслѣ мы и говоримъ, что слова *право* у насъ нѣтъ; это совсѣмъ не русское слово, хотя состоитъ и изъ русскихъ звуковъ. Для русскаго человѣка его право есть его обычай, „какъ водится между честными людьми“. И если немыслимо для него противорѣчіе между закономъ и совѣстію, то столь-же невмѣстимо для него и несогласіе закона съ обычаемъ. Едва-ли даже можно убѣдить его, что обычай есть часть закона, и что извѣстный обычай потому правъ, что онъ освященъ закономъ. Для него все это существуетъ наоборотъ, и навѣрное онъ подумаетъ, что его морочатъ, когда скажутъ ему, напримѣръ, что право

передавать кому угодно благопріобрѣтенное имѣніе есть дѣйствительное право, потому что записано въ законѣ!

Сообразны съ этимъ понятія и о *судѣ*. Судъ, это—защита отъ обидчика и лиходѣя, и здѣсь не различается гражданскій процессъ отъ уголовнаго, или, точнѣе сказать, судомъ признается одинъ судъ уголовный, хотя-бы предметомъ его и было гражданское право. Гдѣ нѣтъ уголовнаго элемента въ гражданскомъ искѣ, гдѣ споръ о правѣ возникаетъ изъ обоюднаго недоумѣнія, тамъ такъ же мало мѣста для власти, какъ и въ управленіи мірскими, одинаково ко всѣмъ относящимися дѣлами. Добровольная мировая сдѣлка съ глазу на глазъ, взаимная уступчивость: „грѣхъ пополамъ, Богъ съ тобой, не хочу твоего!“—вотъ исходъ такого недоумѣнія, исходъ чисто нравственный, а не юридическій. Или: „потолкуемъ на міру, выберемъ третью, пускай добрые люди насъ разсудятъ, что твое, что мое!“ Опять процессъ чисто нравственный, оканчивающійся рѣшеніями нравственнаго же характера, то есть сдѣлками и уступками. Иначе и не можетъ быть: споръ, въ основѣ котораго *недоразумѣніе*, по самому существу своему, есть споръ нравственный, а не юридическій, и въ самомъ зародышѣ своемъ уже заключаетъ элементъ уступки, готовность къ отреченію отъ собственности. Вести и рѣшать этотъ процессъ путемъ чисто юридическимъ, путемъ строгаго права, рѣзкаго и ограниченнаго, незнающаго ни уступокъ, ни пощады, ни сдѣлокъ, значило-бы совершать высшую неправду, оскорблять, поражать и задушать самые высокіе, самые святые нравственные порывы!

Вотъ почему русскій человѣкъ съ такимъ отвращеніемъ смотритъ на гражданскіе суды, съ такою непріятностію встрѣчаетъ направленный противъ него формальный искъ, съ такимъ негодованіемъ отзывается о человѣкѣ, который рѣшился искать по судамъ. „Пошелъ по судамъ, не жди добра!“—вотъ его изреченіе. Когда человѣкъ рѣшился искать правды судомъ, явный знакъ, что онъ считаетъ себя нравственно не сильнымъ, и надѣется только на „крючки и закорючки!“ Вотъ почему, съ другой стороны, не могло быть пріятно русскому человѣку засѣдать

въ такомъ судѣ, гдѣ ему, поневолѣ, приходилось потворствовать неправдѣ.

Припоминаемъ при этомъ замѣчанія, слышанныя нами отъ судебныхъ практиковъ. Одинъ изъ секретарей магистрата увѣрялъ насъ, что почти всѣ тяжбы, вчинаемыя у нихъ, имѣютъ содержаніемъ противорѣчіе писаннаго закона неписанному обычаю; а одинъ изъ предсѣдателей коммерческаго суда свидѣтельствовался своими сослуживцами, что не бываетъ въ ихъ рукахъ дѣла, въ которомъ не скрывалась бы на днѣ „уголовщина“. Замѣчательно также, что страсть къ сутяжничеству у насъ есть отличительная принадлежность тѣхъ классовъ общества, которые оторвались отъ народнаго быта, но не получили серьезнаго образованія, то есть распростились со старыми нравственными началами, но новыхъ не запасли, однимъ словомъ—принадлежность безнравственнѣйшей категоріи населенія. Все это свидѣтельствуетъ объ одномъ: что въ населеніи, нравственно не попорченномъ, самое огромное большинство дѣлъ кончается, не доходя до судебныхъ залъ, и въ глазахъ народа не считается подлежащимъ судебной *власти;* что русскій человѣкъ прибѣгаетъ къ власти съ гражданскимъ дѣломъ только въ крайнемъ случаѣ нестерпимой для себя обиды, ища себѣ защиты отъ обидчика; однимъ словомъ,—что гражданскій судъ, въ понятіи народа, начинается тамъ же, гдѣ и уголовный, и имѣетъ почти то же значеніе. Къ довершенію ихъ обоюднаго сходства, въ самомъ уголовномъ судѣ народъ не признаетъ безусловнаго характера, который присвоивается ему наукой. Съ необходимостью безкорыстной жестокости онъ никогда не помирится. Сказать, что правда сама по себѣ требуетъ отмщенія, или законъ—жертвы, какъ будто правда и законъ живыя лица, значило-бы въ его глазахъ сказать страшныя языческія слова, возмутительныя для совѣсти. Уголовному суду, какъ и гражданскому, онъ даетъ то же относительное, и притомъ живое, значеніе защиты: власть должна защитить его, какъ отъ обидчика, такъ и отъ „лихого человѣка“. Различіе между тѣмъ и другимъ видомъ правосудія лишь то, что въ защитѣ отъ обидчика требуется удалить *фактъ* обиды

отъ обиженнаго *лица,* а въ защитѣ отъ лихого человѣка требуется вывести цѣлое живое *лицо* въ удовлетвореніе всей *общины,* которая находитъ его для себя опаснымъ или вреднымъ. Всѣ остальныя различія между судомъ гражданскимъ и уголовнымъ: различіе въ существѣ дѣлъ, подлежащихъ тому и другому суду, основанное на предметѣ и формѣ нарушеній закона, и различіе въ способѣ возмездія,—въ глазахъ народа не существенны; по его понятіямъ, между прочимъ, *вознагражденіе* вовсе не есть исключительная принадлежность, свойственная только дѣламъ объ *обидѣ,* равно какъ *наказаніе* вовсе не есть исключительная принадлежность только *преступленія* или *проступка.*

Разсматриваемое, съ этой точки зрѣнія, правосудіе, конечно, не представляетъ въ глазахъ русскаго человѣка ничего худого; тѣмъ не менѣе онъ тщательно уклоняется отъ непосредственнаго въ немъ участія. Съ судомъ соединяются двѣ обязанности: обязанность наложить кару на виновнаго, и обязанность взвѣсить вину, чтобъ соблюсти соразмѣрность въ наказаніи. Та и другая одинаково противны нравственному чувству: первая потому, что несовмѣстна съ любовію къ ближнему, вторая потому, что несовмѣстна съ понятіемъ о человѣческой ограниченности, и обѣ потому, что присвояютъ себѣ дѣйствія, въ полномъ смыслѣ приличествующія только власти Божіей. Не отличая преступленій юридическихъ отъ нравственныхъ, или, точнѣе сказать, смотря на всѣ преступленія безъ исключенія съ точки зрѣнія нравственной, русскій человѣкъ считаетъ себя въ глубинѣ души такимъ же виновникомъ или даже еще бо̀льшимъ, чѣмъ тотъ, кого приходится судить. „Какъ я, грѣшникъ такой, и „подобострастный“ человѣкъ, осужу ближняго моего и наложу на него руку? Онъ и убійца, да можетъ быть въ рай пойдетъ, а ты и не убилъ никого, да грѣшнѣе его! Онъ и воръ, а ты и хуже всякаго воровства дѣлаешь: бѣднымъ не подаешь, слабаго обижаешь, неправедный приставникъ чужого стяжанія!“ При такихъ воззрѣніяхъ, естественно, не поворачивается языкъ произнести слово осужденія, а тѣмъ менѣе наложить наказаніе или хладнокровно копаться въ чужой совѣсти!

Отсюда однако не слѣдуетъ, чтобы, по мнѣнію русскаго человѣка, преступленіе должно было оставаться безнаказаннымъ, или чтобы осуждающія и наказующія дѣйствія власти казались ему безнравственными и сама она какимъ-то жестокимъ чудовищемъ. Напротивъ, русскій человѣкъ требуетъ наказаній и говоритъ, что „по дѣломъ вору и мука“, и что „потачки ворамъ давать не слѣдуетъ, чтобы и другимъ было не повадно“. Напротивъ, онъ любитъ и уважаетъ власть, и тѣмъ болѣе любитъ и уважаетъ, чѣмъ она къ добрымъ людямъ ласковѣе, но за то чѣмъ строже къ лихимъ: онъ приходитъ даже въ негодованіе, когда видитъ, что преступники выходятъ сухи и невредимы изъ рукъ правосудія. Кажущееся здѣсь противорѣчіе въ воззрѣніяхъ легко объясняется совершенно различнымъ отношеніемъ, какое принимаетъ *свободная воля* къ дѣйствію правосудія, когда оно совершается властію, и когда совершается простымъ человѣкомъ. На власть русскій человѣкъ смотритъ какъ на изначала *приневоленную* карать ворога и злодѣя; поэтому она поступаетъ нравственно, хотя и совершаетъ дѣйствія, противныя нравственному чувству; она исполняетъ то, на что призвана, къ чему приставлена; безнравственно съ ея стороны было-бы напротивъ уклоняться отъ своего призванія, не исполнять того, къ чему она приставлена. Но самому добровольно идти на такое дѣло, какъ причиненіе страданія ближнему,—такъ сказать, напрашиваться на это дѣло и, слѣдовательно, находить въ немъ услажденіе,—грѣшно. Увѣренный въ печальной необходимости наказанія, ради общей людской слабости, требующей мѣръ устрашенія, народъ довольствуется тѣмъ, что отдаетъ преступника въ полное распоряженіе власти и затѣмъ устраняется отъ всякаго вмѣшательства въ его дальнѣйшую судьбу. Онъ оставляетъ за собою одно только право на участіе, въ высшей степени нравственное: на участіе соболѣзнующаго сердца и благотворящей дѣятельности. Съ той минуты, какъ преступникъ отданъ въ руки правосудія, онъ перестаетъ быть „лихимъ человѣкомъ“ въ глазахъ того самаго міра, который сдалъ его съ своихъ рукъ; значеніе „лихого человѣка“ снято

именно тѣмъ, что онъ сданъ съ рукъ. Опасность, которую представлялъ лихой человѣкъ, и которая потребовала его удаленія, уничтожена; лихой человѣкъ лишенъ свободы, у него связаны руки, у него отнята возможность вредить. Потому самому онъ сталъ уже не „лихой человѣкъ“, въ немъ воскресаетъ значеніе человѣка вообще: онъ сталъ опять братъ, ближній, нуждающійся въ любви, участіи и помощи, и тѣмъ болѣе имѣющій правъ на то и другое, что несвободенъ, что онъ „несчастный“, что страдаетъ за свою вину, когда другіе, нравственно не менѣе, но даже болѣе виновные, благоденствуютъ. Съ этой точки зрѣнія, самая уголовная казнь не только не имѣетъ позорнаго значенія въ народныхъ глазахъ, напротивъ, признается дѣйствіемъ очищающимъ, чуть не освящающимъ человѣка, „сподобившагося пострадать на землѣ за свои грѣхи“. Недаромъ, по перевалѣ черезъ Уральскій хребетъ, встрѣчаютъ „несчастныхъ“ женщины съ грудными дѣтьми и испрашиваютъ у нихъ благословенія, какъ у лицъ священныхъ, вѣруя, что это благословеніе принесетъ младенцу счастіе. Не многіе умѣютъ постигнуть высоту любви, которая просвѣчиваетъ въ отношеніяхъ русскаго человѣка къ заключеннымъ, и оцѣнить чистоту побужденій, руководящихъ при этомъ его дѣйствіями. Потому не удивительно, что образованное большинство частію съ негодованіемъ, частію съ глумленіемъ смотритъ на „безнравственное сочувствіе къ злодѣямъ“, и если извиняетъ его, то лишь тѣмъ, что видитъ здѣсь—чего не придетъ въ голову?—выраженіе протеста противъ власти.

Въ минуту страсти, въ пылу негодованія, русскій человѣкъ, въ одиночку и цѣлымъ міромъ, способенъ бываетъ и самъ произвести расправу. Но понятно, что это ничего не значитъ. Вырвите вора у толпы, которая собиралась его побить, дайте ей простыть, и потомъ поставьте того же вора и передъ тою же толпою, и спросите: отпустить-ли его или вести въ полицію? Можно ручаться, что девять разъ изъ десяти отвѣтъ получится милостивый: нравственное воззрѣніе, лежащее на днѣ, выплыветъ на верхъ въ душѣ, свободной отъ гнѣва, и продиктуетъ при-

говоръ. Гораздо важнѣе, повидимому, возраженіе противъ нашихъ словъ представляется въ обычаѣ исправительныхъ наказаній, налагаемыхъ міромъ на своихъ членовъ. Но исправительныя наказанія имѣютъ совсѣмъ другое значеніе, отличное отъ уголовныхъ. Исправленіе къ уголовному суду относится совершенно такъ же, какъ полюбовное разбирательство къ суду гражданскому. Исправляемый подвергаетъ себя мірскому приговору добровольно, и самъ заранѣе отдаетъ себя подъ наказаніе. Міръ, съ своей стороны, расправляется съ нимъ точно такъ же и въ томъ же смыслѣ, какъ расправляется отецъ съ сыномъ. Однимъ словомъ, нравственная связь, соединяющая міръ съ отдѣльнымъ его членомъ, связь взаимной любви и довѣренности, здѣсь еще не разрушена: виновный еще не дошелъ до степени лихого человѣка, вреднаго и опаснаго, котораго міръ долженъ бояться и котораго вынужденъ отъ себя удалить.

III.

Мы не имѣемъ вовсе притязаній излагать гражданскій катихизисъ русскаго народа. Мы понимаемъ, какъ сомнительны всѣ подобныя попытки выловить изъ безсознательной жизни руководящія ея понятія, какъ всегда легко при этомъ впасть въ идеализацію, и какъ трудно бываетъ достигнуть убѣдительности, при невозможности согласиться ни на что, кромѣ живого чувства народности; но намъ необходимо было выяснить, почему участіе въ судѣ и управленіи, помимо всѣхъ обстоятельствъ, само по себѣ, для русскаго человѣка непривлекательно. Онъ переносится совсѣмъ въ другой міръ, въ иную стихію. Изъ міра круговой нравственной связи, гдѣ все держится на взаимности и живыхъ отношеніяхъ; изъ области полюбовныхъ сдѣлокъ, неподлежащихъ никакимъ правиламъ, гдѣ всѣмъ жертвуется для достиженія согласія, гдѣ никто ничѣмъ не связанъ, кромѣ внутренней отвѣтственности передъ совѣстью и стыда предъ обычаемъ, и никто ни къ чему не принуждается: онъ переходитъ въ міръ отвлеченнаго порядка, гдѣ живыя лица суть только

орудія; въ міръ строгихъ формулъ и неуступчиваго права; въ область законныхъ требованій и внѣшняго долга; вступаетъ въ отношенія, при которыхъ обѣ стороны чувствуютъ себя одинаково скованными,— одна, потому что принуждается принять фактъ, на который не спрашивалось ея согласія,—другая, потому что вынуждается постановить фактъ, не спрашивая своего чувства. Послѣднее обстоятельство немаловажно: раздѣлиться такъ, чтобы въ залѣ присутствія оставаться суровымъ судьей и строгимъ администраторомъ, а на улицѣ и дома, въ качествѣ частнаго человѣка, оказывать сострадание къ лицамъ, потерпѣвшимъ отъ строгаго примѣненія закона, Русскій человѣкъ рѣшительно не умѣетъ.

Итакъ, перенесенный въ новую стихію, онъ чувствуетъ себя не на мѣстѣ; его понятія разлаживаются, его совѣсть смущается; ему неловко, ему тѣсно. Естественно, что такое положеніе вовсе не кажется ему духовнымъ приращеніемъ, а напротивъ, кажется положительнымъ лишеніемъ; естественно, что возможность такого положенія онъ принимаетъ не за право*), а за повинность. И онъ старается избѣгнуть этой повинности. Какъ мы уже говорили, онъ не сопротивляется ей окончательно только потому, что видитъ здѣсь требованіе власти. Власть онъ

*) Въ предшествующей статьѣ мы сказали, что употребленіе слова *право*, въ смыслѣ, соотвѣтствующемъ латинскому jus, чуждо русскому языку. Нѣкоторые увѣряютъ, что *слово право, именно въ этомъ смыслѣ, употребляется иногда въ* старинныхъ актахъ. Примѣры однако, цитированные намъ, насъ не разубѣдили: въ нихъ *право* остается всетаки съ своимъ понятіемъ о простой *справедливости.* Но вотъ примѣръ, заимствованный собственно изъ Донскихъ дѣлъ (1677 г.), гдѣ *право* употреблено дѣйствительно въ смыслѣ jus: «а если онъ прежде сего на Дону бывалъ, и такое воровство чинилъ, и они-бъ въ томъ ему всѣмъ войскомъ не молчали, и указъ учинили *по своему войсковому праву*». Любопытно, откуда зашло на Донъ такое словоупотребленіе?

Само собою разумѣется, что приведенный примѣръ, за который мы весьма благодарны сообщившему его намъ г. Погорному—Подольному, опять нисколько не доказываетъ, чтобы понятіе о правѣ—jus существовало въ народномъ воззрѣніи. Сомнительно, чтобы оно встрѣчалось и въ старинныхъ Московскихъ актахъ. Достаточно сообразить одно, что этому понятію рѣшительно не откуда было взяться. Оно чисто римское, и думать, что заслугу въ развитіи этого понятія раздѣлялъ съ римскимъ народомъ русскій, есть странность, для которой нѣтъ имени.

считаетъ необходимою для общаго покоя и безопастности, и при существованія ея—признаетъ неизбѣжными съ своей стороны нѣкоторыя пожертвованія и ограниченія свободы. Сюда относитъ онъ и право свое на участіе въ государственныхъ отправленіяхъ. Глубокая неизвѣстность, которою, по самой громадности территоріи, закрыты отъ него государственныя нужды, поддерживаетъ его въ этомъ самообольщеніи. Въ глубинѣ души, онъ, можетъ быть, даже думаетъ, что это и не нужно, что это только прихоть власти, которую впрочемъ надобно исполнить, чтобъ *уважить* власть; что можно было-бы обойтись и безъ него, можно было-бы и не тревожить его, и не ограничивать его свободы. Онъ не убѣждается только въ одномъ: что тутъ-то и есть его свобода, что этимъ-то ограниченіемъ ее и расширяютъ. Однимъ словомъ, русскій человѣкъ *покоряется* своимъ правамъ. Но именно потому, что онъ имъ *покоряется*, а не ищетъ ихъ и не предвкушаетъ заранѣе ихъ сладости, онъ приноситъ къ общественной должности вялость и апатію, хоронится, при исправленіи ея, всячески за кого придется, и ждетъ-не дождется срока, когда возможно бываетъ ему скинуть это непріятное бремя.—Говоря это, мы, разумѣется, имѣемъ въ виду, во первыхъ, только общее отношеніе русскаго человѣка къ занятіямъ по суду и управленію, зная очень хорошо, что бываетъ множество частностей, при которыхъ видоизмѣняется общее от-

---

Столь же странно предполагать, что русскій народъ стоялъ когда нибудь подъ романскимъ вліяніемъ.

Во всякомъ случаѣ мы говоримъ собственно о современномъ народномъ воззрѣніи, не вдаваясь въ исторію. До какой степени теперешнее воззрѣніе вѣрно прежнему, въ чемъ оно видоизмѣнилось и отчего могло произойти видоизмѣненіе, это особенный вопросъ, который здѣсь рѣшать не мѣсто. Что же касается до теперешнихъ понятій народа, то, кажется, ясно какъ Божій день, что простой русскій человѣкъ никогда не употребитъ слова *право*,—въ смыслѣ противоположномъ слову *обязанность*. (Впрочемъ онъ не употребитъ и самаго слова *обязанность*, потому что и оно есть искуственно составленное, хотя понятіе, имъ означаемое, есть въ русскомъ языкѣ). У насъ есть нѣсколько подходящее къ понятію о правѣ—jus—слово льгота (параллельное—льзя), но далеко не то! Льгота въ гражданскомъ смыслѣ есть свобода отъ повинности, но еще не право—jus, съ которымъ связано не только это отрицательное, но, сверхъ него, и положительное понятіе.

ношеніе; и во вторыхъ, нисколько не отрицаемъ, что обстоятельства, подъ которыми поставлены были у насъ выборныя должности,—именно, ихъ недостаточное матеріальное и нравственное обезпеченіе,—должны были еще болѣе отталкивать русскаго человѣка отъ участія въ судѣ и управленіи. Но всетаки, по нашему мнѣнію, не въ этихъ обстоятельствахъ была главная причина.

Если кому нравится слово *самоуправленіе*, тотъ можетъ, если угодно, вывести изъ сказаннаго—и выведетъ безошибочно,—что русскій народъ не склоненъ къ самоуправленію. Но отсюда не будетъ слѣдовать, что русскій народъ ни къ чему неспособенъ и ничего не желаетъ, кромѣ *самоуправства*. Кто ставитъ изъ этихъ двухъ понятій безысходную дилемму, тотъ предполагаетъ условіе, котораго совсѣмъ нѣтъ въ представленіи русскаго человѣка: именно,—что существо общежитія состоитъ въ раздѣленіи людей на *управляющихъ* и *управляемыхъ*. Для русскаго человѣка общежитіе есть то, что именно выражается этимъ словомъ, то есть житье сообща съ другими, и притомъ не просто сообща, но и въ полнѣйшемъ взаимномъ согласіи. Управляющіе, а слѣдовательно и управляемые предполагаются на случай нарушеній этого добраго согласія, которое однако можетъ быть и не нарушено. Такимъ образомъ, управленіе не входитъ въ общежитіе, какъ его существенный элементъ, а предполагается внѣ его. Представимъ семью,—нѣсколькихъ братьевъ, дружно между собою живущихъ,—или, еще лучше, представимъ товарищество изъ нѣсколькихъ лицъ, добровольно сошедшихся для согласнаго дѣйствія, въ общемъ предпріятіи. Чѣмъ движется тотъ и другой союзъ, самоуправленіемъ, или самоуправствомъ? Ни тѣмъ, ни другимъ: ибо тутъ нѣтъ ни управляющихъ, ни управляемыхъ; тутъ совсѣмъ нѣтъ управленія въ томъ смыслѣ, въ какомъ о немъ спрашивается, то есть въ смыслѣ власти; тутъ совсѣмъ нѣтъ власти, а есть только общій совѣтъ, дружба и согласіе. Товарищи сходятся между собою, совѣщаются о предпріятіи, единогласно положатъ, какъ чему быть, раздѣлятъ между собою барыши, разложатъ

убытки, и притомъ не всегда равномѣрно, наложатъ иногда на кого-нибудь изъ себя даже штрафъ общимъ совѣтомъ,—независимо отъ всего этого, каждый занимается еще своимъ личнымъ дѣломъ, которое знаетъ каждый про себя, не давая въ немъ никому отчета, самъ не вмѣшиваясь въ чужое дѣло*). Вотъ представленіе русскаго человѣка объ общежитіи. Это—семья, товарищество, артель или иначе—братство, какъ дѣйствительно и называется иногда артель (напримѣръ, рыбачьи артели на Ильменѣ). Мы не говоримъ здѣсь ничего о *мірѣ*, во первыхъ потому, что всѣ наши объясненія къ тому собственно и клонятся, чтобъ объяснить міръ, а во вторыхъ потому, что *міръ* въ настоящемъ своемъ видѣ, предполагаетъ насильственное сведеніе людей въ одну общину, насильственное прикрѣпленіе ихъ къ одному мѣсту,—а это во многомъ должно было измѣнить основанія общежитія. Полнѣе и чище они должны были сохраняться въ артели, соединеніи людей совершенно свободномъ: поэтому мы беремъ ее за образецъ. Если въ семьѣ, товариществѣ, братствѣ, попадается рѣшительно разногласный съ прочими относительно общаго дѣла, онъ просто выдѣляется; если начинаютъ разногласить всѣ, если теряются взаимное довѣріе и единство намѣреній, послужившія началомъ союзу, тогда самый союзъ разрушается, и всѣ расходятся *розно*, каждый по себѣ. Здѣсь опять нѣтъ власти и управленія, а есть только добрая воля, и при-

*) Намъ скажутъ: въ представленномъ примѣрѣ тоже—самоуправленіе: каждый изъ товарищей и всѣ они вмѣстѣ *сами управляютъ* своими дѣлами. Согласны; но тогда слову *управленіе* мы дадимъ совсѣмъ другое значеніе, или точнѣе сказать, возвратимъ ему первоначальное, собственое значеніе, отъ котораго произведено впослѣдствіи переносное, въ смыслѣ власти. По теперешнему словоупотребленію, правильнѣе было-бы сказать: «каждый изъ товарищей и всѣ они вмѣстѣ *сами ведутъ* свои *собственныя* дѣла, принимая участіе въ общемъ дѣлѣ настолько, насколько оно касается каждаго лично, не болѣе и не менѣе». Тутъ совсѣмъ не власть, а просто свобода,—простая возможность *самому* распоряжаться *собою* и *своимъ* дѣломъ,—и только. Напротивъ, когда говорятъ объ управленіи и даже о самоуправленіи, всегда подразумѣваютъ возможность распоряжаться не только самимъ собою и своимъ дѣломъ, но и власть надъ чужимъ дѣломъ (въ большихъ или меньшихъ размѣрахъ, въ тѣхъ или другихъ формахъ, все равно).

томъ—всѣхъ и каждаго. Нѣтъ доброй воли на согласное житье, нѣтъ и общежитія, оно перестаетъ само собою. Такимъ образомъ, добрая воля и внутреннее желаніе всѣхъ и каждаго жить въ согласіи съ другими, иначе сказать—полнѣйшая нравственная взаимность есть единственное основаніе общежитія: все остальное есть второстепенная, придаточная, внѣшняя его принадлежность. Представимъ примѣръ болѣе наглядный, гдѣ входитъ и власть, какъ принадлежность общежитія. На пассажирскомъ пароходѣ каждый изъ пассажировъ занимается своимъ дѣломъ, но они и сходятся вмѣстѣ, и вступаютъ между собою въ сношенія; у нѣкоторыхъ есть даже общія занятія: однимъ словомъ, предъ нами общежитіе въ малыхъ размѣрахъ. Какой тутъ господствуетъ порядокъ,—самоуправленія или самоуправства? И кто управляетъ пассажирами, не капитанъ-ли?—Нѣтъ. Капитанъ управляетъ командою, и вмѣстѣ съ командою управляетъ пароходомъ, но не пассажирами. Онъ заботится о спокойствіи и безопасности пассажировъ, но онъ ими не управляетъ. Пассажиры всѣ люди порядочные, понимаютъ и соблюдаютъ приличіе, и не нуждаются, чтобъ ими кто-нибудь управлялъ. Если, по несчастію, случится, кто-нибудь станетъ дѣлать другимъ непріятность, тогда постараются сначала его уговорить, а потомъ, конечно, попросятъ капитана, и онъ куда-нибудь упрячетъ буяна: но изъ этого ничего еще не слѣдуетъ. Пожалуй, во время опасности кораблекрушенія, капитанъ даже приставитъ пассажировъ къ матросскимъ занятіямъ и станетъ ими распоряжаться. Но это опять не значитъ ни того, чтобы на пароходѣ существовало самоуправство, ни того, чтобы пассажиры управлялись сами собою. Не также ли судитъ русскій человѣкъ объ общежитіи въ обширныхъ размѣрахъ? Представимъ, что пароходъ—государство; капитанъ съ командой—законная власть; на мѣстѣ пассажировъ представимъ все общество, а вмѣсто чувства приличія предположимъ совѣсть и своего рода приличіе предъ обычаемъ. Власть здѣсь предполагается только для крайняго случая, когда убѣжденія всего общества безсильны возстановить нарушенное согласіе, и между тѣмъ нарушитель

согласія не выдѣляется добровольно изъ общества, а продолжаетъ въ немъ оставаться и нарушать его покой.

Едва-ли мы преувеличимъ, когда скажемъ, что самоуправленіе есть не что иное, какъ *расторгнутое рабство*. Въ этомъ существѣ самоуправленія и заключается весь источникъ недоразумѣній, какимъ подвергается русское понятіе объ общежитіи. Отсутствіе самоуправленія естественно ведетъ къ мысли о неопреодолѣнномъ рабствѣ, и такое заключеніе было-бы вполнѣ справедливо всякій разъ, когда бы рѣчь шла о Западно-Европейскомъ обществѣ. Гдѣ-бы мы ни искали начала, въ суровомъ-ли феодальномъ безправіи, или въ римскомъ правѣ, или же въ понятіяхъ Западной церкви, или, что будетъ вполнѣ справедливо, во всѣхъ этихъ обстоятельствахъ вмѣстѣ: но вѣрно то, что вся Европейская исторія не создала другихъ общественныхъ отношеній, кромѣ противопостановленія господства рабству и наоборотъ. Самое самоуправленіе вовсе не есть свобода, а тоже господство, хотя перешедшее въ другія руки и измѣнившее свой видъ, но всетаки оставшееся съ основнымъ своимъ характеромъ— принужденіемъ, и съ необходимымъ своимъ дополненіемъ — рабствомъ. Единичное господство не нравится; оно смѣняется многовластіемъ: но многовластіе есть тоже господство, и по отношенію къ нему подданные суть то же самое, что и подданные по отношенію къ монарху. Нестерпимо господство личное; оно смѣняется господствомъ отвлеченнаго закона; но и господство закона есть такое же господство, какъ и господство личное, и притомъ оно безличное только по названію, а въ сущности есть также личное преобладаніе. Господство физической силы слишкомъ грубо; оно смѣняется нравственнымъ принужденіемъ, общественныя отношенія опредѣляются, какъ противоположеніе правъ и обязанностей: но и нравственное принужденіе есть тоже принужденіе, и притомъ за нимъ опять стоитъ физическая же сила, готовая подкрѣпить нравственное требованіе. Однимъ словомъ, господство иль рабство, рабство иль господство,—изъ этой дилеммы не выходятъ Европейскія понятія объ общественныхъ отношеніяхъ, хотя и прикрываются подъ

часъ понятіемъ свободы. „Я свободенъ, потому что не рабъ; слѣдовательно я господинъ“: вотъ умозаключеніе, скрытно присутствующее въ воззрѣніи гражданина любой страны, наслаждающейся самоуправленіемъ,—и въ силу этого, британецъ, столько уважающій свободу дома, насильствуетъ на Іоническихъ островахъ и въ Индіи, а свободный сѣверо-американецъ торгуетъ человѣческимъ мясомъ.—„Я не господинъ; слѣдовательно я не свободенъ, потому что я рабъ“; такое явное умозаключеніе всѣхъ демагоговъ, поджигающихъ массы въ жаждѣ самоуправленія.

Рядъ повсюдныхъ общественныхъ преобразованій и общественные перевороты всячески пытаются удовлетворить этой жаждѣ господства, называющей себя жаждою свободы. Изыскиваются средства сдѣлать свободу, то есть, господство подъ именемъ свободы, доступною возможно большему числу гражданъ, даже всѣмъ и каждому. Но какъ въ собственномъ смыслѣ всѣмъ и каждому заразъ быть господами нельзя: то устраивается, чтобы всѣ и каждый были господами по очереди, одинъ въ одно время, другой въ другое, слѣдовательно, всѣ и каждый были поочередно рабами; или чтобы всѣ и каждый были господами въ разныхъ смыслахъ, одинъ въ одномъ дѣлѣ, другой въ другомъ, слѣдовательно, всѣ и каждый были въ разныхъ смыслахъ рабами; наконецъ, умудряются придумать такое устройство, чтобы каждый по отношенію къ самому себѣ былъ и господиномъ и рабомъ вмѣстѣ, чтобы онъ былъ и создателемъ закона и его блюстителемъ и исполнителемъ. Этотъ послѣдній идеалъ, впрочемъ нигдѣ вполнѣ не осуществившійся, начинаетъ нѣсколько подходить даже къ бытовому воззрѣнію, хотя съ совершенно противоположнаго конца. Но именно потому, что онъ заходитъ съ совершенно противоположнаго конца, между нимъ, равно какъ и другими видами самоуправленія, и между русскимъ *міромъ* сохраняется глубокое различіе. И тамъ и здѣсь независимость: но при самоуправленіи народъ независимъ потому, что беретъ всю власть себѣ, а русскій народъ независимъ потому, что онъ всю власть отстраняетъ отъ себя. И прибавимъ къ этому осо-

бенную странность, весьма впрочемъ понятную при различіи въ основныхъ воззрѣніяхъ: такъ какъ русскій народъ нисколько не жаждетъ господства, то онъ продолжаетъ чувствовать себя независимымъ, хотя бы власть и сильно налегала на него; а Западный міръ, ревнивый ко власти, напротивъ, продолжаетъ жаловаться на рабство, даже когда наслаждается возможно-полною независимостью. Западный европеецъ слышитъ вездѣ власть надъ собою, даже тамъ, гдѣ ея нѣтъ; русскій человѣкъ игнорируетъ господство даже тамъ, гдѣ оно является дѣйствительно.

Какъ ни ясно высказана наша мысль, но мы не увѣрены, чтобъ намъ не сдѣлали вопроса: итакъ, скажутъ намъ, подъ видомъ народнаго воззрѣнія, вы проповѣдуете соціализмъ, возводите анархію въ идеалъ общежитія.—Напротивъ, такой выводъ былъ бы прямо противоположенъ тому, что нами сказано.

Если самоуправленіе можетъ быть названо расторгнутымъ рабствомъ, то анархія есть *уничтоженная свобода.* Гдѣ есть свобода, тамъ предполагается возможнымъ и ея злоупотребленіе,—переходъ свободы въ самовластіе; слѣдовательно, предполагается возможнымъ и нарушеніе свободы,—угнетеніе одного лица самовластіемъ другого. Слѣдовательно, для свободы нужно огражденіе; слѣдовательно, необходима власть. Кто предполагаетъ построить свободное общежитіе на анархіи, тотъ думаетъ о чемъ нибудь другомъ, а не о свободѣ. Чтобы свобода могла удержаться безъ власти, для этого нужно, чтобы люди пошли по опредѣленной дорожкѣ, не сворачивая ни направо, ни налѣво. Но для этого надобно или принудить ихъ къ тому, слѣдовательно лишить ихъ свободы, или же предположить, что они уже лишены ея по самой своей природѣ, словомъ—или узаконить крайній деспотизмъ, или принять крайній матеріализмъ. Къ тому и другому анархисты дѣйствительно и приходятъ. Самое добродушное изъ ихъ воззрѣній и еще самое милостивое къ человѣческому роду—то, которымъ предполагается, что все теперешнее неустройство гражданской жизни происходитъ отъ несоблюденія правильности въ человѣческомъ кормѣ. Если бы каждому человѣку давали кормъ, сообразный съ индивидуальными предрасположеніями его организма,

и, главное, сообразный съ его обязанностями какъ согражданина; если бы не кормили одного говядиной, тогда какъ для блага согражданъ слѣдовало бы посадить его на овощь; если бы, наоборотъ, не кормили овощами того, кому нужна говядина; если бы подбавлять въ кормъ иному, слишкомъ консервативному организму, поболѣе рыбы для возбужденія демократическихъ наклонностей, и наоборотъ задавать поболѣе картофелю тѣмъ, кто уже слишкомъ вдается въ радикализмъ: тогда водворилось бы взаимное уваженіе къ человѣческимъ правамъ; гуманность восторжествовала бы; просвѣщеніе пошло бы полнымъ своимъ ходомъ, и человѣчеству оставалось бы только блаженствовать.—Конечно, это одно изъ самыхъ странныхъ и самыхъ унизительныхъ для человѣчества заблужденій. Здѣсь не мѣсто входить съ нимъ въ ученый споръ и выяснять, какъ далеко расширяетъ оно предѣлы факта, истиннаго самаго въ себѣ, и какъ неосновательно возводитъ условіе жизни въ самое начало жизни. Достаточно показать всю спеціальную непослѣдовательность анархизма. Онъ хочетъ именно противоположнаго тому, чего хочетъ. Онъ хочетъ свободы и между тѣмъ убиваетъ свободу, даже отрицаетъ самое ея понятіе. Онъ думаетъ уничтожить власть, а между тѣмъ только перемѣняетъ живую власть лица, или отвлеченную, но всетаки нравственную власть закона—на механическую власть матеріи.

Но удивительнѣе всего то, что въ воззрѣніи, построенномъ на такихъ началахъ, могутъ находить что-нибудь сходное съ воззрѣніемъ, хранящимся въ русской жизни. Представленіемъ русскаго человѣка объ общежитіи заявляется требованіе, чтобы добрыя отношенія между согражданами были добровольнымъ каждаго подвигомъ, вѣнцомъ внутренней духовной борьбы; а анархистъ не хочетъ никакой внутренней борьбы, тѣмъ болѣе духовной, и требуетъ, чтобы людскія отношенія были не только не подвигомъ, но даже и не внѣшнимъ долгомъ, словомъ—вовсе не нравственнымъ дѣйствіемъ, а простымъ животнымъ отправленіемъ. Русскій человѣкъ отстраняетъ себя отъ власти и ставитъ ее внѣ себя, требуя однакожъ отъ нея, чтобъ и она была нравственнымъ лицомъ, ощущала въ себѣ нравственный законъ и

хранила понятіе о нравственной отвѣтственности; а анархистъ не только вводитъ власть въ среду общества, онъ вводитъ ее внутрь организма каждой человѣческой особи, предлагая ее притомъ въ видѣ слѣпыхъ веществъ, дѣйствующихъ на пищевареніе и нервную систему. Русскій человѣкъ предполагаетъ въ свободномъ обществѣ проявленіе эгоистическихъ пожеланій и ставитъ власть противъ нихъ, противопоставляя матеріи, отрѣшившейся отъ духа, матеріальную же препону; а анархистъ возводитъ эти самыя пожеланія въ идеалъ общежитія и принимаетъ средства, чтобы кромѣ чисто матеріальнаго процесса ничего въ человѣческомъ обществѣ и не было. Однимъ словомъ, все русское бытовое воззрѣніе зиждется на началѣ духовномъ, а теорія анархизма вся построена на началѣ исключительно матеріалистическомъ. *)

*) Статьи о судѣ присяжныхъ остались не оконченными. Вотъ что самъ авторъ разсказываетъ въ письмѣ къ И. Ѳ. Романову по поводу недописанной заключительной своей статьи по этому вопросу. „Подошелъ я къ высшимъ понятіямъ о правѣ, свободѣ, любви. Мысль мнѣ была ясна, да и не нова для меня; но нужно было формулировать ее, отчеканить. Я задумался, полулежа на диванѣ. Пріятель, священникъ магистръ, вхожій въ домъ, вошелъ ко мнѣ въ кабинетъ, посмотрѣлъ, мигомъ повернулъ, отправился къ женѣ и сказалъ ей съ ужасомъ, что „Никитѣ Петровичу не хорошо; что такое?“ Онъ испугался моего напряженнаго вида и страшно блѣднаго лица. А это было лучшее, что я написалъ. И вообразите—погибло. Статью я не кончилъ, но это начало, надъ которымъ я мучился и котораго первыя слова были: „свобода и любовь въ своемъ безконечномъ единствѣ“.... это начало строкъ въ двѣсти было даже набрано; но въ гранкѣ пропало. Ни о чемъ я не жалѣю, а объ этомъ жалѣю. Такъ художественно, кратко, точно и вмѣстѣ полно уже не воспроизведу“..

Необходимое объясненіе „Герою Нашего Времени.“ [1]

Итакъ, по мнѣнію *Нашего Времени*, сотрудникъ, излагающій въ *Днѣ* мысли по поводу будущаго суда присяжныхъ, признаетъ власть „призванною совершать *безнравственныя* дѣйствія“. Вотъ какъ! Признаемся, изъ всѣхъ возраженій, къ какимъ мы приготовились, это для насъ всѣхъ болѣе неожиданное. Подлинныя слова нашей статьи гласятъ вотъ что: „Отсюда однако не слѣдуетъ, чтобы по мнѣнію всякаго человѣка преступленіе должно было оставаться безнаказаннымъ, или чтобы осужденіе и наказующія дѣйствія власти казались еще *безнравственными* и сама она какимъ-то жестокимъ чудовищемъ. Напротивъ, русскій человѣкъ требуетъ наказаній и говоритъ, что „по дѣломъ вору и мука“ и что „потачки ворамъ давать не слѣдуетъ, чтобы и другимъ не было повадно.“ Напротивъ, онъ любитъ и уважаетъ власть и тѣмъ болѣе любитъ и уважаетъ, чѣмъ она къ добрымъ людямъ ласковѣе, но за то чѣмъ строже къ лихимъ“... И далѣе: „На власть русскій человѣкъ смотритъ, какъ на изначала приневоленную карать ворога и злодѣя; поэтому она *поступаетъ нравственно*, хотя и совершаетъ дѣйствія противныя нравственному чувству; она исполняетъ то, на что призвана, къ чему приставлена; безнравственно съ ея стороны было бы, напротивъ, уклоняться отъ своего призванія, не исполнять того, къ чему она приставлена“.

---

*) „День“ 1862 г. № 47.

Послѣ этихъ слишкомъ ясныхъ словъ, какъ назвать такое возраженіе, или точнѣе такой *поступокъ*, какой дозволило себѣ *Наше Время*: объявить, что статья говоритъ *нѣтъ*, когда она прямо говоритъ *да?* Предположить, что безъименный сотрудникъ *Нашего Времени* или сама Редакція лишена способности разобрать различіе между *да* и *нѣтъ*—невѣроятно. Стало быть, что же это такое? Что же это такое, спрашиваемъ мы, какъ назвать такое возраженіе, или—нѣтъ—опять такой поступокъ? Это—клевета, скажутъ читатели. Нѣтъ, позвольте, это не просто клевета. Сказать клевету, значитъ просто возвести на человѣка небылицу, какого бы она ни была свойства, положимъ хоть кидающую пятно на его нравственный характеръ. Но здѣсь не просто сказана небылица, не просто чернятся нравственныя убѣжденія человѣка: здѣсь ко всему этому прибавляется и желаніе показать, что этотъ человѣкъ—врагъ общественнаго порядка, котораго *Наше Время* считаетъ себя почему то исключительнымъ и привиллегированнымъ защитникомъ; что онъ позволилъ себѣ дерзкій отзывъ о власти, при которой *Наше Время* воображаетъ себя состоящимъ въ качествѣ литературнаго прокурора съ тѣми обязанностями, какія имѣетъ прокуроръ во французскомъ или въ нашемъ будущемъ уголовномъ процессѣ. И дѣйствительно, еслибы мы въ самомъ дѣлѣ сказали то, въ чемъ обвиняетъ насъ *Наше Время*, мы первые признали бы себя подлежащими прокурорскому преслѣдованію. Но въ настоящемъ случаѣ, какъ видятъ и сами читатели, *Наше Время* дозволило себѣ противъ насъ *фальшивое обвиненье*, съ чѣмъ *Наше Время* и поздравляемъ. Жалѣемъ только, что нашъ обвинитель скрылъ свое имя. Или нѣтъ; такъ и слѣдуетъ этому быть: обвиненіе *фальшивое* всегда кидается изъ за угла. Поднимите-же забрало, благородный рыцарь! Скажите намъ свое честное имя; по вашимъ геральдическимъ украшеніямъ мы отчасти уже догадываемся кто вы. Къ чему же ложная скромность, откиньте ее; такіе похвальные поступки можно совершать во всеуслышаніе.

Но нами овладѣваетъ однако сожалѣніе. Какъ ни обидно это будетъ для безъименнаго сотрудника и для самой редакціи

Нашего Времени, но мы возвращаемся къ предположенію, что у нихъ просто не достало умѣнія различить *да* отъ *нѣтъ*! Итакъ, мы находимся въ печальной необходимости растолковать нашему благородному противнику то, что безъ всякихъ толкованій понятно для каждаго десятилѣтняго мальчика, хотя бы еще ничему, кромѣ азбуки и начатковъ Закона Божія, не учившагося. Скажите намъ, нашъ благородный, но къ сожалѣнію неизвѣстный противникъ: понимаете-ли вы различіе между поступкомъ *безнравственнымъ* и поступкомъ, *противнымъ нравственному чувству?* Нѣтъ, не понимаете, это я вижу по вашимъ глазамъ, вижу *изъ* вашей статьи и *по* вашей статьѣ. Въ нравственныхъ наукахъ я вижу вы не сильны, *а* отъ *б* не отличаете. Ну, по крайней мѣрѣ понимаете-ли, что могутъ быть дѣйствія, согласныя съ *нравственнымъ закономъ*, слѣдовательно, нравственно—одобрительныя, но *не согласныя съ нравственнымъ чувствомъ*, отталкиваемыя имъ, тяжелыя для него, противныя ему? Нѣтъ, я вижу, что вы и этого не возьмете себѣ въ толкъ. Въ такомъ случаѣ прибѣгнемъ къ примѣру: для умовъ, не сильныхъ въ отвлеченной области, примѣры помогаютъ, это дѣло извѣстное. Итакъ, скажите мнѣ, благородный прокуроръ: когда отецъ наказываетъ дитя за проступокъ, совершаетъ-ли онъ тогда дѣйствіе *безнравственное?* Нѣтъ, отвѣтите вы, я не полагаю, чтобы это было безнравственно. Прекрасно, вотъ уже вы начинаете понимать немножко. Ну, а какъ вы думаете,—тяжело отцу прибѣгать къ мѣрѣ наказанія, лишить, напримѣръ, дитя обѣда и смотрѣть на его слезы? Жалко ему бываетъ тогда своего дитяти?—Еще бы не жалко, отвѣчаете вы, очень даже жалко.—Вотъ видите, какъ мы начинаемъ добираться до труднаго для васъ смысла. Мы уже на полдорогѣ. Итакъ, вы находите, что отцу жалко наказывать свое дитя, хотя наказаніе и справедливо и непремѣнно требуется, хотя оно есть дѣйствительно нравственное. А какъ вы думаете: сожалѣніе къ дитяти, состраданіе къ его слезамъ, есть чувство нравственное или безнравственное.

Я вижу, вы колеблетесь отвѣчать. Вы начинаете чувствовать свой промахъ, вы догадываетесь наконецъ, что могутъ

быть дѣйствія, *противныя нравственному чувству*, но согласныя съ *нравственнымъ закономъ*, однимъ словомъ, что можно совершать дѣйствіе, противное нравственному чувству, и между тѣмъ тоже не безнравственное, а напротивъ вполнѣ нравственное, какое только можно себѣ представить.

Однако вы въ недоумѣніи. Какъ же это такъ выходитъ, говорите вы, я всетаки что-то въ толкъ себѣ не возьму: дѣйствіе противное нравственному чувству, и въ то же время вполнѣ нравственное.... Да, да я вижу, что это такъ, но я не умѣю себѣ хорошенько объяснить....

Но, когда вы уже этого не можете себѣ объяснить, въ такомъ случаѣ вамъ долго, долго еще надобно учиться и пріучать себя къ размышленію. Можетъ быть, послѣ усиленныхъ трудовъ вы дойдете до благополучныхъ результатовъ, хотя, признаюсь, судя по теперешнему, я сильно сомнѣваюсь, чтобы различіе самыхъ простыхъ понятій вамъ когда нибудь далось. Чтобы помочь вамъ дойти скорѣе до этого желаннаго конца, я приведу еще примѣръ, болѣе къ вамъ близкій, о которомъ вы можете подумать на досугѣ. Можетъ быть, вы лишены счастія быть отцомъ и потому борьба чувства нѣжности и строгости для васъ не такъ понятна. Но вы, я вижу, юристъ и потому лучше поймете примѣръ, взятый изъ юридической области. Какъ вы думаете: нравственно или безнравственно кредитору требовать долгъ съ должника, требовать свою неотъемлемую собственность, которую онъ далъ нѣкогда во временное пользованіе? Не бойтесь, отвѣчайте прямо, отъ этого никому вредныхъ послѣдствій не будетъ.

Да, отвѣчаете вы, требовать съ должника долгъ—нравственно.

—Ну, а простить долгъ—нравственно или безнравственно? Особенно, когда видишь, что должникъ бѣдный, бьется, какъ рыба объ ледъ, да можетъ быть ему приходится еще просто умирать съ голоду?

Да, да, да, отвѣчаете вы поспѣшно, простить долгъ, или же потерпѣть на должникѣ, не взыскивать за просрочки,—это очень, очень нравственно.

Видите,—здѣсь опять, по вашему, будетъ противорѣчіе? А между тѣмъ противорѣчія-то никакого нѣтъ! Подумайте-ка объ этомъ.

Мы просимъ извиненія у читателей *Дня,* что занимаемъ ихъ разъясненіемъ такихъ элементарныхъ понятій. Но не для нихъ и назначается эта замѣтка: она писана единственно для *Нашего Времени.* Что касается до нашихъ читателей, то мы ждемъ отъ нихъ недоумѣній гораздо болѣе важныхъ, обличающихъ болѣе крѣпкій смыслъ, нежели какой оказывается въ статьѣ *Н. Вр.* Разъясненію этихъ недоумѣній мы посвятимъ слѣдующіе свои статьи, которыя, надѣемся, не замедлятъ появиться въ дальнѣйшихъ №№ *Дня.*

Съ *Нашимъ Временемъ* объясненія нижеподписавшагося кончены. Мы бы впрочемъ и теперь воздержались отъ всякихъ объясненій съ этой газетой, если бы обвиненіе, взведенное противъ насъ, не было такого сомнительнаго свойства.

Однако же, скажите намъ, читатели, какъ въ самомъ дѣлѣ понять возраженіе *Нашего Времени:* крайняя-ли это степень добродушнаго невѣжества, или умышленный поступокъ?

Работа и трудъ.*)

Трудъ есть *напряженіе* силъ, а *работа* есть ихъ *проявляющееся дѣйствіе.*

Понятно, что трудъ бываетъ по преимуществу духовный, ибо человѣкъ не машина, и мускулы его сокращаются и расширяются *волею.* Но бываетъ однако и трудъ физическій: большаго *труда* стоитъ втащить котелъ на гору.

Работа бываетъ по преимуществу физическая, потому что самой сферой для *проявленія* служитъ, преимущественно, міръ видимый и осязаемый, но можно однако и *работать головой.*

---

*) *День*, 1862 г. № 44. Подъ заглавіемъ «Русскіе экономическіе вопросы: синонимы, или антитезы?» въ № 44 *Дня* была напечатана слѣдующая статья Лешкова, дополненная съ согласія автора замѣтками Даля и Гилярова.

«*Работа и трудъ.* «Выходите на *работу*», или «ступайте *работать*», говорилось у насъ еще недавно и повсюду милліонамъ барщинскихъ крестьянъ; но никогда и нигдѣ не приказывали имъ выходить на *трудъ*, или *трудиться.* Сотни тысячъ фабричныхъ и вся домашняя прислуга, всѣ мастеровые и поденщики нанимаются на *работу*, и потому называются *рабочими;* но никогда—*трудящимися.* Въ нашемъ языкѣ есть выраженія: «каторжная и черная работа», «чернорабочіе» и даже «рабочія лошади», но нѣтъ выраженій, которыя-бы относили наказаніе и черноту къ труду, или бы усвоивали трудъ животнымъ. Трудящимся и трудолюбивымъ можетъ быть только человѣкъ. Основаніе для различія между работой и трудомъ лежитъ въ различіи между индивидуальностію и личностію. Работа состоитъ въ физическомъ дѣйствіи человѣка на физическій предметъ,—въ движеніи рукъ, ногъ, плечъ, локтей, для передачи или сообщенія движенія предмету; и, какъ физическая дѣятельность, основанная на силѣ и ловкости, работа требуетъ отъ человѣка только усидчивости, прилежанія, терпѣнія. Какъ ни изящна бываетъ работа швеи или кружевной мастерицы, эта работа вызываетъ похвалы только

Никакъ нельзя сказать, чтобъ работа была непремѣнно *единичная*: артель *работаетъ*. Рабочіе вбиваютъ сваи, землекопы роютъ: все это *работа*, хотя и совокупная.

Невѣрно также, будто раздѣляется только трудъ, а не работа. Крестьянинъ беретъ съ фабрики *работу* и дѣлитъ ее между односельцами. Дѣлится трудъ, а не работа, только тогда, когда рѣчь идетъ не о *количествѣ исполненія*, требующемъ

«золотымъ пальчикамъ» рабочей. Основываясь на движеніи, силѣ и ловкости человѣческаго тѣла, работа индивидуальна, никѣмъ незамѣнима, нераздѣльна и совершается однимъ субъектомъ. Имѣя своимъ предметомъ вещи, имущества, предметы внѣшней природы, работа постоянно вращается въ мірѣ вещей, въ сферѣ имуществъ. Работой совершаются дѣла, сподручныя силамъ индивидуума, и, какъ явленіе индивидуальности, сама работа подлежитъ вліянію частнаго гражданскаго права. Лучшею, удобнѣйшею работою почитается та, которая имѣетъ своею почвою *собственность* рабочаго, а самою худшею, тяжелою та, для которой нѣтъ основанія ни въ собственности, ни во владѣніи рабочаго, принуждаемаго при этомъ работать не для себя, а на постороннее лицо, на хозяина. Здѣсь работа становится предметомъ договора. Какъ явленіе физическое, работа опредѣляется временемъ движенія, числомъ часовъ, дней, недѣль или количествомъ издѣлія, поштучно, издѣльно и вознаграждается платой, которую приравниваютъ къ цѣнѣ продовольствія или физическаго существованія, подобно вопросу о кормѣ животныхъ. По причинѣ доступности работы для силъ всякаго недѣлимаго, работа можетъ являться въ количествѣ, превышающемъ запросъ, или нужду въ рабочихъ; откуда происходитъ возможность прижать и стѣснить рабочаго и платой, и содержаніемъ, и срокомъ работы, и кабалой и крѣпостнымъ правомъ, и даже рабствомъ, какъ то было въ египетской работѣ, и не въ одномъ Египтѣ. Рабство принадлежитъ къ области частнаго, гражданскаго права, къ области индивидуальности, и состоитъ въ несвободѣ работы и рабочихъ, не поражая духовной стороны человѣка; откуда произошло, что рабы могли вызывать къ себѣ сочувствіе людей и господъ, и постороннихъ и общества, которое, наконецъ, почти повсюду провозгласило начало освобожденія. Тѣмъ болѣе, что, съ развитіемъ труда, механическая работа человѣка все болѣе замѣняется машинами, инструментами, орудіями, а съ разъясненіемъ понятія о богатствѣ, какъ доходности имуществъ, обладаніе чужою работою или силами рабочихъ перестаетъ имѣть цѣну въ глазахъ общества. Но особенно потому рабство должно было уступить свободѣ, что, какъ у насъ изстари общины, такъ на Западѣ Европы въ наше время, разныя ассоціаціи вступаютъ въ борьбу съ капиталами, сообщаютъ работѣ и рабочимъ общественное значеніе и тѣмъ спасаютъ ихъ самостоятельность.

«Потрудитесь», или «примите на себя трудъ», а не работу, пишетъ купецъ своему коммиссіонеру, говоритъ редакторъ своему сотруднику, министръ своему директору департамента. Эти почетныя выраженія относятся къ почетнымъ пору-

множества силъ, а о *разнообразіи* потребнаго къ этому *напряженія*. Поэтому, при выполненіи одного труда можетъ быть раздѣлена работа и, напротивъ, одна и та же работа можетъ потребовать раздѣленія труда. Въ постройкѣ дома участвуютъ плотники, каменьщики, штукатуры: вотъ *раздѣленіе труда*. Но плотничная артель при этомъ рѣшила между собой, чтобы Иванъ съ Петромъ работали на стропилахъ, а Семенъ съ Григоріемъ настилали полъ: они *подѣлили* между собою *работу*.

ченіямъ. Трудъ есть соединеніе, комбинація, или система работъ, во времени, или въ пространствѣ, или въ томъ и другомъ отношеніи вмѣстѣ, но всегда подъ вліяніемъ мысли, плана, разсчета, соображенія, духовной дѣятельности. Приводя различныя физическія дѣйствія въ непрерывный рядъ, или въ систему, во времени, наприм. полевыя работы, мы получаемъ понятіе о трудѣ земледѣльца,—приводя въ такую же систему работы извѣстныхъ лицъ въ лѣсу, или на водѣ, мы говоримъ о трудѣ охотниковъ и звѣролововъ, рыболововъ и китолововъ. Такъ далѣе, соединяя различныя работы различныхъ лицъ,—отъ дѣтей и женщинъ, учащихся и учениковъ, до рабочихъ сильныхъ и ловкихъ, знающихъ и мастеровъ,—въ одно производство на фабрикѣ,—капиталистъ, купецъ, фабрикантъ даютъ основаніе особому труду, въ которомъ главное значеніе принадлежитъ соединенію работъ, по данному плану, по разсчету, по господствующей мысли. На томъ же основаніи, дѣятельность ученаго, художника, преподавателя, инженера, механика, директора фабрики и т. п., состоя изъ комбинаціи понятій, идей, опытовъ, свѣдѣній, наблюденій, способностей, носитъ названіе труда, а не работы. Трудъ есть, по преимуществу, духовная дѣятельность, которая не требуетъ непосредственнаго отношенія человѣка къ предметамъ внѣшняго міра, не состоитъ изъ физическихъ движеній и дѣйствій, бѣготни, суетни, переноски, перестановки, передвиженія, и выражается въ духовномъ воздѣйствіи на дѣло, при посредствѣ мысли, порядка, плана, системы. Если рабочихъ хвалимъ за ихъ «золотыя руки», то въ людяхъ трудящихся отличаемъ соображеніе, умъ, образованіе, просвѣщеніе, изобрѣтательность, дарованіе и геніальность. Не состоя собственно изъ физическихъ дѣйствій, трудъ не всегда воплощается во внѣшнихъ, вещественныхъ результатахъ, а потому опредѣляется не количествомъ, временемъ, или поштучно, и вознаграждается не платой, основанной на средствахъ продовольствія или прокорма, а гонораромъ, жалованіемъ, соразмѣряемымъ съ положеніемъ трудящагося въ обществѣ. Трудъ выводитъ человѣка изъ области *частнаго* права и возводитъ его въ сферу общества; работаютъ для себя, или для другихъ индивидуумовъ; трудятся для *общества*, независимо отъ своихъ отношеній къ предметамъ, или къ лицамъ. Ученый агрономъ, управляющій имѣніемъ, свѣдущій, опытный директоръ, распоряжающійся фабрикою, или фирмою торговаго дома, нисколько не зависятъ въ успѣшности своего труда отъ юридическаго отношенія къ предметамъ управленія, или распоряженія. Но столь же мало могутъ они уступить

Кто *работаетъ*, тотъ непремѣнно *уже трудится*; а иной и много *трудится* да ничего не *сработаетъ*.

Трудъ предполагаетъ *стремленіе* къ *задуманной цѣли*; работа предполагаетъ *обдуманный планъ*, которому она служитъ *осуществленіемъ*. Гдѣ нѣтъ ни цѣли, ни плана опредѣленныхъ, тамъ уже не трудъ и не работа, а простой *моціонъ*.

вліянію своихъ хозяевъ, такъ что, по крайней мѣрѣ, рабство труда въ человѣчествѣ немыслимо, какъ немыслимо рабство духа. Никто не можетъ заставить другого что нибудь изобрѣсти, или придумать, даже обдумать и подумать. Евреи жили и размножались въ Египтѣ, не смотря на работы; но тѣже Евреи провозглашаютъ блаженнымъ всякаго, кто, въ плѣну Вавилонскомъ, возьметъ и убьетъ дѣтей своихъ о камень, потому что тутъ заставляли ихъ пѣть пѣсни Сіона, кланяться богамъ чуждымъ, измѣнять своей народности. Этому-то свободному, духовному труду человѣчество обязано всѣмъ своимъ вліяніемъ. Работѣ уступаетъ немногое въ природѣ; индивидуальной дѣятельности не станетъ повиноваться море, у котораго хотимъ отнять его ложе; но труду, основанному на познаніи законовъ природы, и на умѣньи произвести борьбу стихій, для обладанія ими, уступаютъ стихіи и служатъ сами законы природы. Трудъ есть явленіе вполнѣ общественное и потому, что состоитъ изъ различныхъ работъ, и самъ раздѣляется, и потому, что трудящійся зависитъ преимущественно отъ общества, его вкуса, требованія, запроса, развитія, исторіи. Надъ трудомъ ученаго господствуетъ идея современной науки,—надъ трудомъ художника—развитый вкусъ общества,—надъ трудомъ промышленника—требованія и нужды общества. По всему этому должно сказать, что трудъ всегда разуменъ и не можетъ не быть производителенъ: сверхъ того, обыденное выраженіе народа—трудовая копѣйка—доказываетъ еще, что въ основѣ труда всегда лежитъ моральное начало, и что трудъ не можетъ не быть частнымъ. *В. Лешковъ.*

Примѣчаніе. Признавая различіе, положенное нашимъ многоуважаемымъ ученымъ, между *работою и трудомъ*, въ основаніи своемъ совершенно вѣрнымъ, мы находимъ, однако, что эта остроумная мысль не вездѣ послѣдовательно развита въ подробностяхъ и нуждается въ нѣкоторомъ уясненіи и пополненіи. Съ согласія В. Н. Лешкова печатаемъ здѣсь дополненія къ его статьѣ, написанныя Н. П. Гиляровымъ и В. И. Далемъ. Съ своей стороны замѣтимъ, что сколько намъ извѣстно, такое различіе существуетъ едва-ли не въ одномъ Русскомъ языкѣ: работа имѣетъ соотвѣтственное слово и во Французскомъ и Нѣмецкомъ языкѣ (Arbeit, travail), но какъ перевести *трудъ*? (peine, labeur, Mühe?) Это все не то. ——— *Ред.*

Трудъ, кромѣ работы, значитъ также *старанье* и *страданье*: *приложи трудъ*, постарайся, потрудись, даже подумай. *Пришло трудное время*, пора труда, работъ, страда, или время тяжкое, заботное, гнетучее. *Водной трудъ*, водяная болѣзнь.

Работа—также послѣдствіе труда, сдѣланная, готовая вещь, и отдѣлка, качество, достоинство ея, по мѣрѣ умѣнья и старанья. *Вотъ моя работа, это*

Въ *работѣ* цѣнится *трудъ*. Но самъ по себѣ *трудъ* не доступенъ никакой оцѣнкѣ, кромѣ нравственной.

Слово *трудъ* употребляютъ иногда говоря о самыхъ *произведеніяхъ*, но только о произведеніяхъ литературныхъ и художественныхъ. Восхищаются *трудами* писателя и художника, но отъ ремесленника ждутъ только превосходнаго *издѣлія*. И понятно: ремесленникъ постояннымъ упражненіемъ можетъ до того довести свою дѣятельность, что она обратится въ однообразную механическую привычку, почти не требующую *напряженія*, а писатель или художникъ, при созданіи каждаго новаго произведенія, непремѣнно имѣетъ нужду въ новомъ, особенномъ подъемѣ творческой силы.

работа плохая; работа тонкая, мастерская. *Трудъ* рѣже говорится въ значеніи сдѣланной вещи, развѣ весьма тщательно отдѣланной. Можно сказать: *трудная работа*, она требуетъ старанья, терпѣнья, страданья; но *работный трудъ* — значило бы: ломовой, прямо тѣлесный; *рабочій трудъ* — старанье и страданье, приложенное къ работѣ, какова-бы она ни была.

Трудить ноги, утруждать, безпокоить, мучить; *трудиться*, трудить себя, сознательно, неволить себя и дѣлать; *трудиться неволей* можно всетаки не иначе, какъ сознательно, поддаваясь понужденью, покоряясь разсудкомъ; *работаетъ* же и скотъ и машина, тутъ нѣтъ возвратнаго переноса на себя, и если мы говоримъ: *работать умомъ*, то это уже переносное выраженье, какъ *ломать голову*. Посему можно сказать: *мнѣ трудно*, тяжело, не по силамъ, но нельзя сказать: *мнѣ работно; время трудное*, тяжкое, невыносимое; *время работное*, рабочее, когда много работъ, но жалобы на тяготу тутъ нѣтъ.

Словомъ, *трудъ* стоитъ выше *работы*, обнимаетъ духовную и вещественную область, выражаетъ нѣчто благородное, сознательное, человѣческое; если *трудъ* и одного корня съ *теретъ*, то послѣднее получило въ трудѣ переносное значенье; *работа* же одного корня съ *рабомъ*, и потому указываетъ на низшую степень дѣятельности. *В. Даль.*

О первоначальномъ народномъ обученіи.*)

Кому должно быть ввѣрено первоначальное обученіе народа? Духовенству.—Отвѣтъ такъ несомнѣненъ, что только намѣренное желаніе поколебать въ народѣ христіанскія начала, или же совершенное незнаніе народныхъ склонностей могутъ отвѣчать иначе.

Народъ самъ признаетъ духовенство законнымъ своимъ учителемъ. При первой возможности откладывать ежегодно какихъ нибудь пять рублей, простолюдинъ отдаетъ сына своего на обученіе священнику или діакону; при меньшихъ средствахъ онъ обращается къ дьячку; и только въ крайней нуждѣ рѣшается обратиться къ какому нибудь отставному солдату, или своему брату крестьянину—грамотѣю. Не только въ селахъ, но даже въ городахъ, въ самой даже Москвѣ, въ домахъ свя-

---

*) Напечатано въ «Прибавленіяхъ къ Твореніямъ Св. Отцевъ», 1862 г. XXI, стр. 165—180.

«А знаете вы, писалъ въ 1887 году Гиляровъ-Платоновъ И. Ѳ. Романову,—что *идея церковно-приходскихъ школъ принадлежитъ мнѣ*, что объ этомъ была мною подана записка (очень сильная) покойной императрицѣ, потомъ напечатанная въ *Твореніяхъ Св. Отцевъ*, перепечатанная затѣмъ въ *Современной Лѣтописи* и воспроизведенная недавно въ синодскомъ ли изданіи или изданіи Рачинскаго? Объ авторѣ нигдѣ, разумѣется, не упомянуто; это ужъ такъ порядокъ вещей требуетъ, и меня даже смѣшитъ, перестало огорчать.»

Статья «О первоначальномъ народномъ обученіи» и есть та записка, о которой говоритъ Гиляровъ. Она была написана Никитою Петровичемъ въ концѣ 1861 года и тотчасъ по написаніи отправлена въ Петербургъ, къ графинѣ Антонинѣ Дмитріевнѣ Блудовой.

щенно-служителей найдете цѣлыя маленькія школы грамотности; крестьяне, мѣщане, купцы охотно отдаютъ туда дѣтей, и охотно при этомъ платятъ деньги, не смотря на то, что тутъ же рядомъ стоитъ казенное училище, гдѣ учатъ совершенно даромъ и гдѣ выучиваютъ даже способомъ болѣе легкимъ и скорымъ, чѣмъ какой извѣстенъ простодушному церковнослужителю. Фактъ былъ бы невѣроятенъ, если бы не былъ вполнѣ достовѣренъ. Онъ доказываетъ, что въ народѣ существуетъ особенное воззрѣніе на грамотность. Грамота для народа есть дѣло, въ нѣкоторой степени, священное: она есть дверь, отверзаемая къ уразумѣнію божественнаго писанія. Книжная мудрость, въ народномъ словоупотребленіи, почти равнозначительна богословію; начетчикъ означаетъ человѣка, изучившаго много книгъ священ-

---

«Благодарю васъ искренно, писала ему графиня (отъ 30 декабря 1861 г.) за записку о школахъ, которую читала съ истиннымъ душевнымъ наслажденіемъ».

«Ваша записка объ обученіи народа, (писало то же лицо отъ 3 января 1862 г.) была прочтена самому Государю, который ею очень доволенъ, раздѣляетъ вашъ образъ мыслей и, какъ я достовѣрно узнала, твердо убѣжденъ, что въ рукахъ духовенства *должно* оставаться образованіе первоначальное. Теперь пришлите мнѣ вашъ прежній *трактатъ*, то-есть пришлите подробное изложеніе мѣръ для основанія прочнаго школъ съ учителями изъ семинарій. Это уже будетъ пущено въ ходъ для членовъ Главнаго Комитета, гдѣ будутъ обсуживать это дѣло. Имѣя увѣренность, что Государь поддержитъ общую мѣру, надобно подготовить господъ членовъ къ этому пониманію подробнаго введенія порядка, основаннаго на ней».

«Не печатайте записку покуда, (писала графиня отъ 4 января 1862 г.), дайте сперва здѣсь ознакомить съ нею *полезныхъ* людей, а то наши петербургскіе журналы закидаютъ грязью и пожалуй собьютъ съ толку членовъ Комитета.—Я вѣрю въ *конечное* торжество истины *современемъ*, но не вѣрю безусловно въ ея торжество современное среди отуманенныхъ горячихъ головъ, большею частью «кокетничающихъ съ безуміемъ», какъ Бабстъ очень мѣтко выражается».

Записка Гилярова, произведшая столь благопріятное впечатлѣніе у кормила правленія, появилась впервые въ печати безъ имени автора въ Прибавленіяхъ ко второй книжкѣ *Твореній Св. Отцевъ* 1862 г. Для напечатанія ея потребовалось не только согласіе и одобреніе митрополита Филарета, но и разрѣшеніе изъ Петербурга.

«Поспѣшаю увѣдомить васъ, писалъ Никита Петровичъ къ профессору Московской Духовной Академіи, протоіерею А. В. Горскому (отъ 30 Октября 1861 г.), что сегодня я получилъ разрѣшеніе изъ Питера на напечатаніе моей записки. Не излишне считаю, при семъ, снова покорнѣйше просить васъ, если возможно, оставить замѣченныя Владыкою (митрополитомъ Филаретомъ) выраженія,

ныхъ. Такимъ образомъ, понятіе о книжномъ обученіи у простолюдина неразрывно связывается съ понятіемъ объ истолкованіи слова Божія; въ простомъ учителѣ чтенія онъ ждетъ видѣть наставника въ законѣ Божіемъ. Поэтому-то, православный онъ или раскольникъ, онъ отдаетъ дитя свое на обученіе преимущественно лицу, которое признаетъ за священное. Поэтому-то съ нѣкоторымъ недовѣріемъ смотритъ онъ на училище казенное, гдѣ учитель „баринъ“, и гдѣ ученье начинается „побасенками“. Безсознательно постигаетъ простолюдинъ, что назначеніе ученія здѣсь житейское, а не то возвышенное, котораго онъ желаетъ. Осмѣлимся ли назвать эти народныя понятія предразсудками? А тѣмъ болѣе, осмѣлимся ли противостать имъ какими либо мѣропріятіями?

Но кого и способны мы будемъ дать народу, въ замѣнъ готовыхъ, естественныхъ его учителей?

Создадимъ ли особое званіе сельскихъ учителей, нарочито къ своему дѣлу приготовленныхъ? Рѣшиться на такую мѣру значило бы обнаружить удивительное незнаніе нашихъ общественныхъ отношеній. Приготовленіе къ званію сельскаго учителя должно состоять, безъ сомнѣнія, въ основательномъ

какъ они были, и обозначить ихъ только знаками « », эти знаки будутъ показывать, что слова «баринъ», «ребятишекъ», «побасенки» и т. д. составляютъ обычное словоупотребленіе тѣхъ лицъ, о которыхъ говорится, и даже выражаютъ въ себѣ самый способъ ихъ воззрѣнія на вещи.

«Много одолжили бы меня также, еслибъ оставили для меня нѣсколько отдѣльныхъ оттисковъ (отъ 10 до 20). Въ подлинникѣ записка моя озаглавлена была не вопросомъ, а словами, помнится, такими: «О первоначальномъ народномъ обученіи.» Вопросъ, которымъ начинается записка, есть уже начало самой трактаціи. Думаю, что и при напечатаніи слѣдуетъ дать запискѣ какое-нибудь заглавіе: такое ли, какое у меня было (оно, впрочемъ, нѣсколько широко), или какое другое, но только не въ видѣ вопроса. Имени моего прошу не выставлять. Выставите просто: «Сообщено», если это у васъ такъ принято. Еще два слова:

1) «Въ запискѣ у меня сказано, что учительство можетъ быть поручено молодымъ людямъ, «возведеннымъ въ санъ иподіакона». Но мнѣ говорятъ, что посвященный въ санъ иподіакона не можетъ вступить въ бракъ; что желающій вступить въ брачную жизнь долженъ жениться непремѣнно до поставленія въ иподіакона. Правда ли это? Если правда, то прошу замѣнить слово «иподіаконъ» другимъ, болѣе общимъ: «на низшую церковную степень.» Когда я писалъ за-

ученіи. Итакъ, въ странѣ, гдѣ образованные люди столь рѣдки, что въ нихъ нуждается еще большинство мѣстъ административныхъ и судебныхъ, должны будутъ выискаться люди, которые захотятъ выслушать курсъ наукъ съ единственною цѣлію обречь себя незавидной долѣ сельскаго учителя! Или, что̀ еще страннѣе, должны будутъ выискаться люди, которые, уже пріобрѣтши основательныя свѣдѣнія въ наукахъ, захотятъ ограничить свою дѣятельность столь скромнымъ поприщемъ, отказываясь отъ дѣятельности болѣе блестящей и болѣе выгодной! Такое предположеніе немыслимо. Очевидно, что къ созданію особаго класса сельскихъ учителей возможенъ будетъ только одинъ путь, который былъ предпринятъ нѣкогда къ образованію сословія домашнихъ учителей и сельскихъ писарей: путь принужденія и соблазна. Званіе сельскаго учителя будетъ дверью для выхода изъ податного состоянія, для избавленія себя отъ рекрутства и тѣлесныхъ наказаній. Приготовленный къ занятіямъ сельскаго учителя крестьянинъ обязанъ будетъ прослужить въ этомъ званіи нѣсколько лѣтъ, и, по истеченіи ихъ, будетъ вознаграждаемъ чиномъ или званіемъ почетнаго гражданина. Но пора понять, что ни крѣпостной трудъ, каковымъ будетъ трудъ сельскаго учителя, ни соблазнительное подстрекательство къ выходу изъ простого званія, на чемъ будетъ держаться все учрежденіе, не поведутъ ни къ чему доброму, особенно въ дѣлѣ воспитанія, гдѣ все должно истекать изъ любви, все должно быть проникнуто сердечнымъ одушевленіемъ. Будутъ ли сельскіе учители любить свое дѣло? Нельзя любить дѣла, за

писку, я въ этомъ мѣстѣ намѣренно избѣгалъ слово «причетникъ»; молодымъ людямъ нашимъ это показалось бы унизительнымъ; nomina sunt odiosa, и потому-то указалъ я на церковную степень болѣе высшую, но еще не священную. Но ужели, въ самомъ дѣлѣ, каноническія правила запрещаютъ иподіакону вступать въ бракъ? Я достовѣрно знаю однако, что въ нѣкоторыхъ епархіяхъ архіерейскими иподіаконами бываютъ обыкновенно ученики богословія, которые потомъ женятся и возводятся въ высшія степени.

2) «Если уже неизбѣжно будетъ въ *Твореніяхъ Св. Отцевъ* остракировать выраженія, признанныя «неприличными», прошу покорнѣйше приказать оставить ихъ во всякомъ случаѣ въ оттискахъ, которые будутъ назначены собственно для меня, и пойдутъ въ раздачу немногимъ знакомымъ и друзьямъ».

которое взялся противъ призванія. Будутъ ли они любить народъ? Отреченіе отъ народа будетъ первымъ побужденіемъ ихъ ко вступленію въ учительство. Будутъ ли они любимы народомъ?—Случайные выходцы изъ низшей среды всегда испытываютъ недоброжелательство своей прежней братіи. Будутъ ли учители, по крайней мѣрѣ, довольны своимъ новымъ положеніемъ, вѣсомъ, который пріобрѣтутъ въ обществѣ? Но дѣйствительное ихъ положеніе никогда не будетъ соотвѣтствовать ихъ мечтаніямъ... И на этомъ основаніи строитъ зданіе народнаго просвѣщенія! Германія имѣетъ учрежденіе сельскихъ учителей и вкушаетъ плоды его: въ ежегодномъ количествѣ преступленій на долю сельскихъ учителей выпадаетъ особенно значительный процентъ. У насъ будетъ то же, но въ бо́льшихъ размѣрахъ: ибо то, что составляетъ причину этого явленія, чувство противорѣчія между собственнымъ внутреннимъ достоинствомъ и внѣшнимъ житейскимъ положеніемъ, у насъ, въ странѣ мало образованной, будетъ проникать сельскаго учителя сильнѣе, нежели гдѣ либо. Уже случались у насъ примѣры, что учители изъ крестьянъ, въ удѣльныхъ селеніяхъ, кончали жизнь самоубійствомъ, не имѣя ни силъ перенести свое положеніе, ни возможности выйти изъ него. То же безвыходное положеніе будетъ участью всякаго, кто, подаваясь на приманки честолюбія, оторвется отъ крестьянскаго сословія и въ то же время увидитъ себя запертымъ въ званіи сельскаго учителя.*)

*) «Наше глубокое убѣжденіе» — писалъ Гиляровъ въ передовой статьѣ «Современныхъ Извѣстій» 1879 г. № 171: «начало будущей великой дезорганизаціи лежитъ именно въ самой постановкѣ народнаго обученія и особенно въ его бюрократической иниціативѣ. *Весь институтъ ложенъ; весь механизмъ заведенъ совершенно съ противоположной стороны; онъ не подниметъ народа или поднимет, но скорѣе въ нежелаемую сторону, за то тѣмъ несомнѣннѣе послужитъ къ его разложенію. Сословіе учителей, искуственно созидаемое, не пророчитъ добраго.* Что такое въ самомъ дѣлѣ эти недоноски во всякихъ смыслахъ, приподнятые надъ непосредственнымъ бытомъ, но не доведенные до быта цивилизованнаго, съ искуственно возбужденными отвлеченіями, идеалами и со скудной матеріальной обстановкой? Не закладывается-ли только новое сословіе недовольныхъ въ обѣ стороны? Не расчищается-ли только почва для всякой пропаганды, и именно пропаганды утопи́ческой, лишенной практической подкладки и практическаго позыва?»

Однимъ словомъ, можно сказать составителямъ проэктовъ о народномъ образованіи: если хотите среди самого народа создать новый классъ людей, презирающихъ народъ и ненавидимыхъ народомъ, классъ людей озлобленныхъ и завистливыхъ; если хотите внести новый развратъ въ селеніяхъ; если хотите имѣть новый элементъ государственнаго безпорядка: создайте особый классъ сельскихъ учителей.

Но не предоставить ли народу, въ дѣлѣ образованія, полную свободу? Пусть онъ учится у кого хочетъ, и пусть кто хочетъ заводитъ для него школу?—Когда дѣло идетъ объ устройствѣ едва зачинающагося народнаго образованія, слова эти звучатъ горькою насмѣшкой. Это все равно, что умирающему отъ голода указать покрытое лебедой поле и сказать: я тебѣ не препятствую, кормись, чѣмъ хочешь, и выбирай пищу, какая тебѣ удобнѣе. Кромѣ духовенства, какіе существуютъ готовые учители для народа? Отъ скуки можетъ иногда помѣщикъ или помѣщица заняться лично нѣсколькими крестьянскими „ребятишками“; но нельзя предсказывать, что такіе случаи будутъ слишкомъ часты; нельзя сказать и того, что крестьянинъ найдетъ для себя особенно удобнымъ пользоваться такими одолженіями помѣщика. Итакъ, какіе же учители останутся? Останется сельскій писарь,—эта язва нашихъ селъ, этотъ крестьянинъ-подъячій, въ одномъ лицѣ совмѣщающій пороки лихоимца-чиновника съ пороками развратнаго крестьянина. Останется выгнанный изъ службы приказный, промышляющій въ деревнѣ составленіемъ ябедническихъ просьбъ. Останется наконецъ,—и это самый благонадежнѣйшій представитель сельскихъ грамотѣевъ—отставной солдатъ.

Свобода образованія есть начало истинное и неоспоримое. Но утверждать свободу образованія является надобность тамъ, гдѣ въ государствѣ нѣсколько противоборствующихъ и по существу равноправныхъ силъ стремятся овладѣть народною мыслію; гдѣ само государство есть случайное скопленіе разнородныхъ элементовъ. Тамъ государство, покровительствуя одной какой либо силѣ, одинаково нарушаетъ и справедливость и без-

опасность; самая жизнь государства, все спасеніе его зависитъ тамъ именно отъ умѣнья уравновѣшивать враждебныя стремленія предоставленіемъ каждому изъ нихъ полной свободы. Россія же, благодареніе Богу, живетъ не враждою разнородныхъ началъ и не имѣетъ нужды въ искуственномъ уравновѣшиваніи небывалыхъ противоположностей. За исключеніемъ части общества, случайно презрѣвшей русскія начала, и за исключеніемъ раскола, двинувшагося въ противоположную сторону, весь русскій народъ представляетъ сплошную массу. Весь онъ живетъ одною жизнію, стоитъ на одномъ просвѣтительномъ началѣ, движется по одному духовному направленію, которое дано Церковію. Законодательству остается только давать всевозможный просторъ этому всеобщему направленію, вспомоществовать всѣми мѣрами его развитію, устранять лежащія ему на дорогѣ препятствія: и въ этомъ будетъ состоять у насъ свобода образованія. Другими словами, истинно понятая свобода образованія въ Россіи требуетъ мѣръ, которыя бы, согласно съ собственными склонностями народа, помогали ему глубже и сознательнѣе утверждаться въ церковномъ ученіи. Слѣдовательно, свобода-то образованія и требуетъ, чтобъ обученіе народа ввѣрено было духовенству.

Нисколько не говоримъ противъ предоставленія правъ народнаго обученія и всякому желающему. Напротивъ, пусть и волостной писарь набираетъ учениковъ, если можетъ найти ихъ; пусть и солдатъ, и отставной приказный ищутъ питомцевъ; пусть даже исключенный студентъ свободно берется за учительство. Словомъ, пускай *право* обучать народъ будетъ предоставлено желающему: но духовенству поставьте это въ непремѣнную *обязанность*, и облегчите ему средства къ исполненію этой обязанности. Вѣрно, что тогда ни писарь, ни солдатъ, ниже студентъ не будутъ имѣть ни одного ученика. Опасность сколько нибудь сильнаго соперничества грозитъ только со стороны раскола. Пусть однако и раскольническій старецъ свободно принимаетъ учениковъ; но рядомъ съ раскольническимъ училищемъ поставьте непремѣнно училище православное; приставь-

те къ нему священно-служителей особенно благонравныхъ и ревностныхъ. Несомнѣнно, послѣдствія будутъ тѣ же: раскольническое училище опустѣетъ, и самый расколъ падетъ въ скоромъ времени.

Нужно разъ убѣдиться въ той истинѣ, что если просвѣтительное вліяніе духовенства не являлось доселѣ въ столь полной мѣрѣ, какъ бы это желательно, и какъ обнаруживается оно въ другихъ странахъ,—причиною тому не какой нибудь духовный разладъ между духовенствомъ и народомъ, а частію стѣсненное положеніе народа и, главнымъ образомъ, стѣсненное положеніе, въ которое поставлено исторіею духовенство.

Когда Петръ I издалъ указъ, запрещающій монаху держать у себя въ келліи перо и чернила; когда тотъ же государь указомъ повелѣлъ, чтобы духовный отецъ открывалъ уголовному слѣдователю грѣхи, сказанныя на исповѣди: духовенство должно было почувствовать, что отселѣ государственная власть становится между нимъ и народомъ, что она беретъ на себя исключительное руководительство народною мыслію и старается разрушить ту связь духовныхъ отношеній, то взаимное довѣріе, какое было между паствой и пастырями. Духовенство поняло, что дѣйствовать своимъ духовнымъ вліяніемъ для него отселѣ небезопасно.

Когда послѣдовало отнятіе церковныхъ имуществъ (не однихъ крестьянъ, но и земель), и за отнятые рубли духовенство вознаграждено было грошами; когда пріобрѣтеніе новыхъ имуществъ для церкви намѣренно обставлено было разными затрудненіями; когда надъ оставшимися имуществами контроль все болѣе и болѣе усиливался, распоряженіе ими все болѣе и болѣе централизовалось; когда часть церковныхъ имуществъ стала употребляться даже на потребу не чисто церковную: духовенство должно было почувствовать, что и у собственныхъ средствъ оно не хозяинъ, а только приставникъ; что оно не можетъ отселѣ ни задумать назначенія своимъ средствамъ, ни, тѣмъ менѣе, ручаться, что первоначальное назначеніе устоитъ долгое время. Духовенство поняло, что отселѣ властно оно,

безъ всякой помѣхи, пригласить пожертвователя развѣ только на позлащеніе церковной крыши или возведеніе ограды, безъ увѣренности впрочемъ, что крыша и ограда навсегда сохранятъ свое назначеніе *).

Когда духовенство видитъ, что законодательство, сначала можетъ быть намѣренно, а затѣмъ и безсознательно, слѣдуя старому порядку, съ обидною послѣдовательностію проводитъ такое правило: „духовное лицо православнаго исповѣданія за свое служеніе не должно быть ничѣмъ вознаграждаемо, либо должно получать вознагражденіе несравненно меньшее, чѣмъ лица свѣтскія, иль лица духовныя, но неправославныя, стоящія на тѣхъ же самыхъ должностяхъ“ **): къ какому заключенію должно приходить духовенство? Къ тому, безъ сомнѣнія, что оно есть сословіе, намѣренно уничиженное, на которое сама государственная власть смотритъ съ презрѣніемъ, и единственно за то, что оно вѣрнѣе другихъ осталось священнымъ началамъ своей родины. Какой же послѣ того ждать увѣренности или одушевленія въ дѣйствіяхъ?

Происходитъ ли духовное движеніе въ народѣ, законъ велитъ ставить сейчасъ между духовенствомъ и народомъ полицейскую власть, съ обязанностію обиднаго надзора, и съ обязанностію не менѣе обиднаго содѣйствія. Устроиваетъ ли само правительство среди народа школу, оно назначаетъ туда законоучителя, но, врядъ съ другими, ставитъ его въ положеніе чиновника, подвергнутаго всѣмъ мелочнымъ формальностямъ администраціи. Самую домашнюю школу, куда крестьяне и мѣщане

*) При двукратномъ сокращеніи числа монастырей, нѣкоторые изъ нихъ, напримѣръ, были обращены въ казармы и другія вовсе не церковныя зданія.

**) Нужно сравнить только: содержаніе профессоровъ и учителей въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ съ содержаніемъ университетскихъ профессоровъ и гимназическихъ учителей; содержаніе православныхъ духовно-учебныхъ заведеній вообще съ содержаніемъ же подобныхъ заведеній католическихъ; жалованье православныхъ священниковъ при полкахъ и жалованье лютеранскихъ пасторовъ на тѣхъ же самыхъ должностяхъ. Стоитъ обратить вниманіе и на то, что законоучителю вездѣ полагается жалованье меньшее, чѣмъ прочимъ наставникамъ въ томъ же заведеніи, и пр.

добровольно отдаютъ дѣтей, духовное лицо принуждено таить отъ правительства; ибо законъ требуетъ, чтобы о каждой школѣ былъ подаваемъ отчетъ, а отчетъ предполагаетъ ревизію и вмѣшательство. Не достаточно ли однихъ этихъ причинъ, чтобы сдѣлать духовенство тѣмъ, чѣмъ оно есть, къ сожалѣнію, теперь? А именно: сословіемъ запуганнымъ, но вмѣстѣ жаднымъ и завистливымъ, униженнымъ, но притязательнымъ, лѣнивымъ и равнодушнымъ къ своему высшему призванію, а вслѣдствіе того и не весьма безукоризненнымъ въ образѣ жизни.

И однако, изъ всѣхъ сословій просвѣщенныхъ или полупросвѣщенныхъ, наше духовенство, каково оно ни есть, есть сила наиболѣе хранительная въ государствѣ. И однако, не смотря на всѣ неблагопріятныя обстоятельства, духовная связь между нимъ и народомъ неразорвана. Но чтобы укрѣпить эту благодѣтельную связь, нужно поднять, ободрить, поощрить духовенство. Стоитъ осмотрѣться вокругъ себя, что сдѣлано уже и теперь, при данномъ вообще нѣкоторомъ просторѣ общественнымъ силамъ. Не смотря на всѣ толки, раздающіеся въ свѣтской литературѣ о необходимости народнаго образованія; не смотря на воскресныя школы, открываемыя съ такими торжественными кликами: чрезъ все это, въ сущности, дѣльнаго достигнуто еще очень не много, и усердіе нашего общества, сначала казавшееся столь горячимъ, видимо хладѣетъ. А между тѣмъ духовенство считаетъ своихъ учениковъ уже сотнями тысячъ, и безъ шума продолжаетъ свое дѣло учительства, не имѣя матеріальныхъ средствъ и, надобно сказать правду, не встрѣчая ни малѣйшихъ признаковъ общественнаго сочувствія. Законодательство обязано всѣми силами споспѣшествовать этому благому движенію.

Пусть будетъ постановлено закономъ, что церковный причтъ, въ силу того самаго, что онъ есть причтъ, обязанъ безвозмездно принимать каждаго желающаго на обученіе чтенію, письму, начаткамъ закона Божія и церковному пѣнію (а въ случаѣ надобности и другимъ элементарнымъ свѣдѣніямъ). Разумѣется, нельзя этого требовать сейчасъ, при настоящемъ содержаніи духовенства: это значило бы принудительно возлагать на него

новое бремя, ничѣмъ не вознаграждая, и, слѣдовательно, только испортить все дѣло. Но, посредствомъ ли жалованья, посредствомъ ли общественныхъ сборовъ, или тѣмъ и другимъ способомъ вмѣстѣ, содержаніе духовенства должно быть увеличено. Тогда-то это увеличенное содержаніе пусть назначено будетъ не за исправленіе только церковнослуженія, но за церковнослуженіе и народное обученіе *вмѣстѣ*. Пусть та и другая обязанность, и въ глазахъ правительства, и въ глазахъ народа и въ глазахъ самого духовенства, будутъ нераздѣльны.

Нельзя также требовать, чтобы обученіе народа было принимаемо на себя священникомъ непосредственно: этому могутъ иногда препятствовать его обязанности по исправленію требъ. Непосредственныя занятія обученіемъ могутъ быть ввѣряемы діаконамъ (разумѣется, кончившимъ курсъ); а еще лучше, могутъ быть поручаемы, въ видѣ искуса, духовнымъ студентамъ, готовящимся къ священному сану и возведеннымъ въ санъ иподіакона. Развитіе этого учрежденія принесло бы между прочимъ ту пользу, что такими иподіаконами впослѣдствіи замѣнились бы нынѣшніе дьячки — самая неблаговидная часть теперешняго духовенства.

Въ каждомъ приходѣ должно быть, по крайней мѣрѣ, одно училище; по мѣрѣ надобности, могло бы ихъ открыться и нѣсколько. Во всякомъ случаѣ, приходы,—эти живые памятники и символы духовнаго единенія въ вѣрѣ, да образуютъ изъ себя также средоточія и просвѣщенія вообще. Приходскій священникъ, духовный отецъ всѣхъ поселянъ прихода, былъ бы естественнымъ надзирателемъ и руководителемъ всѣхъ приходскихъ училищъ.

Нужно стараться, чтобы самое мѣсто ученія устроялось близъ церкви или даже въ самомъ церковномъ зданіи. Желательно (хотя это и не всегда возможно), чтобы даже въ тѣхъ случаяхъ, когда потребуется возведеніе школы въ селеніяхъ, неимѣющихъ церкви, новоустроямое училище заключало въ себѣ малую церковь. Равнымъ образомъ желательно, чтобы и самыя церкви на будущее время устроялись не иначе, какъ съ училищами. Пусть домъ ученія будетъ домомъ молитвы, и наоборотъ.

Для знающихъ народъ не по наслышкѣ не покажется удивительнымъ, когда скажемъ, что предполагаемое соединеніе церквей съ училищами и обязанностей церковныхъ съ обязанностями учительскими должно принести плоды неисчислимые. Оно возвыситъ нравственно самое духовенство; оно благотворно подѣйствуетъ на ходъ народнаго просвѣщенія; оно облегчитъ неимовѣрно самое пріобрѣтеніе способовъ къ устройству школъ.

Но необходимо, чтобы устроиваемое на такихъ основаніяхъ народное обученіе освобождено было отъ излишнихъ формальностей, отчетностей, регламентаціи. Довольно, если избранное духовенство будетъ съѣзжаться разъ въ годъ въ епархіальномъ городѣ, для разсужденія о потребностяхъ народнаго образованія и для взаимнаго отчета о прошлой учительской дѣятельности. Довольно, если епархіальное начальство будетъ наблюдать за духовенствомъ по исполненію учительскихъ обязанностей, наравнѣ съ тѣмъ, какъ наблюдаетъ оно за исполненіемъ обязанностей чисто церковныхъ. Довольно, наконецъ, если затѣмъ будетъ представляемъ высшему правительству общій, чисто статистическій отчетъ о движеніи первоначальнаго народнаго обученія. Однимъ словомъ, правительство должно всячески помогать духовенству въ исполненіи занятій по народному обученію, но не опредѣлять хода занятій до мелочныхъ подробностей, ни требовать столь же мелочного отчета. Тѣмъ менѣе представляется нужды заводить какихъ либо особыхъ окружныхъ инспекторовъ, губернскихъ или областныхъ надзирателей и т. п. Деньги, и конечно немалыя, которыя были бы употреблены на содержаніе этихъ совершенно безполезныхъ лицъ, несравненно съ бо́льшею пользою могли бы быть обращены на покупку книгъ и другихъ учебныхъ пособій.

Остается сказать послѣднее слово. Когда, лѣтъ двадцать тому назадъ, министерство государственныхъ имуществъ издавало правила для сельскихъ школъ и разсылало книги, назначенныя для простонароднаго чтенія, вопросъ о томъ, каковы эти правила и сколь полезны эти книги, имѣлъ посредственную важность. Народъ тогда не шелъ охотно въ школы, правительство разными приманками должно было привлекать крестьянъ къ образованію.

Такимъ образомъ, если и распространялись какія свѣдѣнія въ народѣ, онѣ, какъ внѣшній наростъ, скоро отпадали сами собою; выученное забывалось, не воздѣйствуя или слабо воздѣйствуя на внутреннее развитіе. Правда, довольно поплакалось народа на писарей, воспитанныхъ въ новыхъ школахъ. Правда, люди даже благонамѣренные, глядя на поколѣніе новыхъ грамотниковъ, стали даже утверждать, что грамотность ни къ чему крестьянина не приводитъ, кромѣ преступленія. Но все это было зломъ частнымъ; ядро народа оставалось неприкосновенно.

Теперь совсѣмъ иное. Въ послѣдніе два года жажда къ просвѣщенію пробудилась въ народѣ съ неслыханною силою. Производимая въ быту его реформа дала ему почувствовать, что онъ призывается отселѣ къ самостоятельной дѣятельности на общественномъ поприщѣ; и онъ самъ спѣшитъ стряхнуть съ себя долгій сонъ невѣжества, хочетъ новыми просвѣтленными взорами взглянуть на Божій міръ и на свои общественныя отношенія. Ясно, что теперь вопросъ о народномъ обученіи есть вопросъ уже не о частномъ злѣ и не о частномъ благѣ, которое можетъ разлить та или другая система: здѣсь вопросъ о будущемъ цѣлой Россіи, вопросъ гораздо болѣе важный, чѣмъ всѣ вопросы о финансахъ, судопроизводствѣ, полиціи и вообще о государственныхъ учрежденіяхъ. Ибо какъ ни плохи будутъ учрежденія, но когда духъ народа цѣлъ, государство останется непоколебимо; а когда послѣдовало въ народѣ нравственное разложеніе, тогда самыя превосходныя учрежденія не удержатъ государство отъ гибели.

Духъ народа и его нравственныя силы держатся или преданіемъ, или обычаемъ, пока народъ не образованъ, или даются направленіемъ просвѣщенія, когда настала пора образованія. Для нашего народа наступаетъ такая пора; онъ не хочетъ идти болѣе ощупью, руководствоваться слѣпымъ преданіемъ и обычаемъ, онъ хочетъ дѣйствовать сознательно и проситъ у старшихъ своихъ братьевъ указанія къ этой сознательной дорогѣ. Итакъ, весь вопросъ въ томъ: дадимъ ли мы ему такихъ проводниковъ, которые будутъ для него не болѣе, какъ просвѣтителями въ собственномъ смыслѣ, то есть, помогутъ ему только сознательно

утвердиться въ тѣхъ же преданіяхъ и обычаяхъ, которыя до сихъ поръ онъ признавалъ слѣпо? Или же, предоставимъ общественному меньшинству, колеблемому всякимъ вѣтромъ ученія, и въ настоящую минуту случайно настроенному противоположно исконнымъ русскимъ началамъ, вывести народъ на совершенно новую дорогу, которой и конца не видно?

Отъ рѣшенія этого вопроса, какъ мы сказали, зависитъ все будущее Россіи, и надѣемся, что всякій, кто не лишенъ политическаго смысла, и кто понимаетъ всѣ грядущія послѣдствія народнаго освобожденія, вполнѣ согласится съ этимъ мнѣніемъ. *)

*) Вскорѣ послѣ составленія записки *О первоначальномъ народномъ обученіи*, чтобы слово не оставалось безъ дѣла и былъ готовый примѣръ, Гиляровъ предложилъ одному московскому протоіерею дать совѣтъ благотворителю, недоумѣвавшему, какъ употребить капиталъ, назначенный имъ на церковь: «совѣтуйте учредить церковно-приходскую школу». Совѣтъ принятъ, и Гиляровъ достигъ, что сама Императрица присутствовала при открытіи заведенія. («Изъ пережитаго», т. 2, стр. 317). Это первая церковно-приходская школа была основана при церкви св. Параскевы на Пятницкой улицѣ въ Москвѣ. Она существуетъ и понынѣ.

Программа для составленія исторіи министерства народнаго просвѣщенія. *)

Прежде, чѣмъ приступить къ порученнымъ мнѣ занятіямъ, я долженъ былъ опредѣлить для себя съ возможною точностію программу моего будущаго труда. Вопросъ этотъ представляетъ значительныя затрудненія, и главнымъ образомъ потому, что программа самаго вѣдомства, исторію котораго мнѣ предлежитъ писать, опредѣлилась въ механизмѣ государственнаго управленія не съ довольною точностію.

Съ одной стороны, министерство народнаго просвѣщенія представляется центральнымъ органомъ государственной власти по всѣмъ дѣламъ, касающимся просвѣщенія. Ему подчинена цѣлая система казенныхъ училищъ, и сверхъ того—всѣ частныя учебныя заведенія; оно выдаетъ дипломы на ученыя степени и патенты на право учительства; въ его завѣдываніи находятся ученыя общества и академіи; и, наконецъ, черезъ его посредство содѣйствуетъ правительство движенію литтературы. Однимъ словомъ, въ министерствѣ народнаго просвѣщенія сосредоточена, повидимому, вся дѣятельность правительства по просвѣщенію,—и административная въ отношеніи къ самостоятельнымъ проявленіямъ просвѣщенія въ наукѣ, литтературѣ и воспитаніи, и—собственно педагогическая. Но съ другой стороны, то же мини-

*) Эта программа была представлена Гиляровымъ министру народнаго просвѣщенія Головнину, вслѣдствіе порученія послѣдняго—написать исторію министерства. Печатается съ рукописи, извлеченной изъ Архива м—ва нар. просв.

стерство является не болѣе, какъ частнымъ вѣдомствомъ, которому предоставлена сравнительно малая доля участія въ заботахъ правительства о просвѣщеніи. На ряду съ казенными училищами министерства народнаго просвѣщенія, въ каждомъ государственномъ вѣдомствѣ существуютъ свои школы, тоже казенныя, и даже (какъ въ вѣдомствахъ духовномъ и военно-учебномъ) цѣлыя системы школъ, почти не менѣе полныя и развѣтвленныя, чѣмъ система казенныхъ училищъ въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Въ этихъ школахъ притомъ дается не одно спеціальное образованіе, но и общее; а въ нѣкоторыхъ изъ нихъ (въ цѣломъ вѣдомствѣ учрежденій Императрицы Маріи) даже вовсе не дается никакого спеціальнаго образованія, а напротивъ одно общее. Кромѣ того, есть одно вѣдомство, которое, на ряду съ министерствомъ народнаго просвѣщенія, имѣетъ право возводить въ ученыя степени (—вѣдомство духовное); и есть одно, которое лицамъ, имѣющимъ университетскіе аттестаты, даетъ даже новые экзамены на право учительства— и именно по предметамъ общаго образованія (—вѣдомство военно—учебное). Такимъ образомъ, строго говоря, значеніе центральнаго правительственнаго органа за министерствомъ народнаго просвѣщенія остается только въ чисто административныхъ отношеніяхъ его къ самостоятельнымъ органамъ науки, литературы и воспитанія.

Нѣтъ нужды изъяснять, что „исторія министерства народнаго просвѣщенія“ должна быть не простымъ сборникомъ свѣдѣній о внѣшнихъ перемѣнахъ въ министерствѣ: о поступленіи, перемѣщеніи и выбытіи должностныхъ лицъ, объ усложненіи и упрощеніи механизма въ управленіи, о статистическомъ движеніи количества училищъ и учащихся и т. п. Ограничиться такими свѣдѣніями значило бы дать сухую и скучную монографію, годную развѣ только для канцелярскихъ справокъ; въ добавокъ ко всему это былъ бы только матеріалъ для исторіи, а не самая исторія. Исторія каждаго вѣдомства должна показать внутреннее его отношеніе къ предметамъ своего управленія, дѣятельность въ исполненіи имъ того назначенія, которому призвано

оно служить въ государствѣ. Такъ или иначе министерство народнаго просвѣщенія призвано содѣйствовать отечественному просвѣщенію. Въ чемъ проявилось это содѣйствіе? Какая степень напряженія матеріальныхъ и нравственныхъ силъ при этомъ обнаруживалась? Какое направленіе преслѣдовалось? Какіе достигались результаты въ движеніи науки и литературы, въ поднятіи общаго уровня образованности? Наконецъ, при какихъ условіяхъ, подъ вліяніемъ какихъ соображеній, въ какую сторону и съ какимъ успѣхомъ, по временамъ измѣнялся характеръ дѣятельности? Вотъ вопросы, единственно достойные „исторіи министерства народнаго просвѣщенія“, изслѣдованіе которыхъ можетъ имѣть и научную важность и высокій практическій интересъ. При этомъ получаютъ значеніе и самые послужные списки должностныхъ лицъ, и статистическія свѣдѣнія объ училищахъ. Но становясь на эту точку зрѣнія, мы тотчасъ встрѣчаемся съ невозможностью приложить ее къ исторіи министерства народнаго просвѣщенія такъ, чтобы рамки изслѣдованія приходились въ мѣру своему предмету. Признаемъ-ли мы за министерствомъ характеръ центральнаго правительственнаго органа? Если такъ, то тогда будетъ уже не исторія министерства народнаго просвѣщенія, а исторія управленія просвѣщеніемъ вообще. А въ такомъ случаѣ въ программу слѣдуетъ включить и всю просвѣтительную дѣятельность прочихъ вѣдомствъ, и притомъ не только высше-административную, по управленію учебными заведеніями, но и чисто-педагогическую внутри самыхъ заведеній, и кромѣ того пришлось бы изслѣдованіе начинать чуть не съ Ярослава. Будемъ-ли смотрѣть на министерство, какъ на частное учебное вѣдомство? Но въ такомъ случаѣ пришлось бы исключить изъ программы не только всю дѣятельность министерства по отношенію къ ученымъ обществамъ, къ литературѣ, къ частному воспитанію, но и всю высшую административную дѣятельность его по отношенію къ самимъ учебнымъ заведеніямъ, и, слѣдовательно, ограничиться лѣтописью внутренняго состоянія подвѣдомственныхъ ему училищъ. Ни на томъ, ни на другомъ случаѣ остановиться невозможно, и—

не потому только, что изслѣдованіе лишено было бы формальной вѣрности своему предмету. При чрезмѣрномъ расширеніи задачи въ первомъ случаѣ, трудъ сверхъ того сдѣлался бы и неудобоисполнимымъ: осуществленіе его потребовало бы нескончаемыхъ годовъ работы и встрѣтило бы неодолимыя затрудненія въ собраніи матеріаловъ. При крайнемъ стѣсненіи программы во второмъ случаѣ, трудъ потерялъ бы и смыслъ и интересъ. Онъ не имѣлъ бы полнаго смысла, потому что педагогическій процессъ въ гимназіяхъ и университетахъ постоянно зависѣлъ отъ положенія просвѣщенія внѣ стѣнъ гимназическихъ и университетскихъ, и, слѣдовательно, можетъ быть объясняемъ только въ связи съ самостоятельнымъ движеніемъ науки и литературы. Наконецъ, трудъ не достигалъ бы полнаго интереса; до него не касался бы вопросъ, самый капитальный въ исторіи нашего просвѣщенія и особенно важный въ настоящее время: до какой степени способно наше общество къ свободѣ образованія? Ибо этотъ вопросъ можетъ быть рѣшаемъ только чрезъ сравненіе казеннаго воспитанія съ частнымъ, и оффиціально вызванныхъ произведеній мысли съ самородными.

Послѣ долгихъ размышленій и немалыхъ справокъ, я рѣшился избрать для своего труда среднюю мѣру, оставаясь вѣрнымъ идеѣ, которая лежитъ въ учрежденіи министерства народнаго просвѣщенія, и мало обращая вниманія на невыдержанность этой идеи въ практикѣ. Задача труда остается та же широкая: *прослѣдить участіе правительства въ распространеніи просвѣщенія.* Но при этомъ предполагаются два важныхъ ограниченія: изслѣдованіе должно ограничиться дѣйствіями правительства 1) только въ тѣхъ сферахъ просвѣщенія, которыя самимъ правительствомъ созданы, и 2) только тѣми дѣйствіями, которыя и по назначенію и по характеру были строго правительственными, слѣдовательно, не касаться тѣхъ случаевъ, гдѣ правительство ищетъ въ образованіи не общенародныхъ, а частныхъ цѣлей, или гдѣ оно само является не какъ правительство, а какъ предполагаемая или дѣйствительная общественная корпорація.

На этомъ основаніи я предположилъ себѣ:

1) Исходною точкою принять время Петра Великаго, такъ какъ отселѣ собственно идетъ правительственная иниціатива въ распространеніи просвѣщенія.

2) Изложить всю дѣятельность правительства (и притомъ не только административную, но и законодательную) по отношенію къ наукѣ, литературѣ и къ частному воспитанію.

3) Изложить высшую административную дѣятельность по отношенію ко всему казенному воспитанію безъ различія вѣдомствъ, и сверхъ того

4) Въ возможной полнотѣ прослѣдить ходъ самаго воспитанія или внутреннюю учебную жизнь во всѣхъ нынѣ существующихъ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія и во всѣхъ прежнихъ, которыя были ихъ непосредственными родоначальниками.

Внутренняя учебная жизнь заведеній, принадлежащихъ другимъ вѣдомствамъ, остается внѣ программы.

Во введеніи къ моему труду точка зрѣнія, принятая мною, будетъ раскрыта и оправдана подробно. Тамъ будетъ выяснено понятіе *о просвѣщеніи*, о различныхъ формахъ его проявленія, о различныхъ путяхъ, которыми оно распространяется и усиливается, и о томъ значеніи, съ которымъ выступаетъ оно въ исторіи народовъ, среди другихъ сферъ народной жизни. Отсюда выдѣлено будетъ понятіе *объ общественномъ воспитаніи*, какъ сосредоточенномъ дѣйствіи просвѣтительныхъ вліяній на духовныя силы. Указана будетъ потомъ мѣра участія, которая по праву принадлежитъ *правительству* въ охраненіи правильнаго развитія просвѣщенія, посредствомъ мѣръ законодательныхъ и административныхъ и путемъ прямого педагодическаго вліянія. Опредѣлены будутъ, затѣмъ, особенныя условія нашего историческаго развитія и та особенная роль въ распространеніи просвѣщенія, которая вслѣдствіе того выпала у насъ на долю правительства. Тамъ же будетъ выяснено между прочимъ и то, что самая эта неотчетливость формъ, въ которой проявляется у насъ опека надъ просвѣщеніемъ, самая эта перепутанность вѣдомствъ, кото-

рая затрудняетъ программу „исторіи министерства народнаго просвѣщенія“, есть явленіе исторически вѣрное, хотя безъ сомнѣнія и переходное.

Не предваряя подробностей будущаго изслѣдованія, я позволилъ себѣ здѣсь сдѣлать краткія на нихъ указанія для того, чтобы испросить у Вашего Высокопревосходительства разрѣшенія дѣйствовать по предначертанному плану, и чтобы представить, съ тѣмъ вмѣстѣ, необходимость, которую я буду имѣть въ разныхъ пособіяхъ, теперь для меня недоступныхъ.

Изъ представленныхъ предначертаній открывается, что смотря по различному роду предметовъ, которыхъ мнѣ придется касаться, нужны будутъ разнаго рода источники.

1) При изученіи общихъ отношеній правительства къ наукѣ, литературѣ, казенному и частному воспитанію, главнымъ источникомъ должно служить полное собраніе законовъ, а главнымъ пособіемъ архивъ министерства народнаго просвѣщенія. Впослѣдствіи (для второго періода „исторіи“) окажется нужнымъ доступъ къ архивамъ и другихъ вѣдомствъ. Впрочемъ нужда будетъ относиться только къ общимъ инструкціямъ, дѣйствовавшимъ въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и общимъ отчетамъ о ихъ состояніи.

2) Въ изслѣдованіяхъ о внутренней жизни заведеній министерства народнаго просвѣщенія нѣкоторымъ пособіемъ можетъ служить центральный архивъ министерства, а главными источниками: а) мѣстные архивы учебныхъ округовъ, а иногда, можетъ быть, и нѣкоторыхъ дирекцій; б) учебныя книги, которыя были принимаемы въ тѣхъ или другихъ заведеніяхъ, и сохранившіяся записки лекцій; в) устныя преданія и письменныя мемуары современниковъ. Кромѣ того важное, хотя и косвенное пособіе должна оказать иностранная педагогическая литература.

Всѣ исчисленные матеріалы потребуются, впрочемъ, не скоро; часть ихъ притомъ находится въ общемъ распоряженіи; воспользоваться другою частью будетъ зависѣть исключительно отъ меня; а остальная—въ распоряженіяхъ министерства. Но вотъ пособія, которыя понадобятся въ непродолжительномъ вре-

мени, и которыя между тѣмъ почти всѣ заключены въ архивахъ другихъ вѣдомствъ:

а) Свѣдѣнія о цифирныхъ школахъ, которыя, предполагаю, должны находиться въ *архивѣ синодальномъ*, такъ какъ эти школы заведены были Петромъ Великимъ при архіерейскихъ домахъ.

б) Дѣла объ учрежденіи Академіи Наукъ, которыя несомнѣнно находятся въ Московскомъ *Архивѣ Старыхъ Дѣлъ* (въ этомъ Архивѣ должны заключаться и многіе другіе матеріалы для исторіи просвѣщенія въ прошломъ столѣтіи).

в) Дѣла бывшей Академической гимназіи, которыя должны существовать въ *архивахъ Академіи Наукъ*.

г) Матеріалы для первоначальной исторіи Московскаго Университета въ московскомъ *университетскомъ архивѣ*.

Перечисляю только архивы наиболѣе важные. Если окажется впослѣдствіи надобность въ другихъ источникахъ, я буду имѣть честь докладывать объ этомъ въ свое время В. В—у.

Въ заключеніе считаю долгомъ выразить, что еслибъ, согласно высказанному В. В—омъ предположенію, назначены были въ помощь мнѣ особыя лица для предварительнаго отдѣленія важныхъ архивныхъ дѣлъ отъ неважныхъ, этимъ дѣло подвинулось бы впередъ весьма много. Цѣлая половина труда и времени требуется, чтобы приготовить еще архивныя дѣла до степени годныхъ историческихъ матеріаловъ, прежде чѣмъ возвести историческіе матеріалы на степень исторіи.

Кол. Сов. *Никита Гиляровъ-Платоновъ* *)

*) Рукою Головнина написано на запискѣ: «Прошу заготовить отношеніе съ просьбою о допущеніи Гилярова въ архивы». 24 сент. 1862 г.

О надписи на антиминсахъ.*)

Собраніе древнихъ антиминсовъ, хранящихся въ патріаршей ризницѣ, показываетъ, что при различіи изображеній, измѣнившихся съ теченіемъ времени, употребляемы были въ разныя времена на антиминсахъ и различныя надписанія.

*) Напечатано въ Алфавитномъ указателѣ къ собранію мнѣній и отзывовъ митр. Филарета, приложеніе (стр. 58—65). Представляя это изслѣдованіе митрополиту Филарету, Гиляровъ сопроводилъ его слѣдующимъ письмомъ отъ 17 окт. 1863 г.: «Изображенія на антиминсахъ, отъ частаго употребленія доски, которою они печатаются, стали выходить, въ послѣднее время, во многихъ частяхъ своихъ весьма неявственно. На семъ основаніи, Контора Московской Синодальной Типографіи, еще до поступленія моего на настоящую должность, входила въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, съ представленіемъ о необходимости изготовить для печатанія антиминсовъ новую доску. Хозяйственное управленіе въ отвѣтъ на сіе потребовало, чтобъ въ подтвержденіе представленія доставлены были ему на образецъ нѣсколько оттисковъ антиминса.

«Не приступая къ исполненію сего предписанія, я освидѣтельствовалъ доску и нашелъ, что кромѣ неспособности ея давать удовлетворительно отчетливыя изображенія, есть еще обстоятельство и гораздо болѣе важное, по которому замѣна прежней доски новою желательна. Дѣло идетъ о надписаніи, которое на антиминсахъ печатается вмѣстѣ съ изображеніемъ. Осмѣливаюсь полагать, что надписаніе сіе въ настоящихъ выраженіяхъ для антиминса неприлично.

«Для обстоятельнѣйшаго разъясненія сего вопроса, мною изслѣдованы были старые антиминсы, хранящіеся въ патріаршей ризницѣ. Свѣдѣнія, симъ изслѣдованіемъ доставленныя, и выводы изъ него извлеченные, представляются при семъ въ особой запискѣ на судъ Вашего Высокопреосвященства. Еслибы Вашему Высокопреосвященству благоугодно было мысль, съ которою составлена эта записка, подтвердить Вашимъ архипастырскимъ словомъ, Контора Московской Синодальной Типографіи, при представленіи образцовъ антиминса, могла бы войти въ Хозяйственное Управленіе съ дополнительнымъ представленіемъ о необходимости не только возобновить, но и измѣнить доску.

«Долгомъ считаю при семъ присовокупить, что обратиться по сему вопросу за указаніями къ Вашему Высокопреосвященству мнѣ словесно дозволено Его Превосходительствомъ, господиномъ Оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Синода.»

1) На древнѣйшихъ антиминсахъ имѣются по краямъ надписи, въ родѣ слѣдующей: „лѣта 7084, мѣсяца.... *) въ 24 день, освятися храмъ во имя великія Христовы мученицы Параскевы, нарицаемой Пятницы, на память рождества Іоанна Предтечи, при благовѣрномъ царѣ и великомъ князѣ Иванѣ, при архіепископѣ Антоніи, при епископѣ Леонидѣ рязанскомъ и муромскомъ.“ Такая надпись читается именно на антиминсѣ подъ № 1 **), и подобная ей значится на антиминсахъ № 2 (7090 г.), №№ 3 и 4 (7125), № 5 (7142 г.) и № 6 (7155 г.). Всѣ онѣ начинаются указаніемъ года, мѣсяца и числа, когда освященъ храмъ, затѣмъ означается, въ честь какого святаго храмъ освященъ, и какого святаго память приходится на день освященія; наконецъ, упоминается, при какомъ царѣ и при какомъ іерархѣ освященіе совершено. Разница между надписаніями только та, что въ нѣкоторыхъ къ означенію года присоединяется еще означеніе индикта; въ нѣкоторыхъ, вмѣсто „освятися храмъ“ читается „освятися алтарь“, въ иныхъ означеніе памяти святаго празднуемаго предшествуетъ имени святаго, въ честь котораго устроенъ храмъ, или имя іерарха предшествуетъ имени царя; и, наконецъ, въ одномъ упомянуто не только при какомъ іерархѣ, но и кѣмъ именно освященъ храмъ. Общій однако порядокъ и общій смыслъ надписаній во всѣхъ антиминсахъ одинъ и тотъ же, и, что важно, во всѣхъ царствованіе, современное освященію храма, означается простою формулою: „при такомъ-то царѣ.“

2) Относящійся ко времени царя Ѳеодора Іоанновича антиминсъ, подъ № 11, представляетъ надписаніе нѣсколько видоизмѣненное. Начало совершенно подобно предыдущимъ; но въ концѣ читается слѣдующее: „при державѣ царя и государя великаго князя Ѳедора Ивановича всея Русіи, и при архіепископѣ

*) Названіе мѣсяца прочесть нельзя, но очевидно слѣдуетъ читать: «іюня».

**) Сей антиминсъ, равно какъ и большая часть другихъ, упоминаемыхъ въ настоящей запискѣ, перешли въ ризницу изъ Оружейной Палаты и №№, подъ которыми они здѣсь приводятся, суть №№ передаточной описи. Антиминсы, издревле принадлежащіе ризницѣ, будутъ приводимы подъ нумераціей описи ризничной, но, дабы не смѣшать двухъ различныхъ нумерацій, сіи антиминсы будутъ обозначаться буквою Р.

Захаріи Тферскомъ и Кашинскомъ, подвигомъ и замышленіемъ раба божія Якова Андреева сына Быкасова". Здѣсь замѣчательно, во первыхъ, употребленіе выраженія „при державѣ", и во вторыхъ, присоединеніе упоминанія, на чье иждивеніе построенъ храмъ.

3) Еще измѣненная надпись (№ 15): „освятися олтарь Господа Бога нашего Іисуса Христа въ церкви усѣкновеніе честная глава честнаго и славнаго и предтечи крестителя Господня Іоанна Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. Священа бысть сія церковь въ лѣто 7139, мая 1 число, на память святаго Пророка Іеремѣя, при благовѣрномъ царѣ и великомъ князѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ всея Русіи и преосвященномъ Матѳеѣ, митрополитѣ Казанскомъ и Свіяжскомъ." *Олтарь* въ семъ надписаніи отличается отъ *церкви*. Тотъ же оборотъ рѣчи употребленъ на антиминсахъ № 5 Р. (7153 г.), № 15 (7154 г.) и № 8 (7160 г.).

4) На антиминсахъ, относящихся къ временамъ послѣднихъ патріарховъ, начиная съ Никона, являются надписи, составленныя совершенно по новому образцу, болѣе пространныя, чѣмъ прежнія, и существенно отличающіяся отъ нихъ своимъ смысломъ. Надпись говоритъ не объ освященіи церкви, а объ освященіи антиминса, и притомъ не ограничивается простымъ историческимъ указаніемъ. Она даетъ, прежде всего, догматическое объясненіе, что св. трапеза освящается благодатію Духа Божія; указываетъ, потомъ, на самое назначеніе антиминса; говоритъ далѣе, кѣмъ изъ Іерарховъ онъ священнодѣйствованъ; наконецъ уже, въ видѣ особой рѣчи, упоминаетъ о томъ, въ чье царствованіе совершено это священнодѣйствіе. Вотъ въ полномъ видѣ одна изъ подобныхъ надписей (№ 8 Р.): „Жертвенникъ божественный и священный совершися чрезъ самое божественное священнодѣйствіе; освященъ божественною благодатію всесвятаго и животворящаго Духа. Имѣетъ власть священнодѣйствовати во храмѣ святыя великомученицы Екатерины, иже у великаго государя на сѣнехъ. Священнодѣйствованъ великимъ господиномъ Киръ Іоакимомъ патріархомъ Московскимъ и всея Россіи. Сіе же бысть при державѣ благочестивѣйшаго великаго

государя царя и великаго князя Ѳеодора Алексѣевича всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца, лѣта міросданія 7187, индикта 2, мѣсяца Августа въ... день.“ Точно такія же надписи читаются на антиминсѣ временъ патріарха Адріана (№ 13, 1690 г.) и на антиминсахъ временъ между патріаршествомъ № 10 Р. (1700 г.) и № 17 Р. (1705 г.). Заслуживаютъ вниманія относительно сихъ надписей два обстоятельства: первое—то, что назначеніе антиминса выражено въ нихъ темнымъ, можно сказать даже—прямо неправильнымъ оборотомъ рѣчи: „имѣетъ власть священнодѣйствовать во храмѣ.“ Второе—то, что образецъ, по которому сіи надписи составлены, утвердился мало по малу. Доказательство сему представляютъ хранящіеся въ ризницѣ два антиминса, принадлежащіе временамъ Никона. На одномъ изъ нихъ, относящемся къ 1655 году (№ 6 Р.), формула надписи уже не прежняя, и приближающаяся къ той, которую находимъ на Іоакимовскомъ антиминсѣ, однако еще не вполнѣ такая же; а именно, на немъ написано слѣдующее: „жертвенникъ божественный и священный, еже совершатися имъ божественнымъ священнодѣйствіемъ, освященъ отъ божественныя благодати пресвятаго и живоначальнаго Духа; имать власть еже священнодѣйствовати на всякомъ мѣстѣ владычества Христа Бога нашего“ и проч. Между тѣмъ, другой антиминсъ (№ 7 Р.), и притомъ годомъ позднѣйшій, имѣетъ краткую надпись, совершенно въ родѣ древнихъ: „освятися олтарь Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа въ церкви святаго апостола Филиппа и святаго Филиппа Митрополита, лѣта отъ созданія міра 7164, индикта 9, а отъ воплощенія Божія Слова 1656, мѣсяца Декабря въ 22 день, при благовѣрномъ государѣ царѣ“ и проч.

5) Ту же самую мысль, какую читаемъ въ вышеприведенной надписи Іоакимовскаго антиминса, и почти въ томъ же самомъ порядкѣ, но въ другихъ выраженіяхъ и съ бо́льшею правильностію, излагаютъ надписи на относящихся къ XVII столѣтію антиминсахъ западно-русской Церкви. Въ видѣ образца можетъ быть представлена надпись на антиминсѣ № 1 Р.: „божественный и священный алтарь Господа Бога и Спаса нашего

Іисуса Христа освященъ благодатію всесвятаго и животворящаго Духа; рукодѣйствованъ и благословенъ преосвященнымъ отъ Востока, благословеннымъ архіепископомъ Іоакимомъ Селистрескимъ, при державѣ великаго Короля польскаго Жикгимонта третьяго, въ лѣто бытія міра 7128, а отъ Рождества Христова 1621, мѣсяца Іюня 12 дня; во еже священнодѣйствовати и совершати на немъ божественную литургію во храмѣ благовѣщенія Пречистой Богородицы честнаго и славнаго Ея благовѣщенія, въ городѣ Рославлѣ, въ повѣтѣ Смоленскомъ." И затѣмъ собственноручная надпись архіерея. Подобное читается на антиминсахъ, № 2 Р. (1622 г.), № 3 Р. (1626 г.) и № 4 Р. (1645 г.). Заслуживающая упоминанія разница въ надписаніяхъ сихъ антиминсовъ заключается въ томъ, что на нѣкоторыхъ, послѣ словъ: „во еже священнодѣйствовати и совершати на немъ божественную литургію", не указывается опредѣленная церковь, а дается, какъ на антиминсѣ Никоновскомъ 1656 г., общее дозволеніе священнодѣйствовать „на всякомъ мѣстѣ владычествія Господня."

6) Антиминсы конца XVII и начала XVIII столѣтія вообще замѣчательны колеблющимся разнообразіемъ надписаній. Судя по тому, что надпись, приведенная выше по антиминсу Іоакимовскому, повторяется на антиминсахъ временъ Адріана и даже временъ между патріаршествомъ, можно было бы ожидать, что эта надпись была общепринятою въ тогдашнія времена во всей Россіи. Однако, есть даже изъ временъ между патріаршествомъ антиминсъ (Кіевскій № 9, 1700 г.), на которомъ надпись составлена по образцу юго-западному. Съ другой стороны, еще при патріаршествѣ Адріана начинаетъ являться отступленіе отъ принятой Московской формы, и именно, чего не было прежде, въ надписаніяхъ начинаетъ употребляться самое слово антиминсъ. № 9 Р.: „Сій антиминсъ, сіе есть трапеза священная на приношеніе безкровныя жертвы въ божественной литургіи, освятися благодатію пресвятаго и животворящаго Духа. Сего ради имѣетъ власть священнодѣйствовати во храмѣ великія церкви Успенія Пресвятыя Богородицы. Священнодѣйствовалъ же его великій господинъ Святѣйшій Кyръ Адріанъ архіепископъ

Московскій и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріархъ, во дни благочестивыя державы великихъ Государей царей“ и проч. Подобное читается на антиминсѣ № 230 (1714 г.); разница лишь та, что, вмѣсто словъ „во дни благочестивыя державы“, читается обычное: „сіе же бысть при державѣ.“

7) Съ учрежденіемъ Святѣйшаго Синода входитъ въ надписанія антиминсовъ добавленіе: „благословеніемъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода“, но царствованіе означается еще безъ указанія на *повелѣніе*. Даже изъ временъ Анны Іоанновны есть антиминсъ (№ 10) съ слѣдующимъ надписаніемъ: „божественный антиминсъ, сіе есть трапеза священная Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. Освятися благодатію пресвятаго и животворящаго Духа, благословеніемъ же Святѣйшаго Правительствующаго Синода. Рукодѣйствованъ и благословленъ Православнымъ милостію Божіею Архіепископомъ Кіевскимъ и Галицкимъ Варлаамомъ. Содержащей благополучнѣ скипетръ Всероссійскія державы благочестивѣйшей Государынѣ нашей Аннѣ Іоанновнѣ Императрицѣ и Самодержицѣ Всероссійской. Въ лѣто отъ созданія міра 7238, отъ Рождества Христова 1730, мѣсяца Марта дня 1. Во еже на немъ священнодѣйствовати божественную литургію во храмѣ“.

8) Изъ хранящихся въ ризницѣ антиминсовъ первый, на которомъ, при означеніи царствованія, употреблено обычное нынѣ выраженіе „повелѣніемъ“, относится ко временамъ Петра II. Однако замѣчательно, что и здѣсь слова: „священнодѣйствованъ преосвященнымъ....“ поставлены прежде упоминанія о царствованіи; это доказываетъ, что царствованіе означается все еще съ единственною цѣлію дать простое лѣточисленное указаніе, хотя и употребляется не соотвѣтственный сему оборотъ рѣчи (№ 11 Р.): „сій антиминсъ, сіесть трапеза священная на приношеніе безкровныя жертвы въ божественной литургіи, освятися благодатію пресвятаго и животворящаго Духа. Сего ради имѣетъ власть священнодѣйствовати во храмѣ. Священнодѣйствованъ преосвященнымъ Игнатіемъ Коломенскимъ и Каширскимъ. Повелѣніемъ же благочестивѣйшаго государя нашего

Петра Алексіевича Втораго, Императора и Самодержца Всероссійскаго и благословеніемъ Святѣйшаго Правительствующаго Всероссійскаго Синода, лѣто міросданія 7236, отъ Рождества Христова 1728, индикта 5, мѣсяца Марта въ 31 день." Подобное сему читается на антиминсѣ временъ Анны Іоанновны (№ 12 Р.). Но на антиминсѣ съ именемъ Іоанна Антоновича (№ 13 Р.) слова „священнодѣйствованъ" и проч. читаются уже послѣ упоминанія о царскомъ повелѣніи и о благословеніи Синода.

Эта послѣдняя форма сохранилась, какъ извѣстно, и до настоящаго времени. Измѣненія, которыя потерпѣла она, касаются только начала надписи. А именно, въ верхней своей половинѣ надпись гласитъ нынѣ такъ: „сей антиминсъ, сіесть трапеза священная на приношеніе безкровныя жертвы въ божественной литургіи, освятися благодатію пресвятаго Духа; сего ради преподается власть священнодѣйствовати на немъ (вмѣсто прежняго *имѣетъ* власть священнодѣйствовати) во храмѣ." Затѣмъ, внизу: „повелѣніемъ Благочестивѣйшаго, Самодержавнѣйшаго Великаго Государя нашего Императора Александра Николаевича всея Россіи, благословеніемъ же Святѣйшаго Правительствующаго Синода, священнодѣйствованъ преосвященнымъ...."

Все вышеизложенное даетъ мѣсто слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Надписанія на антиминсахъ по существу своему не суть что-либо неизмѣнное, и никогда самымъ дѣломъ за таковыя не признавались: напротивъ, въ продолженіи безъ малаго трехъ сотъ лѣтъ, подвергались время отъ времени разнообразнымъ измѣненіямъ.

2) Въ частности, надписаніе, нынѣ употребительное, весьма не древне по своему происхожденію.

3) Оно не было утверждено никакимъ законодательнымъ актомъ. Иначе, въ царствованіе Анны Іоанновны не могли бы выдаваться антиминсы съ надписаніемъ по старой формѣ, когда новая форма была въ употребленіи еще въ царствованіе Петра Втораго. *

*) Гадательно можно объяснить даже, какимъ образомъ надпись на антиминсахъ сложилась въ выраженія, нынѣ въ ней употребляемыя. Начало надписи, именно верхнее надписаніе, за малыми измѣненіями и исправленіями, сохраняетъ

Слѣдовательно, измѣнить надпись на антиминсахъ дозволительно, и для сего не требуется никакого законодательнаго дѣйствія.

Но нужно ли сіе измѣненіе, и представляетъ-ли оно такую важность, чтобы стоило о немъ заботиться?

Отвѣтомъ на сіе служатъ слѣдующія соображенія:

1) Во первыхъ, должно сказать о выраженіи: „повелѣніемъ благочестивѣйшаго, самодержавнѣйшаго великаго государя нашего имярекъ, благословеніемъ же Святѣйшаго Правительствующаго Синода священнодѣйствованъ....“

а) Если симъ означается то, что выдача антиминсовъ, какъ всякое вообще дѣйствіе духовныхъ начальствъ, происходитъ не безъ дозволенія и подъ покровительствомъ Верховной Власти, то выраженіе, во всякомъ случаѣ, не соотвѣтствуетъ своей мысли.

б) Слово „повелѣніемъ“ есть славянскій переводъ принятаго въ судахъ выраженія „по указу“. Оно означаетъ высшую власть, отъ которой совершаемое дѣйствіе получаетъ свою силу. Но священнодѣйствіе пріемлетъ силу отъ благодати Божіей, отъ Власти Небесной, а не земной.

в) Трудно оспорить иновѣрца, когда онъ представитъ надпись на антиминсахъ въ доказательство мнѣнія, что въ русской церкви есть видимое главенство, и трудно убѣдить его, что это

тѣ же выраженія, какія приняты были во времена послѣднихъ патріарховъ. За симъ, по первоначальному образцу, должно было слѣдовать имя патріарха, освящавшаго антиминсъ. Но патріаршество уничтожено и мѣсто его заступилъ Св. Синодъ. На мѣсто имени патріарха стали ставить, какъ и слѣдуетъ, имя архіерея, освящавшаго антиминсъ; но найдено неприличнымъ не упомянуть въ то же время и о высшей духовной власти, которая заступила мѣсто патріарха. Въ какихъ выраженіяхъ упомянуть о ней? При означеніи всѣхъ дѣйствій, въ предѣлахъ духовной власти совершаемыхъ, принято выраженіе: «благословеніемъ Св. Синода.» Форма эта принята на антиминсъ; но какъ скоро принята она относительно Синода, чувство соотвѣтствія потребовало, чтобы и относительно царской власти употреблено было выраженіе, которое бы указывало на ея властительное значеніе. И вотъ на антиминсахъ явилась та же самая формула, какая принята на печатныхъ церковныхъ книгахъ: повелѣніемъ Государя и благословеніемъ Святѣйшаго... Синода.

есть случайное, не имѣющее важности перенесеніе канцелярской формулы на предметъ священный.

г) Немалымъ эта надпись служитъ соблазномъ для раскольниковъ, а также и для тѣхъ изъ православныхъ, которые неспособны тонко различать случайное и неважное въ церковныхъ вещахъ отъ необходимаго и существеннаго.

д) На ставленыхъ грамотахъ архіерей надписываетъ свое имя, вслѣдъ за словами: „Божіею милостію“, безъ всякаго упоминанія о царскомъ повелѣніи и о благословеніи Синода: почему невозможно обойтись безъ сего упоминанія въ антиминсѣ, освященіе котораго есть дѣйствіе, столь же исключительно принадлежащее самоличной власти архіерея, какъ и самое рукоположеніе?

2) Нельзя не возразить и противъ начальной надписи, и именно противъ выраженія: „сего ради преподается власть священнодѣйствовати на немъ во храмѣ“. Первоначально, какъ видно изъ вышеприведенныхъ примѣровъ, надпись въ этомъ мѣстѣ гласила такъ: „имѣетъ власть священнодѣйствовать во храмѣ“. Если слова „имѣетъ власть“ относить къ подразумѣваемому священному лицу, выраженіе будетъ явнымъ нарушеніемъ грамматическаго смысла. Если, сообразно съ грамматикой, относить сіе выраженіе къ антиминсу, этимъ данъ будетъ поводъ къ странному мнѣнію, будто сила священнодѣйствующая заключена въ самомъ веществѣ антиминса, а не въ благодати Божіей, тайнодѣйствующей чрезъ священнослужащія лица. Повидимому, во избѣжаніе сихъ несообразностей, слова: „имѣетъ власть священнодѣйствовати“, замѣнены впослѣдствіи словами: „преподаетъ власть священнодѣйствовати на немъ“, но и при этой замѣнѣ рѣчь въ семъ мѣстѣ, какъ можно видѣть, не достигаетъ еще ясности и правильности вполнѣ безукоризненныхъ.

Въ заключеніе должно замѣтить, что изъ всѣхъ разнообразныхъ надписаній, какія встрѣчаются на старыхъ антиминсахъ, тѣ изъ нихъ, которыя читаются на антиминсахъ югозападныхъ церквей, конца XVII и начала XVIII столѣтія, суть наиболѣе

правильныя, точно соотвѣствующія своему смыслу и нисколько недающія поводовъ къ соблазнамъ*).

*) Ознакомившись съ изслѣдованіемъ Гилярова, митрополитъ Филаретъ нашелъ вопросъ столь важнымъ, что счелъ долгомъ представить Св. Синоду свои соображенія о необходимости измѣненія надписи на антиминсахъ. Извѣщая о семъ Гилярова, Владыка писалъ ему отъ 24 декабря 1863 г.: Милостивый Государь Никита Петровичъ! Въ отвѣтъ на отношеніе Ваше отъ 17 дня сего октября (№ 2) выписываю часть донесенія моего Святѣйшему Синоду, отъ 23 октября № 101.

«Должно отдать справедливость заботливости г. Управляющаго Синодальною Типографіею о возможномъ совершенствѣ сего церковнаго предмета не только въ матеріальномъ или искуственномъ отношеніи, но и въ отношеніи къ высшимъ соображеніямъ. Есть потребность воззрѣнія на сей предметъ даже съ догматической точки зрѣнія. Принимая въ разсужденіе, что вопросъ о содержаніи и формѣ надписей на антиминсахъ требуетъ не церковно-хозяйственнаго, но церковно-іерархическаго разсмотрѣнія, долгомъ поставляю записку г. Управляющаго представить на благоусмотрѣніе Святѣйшаго Синода, дополняя оную моими соображеніями.»

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ истиннымъ почтеніемъ пребываю Вашего Высокоблагородія покорный слуга Филаретъ м. Московскій.

Согласно представленію Митрополита Филарета, состоялось слѣдующее опредѣленіе Св. Синода $\frac{9 \text{ марта}}{14 \text{ апрѣля}}$ 1864 г. «1) Поручить Хозяйственному Управленію при Св. Синодѣ, чтобы сдѣлало распоряженіе объ изготовленіи новой стальной доски для печатанія антиминсовъ, съ отнесеніемъ потребнаго на это расхода, примѣрно до тысячи руб. серебр., на счетъ типографскаго капитала, по рисунку, утвержденному, по опредѣленію Св. Синода 21—28 сентября 1855 года, но съ тѣмъ: а) чтобы вверху антиминса надъ крестомъ, гдѣ изображены были Господь Саваоѳъ и исходящій отъ Него Святый Духъ, сдѣлано было одно только сіяніе; б) чтобы въ украшеніяхъ по боковымъ сторонамъ рисунка не было изображено съ правой стороны: пѣтуха—вверху столпа и умывальницы—у подножія столпа, а съ лѣвой стороны лѣстницы; для надлежащей же симметріи фигуръ, изображеніе терноваго вѣнца перенесено было съ правой стороны столпа на лѣвую, на мѣсто—гдѣ изображалась умывальница; и в) чтобы надпись выгравирована была въ слѣдующемъ видѣ: Въ верхней части антиминса: «Благодатію пресвятаго и животворящаго Духа освятися сей антиминсъ, еже есть священная трапеза, ради приношенія на немъ божественныя жертвы тѣла и крови Господни во святой литургіи». Въ нижней части антиминса: «При державѣ Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Великаго Государя Императора Александра Николаевича всея Россіи, по благословенію Святѣйшаго Правительствующаго Синода, священнодѣйствованъ преосвященнымъ .... лѣта отъ созданія міра . . . отъ Рождества же Христова .... преподанъ для священнодѣйствія въ храмѣ .... и 2) давъ знать о семъ опредѣленіи Св. Синода преосвященному Митрополиту Московскому, объявить ему, за труды его по настоящему дѣлу, признательность Св. Синода, а Управляющему Московскою Синодальною Типографіею Гилярову-Платонову, за составленныя имъ изысканія объ антиминсахъ, предоставить объявить благодарность Св. Синода г. Синодальному Оберъ-Прокурору.» (Алфавитный указатель къ собранію мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго... Приложеніе. Стр. 64—65).

Откуда нигилизмъ?*)

I.

Вотъ о чемъ между прочимъ у васъ въ „Руси“ разсуждаютъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ: откуда нигилизмъ? При всемъ уваженіи моемъ къ Н. Я. Данилевскому, я не ожидаю, чтобы онъ подошелъ къ правильному отвѣту. Вопросъ въ самомъ основаніи невѣрно поставленъ.

О какомъ нигилизмѣ идетъ рѣчь, теоретическомъ или практическомъ? Теоретическаго нигилизма нѣтъ. Все, что вы-

*) *Русь* 1884 г. № 24. Получивъ первое письмо Гиляровa о нигилизмѣ, И. С. Аксаковъ писалъ Никитѣ Петровичу отъ 26 ноября 1884 г.: «Ваша статейка—эта алансонскіе тончайшіе кружева, и какъ вы хотите, чтобы я этой многоцѣнной кружевной работѣ мысли, къ которой не знаю человѣка способнѣе васъ, не далъ мѣста.... Но вотъ что? Статья ваша возбудитъ множество недоумѣній, пожалуй нареканій. Скажутъ, что вы и Бога и Христа отвели въ разрядъ субъективныхъ «предразсудковъ» и т. п. Необходимо вамъ сдѣлать какую-нибудь оговорку—для области Вѣры, поставить ее въ перспективѣ или надъ всей этой мукомольной работой человѣческаго духа. Иначе статья ваша совсѣмъ не полна. Возбуждая вопросъ, она описываетъ состояніе мысли и духа, но не даетъ отвѣта, а многихъ совсѣмъ смутитъ или приведетъ въ отчаяніе, осуждая будто бы на роковую безсознательность, непроизвольность темныхъ представленій: съ этимъ мириться нельзя,—да и не слѣдуетъ, а нуженъ свѣтъ Вѣры, конечно, не упрятываемый ни въ какую логическую доктрину. Я знаю, что этого касаться значило бы писать цѣлый трактатъ, но вы можете въ двухъ-трехъ страницахъ указать на это въ заключеніе. Редакторъ долженъ вѣдь всегда становиться въ положеніе читателя».

Вслѣдствіе этого письма Аксакова, Гиляровъ написалъ второе письмо, которое и было напечатано въ *Руси* вмѣстѣ съ первымъ подъ общимъ заглавіемъ «Откуда нигилизмъ».

дается за нигилистическое исповѣданіе, есть заемное умствованіе, готовыя положенія, въ сыромъ и отрывочномъ видѣ понадерганныя изъ книгъ нѣмецкихъ, французскихъ, англійскихъ, книгъ притомъ вышедшихъ изъ разныхъ школъ; Фейербахъ, Бюхнеръ, Лассаль, Контъ, Боккль, Дарвинъ, Секки,—вали все въ одну кучу! А Секки или Дарвинъ, даже Бюхнеръ, развѣ нигилисты? И между Секки и Бюхнеромъ развѣ есть какое-нибудь родство? Единственный русскій нигилистъ-теоретикъ былъ Бакунинъ. Это голова систематическая, и то, что̀ принадлежитъ, ему и принадлежитъ, и то, что̀ прошло чрезъ его голову и вышло, вышло въ самостоятельномъ, переработанномъ, стройномъ видѣ. Но Бакунинъ не есть родоначальникъ нигилизма; велика ли, мала ли его школа, ее правильно будетъ назвать Бакунинскою, а не нигилистическою; Бакунинъ есть только одно изъ выраженій нигилизма.

Слѣдовательно, можно говорить только о практическомъ нигилизмѣ. А г. Данилевскій обращается къ теоріи и вѣритъ на слово г. К. Толстому, что есть положительная вѣра нигилизма, укладывающаяся въ опредѣленный символъ. Представляется такъ, что ходитъ какой-нибудь апостолъ и проповѣдуетъ: „нѣтъ Бога, люди должны жить для своего счастья, а потому“ и проч. Вмѣсто апостола, изустно проповѣдующаго, поставимъ книгу: все равно. А этого-то нѣтъ и не было. Практическій нигилизмъ подкладываетъ себѣ теоретическія основанія, удовлетворяя потребности найти смыслъ. Не спорю, г. К. Толстому самому представляется, что когда онъ былъ въ нигилистическомъ станѣ, то началось съ признанія извѣстныхъ общихъ положеній; но если внимательно онъ изслѣдуетъ психологическую исторію своего обращенія въ секту, онъ убѣдится, что на дѣлѣ происходило иначе; его двинули извѣстныя бытовыя *причины,* а не теоретическія *основанія.* Впрочемъ изъ собственнаго его разсказа мы можемъ объ этомъ заключить. Да таково бываетъ всякое обращеніе въ секту; таково всегда бываетъ самое происхожденіе сектъ. Сектантъ воображаетъ, что онъ вступилъ въ другое общество, потому что увѣровалъ его

символу, тогда какъ, наоборотъ, онъ принялъ символъ потому, что присоединился къ обществу, а присоединился вслѣдствіе причинъ часто даже несознанныхъ. Ему оно по душѣ, потому что не по душѣ другое, въ которомъ онъ стоялъ. Этотъ отрицательный моментъ есть первое, съ чего нарождается секта и чѣмъ привлекается сектантъ; символъ, опознаваніе себя, систематизированіе своихъ отличительностей начинается впослѣдствіи.

Замѣтьте особенность нигилизма въ этомъ отношеніи: за теоретическими основаніями онъ побирается по чужимъ землямъ, и притомъ не разбирая происхожденія и не безпокоясь о томъ, что каждое изъ ученій, имъ облюбовываемыхъ, есть продуктъ своей соціальной и духовной исторіи; вотъ сукно, вотъ нанка, вотъ тафта, шей хоть бы и лоскутное платье, только чтобы не было пеньки. Не такъ поступалъ Лютеръ, не то видимъ въ старообрядцахъ, духоборцахъ, воздыханцахъ, въ комъ хотите. Что слѣдуетъ изъ этого побирошества? Въ переводѣ на философскій языкъ это значитъ, что у нигилизма нѣтъ своихъ идеаловъ; короче сказать—нѣтъ вовсе идеаловъ, онъ желаетъ ими обзавестись, ищетъ ихъ, чувствуетъ потребность украсить себя смысломъ, подъ однимъ условіемъ, лишь бы то не были правила, которыми живетъ окружающее общество и которыя ему противны. А когда такъ, онъ есть патологическое явленіе, и притомъ въ обоихъ смыслахъ, общественномъ и личномъ. Въ общественномъ смыслѣ это есть непроизвольное изверженіе организма (извините за выраженіе), а въ личномъ—душевная болѣзнь, разладица нервовъ, болѣзнь притомъ не умственная, а нравственная, болѣзнь воли, съ которою умъ не справится и къ которой привело не извращенное мышленіе, а наоборотъ—которая разстраиваетъ мысль. Съ другой стороны, нигилизмъ есть показатель болѣзни самого общества: общество лишено духовнаго чадородія, не способно вдохновлять, дать матеріалъ для идеаловъ.

Это есть точка зрѣнія единственная, съ которой можетъ быть правильно обсуживаемъ нигилизмъ, нашедшій себѣ крайнее выраженіе въ Бакунинѣ; въ Бакунинѣ разстройство воли дошло

до послѣдей точки, до бѣшенства, подчинивъ себѣ и умъ, точнѣе сказать—сопровождаясь ложнымъ сознаніемъ, которое въ сущности есть лишеніе сознанія, отреченіе отъ мысли. Долой все, общество, науку, вѣру, государство, искуство, все, все; разрушай, взрывай на воздухъ, чтобы ничего не осталось, а тамъ будь что будетъ; новое человѣчество устроится на новыхъ основахъ. Не правда ли, какъ это мило: мессіанская вѣра въ пустое мѣсто; отчаяніе, порывающееся все изгрызть и изорвать, а на счетъ дальнѣйшаго довольствующееся мистическимъ: „будетъ же что-нибудь!“ А что будетъ, и будетъ ли лучше, и изъ чего быть?

Всякій нигилистъ есть только не дойденный Бакунинъ. Творческаго, зиждительнаго—ничего; мысль отсутствующая, а воля озлобленная. Послѣднее обстоятельство самое существенное. Нигилизмъ есть возмущеніе воли русскаго человѣка. Возмущеніе противъ чего? Противъ строя общественнаго вообще, противъ дисциплины, противъ формы скажу ближе. Разберемъ этотъ психическій процессъ; вѣдь онъ у всѣхъ насъ на виду, у тѣхъ по крайней мѣрѣ, кто помнитъ сороковые годы и оттолѣ не переставалъ слѣдить за общественнымъ теченіемъ. Съ кого бы начать? Ну, хоть со стриженыхъ барышенъ. Ей противно лицемѣріе семьи, ханжество отца, двуличіе матери, держащейся на людяхъ и въ гостиной такъ, а у себя и въ людской иначе; ей тошно видѣть себя обязанною выряживаться, танцовать, пѣть и бренчать, занимать гостей съ единственною цѣлію найти партію и потомъ повторять жизнь матери. Ей тяжела зависимость при этихъ условіяхъ. А она училась кое-чему. Подвертывается кстати молодой человѣкъ съ фразами о правахъ и трудѣ. „Хочу жить своимъ трудомъ! Хотя бѣдна, но независима и искренна. Прочь оковы, прочь приличія, долой лицемѣріе! Долой и косу; расческа ея отнимаетъ у труда время!“ А тамъ уже свободная любовь и далѣе всѣ послѣдствія разнузданной воли, которой однако надобно же оправдать себя, и для этого берутся книжки. Есть книжки такія, которыми все можно оправдать, даже убійство и отравленіе.

А вотъ семинаристъ, вотъ техникъ, вотъ студентъ университета. Общія мѣста богословскихъ учебниковъ, притертыя и приношенныя до утраты смысла, монашеская дисциплина съ аскетическимъ идеаломъ, которому однако сами проповѣдники не слѣдуютъ. Лицемѣріе, которое однако угнетательно принуждаетъ слѣдовать своему примѣру. А здѣсь лицемѣріе другого рода: лицемѣріе патріотизма и гражданскихъ обязанностей, сопровождаемое низкопоклонствомъ и взяточничествомъ, продажею дочерниной и женниной чести сластолюбивому начальнику, торговля правосудіемъ, печать и слово стѣсненныя. Молодой человѣкъ перестаетъ всему вѣрить, на чемъ лежитъ оффиціальное клеймо, вездѣ предполагаетъ лицемѣріе и обманъ. А здѣсь кулачество съ угнетеннымъ крестьяниномъ на одной сторонѣ и Титомъ Титовичемъ на другой сторонѣ.

Между прочимъ обращаю вниманіе на это нарицательное Титъ Титычъ; такихъ много, и къ нему, напримѣръ, принадлежитъ Іудушка и „постное масло“. Стоитъ кому-нибудь не игнорировать религіи, онъ отзывается „постнымъ масломъ“, и приговоръ готовъ; а въ другой книгѣ или въ другой рѣчи слышится Титъ Титычъ и „сытый буржуа“. Молодой человѣкъ предполагаетъ въ окружающихъ сознательную ложь и обманъ, а если не ложь, то „слѣпоту, неотрѣшившуюся отъ предразсудковъ“.

Произнеся слово „предразсудокъ“, мы тронули исходную точку теоретическихъ построеній, слѣдующихъ за практическимъ недовольствомъ, точнѣе—исходную точку заимствованій нигилизма. „Если кругомъ предразсудокъ, то гдѣ же истина и гдѣ должный порядокъ?“

Вотъ начало нигилизма. Только слѣпой могъ не видѣть его роста. Бездушіе, лицемѣріе, царство формы, съ административнымъ и общественнымъ развратомъ,—вотъ откуда онъ отпрыснулъ. Итакъ, куда же дѣваться волѣ, честно возмущенной? На чемъ успокоится умъ, основательно недоумѣвающій? Какія формы и какая пища для нихъ припасена? Однимъ словомъ, гдѣ наука и гдѣ правильная свобода?

Возмущенная воля и растревоженный умъ не находятъ успокоенія и бросаются за границу, а тамъ есть также движеніе озлобленной воли и отрицающаго ума. То и другое тамъ назвало себя по имени: соціализмъ и матеріализмъ. Общежитіе поворачивается тамъ на оси, усматриваетъ источникъ рабства въ безусловной личной свободѣ, провозглашенной Адамомъ Смитомъ въ одной сферѣ, „великой революціей“—въ другой. Наука совершаетъ обычное отклоненіе по вѣчной эклиптикѣ, отъ идеализма къ матеріализму и наоборотъ; на сей разъ она движется въ матеріалистическую, сенсуалистическую, эмпирическую сторону. „Такъ вотъ она гдѣ, истина!“. Отсюда—Фейербахъ и Бюхнеръ, Контъ, Лассаль и Марксъ, и цѣлая серія естествоиспытателей. Но тамъ мыслители и изслѣдователи возбуждены не озлобленіемъ противъ общественнаго строя; озлобленный же пролетаріатъ не по наукѣ ненавидитъ поповъ, а потому, что они, наравнѣ съ буржуа, отнимаютъ у него хлѣбъ, и за это онъ винитъ саму религію, которой духовенство состоитъ проповѣдникомъ. Нашъ же озлобленный, присаживаясь въ братья къ пролетарію, вводитъ не справляясь въ родню къ себѣ и мыслителей. Если же знаменитый мыслитель слишкомъ ясно выражаетъ свое нежеланіе, его принуждаютъ. Секки *О единствѣ силъ* у насъ издано въ переводѣ. Переводчикъ выпустилъ изъ книги цѣлый трактатъ, объяснивъ откровенно, что урѣзанныя страницы написаны знаменитымъ авторомъ не по убѣжденію, а по неволѣ: онъ-де аббатъ и долженъ притворяться вѣрующимъ. Мы не стѣсняемся объявлять, что кроется въ душѣ другого, и притомъ безъ позволенія отъ самого автора. Говорятъ, и Гельмгольцъ изданъ съ такими сокращеніями. Нигилистъ, исходя изъ лицемѣрія, усматриваемаго въ отечествѣ, не допускаетъ, чтобы кто-нибудь искренно вѣрилъ въ бытіе Божіе, а если кто вѣритъ, то по жалкому-де предразсудку. Умы же, какъ Секки и Гельмгольцъ, не могутъ-де быть рабами предразсудковъ.

А міръ-то только и живетъ предразсудками. Когда было мнѣ еще семнадцать лѣтъ, я писалъ сочиненіе на тему:

Num dantur repraesentationes obscurae? (Есть ли темныя представленія?) Я отвѣчалъ, что другихъ представленій кромѣ темныхъ даже не существуетъ. Чѣмъ долѣе я жилъ и чѣмъ болѣе изучалъ философію и исторію, тѣмъ болѣе убѣждался въ этой истинѣ и убѣжденъ въ ней доселѣ. Міръ только и живетъ предразсудками, только ими и держится. Разница въ степени. Предразсудкомъ въ логикѣ называется „сужденіе принятое безъ достаточнаго основанія". Вотъ въ этой-то достаточности и дѣло; у одного она дальше, у другого ближе, у иного совсѣмъ нѣтъ, полной достаточности ни у кого. Русскій языкъ обладаетъ однимъ геніальнымъ словцомъ: „такъ". Почему это думаешь? Для чего ты это дѣлаешь? Да *такъ*. Все человѣчество и живетъ и полагаетъ что-нибудь *такъ*. Вырываются единицы, начинаютъ анализировать которое-нибудь частное *такъ*, раскрываютъ его невѣрность, несообразность, подставляютъ вмѣсто *такъ* основаніе или отвергаютъ совсѣмъ мнѣніе или обычай, подпирающіеся голымъ *такъ;* но пока онѣ углубляются или разсуждаютъ, ихъ обдаетъ волна впечатлѣній семейныхъ, общественныхъ, историческихъ преданій, впечатлѣніе вкуснаго обѣда, дурной игры актера, вѣтреной погоды, клоповъ, кусавшихъ всю ночь. Въ итогѣ получается призрачная основательность и даже призрачное сознаніе. Новое мнѣніе принимаютъ или отвергаютъ, и самъ его авторъ усвоилъ его въ сущности *такъ*, ступенью дальше, ступенью ближе къ основательности. Да не повторяется ли тотъ же процессъ съ каждымъ мыслителемъ, каждый писатель не можетъ ли провѣрить его на себѣ? Найдите хоть одного писателя, хоть одинъ трактатъ, гдѣ бы выводы были точнымъ воспроизведеніемъ процесса, происходившаго въ душѣ писателя? Никакъ; внутренній процессъ шелъ совсѣмъ другимъ порядкомъ, нежели является въ книгѣ или рѣчи. Исключеніе представятъ развѣ только статистическіе выводы, и то если они ограничиваются цифирными итогами. А выводы дальнѣйшіе,—тутъ уже начинается обманъ: изслѣдователь обманываетъ читателя и самъ себя обманываетъ, воображая, что онъ слѣдуетъ только цифрамъ. Не вѣрьте, цифры помогаютъ, и выводъ напросился

помимо цифръ еще по многимъ основаніямъ, лежащимъ въ сферѣ темныхъ представленій.

Боюсь, не злоупотребляю ли я вашимъ вниманіемъ; но прошу еще минуту. Помните *Записки доктора Крупова?* Въ извѣстномъ отношеніи это есть геніальное произведеніе. Подчиняться обычаю не сумасшествіе ли? Вотъ чиновникъ гнетъ спину, чтобы получить орденъ, развѣ не сумасшедшій? Помнится, этотъ примѣръ въ числѣ другихъ выставленъ Герценомъ. Впрочемъ черезъ сорокъ слишкомъ лѣтъ немудрено и забыть: но общая-то мысль такова, и она геніально вѣрна. Дѣйствительно, подличающій изъ-за ордена человѣкъ есть сумасшедшій. Но и всѣ на свѣтѣ сумасшедшіе. Поверни Герценъ зрительную трубу въ другую сторону, онъ увидалъ бы и себя сумасшедшимъ и всю свою дѣятельность и самую эту статью сумасшествіемъ. Потому что у каждаго окажется своя вѣра и свой обычай. Въ здравомъ умѣ останется только идіотъ, котораго умъ ограничивается наблюденіемъ за удовлетвореніемъ потребностей растительной жизни. А чуть выступи далѣе, сейчасъ можно встрѣтить его такой діалектикой, что окажется онъ свихнувшимъ съ ума, свихнувшимъ именно потому, что пересталъ быть только растеніемъ и животнымъ. Не глупо ли въ самомъ дѣлѣ придумывать еще какія-то высшія потребности и портить аппетитъ? Человѣкъ высшихъ интересовъ вообще есть сумасшедшій, а по доктору Крупову съ ума сошелъ и тотъ, кто слѣдуетъ обычаю и въ обычаѣ находитъ идеалъ. Но всякій идеалъ есть тоже сумасшествіе; ибо гдѣ норма здравомыслія? Безспорная норма и возможна только въ ограниченіи себя растительною жизнію. Да здравствуетъ человѣчество, довольствующееся призваніемъ свиньи и осла!

Вы, конечно, не заподозрите, чтобы я держался такой теоріи; но такъ выходитъ, и теорія относительно всетаки вѣрна. Съ точки зрѣнія дикаря, Европеецъ часто сумасшедшій; съ точки зрѣнія Крупова, чиновникъ съ ума сходитъ, а чиновникъ въ Круповѣ видитъ сумасшедшаго. Нормы-то безусловной, оказывается, нѣтъ. Есть лица, живущія растительною и животною

жизнію, и есть лица, изъ нея выступающія. Милліоны живутъ обычаемъ; десятки, сотни, тысячи имъ тяготятся, сбрасываютъ его и осуждаютъ, принимая новый обычай же; милліоны пробавляются ходячими понятіями, вѣрованіями, сужденіями, не провѣряя ихъ и только усвоивая и перестанавливая ихъ между собой, а единицы подходятъ съ анализомъ и разбиваютъ существующій предразсудокъ, замѣняя его другимъ предразсудкомъ же, хотя, можетъ-быть, менѣе произвольнымъ. Для будущихъ новый предразсудокъ будетъ такимъ же вѣрованіемъ, обычаемъ, слѣпымъ преданіемъ, какъ былъ вчерашній.

Веду къ тому рѣчь, что если болѣзнь, именуемую нигилизмомъ, разсматривать какъ общественный, а не личный припадокъ, то существо его окажется въ чрезмѣрномъ, а отсюда самоубійственномъ возстаніи противъ предразсудковъ; онъ обращается въ самопожирательный процессъ, въ призракъ, въ ложь, ложь въ квадратѣ. Обратили ль вы вниманіе, что нигилистамъ противны обыкновенныя ласкательныя имена и даже общепринятыя вѣжливыя обращенія? Рожа, Ванька, а не лицо или Иванъ. Лицо и Иванъ будутъ уступкою приличію, пошлому, притомъ неискреннему обычаю. А рожа, видите, будетъ не пошлымъ и искреннимъ! Въ сущности между тѣмъ все повторенное есть уже пошлость, форма и, слѣдовательно, приличіе. Глубоко поэтому несчастіе нигилизма. Задача его, если вмыслиться въ нее, похожа на задачу данную портному: сшей платье такъ, чтобы, надѣвъ его, ходить нагишемъ. Міръ лежитъ въ предразсудкахъ, общежитіе держится обычаемъ и ходячими понятіями, хранящимися между прочимъ въ языкѣ и въ преданіяхъ литературы и жизни. Помимо обычаевъ, помимо понятій принятыхъ на вѣру, какъ помимо языка, не можетъ быть общежитія, а съ нимъ и всѣхъ успѣховъ человѣчества. Сказать: „долой всѣ предразсудки“ значитъ сказать — долой общежитіе, долой самый языкъ, ибо языкъ есть одинъ изъ величайшихъ предразсудковъ, носящій въ себѣ понятія, частію не провѣренныя, частію отжитыя. Предразсудки и обычаи разрушаются, замѣняясь новыми, и въ этомъ состоитъ преуспѣяніе человѣче-

ства. Но разрушеніе однихъ, принятіе другихъ совершается постепенно и частично. Кинуть всѣ предразсудки и всѣ обычаи можно только обратясь въ четвероногихъ: прогрессъ не великъ. Все человѣчество даннаго момента лишь на малѣйшую долю живетъ въ своеобычіи и своемысліи, и то на половину кажущихся: то и другое есть только видоизмѣненное преданіе, но и видоизмѣняетъ только изъ милліона одинъ; остальные несутъ обычай, вѣрованіе, языкъ, ходячія мнѣнія, сращиваясь съ ними, полагая и ощущая въ нихъ жизнь. Даже выскочки человѣчества живутъ тою же общею жизнію. Контъ, воображаю, былъ обыкновенный буржуа, Бюхнеръ—пошлый бюргеръ и Дарвинъ несомнѣнно джентльменъ. Два дѣятеля, даже прямо проповѣдавшіе общественное переустройство, Лассаль и Марксъ, не выходили изъ легальныхъ. Таково естественное развитіе; они всѣ плоды или цвѣты дерева, отъ котораго и не отдѣляются, живя съ нимъ общею жизнію и питаясь общими соками. Ихъ мнѣнія оказываютъ воздѣйствіе на часть общества, часть общества соглашается съ ними, и подъ совокупнымъ давленіемъ силъ общество перерождается въ ту ли сторону, въ которую зовутъ Лассаль и Бюхнеръ, или, можетъ-быть, даже въ обратную, но перерожденіе совершается среди данныхъ формъ, обычаевъ, вѣрованій, предразсудковъ. Радикальнѣйшее мнѣніе остается мнѣніемъ единицъ или десятковъ, не нарушая теченія общественной жизни и не нарушая жизни самихъ этихъ десятковъ, пока новая идея не проникнетъ массу, не станетъ общимъ ея достояніемъ, въ видѣ предразсудка же, принятаго по кажущимся основаніямъ или изъ уваженія къ авторитету, иногда опять только кажущемуся, но въ сущности подъ давленіемъ давно назрѣвавшихъ бытовыхъ причинъ. Гдѣ развитіе идетъ правильно, тамъ перерожденіе совершается тихо, старыя формы отпадаютъ одна за другою даже незамѣтно. Въ другихъ совершается бурно, и общество затѣмъ мучится судорогами. Таковы судороги во Франціи. Принципы Французской революціи были провозглашены, былъ даже провозглашенъ атеизмъ, но вѣрующихъ католиковъ доселѣ тамъ, можетъ-быть, больше даже нежели гдѣ-

нибудь, и понятіе „о правахъ человѣка“ только на языкѣ у буржуа, а не въ сердцѣ, тѣмъ меньше въ практикѣ.

Нахожу излишнимъ объяснять, что безпощадная послѣдовательность нигилиста оказывается уродливою непослѣдовательностью, когда онъ беретъ мнѣнія европейскихъ радикаловъ, расторгая союзъ съ обществомъ, чего западные родоначальники его не дѣлаютъ. Положеніе, на которое осуждаетъ себя нигилизмъ и на которое въ отношеніи къ себѣ вызываетъ согражданъ, заслуживаетъ особаго разсужденія; но стоитъ здѣсь упомянуть о соціальной причинѣ, которая содѣйствуетъ озлобленію воли, а подъ его вліяніемъ и увлеченію ума. Гдѣ наши идеалы? Гдѣ отечественные подвиги, которые бы вдохновили потомство? Гдѣ ученая дѣятельность, обаяніе которой привлекало бы молодыя силы къ участію и продолженію въ общемъ направленіи? Личная предпріимчивость, свободный полетъ въ какой бы то ни было сферѣ развѣ встрѣчаютъ у насъ просторъ и поддержку? Истинное достоинство развѣ пользуется почтеніемъ и можетъ надѣяться, что будетъ признано? Не ничтожества ли, посредственности и интриганы у насъ въ авантажѣ? Развратъ развѣ не царитъ? Вся общественная сила, весь авторитетъ не перешелъ ли къ деньгамъ? Къ высшимъ интересамъ развѣ не глухо большинство? Форма не преобладаетъ ли надъ сущностью? Уродливый самъ въ себѣ нигилизмъ оказывается послѣ того законнымъ исчадіемъ общества невѣрующаго, развратнаго, раболѣпнаго, равнодушнаго ко всему, кромѣ кармана и животной похоти. Естественно и то, что нигилизмъ родится и плодится именно въ среднемъ слоѣ общества,—тамъ, гдѣ вырабатываются и раскрываются идеалы, въ слоѣ, который долженъ быть носителемъ просвѣщенія.

Родители винятъ школу, а мы помнимъ, нѣсколько лѣтъ назадъ министерскій циркуляръ винилъ родителей. Тотъ и другой дѣятель вносятъ свою долю участія, потому что худосочіе-то обоюдное, точнѣе сказать—общее, и не дивитесь, что сынокъ за книжкой или листкомъ, со свѣжими, какъ кажется ему, мыслями отдыхаетъ и отъ школьной ферулы, и отъ семейнаго

карточнаго стола, которые кажутся ему одинаково скучными. Въ добавокъ, напрасно думать, что одно усиленіе дисциплины вдохнетъ новую жизнь въ школу, а поощреніе развратной апатіи общества къ высшимъ интересамъ воспитаетъ добрыхъ гражданъ. На такой-то почвѣ и расти нигилизму.

II.

Еще не успѣло первое мое письмо стать подъ печатный станокъ, какъ уже слышу недоумѣнія. Вы опасаетесь что читатель смутится и спроситъ: „послѣ того и Вѣра и Богъ будутъ предразсудки?“—Очень просто: спросите того читателя: „а размышлялъ онъ о Вѣрѣ и Богѣ? Нѣтъ? Тогда они въ немъ дѣйствительно предразсудокъ“.

Другой нѣкто, прослушавъ письмо, возразилъ: „есть истины безусловныя, напримѣръ, математическія“.—Но математическія истины обнимаютъ міръ внѣшнихъ явленій, о самомъ бытіи котораго возможно сомнѣніе; опираются на эмпирическую достовѣрность, о которой позволительно спросить: „да еще реальна ли она, не призракъ ли?“ Споръ объ этомъ возможенъ и бывалъ поднятъ. „Чувственная достовѣрность есть неоправданное предположеніе“: это не мной сказано.

Впрочемъ я не домекнусь, о чемъ собственно недоумѣніе. Я сказалъ, что теоретическія построенія (точнѣе—заимствованія) нигилизма исходятъ изъ желанія быть внѣ предразсудковъ, и утверждаю, что желаніе это самоубійственно, потому что нѣтъ мнѣнія и обычая, которые бы подъ аналитическимъ ножемъ не оказались предразсудкомъ. Мнѣ возражаютъ. Что же хотятъ сказать? Что желаніе нигилизма правильно, только онъ не умѣетъ отличить истину отъ предразсудка? Въ такомъ случаѣ поздравляю: возражающіе стоятъ на той покатости, откуда и идетъ прямая дорога въ нигилизмъ.

Есть безусловныя истины? Конечно есть, по крайней мѣрѣ предполагаются, потому что есть стремленіе къ истинѣ, на которомъ основывается весь процессъ знанія. Но когда гово-

рится объ истинѣ не самой въ себѣ, а объ истинѣ познаваемой, то о каждомъ признанномъ положеніи возможенъ вопросъ: почему? И не только возможенъ, но онъ неизбѣжно требуется разсудкомъ. А отыскивая *почему?* непремѣнно придешь къ стѣнѣ или будешь ходить кругомъ, приходя на то же мѣсто, повторяя бѣлку въ колесѣ: „Да такъ, какъ же иначе, по вашему глазамъ не вѣрить, по вашему дважды два будетъ пять?!“ Это отвѣтъ не философскій; но и философски образованный пойдетъ не далѣе того, сославшись на чувственную достовѣрность или на логическіе законы. И всетаки вопросъ останется: да такъ ли и почему такъ? и пошла сказка про бѣлаго бычка.

Стало-быть нечего толковать о безусловныхъ истинахъ; при каждомъ утвердительномъ и отрицательномъ шагѣ мысли предполагается свое „если“; для разсудка каждая истина условна. Нѣкоторыя изъ истинъ, полагаемыхъ безусловными, правильнѣе было бы назвать „невольными“; но тогда нужно будетъ подступить къ вопросу съ другой стороны, о которой я, можетъ быть, и намекну далѣе. Мы разсматриваемъ предразсудокъ съ логической стороны; на этой почвѣ вопросъ поставленъ, и съ этой-то точки зрѣнія не окажется ни одного мнѣнія, ни одного обычая съ основаніемъ, отъ котораго бы не потребовалось дальнѣйшаго основанія; другими словами, не окажется ни одного мнѣнія и обычая безъ предразсудка.

Обращусь къ возраженію, стоящему на психологической почвѣ. Въ сущности и ссылка на безусловныя истины не чужда психологической причины. Но яснѣе обозначается и откровеннѣе выражается психологическое побужденіе въ боязни, какъ бы съ признаніемъ неизбѣжности предразсудковъ не вывалилась святыня и не разбилась. Въ этомъ, какъ я уже сказалъ, не святыня будетъ виновата, а тотъ, кто ее держитъ. Но чтобы успокоить простодушныхъ, поясню, что предразсудокъ еще не есть ложь; напротивъ, величайшіе изъ предразсудковъ иногда таятъ величайшія истины. Предразсудокъ, какъ сказано, есть „сужденіе, принятое безъ достаточнаго основанія“. А сужденіе, принятое

безъ достаточнаго основанія, не всегда бываетъ само въ себѣ даже неосновательнымъ, тѣмъ менѣе ложнымъ. Боязнь предразсудка сама есть предразсудокъ, и я просилъ бы читателя, нерасположеннаго къ предразсудкамъ, прежде всего отрѣшиться отъ этого предразсудка относительно предразсудковъ.

Произнесите въ самомъ дѣлѣ: „предположеніе“, „предубѣжденіе“, „предрасположеніе“, „предвзятая мысль“; это ничего, это терпимо. Но при словѣ „предразсудокъ“ морщатся, вспоминаютъ, что переносица чешется къ покойнику, а правый глазъ къ слезамъ, и является опасеніе быть обвиненнымъ въ заблужденіи и глупости. Прямо „безразсудная“ мысль извинительнѣе предразсудка, какъ менѣе стыдно быть уличеннымъ въ „фанатизмѣ“, нежели въ „суевѣріи“. Не предразсудокъ это? Да, предразсудокъ, и нужно его разобрать. Предположеніе, предубѣжденіе, предрасположеніе, предвзятая мысль, безразсудство, фанатизмъ могутъ быть самостоятельными душевными проявленіями; въ предразсудкѣ же подразумѣвается не только произволъ мнѣнія, но и заимствованіе; предразсудокъ—мнѣнія и обычаи ходячіе и большею частію унаслѣдованные. Вотъ гдѣ его больное мѣсто, и вотъ чего боятся главнымъ образомъ. Развѣ это не предразсудокъ? Нѣтъ, даже болѣе того: это есть заблужденіе. „Глупо и постыдно слѣдовать примѣру другихъ; каждый имѣетъ свой разсудокъ и волю“. Въ сущности это есть правильное стремленіе личности къ эманципаціи, требованіе разумности и свободы отъ своихъ мыслей и дѣйствій. Но личное умствованіе развѣ непремѣнно разумно, и личная угода развѣ есть свобода?

Личная угода! Да личное желаніе есть ли еще *мое* желаніе? Сегодня оно такое, завтра противоположное, прогулка по Кремлю возбуждаетъ одно, обѣдъ въ Славянскомъ базарѣ другое, видъ Рафаэлевой Мадонны и чтеніе Нана даютъ совсѣмъ разныя побужденія. Что же будетъ *мое?* И то и другое и третье? Тогда не о чемъ хлопотать, предоставь себя вѣтру случая; но тогда чужой примѣръ и авторитетъ величины равносильныя прогулкѣ или чтенію книги.

Личное умствованіе... но гдѣ его опора? Что *я?* Самъ я— пылинка въ вихрѣ квинтилліона другихъ крутящихся пылинокъ, и хоботокъ мой, которымъ я щупаю міръ, тоньше острія булавочной головки! Что я успѣю наблюсти, и гдѣ ручательство, что наблюдаемое поставлено подъ правильное освѣщеніе? Оставленная одной себѣ, личность должна была бы каждый разъ начинать весь опытъ человѣчества сызнова, съ тѣмъ въ добавокъ, чтобы не придти ни къ какому утвердительному заключенію. Не болѣе того получу я, если при неизбѣжности чужого опыта, рѣшился принимать чужое только послѣ критическаго анализа. Критика потребуетъ основаній; опять безконечная работа исканія и сличенія, и въ результатѣ, если остановлюсь на чемъ-нибудь, это будетъ произволъ.

Повторяю: ложь, а вмѣстѣ и беззащитность нигилизма не въ томъ, что онъ вмѣстѣ съ предразсудками гонитъ какія-то безусловныя истины, а въ томъ, что предполагаетъ возможнымъ существованіе человѣчества безъ предразсудковъ и устройство его возможнымъ на фундаментѣ умствованій; что въ умствованіи видитъ законодателя жизни и источникъ истины; что стоитъ (самъ того довольно не разумѣя впрочемъ) на почвѣ раціонализма, котораго онъ есть прямой наслѣдникъ.

У меня былъ одинъ, сперва учитель, потомъ сослуживецъ, потомъ подчиненный. Онъ былъ профессоромъ семинаріи. Разъ я у него обѣдаю; единственный сынъ его, мальчикъ лѣтъ 13, опоздалъ къ назначенному часу, и между нимъ и родителемъ завязывается слѣдующій разговоръ.

— Отчего ты запоздалъ?

—Товарищъ задержалъ.

—Но ты ушелъ безъ спроса. Хорошо ли это?

—Нѣтъ, потому что дѣти обязаны спрашивать позволенія родителей.

—Почему?

—Потому что разумъ ихъ еще не въ состояніи судить о полезномъ и вредномъ. Родители опытнѣе и дадутъ правильное указаніе.

—И кромѣ того что̀?

—Они любятъ дѣтей и не посовѣтуютъ имъ дурного.

—Изъ чего это видно?

—Такъ велитъ Богъ и...

—Ну!

—И... природа.

—Теперь садись, кушай.

Вотъ образчикъ „раціональныхъ“, какъ вѣроятно воображалъ мой пріятель, правилъ жизни. Онъ не хотѣлъ, чтобы сыновнее послушаніе оставалось у его Сережи на степени предразсудка. Слыхивали мы такую же мораль и въ старыхъ комедіяхъ отъ Стародумовъ и Милоновъ. Образованное большинство выросло теперь настолько, что понимаетъ донкихотство подобныхъ нравоученій; но не всѣ доросли до пониманія, что теорическое построеніе правилъ общежитія вообще есть такая же рацея Стародума. Читаю я „великія“ начала „великой“ революціи—„Провозглашеніе правъ человѣка“ (Déclaration des droits de l'homme), и думаю про себя: Стародумъ! Просматриваю соціалистскія построенія гадаемаго порядка, и вижу: Милонъ. Припомните реторическую фигуру единоначатія, которою пунктъ за пунктомъ провозглашаются „права человѣка“: „Каждый человѣкъ имѣетъ право...“ Каждый человѣкъ? Полинезіецъ съ Европейцемъ одинаково? И съ котораго возраста? Л. Н. Толстой, помнится, въ Ясно-полянской школѣ готовъ былъ признать безусловное право пятилѣтняго ребенка. Вся шумиха „Декларацiи“ имѣла смыслъ лишь въ размѣрахъ намека на феодальныя отношенія. И теперешнія анархическія проповѣди имѣютъ смыслъ лишь въ размѣрѣ ближайшаго отношенія къ порабощенію живыхъ лицъ бездушною силою машинъ и капитала; всякое дальнѣйшее обобщеніе есть произволъ и даже безсмыслица. Общежитіе идетъ, не заботясь о рацеяхъ, которыя ему читаютъ. Оно не полкъ, дающій себя муштровать воинскимъ артикуломъ, хотя коммунитскій строй и приходитъ къ этому идеалу. Но даже воинскіе артикулы показали при Іенѣ, къ чему ведутъ подробные

теорическіе регламенты. Ужъ какъ, кажется, все предвидѣла и раціонально придумала Фридриховская тактическая система: поворотъ ноги, руки, головы, все было исчислено, на все преподано правило! И эту педантическую армію перестрѣляли, какъ стадо барановъ. Сломите данный порядокъ на основаніи вашихъ силлогизмовъ: вы его разстроите, но блага не создадите, напротивъ, посѣете лишнія страданія. Химія учитъ, что чистый элементъ, вмѣшиваемый въ органическое тѣло, убиваетъ его. Амміакъ нуженъ растенію; но подпустите къ корню чистый амміакъ, растеніе погибнетъ: то же и умозрительныя правила для жизни органическихъ обществъ.

Такъ обстоитъ дѣло съ одной стороны, гдѣ умствующій разсудокъ воображаетъ держать скипертъ надъ сложившимся порядкомъ жизни, и гдѣ онъ разбивается объ стѣну предразсудковъ, на которыхъ почіетъ обычай. Прослѣдимъ за нимъ въ другой области, гдѣ онъ не повелѣваетъ, а поучается. Естествоиспытатели возятся съ микроскопомъ и находятъ микробовъ, астрономы на обсерваторіяхъ присаживаются къ телескопамъ и открываютъ каналы на Марсѣ, физикъ на основаніи высшей математики вычисляетъ отношеніе тепла, свѣта, электричества, магнетизма и доходитъ до эѳира. Трудитесь, господа, но сущности вы не открываете. Вы указываете новыя явленія и ихъ чередованіе, но гдѣ начало, гдѣ высшій законъ, гдѣ начало началъ? Поднимаются философы. Сколько ихъ, и съ какихъ временъ долбятъ они каждый по своему: матеріалисты и идеалисты, скептики и реалисты, деисты, пантеисты, атеисты. Пропасть ума, сила мысли поразительная. Читалъ ли ихъ скороспѣлый мыслитель? Разумѣется, не читалъ, но когда бъ прочелъ безъ предвзятой мысли, отрѣшившись отъ предположеній, онъ увидалъ бы себя въ судебной залѣ, гдѣ талантливый защитникъ борется съ не менѣе талантливымъ обвинителемъ. Сила доводовъ одного увлекаетъ, пока не слушаешь другого. На основаніи чего же вы, присяжный, прослушавши въ исторіи препирательство философской мысли, придете къ опредѣленному убѣжденію? На основаніи формальной силы доказательствъ?

Нѣтъ, въ васъ восторжествуетъ предрасположеніе, уже засѣвшее въ вашей душѣ, не смотря на всѣ ваши старанія быть безпристрастнымъ; восторжествуетъ не законъ разумной послѣдовательности, а, такъ называемая, женская логика, въ отвѣтъ на логическія убѣжденія отвѣчающая: „еще бы тебѣ домъ купить!“, хотя ни о домѣ, ни о куплѣ не было рѣчи, и у собесѣдника не было никакихъ помышленій. Но поверхъ логической діалектики собесѣдница читаетъ тайныя самому собесѣднику побужденія, можетъ быть, ошибаясь, можетъ-быть, угадывая. Во всякомъ случаѣ она права тѣмъ, что не довѣряетъ діалектикѣ собесѣдника, хотя онъ самъ искренно убѣжденъ. И все движеніе науки таково. Адвокатъ искуственно строитъ защиту положенія, въ которомъ не убѣжденъ: одно умалчиваетъ, другое раздуваетъ завѣдомо; но тысячи мыслителей совершаютъ ту же операцію добросовѣстно. Законъ борьбы за существованіе и перерожденія видовъ могъ ли появиться гдѣ-нибудь, кромѣ Великобританіи? Но Дарвинъ, внѣ сомнѣнія, добросовѣстнѣйшимъ образомъ идеализовалъ бытъ своего отечества, накинувъ его на весь міръ и на все животное царство, установивъ и стекло свое такъ, чтобы видѣть только явленія, идущія къ предвзятой мысли, самому недовѣдомой.

Итакъ, раздѣлаться съ предразсудкомъ — мечта. Онъ вамъ не поддастся, когда вы захотите его сломить; онъ васъ караулитъ и овладѣетъ вами, когда вы думаете отъ него уберечься. Поэтому, когда то или другое правило житейское или мнѣніе оказывается даннымъ и усвоеннымъ прежде и помимо разсужденія, его не слѣдуетъ бросать за то одно, что оно не представило за себя основанія; можетъ-быть, у него и есть очень умное основаніе, но не умѣетъ сказать о себѣ, или было, но забыто, застыло въ обычаѣ. Ученые смѣются и негодуютъ на мнѣнія хозяевъ о вліяніи фазъ луны на погоду, а хозяева увѣряютъ, что ихъ мнѣніе вѣрно; почему знать, можетъ-быть и есть какая-нибудь недовѣданная связь. Я не рѣшусь съ полною увѣренностью отвергать даже примѣту о переносицѣ, предвѣщающей покойника; я этого повѣрья не раздѣляю, но объ за-

кладъ не буду биться, чтобы когда-нибудь и въ этомъ нелѣпомъ съ виду сопоставленіи не открыли болѣе живой связи, хотя и естественнѣе всего предположить, что запахъ отъ покойника далъ начало этому предразсудку, переходящему въ суевѣріе. Противъ мнѣній и обычаевъ, не заявляющихъ о своей разумности, особенно ожесточаться неразумно уже потому наконецъ, что новое мнѣніе или правило, которое я усвою, будетъ произволъ, основанный, вблизи или вдали, тоже на предразсудкѣ, хотя и закутанномъ въ діалектику. Я унаслѣдовалъ мнѣніе и обычай. Малую часть ихъ и въ малой степени провѣрилъ, по милости случая, натолкнувшаго на то и другое, и пробудившаго мое сомнѣніе. Иное я и бросилъ, находя ложнымъ или вреднымъ. Но сколько бы я ни изслѣдовалъ, ни углублялся, я всегда начиналъ съ полдороги и остановился на полдорогѣ. Масса мнѣній и понятій, масса правилъ и привычекъ не мнѣ принадлежатъ, а я имъ; я въ нихъ выросъ, и не только въ нихъ, но ими выросъ, и расти далѣе, да не только расти, но жить вообще, могу только при нихъ и черезъ нихъ. „Почитайте родителей, родители заботьтесь о дѣтяхъ“. Нигилистъ находитъ это предразсудкомъ, и онъ его отвергаетъ; ему мечтается всечеловѣческая коммуна, въ родѣ древней Спарты, съ дѣтьми, принадлежащими не семьѣ, а государству. И дѣйствительно, любовь дѣтей къ родителямъ дана прежде и помимо всякаго разсужденія. Ужъ не вразумлять ли нигилиста по способу моего пріятеля? Берегитесь, ловкій діалектикъ побьетъ васъ. „Да и Богъ, скажетъ вамъ нигилистъ далѣе, повторяя глумленіе, еще въ XVII вѣкѣ произнесенное, это есть выдумка поповъ съ цѣлію эксплуатировать невѣжество“. И почіетъ ли на Бюхнерѣ и Молешоттѣ или идетъ далѣе, онъ прибавитъ, что нѣтъ ничего, кромѣ матеріи и кромѣ случая. И вы пойдете противъ него съ доказательствами бытія Божія, повторите силлогизмъ Ансельма? Но вы станете на почву, гдѣ противнику бить васъ всего удобнѣе. Нѣтъ, если бить его, то надобно заходить къ нему съ тыла; задъ у него не прикрытъ. Чего трусить, что религіозная вѣра дана прежде разсужденій; а на

чемъ его вѣра? Если жрецы религію выдумали изъ корысти, то Бюхнеръ проповѣдывалъ матерію безъ силы для гонорара. Если дѣти должны быть членами не семьи, а государства, то почему не наоборотъ? Доводы въ пользу одного мнѣнія будутъ стоить доводовъ въ пользу другого, и споръ будетъ безконеченъ, пока не надоѣстъ одному изъ спорящихъ или не дохватитъ у него находчивости. А сущность разномыслія останется всетаки въ томъ, что одинъ держится мнѣнія унаслѣдованнаго, другой самостоятельно заимствованнаго.

Но всякое унаслѣдованное мнѣніе и въ особенности обычай имѣютъ за себя уже то, что они *есть*. Въ этомъ ихъ если не истина, то право: они, какъ отвѣтчикъ, дожидаются, чтобы истецъ не только уличилъ ихъ въ отсутствіи документовъ на владѣніе, но представилъ свои, подлинные и неопровержимые, изъ которыхъ видно, что другого наслѣдника не только нѣтъ, но и быть не можетъ. Образованный человѣкъ отвергнетъ миѳическое объясненіе небесныхъ явленій Зевсомъ громовержцемъ или Иліею пророкомъ; онъ знаетъ, что хотя въ меньшихъ размѣрахъ, но можно произвести подлинный громъ и молнію, не обязывая ни Зевса, ни Илью пророка разъѣзжать по небу. А когда того же явленія мнѣ искуственно не воспроизведутъ, всѣ новыя объясненія—догадка. Кромѣ искуственной мочи химія, кажется, еще не успѣла произвести ничего органическаго. Не велика находка, особенно когда и неорганическая химія, столь точная во всякомъ случаѣ, построена на нелѣпости; атомистическая теорія есть нелѣпость для разсудка, спорить противъ этого невозможно. Гдѣ же послѣ того основаніе принимать ипотезы о происхожденіи міра и человѣка, построенныя всетаки на химіи и механикѣ, и имъ предпочесть вѣрованіе, отъ тысячелѣтій унаслѣдованное, можетъ-быть, даже прирожденное?

Я сказалъ *можетъ-быть* прирожденное, потому что отыскиваютъ теперь въ человѣчествѣ жалкіе виды, совсѣмъ лишенные религіи. Положимъ, въ точности самихъ этихъ наблюденій можно усомниться; теперешнее матеріалистически направленное

мышленіе человѣчества усматриваетъ и отыскиваетъ, вольно и невольно, такія явленія, которымъ при другомъ направленіи отыскались бы совсѣмъ противныя, или которыя сами были бы истолкованы иначе. Да кромѣ того, наслѣдственное отсутствіе религіи еще ничего не доказываетъ; сперва надобно доказать, что всякое дикое состояніе племени есть первобытное зерно, изъ котораго развилось культурное; а можно разсуждать и наоборотъ, и привести факты, что послѣ культуры племена дичаютъ и впадаютъ въ животное состояніе. Однако оставляю все это и соглашаюсь усомниться въ прирожденности религіозныхъ началъ. Но истецъ съ своею матеріалистическою теоріею, какъ угодно, слабѣе отвѣтчика теиста, предъявляющаго вѣрованіе, котораго держатся современные милліоны и котораго начало теряется въ такой глубинѣ тысячелѣтій, что позволителенъ вопросъ: да было ли еще ему начало?

Мнѣ укажутъ, пожалуй, опять на точныя науки и возразятъ: можно ли сравнивать повѣрья съ физическими или астрономическими открытіями? Въ томъ-то и дѣло, что не надобно сравнивать. Я стою на томъ всетаки, что сложеніе провѣряется вычитаніемъ и обратно. Когда затменіе наступило въ назначенный день, часъ и минуту, я удостовѣряюсь въ астрономіи; но пока не создадутъ искуственнаго человѣка и не воспроизведутъ также искуственно второго мірозданія, тогда всякая теорія о началѣ началъ есть произволъ. Въ Англіи и Америкѣ жить лучше, нежели въ Персіи, это я знаю и вижу, но чтобы лучше было въ фаланстерѣ и коммунѣ, это пока мечта или даже бредъ. Затѣмъ и всякое точное знаніе точно только относительно. Помимо нелѣпости, которая однако необходима для объясненія химическихъ явленій, есть, говорятъ, въ чистой математикѣ теорія мнимыхъ величинъ, также нелѣпая, но неизбѣжная для рѣшенія задачъ. Не указываетъ ли это на очень ограниченные предѣлы, въ которыхъ доступенъ міръ знанію? что самый инструментъ, называемый разсудкомъ, несовершененъ и неточенъ? Лошадь не знаетъ цвѣтовъ, кромѣ бѣлаго и чернаго; древній Грекъ не зналъ голубого цвѣта. Съ другой сто-

роны, математика же говоритъ о возможности четвертаго измѣренія. Да и почему ему быть невозможнымъ? До микроскопа міръ не зналъ инфузорій, и существованіе ихъ показалось бы нелѣпостію, какъ инымъ кажется нелѣпымъ четвертое измѣреніе на томъ только основаніи, что чувства знаютъ и разсудокъ на основаніи ихъ можетъ мыслить только три.

Итакъ, сомнительны полнота и совершенство знаній даже точныхъ, и притомъ по ограниченности самихъ познавательныхъ способностей между прочимъ. Что же сказать о теоретическихъ построеніяхъ, распоряжающихся цѣлою вселенной? Слѣпой кротъ, я знаю только то, что̀ мнѣ дали знать, умственно только воображая себя самостоятельно мыслящимъ, когда на дѣлѣ разсуждаютъ во мнѣ, пользуясь логическимъ приборомъ, темныя, невѣдомо для меня вкравшіяся предрасположенія. Я всегда адвокатъ чужого дѣла, намѣренно, а иногда и умышленно тасующій карты опыта, въ отношеніи къ чему самый міръ и сама жизнь, сама истина равнодушны. Ставьте вопросы, господа, напрягайтесь, рѣшайтесь, колеблитесь, утверждайте и отрицайте, а мы идемъ сами по себѣ, мало вами трогаемыя, только на васъ воздѣйствуя.

Знаете ли? Я испытываю сейчасъ чувство нѣкотораго отвращенія. Выразивъ опасеніе за смущеніе читателей, Вы позвали меня въ міръ высшихъ умозрѣній, которыя пожалуй мнѣ и не чужды, но которыя требовали бы не такой отрывочности, лоскутности, фрагментарности, говоря ученымъ слогомъ. Я боюсь, что мнѣ предъявятъ обвиненіе въ парадоксальности, которое не разъ я уже слышалъ печатно. Я согласенъ—парадоксально, потому что изложенное выше мнѣніе не заимствовано и не вычитано; но оно есть часть цѣлаго міровоззрѣнія, надѣюсь, мнѣ по крайней мѣрѣ такъ кажется, систематически послѣдовательнаго. Не письмо, а трактатъ, нѣтъ не трактатъ, а томъ, нѣсколько томовъ нужно бы исписать, чтобы снять парадоксальность съ кажущагося парадоксальнымъ, и потому вы оцѣните тягостное чувство, испытываемое мною въ ожиданіи такого отзыва. Позвольте утѣшить себя вѣрою въ то, что вы по край-

ней мѣрѣ не предположите случайной головной блажи въ моихъ размышленіяхъ. Я потому буду продолжать, но обращаясь въ мысли исключительно къ вамъ, какъ бы единственному читателю, и предупреждаю недоумѣніе, которое можетъ у васъ явиться, что воззрѣніе мое слишкомъ мрачно; что я осуждаю мысль на отчаяніе, а другой скажетъ пожалуй, что осуждаю ее на застой. Нѣтъ, зачѣмъ же! Раціоналистическая точка зрѣнія не есть единственная, съ которой можно обсуждать предметы.

„Предразсудокъ есть невѣжество и слѣпота, есть косность ума“: такъ судитъ раціоналистъ и справедливъ съ своей точки. Но тотъ же предразсудокъ есть смиреніе и любовь: посмотрите на него отсюда, не будетъ ни мрака, ни отчаянія, ни застоя. Сказавшій о себѣ, что онъ знаетъ лишь то, что ничего не знаетъ, былъ мудрецъ не потому только, что назывался Сократомъ. Я немного переиначиваю его слова и утверждаю, что каждый личный разумъ знаетъ только то, что̀ ему дано знать, и мыслитъ не по логическимъ основаніямъ, а по сердечнымъ побужденіямъ и темнымъ предрасположеніямъ. Въ стремленіи къ истинѣ остается реальной истины, при этомъ условіи, только самый порывъ, а плодъ его, размышленія и выводы, даютъ ручательство за достовѣрность познаннаго по мѣрѣ чистоты побужденій. Опять сошлюсь на древняго мудреца, давшаго философіи ея имя, и утверждаю, что взаимная связь любви и мудрости, предполагаемыхъ въ философіи („любомудріи“), стоитъ въ обратномъ отношеніи, нежели большинство полагаетъ: не мудрость есть начало любви, а любовь — начало мудрости; не разумъ есть законодатель сердца, а сердце даетъ разумъ; практическую философію я становлю впереди умозрительной и послѣднюю въ зависимости отъ первой.

Вы не потребуете отъ меня, чтобы я раскрывалъ далѣе, не скажу эту мысль, а этотъ намекъ. Ограничусь тѣмъ, что указываемымъ мною началомъ истина мысли и жизни болѣе застрахована, нежели логическимъ умствованіемъ, и въ частности дается надежное основаніе къ рѣшенію и вопроса о томъ или другомъ предразсудкѣ: оставаться ли при немъ или бросить

его и даже бороться противъ него? Нигилистъ бросаетъ за бортъ Бога, семью и общество: что говоритъ въ немъ? Минуемъ умствованія; они призрачны: но какое побужденіе? Одушевлена ли новая вѣра сознаніемъ личной ограниченности, а по отношенію къ братьямъ истекаетъ ли изъ чувства, подсказавшаго нѣкогда сожигаемому на кострѣ восклицаніе: sancta simplicitas! (Святая простота!) пусть, говорятъ, и не подлинно историческое, тѣмъ не менѣе глубокое? Нѣтъ, наоборотъ, все движеніе возбуждено озлобленною волею, а весь его заемный катихизисъ созданъ чревоугодіемъ. Я по крайней мѣрѣ такъ себѣ объясняю. Матеріальные интересы выше всего: надобно ихъ осмыслить, и нашлась услужливая философія, которая всему и начало и конецъ полагаетъ въ желудкѣ; остальныя науки потянулись туда же.

Прочтенный Вами выводъ не сейчасъ мною найденъ. Онъ есть плодъ изученія вѣрованій человѣчества, смыслъ которыхъ, вы знаете, пришлось мнѣ раскрывать съ каѳедры, послѣ того какъ желтѣлъ я и сохъ надъ раціоналистическимъ движеніемъ и Гегелевою логикою, этимъ, по мѣткому выраженію покойнаго А. С. Хомякова, возомъ пустыхъ орѣховъ, которые пришлось расщелкать. Позволяю себѣ изъ магазина памяти извлечь два образа, которыми обыкновенно заключалъ я діалектическое изложеніе путей религіознаго сознанія (личнаго и историческаго) въ человѣчествѣ. Два извѣстныхъ дѣятеля въ разные періоды исторіи, отличившіеся въ разныхъ сферахъ дѣятельности, произнесли предъ смертію по изреченію.

Dilexi justitiam, odi iniquitatem, propterea morior in exilio (я возлюбилъ правду, ненавижу беззаконіе, потому умираю въ изгнаніи): таковы были на смертномъ одрѣ слова Григорія VII Гильдебранда, въ которомъ сосредоточнѣе и послѣдовательнѣе, нежели во всѣхъ предшественникахъ и преемникахъ, воплотилось папское начало.

Чрезъ семь столѣтій послѣ того энциклопедистъ и атеистъ Пететенъ (Petetin) умиралъ съ слѣдующимъ признаніемъ: Nudus veni, dubius vixi, quo vadam nescio. Ens Entium miserere

mei. (Нагъ пришелъ, въ сомнѣніи жилъ, куда пойду не знаю. Существо Существъ, помилуй меня.)

Кто изъ нихъ ближе къ истинѣ? Гордая самонадѣянность папы, увѣреннаго въ непогрѣшимости и на этомъ основаніи присвоившаго власть сокрушать царства и господствовать надъ міромъ матеріально и духовно? Или смиренномудріе атеиста, остающагося въ сомнѣніи по отрицаніи обиходныхъ вѣрованій, увѣреннаго лишь въ безпомощности, напоминаемой ему наготою, въ которой родился, и темью, въ которую вступаетъ?— Оба ушли отъ берега. Одинъ, если и обрѣлъ истину, то, утративъ ее, впалъ въ заблужденіе, и притомъ безвозвратно, своею самоувѣренностію; другой осудилъ себя на безконечное сомнѣніе, оторвавшись отъ общаго вѣрованія и тѣмъ выпустивъ изъподъ ногъ почву. Въ преданіи—опора, въ сомнѣніи—условіе преуспѣянія, самоотрѣшеніе—охрана отъ заблужденія, любовь— ручательство разумности, въ ней же и свобода.

Нигилистъ совмѣщаетъ обѣ крайности недостатковъ и ни одного изъ достоинствъ. Онъ есть Григорій VII, вывороченный на изнанку, и—Пететенъ безъ его колебаній; атеистъ съ непогрѣшимостію папы, отрицатель и разрушитель, съ самонадѣянною увѣренностью обладателя истины и раздаятеля благъ. А мнимо пріобрѣтенная истина есть сборъ произвольныхъ положеній, кражею присвоенныхъ, которыя не предразсудки только потому, что имѣютъ видъ новости. Обѣщаемое же благо есть страданіе милліоновъ, которые однако еще не заблуждаются, отъ того что дѣлятъ съ другими мнѣнія и привычки, частію сочувствуя имъ, частію снисходя, и которые относительно довольны, хотя сознаютъ окружающую несправедливость и тяготятся суровостью судьбы. Однако бываетъ, что и лишенія доставляютъ свою долю наслажденій. Ты кто же, чтобы мнѣ мѣшать наслаждаться, какъ я знаю, жить хотя бы по предразсудку и умствовать на почвѣ предразсудковъ, но такъ, какъ мнѣ наравнѣ со всѣми любо?

Послѣ смерти Никиты Петровича въ его бумагахъ было найдено неоконченное его письмо къ кн. Н. В. Шаховскому, въ коемъ Гиляровъ хотѣлъ дополнить предыдущія письма о нигилизмѣ. Вотъ это письмо:

Когда *Русь* возродится? Ея нѣтъ, и я лишенъ удовольствія, мой молодой другъ, бесѣдовать съ вами печатно! А вы такъ снисходительны ко мнѣ, что цѣните мое слово, просите его, и я самъ возбужденъ вашими размышленіями: «Лучше ли стало?» Но вы надавали мнѣ столько темъ, что я затрудняюсь. Чтобы найти какую-нибудь точку опоры, беру вашу статью и мои два письма къ И. С. Аксакову о нигилизмѣ, продолженія которыхъ вы желаете.

Беру смѣлость резюмировать за васъ вашу статью: «стало не лучше, а хуже пожалуй; прогрессъ, въ смыслѣ внѣшнихъ удобствъ жизни, увеличился, но человѣкъ съ своимъ нравственнымъ зломъ остался тѣмъ же. Преступленіе и развращенность перемѣнили форму, но пожалуй умножились».

Это вы хотѣли сказать? Хочу думать, что это; и вы, сказавши, остановились, чувствуя необходимость нравоучительнаго вывода, но недоумѣвая, куда его направить. Вы было прибавили нѣсколько словъ по адресу властей, но я удержалъ вашу руку. Вы зашли бы въ трущобу полицейскихъ правилъ, о которыхъ вамъ могутъ сказать: «да позвольте, докажите еще ихъ право стѣснять личную свободу, и докажите, что педагогическая задача имъ подъ силу».

Здѣсь пунктъ, гдѣ связываются ваши размышленія съ моими. Я размышлялъ о происхожденіи нигилизма. Нигилизмъ истекъ изъ озлобленной воли, возмущающейся лицемѣріемъ окружающаго порядка; теоретическое же его основаніе—протестъ противъ предразсудковъ. „Долой предразсудки!“—вотъ знамя умозрительнаго нигилизма. Но я не думалъ писать трактата о нигилизмѣ; не совсѣмъ я ожидалъ даже, чтобы письма мои попали въ печать. Мое первоначальное намѣреніе было изъяснить И. С. Аксакову, что Н. Я. Данилевскій невѣрно поставилъ вопросъ, признавъ въ нигилизмѣ систему и предположивъ самостоятельный катихизисъ. Уважаемый редакторъ нашелъ полезнымъ напечатать мое письмо, но просилъ добавить разъясненіе недоумѣнія о «предразсудкахъ», которые въ первомъ

письмѣ я призналъ неизбѣжными для человѣчества. Я вынужденъ былъ на второе письмо.

«Если коснулись вы теоретическаго основанія и вторымъ письмомъ развили подробнѣе тщету мечты объ истребленіи предразсудковъ, то ожидаются подробности объ озлобленіи воли. Вы сами намекнули объ отношеніи, на которое къ себѣ нигилизмъ уполномочиваетъ своихъ согражданъ».

Вотъ между прочимъ одно изъ вашихъ требованій, и вотъ пунктъ, гдѣ наши размышленія, съ разныхъ сторонъ исходя, сближаются.

Но съ глазу на глазъ мы съ вами уже толковали о трудности развивать указанную тему. Лицемѣріе порядка, возмущающее нигилиста, развѣ позволительно защищать? Нѣтъ, и мы въ этомъ оба согласились. Но если вы согласны съ моимъ опредѣленіемъ, то прошу обратить вниманіе, что нигилизмъ есть возмущеніе именно воли и притомъ воли озлобленной. Можетъ возмущаться окружающимъ умъ, находя неразумность, непослѣдовательность; можетъ возмущаться и содрогаться сердце, испытывать отвращеніе, ну къ чему бы напримѣръ? — къ развратнымъ оргіямъ, къ убиванію времени въ праздности, къ ханжеству, сдружающемуся съ хищничествомъ, къ человѣкоугодничеству, соединенному съ эксплуатаціей трудящихся. Но иное дѣло отвращаться, брезгать, негодовать, возмущаться; иное—взять револьверъ и динамитную капсюлю, со словами «такъ нате-жъ вамъ!» Ты кто еси судяй чуждему рабу? Вотъ эти слова и слѣдовало бы припомнить кандидату въ нигилисты.

Исчезалъ міръ, какъ миръ, испарились нравственныя основанія. Надъ государственной вѣрой смѣялись, и самъ бывшій консулъ удивлялся, какъ авгуры могутъ безъ улыбки смотрѣть другъ на друга; латифундіи захватили полсвѣта (тогда извѣстнаго); жить стало тяжело не только обдѣленнымъ судьбою, но и награжденнымъ и набалованнымъ. Послѣднимъ не тяжело, но надоѣло, такъ надоѣло, что явилось taedium vitae, пресыщенье жизнью, тоска о смерти. Мыслящій умъ не находилъ цѣли жить, ни смысла. Въ матеріальномъ наслажденіи все испробовано; Лукуллъ и Крассъ ѣли и кормили такъ, что изобрѣтательность далѣе отказывалась придумать болѣе дорогое разваренныхъ жемчужинъ и изысканнѣе рыбныхъ печонокъ. Всѣ виды

полового разврата перейдены, и съ противоестественными удовольствіями, которыми раболѣпно пытались разбудить притупившуюся чувственность скучающаго Тиверія, можетъ поспорить развѣ только современный Вавилонъ. Но что вамъ говорить? Тацита, безъ сомнѣнія, читали. Даже бой гладіаторовъ съ человѣческою кровью, льющеюся на аренѣ, оказывается зрѣлищемъ прѣснымъ, не вполнѣ пикантнымъ.

Я люблю останавливаться на характеристическихъ изреченіяхъ, знаменующихъ или эпоху, или міросозерцаніе. Къ изреченію Григорія VII, приведенному во второмъ письмѣ о нигилизмѣ, проситъ мысль присоединить еще два. Припоминаю негодованіе, смѣшанное съ ужасомъ, выразившееся въ изреченіи старшаго Плинія, что человѣкъ, къ несчастію, лишенъ даже того утѣшенія, чтобы несомнѣнно убѣдиться въ отсутствіи личнаго безсмертія. Прибавьте къ этому обычное привѣтствіе гладіаторовъ: «ave, Caesar, morituri te salutant!» Разберите психологію изреченія: отдаютъ человѣка на травлю дикимъ звѣрямъ, травятъ его не за преступленіе и не для достиженія какихъ-либо высшихъ цѣлей, а ради забавы и для возбужденія нервовъ зрителей. У этого варвара есть семья — отецъ, жена, дѣти; тамъ, гдѣнибудь на Дунаѣ, ему улыбаются во время сонныхъ грезъ родныя поля. Но его бросаютъ въ тюрьму; онъ не только мирится съ неизбѣжностью, да еще привѣтствуетъ мучителя, съ которымъ не связанъ даже ни вѣрноподданничествомъ, ни единоправіемъ. Нѣтъ; способно приводить въ трепетъ это состояніе міра, петерявшаго возможность мира, способность уладить общежитіе, найти общую цѣль и въ общеніи чувствъ и дѣятельности обрѣтать успокоеніе и радость.

Но явилась въ Іудеѣ секта, потомъ стала распространяться. Вы не потребуете отъ меня повторенія первыхъ главъ новозавѣтной исторіи. Я хочу сказать только то, что когда на зовъ пошли страждущіе и обремененные и образовали общество, оно не выступало съ оружіемъ; напротивъ, оно только умирало и проповѣдывало, и проповѣдывало не ненависть, а любовь, или же бѣжало въ пустыни Сиріи и Ѳиваиды.

Явилось и еще общество обновить старый міръ; это — уже и съ оружіемъ въ рукахъ. Но за нимъ не было идеаловъ; оно нагрянуло съ тѣми же матеріальными цѣлями, изъ-за которыхъ

потерялъ смыслъ старый міръ. Разница между старымъ и новымъ была только въ живости аппетита, разница между сытымъ и голоднымъ; но міръ обновленъ былъ не варварами.

Соціалисты всѣхъ народовъ, вы знаете, любятъ себя приравнивать и къ христіанамъ первыхъ вѣковъ, и къ варварамъ, разрушившимъ Римскую имперію. Состояніе современной общественности, дѣйствительно, напоминаетъ старый Римъ, и походъ Бакунина съ анархистскими покушеніями—набѣги варваровъ. Но дальнѣйшее заключеніе, будто соціализмъ призванъ обновить міръ, лишено основательности, ибо обновило старый міръ именно христіанство, а не варвары, не жадность къ матеріальнымъ благамъ, а отреченіе отъ нихъ, не нападеніе на существующій порядокъ, а бѣгство отъ него. Они бѣжали отъ міра, но міръ ихъ позвалъ къ себѣ; положимъ, и развратилъ тѣмъ самымъ потомъ. Но общество не можетъ существовать безъ идеала: вотъ въ чемъ сущность; и когда оно почувствовало, что вѣра испарилась, божество обратилось въ кумиръ, надъ которымъ всѣ смѣялись, оно обратилось туда само, гдѣ видитъ служеніе духу съ презрѣніемъ плоти и отреченіемъ отъ личности. Начало обновленія міра не съ набѣга вестготовъ, а съ побѣды Константина надъ Максентіемъ. Варвары и оставили бы отъ Европы то, что вандалы въ частности отъ Карѳагена; произошелъ бы второй потопъ; пришлось бы начинать всю исторію общежитія съизнова, чуть не съ положенія, въ которомъ очутился Робинзонъ Крузо.

Общеніе первыхъ христіанъ въ имуществѣ соблазняетъ коммунистовъ, но забывается опять прямая противоположность существенной постановки; ее можно выразить двумя грамматическими наклоненіями: «ничего не присвоиваю»,—говоритъ одинъ; «ничего не присвоивай»,—говоритъ другой. Въ томъ и другомъ входитъ общеніе, но отправляются воззрѣнія и дѣятельность съ противоположныхъ концовъ. «Все отдай» и «все возьми»; послѣднимъ предполагается уже творчество и свобода; выраженіе «все возьми» есть уже ихъ послѣдствіе, воплощаемое въ любви. Говорящій «все отдай» начинаетъ съ принужденія.

Но если изъ-подъ палки, въ обыкновенномъ быту, работа не спорится, то въ общемъ строеніи человѣчества формула, основанная на одномъ принужденіи, ведетъ, если не къ разруше-

нію, то къ застою. Творчества не можетъ быть, потому что нѣтъ свободы, а слѣдовательно нѣтъ и зиждительной силы и нѣтъ цемента, связывающаго общежитія. «Христіанскій соціализмъ» есть такое же недоразумѣніе, какъ австрійская монархія: это есть contradictio in adjecto. Спартанскій коммунизмъ (единственный, просуществовавшій нѣкоторое время въ исторіи) имѣлъ смыслъ, ибо основывался на принужденіи, и онъ могъ просуществовать именно потому опять, что былъ культомъ идола, который назывался городомъ, по теперешнему государствомъ. Но коммунизмъ, основанный не на подчиненіи личнаго общему, а обратно, есть невозможность, носящая разрушеніе сама въ себѣ. А именно таковъ идеалъ идеалистическаго коммунизма: устройство человѣчества на началахъ личнаго животнаго аппетита.

Я могъ бы пройти съ вами по этому поводу экономическія теоріи и дополнить свою мысль разборомъ тѣхъ эльдорадо, которыя сулятся въ умозрительныхъ соціалистическихъ построеніяхъ. Но надѣюсь, вы уволите меня отъ этого труда, при которомъ неизбѣжно было бы коснуться односторонностей въ опредѣленіи труда, капитала, цѣнностей, богатства вообще. Удовольствуюсь указаніемъ ошибки, въ которой повиненъ не соціализмъ только, но вся экономическая наука всѣхъ лагерей, въ томъ что въ утилитарномъ и животномъ признали начало духовнаго. Понятіе превратное, похожее на то, какъ если бы дерево вообразили стоящимъ на вѣтвяхъ корнями вверхъ.

Но я спѣшу къ выводу, который избранъ главною темой для письма. Не только разрушеніе не имѣетъ зиждительной силы, но и озлобленіе лишено ея, тѣмъ болѣе, если оно перейдетъ въ дѣятельность. А потому прежде всего оно безполезно, то есть, неспособно служить утилитарной цѣли, которая и имѣется въ виду при разрушеніи современнаго порядка. Въ этомъ-то смыслѣ, какъ я намекалъ въ первомъ письмѣ, нигилизмъ осужденъ на погибель. Отдѣльный представитель нигилизма—никудышка, неспособный ни къ чему приладиться и лишній человѣкъ. При зарожденіи его и вообще при переходѣ изъ легальнаго, выражусь такъ, обычной среды человѣка въ отмѣченнаго нигилиста, самоубійства бываютъ нерѣдкимъ явленіемъ; сорвалась ладья съ теченія; сперва ее повертитъ, потомъ она потонетъ, хотя порой и выплываетъ. Судьба не мѣняется, если дѣло идетъ не объ

индивидуумѣ, а о кучкѣ: самоубійство буквальное или метафорическое ихъ удѣлъ.

Но вы повторите мнѣ вопросъ: на какое же отношеніе къ себѣ уполномочиваетъ своихъ согражданъ нигилизмъ?—Я хотѣлъ сказать, что нигилизмъ послѣ того, чѣмъ онъ есть, не долженъ же и жаловаться, когда отъ него отворачиваются, мало того—когда его преслѣдуютъ. Онъ самъ себя извергаетъ изъ общества. Хорошо оно или дурно,—это вопросъ другой, но по пословицѣ «съ волками жить, по волчьи выть»—въ полномъ нравственномъ разобщеніи жить со стаей непослѣдовательно. Я бы сказалъ нечестно; но понятіе о честности предполагаетъ кодексъ, котораго нигилизмъ, можетъ быть, и не раздѣляетъ, и по настоящему не долженъ раздѣлять, если онъ послѣдователенъ.

«Ты желалъ бы перевернуть общество, оно тебѣ противно и ты золъ на него, можетъ быть, и основательно; но каждый изъ этихъ всѣхъ, кого ты называешь обществомъ, хочетъ жить по своему. Передѣлать ты ихъ не въ силахъ, какъ не въ силахъ сдвинуть Царь-Колоколъ; самъ переродиться не хочешь, да, можетъ быть, и не въ состояніи. Такъ бѣги, бѣги куда хочешь: въ Америку, въ Сахару, въ Новую Гвинею, куда угодно. Правда, найдешь ты вездѣ то же общество, на тѣхъ же несправедливыхъ и устарѣлыхъ, по твоему, началахъ. По прихоти законовъ духовной природы, американцу и негру ты простишь то, противъ чего скрежещешь у себя дома, и не будешь подкладывать динамиту подъ тихо-океанскую дорогу, хотя для тебя и въ новомъ отечествѣ тѣ же основанія для вражды противъ дисциплины, установляемой современнымъ буржуазнымъ устройствомъ міра. Не удерживаешься и тамъ? Бѣги со свѣта».

Вы понимаете, что я вовсе не даю этого совѣта, а только поясняю, что разорвавшій все съ обществомъ недостоинъ общества.

Боюсь, что вы потребуете отъ меня нраво-учительнаго педагогическаго вывода. Отказываюсь. Но я напомню вамъ о полемикѣ, которая происходила въ русской печати лѣтъ пять тому назадъ. Два мнѣнія боролись. Одно, главнѣйшимъ представителемъ котораго былъ Достоевскій, говорило: углубись въ себя лично, лично совершенствуйся, и общій строй исправится. Другое настаивало на исправленіи общественныхъ учрежденій, въ не-

совершенствѣ ихъ находя причину испорченности нравовъ; по ихъ—все зависитъ отъ условій, при которыхъ совершается личное развитіе. Какъ бываетъ часто, обѣ стороны были правы и обѣ виноваты, потому что односторонни. Какъ часто припоминается въ такихъ случаяхъ указаніе Гегеля, что истина не въ «или—или» и не въ экономической отвлеченной серединѣ, а въ живомъ взаимодѣйствіи «и, и». Превосходные нравы уживаются съ отвратительными учрежденіями и иногда даже по милости ихъ; упругость духа тѣмъ сильнѣе напрягается, чѣмъ усиленнѣе внѣшнее давленіе. И наоборотъ, развратъ царить способенъ при превосходныхъ учрежденіяхъ. Благо странѣ, въ которой то и другое, внѣшнія условія и внутреннее народное развитіе, идетъ нога въ ногу. Поучительнѣйшій примѣръ намъ доставляютъ Англія съ Франціей.

Свободнѣйшая изъ странъ есть аристократическая олигархія; тѣлесное наказаніе не отмѣнено, и законъ еще красуется, запрещающій публиковать парламентскія пренія и присутствіе постороннихъ въ парламентской залѣ; страна строжайшихъ обрядовъ и свободнѣйшихъ мыслей въ одно время, а вмѣстѣ страна образцовой семейной нравственности и трудолюбія, о которомъ восточный материкъ, просиживающій ночи за винтомъ, съ трудомъ составляетъ себѣ понятіе. Чѣмъ все держится? Хартіею? Нѣтъ, народнымъ духомъ, который изобрѣлъ и хартію, и который безъ хартіи развился бы все равно въ то же самое. А откуда духъ? Свободныя учрежденія помогли отчасти, но еще болѣе помогла,—мое по крайней мѣрѣ мнѣніе таково,—религія. Нигдѣ и бытъ, и педагогія не связаны такъ крѣпко, какъ въ Англіи; славнѣйшій изъ періодовъ Англіи есть періодъ борьбы съ папствомъ, которую односторонне называютъ борьбою съ королевской властью, потому что черезъ корону велась борьба собственно съ Куріей. И затѣмъ достаточно указать на филантропическія общества, которыхъ родина, можно сказать, есть Англія, и на библейскія общества. Церковь въ Англіи много утратила въ своемъ ликѣ, но за то общество, можно сказать, оцерковилось, взявъ на себя многое, что ожидалось бы собственно отъ церкви. Посмотрите затѣмъ на другую сторону канала, на стройныя учрежденія, повидимому, представляющія величайшее обезпеченіе свободы, и съ тѣмъ рядомъ необыкновенная легкость

диктатуры, раболѣпство, развратъ, возведенный чуть не въ культъ, и безбожность рядомъ съ грубѣйшимъ суевѣріемъ.

Судьба нашего отечества несчастна именно тѣмъ, что развитіе внѣшнихъ учрежденій съ развитіемъ народа шли совсѣмъ порознь. Большая часть учрежденій надѣвалась на страну, по французскому манеру, придуманному отвлеченно. Отсюда принудительная сила формы, и за нею ничего, царство фасадовъ, какъ выразился зло одинъ изъ путешественниковъ. Вѣра утрачена или обращается въ фетишизмъ; должно естественно при этомъ изсякать и творчество, и чувство свободы. Никакія учрежденія, понятно, не помогутъ, когда во всемъ извѣрились, да и духу народному воспитаться не изъ чего, особенно когда утилитаризмъ открыто объявилъ себя господствующимъ началомъ. Вспомните одно, что за «улучшеніемъ быта» крестьянъ цѣлыя двадцать пять лѣтъ слѣдовали одна за другою потуги на «улучшеніе быта» то тѣхъ, то другихъ. Выраженіе, изъ лицемѣрной скромности подмѣнившее болѣе точную формулу «освобожденіе», повело къ тому, что матеріальный бытъ признанъ за первое и послѣднее, о чемъ достойно и славно заботиться. Послѣдствія и вкушаемъ, и между прочимъ въ видѣ нигилизма.

Вы ставите въ своей статьѣ вопросъ на болѣе общую точку, разсуждая о матеріальномъ прогрессѣ всего человѣчества. Вы недоумѣваете, отчего при всѣхъ усовершенствованіяхъ гражданственности и при всемъ успѣхѣ знаній жизнь съ ея радостями и печалями, преступленіями и развратомъ, остается та же. Да оттого и остается та же, что прогрессъ по существу матеріаленъ, и знаніе витаетъ въ сферѣ принужденія. Духовный міръ есть міръ свободы, и внутренній прогрессъ возможенъ только личный, истекающій изъ вѣры..... Вопросъ однако въ томъ же, что обсуживала печать пять лѣтъ назадъ, только въ болѣе широкой формѣ: внѣшнія условія и внутреннее развитіе, и отвѣтъ на него правильный тотъ же, что данъ выше объ общественныхъ учрежденіяхъ и общественной нравственности. Добытая истина, что сумма угловъ треугольника равна двумъ прямымъ, ничего не прибавила человѣческой душѣ противъ того, что было до Эвклида. Печальная вещь по существу не станетъ радостной оттого, передаютъ ли ее по телеграфу или на письмѣ. Соціологія вывела, что виною всѣхъ преступленій бѣдность и голодъ (бога-

тые и сытые должны быть всѣ добродѣтельные люди); психологія потянула за нею и, обобщивъ, объяснила, что душа человѣческая есть итогъ внѣшнихъ вліяній. При общей сытости должно произойти общее довольство....

Примѣчаніе. Объ этомъ замѣчательномъ письмѣ, оставшемся неоконченнымъ, Гиляровъ писалъ тому же лицу отъ 22 февраля 1885 года: Знаете? Я вамъ пишу письмо въ дополненіе вашего «Лучше ли стало?» и своихъ писемъ о нигилизмѣ, помѣщенныхъ въ № 24 *Руси* за 1884 г. Я позволилъ себѣ даже нескромность: часть письма прочиталъ А. М. и Ивану Сергѣевичу. Немного остается, чтобы кончить.

Но печатать негдѣ, и это въ числѣ другихъ причинъ, почему я не кончилъ.

А другая причина: горизонтъ такъ широкъ, что теряешься. Своеобразно ли у меня мнѣніе, или болѣзнь моей доточности, которою страдалъ я, еще когда мнѣ было 17 лѣтъ отъ роду, не знаю; но *за*говоривъ о чемъ-нибудь, вижу, что еще нужно *до*говориться до этого: входятъ посредствующія представленія, для меня ясныя, но въ обычномъ словооборотѣ лишенныя опредѣленности или криво толкуемыя. Отсюда опасность: заговорить о чемъ-нибудь и не кончить.

Въ дополненіе къ вашему письму я хотѣлъ выяснить, что прогрессъ, по существу, матеріаленъ и внѣшенъ.

Онъ есть побѣда надъ внѣшней природой; на внутреній міръ человѣка, который всегда остается тотъ же, онъ не имѣетъ дѣйствія. Внутренній прогрессъ и можетъ быть только внутреннимъ, то есть единоличнымъ. А какъ только утвердиться на этомъ положеніи, сколько вопросовъ и мыслей подступаетъ?

1) Теперешняя наука ничѣмъ и не признаетъ человѣка съ его душою, какъ итогомъ внѣшнихъ вліяній.

2) Наука совсѣмъ еще не додумалась въ лицѣ всѣхъ своихъ прошедшихъ и настоящихъ мыслителей, до понятія о... или различія..., но вотъ здѣсь и запятая. Мысль, которую я хотѣлъ бы сказать и которую думалъ было развить въ письмѣ или письмахъ къ вамъ, есть дѣтище, мнѣ исключительно принадлежащее, и поэтому трудно выразить ее кратко. Попробую намекнуть ее:

Необходимость и свобода,

Міръ внѣшній и внутренній,

Безчувственный и чувствующій.

Попробуйте представить себѣ рядъ явленій, даже не явленій, а веществъ міра внѣшняго, подчиненныхъ закону физической необходимости, бездушныхъ и потому лишенныхъ способности чувствовать, но мыслящихъ, какъ мыслятъ только одушевленныя и даже чувствующія.

Я готовъ биться объ закладъ, что сейчасъ сказанное выраженіе можетъ показаться не только парадоксомъ, но чепухой. Вы этого не предположите, и потому продолжаю.

Возьмите книгу; что она? Вещество растительнаго происхожденія (бумага), обмазанное крапинками. Души въ ней нѣтъ, и она не чувствуетъ.

Но она мыслитъ. Нѣтъ, она и не мыслитъ, а въ ней есть мысли и даже чувства. Одинъ листокъ можетъ произвести переполохъ въ мірѣ, распространять радость и скорбь, убивать людей, на подобіе того, какъ убиваетъ пуля, пущенная изъ берданки и долетѣвшая до жертвы уже послѣ того, какъ выстрѣлившій умеръ.

Вотъ вамъ уголочекъ, кончикъ того воззрѣнія, того различенія, которое хотѣлъ бы я выяснить. Къ побѣдѣ надъ внѣшнимъ міромъ между прочимъ относится, что человѣкъ для внутреннихъ дѣйствій изобрѣтаетъ бездушнаго замѣстителя, образуетъ внутренній-внѣшній міръ, со всѣми принадлежностями внутренняго за исключеніемъ самоощущенія.

Не ясно? Дѣлать нечего, а я только намекаю. Цѣль же моя сказать и объяснить, почему побѣда надъ природою, пространствомъ и временемъ и облегченіе общежитія усовершенствованными формами остается безъ дѣйствія на внутреннюю природу, или, точнѣе,— откуда явилось ложное представленіе, что внѣшній прогрессъ (а онъ всегда есть внѣшній) способенъ улучшить человѣчество.

Прогрессъ въ извѣстномъ отношеніи есть призракъ, какъ призракъ есть — мысли и чувства какого-нибудь листка. Листокъ не мыслитъ и не чувствуетъ: мыслилъ и чувствовалъ (или давалъ видъ мысли и чувства) авторъ и читатель. Настоящій внутренній міръ, самосознающій и самоощущающій, и міръ внѣшне-внутренній, міръ литературы, общественныхъ учрежденій, капитала и пр., находятся въ отношеніи и только. Внутренняя природа остается все та же отъ вѣка, и подвигъ совершенствованія предлежитъ каждому лично, и каждый внукъ и правнукъ долженъ всегда начинать съ того же, съ чего дѣдъ и прадѣдъ.

Ахъ, другъ, я увѣренъ, что и сейчасъ въ васъ я успѣлъ возбудить только Ahnung, предчувствіе того, что я желалъ бы вамъ сказать! Но добавлю, что усмотрѣніе истины, на которую я сейчасъ намекнулъ, разрѣшаетъ величайшія антиноміи, по моему мнѣнію по крайней мѣрѣ.

Довольно однако. Кончу я письмо къ вамъ, которое начато въ дополненіе къ моимъ печатаннымъ? Не знаю, не ручаюсь.

Логика раскола.*)

Письма И. С. Аксакову.

...Вы отдаете справедливость русскимъ раскольникамъ. *Упрекъ митрополита Филарета.*

I.

И о расколѣ разсуждать предпочитаю, обращаясь къ вамъ лично, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ: избавляюсь тѣмъ отъ заботъ о полнотѣ и оконченности, отъ системы и отъ обязанности убирать свои выводы учеными ссылками. Облекать былыя изслѣдованія въ форму ученаго трактата мнѣ и поздно.

А затѣмъ согрѣваетъ меня воспоминаніе: изо всѣхъ занимавшихся расколомъ, вы, сколько мнѣ извѣстно, ближе всѣхъ подошли къ дѣлу. Съ вами мнѣ не нужно столковываться. Мнѣ кажется, если бы вамъ пришлось заняться расколомъ подолѣе и при условіяхъ, въ которыя поставлены были мои занятія, то случилось бы то же, что у меня съ Хомяковымъ; по выходѣ его первой богословской брошюры, я былъ удивленъ почти буквальнымъ повтореніемъ доводовъ и даже сравненій, которыми я пользовался въ своемъ преподаваніи Сравнительнаго Богословія. Ваша записка о сектѣ Странниковъ произвела на меня тогда почти то же впечатлѣніе.

*) Русь. 1885 г. №№ 7, 8 и 10.

Я назвалъ свои письма *Логикой Раскола,* потому что признаю расколъ разумнымъ явленіемъ. Не въ томъ смыслѣ, чтобъ я соглашался съ его догматикой или съ его нравственными идеалами, а въ томъ, что онъ былъ естественнымъ продуктомъ нашей исторіи, логически истекшимъ изъ ея данныхъ, и въ томъ, что самъ внутри себя развивался и развивается съ замѣчательною послѣдовательностью. Показать это его внутреннее и внѣшнее соотвѣтствіе я и намѣренъ.

Я взялъ себѣ эпиграфомъ слова, обращенныя ко мнѣ тридцать лѣтъ назадъ митрополитомъ Филаретомъ, потому что предлагаемое мною будетъ сжатымъ, но точнымъ изложеніемъ именно того, къ чему они относились. Они сказаны были мнѣ въ упрекъ, но передавали мое отношеніе къ расколу вѣрно. „Говорятъ, что вы отдаете справедливость русскимъ раскольникамъ". Это означало: „расколъ есть нашъ противникъ, и противника не должно надоумливать, въ чемъ онъ правъ можетъ быть и силенъ, а только обличать его заблужденія и раскрывать недостатки". Митрополитъ стоялъ на полемической точкѣ зрѣнія. А я себѣ иначе опредѣлялъ задачу преподавателя въ высшемъ учебномъ заведеніи. Слушателей, уже прошедшихъ полный богословскій курсъ, предостерегать отъ какого-нибудь, положимъ, Спасова согласія было бы не меньшимъ дѣтствомъ, чѣмъ приводить въ полдень доказательства зрячему, что солнце стоитъ на горизонтѣ. Не находилъ я ни обязанностью своею, ни призваніемъ и практическою дрессировку студентовъ въ словопреніяхъ: на то другія силы и другая обстановка. На моихъ рукахъ была „Наука о Вѣроисповѣданіяхъ", въ составъ которой, какъ часть, входило и ученіе о русскомъ расколѣ. Я излагалъ сущность вѣроученій и развитіе ихъ, историческое и психологическое; не обсуживалъ ихъ, а давалъ имъ самимъ себя обсуживать. Чтобы разбить ложь, нужно показать ея сущность, замѣтилъ Хомяковъ, помнится, по поводу католицизма. Того же основанія, хотя и независимо отъ Хомякова, держался и я. Раскройте сущность вѣроученія: тогда окажется мѣсто его среди другихъ; личное же вѣрованіе само послѣ того найдетъ, чей

катихизисъ усвоить и къ какому обществу примкнуть должно по совѣсти.

Не безъ цѣли предпосылаю это личное объясненіе. Между прочимъ слышу ожиданія (въ числѣ другихъ и отъ уважаемаго А. М. Иванцова-Платонова), что въ своихъ воспоминаніяхъ, печатаемыхъ подъ заглавіемъ „Изъ прожитаго“, я изложу свое отношеніе къ каѳедрамъ, которыя занималъ въ духовной академіи. Этого не будетъ: въ автобіографіи курсамъ наукъ не мѣсто. Давать научныя воспоминанія отдѣльными экскурсіями въ области знанія, съ которыми приходилось имѣть дѣло, я не прочь. Таковы и настоящія мои письма: въ нихъ будетъ не одно объективное изложеніе, но и исповѣдь, тѣмъ болѣе обязательная для меня, что не одинъ митрополитъ Филаретъ оказался въ недоразумѣніи относительно моихъ чтеній. *)

Присоединяется еще и другое побужденіе. По поводу статей о Ѳедосѣевцахъ въ „Современныхъ Извѣстіяхъ“, однимъ изъ серьезныхъ органовъ выражено было удивленіе, что я, обыкновенно „отстаивающій раскольниковъ“, выступилъ противъ нихъ; другой съ запальчивостью, перешедшею всѣ мѣры приличія, предъявилъ мнѣ обвиненіе въ слушаніи сплетенъ, въ „неблаговидной агитаціи“, въ „гадкихъ инсинуаціяхъ“. Давняя обязан-

*) Съ признательностью упоминаю о тепломъ словѣ, которымъ почтилъ мое преподавательское вліяніе Г. П. Смирновъ-Платоновъ въ своей автобіографіи (она была напечатана въ предисловіи къ журналу «Дѣтская помощь»). Бѣгло, но вѣрно отмѣчены нѣкоторыя черты тогдашняго моего служенія. Наоборотъ доходили до меня, случалось, подъ видомъ выслушанныхъ отъ меня, совершенные курьезы, въ которыхъ за извращеніями едва можно было даже догадаться, какая подлинная моя мысль послужила основою. Такія попадаются, между прочимъ, у Щапова. Можно догадываться, что они перешли къ нему чрезъ моихъ слушателей, но въ искаженіи и преувеличеніи.

Для незнакомыхъ съ исторіею духовнаго просвѣщенія поясню, что объективная научная постановка раскола (внѣ полемическихъ цѣлей) начата въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ именно мною и значительно ранѣе 1854 года, когда открыты при академіяхъ миссіонерскія отдѣленія для борьбы съ расколомъ, а потомъ въ Казани, гдѣ и академія и журналъ при ней «Православный Собесѣдникъ» спеціализовались въ этомъ направленіи, назначена была Щапову каѳедра по расколу. Естественно было Щапову свѣриться съ предшествовавшимъ ему изслѣдователемъ; но записокъ, по крайней мѣрѣ провѣренныхъ мною, послѣ меня не осталось.

ность исповѣди, въ виду такихъ нареканій (основанныхъ впрочемъ на незнаніи раскола), предстаетъ съ особенною настоятельностію.

Много чести моимъ современнымъ возражателямъ—сравнить ихъ съ митрополитомъ Филаретомъ. Ихъ незнаніе о расколѣ, настолько же полное, насколько совершенно было знаніе у митрополита *). Но между тѣмъ и другими есть общее, что расколъ обсуживается отвнѣ: одинъ смотритъ на него съ догматической истины, другіе съ государственнаго порядка. Эти внѣшніе взгляды мнѣ придется обговорить, прежде чѣмъ излагать свою „Логику".

Противъ мнѣнія моего о современной бракоборной агитаціи среди Ѳедосѣевцевъ выставленъ былъ между прочимъ авторитетъ Мельникова. Вы понимаете, что авторитетъ Мельникова для меня немногимъ выше, чѣмъ авторитетъ Ливанова, который послѣ Мельникова былъ присаженъ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ къ раскольничьимъ дѣламъ,—хотя тотъ и другой держались совсѣмъ обратнаго направленія. Но я доволенъ этою ссылкою: она напоминаетъ мнѣ еще о недостаткѣ, свойственномъ большинству воззрѣній на расколъ, объ о г у л ь н о с т и въ сужденіяхъ. Если Ливановъ готовъ былъ видѣть (да и искалъ) въ каждой безъ исключенія вѣтви раскола гнѣздо обыкновенныхъ уголовныхъ преступленій противъ общаго права; то Мельниковъ, рекомендуя правительству невинность вѣрующихъ въ пришествіе антихриста, считаетъ даже такую секту какъ Странники не болѣе какъ дармоѣдами.

Полагаю себя уволеннымъ отъ разбора Ливановскихъ мнѣній: крайность этого писателя, переходящая часто въ несправедливость, уже осуждена общимъ мнѣніемъ. Беру прямолинейность Мельникова, на котораго мнѣ указали въ полемикѣ о Ѳедосѣевцахъ. Вѣротерпимость требуетъ оставить Ѳедосѣевскій толкъ въ покоѣ, не смотря на то, что онъ вѣруетъ въ пришествіе

*) Возражавшій въ «Новомъ Времени» дошелъ даже до курьеза: оффиціальный органъ миссіонерскаго братства — «Братское Слово» принятъ имъ за «раскольничій журнальчикъ».

антихриста, отрицаетъ бракъ и молитву за царя. Таково общее положеніе, съ которымъ я вполнѣ соглашаюсь: политика въ отношеніи къ иновѣрнымъ должна руководиться не исповѣдною формулою, а практикой, которая ее осуществляетъ; практика же Ѳедосѣевцевъ вообще уживается и съ бракомъ и съ вѣрноподданствомъ. Но когда бракоборство является принуждающею властью; когда ею издаются правила: „кто молится за царя, того не допускать къ общенію въ молитвѣ; кто признаетъ бракъ бракомъ и жену женою, а не блудницею, того не принимать даже на исповѣдь, прежде нежели разведется“; когда этого ученія и этихъ правилъ ведется дѣятельная пропаганда, влекущая къ разврату и къ дѣтоистребленію; когда на случай нужды заготовляется для руковожденія сектою резиденція за границей: политика къ этому движенію въ толкѣ должна ли продолжать неизмѣнное равнодушіе?

Могутъ возразить даже знающіе люди: „да несогласные съ фанатиками-бракоборами вольны отойти и образовать новое согласіе“. Казалось бы такъ; но моленная, гдѣ движеніе произошло, есть центръ, общею совѣстію признанный. Не говорятъ: „я Ѳедосѣевецъ“, а „я по Преображенскому“. За Преображенскимъ кладбищемъ есть преданіе; въ немъ святыня и само оно святыня. Завести новую моленную есть даже неосуществимое почти дѣло, требующее не мало денежныхъ средствъ и хлопотъ съ администраціею. А сюда кромѣ того текутъ и приношенія десятками и сотнями тысячъ. Не нелѣпость ли, что въ слѣдъ за революціею въ Парижѣ вся Франція переходитъ къ принципамъ, провозглашеннымъ столицею? Кладбище съ воспоминаніями объ Ильѣ Алексѣевичѣ и Семенѣ Кузмичѣ есть духовный Парижъ для секты. И вотъ новожены (принимающіе бракъ и не возражающіе противъ молитвы за царя), хотя спорятъ и досадуютъ, но повинуются власти ихъ отлучившей, ѣдутъ въ праздникъ и становятся въ моленной среди другихъ, оплеванными, опозоренными, лишенными права руку поднять перекреститься,— за то что не соглашаются признать жену непотребной женщиной и отречься отъ дѣтей. Отъ родительскаго дома отрекаться

всегда тяжело, хотя бы при непріятностяхъ, испытываемыхъ отъ семейства; какъ покинуть кладбище, духовную колыбель?

Однако пускай совершается безъ помѣхи и это гоненіе новоженовъ, воздвигаемое бракоборами. Дѣло внутреннее секты, дѣло ихъ совѣсти; къ чему мѣшаться правительству?—А то-то и нѣтъ. Власть Преображенскаго кладбища есть правительствомъ утвержденная власть. Въ ея дѣйствіяхъ правительство становится соучастникомъ, и тѣмъ ближайшимъ, что попечители утверждены пожизненно; оппозиція (новожены) лишены права перевыбрать кладбищенскій кабинетъ. Правительственное кажущееся невмѣшательство обращается на дѣлѣ въ содѣйствіе одной сторонѣ противъ другой съ принуждающею силою: правила, воздвигшія гоненіе на бракъ и молитву за царя, молитвенный уставъ, предписывающій это гоненіе, становятся дѣломъ столько же вождей бракоборства, сколько и государственной власти, пожизненно ихъ утвердившей.

Вотъ къ чему доводитъ огульная оцѣнка; неизбѣжно между прочимъ проглядывается ею и движеніе въ расколѣ. Назову этотъ недостатокъ пренебреженіемъ къ перспективѣ во времени, какъ невниманіе къ оттѣнкамъ сектъ страдаетъ отсутствіемъ перспективы въ пространствѣ. Записка Мельникова, мнѣ противопоставленная, относилась къ 1875 году, тогда какъ я говорилъ о событіяхъ настоящаго и прошлаго года. Расколъ есть процессъ. Масштабъ не только Дмитрія Ростовскаго, даже Андрея Іоаннова не годится для XIX столѣтія. О совершающемся сейчасъ не вполнѣ можно судить по даннымъ, имѣвшимся подъ рукою двадцать и даже десять лѣтъ назадъ.

Я упомянулъ о двухъ внѣшнихъ взглядахъ на расколъ: полемическомъ (митрополитъ Филаретъ въ своемъ упрекѣ мнѣ) и, выражусь такъ—полицейскомъ (Мельниковъ, Ливановъ, мои возражатели въ петербургской печати). Есть и еще точка зрѣнія, столь же внѣшняя: назову ее „культурною“. Спрашиваютъ: чего ожидать отъ раскола для прогресса Россіи? Какъ полицейскій взглядъ выражается двумя обратными направленіями, преслѣдовательнымъ и равнодушнымъ, такъ и культурный. Если

ближайшіе послѣдователи Герцена надѣялись получить въ расколѣ лишнее орудіе соціалистической и атеистической пропаганды, то намъ съ вами не безызвѣстны почтенные люди, которые полагаютъ, что Россія, наоборотъ, должна отъ сектъ ожидать духовнаго возрожденія. Надежда, по моему мнѣнію, столь же мечтательная, какъ оказались и разсчеты герценистовъ; но не о томъ рѣчь. Внѣшнія воззрѣнія, тѣ и другія, могутъ быть истинны и могутъ быть ложны, каждое съ своей точки, но всѣ они не то, чего расколъ, какъ и всякое вѣроученіе, имѣетъ право требовать прежде всего. Для того чтобы рѣшать, какъ поступать съ расколомъ и чего отъ него ожидать политическому и соціальному быту Россіи или въ частности ея духовному просвѣщенію, нужно прежде всмотрѣться, что̀ такое расколъ есть самъ въ себѣ, вникнуть въ его душу. Помимо своихъ внѣшнихъ отношеній, онъ есть одинъ изъ видовъ удовлетворенія религіозной потребности, опредѣляемый историческими духовными задатками, въ которыхъ ни отдѣльныя лица, къ нему принадлежащія, ни весь онъ, какъ особый міръ, не вольны. Съ этой стороны нужно его узнать.

Полемическій взглядъ (онъ свойственъ всѣмъ богословамъ) видитъ въ расколѣ заблужденіе и сущностью его полагаетъ мнѣнія. Расколъ въ этомъ случаѣ не можетъ жаловаться на богослововъ; въ томъ же видѣ представляются имъ другія исповѣданія. По ихъ понятію, каждое исповѣданіе есть мнѣніе, пожалуй и вѣрованіе; но самое вѣрованіе представляется въ видѣ мнѣнія. Слѣдовательно, заключаютъ богословы, стóитъ только убѣдить латинца ли, протестанта ли, или тамъ кого другого (на этотъ разъ раскольника) въ неосновательности мнѣнія: тогда оно падетъ, и вѣрованіе, поколику оно есть ложное, исчезнетъ. Ложное вѣрованіе уступитъ, по крайней мѣрѣ должно уступить, истинному. Иначе это будетъ уже „противленіемъ истинѣ“, доказанной, кажется, какъ нельзя яснѣе.

Какъ это просто! Для вящшаго удобства, вѣрованіе, то есть мнѣнія, принимаемыя за вѣрованіе, раскладываются по пунктамъ. Изъ нихъ найдутся, разумѣется, нѣкоторые согласные

съ истиною. Они откладываются, и баттарея выставляется только противъ тѣхъ, которые несогласны съ символомъ полемиста. Однимъ словомъ, какъ бы дѣло шло о наслѣдствѣ и нужно доказывать суду права: представь документы и получай вводный листъ. Или предлежитъ рѣшенію: кто де жилъ ранѣе, Василій Темный или Іоаннъ Грозный? Послѣ буквальнаго удостовѣренія лѣтописей странно ожидать продолженія возраженій и позволительно обозвать спорщиковъ тупоумными или же упрямыми до безумія.

На дѣлѣ вѣроисповѣдная борьба однако не слушается какъ-то этихъ ожиданій. Вѣками идутъ препирательства, и безъ всякаго успѣха. Каждое вѣроисповѣданіе стоитъ себѣ по прежнему, увѣренное въ своей истинѣ, не смотря на всѣ обличенія, возраженія, возобличенія; и если движется, то обыкновенно въ обратную сторону, не къ сближенію, а къ дальнѣйшему разлученію. Что же бы это значило?

Вотъ православный полемикъ и предъ нимъ раскольникъ. Ты признаешь авторитетъ *Большого Катихизиса?* спрашиваетъ борецъ православія.—Признаю.—И *Книги о вѣрѣ?*—И *Книги о вѣрѣ.*—Почитаешь старопечатныя книги и вѣришь свидѣтельству харатейныхъ письменныхъ?—Почитаю и вѣрю.—Такъ вотъ тебѣ. И представляетъ свидѣтельства,—о чемъ угодно: объ имени *Іисусъ*, четвероконечномъ крестѣ, тройномъ аллилуіа, даже о троеперстномъ знаменіи (пунктъ наиболѣе слабый, однако и за него есть перстосложеніе мощей); далѣе—о нескончаемости іерархіи и таинствъ. Православный повидимому разбиваетъ противника. Онъ разбиваетъ дѣйствительно, но что?—пункты вѣроученія въ отдѣльности, и даже не сами въ себѣ, а въ томъ видѣ, какъ они поставлены противникомъ. Разбиваетъ ихъ внѣ связи, которою они держатся между собою, и еще далѣе отъ живой связи ихъ съ вѣрующею душою. Но не по тѣмъ основаніямъ приняла душа этотъ пунктъ и другіе, значащіеся въ символѣ; и приняла она вовсе не пункты, а вѣрованіе. И вѣрованіе ея вовсе не есть только мнѣніе. Удивляться поэтому, а еще болѣе—негодовать на успѣхъ вѣро-

исповѣдной полемики нечего. По психологическому закону она и должна приводить скорѣе къ обратному; къ досадѣ „уличеннаго въ заблужденіи“ и отсюда не только къ коснѣнію, а даже къ фанатической возбужденности. „Не нашелся, не сообразилъ; а непремѣнно есть другія, крѣпкія свидѣтельства, опровергающія *его*. Да еще правильно ли *онъ* привелъ и истолковалъ? Подлинныя ли эти рукописи? Въ связи ли прочтено мѣсто?“—Вотъ мысли, которыя начинаютъ копошиться въ умѣ „обличаемаго“. И придетъ время, онъ найдется, онъ дѣйствительно подыщетъ авторитеты; въ случаѣ крайности отступится даже, отъ формулы, въ которой его побивали, скажетъ: „ну, такъ я не такъ выразился, а вотъ какъ“. Формула будетъ брошена, а вѣрованіе останется.

Съ единицами успѣхъ еще возможенъ, и притомъ чѣмъ вѣрованіе моложе, иначе чѣмъ менѣе за нимъ преданій, и потомъ—чѣмъ ближе вѣрованіе къ мнѣнію, иначе чѣмъ менѣе оно есть тѣмъ, чѣмъ оно есть, наконецъ—чѣмъ менѣе оно коллективно. Коллективное вѣрованіе есть уже стихійная сила, которая не слушаетъ разсужденій. Да попробуйте и единичную особь перевернуть, когда дѣло идетъ, не о вѣрѣ положимъ, а о любви, родственную ли возьмете или половую. Расписывайте какіе угодно недостатки любимыхъ лицъ, пусть несомнѣнные, доказывайте неопровержимо ложность разсчетовъ, на которыхъ можетъ основываться связь: великъ ли будетъ успѣхъ? Потому что связь родилась или основалась не на разсчетахъ и не на оцѣнкѣ достоинствъ, а по влеченію крови или побужденіямъ, которыя анализу недоступны. Подастся связь, основанная на разсчетѣ. Такъ и въ дѣлѣ вѣры: предъ умствованіями уступитъ заблужденіе, основавшееся на умствованіяхъ же. Вѣра и любовь—явленія однородныя. Хотя любовь родственная, а тѣмъ болѣе половая, принадлежатъ матеріальному порядку; но законъ тотъ же и въ матеріальныхъ явленіяхъ, когда ими подмѣниваются духовныя. У нихъ своя логика, которая въ своей истинѣ открывается сознанію большею частію уже post factum. Современно же явленію сознаніе никогда не является полнымъ и бываетъ всего менѣе точнымъ у самого любящаго или вѣрующаго.

Какой убѣдительный примѣръ видимъ въ полемикѣ между католичествомъ и протестантствомъ! Сколько исписано томовъ въ два столѣтія! Этажи заставишь словопреніями; да и теперь они отчасти продолжаются. И что нелѣпѣе, если взять, напримѣръ, хотя папизмъ? У кого еще встрѣтишь такія гнилыя основанія, догматическія и историческія, такое поразительное противорѣчіе и здравому разсудку и совѣсти? И однако католичество не только здравствуетъ, но еще сила. И однако есть умы замѣчательные и характеры благородные, которые вѣруютъ, да еще искренно, въ папу и въ его непогрѣшимость. Милліоны же перестали вѣровать, но не перестануть быть папистами.

Вѣроисповѣданіе не есть мнѣніе и не есть формула, и даже не совсѣмъ то же, что личное вѣрованіе. Вспоминаю впечатлѣніе, произведенное во мнѣ сравнительною таблицею Винера, именно когда я приступалъ къ наукѣ, которую предстояло преподавать. Разграфлено нѣсколько столбцовъ и надъ ними написано: „православно-греческое, католическое, евангелическое, реформатское“ и т. д. Идутъ догматы, положимъ: „Духъ Святый исходитъ“. Эти слова тянутся чрезъ всѣ столбцы, а равно и дальнѣйшія „отъ Отца;“ затѣмъ во всѣхъ клѣткахъ, кромѣ отведенныхъ греческому, стоитъ еще „и отъ Сына“. И такъ — всѣ догматы, расположенные, разумѣется, въ системѣ. Въ одной залѣ будутъ у васъ черепа, да и то не цѣлые, а частями, смотря по уклоненіямъ лицевого угла; въ другой обрывки нервовъ, мускуловъ, обломки костей. И вамъ скажутъ: вы имѣете предъ собою кавказское племя, познакомились и съ тунгузскимъ. То же со сравнительнымъ представленіемъ вѣроисповѣданій, этимъ основаніемъ полемики и критики, ея матеріаломъ. Его нельзя назвать даже анатомическимъ, потому что анатомія представляетъ пусть скелетъ только, но все же полный оставъ, по которому можно, хотя отвлеченно, догадываться о живомъ человѣкѣ. Здѣсь же и остава цѣльнаго нѣтъ.

Понятно, я не думаю отвергать полемику и критическое сравненіе вѣроученій по пунктамъ; я хочу сказать, что критика не даетъ понятія о сущности вѣроисповѣданій, и полемика

есть наименѣе надежный способъ къ ихъ примиренію. Не могу не жалѣть особенно, когда полемику, а это случается, смѣшиваютъ съ миссіонерствомъ. Миссіонеръ призванъ дѣйствовать на все существо вѣрующаго и всѣмъ своимъ существомъ, а не на внѣшній приборъ ума внѣшними умствованіями; плодъ миссіонерства есть переворотъ духовной жизни, а не принятіе такихъ мнѣній и отказъ отъ другихъ. Полемика имѣетъ интересъ для знанія, освѣщая истину съ новыхъ точекъ, представляетъ интересъ нравственный, какъ „дѣйство любви“, по счастливому выраженію раскольника, подслушанному братомъ ли вашимъ Константиномъ Сергѣевичемъ или Хомяковымъ. Въ томъ и другомъ случаѣ она имѣетъ болѣе значенія для самого полемизующаго, а не для того, противъ кого направлена. Если же и сопровождается успѣхомъ, то когда, какъ и гдѣ? Вотъ чего никакъ не предугадаетъ полемикъ: иногда одно слово, и совсѣмъ не то, на которое разсчитывалъ говорившій или писавшій, возбуждаетъ процессъ въ душѣ слышавшаго или читавшаго, независимый отъ порядка идей, въ которомъ оно стояло: а подошли другія родственныя побужденія, подоспѣли другіе назрѣвшіе доводы, подхватила и заплела другая сѣть идей. Припомнимъ притчу о сѣятелѣ; сѣмя упадетъ и возрастетъ, но на почвѣ, гдѣ уже готовы другія условія къ прозябенію.

Къ остальнымъ внѣшнимъ воззрѣніямъ на расколъ я перейду въ слѣдующемъ письмѣ.

II.

Если критикъ обращается къ отвлеченной формулѣ и притомъ раздробленной на пункты, то полиціантъ, свѣтскій или духовный, беретъ расколъ какъ цѣльное, живое явленіе. Его взглядъ въ этомъ отношеніи точнѣе полемическаго; онъ видитъ человѣка, а не букву. Но физіологія раскола ему также чужда. Какъ тотъ сравниваетъ пункты вѣроученія съ отвлеченною (предполагаемою) истиною, такъ его озабочиваетъ порядокъ (тоже условный). Я сказалъ выше, что это воззрѣніе разби-

вается на два противоположныя. Займусь прежде тѣмъ, которое относится къ расколу отрицательно, какъ и полемическое.

Что̀ такое расколъ?—Явленіе, выбѣгающее изъ формъ, освященныхъ закономъ; пятно на чистомъ полу; кривая линія въ прямоугольникѣ, разбитомъ на квадраты; выпятившаяся грудь изъ фронта или даже дезертирство. Такъ и назову этотъ взглядъ *фронтовымъ*.

Для фронтового взгляда не важны формулы вѣры, ни само чувство вѣрованія; онъ къ нимъ въ существѣ равнодушенъ, но его возмущаетъ внѣшнее выраженіе, оскорбляетъ отступленіе отъ общеуказанной наружности. Будь про себя чѣмъ хочешь, да показывай себя какъ всѣ. Бываетъ, и ученіе возбуждаетъ во фронтовикѣ интересъ, вызываетъ его и на полемику, которая принимаетъ видъ радѣнія объ истинѣ. Не вѣрьте: не въ истинѣ и не въ убѣжденіи дѣло, а въ единообразіи и повиновеніи. Оно только себя называетъ истиной и убѣжденіемъ: истина въ томъ, чего требуетъ порядокъ; завтра онъ измѣнится—измѣнятся и истина и убѣжденіе. Сообразно съ такой теорической посылкой и практическій пріемъ болѣе облюбовывается употребительный въ обыкновенномъ фронтѣ: за дезертирство—сквозь строй, за выпяченную грудь—розги.

Не знаю, нужно ли мнѣ доказывать, что къ религіознымъ вѣрованіямъ примѣнять требованіе фронтового строя значитъ отрицать самую ихъ сущность; вѣра и есть непринужденное, самостоятельное принятіе и усвоеніе. Дисциплина можетъ истекать изъ вѣры и требоваться ею, но онѣ никакъ не одно и то же, и тѣмъ менѣе позволительно выводить, наоборотъ, вѣру изъ дисциплины. Лишь католицизмъ ухитрился на это; но за то онъ заключаетъ въ себѣ скрытое безвѣріе, которое въ историческомъ развитіи и выплыло наружу, какъ законное дитя законнаго отца. Вѣра предполагаетъ свободу, непремѣнный внутренній починъ, а не внѣшній.

Тѣмъ не менѣе фронтовой взглядъ на религіозныя явленія есть взглядъ у насъ оффиціальный, и на расколъ обрушился онъ даже тяжеле, нежели на другія исповѣданія, потому что

расколомъ отступили отъ узаконеннаго вѣрованія не мысль только и вѣрованіе, а общество со своими формами, отличными отъ указанныхъ, со своею даже іерархіею, общество, притомъ, прямо и возникшее изъ ослушанія государственной и церковной власти. Законодательство такъ и осталось со взглядомъ на расколъ, какъ на мятежъ; ему отказываютъ въ гражданскомъ полноправіи. Если въ свѣдѣніяхъ довольствоваться однимъ Сводомъ Законовъ, то надлежало бы признать, что лѣтъ черезъ 25, много чрезъ 50, никакихъ сектъ у насъ не будетъ. Переходъ изъ господствующаго вѣроисповѣданія запрещенъ, пропаганда подлежитъ строгимъ уголовнымъ карамъ; слѣдовательно, только вымри живущіе сектанты, особенно безпоповцы и скопцы, тогда водворится желаемое единство.

Но единство не водворяется; секты продолжаютъ существовать, отчасти размножаясь и распространяясь, во всякомъ случаѣ воспроизводясь въ новыхъ лицахъ, принимающихъ особенную вѣру частію по наслѣдству, отъ расколоучителей, а частію по собственному почину, подъ диктовку выведенной изъ коснаго состоянія совѣсти. Вѣрованія, успѣвшія сложиться въ общества, выдержавшія преслѣдованіе втеченіе слишкомъ двухъ сотъ лѣтъ, и притомъ ужившіяся и съ предержащею властью и съ окружающимъ обществомъ, продолжая развиваться: уже не мятежъ. Очевидно, они суть органическія части цѣлаго, лишь не признанныя и не узнанныя въ своей сущности. По дипломатическому слововыраженію, ихъ должно признать воюющею стороною, если уже миръ и дипломатическія сношенія съ ними невозможны. Пусть Лазарь и Аввакумъ были мятежники въ виду положительнаго сопротивленія, оказаннаго ими государственной власти, и въ виду намѣренія, ниспровергнувъ узаконенныя формы, утвердить другія. Но теперь какой-нибудь Андрей Ефимовъ, обращающійся въ расколъ, только переходитъ отъ одного готоваго общества къ другому, готовому же; онъ ничего не затѣваетъ, ничего не ниспровергаетъ.

Государственная власть впрочемъ и перестаетъ видѣть въ расколѣ мятежъ, хотя букву закона оставляетъ въ старомъ

воззрѣніи: убѣдились въ живучести раскола. Кромѣ того, историческій опытъ вынудилъ примириться вообще съ разновѣріемъ. По покоренiи Казанскаго и Астраханскаго царствъ, затѣмъ Балтійскаго поморья и наконецъ Западнаго края, не только русское подданство, но и русская народность перестали быть однозначущими съ православіемъ; пришла необходимость оказать иновѣрію не одно гостепріимство, какъ прежде, а дать полныя права гражданства. Рядомъ съ православною іерархіею появились іерархіи другихъ исповѣданій, названныхъ „иностранными“ въ воспоминаніе прежней слитности народа и государства съ вѣрою. Противъ раскола суровые законы удержаны, можно сказать безошибочно, лишь изъ уваженія къ православной іерархіи. Она одна въ сущности и осталась представительницею фронтового начала. Произошло странное перемѣщеніе принциповъ: за совѣсть сталъ представитель силы—государственная власть, за силу и принужденіе—представитель совѣсти, духовенство. Съ тѣмъ вмѣстѣ открылось рѣдкое зрѣлище оффиціальнаго лицемѣрія и двоедушія власти самой съ собою: законы угрожаютъ и карaютъ, административные наказы предостерегаютъ противъ ихъ строгаго примѣненія; въ полной извѣстности для всѣхъ, кто желаетъ знать, продолжаются расколомъ проповѣдь и развитіе, правительственныя же сношенія едва признаютъ самое существованіе раскола, и если говорятъ о немъ, то не иначе, какъ „конфиденціально“ и подъ „секретомъ“. Раздѣленіе проникло въ самое духовенство. Низшій слой, непосредственно соприкасающійся съ расколомъ, относится къ нему равнодушно большею частію, иногда даже покровительственно, довольствуясь данью отъ „заблудшихъ чадъ“; причтъ въ иныхъ мѣстахъ былъ бы даже огорченъ пожалуй, когда бы вмѣсто взятокъ за требы пришлось брать съ прихожанъ обыкновенную плату за требы.*) Лишь далѣе по іерархической лѣстницѣ начинаетъ преобладать настоящій фронтовой взглядъ, и чѣмъ выше, тѣмъ суровѣй. По кажущейся аномаліи, но легко объ-

*) Таково было, говорятъ, поведеніе духовенства въ Гуслицахъ.

яснимой, самое горячее радѣніе о единеніи вѣръ, доходящее почти до инквизиціоннаго, находитъ впрочемъ представителей не въ духовныхъ, а въ свѣтскихъ изувѣрахъ, немногихъ къ счастію.

Первое послѣдствіе такого положенія—деморализація агентовъ власти, для которыхъ расколъ есть только лишняя статья сверхзаконныхъ доходовъ. Затѣмъ правительство лицемѣрною тайною себѣ же закрываетъ глаза и само себѣ связываетъ руки, лишая себя свѣдѣній, на основаніи которыхъ могло бы цѣлесообразно дѣйствовать; мнимо усиленное наблюденіе обращается на дѣлѣ въ отсутствіе всякаго наблюденія. По отношенію же къ сектантамъ этотъ двоящійся взглядъ разрѣшается въ противорѣчивыя дѣйствія, съ нарушеніемъ иногда элементарной справедливости. Безопасность сектанта стала въ зависимость отъ случая, смотря по тому, къ чему больше душа лежитъ у ближайшаго начальства, къ суровому ли закону или къ потворствующимъ предписаніямъ. Въ одномъ мѣстѣ свободно проповѣдуютъ и совращаютъ; въ другомъ за проступки болѣе маловажные высиживаютъ въ тюрьмѣ и идутъ на поселеніе.

Приводить ли примѣры? Извѣстенъ случай, что становой въ мѣстности, населенной старообрядцами, періодически прибѣгалъ къ сниманію колокола съ моленной. Проигрался: сотскаго за колоколомъ! Женѣ нужна шуба: снова колоколъ! А не далѣе зимы нынѣшняго года произошелъ совершенный даже курьезъ. По Кавказу началъ разъѣзжать съ проповѣдью сосланный туда распространитель, кажется, штунды, и по справкѣ оказалось, что проповѣдникъ ѣздитъ по законному виду, гласившему: „данъ сей для свободнаго жительства и проѣзда *распространителю лжеученія* штунды такому-то“. Я не преувеличиваю: можно отыскать епархіальныя вѣдомости, гдѣ это происшествіе сообщается оффиціально. Говорить ли далѣе о томъ, что пытавшіеся воспроизвести старопечатныя богослужебныя книги поплатились тюрьмою, а бракоборный молитвенный уставъ, содержаніемъ своимъ уже не Іосифовской псалтыри чета, напечатанный контрабандным способомъ, гуляетъ по бѣлу свѣту? Должно быть, въ одномъ случаѣ становой, околоточный или

сыскной чиновникъ оказался слишкомъ требовательнымъ, въ другомъ нарушители закона достаточно щедрыми.

Какой анахронизмъ однако прилагать къ Іосифовскому служебнику или требнику воззрѣнія второй половины XVII столѣтія! Кому они какой вредъ принесутъ? Несправедливость тѣмъ очевиднѣе, что тѣ же книги разрѣшается печатать въ единовѣрческой типографіи! Но не говоря о старопечатной литературѣ, безусловное запрещеніе и современной сектантской только поддерживаетъ рукописную, даетъ жизнь контрабандной печатной, отнимая вмѣстѣ у правительства церковнаго и гражданскаго средства слѣдить за развитіемъ раскола.

Скажу и о собраніяхъ сектантскихъ. Въ сущности они совершаются невозбранно, хотя запрещены (помимо молитвенныхъ и притомъ для ограниченнаго числа моленныхъ). „Что̀ тамъ такое?“—Да именины. Не достаточно ли этого въ самомъ дѣлѣ, чтобъ участковому приставу очистить совѣсть? Не производить же скандалъ, не разогнать же собраніе. Этимъ нарушена будетъ, вопервыхъ, оффиціальная тайна, раскола де здѣсь не значится; а вовторыхъ, поступлено будетъ противъ инструкціи, предписывающей не очень строго налегать на примѣненіи закона. Какъ еще покажется начальству! И выходитъ, что гонимые закономъ пользуются на дѣлѣ общественною свободою, болѣе широкою, нежели полноправные граждане. Чтобы справить дѣйствительныя именины или крестины съ нѣкоторою торжественностью, вы должны запастись разрѣшеніемъ и отдать себя подъ надзоръ городового или жандарма. Чтобы открыть клубъ для картъ и билліарда, должны отправляться въ Петербургъ и утруждать министра. А собираться для совращеній въ вѣрѣ можно безъ стѣсненій, соблюдя лишь ту предосторожность, чтобы не слишкомъ выставляться, въ чемъ поможетъ сама администрація, избавляя васъ на этотъ разъ и отъ городового и отъ жандарма. Да и что̀ тутъ дѣлать жандарму? Много онъ смыслитъ о чувственномъ и мысленномъ антихристѣ, о трехъ чинахъ пріема еретиковъ? Въ чью же руку тайна и на которой сторонѣ больше свободы?

Фронтовыя чувства высшаго духовенства въ глубочайшемъ основаніи возбуждаются досадою о потерянной власти. Они напоминаютъ неудовольствіе крѣпостника, не прощающаго, что бывшій его человѣкъ проходитъ мимо, не снимая шапки. Низшее духовенство, напротивъ, никогда не пытавшееся занять въ отношеніи къ народу положеніе патеровъ и пасторовъ, жившее съ нимъ одною жизнію, панибратски, смотрящее на себя народными же глазами, какъ на требоисправителей, потому не могло и тужить о власти, на которую не имѣло притязанія. Свѣтскіе же ревнители оскорбляются и за духовенство и за себя тѣмъ сильнѣе, чѣмъ выше ставятъ вѣру, которую представляютъ поруганною. Утраченная власть неспособна возбуждать столь сильныя чувства, какъ оскорбленная любовь или поруганная святыня.

Таковы основанія психологическія. Логическія основанія другія, и ихъ вдосталь можно начитаться въ церковной публицистикѣ. Сквозь софизмы коренное однако побужденіе проглядываетъ. „Возможно ли? Такъ дойдетъ до того, что сиволапый мужикъ, самозванный архіерей, станетъ рядомъ съ законнымъ епископомъ!“ Или: „дайте имъ волю, они потребуютъ Успенскаго собора“. Если бы не было упомянутаго психологическаго основанія, то сообразили бы, что ревнителю вѣры, которой первыми распространителями и борцами были галилейскіе рыбаки, словно бы и не пристало упирать на мужицкое происхожденіе противниковъ. Равно бы сообразили, что противники дѣйствительно и объявляютъ Успенскій соборъ оскверненнымъ, по однимъ — еретическими обрядами, по другимъ — антихристовою печатью; въ томъ и вопросъ. — Или употребляются доводы ad hominem: государственная власть должна поддерживать православіе (т. е. іерархію), потому что имъ она сама держится; расколъ есть оскорбленіе не только Церкви (т. е. іерархіи), но и государственной власти. Въ томъ и дѣло опять, что православіе одинаково приписывается себѣ и тѣмъ ученіемъ, которое вы противопоставляете себѣ, какъ неправославное; и то общество, на которое вы стараетесь поднять правительственную руку, готово оказать государственной власти ту же услугу, какую вы

себѣ присвояете въ видѣ монополіи. Не замѣчаютъ, что смѣшиваются два понятія: о государствѣ и государственной власти вообще, и о государственной власти случайно единовѣрной которому-нибудь изъ препирающихся. Пусть въ самомъ дѣлѣ сообразятъ ревнители фронтового единовѣрія, что они живутъ въ старообрядческомъ государствѣ и поставлены въ положеніе, котораго требуютъ для раскольниковъ. Останутся ли они при тѣхъ самыхъ совѣтахъ и при тѣхъ же доводахъ?

Я впрочемъ не думаю сплошь отвергать практическія заключенія, къ которымъ ревнители вѣроисповѣднаго фронта желали бы привести правительство. Обращаю вниманіе лишь на софистическій характеръ доводовъ и хочу сказать, что такіе пріемы — потерянный трудъ, въ добавокъ унижающій того, кто къ нимъ прибѣгаетъ. Въ особенности достойно сожалѣнія, когда, пользуясь двойственностью государственныхъ отношеній къ расколу, накидываются съ яростью на исполнителей закона, почему-де они не соблюдаютъ его во всей суровости. Нужно считаться со временемъ и нельзя же оставаться при понятіяхъ, которыя еще были, можетъ-быть, къ лицу во время Питирима. Обличителямъ-гонителямъ все кажется, какъ въ XVII столѣтіи (да и тогда ожиданія обманулись), что стоитъ только приналечь, и раскола не будетъ. Да приналечь-то нельзя, минуя все, потому уже одному, что душа исполнителей, на которыхъ вы накидываетесь, не перемѣнится, хотя бы снисходительные къ расколу циркуляры замѣнены были суровѣйшими наказами. Нужно, чтобъ становые и губернаторы воскипѣли ревностью, которою одушевлены вы. Найдете вы такихъ много? Или того уже не захотите ли, чтобы на мѣсто становыхъ прямо ставить благочинныхъ?

Если агенты гражданской власти деморализуются двойственностью правительственныхъ теченій, то духовенство и того болѣе развращаетъ себя коснѣніемъ во фронтовомъ взглядѣ. Въ этомъ отношеніи замѣчательно, что изъ всѣхъ возможныхъ доводовъ ревнители духовнаго фронта постоянно обходятъ одинъ, который былъ бы самымъ существеннымъ въ ихъ пользу: съ

полною свободою раскола права его окажутся выше, нежели господствующей Церкви. Сектанты имѣютъ выборную іерархію, не нуждаются въ государственной помощи, не терпятъ, да и впредь не потерпятъ бюрократическаго вмѣшательства въ церковныя дѣла. Нигдѣ я этого аргумента у православныхъ обличителей не читалъ. Напротивъ, ревнители казеннаго православія готовы поставить расколу даже въ обвинительный пунктъ его церковную самостоятельность; сами же лобызаютъ зависимость Церкви отъ гражданской власти, хотѣли бы сѣсть къ ней совсѣмъ на руки, и не прочь доказывать, что въ этомъ даже состоитъ достодолжное преимущество истинно-православнаго церковнаго устройства!

„Лишь бы числились нашими!“ Желаніе ревнителей фронта только этимъ и ограничивается, и оно-то есть глубочайшая деморализація. Въ немъ скрывается прямое отрицаніе вѣры, и первымъ его послѣдствіемъ является небреженіе о духовной жизни пасомыхъ, за признаніемъ ея ненадобности. „Столько-то сотенъ или тысячъ перечислилось въ православіе!“—восклицается съ торжествомъ, и душа радуется. То-есть, что же это значитъ? Будутъ ходить къ исповѣди и причастію, сначала можетъ-быть усердно, потомъ слабѣе, механическимъ отношеніемъ къ Церкви сравниваясь съ остальными прихожанами. А совершилось ли духовное перерожденіе, обновилась ли жизнь, забило ли ключемъ внутреннее благочестіе?

Не могу удержаться, чтобы не привести разсказъ покойнаго Юрія Ѳедоровича Самарина, слышанный отъ него во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ. Пріѣзжаетъ онъ въ деревню, видится со священникомъ и спрашиваетъ о крестьянахъ, какъ они.

— Худо! отвѣчаетъ священникъ. Расколъ!

— Какъ такъ? Изъ чего же вы заключаете? Въ церковь перестали ходить?

— Нѣтъ, ходятъ.

— Что же?

— Собираются по праздникамъ, читаютъ, въ кабакахъ и по улицѣ почти не видать.

— Такъ что же, это слава Богу. Чего же лучше?

— Нѣтъ, уже повѣрьте: перестали въ кабакъ ходить, сквернымъ словъ не употребляютъ, собираются и читаютъ. Непремѣнно — расколъ.

Очень печально, но очень характерно. Этимъ сказалось такое краснорѣчивое самоосужденіе фронтового взгляда на Церковь и оттуда на расколъ, убѣдительнѣе котораго ни придумать ничего нельзя, ни представить. Но такъ должно быть. Мертвое однообразіе есть механизмъ, отреченіе отъ духовности, и когда считается оно необходимою принадлежностью Церкви и православія, то въ расколѣ такой или иной формы, явномъ или тайномъ, сказанномъ или подразумѣваемомъ, окажется всякое духовное возбужденіе, все лучшее въ умственномъ смыслѣ, все высшее и строжайшее въ нравственномъ. А на долю собранія, называемаго православною Церковью, останется заурядность и нравы, предписываемые окружающими примѣрами. Всѣ въ кабакъ и *я* въ кабакъ, всѣ ругаются и *я* ругаюсь, всѣ ходятъ въ церковь и *я* пойду, — пойду только потому, что всѣ ходятъ.

III.

Расколъ не допускаетъ огульнаго къ себѣ отношенія.

На расколъ недостаточно смотрѣть отовнѣ.

Вотъ мысли, высказанныя мною въ первыхъ двухъ письмахъ.

Расколъ имѣетъ оттѣнки; онъ развивается и видоизмѣняется. У него есть свои начала, и они заслуживаютъ того, чтобы вникнуть въ нихъ.

Изъ взглядовъ, отовнѣ на расколъ бросаемыхъ, два мною очерчены: полемическій и такъ-названный мною фронтовой; одинъ смотритъ на расколъ съ точки зрѣнія *истины* (предполагаемой), другой — съ точки зрѣнія *порядка* (тоже условнаго).

„Ты заблуждаешься, говоритъ раскольнику православный: вотъ правильное ученіе.“ — А *я* такъ вѣрую, отвѣчаетъ раскольникъ.

„Ты отступникъ, ты мятежникъ; покорись".—А мнѣ претитъ совѣсть, упирается раскольникъ.

Живучесть раскола, его неподатливость и доказываютъ, что у него есть самостоятельныя начала. Не пункты вѣроученія, формулированные въ Челобитныхъ или въ Поморскихъ Отвѣтахъ составляютъ его существо; впрочемъ и не въ одномъ исповѣданіи не составляютъ они существа. Творчество, образовавшее плотныя общества съ своеобразными формами, даетъ догадываться, что у раскола есть свой идеалъ жизни. Онъ пытается осуществить его бытомъ и уяснить вѣроисповѣдною формулою.

И полемикъ и фронтовикъ относятся къ расколу отрицательно: они убѣждаютъ его не существовать. А есть взгляды на расколъ, тоже внѣшніе, но доброжелательные къ нему и есть взглядъ равнодушный. Равнодушіе отправляется съ той же точки зрѣнія, что и фронтовая заботливость, но идетъ въ обратную сторону и называетъ себя „либерализмомъ". „Для порядка безразлично, разсуждаетъ либералъ, почитаютъ ли четвероконечный крестъ или гнушаются имъ. Предоставьте вѣрованію безусловную свободу ученія, выраженія и практики". Въ глубинѣ этотъ взглядъ есть отрицаніе строя вообще, какъ фронтовой допускаетъ только опредѣленный строй, исключая прочіе. Либерализмъ требуетъ и находитъ возможнымъ для религіи тоже „laissez faire", какое допускаетъ и для всей общественной жизни. Онъ есть уваженіе къ личной свободѣ; такъ онъ себя и опредѣлилъ исторически реформаціею и революціею: та и другая провозгласили право личности, каждая въ своей сферѣ. Но за освобожденіемъ лица обѣ просмотрѣли существованіе о б щ е с т в а, какъ самостоятельнаго бытія; для нихъ общество есть внѣшняя совокупность лицъ, случайно соединившихся, акціонерная компанія; тѣ же акціонеры и въ гражданахъ государства и въ членахъ вѣроисповѣданія. Въ учрежденіи государства основою предполагается contrat social, всѣми подразумѣваемый. А въ Лютеровой церкви даже и контракта никакого не подразумѣвается; она опредѣлена какъ „невидимая", и ея един-

ственная связь есть книга общепризнаваемая (Библія), впрочемъ допускающая такую свободу толкованій, что вѣрующій воленъ даже совсѣмъ ее отвергнуть, не переставая считаться въ церкви.

По противорѣчію, которыхъ впрочемъ не мало и въ революціонномъ Déclaration des droits de l'homme, и въ Аугсбургскомъ Исповѣданіи, политическій либерализмъ, освѣщая безусловную свободу личности, допустилъ однако право національности, которая не есть лицо. Но въ остальномъ онъ послѣдователенъ и строже всего примѣняетъ себя къ религіозной вѣрѣ. Вѣра де есть личное домашнее каждаго дѣло. Современная Франція оказалась особенно усердною исполнительницею этого взгляда—удивительное дѣло!—не замѣчая того, что даже національность, признаваемая однако въ своей самосущности, не оказываетъ столь рѣзкой общественной физіономіи, какъ вѣроисповѣданіе.

И тѣмъ не менѣе вѣра считается только личнымъ дѣломъ! Но сама-то вѣра не слушается этой доктрины: сложившись въ большое тѣло, размѣры котораго чуть не вчетверо превосходятъ размѣръ всего французскаго народа, католицизмъ продолжаетъ быть организмомъ, члены котораго связаны еще тѣснѣйшими узами, нежели французская національность, и проявляетъ силу, способную колебать государство и низповергать его порядокъ. И въ остальныхъ вѣроисповѣданіяхъ также внутренняя связь между членами плотнѣе, нежели въ организмахъ государственномъ, племенномъ, не говоря уже объ ассоціаціяхъ экономическихъ.

Слѣдовательно, и по отношенію къ русскому расколу безусловное „laissez faire“ будетъ основываться на одностороннемъ принципѣ, который въ примѣненіи сейчасъ же окажетъ свою несостоятельность. Къ лицу другой вѣры лицо же имѣетъ право и обязанность отнестись равнодушно, даже уважительно, изъ уваженія къ собственной вѣрѣ. Но государство, но народъ, какъ общественные организмы, не могутъ закрывать глаза на общественный же организмъ въ видѣ вѣроисповѣданія, если не хотятъ и себя признать за сбродъ лицъ, внѣшне къ себѣ отно-

сящихся, связанныхъ единственно выгодою. Если есть нѣчто, кромѣ выгоды и выше выгоды, связующее гражданъ государства и членовъ семьи, то и государство и народъ должны опредѣлить свое отношеніе къ организму, въ нихъ же самихъ и изъ нихъ же составившемуся, но основанному на особомъ началѣ, независимомъ отъ государственности и національности: въ какой мѣрѣ они совмѣстимы?

Русскій расколъ съ русскою государственностью не связываетъ себя; онъ охотно бѣжалъ прежде въ Польшу, въ Турцію, теперь устраиваетъ себѣ отчасти пребываніе въ Румыніи и Австріи. Неразрывнѣе прикрѣпленъ онъ къ національности: ни Французъ, ни Нѣмецъ не обратится въ старообрядство; и старообрядецъ, хотя живя за границею, удерживаетъ свою народность даже крѣпче, нежели православный. Но попадаются въ послѣднее время Татары, переходящіе изъ магометанства въ Ѳедосѣевство; съ другой стороны духоборецъ или штундистъ, переселясь за границу, едва ли на долго останется Русскимъ. Словомъ, расколъ, какъ ни тѣсно связанъ съ народностью, не концентриченъ съ нею, а тѣмъ болѣе съ государствомъ. Если даже признать, что только Русскій можетъ быть старообрядцемъ, то огромная половина Русскихъ не признаютъ старообрядства, а та и другая — общественные организмы, и притязанія ихъ скрещиваются. У одной есть архіереи: московскій, саратовскій, у другой тоже; одна владѣетъ храмами, другая желала бы того же. Я упоминалъ объ опасеніи фронтовиковъ, какъ бы старообрядцы не потребовали Успенскаго собора. Опасеніе, хотя основательное, не даетъ права на гнетъ и на мѣры истребительныя; но въ виду притязаній законенъ вопросъ: да не отдать ли Успенскій соборъ въ самомъ дѣлѣ старообрядцамъ, или почему его не отдавать? Несправедливо угнетать, но неосновательно и игнорировать. Либерализмъ имѣетъ на такіе случаи единственный отвѣтъ, какъ на всѣ другіе подобные: тотъ имѣетъ больше правъ, кого больше числомъ,— отвѣтъ не болѣе удовлетворительный, чѣмъ ссылка на истинность и правильность, къ которымъ прибѣгнули полемикъ и фронтовикъ.

То, что̀ кажется истиннымъ и правильнымъ, наоборотъ, представляется раскольнику заблужденіемъ и отступленіемъ. Но полемикъ и фронтовикъ руководятся всетаки идеаломъ, а законъ большинства есть голое насиліе. Таковъ, а не другой буквально и есть его смыслъ во всѣхъ конституціяхъ: мнѣнію большинства отдается предпочтеніе, ему придается авторитетъ закона, вооруженнаго содѣйствіемъ исполнительной власти, на томъ основаніи и въ томъ предположеніи, что когда бы меньшинство стало настаивать, то большинство пойдетъ въ кулаки и заставитъ же покориться. Чтобы избавить гражданъ отъ этого напраснаго и убыточнаго труда, условіемъ и поставляется, что на мѣсто рукопашной, воля большинства будетъ поддержана полиціей и судомъ, а не то и войскомъ. Во что̀ же обращается основаніе либерализма, уваженіе къ личной свободѣ, когда кулакъ гражданина, а въ концѣ и штыкъ солдата признавать рѣшителями дѣлъ личной совѣсти?

Какъ бы то ни было, а полное „laissez—faire“ въ примѣненіи къ вѣроисповѣданіямъ и въ томъ числѣ къ расколу, невозможно даже при добромъ желаніи; неизбѣжно практически какъ-нибудь къ нему отнестись, такъ или иначе, но отнестись; или уже идти послѣдовательно, подражая примѣру Франціи, и признать безбожіе достодолжною принадлежностью государства и общества, слѣдовательно, признавать нелѣпость, опровергаемую осязательнымъ опытомъ. Да и какъ игнорировать? Когда ученіе, пусть религіозное, отрицаетъ самыя основы государственной, семейной и общественной связи, да и не ограничиваясь исповѣдною формулою, переходитъ въ активное нападеніе, тогда государству, обществу и семьѣ естественнымъ правомъ подсказывается самооборона. Скопчество изъ религіозныхъ побужденій прекращаетъ воспроизведеніе населенія; Странникъ не беретъ паспортовъ, уклоняется отъ податей, основываясь тоже на религіозной совѣсти; Ѳедосѣевецъ-бракоборъ разрушаетъ и преслѣдуетъ брачное сожительство, подрывая семью. То и другое и третье притомъ не ограничиваются мнѣніемъ; коллективная, не умирающая личность, дѣйствующая какъ

стихійная сила, пускается въ дисциплинированный походъ. Государство, и общество, и семья не могутъ не опасаться за свою жизнь и неизбѣжно вооружаются. Туги, проповѣдующіе догматъ человѣкоубійства, основательно преслѣдуются наравнѣ съ обыкновенными убійцами; мормонизмъ нашло невозможнымъ терпѣть свободнѣйшее изъ государствъ, и притомъ по конституціи равнодушнѣйшее къ различію вѣръ.

Чтобы точнѣе опредѣлить отношеніе къ вѣрѣ, именующее себя либеральнымъ, слѣдуетъ назвать его „безцерковнымъ“. Кромѣ благодушія оно отъ полемическаго и фронтового именно тѣмъ и отличается, что полемикъ и фронтовикъ не забываютъ понятія о Церкви, предполагая и въ расколѣ собирательную личность. А либерализмъ не видитъ далѣе личнаго мнѣнія и вѣрованія, устраняя понятіе объ обществѣ, тогда какъ оно къ правильному рѣшенію тѣмъ болѣе существенно, что не только разныя общественныя единицы не совпадаютъ между собою, но и личныя вѣрованія не всегда тождественны съ вѣроисповѣданіемъ, провозглашеннымъ Церковью или сектою; и затѣмъ душа самой секты, какъ я уже объяснилъ въ первомъ письмѣ, не всегда равняется ея самосознанію и большею частію не исчерпывается имъ. Вашъ братъ, Константинъ Сергѣевичъ, говаривалъ (можетъ-быть, есть слѣды того и въ его сочиненіяхъ), что „общее мнѣніе“ не есть „мнѣніе общественное“; какъ и наоборотъ. Наблюденіе очень вѣрное и мѣтко выраженное. Оно не только примѣнимо къ политическимъ мнѣніямъ, но и ко всякимъ видамъ общенія, основаннымъ не на корысти и принужденіи, не на акціонерномъ началѣ, въ томъ числѣ и къ религіознымъ вѣрованіямъ, однимъ словомъ, ко всѣмъ общественнымъ единицамъ, у которыхъ есть „духъ“. Есть полковой духъ, школьный, народный и проч., въ томъ числѣ и духъ секты. Онъ не есть ариѳметическій итогъ мнѣній или вѣрованій—сознательно принимаемыхъ особями, составляющими полкъ, школу, народъ, секту, а нѣчто независимое отъ нихъ, живущее стихійно, внѣ будничнаго сознанія особей, но оставляющее невольный слѣдъ въ жизни, въ мнѣніяхъ, поведеніи, даже до

наружности (походкѣ, посадкѣ), въ торжественные же моменты, именно въ моменты испытаній, гдѣ само бытіе общества подвергается вопросу, поднимающееся и заявляющее о себѣ со всепоглощающимъ единодушіемъ. Константинъ Сергѣевичъ къ замѣчанію, на которое я сослался, можетъ-быть, подведенъ былъ Гегелемъ; меня привело къ нему историческое наблюденіе; фактъ несомнѣненъ и на мелкихъ единицахъ можно удостовѣриться въ немъ ежедневно. Наука объяснила ли его? Я нахожу, что нѣтъ, а онъ заслуживалъ бы особенной науки—„Общественной Психологіи“, которая изученію исторіи указала бы среднюю дорогу между „Исторіей Цивилизаціи“ Бокля и „Семирамидой“ Хомякова. Записки по Всемірной Исторіи или Семирамида, какъ шутя назвалъ ихъ Хомяковъ, при всей своей глубинѣ, грѣшатъ по моему мнѣнію тѣмъ, что предполагаютъ нѣсколько механическое преемство историческихъ началъ. Какъ бы то ни было, но самосущность общественнаго духа несомнѣнна, и въ какихъ колоссальныхъ размѣрахъ проявилась она, между прочимъ въ событіяхъ, о которыхъ вы именно, Иванъ Сергѣевичъ, столь полное право имѣете сказать: quorum pars magna fui—въ 1876 году. Бытіемъ духа, независимымъ отъ индивидуальныхъ жизней, мнѣній, ощущеній (бытіемъ реальнымъ, а не отвлеченнымъ) и объясняется, что „поскоблите Русскаго, и откроется Татаринъ“. Пусть оцѣнка Русскаго и не вѣрна, но замѣчаніе Наполеона геніально тѣмъ, что признаетъ на этотъ разъ въ народности ядро за наружностію, которая не всегда его оказываетъ. Оттого ни въ одномъ космополитѣ не вытравливается никогда дочиста народность; оттого и въ Герценѣ, не смотря на его атеизмъ, сказывался православный и даже ближе—православный русской народности. Либерализмъ или точнѣе индивидуализмъ (соціалисты, именовавъ себя коллективистами, такъ и окрестили теперь либераловъ совершенно правильно), либерализмъ, говорю, не хочетъ знать объ общественной сущности и отсюда одностороненъ и кривъ въ своихъ сужденіяхъ и практическихъ мѣрахъ, между прочимъ, относительно вѣроисповѣданій, когда онъ послѣдователенъ.

Воззрѣніе, основанное на правѣ индивидуальной свободы, смотритъ съ той же точки зрѣнія порядка, какъ и фронтовое, только стоитъ задомъ туда, куда фронтовикъ обращенъ лицомъ. А есть воззрѣніе, не менѣе равнодушное къ правамъ общественной самосущности, чѣмъ индивидуалистическое, но въ дѣятельной непріязни къ расколу не уступающее фронтовому. „Расколъ есть невѣжество и потому заслуживаетъ гоненія и истребленія“: вотъ какъ разсуждаетъ культурный человѣкъ, равнодушный къ догмату и никакому изъ государственныхъ порядковъ не отдающій предпочтенія. Полемикъ и фронтовикъ съ своей стороны очень рады такому пособнику и сами въ доводахъ противъ раскола охотно прибѣгаютъ къ указаніямъ на „невѣжество“ его учителей. Такимъ пріемомъ даже и начались обличенія. Первая полемическая книга противъ раскола, *Жезлъ Правленія*, разбору каждаго пункта старообрядческой Челобитной предпосылаетъ обширныя изліянія гнѣва и негодованія, что челобитчики, „невѣгласи суще“, ничего не смыслятъ въ грамматикѣ и діалектикѣ. XVIII-е же столѣтіе, живя благоговѣніемъ къ памяти Петра, не могло и относиться къ расколу иначе, какъ съ глубочайшимъ презрѣніемъ, и это отчасти послужило расколу даже въ пользу. „Столь жалкія суевѣрія падутъ предъ просвѣщеніемъ“: отсюда выжидательная снисходительность у тѣхъ, кто достаточно не ощущалъ въ себѣ сокрушающей Петровой энергіи, ни вкуса къ преслѣдованіямъ. А въ XIX либеральный вѣкъ и тѣмъ чаще встрѣчаешься надеждою на „побѣду просвѣщенія“.

Какое глубокое заблужденіе! Въ другой редакціи оно представилось мнѣ подъ формою еврейскаго вопроса, когда посылали меня для справокъ объ немъ за границу. Порученіе, мнѣ тогда данное, формулировано было такъ: „какія мѣры должны быть предприняты для сліянія евреевъ съ коренными жителями посредствомъ образованія?“ Я возражалъ начальству, что образованіе есть сила и притомъ способная расцвѣтить особенность еврея; что предполагаемое средство можетъ еще болѣе поработить русское населеніе еврейскому; что вопросъ требуетъ

обратной постановки: „какъ распространеніемъ образованія въ бѣлорусскомъ народѣ поднять его до возможности бороться съ еврейскимъ преобладаніемъ?“ Меня не послушали тогда (27 лѣтъ назадъ); но предсказаніе мое сбывается, и теперь къ стыду русскаго общества предпринимаются мѣры къ ограниченію числа учащихся евреевъ въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ и къ загражденію имъ дороги въ либеральныя профессіи, на которыя образованіе даетъ имъ право по общему порядку. То же и относительно раскола.

Итакъ, вы думаете, просвѣтители, что гимназическій и университетскій курсъ вышибутъ старообрядство? Да, въ томъ смыслѣ, въ какомъ наука способна вытравлять вѣру вообще; магометанинъ, выходя изъ общеобразовательнаго училища, конечно не напоминаетъ софта; но вѣдь и православный, поучившись тамъ же, охладѣваетъ къ Церкви. А ежели въ магометанинѣ, евреѣ и раскольникѣ сохранятся къ окончанію курса чувство и потребность вѣры, почему вы предполагаете, что онъ отступится отъ исповѣданія своихъ отцовъ и приступитъ именно къ вашему? Потому что оно по наукѣ истиннѣе и душѣ симпатичнѣе? Но родное всегда симпатичнѣе, нежели чужое, а если дѣло пошло на науку, то всякое христіанское исповѣданіе, за исключеніемъ развѣ армянскаго или коптскаго, окажется болѣе вооруженнымъ наукою, нежели православное. Итакъ, въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда школа не воспитаетъ безвѣрія, вы получите раскольника же, но просвѣщеннаго, который притомъ удосужится, можетъ-быть, спеціально вооружить научнымъ приборомъ и богословскія свои мнѣнія. Почему не такъ? Въ старыя времена изъ Западной Россіи ѣздилъ въ Римъ какой-нибудь Палладій Роговъ, чтобы возвратиться борцомъ за православіе; изъ нынѣшнихъ греческихъ архіереевъ нѣкоторые получили образованіе въ германскихъ университетахъ. Я не прочь ожидать, что и на раскольничьей каѳедрѣ московской митрополіи возсядутъ современемъ питомцы германскихъ, а то и русскихъ университетовъ и будутъ выпускать пастырскія посланія, блескомъ учености не уступающія,—ну, хотя посла-

ніямъ католическихъ епископовъ. О сію пору о. Верховскій пусть не перешелъ въ расколъ, оставаясь въ единовѣріи, но о старыхъ обрядахъ разсуждаетъ не такъ, какъ православные богословы; а онъ получилъ правильное, школьное богословское образованіе*). Слышу еще о какомъ-то о. Люциферовѣ, человѣкѣ академическаго образованія, писавшемъ диссертацію даже на магистерскую степень, принадлежавшемъ къ педагогическому персоналу семинаріи ли, академіи ли, не знаю въ точности: тотъ ушелъ даже прямо въ тайное священство.

Судить о стойкости вѣроисповѣданій по просвѣщенію лицъ, къ нему принадлежащихъ, есть нелѣпость. Слѣдовало бы отсюда заключить, что сыны православной Церкви, не исключая самыхъ убогихъ, получили школьное образованіе. А гонительныя мѣры противъ массы за то одно, что она не просвѣщенна, есть безнравственнѣйшее изъ насилій, равное тому, еслибы преслѣдовать бѣднаго за его бѣдность или малорослаго за недостатокъ роста. Насиліе тѣмъ болѣе возмутительное, что оно безцѣльно; оно скрашивалось бы, по моему мнѣнію, если бы одушевлялось даже корыстью; а безъ того оно есть издѣвательство надъ человѣчествомъ.

Находятся впрочемъ добродушные, которые уповаютъ, что изъ раскола, при всей его темнотѣ, возродится наша культура. Замѣчательные люди по уму и таланту предпринимаютъ путешествія, чтобы послушать какого нибудь Сютаева или посмотрѣть на воздыханцевъ. Благо вѣрующимъ! Преувеличенныя надежды имѣютъ психологическое основаніе. Люди, огорченные безцвѣтною пошлостью окружающаго, лицемѣріемъ и пустотою жизни, поражаются свѣжестью чувства, энергіею воли и смѣлостью самоувѣреннаго ума, которые открываются въ сектантѣ или сектѣ, и—inde lux! Начинаются противоположенія и обобщенія, съ забытіемъ того, что въ каждой молодой сектѣ неизбѣжно бываетъ жаръ, способный доводить до самозабвенія,

*) Письмо это было уже написано, когда обнародовано было опредѣленіе Св. Синода о низверженіи Верховскаго. Синодальное опредѣленіе приписываетъ Верховскому даже прямо общеніе съ расколомъ и сочувствіе ему.

и что выдѣляющіяся изъ нихъ единицы потому и выдѣлились, что онѣ исключительны. Но въ сущности на поражающія духовныя явленія въ сектахъ набрасываются почитателями собственные идеалы, которыхъ секта или сектантъ не знаютъ, которыхъ они не поймутъ или отъ которыхъ даже отвернутся, когда бы имъ растолковать. Съ другой стороны, если случайность свела ищущаго истины съ сектантомъ, энтузіазмъ котораго оказалъ чарующее дѣйствіе, то лишь та же случайность виною, что не познакомился тотъ же неофитъ съ какимъ-нибудь отшельникомъ Оптиной или другой пустыни, гдѣ тотъ же энтузіазмъ явился бы ему на почвѣ православія и въ полномъ послушаніи казенной Церкви; но казенная Церковь оттолкнула искателя истины лицемѣріемъ своихъ представителей, и онъ уже отчаивается въ ней. Богословіе не даромъ говоритъ однако, что есть Церковь видимая и въ ней невидимая; что недостатки видимыхъ членовъ не исключаютъ существованія невидимыхъ, которыхъ вѣра и жизнь горятъ и свѣтятъ, и что окружающія пустота и бездушіе, прикрываемыя лицемѣріемъ вѣры, еще не законъ, вытекающій изъ существа Церкви, а несчастіе ея внѣшняго положенія и вообще плодъ постороннихъ вліяній. Наконецъ, и въ этой толпѣ полуотсѣченныхъ и полуотсѣкшихся отъ живого тѣла Христова, не найдется развѣ моментовъ, не найдется угловъ въ ихъ сердцахъ, которыми они принадлежатъ невидимой Церкви и изъ которыхъ исходятъ доблести и подвиги, дивящіе высотою и глубиною весь міръ? Что же, чему вы припишете ихъ? Славянской, татарской, финской крови? Или исторіи, быту и преданіямъ? Но политическая исторія шла одушевляемая Церковію же; но бытъ сложился отчасти подъ ея вліяніемъ, а преданія и всѣ носятъ ея отпечатокъ. Наконецъ, чающимъ возрожденія отъ раскола я предложилъ бы не любоваться только сектою, а перейти въ нее цѣликомъ. Замѣчательно: піэтическій энтузіазмъ, нараждающійся временами въ экземплярахъ высшаго общества, что-то не обращаетъ ихъ въ русскихъ сектантовъ; появляются ревностные католики, появляются ирвингисты. Было разъ, правда, что хлыстовскія собранія пріобрѣли себѣ адептовъ

изъ высшаго общества; но мнимо-обращенные оставались, выражусь такъ, членами посѣтителями и членами корреспондентами, а никакъ не тѣми дѣйствительными, которыхъ бы вся жизнь преображалась подъ вліяніемъ воспринятаго вѣрованія. Говорятъ, что Сѣвероамериканцы, проведя день въ напряженіяхъ предпринимательской и коммерческой смѣтки, любятъ послѣ звона долларовъ отдыхать по вечерамъ на спиритическихъ сеансахъ и религіозныхъ сходкахъ въ родѣ квакерскихъ или нашихъ хлыстовскихъ, гдѣ суть въ экзальтаціи. Это не болѣе, какъ нервная потребность въ отдыхѣ послѣ практическихъ заботъ, рюмка ликера послѣ обѣда. Духъ проситъ пищи и интенсивностью двухчасового или часового религіознаго энтузіазма вознаграждаетъ прозаическую сухость цѣлаго дня. То же и съ нашими барами и въ особенности великосвѣтскими дамами, ищущими освѣженія въ бесѣдахъ Редстока. Отчегожъ никто нейдетъ въ послушники къ народу, даже изъ восхищающихся вѣрою его сектъ? Это и обличаетъ самообманъ почитателей.

Въ народъ ходили, но только не съ надеждою духовнаго обновленія, а съ мечтою обрѣсть орудія для соціальнаго переворота. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ „униженные и оскорбленные“, лишаемые естественныхъ правъ, элементъ недовольства и даже возстанія; а кстати въ ученіи нѣкоторыхъ есть прямые задатки мало того соціализма, а анархизма. Вотъ Странники, Филипповцы, Ѳедосѣевцы. Царь—антихристъ, паспортъ—антихристова печать, вся цивилизація—антихристово порожденіе. Не то же ли мыслитъ соціалъ-демократъ, къ которому Странникъ тѣмъ ближе подходитъ, что подобно нигилисту, оставаясь среди общества, переходитъ въ „нелегальные“? Наконецъ, секта отвергаетъ бракъ, и если не проповѣдуетъ „свободной любви“, то ее практикуетъ тѣмъ не менѣе. И однако какое разочарованіе, должны были возвратиться со срамомъ путешественники... Отчегожъ бы такъ?

Да оттого, что, подобно индивидуалисту-либералу, соціалъ-демократъ, хотя признавъ (чего не признаетъ либералъ) общественность сектъ, зажмурилъ глаза на церковно-религіозное ихъ существо, обольщаясь тождествомъ частностей въ выраженіи

двухъ разныхъ, почти противоположныхъ началъ. Соціализмъ весь о земномъ и для земного, расколъ весь изъ-за небеснаго и для небеснаго. Нигилистъ отрицаетъ царскую власть въ принципѣ, безпоповецъ напротивъ признаетъ, лишь различая ее in abstracto и in concreto; и если признаетъ въ ней антихриста, то не за то, что народу голодно или что несправедливо распредѣлены житейскія блага, а за то, наоборотъ, что цивилизація, представителемъ которой правительственный классъ и его верховный вождь царь, прилѣпилась къ житейскому, забывъ Божіе: „храмы Божіи затворились и запустѣніе воцарилось на мѣстѣ святѣ". Соціалъ-демократъ нудитъ цивилизацію идти далѣе и отречься совсѣмъ отъ духовнаго, ограничивая цѣль человѣчества плотоугодіемъ. Строгій Филипповецъ, напротивъ, даже удивляется, что не наступила кончина міра, когда она, по его мнѣнію, несомнѣнно приблизилась, и онъ готовъ зажечь избу, чтобы ускорить неминуемый Божій часъ и самосожженіемъ исполнить волю Божію. Куда же тутъ помышлять о благахъ земныхъ? Если не сжечь себя заживо, то готовиться надо къ великому дню постомъ, да молитвою, отреченіемъ отъ всего. Пусть у безпоповцевъ свободная любовь практикуется, но все же считается грѣхомъ, требующимъ очищенія епитиміей, а не догматомъ, какъ для анархиста.

И помимо соціалистовъ многіе серьезные люди, даже ученые, и притомъ въ примѣненіи не къ одному расколу, склонны увлекаться сравнительнымъ методомъ далѣе предѣловъ надлежащаго. Я всегда съ большимъ сомнѣніемъ читаю гипотезы, пытающіяся объяснить духовно-историческія явленія механическимъ заимствованіемъ. Далай-лама отъ папы или папа отъ Далай-ламы? Это считалось серьезнымъ вопросомъ. Извѣстны попытки объяснить христіанство воплощеніями Вишну и обратно; подобные же выводы предлагаемы были о монастыряхъ католическихъ и буддійскихъ. А я, когда въ лѣсу около Никольскаго нахожу грибъ, не пускаюсь въ догадки, что грибные споры перелетѣли сюда изъ Воздвиженскаго верстъ за сорокъ, а думаю, что при равныхъ условіяхъ тепла, влаги и химическаго

состава почвъ, грибы зарождаются и въ Никольскомъ и въ Воздвиженскомъ самостоятельно. Такъ и духовныя явленія, повторяющіяся въ исторіи иногда до поразительнаго сходства безъ малѣйшаго заимствованія. Покойный Новицкій, въ своемъ сочиненіи „О Духоборцахъ“, произвелъ добросовѣстное сличеніе догматовъ этой секты съ подобными въ другихъ исповѣданіяхъ, дошелъ даже до Пиѳагорейцевъ, которыхъ повторили въ нѣкоторыхъ пунктахъ духоборцы. На долю самихъ духоборцевъ такъ ничего и не осталось. Но не правда ли, менѣе вѣроятно предположить у духоборцевъ столь обширную эрудицію, чтобы они погружались и въ греческую и даже въ индійскую философію, нежели удѣлить имъ творчество при логическихъ способностяхъ? Съ основнымъ началомъ, которое ихъ отложило отъ Церкви, имъ не трудно было дойти и до предсуществованія душъ и до духовныхъ истолкованій Писанія, напоминающихъ Оригена и Александрійскую школу.

Нравоученіе отсюда таково, что частности вѣроученія еще ничего не говорятъ,—сами въ себѣ взятыя, и ни на какое заключеніе не уполномочиваютъ своею близостью съ догматами другого исповѣданія: сущность объясняется логическою связью съ остальными частями ученія и съ общимъ имъ источнымъ началомъ, внѣшне-историческимъ и психологическимъ. Отсюда хожденіе въ народъ къ раскольникамъ для нигилистовъ и кончилось неудачей, какъ ни близки казались нѣкоторыя формулы тѣхъ и другихъ. Но не говоря о нигилизмѣ, ошибочны будутъ выводы, построенные на сравненіи раскольничьихъ сектъ и съ другими христіанскими. Поверхностнаго наблюдателя не должно ли соблазнить безпоповщинское ученіе о таинствахъ? Повидимому то же самое, что въ реформатствѣ, а оно безконечно разное; реформатъ отвергаетъ таинства, потому что отрицаетъ ихъ догматъ, а безпоповецъ отвергаетъ ихъ потому, наоборотъ, что въ нихъ вѣруетъ. Сближать одно ученіе съ другимъ было бы похоже на то, если бы кто призналъ коммунистомъ богача, отказывающагося отъ покупки имѣнія, потому что не находитъ себѣ по вкусу. Любопытны въ этомъ отношеніи тонкія разли-

ченія безпоповцевъ о бракѣ, хотя и приводятъ они, положимъ, къ абсурду. Чтобы быть таинствомъ, бракъ долженъ быть благословленъ священникомъ; а священства нѣтъ. Слѣдовательно, нѣтъ благословеннаго брака, а слѣдовательно и брака, какъ такового. Каждое сожительство поэтому есть блудъ, дѣяніе грѣховное. Грѣхъ однако очищается покаяніемъ. Поэтому ты, христіанинъ, можешь вступить въ половое сожительство, съ тѣмъ чтобы смыть съ себя этотъ грѣхъ покаяніемъ. Но истинное покаяніе требуетъ отстать отъ грѣха. Поэтому ты не можешь получить разрѣшенія, не можешь быть принятъ даже на исповѣдь, прежде нежели разведешься; а тѣмъ менѣе тебѣ прощенія, когда ты не только не разводишься съ сожительницею, а еще признаешь ее женою. Ты грѣшишь не только противъ плоти, но противъ догмата; ты не грѣшникъ только, а еретикъ, недостоинъ христіанскаго общенія, долженъ быть отлученъ. Мораль понятна: ты долженъ мѣнять сожительницъ, и тогда остаешься правовѣрующимъ. Половая связь есть только новый грѣхъ, который очищается покаяніемъ, а не коснѣніе въ старомъ, соединенное притомъ съ еретическимъ зломудрованіемъ, съ признаніемъ блуднаго сожитія брачнымъ и съ предположеніемъ, будто брачное сожитіе можетъ быть и оставаться безъ священническаго благословенія.—Сличайте потомъ это ученіе съ протестантскимъ, и заключайте о ихъ тождествѣ, когда протестантство для христіанской правильности брака не считаетъ и нужнымъ священническаго благословенія.

Бываютъ заимствованія, и я знаю одно изъ нихъ даже въ старообрядствѣ, но невольное и притомъ всетаки не механическое. Я упоминалъ объ немъ въ рѣчи, говоренной въ 1864 году на трехсотлѣтнемъ юбилеѣ русскаго книгопечатанія; чуть ли не повторилъ гдѣ-то даже печатно. Но приведу тотъ же примѣръ и здѣсь въ указаніе, какъ переваривается даже внѣшнее заимствованіе и подается уже въ новомъ соку и въ другомъ вкусѣ.

Православіе въ Западной Россіи горячо боролось съ папизмомъ въ концѣ XVI и началѣ XVII столѣтія. Православные

богословы, чтобы не ходить далеко, пользовались готовыми обличеніями, находимыми въ протестантскихъ книгахъ. А у протестантства съ латинствомъ тогда же происходила не менѣе, даже болѣе ярая борьба, чѣмъ у православія въ Литвѣ. Съ легкой руки Лютера, признавшаго въ папистическомъ Римѣ апокалипсическій Вавилонъ, богословы не задумались признать антихриста въ папахъ. Но чтобы дойти до такого вывода, неизбѣжно было отрѣшить прежняго антихриста, котораго съ первыхъ вѣковъ христіанства признавали единоличнымъ гонителемъ, составивъ ему даже генеалогію; онъ долженъ происходить изъ колѣна Данова. Кидать догматы за бортъ для раннихъ протестантовъ было ни почемъ. Прежній чувственный, единоличный антихристъ былъ отставленъ; антихристъ есть принципъ, и не лицо, а рядъ лицъ, именно папская династія. Мысль эта была православнымъ богословомъ и изложена въ *Книгѣ о вѣрѣ*, вышедшей первоначально въ Западной Россіи, а потомъ изданной въ Москвѣ.

Православный богословъ далъ протестантской гипотезѣ другую редакцію, примѣненную къ восточному исповѣданію. Аргументація его была такова. Сатана будетъ связанъ на тысячу лѣтъ, говоритъ Писаніе, и папежъ отложился отъ восточно-каѳолической Церкви окончательно черезъ тысячу лѣтъ по Рождествѣ Христовѣ. (Это и было собственнымъ соображеніемъ нашего богослова, за которымъ онъ не ходилъ къ протестанту; для протестанта такой аргументъ лишенъ значенія). Затѣмъ авторъ *Книги о вѣрѣ* прибавляетъ: а апокалипсическое звѣриное число есть 666; какъ бы въ этомъ году не вышло что-нибудь горшее.— Это было писано въ началѣ XVII, чуть ли даже не въ концѣ XVI столѣтія.

Богословъ оказался пророкомъ. Въ 1666 году собрался въ Москвѣ соборъ, изрекшій проклятіе на упорствующихъ въ двуперстіи. Прочитывая уважаемую *Книгу о вѣрѣ*, къ какому заключенію долженъ былъ прійти старообрядецъ? „Вотъ оно, звѣриное-то число и подошло; стало-быть не только сатана развязанъ, но самый звѣрь народился.“ Суть впрочемъ не въ этомъ,

а въ томъ, что примѣненіе этого воззрѣнія къ русской Церкви потребовало тоже отставки чувственнаго антихриста, съ признаніемъ новаго, мысленнаго. Отсюда Никонъ, затѣмъ Петръ, наконецъ всѣ Никоніане обратились въ воплощеніе антихриста, то есть антихриста, какъ идеи; кромѣ-де идеи ничего въ немъ и признавать не слѣдуетъ.

Итакъ, заимствованіе совершено, но развитіе заимствованнаго ученія получилось другое. Любопытнѣе же всего то, что въ мудрованіяхъ своихъ объ антихристѣ раскольники стали повторять толкованія и соображенія протестантовъ, вовсе уже не прибѣгая къ ихъ книгамъ, а просто слѣдуя логикѣ. Зерно упало, другая почва приняла его; растеніе видоизмѣнилось, приняло новый наружный видъ, но сокъ пошелъ тотъ же, и стебель одинаковъ, что̀ у другого зерна, прозябшаго въ Германіи, хотя ростъ совершился самостоятельно.

IV.*)

Пока я перебиралъ взгляды на расколъ, названные мною „внѣшними“, мнѣ пришлось сослаться на нѣсколько общихъ положеній. Вѣроисповѣданіе не совпадаетъ съ государствомъ и народностью. Вѣроисповѣданіе не есть мнѣніе и даже не то же, что личное вѣрованіе. Формулированная вѣра не всегда выражаетъ душу религіознаго общества, которое ее исповѣдуетъ. Можетъ быть, и для прочихъ положеній требовались бы поясненія, но сейчасъ перечисленныя очень существенны. Если вообще, какъ я сказалъ, еще не народилось общественной „психологіи“, то тѣмъ паче нѣтъ ея для религіозныхъ обществъ. И народность дождалась своего умнаго (хотя и не полнаго) опредѣленія всего какихъ-нибудь года два назадъ (отъ Ренана). Замѣтьте, народность—начало модное до извѣстной степени; чего же ожидать вѣрѣ, при господствующемъ направленіи

---

*) Четвертое письмо о расколѣ было найдено послѣ смерти Гилярова въ его бумагахъ. Оно было напечатано въ *Русскомъ Обозрѣніи* 1895 г. № 10.

мысли, которое готово свести религію на суевѣріе, и самое снисходительное—признать въ ней „низшую степень культуры“, обязанную упразднiться при полномъ расцвѣтѣ цивилизаціи? Оставимъ уже философію и соціологію: само богословіе знаетъ только личную вѣру и личный процессъ духовнаго усовершенствованія. А вѣрованія массъ? Исторія Церкви апостольской и дальнѣйшая говоритъ намъ объ обращеніяхъ тысячами и милліонами. Чѣмъ объясняется это явленіе? Предъ нами между прочимъ подлинныя проповѣди, напримѣръ, Петра и Павла въ „Дѣяніяхъ“. Переданы ли онѣ подробно или въ сокращеніяхъ, это неважно, а существенно то, что предъ нами нѣтъ процесса, происходившаго въ душѣ слушателей; видимъ одинъ результатъ: „крестилось столько-то“. Богословъ охотнѣе прибѣгаетъ въ такихъ случаяхъ къ предположеніямъ о сверхъестественной благодатной силѣ. Но благодатное нантіе не исключаетъ естественнаго психологическаго процесса въ увѣровавшихъ. А возьмемъ событіе болѣе обширныхъ размѣровъ, обращенія цѣлыхъ народовъ, Грузинъ при Нинѣ, Армянъ при Григоріи Просвѣтителѣ, Руси при Владимірѣ; мы остаемся въ совершенныхъ потьмахъ о психологическомъ процессѣ, совершившемся въ народѣ, о психологическомъ составѣ, вступившемъ на мѣсто прежняго при совершившемся переворотѣ. Предъ нами одни внѣшнія событія, притомъ одѣтыя полумиѳическими легендами...

Я долженъ остановиться на высказанныхъ мною общихъ положеніяхъ и освѣтить ихъ хотя примѣрами, потому что полное развитіе потребовало бы почти цѣлаго курса.

Вѣроисповѣданіе не совпадаетъ съ народностью и государствомъ. Это, положимъ, несомнѣнно и для ежедневнаго опыта. Но я привожу это положеніе для напоминанія о томъ, что, наоборотъ, существуютъ вѣрованія, которыя не только какъ бы приростаютъ къ народу или государству, но вполнѣ тожественны, и вотъ вамъ примѣръ изъ ежедневнаго опыта—Евреи. У Еврея только и есть народности, что его вѣра; никакихъ другихъ аттрибутовъ отличительной народности нѣтъ (если не считать

племенного происхожденія, которое еще не есть народность). У Еврея нѣтъ государства; да оно же, пусть идеальное только, чаемое, опять въ его вѣрѣ. Вѣра его въ сущности и есть апоѳеозъ народности; въ этомъ она и состоитъ. Примѣръ этотъ намъ пригодится, когда мы подойдемъ и къ русскому расколу. Но я приведу еще другой, уже изъ христіанскаго міра. Армянское вѣроисповѣданіе есть только армянское (ублюдка, такъ-называемаго, армяно-католическаго, по понятной причинѣ, я не считаю). Наконецъ, случайность ли, что романо-кельтическаго происхожденія современные народы остались вѣрными римскому католичеству, а Германцы за малыми исключеніями протестанты? Случилась даже яркая особенность. Ирландія, хотя подъ англійскимъ управленіемъ и говоритъ теперь по-англійски, держится католичества; но она происхожденія кельтскаго.

Какое отсюда заключеніе? Да то, очевидно, что извѣстной народности сроднѣе извѣстное вѣроисповѣданіе. А я прибавлю еще, что въ первыя времена исторіи вѣра съ народностью бываютъ даже тожественны; народъ почерпаетъ себѣ духовную жизнь изъ вѣры. Затѣмъ они разлучаются; народность обогащается духовнымъ содержаніемъ помимо вѣры; вѣра завоевываетъ себѣ новыя народности. И случается иногда разлука столь оригинальная, что два фактора мѣняются ролями; вѣра, забывъ свое существо, начинаетъ къ себѣ причислять присущее не ей, а народности и даже государству. Таковъ филетизмъ новѣйшихъ грековъ; такова папская теорія. Съ другой стороны, внѣ Церкви явились благотворительныя общества и взялись даже государства за благотворительность, за дѣло христіанской свободы, причемъ съ понятнымъ внутреннимъ противорѣчіемъ изобрѣли даже принудительную благотворительность.

Вѣрованіе не есть мнѣніе, сказалъ я, и личная вѣра не то же, что вѣроисповѣданіе, которое, въ свою очередь, не исчерпывается объявленною формулой. Примѣры этого также ежедневны. Спросите православнаго объ его символѣ: громадное большинство его не знаетъ, а изъ знающихъ многіе съ

извѣстными пунктами въ душѣ несогласны. Возьмемъ католика: я спросилъ бы, найдутся ли хотя сотни единицъ изъ сотни слишкомъ милліоновъ, кто бы, уразумѣвъ догматъ непогрѣшимости, провозглашенный на послѣднемъ римскомъ соборѣ, сердцемъ увѣровалъ въ него. Сомнѣваюсь даже, чтобы изъ отцовъ собора, подписавшихъ соборное дѣяніе, были многіе искренними и вполнѣ вѣрующими въ формулированный ими догматъ. Укажу на самый яркій примѣръ—Штросмайера. Помнимъ, какія громовыя рѣчи произносилъ онъ въ Ватиканѣ противъ вводимаго догмата. Вотъ бы кому, повидимому, и быть основателемъ „старокатоличества“; и однако онъ продолжаетъ быть епископомъ Дьяковарскимъ, слугою непогрѣшимаго папы и до фанатизма ревностнымъ совратителемъ православныхъ юго-славянъ въ католичество. И можно думать, что славянскій патріотъ-епископъ увѣровалъ въ ватиканскій догматъ? Но здѣсь замѣчательно то, что отвергая одинъ (а можетъ быть и нѣсколько) изъ утвержденныхъ догматовъ, онъ именуетъ себя католикомъ и продолжаетъ не только пребывать въ католической церкви, но и привлекать къ ней. Возьмемъ примѣры поскромнѣе. Не случалось ли вамъ встрѣчать русскихъ поляковъ, которые съ отвращеніемъ говорятъ о своей національной вѣрѣ, съ глубокимъ негодованіемъ отзываются о ксендзахъ, приписывая ихъ винѣ всѣ бѣдствія народа, которые почти не посѣщаютъ костела, напротивъ, бываютъ охотно въ русской церкви, и тѣмъ не менѣе остаются католиками? Отчего? Вотъ въ этомъ-то и глубочайшая суть вопроса, о которомъ мы разсуждаемъ. *Что-то* удерживаетъ вѣрующаго въ вѣрѣ отцовъ, которой догматамъ онъ не вѣруетъ, внѣшнему устройству ея не сочувствуетъ, къ которой не прикрѣпляютъ его и никакіе корыстные разсчеты. Несправедливо сказать, что онъ индифферентъ, что онъ не чувствуетъ потребности въ вѣрѣ, хотя потому-то ему и естественнѣе отшатнуться отъ антипатическаго міра. Но вѣра его спитъ только, и еслибы дошло дѣло до рѣшительной борьбы, то даже въ такомъ кажущемся индифферентѣ проснулся бы католикъ.

Однако не всегда такъ бываетъ. Бываютъ періоды въ исторіи, бываютъ лица, когда объявленная формула не вполнѣ совпадаетъ съ душой отдѣльнаго лица и даже цѣлаго общества — на время. Это моменты зарожденія религіозныхъ обществъ, времена горячихъ религіозныхъ споровъ, когда одна за другою начинаютъ отваливаться секты, затѣмъ дробиться; нѣкоторыя исчезаютъ, другія крѣпнутъ и распространяются. Я укажу три періода: первые вѣка христіанства, именно отъ I до VI собора; вѣкъ, слѣдовавшій за реформаціей, и послѣдніе два вѣка русской церковной исторіи. Замѣчательна близорукость историковъ, что они не замѣчаютъ особенности такихъ періодовъ, напоминающихъ періодъ падающихъ звѣздъ на небѣ: нѣтъ, нѣтъ, все течетъ однообразно, и вдругъ посыпались звѣзды на краткій періодъ времени. Астрономія объясняетъ подлежащее ей явленіе; какъ же историки не вникнутъ въ свое? Они укажутъ, что то былъ „періодъ религіознаго возбужденія“. Но почему это возбужденіе теперь и тамъ, а не здѣсь и тогда? Откуда эта періодичность? Я не буду говорить о пошлыхъ объясненіяхъ случайностью, которыхъ иногда нельзя читать безъ отвращенія. Таковы въ большей части объясненія нѣмецкихъ протестантскихъ историковъ на догматическія распри времени первыхъ соборовъ. За придворными партіями и іерархическими соперничествами не хотятъ нѣкоторые видѣть ничего. Вотъ оно, совершенное отрицаніе „общественной психологіи“, съ которою, однако, не мѣшало бы справиться при чтеніи современныхъ свидѣтельствъ, что въ хлѣбню или баню нельзя придти, чтобы не слышать препирательствъ о „рожденномъ“ иль „подобосущномъ“. Непонятны будутъ послѣ того крестовые походы, странна тридцатилѣтняя война съ предшествовавшимъ ей клокотаніемъ догматическихъ споровъ. За внѣшними событіями, за выдвигающимися дѣятелями, за придворными и дипломатическими интригами, за экономическими разсчетами должно же предположить въ массахъ нѣчто, двигающее ихъ изнутри, причемъ лица и событія, ставшія напереди, въ исторіи обратятся только въ выраженіе господствующаго духа эпохи, въ поводы, а не причины движенія.

Когда я читаю объясненіе древнихъ догматическихъ споровъ интригами партій, я представляю себѣ бытописателя, который бы для русской исторіи XVIII вѣка не нашелъ другого объясненія и другого матеріала, кромѣ хроники дворцовыхъ революцій.

Возьмемъ теперь и русскій расколъ. Исправлены богослужебныя книги—явленіе не новое. Повернуто круто—правда: старыя книги велѣно было отобрать, новыя ввести. Но всѣ должныя предосторожности были приняты, всѣ законныя гарантіи соблюдены; соборъ съ небывалымъ числомъ представленныхъ церквей утверждалъ нововведеніе. И, однако, расколъ! Что же такое случилось? Особенно ли сильные, замѣчательные люди стали во главѣ движенія? Слишкомъ ли важныя перемѣны произведены? Смѣшно сказать, расколоначальниками были лица, плохо отличавшіе Кремлевскій Успенскій Соборъ отъ „соборной, Апостольской Церкви". Въ челобитныхъ указывались такія исправленія текста, которыя въ томъ или другомъ разночтеніи прошли бы для большинства даже незамѣченными, особенно при тогдашнемъ истинно-хаотическомъ состояніи церковно-богослужебнаго текста. Болѣе же осязательные обряды, въ родѣ перстосложенія, могли остаться въ употребленіи не только между частными лицами, но даже между священствомъ, какъ и долго послѣ того, какъ и доселѣ, если не между священствомъ, то между простолюдьемъ, считающимъ себя въ православной Церкви, попадается употребленіе двуперстія. Возьмемъ, съ другой стороны, авторитетность постановленія, утвержденнаго и принятаго іерархіей всего православнаго Востока (за исключеніемъ единаго Павла Коломенскаго). Невѣроятно, неразумно! Тѣмъ невѣроятнѣе видѣть, что расколъ, вспыхнувъ, не унялся; напротивъ, пустилъ корни, сталъ осмысливаться, сталъ развиваться, идя послѣдовательно и въ своемъ движеніи бросая за-бортъ даже наиболѣе важные догматы, стоявшіе на пути; сличите теперешнихъ безпоповцевъ съ соловецкими челобитчиками: какъ далеко ушли одни отъ другихъ! Затѣмъ присоедините казни, заточенія въ тюрьмахъ, сожженіе въ срубахъ, твердое законодательство, бившее и рублемъ и дубьемъ, успѣхи болѣе просвѣщенной

книжности, и нѣтъ успѣха! Хуже того: успѣха нѣтъ въ пропагандѣ церковнаго послушанія, но продолжается доселѣ обратная пропаганда съ успѣхомъ; отпадаютъ въ расколъ до сихъ поръ цѣлыми селеніями. Если бы не строгія прещенія закона противъ совращеній, много ли бы уцѣлѣло въ Церкви изъ простого народа? Откуда же въ самомъ дѣлѣ и берутся, напримѣръ, хотя бы новые безпоповцы, отвергающіе бракъ? Не рожденіями же пополняется убыль. Не забудемъ и штундистовъ, пробивающихся ключемъ ежедневно. Не очевидно ли, что не въ частномъ случаѣ исправленія книгъ дѣло? Секты появляются внѣ всякой даже зависимости и отъ Никоновской реформы, и само старообрядчество съ его упорствомъ и силой не можетъ быть объясняемо одними обстоятельствами и даже самимъ фактомъ исправленія.

Не прочь иные утверждать, что расколу придана интенсивность самою крутостью реформы и гонительными мѣрами, возбуждавшими фанатизмъ. Это правда, но лишь наполовину; остается еще вопросъ, что̀ чему было причиной, упорство ли разгорѣлось отъ гонительныхъ мѣръ или жестокость преслѣдованія возбуждена была, наоборотъ, фанатизмомъ. Мнѣ кажется, вина изступленія здѣсь разлагается на обѣ стороны поровну, и нужно войти въ положеніе тогдашней государственной церковной власти, когда она внезапно отъ народа, столь всегда благопослушнаго, встрѣтила противодѣйствіе, дошедшее даже до вооруженнаго сопротивленія. Перенесемся-ка въ ту эпоху, и мы, если не оправдаемъ, то извинимъ жестокость. Но даже признавъ, что гоненія напрягли расколъ, мы останемся безъ объясненія, почему же преслѣдованія на этотъ разъ вели къ противоположному концу, когда энергическія мѣры въ другихъ случаяхъ затушали пламень религіознаго возстанія. Виклефа одолѣли, съ Гусомъ едва сладили, а Лютеръ и совсѣмъ побѣдилъ; испанская же инквизиція и совсѣмъ успѣшно дѣйствовала, не возбуждая раскола. Это примѣры изъ Западной Европы. У насъ же не церемонились одинаково со всѣми, и однако разницу находимъ: сравнимъ слабыя сравнительно духоборство и молоканство съ сильнымъ

старообрядствомъ; не оставимъ притомъ безъ вниманія и географическое размѣщеніе обѣихъ половинъ сектантства.

Но оставимъ философію и соціологію; возьмите любую богословскую систему. Мы найдемъ довольно обстоятельные трактаты о процессѣ личной вѣры, о духовномъ возрожденіи и просвѣщеніи; о дальнѣйшемъ духовномъ воспитаніи, духовномъ подвижничествѣ опять личномъ, существуетъ даже цѣлая обширнѣйшая литература. А вѣрованіе массъ? А ихъ обращеніе къ вѣрѣ? А процессъ церковной жизни?

Экекурсіи въ русскую грамматику.*)

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Выговоръ письму не указъ.

„Я предпочитаю держаться выговора“, сказали Вы: „а я—этимологіи“, былъ мой отвѣтъ. Дѣло касалось сдвоенія согласныхъ въ такихъ словахъ, какъ напримѣръ „литтература“. Обмѣнъ мыслей по этому, съ вида мелочному, вопросу не успѣлъ кончиться въ тогдашней нашей устной бесѣдѣ, и Вы позволили мнѣ продолжать съ Вами бесѣду письменно.

„Держаться выговора...“ Я замѣтилъ Вамъ, что въ этомъ правилѣ, усвоенномъ Вами, я не нахожу перваго качества, которое требуется отъ положенія, изъявляющаго притязанія быть *правиломъ:* не нахожу опредѣленности. „Держаться выговора“: но чьего? Выговоръ у каждаго свой. Чтобъ не ходить далеко, у меня и у Васъ выговоръ уже различный. Вы произносите „ч-у-вство“, а я, грѣшнымъ дѣломъ, какъ природный москвичъ, произношу ч-ю-вство. Если принять Ваше правило за основное и обращаться къ нему въ недоумѣніяхъ, мы зайдемъ въ лѣсъ, изъ котораго не выберемся. Вотъ *Голосъ*, напримѣръ, который очевидно держится Вашего правила,—онъ пишетъ „ж-о-лтый“. Но говоритъ-ли кто-нибудь такъ? Я не

---

* Напечатано въ журналѣ „Радуга“ за 1884 годъ.

вслушивался, какъ Вы произносите сейчасъ написанное слово, но заранѣе оспариваю, чтобъ даже при Вашемъ, орѳографически правильномъ выговорѣ шипящихъ, Вы давали слышать чистое „о“ въ данномъ случаѣ. И если правила уже держаться, то надлежало-бы *Голосу* писать и лж-о-тъ на томъ же основаніи, на какомъ онъ пишетъ „жолтый“. Онъ на это не рѣшается. И замѣтьте, какая вносится путаница! У *жолтаго* будетъ *желтизна*. Избавляя пишущаго отъ одного затрудненія, вводятъ другое. Составители грамматики обязаны будутъ прибавлять лишніе параграфы, толкующіе о переходѣ гласныхъ: нужно пожалѣть ребятъ.

Съ подобной „Голосу“ затѣей выступалъ было лѣтъ тридцать съ чѣмъ-нибудь назадъ Лажечниковъ, извѣстный романистъ. Въ первомъ изданіи своего, кажется, *Басурмана* онъ усвоивалъ себѣ такое правописаніе: *ничево, своево*. Спрашиваю и объ этой затѣѣ: такимъ правописаніемъ передается-ли произношеніе? Утверждаю, что нѣтъ. Отказываясь отъ произнесенія „г“ въ родительномъ падежѣ мѣстоименія или прилагательнаго, мы переводимъ его вовсе не въ „в“, а въ особенный придыхательный звукъ, неизобразимый нашей азбукой. Онъ приближается болѣе къ испанскому v. Испанское v мы передаемъ па русскомъ за „в“ и пишемъ Havana-Гавана, да неточно. Наше „в“ произносится чрезъ прижатіе нижней губы къ верхнимъ зубамъ, а испанское v есть чисто губной звукъ, сгущенное „у“: сожмите губы нѣсколько потѣснѣе, нежели нужно для произнесенія „у“, и вы получите испанское v, похожее на „в“, но не „в“. Замѣтьте-же за собой, дѣйствительно-ли въ родительныхъ падежахъ прилагательнаго Вы прижимаете губы къ зубамъ? Нѣтъ, особенно въ скоромъ разговорѣ и въ тѣхъ словахъ, гдѣ удареніе не на послѣднемъ слогѣ. Попробуйте произнести *прекраснаго:* Вы сами подмѣтите, что изъ Васъ вышло не „прекраснова“, а что-то другое. Еще лучше испытать себя на пѣніи. Мнѣ не приходилось говорить съ пѣвцами, но дико было-бы выслушать въ пѣніи твердо отчеканенное „добр-а-в-а“.

Затѣмъ, даже гласныя въ данномъ случаѣ колеблются. Добр-а-в-о, или добр-о-в-а, или добр-а-в-а. Син-е-в-о, син-е-в-а, или даже син-и-в-о и син-и-в-а. Вы слышите, что ни одно изъ правописаній не передаетъ произношенія, что звуки неопредѣленны, что для нихъ нѣтъ азбуки. Все равно, нѣтъ азбуки и для той гласной, сопутствующей шипящимъ, которую пытаетъ *Голосъ* передать своимъ „о“.

Я былъ-бы очень утѣшенъ, если бы изъ прочтенныхъ Вами сейчасъ моихъ замѣчаній Вы убѣдились, что произношеніе вообще не есть что либо опредѣленное и неподвижное; что въ произношеніи разнятся не только группы, образованный классъ и простонародье, или калужанинъ и владимірецъ, но разнятся даже отдѣльныя лица той же группы. Самые звуки, притомъ, которые мы полагаемъ уловить буквами, неопредѣленны, особенно гласные. Кромѣ твердаго „а“ и твердаго „о“, въ живомъ произношеніи есть слабыя „а“ и „о“, которыя перебѣгаютъ одно въ другое и кромѣ того еще во что то среднее, которое есть ни то, ни другое. Точно также перебѣгаютъ „е“ въ „и“, „о“ въ „е“ и даже „а“ въ „у“, и обратно. „А“ и „у“ повидимому уже совсѣмъ различные звуки: физически стоятъ они на противоположныхъ концахъ; тѣмъ не менѣе перебѣгаютъ. Разумѣю извѣстные случаи, гдѣ родительный падежъ допускаетъ и „а“ и „у“: сахар-у, сахар-а. Удареніе укрѣпляетъ звукъ; вы не можете сказать табак-а, а говорите табак-у. И всетаки не думайте, чтобъ этимъ „у“ вытѣснено было „а“ совсѣмъ; ни, ни, даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ есть удареніе, вы не отнимаете у себя права произнести пес-ку морского и пес-ка морского.

„Какъ же по вашему писать? спросите Вы; неужели *песка, табака?*“ Я попрошу Васъ не забѣгать. Мы дойдемъ до этого вопроса послѣ. Я останавливаюсь только на общемъ началѣ, доказываю нетвердость вообще произношенія и неспособность его служить основаніемъ для письма. Къ слову я прибавлю пожалуй, что колебаніе гласныхъ есть одна изъ любопытнѣйшихъ особенностей нашего языка; иногда есть

только прихоть произношенія, но иногда остатокъ этимологическихъ формъ, оставшихся между собою въ борьбѣ, не успѣвшихъ ее кончить. Иногда борьба кончается сдѣлкой, полюбовнымъ размежеваніемъ: одинъ звукъ беретъ себѣ свою долю значенія, другой свою. Напримѣръ, обращали-ль Вы вниманіе на одинъ именительный падежъ множественнаго, гдѣ одинаково позволительно употребить и „и“ и „я“, или „ы“ и „а“: учите-ли, учите-ля, профессо-ры, профессо-ра. Увѣренъ, Вы не разъ останавливались на этихъ словахъ въ раздумьѣ. Да вотъ и сейчасъ я употребилъ слово. Какъ писать: въ раздумь-ѣ или въ раздумь-и. Нѣкоторые пишутъ теперь въ раздумь-и, держась, очевидно, Вашего правила, болѣе спокойнаго, по ихъ мнѣнію во всякомъ случаѣ; а вѣдь само произношеніе-то здѣсь такъ двусмысленно, что ссылаясь на него обѣ стороны будутъ правы. Но я заговорилъ о двоякомъ употребленіи именительнаго множественнаго. Раздумывали-ль Вы о томъ, что „учите-ли“ имѣютъ нѣсколько иной смыслъ, нежели „учите-ля“, все равно какъ есть различіе въ другихъ двухъ окончаніяхъ, подобнымъ же образомъ служащихъ означеніемъ одной и той же формы. „На *домъ* этомъ лежитъ печать“. „Я ему сказалъ на *дому*.“ Падежъ одинъ и тотъ же, одинъ и тотъ же предлогъ, а окончаніе разное. Повидимому формы безразличны, а нѣтъ: Вы одну форму не смѣете употребить вмѣсто другой; Вы не позволите себѣ сказать: „на *дому* этомъ лежитъ печать“.

Впрочемъ, какъ я уже сказалъ, до этихъ тонкостей мы дойдемъ впослѣдствіи, и я увѣренъ, что Вы поразитесь тогда удивительной логической гармоніей нашего языка, тѣмъ послушаніемъ, съ какимъ звуки его слѣдуютъ мысли, передавая оттѣнки ея своими даже внѣшними качествами, широтою и тѣснотою, твердостью и мягкостью; они передаютъ оттѣнокъ мысли самымъ удареніемъ. Я возвращаюсь къ наблюденію, что звуки колеблются. Сейчасъ я показалъ это на гласныхъ. Родительный падежъ, на который посягалъ Лажечниковъ, говоритъ намъ, что бѣгаютъ согласные. За согласными впрочемъ еще болѣе постоянства, какъ болѣе постоянства вообще въ

основахъ словъ. Движеніе, бѣглость главнымъ образомъ свойственны оконечностямъ, гдѣ совершается изгибъ слова (замѣтьте—главнымъ образомъ, а не то что исключительно; мы объ этомъ послѣ еще поговоримъ, если Вы согласны будете меня читать). А изгибъ, флексіи, преимущественно совершаются посредствомъ гласныхъ, отчасти посредствомъ полугласныхъ, къ каковымъ между прочимъ принадлежатъ „в“ и „г“. Поименованные два звука можно считать за окаменѣвшія гласныя, и отсюда ихъ бѣглость. Участвуютъ однако въ изгибахъ и твердыя согласныя. Орѳографическое недоумѣніе, о которомъ мы начали толковать, двоить согласныя или нѣтъ, именно относится къ такому случаю. Вторая согласная подставляется къ первой не даромъ; она идетъ къ ней на подмогу, она несетъ что нибудь съ собою, короче—она даетъ мысли или представленію новый оттѣнокъ. Сказалъ бы, что удвоенная согласная точно также *изгибаетъ* слово, какъ падежное окончаніе, но точнѣе выражусь: въ большей части она *наращиваетъ* слово, а съ нимъ и представленіе, конечно. Наращиваетъ съ своей цѣлью—дать понятію иль представленію добавочный оттѣнокъ. Мы сейчасъ это увидимъ. Я хочу обратить Ваше вниманіе на то, что когда новый, добавочный звукъ является съ мыслью, нарочно, какъ же Вы его будете гнать, за-что, про-что? И вѣроятно-ли, чтобы къ такому смысленному приращенію само произношеніе оставалось равнодушнымъ. Невѣроятно, и это мы сейчасъ увидимъ на дѣлѣ.

Итакъ, остракизмъ противъ повторяющейся согласной, не въ правѣ прикрыться даже произношеніемъ; произношеніе его не поддержитъ, или Вы введете безсмысленное произношеніе, искалѣчите слово до затменія смысла. За что-же такое гоненіе на смыслъ?

Вы уже испугались. Вы никакъ не ожидали, что пойманы будете въ обскурантизмѣ, въ гасительномъ направленіи. Успокойтесь; Вы не одни, за Васъ опять тотъ же *Голосъ;* онъ также избѣгаетъ двоенія и пишетъ Одеса вмѣсто Одесса и Прусія вмѣсто Пруссія. Только изъ особеннаго уваженія къ своему

отечеству, какъ замѣчаетъ иронически *Новое Время*, допускаетъ *Голосъ*, въ нарушеніе своего правила, двѣ согласныя въ словѣ *Россія*. На прихоть *Голоса* можно-бы и не обращать вниманія; но за нимъ стоитъ еще такой авторитетъ, какъ покойный Даль, не терпѣвшій двоенія согласныхъ и избѣгавшій его въ своемъ словарѣ. Видите, у Васъ должно совсѣмъ отлечь отъ сердца. Для меня Даль не авторитетъ. Онъ былъ собиратель замѣчательно наблюдательный, но не лингвистъ. Въ свое время я покойному лично высказывалъ свое сожалѣніе о принятомъ имъ способѣ правописанія, совершенно ложномъ и неосновательномъ. Разумѣется я его не убѣдилъ, потому что въ самомъ коренномъ понятіи о языкѣ у него было недоразумѣніе. Гоненіе на сдвоенныя согласныя не только ложно, но и несостоятельно, какъ я сказалъ сейчасъ. Несостоятельность окажется Вамъ сейчасъ же на примѣрѣ. Слѣдуя правилу, должно бы уже писать не *отъ того* или *оттого*, а *отого*. Никто-же однако такъ не напишетъ. Почему? Да потому, что сейчасъ-же уличитъ само произношеніе, что русскій языкъ вовсе не чуждъ двоенія; для самыхъ природныхъ его формъ двоеніе прямо существенно, существенно потому, что орудіями словообразованія служатъ у насъ между прочимъ предлоги, а предлоги оканчиваются не на одни гласныя, а и на согласныя. *Ссаживалъ* не то, что *саживалъ;* Вы совершите грубое нарушеніе, введете непростительное двусмыслiе, выбрасывая удвояющее „с“. Въ *преддверіи* само произношеніе опять удвоитъ „д“, потому что „д“ существенно, ибо „пре“ совсѣмъ не то, что „пред“. *Поддѣвать и подѣвать*—два разные глагола. Не внимая этому, Даль однако писалъ *бесмертный, бесребреникъ,* предлагалъ писать *истари,* вмѣсто *изстари,* хотя не рѣшался употребить *исушилъ* вмѣсто *изсушилъ*. Гдѣ же тутъ послѣдовательность? Въ полный лѣсъ дичи мы зайдемъ, если задумаемъ держаться произношенія, тѣмъ болѣе, что произношеніе, какъ Вы, надѣюсь, усматриваете сами теперь, даже не даетъ права гнать сдвоенныя согласныя. Чтобъ еще крѣпче убѣдить Васъ въ этомъ, я позволю себѣ именно по поводу удвоенныхъ согласныхъ особое маленькое объясненіе общаго свойства.

Въ однихъ случаяхъ произношеніе само озабочивается дать слышать удвоеніе, во избѣжаніе двусмыслія. „Едва его оттерли“, скажутъ и очень обопрутся на двойное „т“, потому что въ немъ сила. Въ другихъ случаяхъ, гдѣ для смысла безразлично, будетъ-ли слышна вторая согласная, произношеніе выговариваетъ добавочную согласную небрежно и дѣйствительно какъ бы совсѣмъ выпускаетъ. Но точно ли выпускаетъ? Нѣтъ, она держится въ умѣ, про запасъ; мысленно она произносится: она служитъ цементомъ, связующимъ произносимое слово со всѣмъ составомъ языка, какъ логическую его часть.—Какая у Васъ есть груша?—Тонковѣтка, „бесѣмянка“,—проговорятъ въ отвѣтъ.—Какъ? Какая еще, кромѣ тонковѣтки?—Бе-з-сѣмянка, отвѣтятъ Вамъ, если предположатъ, что Вы ослышались или не поняли. „З“ воспроизведено будетъ даже съ напоромъ, съ цѣлью напомнить объ отличіи этого рода груши, что у него нѣтъ сѣмянъ; рѣчистымъ произношеніемъ „з“ слово „безсѣмянка“ выведется тотчасъ, какъ живой членъ цѣлой многочисленной смысленой семьи; поднимается цѣлая *система* звуковъ и соединенныхъ съ ними представленій. Само собой разумѣется, это бываетъ лишь съ органическими реченіями: имена собственныя, слова иностранныя, неимѣющія въ языкѣ родныхъ ни съ боковъ, ни спереди, ни сзади, не вызовутъ болѣе связнаго и живого представленія, какъ-бы ни усиливали удвоенный звукъ. „Ли-т-тература“ или ли-т-ература для незнающаго иностранныхъ языковъ скажутъ одно и то-же; но однако для незнающихъ, а для знающихъ говорятъ. Да дѣло не въ томъ; мы говоримъ объ основаніи, которое должно быть принято: слушать-ли произношеніе, ему-ли повиноваться въ письмѣ, его ли принимать въ главное руководство? Я хочу доказать, что не его; что его, произношенія, собственно нѣтъ; что мы обращаемся къ мнимой величинѣ, которой нѣтъ въ дѣйствительности. Вы улыбаетесь? Не улыбайтесь. Это дѣйствительно такъ; сегодня произношеніе такое, завтра иное, у однихъ этакое, у другихъ другое; Вы его не поймаете. Если Вы хотите имѣть дѣло съ произношеніемъ, то можете имѣть дѣло только съ абстрактомъ, съ какимъ-то

общимъ произношеніемъ, которое есть ни мое, ни ваше, ни вчерашнее, ни сегодняшнее, а произношеніе вообще; а это, стало быть, уже не произношеніе, не живой вылетающій звукъ, который позволяетъ себя повторить въ полной точности. А что-же это? Это будетъ не самый звукъ, а звукъ, какъ понятіе, какъ нѣчто общее всѣмъ дѣйствительно произносимымъ звукамъ,— умственное начертаніе звука. Другими словами: прибѣгая за руководствомъ къ звуку, Вы получите не звукъ, а *букву*, если не захотите остановиться на чемъ нибудь случайномъ и преходящемъ. Буква и есть мысленный звукъ, разнообразящійся въ живомъ воспроизведеніи, сообразно съ физіологическими и соціальными особенностями произносящаго лица. Согласны Вы съ этимъ?

Боюсь, что утомлю Васъ своимъ письмомъ, переходящимъ предѣлы приличія; но не могу удержаться, чтобъ не указать на одно поразительное обстоятельство; языковѣды наши, къ сожалѣнію, еще не обратили на него должнаго вниманія и не подвергли его должному разслѣдованію. Давно-ли существуетъ московское, *акающее* нарѣчіе?—Вотъ вопросъ, на который я обращалъ вниманіе Общества Любителей Россійской Словесности при самомъ его возобновленіи въ 1858 г. Я совѣтовалъ тогда Обществу снарядить даже особенную экспедицію для путешествія вокругъ Москвы, съ цѣлію собрать матеріалъ къ рѣшенію этого вопроса. Выражаю свой вопросъ и въ другой редакціи. Царь Алексѣй Михайловичъ съ своими боярами *акали* или *окали*, употребляли теперешній московскій выговоръ или говорили подобно теперешнимъ владимірцамъ? Сколько мнѣ извѣстно, ни въ одной рукописи даже конца XVII столѣтія ни одинъ писецъ ни разу не прошибся; нигдѣ не поставилъ ни „а“ вмѣсто „о“, ни „в“ вмѣсто „г“ въ родительномъ падежѣ прилагательнаго, ни „ф“ вмѣсто „в“ въ родительномъ множественномъ существительнаго. А сейчасъ отправляйтесь въ редакцію любой газеты, какая получаетъ письма отъ сѣраго люда,—всѣ эти отступленія отъ правописанія найдете. Очень натянуто будетъ предположеніе, что до насъ дошли писанія только книжныхъ

людей. Такъ всѣ дьяки и подъячіе, всѣ переписчики были твердо книжнаго образованія? Однако дошли-же до насъ древнія рукописи, даже такія, какъ Евангелія (слѣдовательно, предполагающія очень книжнаго писца), которыя прорывающеюся не на мѣстѣ буквою „ц“ оставили на себѣ слѣдъ, что писецъ былъ изъ новгородцевъ. Я не берусь утвердительно рѣшать вопросъ, для этого нужно имѣть очень твердыя и основательныя данныя; но полагаю, что московскій говоръ—происхожденія недавняго и есть результатъ культуры. Въ немъ сошлись съ разныхъ сторонъ разные говоры: бѣлорусскій съ своимъ широкимъ „а“ и острымъ „о“, чрезъ Смоленскъ и Калугу уже значительно смягчившись; затѣмъ владимірскій, окающій, впрочемъ тоже уже смягченный противъ архангельскаго и вологодскаго, отказавшійся между прочимъ отъ распѣвнаго произношенія. И замѣтьте, распѣвное произношеніе (акцентуація) равно существуетъ на обоихъ концахъ, при совершенно противоположныхъ типахъ произношенія. „А йонъ гаворицъ“, произнесетъ бѣлоруссъ, распѣвая „о“. „Вечерося“, отвѣтитъ Вамъ сѣверный житель, распѣвая на „ся“. По мѣрѣ духовной культуры, акцентъ, животная принадлежность звука, отпадаетъ; языкъ стремится быть выраженіемъ только мысли и чувства, почему самыя ударенія какъ отдѣльныхъ словъ, такъ и цѣлыхъ фразъ покоряются мысли; въ замѣнъ однообразной, сопровождающей каждое слово акцентуаціи, наступаетъ декламація, повышенія и пониженія, соотвѣтствующія смыслу словъ и расположенію духа, а не помимо ихъ, какъ у бѣлорусса или архангельца. Съ тѣмъ вмѣстѣ не отпадали-ли и особенности обоихъ городовъ въ артикуляціи звуковъ? Это моя догадка. Подтвердятъ ли ее научныя изслѣдованія, не въ томъ вопросъ. Я привожу только примѣръ, что въ самомъ общемъ-то своемъ видѣ русское произношеніе, можетъ быть, не считаетъ себѣ еще 200 лѣтъ, но что будетъ далѣе? И его-то брать за основаніе!

Будетъ зависѣть отъ Васъ, продолжать ли мнѣ свои письма или нѣтъ. Я не рѣшаюсь оскорблять Васъ подозрѣніемъ, что вопросъ, о которомъ мы съ Вами начали толковать, по элемен-

тарности своей покажется Вамъ недостойнымъ вниманія. Онъ элементаренъ, но поведетъ насъ глубоко и далеко. И что-же дѣлать, когда русская образованность блуждаетъ еще въ самыхъ элементарныхъ понятіяхъ о своемъ языкѣ? Мы не усвоили даже правописанія твердаго и осмысленнаго. Скажутъ: это бездѣлица. Но эта бездѣлица показываетъ, что мы не имѣемъ еще настоящей этимологіи, не говоря о синтаксисѣ; словомъ, не имѣемъ грамматики, несмотря даже на такихъ ученыхъ, каковы Востоковъ и Буслаевъ. Я передавалъ Вамъ жалобу одного образованнаго нѣмца, который просто плакался, что его рѣчь возбуждаетъ смѣхъ, тогда какъ онъ говоритъ совершенно правильно, вполнѣ по грамматикѣ. „Я говорю: какъ *часто дождь ходитъ*, а надо мной смѣются. Развѣ это не по грамматикѣ?“ — Совершенно по грамматикѣ, утѣшалъ я его, но грамматика то неправильна. Германецъ мой подивился, да и какъ было не подивиться?

Русскій языкъ въ самыхъ первыхъ своихъ началахъ есть еще неисчерпаемый источникъ: такъ мало онъ разработанъ, и столько въ немъ тонкостей. Когда говаривали мнѣ объ одиночномъ заключеніи и о безвыходномъ ужасѣ его для людей мыслящихъ и образованныхъ, при отсутствіи книгъ для чтенія и для письма, мнѣ приходило не разъ въ голову: „при мыслящемъ умѣ, русскій человѣкъ, даже въ полномъ одиночествѣ не будетъ одинокъ; съ нимъ останется его языкъ“. И въ самомъ дѣлѣ, сравнимъ англичанина и даже француза съ его языкомъ — и русскаго. Французъ и англичанинъ имѣютъ въ своемъ языкѣ матеріалъ для мышленія. Могутъ мыслить о чемъ угодно, но не о самомъ языкѣ,—этомъ разорванномъ приборѣ, гдѣ рѣдкая часть сказываетъ о другой; гдѣ лексическій матеріалъ случаенъ и безсвязенъ, а грамматическій строй за своимъ объясненіемъ принуждаетъ обращаться къ книгамъ, къ чужимъ языкамъ, къ отдаленной исторіи, требуетъ не только внимательности, но и эрудиціи. Русскій же языкъ однимъ сличеніемъ себя съ собою же, и притомъ помимо всякихъ книгъ, однимъ составомъ своей живой рѣчи дастъ пищи для наблюденій и выводовъ на цѣлые десятки лѣтъ. Не видите ли Вы и сейчасъ, что такая элемен-

тарность и такая, повидимому пустая, мелочь, какъ вопросъ о правописаніи сдвоенныхъ согласныхъ, уже зоветъ вдаль и сразу поднимаетъ къ глубочайшимъ законамъ языка, философскимъ и физіологическимъ.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Почитайте родителей.

Не дивитесь пожалуйста выставленному эпиграфу, хотя мы и говоримъ о такомъ предметѣ, совершенно далекомъ отъ семейныхъ обязанностей, какъ вопросъ о томъ, сдваивать ли согласныя. Помните, мы съ этого начали съ вами бесѣду. Я пытался Васъ убѣдить, что, кто выпускаетъ лишнюю, по его мнѣнію, согласную изъ уваженія къ выговору (какъ поступали и Вы), тотъ оказываетъ уваженіе къ факту несуществующему, принимаетъ себѣ за основаніе величину мнимую, которой нѣтъ въ дѣйствительности. Выговоръ или звукъ вообще въ членораздѣльной рѣчи неуловимъ, безконечно разнообразенъ и измѣнчивъ: сегодня произнесенное, повидимому, то же самое слово, не есть вчера произнесенное; произнесенное Вами не есть произнесенное мною. Но я не буду повторять сказаннаго; напоминаю только объ окончательномъ выводѣ. Если въ правописаніи и держаться звука, то возможно держаться только звука идеальнаго, не моего и не вашего, не вчерашняго и не сегодняшняго; а такой мыслимый звукъ, звукъ въ отвлеченіи, равнодушный къ особенностямъ своего выполненія въ живой рѣчи, есть уже не звукъ, а буква, начертаніе звука, звукъ для глазъ, а не для уха.

Однако Вы не видите еще, при чемъ тутъ семейныя обязанности; а по моему онѣ то все тутъ и составляютъ. Система звуковъ, усвоенныхъ языкомъ (на этотъ разъ—русскимъ, потому что объ немъ идетъ рѣчь), есть семейство, и каждый отдѣльный звукъ, захваченный въ своей отдѣльности и закованный въ начертаніе, есть братъ другого звука, принадлежащаго

тому же языку и мысленно прикрѣпленнаго къ другому начертанію. Итакъ, это братья родные, или когда идетъ дѣло уже не о звукахъ, въ строгомъ смыслѣ взятыхъ, а о буквахъ, то—сестры родныя (буква у насъ женскаго рода). Да настолько они родные, что и отдѣлить ихъ нельзя; они умираютъ въ одиночествѣ и оживаютъ только въ сообществѣ съ другими своими единокровными. Тутъ они начинаютъ и мыслить и чувствовать, радоваться и негодовать, рѣшать всемірные вопросы и говорить о бездѣлушкахъ. Ихъ постоянное взаимное сочетаніе есть *рѣчь*, а законъ, которому они слѣдуютъ въ своемъ животворящемъ сочетаніи, есть *языкъ*. Обратите вниманіе на причастіе „животворящій“: оно поставлено мною не даромъ. Буквы обнаруживаютъ жизнь не во всякомъ своемъ сочетаніи, а лишь когда водятъ хороводы въ извѣстномъ, условленномъ между собою порядкѣ. Наборщикъ разсыпалъ кассу со шрифтомъ, подберетъ какъ пришлось, отдастъ тиснуть: не выйдетъ ничего, не выйдетъ не только мысли и чувства, но даже звука; останутся только палочки и кружки.

Уповаю на Вашу догадливость и полагаю, что Вы уже предчувствуете отношеніе моего эпиграфа къ предмету нашей бесѣды. „Почитайте родителей; не измѣняйте своей семьѣ, не бѣгите ея; вы ея одна изъ подпоръ, но она только и даетъ Вамъ жизнь; безъ нея вы—безсмысленная палочка, кружочекъ, крестикъ, мертвая линія или точка. А въ семьѣ своей вы и духъ, и жизнь и разумъ.“

Это я обращаюсь къ буквамъ. Но, такъ какъ буквы сами себя не пишутъ, а выводятъ ихъ живые люди, то рѣчь моя по прямому адресу обращается не къ мертвымъ буквамъ, а къ живымъ пишущимъ лицамъ. Когда на Ваше замѣчаніе, что Вы предпочитаете въ сомнительныхъ случаяхъ правописанія держаться выговора, я отвѣтилъ, что наоборотъ держусь этимологіи, я выражалъ тогда мысль именно объ этомъ почтеніи къ родителямъ, которое считаю для пишущаго обязательнымъ. Этимологія и есть именно соблюденіе родства въ языкѣ, признаніе за отдѣльными реченіями ихъ принадлежности къ своему се-

мейству, признаніе за словомъ вообще не одной *обязанности* служить мнѣ, отдѣльному лицу, орудіемъ выраженія моей личной мысли, но и *права* его требовать отъ меня подчиненія себѣ, какъ члену большой разумной семьи, и подчиненія уставамъ и преданіямъ семьи. Право языка на меня несомнѣнно; да въ сущности оно даже не право, а фактъ. Языкъ принадлежитъ мнѣ лишь въ самой незначительной степени, а болѣе всего я ему принадлежу; опредѣленіе, будто „языкъ есть орудіе сообщенія мыслей", принадлежитъ къ числу самыхъ ошибочныхъ опредѣленій. Языкъ есть *среда*, чрезъ которую сообщается мысль одного съ мыслью другого, есть посредникъ, а никакъ не *орудіе*, посредникъ, ни отъ меня, ни отъ Васъ независящій: самостоятельный, живущій своей жизнью, продолжающеюся тысячи лѣтъ и обнимающею милліардъ живыхъ существъ (жившихъ и живущихъ). Желая сообщить свою мысль, я обращаюсь къ посреднику, и онъ передаетъ ее. И какъ передаетъ? По своему, не такъ, какъ я въ умѣ предполагалъ, и возбуждая въ моемъ собесѣдникѣ не ту мысль и даже не то представленіе, какихъ я ожидалъ. Слово, обращенное къ другому лицу, только возбуждаетъ чужую мысль, а не то, что передаетъ мою; она и не можетъ по существу быть передана; она остается во мнѣ, и я не имѣю силы ея выложить; это было-бы сверхъестественно и противоестественно. Но представленіе въ моемъ собесѣдникѣ возбуждается моими словами, болѣе или менѣе близкое къ существующему въ моей душѣ, смотря потому, въ какой степени мы оба блюдемъ родство съ своимъ языкомъ. Увѣренъ ли я, напримѣръ, что при чтеніи настоящихъ строкъ возникаютъ въ Васъ тѣ самыя представленія, которыя проходятъ во мнѣ и которыя желалъ бы я воспроизвести въ Васъ. Нѣтъ, не увѣренъ, не могу быть увѣренъ и не долженъ быть увѣренъ. Чтобы мысль, мною высказываемая, воспроизвелась въ томъ же совершенно видѣ у Васъ, въ которомъ она присуща мнѣ, необходимо, чтобы каждымъ словомъ цѣлый рядъ вызывался у Васъ именно тѣхъ представленій, которыя моимъ сознаніемъ пережиты въ этомъ словѣ; а для этого нужно, чтобы Вы умствен-

но и духовно пережили вообще то самое, что я. А Вы не пережили, какъ вообще другъ друга никто не повторяетъ въ умственной жизни. Обращаюсь къ примѣру. Мы стоимъ и слышимъ, какъ два мимо идущіе солдата разговариваютъ. „Вчера пришелъ фельдфебель“.... говоритъ одинъ изъ нихъ. Поняли мы съ Вами, о чемъ солдатъ сказалъ? Поняли именно такъ, какъ понималъ говорившій солдатъ и его собесѣдникъ? Нѣтъ, мы поняли лишь отчасти. Представленіе „вчера“, представленіе „пришелъ“, вѣроятно, у насъ будутъ болѣе или менѣе тождественны съ тѣми, какія вызывались у солдатъ—собесѣдниковъ. Но слово „фельдфебель“ для насъ только вполовину освѣщено. Мы тщетно будемъ вызывать рядъ живыхъ представленій, которыя присущи солдатамъ—собесѣдникамъ, и которыхъ у насъ не можетъ быть. У насъ останется неопредѣленное понятіе о какомъ то солдатскомъ чинѣ, намъ мало извѣстномъ. Знакомые съ нѣмецкимъ языкомъ, мы, если бы пришло намъ желаніе уяснить себѣ мало понятное слово, обратимся къ нѣмецкому словарю, сидящему у насъ въ головѣ, и поищемъ, не дознаемся ли мы смысла какъ нибудь по нѣмецкому словопроизводству; или же станемъ припоминать исторію нашей арміи и ея іерархіи, чтобы въ нихъ поискать ключа. Ключъ можетъ быть такъ и останется нами не найденнымъ. Во всякомъ случаѣ мы обращались къ двумъ путямъ, и они суть всегдашніе, неизмѣнные и единственные руководители для какого угодно слова, не только для заимствованнаго изъ чужого языка, но и для каждаго родного: *этимологія*, то есть родство съ другими современными формами языка, и *исторія*, то есть прошлый личный нашъ внутренній опытъ и историческій опытъ всего великаго народнаго семейства, къ которому мы принадлежимъ. Безъ этимологіи и исторіи ни одно слово намъ будетъ непонятно; прямѣе сказать, въ каждомъ словѣ мы и понимаемъ, точнѣе—воспроизводимъ не болѣе, какъ этимологію и исторію, родство даннаго реченія въ боковой линіи и въ восходящей. Степень родства, въ какомъ состоитъ данное реченіе или данная грамматическая форма съ остальными, и есть то, что называется „значеніемъ“ слова. А

слѣдовательно, чѣмъ дальше мы отъ этимологіи, тѣмъ дальше отъ смысла; чѣмъ яснѣе пишущимъ сознается и чѣмъ явственнѣе выставлена для читателя этимологія въ ея современномъ объемѣ и исторической постепенности, тѣмъ прозрачнѣе и чужая и собственная рѣчь, тѣмъ болѣе мы сродняемся съ языкомъ, овладѣваемъ имъ, сами принадлежа ему; тѣмъ болѣе хозяева въ своей рѣчи и—даже въ своихъ мысляхъ, потому что мысль не безплотна. Она является не иначе, какъ во образѣ, на этотъ разъ въ извѣстной послѣдовательности звуковыхъ начертаній: гармонія этихъ начертаній въ сжатомъ, завернутомъ видѣ заключаетъ цѣлый міръ мысли и опыта,—мысль и опытъ всего современнаго намъ родного народа и всей совокупности прошлыхъ поколѣній.

Въ общемъ Вы непремѣнно согласитесь со мною, но въ умѣ, если не Вашемъ, то посторонняго, кому бы Вы сообщили мое письмо, способно явиться возраженіе; какъ будто уже до такой мелочи способно соблюденіе этимологіи уяснять слово и развязывать мысль, что отмѣна какой нибудь буквы, для слуха даже несущественной, должна затруднить умственный процессъ? Я твердо повторю: да, затруднитъ, наложитъ путы; это—наклонный путь къ отупѣнію. Случалось ли Вамъ когда ходить по глинистой дорогѣ въ ноябрѣ, при морозѣ, тогда какъ наканунѣ былъ дождь? Шершавость дороги, повидимому—такое ничтожное препятствіе, но Вы утомитесь черезъ четверть часа и Вы теряете вообще свободу. А вообразите, что по такой дорогѣ Вы каждый день ходите. Эти ничтожные значки, не болѣе какъ по одной буквѣ всего, тамъ и здѣсь не на мѣстѣ поставленные, суть тѣ же крохотныя возвышеньица, образованныя на глинѣ вчерашнимъ дождемъ и замороженныя; мысль Ваша испытываетъ отъ нихъ то же, что ноги отъ колдобинъ, въ сущности миніатюрныхъ. Вы очень мѣтко выразились, что чувствуете неловкость, читая въ словарѣ у Даля „бестрастность“; какъ будто читаешь, говорите Вы безграмотное письмо. Итакъ, Вы испытываете неловкость; это значитъ—Вы затрудняетесь. Вы затрудяетесь; Вы употребляете время, чтобы возстановить въ умѣ родство слова „безстрастность“ съ его семьей; недостатокъ одной буквы Васъ

путаетъ; смыслъ, который бы, при этимологическомъ правописаніи, давался мгновенно, нераздѣльно съ тѣмъ, какъ окинули Вы реченіе глазомъ, требуетъ времени для своего пріисканія. Съ привычкой къ этому правописанію затрудненіе потомъ исчезнетъ; Вы освоитесь со словомъ, но Вы уже затеряли половину его смысла именно отъ выпуска одной буквы. Представьте себѣ, что кромѣ „з“—выпущено было бы еще и „т“—выговоръ это дозволяетъ—и Вы читаете *бестрасность:* ясность представленія совсѣмъ будетъ для Васъ утрачена. Это будетъ стертый пятиалтынный, на которомъ исчезъ чеканъ. Вы его будете принимать за пятиалтынный, но будете принимать и за гривенникъ: соотношеніе между живыми реченіями въ составѣ языка утрачивается, понятія лишаются опредѣленности и мысль—дисциплины. И все отчего? Отъ выпуска какихъ нибудь двухъ значковъ „з“ и „т“, но „з“ напоминаетъ Вамъ цѣлую категорію недостатка и отсутствія, а „т“ вызываетъ представленіе о *страсти,* отсутствіе которой „безстрастностью“ обозначается.

Позволю себѣ привести еще два примѣра, и притомъ въ противоположныхъ смыслахъ. Поистинѣ достойно сожалѣнія, что правописаніе наше утратило *юсы.* Представьте, что юсъ сохраненъ: читатель тогда безъ затрудненія узнаетъ, и даже не узнаетъ, а просто читаетъ въ польскомъ *жондъ-рядъ,* въ *вензелѣ-узелъ,* безъ затрудненія понимаетъ сербскій творительный падежъ существительныхъ женскаго рода; гимназистъ легче освоивается съ третьимъ лицомъ множественнаго латинскихъ глаголовъ. Цѣлый новый горизонтъ раскрывается и отъ чего? —Отъ какого нибудь одного, ничтожнаго значка, для рѣчи несущественнаго. А вотъ и противоположный примѣръ: различіе окончаній во множественномъ прилагательныхъ и причастій, „е“ и „я“. Кто это угодилъ нашему языку такою благодатью? Чуть ли не Ломоносовъ. Путы на пишущихъ наложены, а между тѣмъ это различіе, и именно употребленіе „е“ для мужского рода *никакого* за себя этимологическаго основанія не имѣетъ. Это совершенно внѣшняя примѣта, произвольно придуманная въ уваженіе формальнаго грамматическаго при-

личія, ни къ чему не ведущаго. За избавленіе именительныхъ падежей отъ буквы „е“ могли бы поблагодарить не одни гимназисты, но и здравый смыслъ. И вотъ что удивительно: разными умниками предлагаемы были разныя нововведенія въ правописаніи изъ уваженія къ выговору, а между тѣмъ объ этомъ единственномъ, гдѣ уваженіе къ выговору соединялось бы и съ уваженіемъ къ этимологіи, никто не заикнулся. Ясно ли однако Вамъ теперь, что соблюденіе этимологіи въ правописаніи важно для умственнаго обладанія языкомъ? Объ этой умственной важности, вѣроятно, мы поговоримъ еще впослѣдствіи. Но писавъ эпиграфъ, я имѣлъ въ виду преимущественно сторону нравственную, и я не хочу ее въ настоящей бесѣдѣ миновать. Знаете ли что? Вѣроятно, Вамъ случалось знавать людей, которые, напримѣръ, изгоняютъ изъ своего правописанія твердый знакъ „ъ“, или усвоиваютъ другое подобное новшество? Для меня такая привычка, если я ее вижу, служитъ уже одна свидѣтельствомъ объ умственныхъ и нравственныхъ качествахъ пишущаго: это непремѣнно умъ ограниченный, самонадѣянный, съ мелочными претензіями и неспособный ни къ творчеству, ни къ благороднымъ порывамъ, а серьезная мысль въ немъ и не зачиналась. Это шестилѣтній мальчишка, корчащій большого, взявшій папиросу въ зубы и важно расхаживающій, заложа руки за спину. Онъ умнѣе всѣхъ, этотъ гонитель твердаго языка, умнѣе всѣхъ грамотныхъ соотечественниковъ, не додумавшихся до такой несомнѣнной вещи, какъ излишество твердаго знака. Да чего соотечественниковъ,— онъ умнѣе грамотныхъ всего свѣта, умнѣе французовъ и англичанъ, которые пишутъ двадцать буквъ, чтобъ изобразить слово, способное выразиться четырьмя знаками. Но, не глупо ли дѣлаетъ французъ, что пишетъ avaient когда достаточно писать avè. Англичане же не совсѣмъ ли безмозглые? По выраженію одного остряка, они пишутъ *Мещерскій,* когда выговаривается *Оболенскій.* И сколько даромъ тратятъ времени эти тупые европейцы на начертаніе, сколько капиталовъ губятъ непроизводительно на отливку и оттискиваніе ненужныхъ буквъ!

Такъ разсуждаетъ нашъ умникъ, скорѣе же всего онъ даже не разсуждаетъ, а дѣйствуетъ по прихоти: такъ нравится, оригинально. И это для него еще благо, потому что вина его тогда только въ легкомыслiи и заносчивости. Хуже, когда онъ дошелъ до своего вывода путемъ размышленiй. Тогда мы ему откажемъ въ самой способности разсуждать, не говоря ужъ объ узкосердечiи, которое свидѣтельствуется этимъ пренебреженiемъ къ живому обществу, котораго онъ состоитъ членомъ, и ко всему міру отошедшихъ предковъ, трудомъ которыхъ онъ самъ есть то, что есть, которыхъ умственнаго наслѣдiя онъ есть участникъ.

Слѣдовательно, Вы не отринете, что въ презрѣнiи къ этимологiи есть и нравственная сторона, и что эпиграфъ мой у мѣста. Равно не отринете, что это противунравственное и противуестественное презрѣнiе въ добавокъ и казнится само собою тѣмъ, что влечетъ неизбѣжное сокращенiе умственнаго кругозора, неизбѣжную тѣсноту мысли, тѣмъ болѣе выдающуюся, чѣмъ дальше личное самомнѣнiе уходитъ въ исключительность: это добровольные калѣки, сами себя уродующiе, отнимающiе у себя способность къ движенiю. Представимъ только себѣ, что англичане или французы послѣдовали совѣту нашего умника и поставили за правило въ правописанiи забыть этимологiю. Что вышло бы? Одинъ этотъ актъ, самъ по себѣ, былъ бы уже ниспаденiемъ въ варварство, отреченiемъ отъ прогресса. Да, именно отреченiемъ отъ прогресса, безъ всякаго преувеличенiя. Прогрессъ есть развитiе чего нибудь; онъ представляетъ прошлое, зерно, изъ котораго произростаетъ цвѣтъ и плодъ; и вдругъ срѣзать то, изъ чего исходитъ развитiе и чему оно служитъ продолженiемъ! Тогда то языкъ и обратится въ одно „орудiе“ сообщенiя мысли и перестанетъ быть запасомъ понятiй и представленiй, надуманныхъ и прожитыхъ человѣчествомъ; онъ годенъ будетъ для употребленiя, но перестанетъ быть умственнымъ капиталомъ. Съ затерею метрическаго свидѣтельства, сохраняющагося въ каждомъ словѣ и въ каждой грамматической формѣ ихъ правописанiемъ, эти неза-

коннорожденныя дѣти неизвѣстныхъ родителей вскорѣ утратятъ фамильныя преданія, которыми жили, и постепенно станутъ ниспускать народъ до степени краснокожихъ, если не будетъ употреблено особеннаго усилія, чтобы остановить регрессъ. Одинъ знатокъ Китая высказалъ вѣрное замѣчаніе, что сыны Небесной имперіи никогда не унаслѣдуютъ европейскаго умственнаго богатства единственно въ силу своей азбуки и своего языка. А я прибавлю: азбука и языкъ китайскіе потому неспособны пріобщиться къ общечеловѣческому умственному развитію, что лишены этимологіи. Понятія неспособны къ богатому развѣтвленію, къ которому способность арійскимъ языкамъ дается этимологіею, принимая ее въ обширномъ смыслѣ этимологіи современной и исторической.

Отказывающійся отъ буквы „ъ“ или выпускающій одну изъ удвоенныхъ согласныхъ, понятно, еще не впадаетъ отъ этого одного въ варварство и не лишаетъ себя участія въ общечеловѣческомъ прогрессѣ. Но не скажу того же о послѣдователяхъ такъ называемой Кулишовки или же о сербскомъ современномъ правописаніи. То и другое есть умышленное, нарочитое отреченіе отъ родства съ современными соплеменниками и съ умственною исторіей предковъ. Имъ приходится начинать собою культуру своего народа. Бѣдные: тѣмъ самымъ они лишаютъ себя умственной будущности: они будутъ вѣчными недоносками. Это непокорные сыновья, отдѣлившіеся отъ родовитой богатой семьи и начавшіе сомостоятельную жизнь безъ капитала. Имъ не на что избу выстроить. Для самыхъ ходячихъ понятій, относящихся къ умственной жизни человѣчества, у нихъ нѣтъ выраженія; они вынуждены сочинять; должны заимствовать, выковывать новые неслыханные термины, которые по внѣшнему виду какъ будто родные, но еще болѣе непонятны малороссу, чѣмъ обыкновенное русское, по ихнему москальское слово: потому что это москальское слово, или даже только по москальски написанное, уже ведетъ за собою цѣлый міръ воспоминаній, обнимающихъ и современное и древнее человѣчество, и разомъ, однимъ начертаніемъ нѣсколькихъ ли-

ній умственно причащающее къ общечеловѣческой культурѣ. Племенной сепаратизмъ въ азбукѣ, замѣтьте—даже въ азбукѣ, не только въ языкѣ—есть племенное умственное самоумерщвленіе. Но такова праведная кара, постигающая всякую заносчивость. Сила—въ единствѣ и въ общеніи; въ общеніи единственно возможна жизнь и развитіе. Нужно это помнить и поставить потому за правило въ употребленіи языка вообще чтить родителей, тѣмъ болѣе, что каждый изъ насъ лично есть только наслѣдникъ и соучастникъ въ общемъ языкѣ. А тѣмъ болѣе должно справляться съ родствомъ въ *письменномъ* употребленіи языка. Если языкъ во всемъ составѣ вообще не намъ принадлежитъ, а мы ему, то еще менѣе принадлежитъ намъ языкъ письменный и даже не только языкъ, но каждое отдѣльное реченіе. Живое слово еще наше, пока произносится, но съ того момента, какъ заключилось въ букву, оно перестаетъ быть нашимъ и чьимъ либо. Оно—самостоятельное существо, хотя вышедшее изъ нашихъ устъ и нашей души. Оно въ насъ болѣе не нуждается: не нашъ голосъ и интонація, не нашъ почеркъ даютъ ему сущность, а отношеніе его къ языку вообще, къ словарному составу языка, къ его грамматическимъ законамъ, къ его исторіи: она его душа и жизнь.

Закончу настоящее письмо, объемъ котораго перешелъ, кажется, опять всякую мѣру, указаніемъ на одинъ историческій фактъ. Все разломалъ у насъ Петръ, и всѣ народные обычаи предъ нимъ смирились; но одинъ устоялъ, и не только устоялъ, а покорилъ даже самихъ нѣмцевъ, насъ умственно покорившихъ: обычай „отчествовать“. Самъ Петръ наименовался Первымъ, но остался Алексѣевичемъ, да еще появились у насъ вмѣстѣ съ Альбертами и Вильгельмами, Альбертовичи и Вильгельмовичи. Оставьте же и за словомъ русскимъ его отчество; берегите его по возможности и опасайтесь его затерять. Безъ шутокъ говоря, невниманіе къ словопроизводству кургузитъ мысль и сушитъ сердце, какъ всякая одинокость и отчужденность: оно тормазъ просвѣщенію, незамѣтный по наружности, но существенный.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Совѣсть въ русскомъ языкѣ.

„Какое производство этого слова?“ спросили Вы меня, когда разгадали въ *Радугѣ* шараду № I. Слово было *ахинея*, и Вы очень удивились моему объясненію, что *ахинея* происходитъ отъ Аѳины, по латинскому названію—Минервы, богини мудрости, и что Атеней есть родной братъ ахинеѣ, и даже братъ близнецъ: Атеней, какъ видите, мальчикъ, а ахинея дѣвочка. Въ Атенеѣ греческая ѳита передана черезъ „т“, какъ всѣ греческія слова, пришедшія къ намъ черезъ западную Европу, а въ ахинеѣ греческая ѳита сказалась нашею придыхательною ѳитою, замѣнившись потомъ звукомъ „х“, такъ какъ „ѳ“ или „ф“—звукъ вообще нелюбимый нашимъ языкомъ. Есть одно старообрядческое, сатирическое стихотвореніе, которое прямо озаглавливается: *Россійская Аѳинея*. Удивленіе Ваше возбуждено было противоположностью значенія: чепухою, безсмыслицею (потому что таково значеніе ахинеи) названо то, что должно бы означать мудрость и ученость. Ученость, по крайней мѣрѣ притязаніе на ученость, собственно и должна быть принадлежностью ахинеи: это качество и отличаетъ ее отъ обыкновенной чепухи и безсмыслицы. Въ словѣ ахинея, слѣдовательно, слышится сатира на ученость, изъявляющую притязаніе на глубокомысліе, когда на дѣлѣ она только безсмыслица. Таково происхожденіе слова ахинея. Пожалуй можно усматривать здѣсь слѣдъ и самодовольнаго невѣжества, которое приписываетъ безсмысліе учености, тогда какъ само до нея только не доросло. То и другое объясненіе ахинеи любопытно; но кромѣ того слово это, какъ я сказалъ Вамъ тогда же, драгоцѣнно тѣмъ еще, что заключаетъ въ себѣ намекъ на два замѣчательныя качества въ русскомъ языкѣ: *совѣсть и творящую этимологію*. Поясненіемъ этихъ двухъ качествъ и займется настоящее письмо.

Совѣсть языка. Что такое совѣсть въ языкѣ? Какая можетъ быть совѣсть у неодушевленнаго явленія? Замѣтьте, я го-

ворю не о народѣ, употребляющемъ тотъ или другой языкъ, а именно объ языкѣ, взятомъ въ самомъ себѣ, и тѣмъ то явленіе особенно любопытно: языкъ самъ въ себѣ, независимо отъ случайныхъ лицъ говорящихъ и пишущихъ, помимо сознанія вообще, обнаруживаетъ совѣсть, то есть сознаніе нравственное. Прибавлю, что изъ новѣйшихъ языковъ качество это сказалось только въ русскомъ, и притомъ только по одному опредѣленному поводу.

Надо начать немножко издалека. Въ каждомъ языкѣ, какъ я сказалъ сейчасъ, есть сознаніе или—выражусь иначе—міросозерцаніе. Вы смотрите на міръ и его представляете себѣ. Лишь только возвышаетесь Вы отъ простого впечатлѣнія, отъ дагерротипа, оставляемаго на вашихъ нервахъ видимыми, слышимыми и осязаемыми явленіями; лишь только, выражаясь ученымъ языкомъ, Вы отвлекаете и обобщаете, міръ представляется Вамъ уже не въ сыромъ видѣ, а въ отвлеченномъ знакѣ—словѣ. Вы размышляете: „уютно жить среди друзей“. Ни уютность, ни жизнь, ни среда, ни другъ, никто и ничто изъ перечисленныхъ представленій не передъ глазами, и Вы не вспоминаете даже прошлаго впечатлѣнія никакого. У Васъ въ умѣ общія представленія объ уютности, жизни, друзьяхъ, серединѣ, изъ которыхъ для каждаго есть условный значекъ въ видѣ членораздѣльныхъ звуковъ, извѣстнымъ образамъ послѣдующихъ. Каждый изъ этихъ условныхъ значковъ заключаетъ въ себѣ сумму опытовъ и извѣстную классификацію міра вещественнаго и нравственнаго. Вы говорите: „звѣрь“, „птица“; предки Ваши, стало быть, наблюдали надъ различіемъ бѣгающихъ существъ и одно изъ нихъ, которое сверхъ того и летаетъ, назвали „птицей“. Также точно наблюли надъ душевными явленіями и отличили грустное, веселое, злое, доброе и т. п. Долгимъ процессомъ должна была выразиться вся классификація видимыхъ и ощущаемыхъ явленій, а затѣмъ явленій мыслимыхъ, а затѣмъ и отношеніе мысли самой по себѣ, или категорій,—понятія о бытіи, необходимости, возможности, существенности, случайности, и такъ далѣе. Намъ, родившимся въ культивированномъ языкѣ, под-

носится все уже готовое: и классификація міра, и логика, признанныя нашими предками за достаточныя для своего физическаго и духовнаго обихода. Хотя будетъ и не вполнѣ точно, но для ясности прибавлю, что классификацію представляетъ словарь, логику—грамматика. То и другое можетъ быть у одного бѣднѣе, у другого богаче. О словарѣ нечего и говорить. Возьмите французскій и нѣмецкій: Канта и Гегеля на французскій перевести невозможно, словъ не найдется. Но такова же разница и грамматики въ богатствѣ: у англичанина нѣтъ будущаго; онъ или „хочетъ“ или „долженъ“, но не „будетъ“. Въ склоненіяхъ также различіе богатства чрезвычайное. Но различіе открывается и не въ богатствѣ только, а въ углѣ зрѣнія, откуда и какъ посмотритъ тотъ или другой народъ на міръ вещественный и нравственный. Въ этомъ отношеніи нѣтъ даже двухъ языковъ тожественныхъ, и немного словъ въ каждомъ языкѣ, которыя бы дались къ буквальному переводу. Хоть бы для вышеприведеннаго слова „уютно“ Вы не отыщете буквальнаго перевода въ другомъ языкѣ; точно также и съ другихъ языковъ въ нашемъ найдутся переводы приблизительные, но не буквальные. Сравнимъ языкъ съ сѣткою, сквозь которую смотритъ человѣческая душа въ міръ; одна сѣтка грубая съ немногочисленными отверстіями—бѣдный языкъ. Другія сѣтки—очень мелкія, и притомъ съ разнообразной тканью, у однихъ съ круглыми, у другихъ съ квадратными отверстіями. Наложите сѣтки одна на другую: отверстія одно къ другому въ точности не подойдутъ.

Все вышесказанное относится къ сознанію вообще. Сознаніе принадлежитъ не современному народу, говорящему извѣстнымъ языкомъ, а самому языку; оно добыто совокупнымъ трудомъ поколѣній; мы, потомки, только продолжаемъ работу предшественниковъ, надѣваемъ готовую сѣтку, ими припасенную, подбавляемъ клѣточекъ, иныя расширяемъ, фигуру иныхъ видоизмѣняемъ, и только. Но въ русскомъ языкѣ былъ и есть случай, что сознаніе, въ немъ лежащее, обращается кромѣ того на само себя, само себя сознаетъ, судитъ, осуждаетъ и сты-

дитъ. Это я и называю „совѣстью языка“; предоставляю впрочемъ каждому подыскать другое названіе, болѣе подходящее, для явленія, во всякомъ случаѣ несомнѣннаго. Назвать Аѳину, богиню мудрости, родительницею безсмыслицы, не насмѣшка ли? Оставимъ о томъ, кто смѣется, невѣжество ли или здравый смыслъ, но насмѣшка надъ ученою мудростью несомнѣнна. Возьмемъ другое слово: „шеромыга“. Знаете, это что такое?—Cher ami; поступить на шеромыгу значитъ обдѣлать кого нибудь любезнымъ образомъ подъ видомъ дружбы. Слышите здѣсь иронію надъ cher ami, „милымъ другомъ“, совершенно подобную ироніи надъ Аѳинеею. Вдумывались ли когда нибудь еще въ глаголъ *лебезить*. Лебезить, это есть ich liebe Sie, но употребленное не въ смыслѣ любви истинной, а лукавой, лицемѣрной, льстивой; лебезитъ—онъ увѣряетъ въ любви, но самъ подлецъ въ душѣ. Вотъ Вамъ три примѣра подобозначущихъ; ихъ можно набрать и еще нѣсколько. Особенность въ нихъ та, что ироническое значеніе прилагается не къ кореннымъ русскимъ, а къ иностраннымъ словамъ, и словамъ притомъ новѣйшаго происхожденія, заимствованнымъ изъ западноевропейскихъ языковъ. Насмѣшка и презрѣніе относится не къ самымъ предметамъ, обозначаемымъ иностранными словами, не къ учености, не къ дружбѣ, не къ любви, а къ иностранному ихъ наименованію, къ употребленію иностранныхъ наименованій при наличности русскихъ. Русскій языкъ не вѣритъ дружбѣ и любви того, кто говоритъ, что онъ cher ami, liebe Sie; видитъ въ ученой иностранщинѣ напыщенность и осмѣиваетъ ее. Осмѣиваетъ; но онъ не всегда осмѣивалъ. Былъ періодъ и еще продолжается, что тѣ же слова, съ которыми соединяется иронической смыслъ, не только произносились со всею полнотою буквальнаго смысла, но еще возвышались въ значеніи сравнительно съ русскими, а затѣмъ языкъ развѣнчалъ эти слова и обратилъ ихъ въ презрительное прозвище. Атеней, cher ami, liebe Sie были почтенными явленіями учености, истинными друзьями и положительною любовью, прежде чѣмъ перешли въ ахинею, шеромыгу и лебезить. Приведенный сейчасъ законъ особенно будетъ ясенъ

на словѣ *резонъ*. Резонъ въ совершенно серьезномъ смыслѣ употребляемъ былъ даже фонъ-Визинымъ, не смотря на то, что этотъ писатель смѣялся вообще надъ иностранщиною. Но кто употребитъ теперь слово „резонъ“ въ серьезномъ смыслѣ? „Урезонь его пожалуйста“; или: „какіе ты резоны ни представляй“, „на это нѣтъ резона“. Я увѣренъ, Вы ощущаете, что слову „резонъ“ въ каждомъ изъ этихъ выраженій придается уже нѣсколько пониженное значеніе, въ сравненіи съ русскими „убѣдить“ или „основаніе“. „Основаніе“, „доказательство“ и „резонъ“, „уговаривать“ и „урезонивать“: то же, да не то же. Резонъ есть нѣчто несущественное, почти даже шуточное; „урезонивать“ можно только человѣка неуважаемаго. „Резонъ“ еще не упалъ до ироніи, въ родѣ ахинеи или шеромыги, но уже близокъ къ тому, и можетъ быть придетъ время, когда на ряду съ ахинеей и шеромыгой и будетъ означать прямо противное своему буквальному смыслу, въ каковомъ онъ первоначально употреблялся. Возьмемъ и еще слово „оказія“. „При сей оказіи“: въ старину это былъ высокій слогъ, „оказіи“ существовали для государственныхъ людей, для высшихъ сановниковъ. А нынѣ „оказія“ относится только къ комическимъ случаямъ, за исключеніемъ одного, когда „оказія“ означаетъ отправленіе чего нибудь не по почтѣ.

Это-то пониженіе значенія, это превращеніе одного и того же слова изъ почтеннаго наименованія въ шуточную и презрительную кличку, и называемъ мы проявленіемъ совѣсти въ языкѣ. Языкъ взглянулъ на себя, осудилъ свое увлеченіе и посмѣялся надъ собой: явленіе, сколько мы знаемъ, даже единственное въ исторіи. Въ русскомъ языкѣ не рѣдкость заимствованныя изъ иностраннаго бранныя слова вообще; таковы: шельма, бестія, каналья. Къ особенностямъ ихъ значенія принадлежитъ между прочимъ, что будучи вообще поносительны, они заключаютъ вмѣстѣ и смыслъ уничижительный; ни бестія, ни каналья, ни шельма не означаютъ крупнаго злодѣя, а мелкаго негодяя. Не рѣдкость въ реченіи, вмѣстѣ съ наименованіемъ обычая, заимствованнаго отъ иностранцевъ или имѣющаго вообще отношенія къ связи съ иностранцами, слышать и нравственный

судъ надъ обычаемъ. Таковы *фершпилиться* и *транжирить*. Профершпилиться—не просто проиграться; и транжирить—не то, что просто расточить. Къ профершпилившемуся высказывается презрѣніе и насмѣшка, чего нѣтъ къ проигравшемуся просто; транжиритъ—раззоряется по пусту, безумно, безчестно; такихъ качествъ расточительность приписывается именно проживанію денегъ за границею, dans l'etranger. Обычай проматывать деньги за границей осуждается, а отсюда ужъ всякое безумное проматываніе сравнивается съ этимъ и называется транжиреніемъ. Но это все не то, что ахинея и шеромыга; ни транжирить, ни фершпилить не могли имѣть никогда почтеннаго смысла. Въ ахинеѣ и шеромыгѣ замѣчателенъ возвратъ, развѣнчаніе; въ этомъ то смыслѣ они и суть самосознаніе и совѣсть, а не сознаніе и нравственный судъ вообще; нравственный судъ надъ собою же и сознаніе, обращенное къ себѣ же, раскаяніе.

Можно уловить даже нѣкоторый процессъ, замѣтить ступени, на которыхъ стоитъ самосознаніе языка къ тому или другому реченію, и въ этомъ отношеніи до крайности интересно было бы прослѣдить подробно всю исторію нашего словоупотребленія со времени Петра, потому что, какъ я сказалъ уже, этотъ судъ совѣсти, столь ясно замѣтный на ахинеѣ или шеромыгѣ, испытываютъ на себѣ слова, только заимствованныя изъ новѣйшихъ языковъ, внесенныя вмѣстѣ съ европейскою наукою, съ западнымъ строемъ жизни. Нѣкоторыя наименованія уже осмѣяны, какъ шеромыга, другія близки къ тому, какъ *резонъ;* иныя покамѣстъ еще безразличны, какъ напримѣръ укомплектовать. А иныя пребываютъ еще во всемъ цвѣтѣ возвышенности. Они родились только вчерашняго дня и заимствованы изъ чужого языка именно для того, чтобы не только означить явленія или понятія, но и засвидѣтельствовать къ явленію или понятію почтительность, отличить его иностраннымъ наименованіемъ, подразумѣвательно засвидѣтельствовать, что въ этомъ наименованіи заключающееся понятіе есть нѣчто возвышенное, благородное, въ сравненіи съ подобными же, но выражаемыми по-русски. Варіировать вмѣсто разнообразить, концентрировать

вмѣсто сосредоточить, почему употребляютъ? По недомыслію отчасти, а главное по щегольству. „Констатировать“ вмѣсто „подтвердить“ или „удостовѣрить“ какъ то вкуснѣе и благороднѣе кажется; самое понятіе кажется, хотя оно совершенно то же, что и выраженное по-русски, болѣе возвышеннымъ, болѣе умнымъ, болѣе просвѣщеннымъ. Констатирующій воображаетъ себя во фракѣ и пренебрежительно посматриваетъ на удостовѣряющаго, находя, что онъ въ зипунѣ. Онъ, такъ сказать, шествуетъ, когда тотъ идетъ, или кушаетъ, когда тотъ ѣстъ просто. Разумѣется, большая часть словъ, подобныхъ „констатируетъ“ и вообще *игруетъ*, подвергается участи, которую испытало „резонить“. Но теперь съ отдѣльными субъектами еще повторяется то, что совершилось со всѣмъ русскимъ обществомъ сто восемьдесятъ лѣтъ назадъ. Строй жизни, не только гражданской, политической и соціальной, но и умственной и нравственной подвергся оплеванію: лица показались рылами, руки лапами. Руки не подверглись переименованію, но для лица и даже для особы нашлась *персона*, для битвы *баталія*, какъ довольству нашлось *контентованіе*. Но „персона“, „баталія“, „контентованіе“ употребите ли Вы сейчасъ иначе, какъ въ насмѣшку? „Вотъ я тебя уконтентую, важная персона, у нихъ произошла баталія“: о комъ и когда такія выраженія теперь употребляются. Выраженія, прибавлю, которыя стали теперь уже совершенно русскими, не смотря на иностранное происхожденіе; они перестали быть иностранными именно съ тѣхъ поръ, какъ привнесенъ въ нихъ новый, презрительный смыслъ: чрезъ это они взошли въ органическій составъ языка, образовали новую клѣточку въ русской сѣткѣ, обогатили языкъ, сообщили новый изгибъ понятіямъ, проникшимъ въ языкъ. Видите, къ какимъ любопытнымъ особенностямъ русскаго языка привела насъ ахинея. Но она кромѣ *совѣсти* языка, можетъ дать понятіе еще, какъ я сказалъ, о *творящей этимологіи*,—качествѣ, тоже принадлежащемъ изъ новѣйшихъ языковъ одному русскому, и мнѣ слѣдовало бы начать теперь о томъ рѣчь. Но я не хочу, чтобъ и настоящее письмо объемомъ своимъ перешло границы приличія подобно первымъ двумъ.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Творящая этимологія.

Я начинаю опасаться, не забираюсь ли слишкомъ высоко; начавши мелочнымъ вопросомъ о правописаніи сдвоенныхъ согласныхъ, повелъ Васъ въ философію языка. Простите за полетъ, опущусь. Но во первыхъ меня, не знаю какъ Васъ, только въ той мѣрѣ и занимаютъ разысканія въ области языка, пока они знакомятъ съ душой народа, со складомъ его ума и его умственною исторіею. Во вторыхъ, рѣшеніе кажущихся мелкихъ вопросовъ возможно, когда и отвѣтъ и смыслъ задачи будутъ осмысленны. Иначе и толковать нечего: какъ писать удобнѣе, такъ и пиши; пиши, какъ нравится. Но если хотите отыскать законъ, то даже для такой мелочи, какъ двойныя согласныя, пытливость поведетъ Васъ дальше, позоветъ въ самую глубь языка, до самыхъ основъ его строенія. Впрочемъ я и не думаю давать правилъ правописанія, не съ той цѣлью и началъ съ Вами бесѣду. Двойныя согласныя, непонятное на первый взглядъ производство слова „*ахинея*“ дали намъ только поводъ копнуться поглубже и подойти къ основаніямъ языка. Мы увидали удивительное явленіе совѣсти въ русскомъ языкѣ; мы увидали еще, что вниманіе правописанія къ этимологіи важно для личнаго развитія, расширяетъ и освѣтляетъ мысль. Теперь очередь моя пояснить, что я разумѣю подъ „творящею этимологіей“. Повторяю, я названіемъ не доволенъ, но дѣло не въ названіи. Я хочу Вамъ указать въ „ахинеѣ“ примѣръ постоянства, съ какимъ народъ нашъ, по моему выраженію, „почитаетъ родителей“ въ словоупотребленіи; гдѣ метрика слова для него не ясна, онъ ее самъ сочиняетъ; онъ подверстываетъ новое, незнакомое для него слово къ другимъ, родословіе которыхъ ему извѣстно, усыновляетъ его. Любопытнѣйшій изъ примѣровъ во французскомъ словѣ promenade. Оно явилось въ русскомъ вмѣстѣ съ „баталіею“ и „резономъ“, какъ „променадъ“. Это выраженіе исказилось вмѣстѣ съ отшествіемъ баръ XVIII вѣка, гово-

рившихъ полурусскимъ, полуфранцузскимъ языкомъ. Но, исказившись, оно не улетѣло совсѣмъ; оно осталось, принявъ другое оглашеніе „променажъ“, а въ московскомъ выговорѣ „проминажъ“. „Прогулка“, это въ понятіи народа такое дѣйствіе, гдѣ человѣкъ (баринъ разумѣется) „проминается“. Языкъ нашъ не терпитъ присутствія неорганическихъ веществъ въ себѣ; онъ ихъ извергаетъ, какъ всякій здоровый организмъ, или же перевариваетъ; но въ такомъ случаѣ или усвояетъ совершенно новое значеніе, какъ въ шеромыгѣ, или же даетъ новое оглашеніе, и притомъ вводя искуственно въ родство съ остальнымъ составомъ языка. Большею частью эта попытка такъ и остается попыткою; новое слово остается наростомъ, бородавкою, хотя по ней и ходятъ соки живого тѣла. Вы знавали людей, которые употребляютъ слово „логическій“ въ смыслѣ „лживый“ и „циническій“ въ смыслѣ „цѣнный“. Я знавалъ, и не одного, или точнѣе сказать—не одну, потому что это все женскій персоналъ. Чтобы когда нибудь „логичный“ утвердилось въ смыслѣ „лживый“ и „циничный“ въ смыслѣ „цѣнный“, понятно, на это нѣтъ надежды. Но фактъ любопытенъ, какъ образецъ физіологическихъ отправленій языка. Онъ объясняетъ многое и не въ исторіи одного нашего языка, а даже во всемірной исторіи вообще, если угодно. Переберите древнѣйшія легенды изъ исторіи любого народа; повсюду они вертятся на словопроизводствахъ, и почти всегда филологически дикихъ, не менѣе дикихъ, чѣмъ „логичный“ и „циничный“ или „проминажъ“. На самыхъ первыхъ страницахъ Библіи мы находимъ такое словопроизводство, въ именахъ первыхъ людей. Адамъ толкуется изъ „земли“, Ева—изъ „жизни“; но даже для незнающаго по еврейски будетъ ясно, что если уже производить, то не Адама отъ адамà (земля), а наоборотъ. Я, помнится, передавалъ остроумную, догадку, кажется Хомякова, что Адамъ и Ева не болѣе какъ мѣстоименія перваго и второго лица, я (азамъ) и ты (тхва), только арійскія, а не еврейскія. Но дѣло не въ томъ, а въ томъ, что подверстываніе чужихъ словъ къ родному словопроизводству, замѣчаемое въ русскомъ языкѣ, любопытно, какъ живой

примѣръ, способный освѣтить многіе историческіе факты и физіологію языка вообще. Русскій языкъ еще не потерялъ творчества, и творчества непосредственнаго, замѣтьте. Слова, подобныя „променажу“, вводятъ насъ въ самый тайникъ лабораторіи языка; даютъ понятіе если не о томъ, какъ создавался тотъ или другой языкъ, то—какъ, между прочимъ, онъ могъ создаваться въ извѣстныхъ своихъ частяхъ. „Ахинея“ въ этомъ отношеніи есть то же, что „променажъ“. Происходя отъ Аѳины, оно хочетъ пристроиться въ родню къ „аху“, хочетъ сказать, что это безсмыслица, не то, чтобы аховая (звуки „а“ и „о“ даютъ понятіе о громадности), но такая, какая заставляетъ и ахать и хихикать. Я увѣренъ, что для большинства сохранившихъ непосредственное чутье въ русскомъ языкѣ, слово ахинея непремѣнно и отпечатлѣвается съ такимъ родствомъ.

Достаточно я Вамъ пояснилъ, что разумѣю подъ „творящею этимологіею“, и согласны Вы, что названіе, данное мною, не вполнѣ подходитъ. Не подходитъ, что и говорить. Но творящая этимологія есть, вотъ что важно, и есть именно въ простомъ народѣ, хотя и падаетъ. Жалѣть ли объ этомъ паденіи? И да и нѣтъ. Жалѣть достойно только о томъ, что образованные классы утратили не только творчество въ языкѣ, но утрачиваютъ самый его смыслъ, забываютъ его формы, самыя красивыя, кургузятъ его, вводятъ слова, не говоря ужъ иностранныя, но новыя русскія, отъ которыхъ положительно способны раздражаться нервы. Однимъ словомъ, образованное общество, классъ людей, величающихъ себя и просвѣщенными и мыслящими, совершаютъ съ послѣдовательностью, достойною лучшаго дѣла, съ языкомъ, съ своимъ умственнымъ капиталомъ то самое, что простосердечный русскій мужикъ, не утратившій смысла въ своемъ языкѣ, продѣлываетъ съ капиталомъ вещественнымъ, землею, водами, лѣсами, выпахиваетъ, вывѣтриваетъ, засушиваетъ. Обратите вниманіе на научную терминологію: что это за непроглядный дикій лѣсъ этимологической дичи? Чтобы не ходить далеко, возьмите самую грамматику съ ея „существительнымъ“, съ ея „дѣепричастіемъ“, „междометіемъ“, „мѣстоиме-

ніемъ", „наклоненіемъ". Не коробятъ Васъ эти термины? А о литературномъ языкѣ и говорить нечего. Тѣ научные термины уже и приросли какъ то, прислышались; но цѣлою волною, день за днемъ, вторгаются въ публицистику и въ беллетристику слова и обороты, чуждые духу языка, его насилующіе, образующіе изъ него тараборщину. И что̀ всего печальнѣе, что̀ всего постыднѣе, что̀ всего ярче выдвигаетъ недомысліе пишущихъ, что на всякое новшество кидаются съ жадностью, начинаютъ таскать и затаскивать, такъ сказать, смаковать и разсмаковывать. И въ добавокъ—безо всякой нужды, безо всякой потребности языка. Новорождаемыя слова не принадлежатъ къ міру открытій или къ техникѣ, къ естественно-историческимъ, политическимъ и соціальнымъ явленіямъ, отсутствующимъ въ русской землѣ. Для тѣхъ и законъ не писанъ; русскій языкъ не можетъ входить въ претензію, когда вводятъ въ него татуированіе, парламентъ, колибри, индукцію токовъ. Нѣтъ, новыя выраженія пріискиваются для общечеловѣческихъ явленій міра нравственнаго и умственнаго, для выраженія которыхъ у насъ и безъ того скорѣе излишество, чѣмъ недостатокъ, по причинамъ, которыя, надѣюсь, будутъ раскрыты мною въ дальнѣйшихъ съ Вами бесѣдахъ. Печальныхъ опытовъ многое множество; остановлюсь на двухъ только, и во первыхъ на способномъ призводить тошноту въ чуткомъ къ русскому языку: „вліяетъ". Вліяетъ, а? Сколько въ этомъ словѣ оскорбленій русскому слуху и смыслу? Во первыхъ „вліяетъ", что же это такое? Развѣ слово, то есть одушевленный понятіемъ звукъ? Нимало. Въ русскомъ языкѣ есть лѣтъ, льетъ, но не ліяетъ; въ растяженной формѣ льетъ обращается въ „ливаетъ", но не ліяетъ даже. Стало быть, это уже прямо волдырь на здоровомъ тѣлѣ, грубая ошибка противъ неизмѣннаго закона этимологіи. Пойдемъ дальше. „Ліяетъ" и не употребляютъ, а употребляютъ только „вліяетъ"; поліяетъ, заліяетъ и проч., что въ здоровомъ словѣ было бы, тоже нѣтъ. Но пускай. Итакъ, „вліяетъ" должно быть равняется вливаетъ, съ особеннымъ исключительнымъ звукообразованіемъ. Но вливаютъ, кажется, *во* что, а не *на* что; вліяютъ же у насъ *на* что: оскорбленіе

предлогу *въ*, который имѣетъ право обижаться, и насиліе предлогу *на*, который не давалъ къ этому повода. Оно конечно понятно, какъ случилось; слово вліяетъ взяли отъ вліянія, то есть совершили словопроизводство вверхъ ногами, не отъ глагола произвели отглагольное существительное, а глаголъ—отъ существительнаго, имѣющаго видъ отглагольнаго. Но отъ этого не легче. Самое вліяніе вовсе не есть отглагольное существительное; оно есть „мокроступъ“. Вы знаете, что какой то грамотей предлагалъ, въ видахъ чистоты языка, назвать калоши мокроступами. Такъ вотъ вліяніе и есть этотъ мокроступъ. Оно есть переводъ слова influence; покойный Карамзинъ (не тѣмъ будь помянута память его) ввелъ его. И зачѣмъ понадобилось это слово? Только затѣмъ, что авторъ мыслилъ про себя не на русскомъ языкѣ, а на французскомъ, и когда писалъ по-русски, то переводилъ съ французскаго. Никакого новаго понятія, никакого новаго даже оттѣнка оно не внесло. Но авторитетъ знаменитаго писателя былъ великъ; вліяніе, пусть тоже варварское, потому что потребовало предлога *на*, взошло. А изобрѣтеніе глагола „вліяетъ“ принадлежитъ уже букашкамъ письменности, немыслящимъ не только по-русски, но и ни по каковски. И однако слово полюбилось, и его таскаютъ и смакуютъ.

Второй примѣръ—петербургскаго издѣлія товаръ: употребленіе глагола *выглядѣть*. Слово совершенно русское, образованное вполнѣ правильно, но какъ оно употребляется? „Онъ выглядитъ звѣремъ“. Какъ русскій человѣкъ, Вы полагаете, что это будущее время. Извините, по петербургски это уже настоящее. Какъ настоящее? Предлогъ *въ*, и притомъ, когда на немъ удареніе, непремѣнно обращаетъ настоящее время въ будущее. Три особенности, гдѣ „вы“ оставляетъ за глагольною формою значеніе настоящаго (выноситъ, выходитъ, выводитъ) переноситъ удареніе на глагольную тему для указанія, что предлогъ тутъ существуетъ не для времени, да и эти три глагола съ удареніемъ на „вы“—всетаки будущіе. Какъ угодно, а по петербургскимъ грамотеямъ, такъ „выглядитъ“ и „выгляжу“ еще настоящее время. Гг. составители грамматикъ, запасайте лиш-

нюю статью въ учебникъ; книжному міру угодно, чтобы предлогъ отказался отъ своего коренного, существеннѣйшаго свойства въ глаголахъ. Что за дѣло, что „высмотрю“ я послѣ; за то „выгляжу“ я теперь, и это есть форма настоящаго времени. Хоть бы капельку вниманія, хоть бы только крошечку чутья въ языкѣ; сказали бы по крайней мѣрѣ „выглядываетъ“ вмѣсто выглядитъ. Пусть это былъ бы оборотъ тоже варварскій, ибо это будетъ только сырымъ переводомъ нѣмецкаго, но по крайней мѣрѣ грамматически правильнымъ.

Для меня „вліяющіе“ и „выглядящіе“ уже однимъ этимъ словоупотребленіемъ достаточно о себѣ свидѣтельствуютъ. Вы знаете, что не одинъ десятокъ тысячъ литературныхъ рукописныхъ произведеній на вѣку мнѣ пришлось перечитать; наметался я. Вижу „вліяетъ“ и „выглядитъ“,—я уже знаю, съ кѣмъ имѣю дѣло; умственный возрастъ для меня опредѣленъ; мѣрка пошлости дана; точно такъ же, какъ и для Васъ, напримѣръ, непремѣнно умственный возрастъ собесѣдника тотчасъ же данъ, когда Вы слышите, что онъ употребляетъ „секлетарь“, „колидоръ“ или „найтить“ и „прійтить“. Вы знаете, есть вообще такія словца, по которому одному, какъ по древнему „шибболетъ“, можно узнать, изъ какого колѣна собесѣдникъ. Къ таковымъ относится напримѣръ и слово „привиллегія“ (съ двумя л). Это конечно нѣсколько повыше „секлетаря“ и „колидора“, но не менѣе характерно: если еще нельзя опредѣлить съ точностью, чего можно ждать, то уже не ошибешься, чего отъ такого писателя *нельзя* ждать.

Отыщемъ впрочемъ и въ этомъ печальномъ явленіи, какова затеря не только творчества, но даже чутья въ языкѣ у образованнаго класса, свою если не утѣшительную, то смягчающую сторону. Мы живемъ въ періодъ, когда совершается извѣстный переливъ духа. Можно его сравнить съ тѣмъ періодомъ, когда на древній міръ хлынули варвары, и началось смѣшеніе, физіологическое сначала, а потомъ и лингвистическое. Столкнулись два языка, расшиблись и изъ осколковъ создали новый: имѣемъ французскій, итальянскій, испанскій, англійскій, ново-

греческій, болгарскій, румынскій. Нашъ языкъ въ звуковомъ своемъ составѣ, и словарномъ и грамматическомъ, на большую половину остался цѣлъ, да и не отъ чего ему было рушиться. Финскія племена, съ которыми скрестилось славянское, воздѣйствовали развѣ только на выговоръ. Но скрещеніе другое произошло—понятій. Христіанство внесло уже цѣлый языкъ, цѣлую литтературу, обогатило и новыми формами и новыми реченіями языкъ, подогнуло его подъ новый синтаксисъ, или лучше сказать—прямо дало синтаксисъ, котораго почти не было. Это одна волна, оказавшая на языкъ чрезвычайное дѣйствіе, осадившаяся главнымъ образомъ въ церковной письменности. Другая волна началась съ Петра и продолжаетъ дѣйствовать: этимологія измѣнялась мало, но словарь обогатился и синтаксисъ пострадалъ. Органическій процессъ еще не кончился. И здѣсь вотъ что замѣчательно: культурный натискъ начинаетъ проникать до глубокихъ словъ, затмевая смыслъ и чутье не въ однихъ высшихъ слояхъ, но и въ народѣ. За то начинается и обратный ходъ. Оттуда, изъ донныхъ слоевъ поднимается и свой синтаксисъ и своя этимологія, тоже вкладывая по кирпичу въ зданіе, пока еще слабо, положимъ. Хоть бы тотъ же Даль, на котораго мы ссылались, есть уже одинъ изъ самыхъ видныхъ дѣятелей. А разные передразниватели народа въ повѣстяхъ и романахъ? Какъ ни грубо, какъ ни безобразно, но подвигъ, намѣченный исторіей, совершается и черезъ нихъ. Въ несомнѣнности его убѣждаетъ наличность другихъ, параллельныхъ обстоятельствъ; фабричный надѣваетъ сюртукъ, крестьянка кринолинъ; за то у насъ являются сарафаны и поддѣвки. Крестьянинъ съ неподдѣльнымъ удовольствіемъ выкладываетъ пошлый, мѣщанскій домъ, на городской образецъ, безъ вкуса, вида и образа; мы перенимаемъ коньки, подвѣски, строимъ хоромы на подобіе избъ и натуживаемся отыскать русскій архитектурный стиль. Въ деревнѣ распѣваютъ романсы и пляшутъ кадриль въ аккомпаниментъ чижику; мы разыскиваемъ народную гамму, записываемъ народные мотивы, захлебываемся, слушая Славянскаго, и сочиняемъ оперы въ русскомъ музыкальномъ стилѣ.

Какъ же это явленіе назвать, какъ не переливомъ духа, обмѣномъ, скрещиваніемъ? Грядущее неизвѣстно; но оно стоитъ предъ нами въ неясномъ очертаніи, новое, необъятное. Нѣтъ, не то, что необъятное, а напротивъ всеобъемлющее. Мы всасывали элементы отовсюду, не подчиняясь однако, а переработывая ихъ, и притомъ по всѣмъ отраслямъ культуры, и между прочимъ въ языкѣ. Принявъ воздѣйствіе греко-римскаго міра черезъ Церковь, продолжая испытывать воздѣйствіе новѣйшей Европы черезъ Петровскій переворотъ и всю дальнѣйшую исторію, языкъ еще успѣетъ поднять соки со дна, изъ народа, захватить съ боковъ изъ славянскихъ нарѣчій, прежде чѣмъ сформироваться окончательно. А въ виду этого величаваго будущаго, съ которымъ ни одна исторія ни одного языка не смѣетъ равняться, съ улыбкою сожалѣнія будемъ провожать и „вліяющихъ“ съ „выглядящими“, само собой разумѣется не подражая этимъ умственнымъ недоноскамъ.

Урѣзанный документъ.*)

Отрывокъ изъ воспоминаній.

Это было въ іюлѣ 1852 года. Экзамены въ Академіи (Московской Духовной) кончились; бо́льшая часть студентовъ разъѣхались, не заботясь о судьбѣ, которая должна была рѣшиться на конференціи подъ предсѣдательствомъ митрополита (Филарета). Съ самаго начала Академіи Филаретъ былъ единственнымъ ея ревизоромъ, каждый разъ впрочемъ по особенному назначенію отъ Синода. Онъ присутствовалъ на экзаменахъ, иногда даже на частныхъ, а на публичныхъ всегда; въ иные года обхаживалъ зданія Академіи съ цѣлію обозрѣть „хозяйственное“ состояніе; но главное, рѣшающее вниманіе къ успѣхамъ и порядкамъ Академіи оказываемо было ревизоромъ на конференціи, собиравшейся подъ его предсѣдательствомъ послѣ экзаменовъ. На ней читались студенческія диссертаціи, какъ краткія, экзаменическія, родъ экспромптовъ, которые задаваемы были на русскомъ и латинскомъ языкѣ предъ экзаменами всѣмъ студентамъ, такъ особенно диссертаціи на ученую степень, поданныя оканчивающими курсъ. Не всѣ диссертаціи обоихъ курсовъ читались, и тѣмъ болѣе не каждая вполнѣ. Обыкновенно митрополитъ, взявъ списокъ выпускаемыхъ студентовъ, приказывалъ прочитывать сначала экзаменическіе экспромпты. Экспромпты бывали коротки, рѣдко доходили до одного письменнаго листа, но по нимъ уже можно было судить о дарованіи писав-

*) „Русь“ 1884 г. № 19.

шаго. Затѣмъ брались диссертаціи на магистерскую степень и читались въ выдержкахъ, та страница и другая. Введенія къ каждой диссертаціи прочитывались впрочемъ всегда цѣликомъ; они давали судить, какъ авторъ принялся за тему, съ какой точки подошелъ къ предмету. Диссертаціи представляемыхъ къ степени магистра проходимы были такимъ образомъ всѣ. Смотря потому, какими находилъ ихъ ревизоръ, слѣдовали его заключенія: или онъ соглашался съ представленіемъ Академіи и утверждалъ списокъ студентовъ, составленный ею—это бывало чаще всего; или же требовалъ измѣненій: отказывалъ студенту въ степени, повышалъ или понижалъ его въ спискѣ, обращалъ диссертацію къ исправленію.

Диссертаціи магистерскія просматривались вообще строго. Онѣ проходили нѣсколько рукъ. Начать съ того, что онѣ и писались подъ непосредственнымъ руководствомъ преподавателя, къ каѳедрѣ котораго относились по своему предмету. Затѣмъ прочитываемы были однимъ изъ членовъ конференціи, если первоначальный руководитель студента не состоялъ ея членомъ. Диссертація вносилась тогда на домашнее собраніе, въ которомъ участвовали не одни оффиціальные члены конференціи, но и всѣ преподаватели, на долю которыхъ приходилось читать диссертаціи. Здѣсь происходила провѣрка. Просматривавшій диссертацію докладывалъ о ея содержаніи, читалъ изъ нея отрывки, давалъ ей общую оцѣнку. Слѣдовалъ обмѣнъ мнѣній, и въ результатѣ—назначеніе мѣста студенту въ спискѣ. Промытыя такимъ образомъ въ нѣсколькихъ водахъ диссертаціи и списокъ, составленный коллегіальнымъ обсужденіемъ достоинствъ каждаго студента, представлялись затѣмъ уже на обсужденіе конференціи, собиравшейся подъ предсѣдательствомъ митрополита, точнѣе сказать, представлялись митрополиту; сама конференція являлась въ этомъ случаѣ подсудимою и отвѣтчицею. Этимъ мытарство диссертатацій однако еще не оканчивалось; онѣ шли потомъ въ Синодъ, тотъ разсылалъ ихъ по архіереямъ, и когда уже получались и отъ нихъ отзывы, утверждалъ или отказывалъ въ просимой степени.

Въ числѣ диссертацій, заданныхъ и просмотрѣнныхъ мною на XVIII курсѣ, выходившемъ изъ Академіи въ 1852 году, была *О полемикѣ православныхъ богослововъ противъ раскола въ XVIII вѣкѣ* (оффиціальное заглавіе было нѣсколько иное). Это была повторительная тема. Съ нею возился я уже прошлый курсъ; по обширности задачи, студентъ, хотя и отличный (С. Н. Терновскій), не могъ тогда ее осилить и остановился только на порогѣ къ XVIII столѣтію. Не осилилъ и продолжавшій изслѣдованіе въ слѣдующемъ курсѣ студентъ И. А. Веніаминовъ: диссертація успѣла захватить только, помнится, Димитрія Ростовскаго съ Питиримомъ (не считая Прокоповича и Яворскаго). А мое намѣреніе было: рядомъ послѣдовательныхъ диссертацій разработать руками студентовъ полную исторію борьбы съ расколомъ.

Конференція подъ предсѣдательствомъ митрополита собралась. Я, какъ младшій преподаватель (баккалавръ), не состоялъ членомъ конференціи и, слѣдовательно, не участвовалъ въ собраніи. Мое дѣло было подготовить диссертацію и дать о ней отзывъ. И. А. Веніаминовъ (теперь уже покойный) былъ отличныхъ дарованій юноша, съ проницательнымъ умомъ и художественнымъ чутьемъ, притомъ добросовѣстный, трудолюбивый и въ добавокъ прекраснѣйшей души, благороднѣйшій характеръ, возвышенные идеалы. Истинно, это былъ брилліантъ. Нечего говорить, что каждое слово диссертаціи (по обширности ея на конференцію представлена была только часть) было продумано и провѣрено: ни одного слова лишняго, ни одного слова не у мѣста, ни одного не оправданнаго. Изложенію придана объективность, возвышавшаяся до художественности. Все стараніе было приложено къ тому, чтобы, не сказавъ отъ себя ни слова, словами раскольниковъ съ одной стороны, православныхъ богослововъ съ другой, изобразить діалектику самой исторіи. Помимо требованій предмета, признавалось такое изложеніе и болѣе безопаснымъ въ виду предстоявшей двойной провѣрки, отъ митрополита и затѣмъ отъ Синода. Я былъ вполнѣ покоенъ за диссертацію и успокоилъ студента; придирокъ не будетъ, и не

можетъ ихъ быть, не къ чему. Случилось однако нѣчто неожиданное, не съ диссертаціею, а по ея поводу.

Послѣ конференціи, окончившейся благополучно, приглашаетъ меня къ себѣ ректоръ, въ тотъ же или на другой день.

— У васъ эта книга митрополита Платона, о которой вы мнѣ говорили?

— Какая это, Ваше Высокопреподобіе? Я не помню.

— А вотъ та, въ которой онъ говорилъ, что съ раскольниками не должно спорить.

— А, это вы говорите о раскольнической рукописи, на которой Платонъ положилъ собственноручную резолюцію? У меня.

— Принесите мнѣ ее; Владыка ее требуетъ.

Я попросилъ объясненія и узналъ, къ немалому огорченію своему и удивленію, слѣдующее. Когда на конференціи дошли до чтенія диссертаціи Веніаминова (помнится, онъ былъ шестымъ студентомъ), Филаретъ выразилъ неудовольствіе на то, что нѣтъ „обличеній“. Ректоръ (тогда имъ былъ Алексій, недавно скончавшійся архіепископомъ Тверскимъ) не нашелся, что отвѣтить. Самъ онъ диссертаціи не читалъ и о существѣ задачи имѣлъ смутное понятіе, хотя на домашней конференціи и докладывано было мною о ней подробно. Въ наукѣ Алексій вообще былъ недалекъ и несиленъ. А. В. Горскій, присутствовавшій на обѣихъ конференціяхъ, могъ бы дать удовлетворительный отвѣтъ: онъ о содержаніи диссертаціи зналъ и дѣло понималъ. Но то было бы нарушеніемъ субординаціи; каѳедра моя принадлежала къ богословію, профессоромъ котораго былъ ректоръ; профессору исторіи нестать было забѣгать впередъ прямого отвѣтственнаго лица. Нужно было бы сказать, что задача диссертаціи есть не обличеніе иль критика раскола, а историческое изложеніе. Алексій же отвѣтилъ:

— Да баккалавръ говоритъ, что митрополитъ Платонъ не велитъ спорить съ раскольниками.

— Что такое? Гдѣ? гнѣвно спросилъ Филаретъ. Подай книгу. Гдѣ это онъ говоритъ?

Добрѣйшій, святой Александръ Васильевичъ Горскій пожималъ плечами, передавая мнѣ эту исторію, когда я къ нему обратился съ просьбою объяснить подробно, какъ происходило дѣло. Само собою разумѣется, онъ не могъ ни на минуту предположить, чтобы я ли, митрополитъ ли Платонъ могли вывалить такую нелѣпость.

Я представилъ ректору требуемую книгу. Она была рукописная (полууставъ), въ четвертку, озаглавливалась: *О преданіяхъ церковныхъ*, принадлежала библіотекѣ Виѳанской семинаріи и вмѣстѣ съ другою подобнаго содержанія (Отвѣтами Пѣшехонова) взята была для пользованія, какъ прямо относящаяся къ моей каѳедрѣ. Исторію этой книги необходимо разсказать; она была своего рода поворотнымъ пунктомъ въ исторіи раскола.

Исправлены богослужебныя книги, въ томъ числѣ измѣнены нѣкоторые обряды, обычные Русской церкви. Послѣдовалъ протестъ, обратившійся потомъ въ прямой расколъ. На какой точкѣ зрѣнія стояли исправители, на какой протестовавшіе? Едва ли многимъ извѣстно, что первоначально представители церковной интеллигенціи стояли на той самой точкѣ, которую потомъ усвоили раскольники. Должно исправить книги, должно исправить обряды, потому что утвердившійся текстъ есть новый, искаженный, несогласный съ древними подлинниками, и обряды, въ родѣ двоеперстія и сугубаго аллилуіа, суть обряды нововнесенные. Исправленіе возвращаетъ и текстъ и обряды къ подлинной древности, къ истинному преданію. Вотъ какъ разсуждали исправители. Протестовавшіе челобитчики стояли на другомъ, не на этомъ археологическомъ основаніи, а на догматическомъ. „Вы вносите ереси“: такова главная мысль первыхъ челобитныхъ. „Духа истиннаго отставили“, толковали, напримѣръ, по поводу того, что въ молитвѣ *Царю Небесный*, вмѣсто прежняго призыванія *Душе истинный*, напечатано, согласно съ греческимъ текстомъ молитвы и съ текстомъ Евангелія, *Душе истины*.

— Вы что? У васъ Духъ Святый „изъ стѣны“: скажетъ и теперь раскольникъ (если онъ не начетчикъ) или расколь-

ница баба. Это первый моментъ раскола; онъ повторяется доселѣ въ единоличныхъ отпаденіяхъ. „Они что? Они въ Духа Святаго не вѣруютъ, Ісуса Христа отвергаютъ!“—Какъ не вѣруютъ, какъ отвергаютъ? Изъ чего это видно?—„А вотъ изъ того и видно, что молитву Духу Святому перемѣнили, да и молитву Сыну Божію отмѣнили (вмѣсто *Сыне Божій* читаютъ *Боже нашъ*), да придумали Іисуса вмѣсто Ісуса“.—Такими доводами и теперь проповѣдники и проповѣдницы раскола начинаютъ совращеніе. Такъ разсуждали и первоучители раскола. Каждую букву они брали отдѣльно, независимо отъ связи рѣчи и тѣмъ менѣе свѣряясь съ древними рукописями, а только сличая съ тѣмъ, какъ читалось доселѣ. Ходъ умозаключеній былъ таковъ. То, что читалось вчера—было православно; оно отмѣнено, стало-быть, отмѣнена православная вѣра, стало-быть, введена ересь Аріева, Македоніева, Евтихіева, все равно, но ересь. Съ этимъ выступилъ расколъ и на этой стадіи онъ дѣйствительно заслуживалъ наименованія невѣжествомъ, чѣмъ его и встрѣтили. „Невѣгласи, не знающіе грамматики, не разумѣющіе діалектики!“ Подобными выраженіями и привѣтствовалъ расколоучителей первый ихъ обличитель, Симеонъ Полоцкій въ *Жезлѣ правленія*. Но интеллигенція церковная имѣла здѣсь передъ собою не одно невѣжество, а кромѣ того еще особенное отношеніе къ вѣрѣ, особенный культъ, для котораго слово церковной книги есть не выраженіе только логической мысли, имѣющей связь съ другими, выше и ниже поставленными, и обрядъ есть не символъ только догмата; нѣтъ, и обрядъ и каждая буква, притомъ взятые независимо отъ своего смысла, суть вещественные носители духовной благодати; посягательство на нихъ, помимо всего, есть, такъ-сказать, возстаніе противъ Духа Святаго. Вотъ безсознательное воззрѣніе, съ которымъ приходилось имѣть дѣло первымъ ратователямъ противъ раскола. Оно не умѣло сказать о себѣ и пріискивало основанія, чтобы себя осмыслить. Нововведенія въ вѣрѣ, которыя прежде бывали, назывались ересями. Слѣдовательно и теперь ересь, „погрѣшеніе въ догматѣхъ“. Понятно было него-

дованіе богослововъ противъ этого магизма, сопровождавшагося притомъ фанатическими дѣйствіями и хулами на Церковь. Негодованіемъ и полны *Жезлъ правленія* и особенно Димитрія Ростовскаго *Розыскъ*. Димитрій Ростовскій яснѣе другихъ понималъ, точнѣе сказать — онъ первый и понялъ, сущность противостоявшаго воззрѣнія, и потому своей книгѣ предпослалъ общій трактатъ о томъ, что̀ такое *Вѣра*, разбивая главное основаніе, на которомъ стоялъ расколъ.

Но взаимное положеніе скоро измѣнилось. На мѣстѣ Никиты, Лазаря, Аввакума стали другіе вожди, не столь невѣжественные, которые разумѣли, что̀ такое догматъ и ересь, и поняли справедливость упрековъ, къ нимъ обращенныхъ. Они перемѣнили позицію. Искать аріанства или евтихіанства перестали и не придирались невѣжественно къ словамъ, минуя грамматическій и логическій смыслъ. Расколоучители стали на ту самую позицію, которую первоначально заняли исправители. Мы стоимъ за преданіе; мы слѣдуемъ примѣру, оставленному намъ святыми угодниками Божіими; мы держимся того, что̀ начертано въ древнѣйшихъ харатейныхъ книгахъ, изображено на иконахъ, писанныхъ первосвятителемъ Петромъ и даже самимъ евангелистомъ. Мы сомнѣваемся, мы опасаемся.“ Эпоху въ этомъ отношеніи составили *Поморскіе Отвѣты*. Съ неумолимою логикою, шагъ за шагомъ разобраны въ нихъ главнѣйшіе пункты разногласія и хронологическимъ перечнемъ свидѣтельствъ доказывалось, что древность на сторонѣ раскола. Силу особенную *Поморскимъ Отвѣтамъ* дали притомъ фальсификаціи Питирима, который въ своей *Пращицѣ*, не стѣсняясь, ссылался на сфабрикованные *Дѣянія Собора противъ Мартына Армянина* и на *Θеогностовъ Требникъ*. Подложность той и другой рукописи доказана въ *Поморскихъ Отвѣтахъ* и исторически и филологически. *)

*) По чьему наущенію составленъ этотъ подлогъ? Есть намеки, что по повелѣнію Петра. Въ одной изъ его письменныхъ замѣтокъ, по крайней мѣрѣ, читается приказаніе составить какую-то противъ раскольниковъ книжку „и приписать тое Ростовскому“. Стало-быть, такой пріемъ водился за Преобразователемъ.

Позиція православными полемиками была, такимъ образомъ, потеряна. Ссылаться на древность стало имъ до времени невозможно. Оружіе, приготовленное въ видѣ *Дѣяній на Мартына* и *Ѳеогностова Требника,* переломилось въ ихъ рукахъ. Они приняли новое положеніе: „Древне ли, ново ли, это до вѣры не касается". Первый уже Димитрій Ростовскій раскрывалъ эту мысль; затѣмъ подробнѣе Ѳеофилактъ Лопатинскій въ *Обличеніи неправды раскольнической. Розыскъ* и *Обличеніе* были ударами глубокими. Расколъ не могъ не почувствовать ихъ силы, тѣмъ болѣе, что перемѣна позиціи дала возможность богословамъ перейти изъ обороны въ наступленіе. Не усиливаясь особенно доказывать правоту исправленія, православные обличители пустились въ разборъ самого раскола, чему самъ-то онъ вѣруетъ, какъ учитъ, какъ живетъ. Возразить расколоучители ничего не могли противъ общихъ основаній, съ которыхъ начали ихъ бить; не могли вожди раскола отрицать и собственнаго нестроенія. Оставалось имъ плакаться на порицанія противъ нихъ, разсыпанныя въ *Розыскѣ* и *Обличеніи.* И къ этому они прибѣгли, не переставая даже до нашихъ дней принимать этотъ тонъ казанскаго сироты, причемъ забываютъ вникнуть, что ихъ-то сторона, въ лицѣ Лазаря и Аввакума, изрыгала еще бо́льшія хулы на Церковь. Въ теоретической же области расколоучителямъ оставалось отбиваться только отъ частностей: пусть вообще обрядъ безразличенъ къ вѣрѣ, но безразличны ли тѣ, на которые посягнуло исправленіе? Въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ старообрядство само раскололось и продолжаетъ раскалываться до нашего времени. По однимъ, обряды, тронутые исправленіемъ, столь существенны (нѣкоторые по крайней мѣрѣ, въ родѣ двоеперстія), что съ видоизмѣненіемъ ихъ Церковь теряетъ благодатную силу и таинства лишаются въ ней своего дѣйствія (безпоповцы); другіе (поповцы) находятъ, что таинства въ Церкви и при новыхъ книгахъ сохранились.

Здѣсь не мѣсто перечислять, какъ эти два воззрѣнія въ расколѣ, движимыя внутренними противорѣчіями, стали въ свою

очередь дробиться. Но православная полемика послѣ Ѳеофилакта если не отступилась отъ своей точки зрѣнія, то перемѣнила тонъ. Изъ запальчиваго, негодующаго, презрительнаго, она перешла въ отечески увѣщательный, сердобольный, и это была заслуга митрополита Платона. „Кривотолки, мужики, и вѣры-то въ васъ настоящей нѣтъ, и выдумали какого-то „равноухаго“ вмѣсто Іисуса. „Спроси бабу деревенскую“, или „отъ инаго горшаго черта ты узналъ это“. Вотъ какія рѣчи раздавались отъ Димитрія Ростовскаго и Ѳеофилакта. Теперь наоборотъ послышался, по выраженію самихъ раскольниковъ, „жалостный и болѣзненный гласъ“. „Скажите вы, именующіеся старовѣры, вопрошаетъ васъ Святая Христова Церковь, скажите: почто вы отъ насъ отлучаетесь?“ Развѣ вы и мы не тому же вѣруемъ? Мы исповѣдуемъ Троицу тремя перстами, и вы исповѣдуете тоже тремя перстами: мы двумя исповѣдуемъ два естества во Христѣ, вы тоже. Только персты разные; справедливо ли ради этого разлучаться? А Церковь готова васъ принять, она ждетъ васъ, простираетъ вамъ объятія. Въ родѣ того говорило *Увѣщаніе Вселенскія Церкви ко всѣмъ отлучившимся ея*, составленное митрополитомъ Платономъ, и на него-то отвѣтомъ явилась книга поповщинскаго инока Никодима *О преданіяхъ церковныхъ*, которую ректоръ велѣлъ мнѣ принести для показа митрополиту.

„Ежели вы о нѣкоторыхъ Церкви нашей обычаяхъ сумнитесь и соблажняетесь, приглашало *Увѣщаніе*, то безъ всякой опасности требуйте отъ духовнаго Церкви правительства или отъ другихъ, какихъ хотите пастырей, чтобы ваши сумнѣнія они разрѣшили и утишили бы безпокойства вашего соблазны“.

И далѣе: „и сіе разсужденіе наше покажется вамъ аще не довольно, то позволительно вамъ желаніе свое изъяснить духовнымъ пастырямъ письменно или словесно, да не только позволительно, но и просимъ и молимъ васъ безъ всякаго опасенія пріити къ пастырямъ церковнымъ и свои сумнѣнія предложить. Будьте надежны, что на все ваше недоумѣніе

даны будутъ ясныя разсужденія со всякою христіанскою тихостію".

Часть поповцевъ не могла не быть тронута отеческимъ тономъ *Увѣщанія,* въ числѣ ихъ особенно инокъ Никодимъ, и теоретически уже убѣжденный собственными розысканіями въ несостоятельности церкви безъ полной іерархіи, каковымъ было старообрядческое, хотя и поповщинское, общество. Но возбуждалось новое сомнѣніе и о господствующей Церкви именно тѣмъ равнодушіемъ къ обряду, которое теперь исповѣдалось, сомнѣніе, тѣмъ болѣе естественное, что богословы исповѣдуемымъ безразличіемъ становились въ противорѣчіе собственнымъ своимъ книгамъ. Изложенію этихъ противорѣчій главнымъ образомъ и посвящено сочиненіе Никодима. Составлено оно мастерски. Ѳеофилактъ Лопатинскій въ своемъ *Обличеніи,* положимъ, пишетъ о монашескомъ клобукѣ: что̀ за важность такой или иной? „Сколько клобукомъ покрышися, столько возможно и рогожею или инымъ чѣмъ". Съ ядовитою почтительностью Никодимъ напоминаетъ, что по книгамъ, принимаемымъ самою Церковью, клобукъ и вообще облаченіе монаховъ (идущее по преданію отъ св. Пахомія, а ему внушенное ангеломъ) имѣетъ не одно практическое назначеніе, но и духовный смыслъ. Или: Ѳеофанъ Прокоповичъ въ своей книгѣ *О блаженствахъ* (внушенной, судя по содержанію, Петромъ) употребилъ такой доводъ. Христосъ говоритъ: блаженны, когда поносятъ васъ и проч. Поэтому, „аще кто за истину правовѣрія пойманъ и мукамъ преданъ будетъ, долженъ убо страдати мужественно, призывая Бога помощника, но со всякою кротостію, не укоряя нимало судію мучителя". А раскольники не безропотно переносятъ гоненія, напротивъ, укоряютъ власть; поэтому они не истинные христіане и не правовѣрные. Книга *О преданіяхъ церковныхъ,* въ возраженіе противъ этого, напоминаетъ о Четіихъ Минеяхъ Димитрія Ростовскаго и выписываетъ изъ нихъ длинный перечень злословныхъ выраженій, съ которыми обращались св. христіанскіе мученики къ своимъ мучителямъ: „мерзкій свиніе, смердящій псе, прескверне, пребеззаконне, безстудне, волче,

проклятая главо"*), и проч. Не умолчано и болѣе глубокое противорѣчіе по самому существенному вопросу, раздѣляющему старообрядство отъ господствующей Церкви. О перстосложеніи, которое представлено въ *Увѣщаніи* безразличнымъ, не далѣе, какъ *Жезлъ правленія*, и именно противъ старообрядцевъ, утверждалъ, что оно идетъ отъ самого Христа, который, по словамъ евангелиста, возносясь на небо, благословилъ учениковъ; а благословилъ-де конечно своимъ именемъ, ибо въ Писаніи го-

*) Для курьеза выписываю этотъ перечень. Упомянувъ сначала, что св. мученики обращались къ мучителямъ со словами, «смердящій псе» и «сосуде сатанинъ», Никодимъ далѣе читаетъ такое поминаніе: «прескверне, пребезаконне, безстудне, мерзкій свиніе, непреподобне, пагубный человѣче, слуго діаволь, сосуде сатанинъ, діаволовъ друже, сыне діаволь, главо діявола, сродниче бѣсовъ, враже Божій, проклятая главо, наслѣдниче геенны, отчужденне благъ небесныхъ, обетшалый змію, потемнѣнне злобою, помраченне, заблужденне, нечувственне, губителю слѣпый, лукавый льстителю, бѣсный псе и нечестивѣйшій, оканне, коварне, несмысленне, ослѣпленне, безумне, нечестиве, богоборче, волче, прелестниче, наслѣдниче тартара».

Вообще по части эрудиціи православные богословы до самаго послѣдняго времени не въ состояніи были состязаться со старообрядцами. Для послѣднихъ недоступны были подлинники. Это было ихъ несчастіе, отчасти и причина заблужденія, но переводная богословская литература неимовѣрно была богата, и вожди раскола, начиная съ Денисовыхъ, твердо ее знали; богословы наоборотъ: обрадовавшись Герарду, Квенштедту (Прокоповичъ съ послѣдователями) или Беллармину (Яворскій), они отложили отеческую литературу даже въ подлинникѣ, не говоря о переводной, которую презирали, надменные схоластической наукой. Не всѣ, между прочимъ, даже знали по гречески. Отсюда усиленіе раскола, при всѣхъ серьезныхъ «разглагольствіяхъ» прошлаго вѣка (Неофита, Питирима), церковные борцы отбиваемы были со срамомъ, именно по невѣжеству ихъ въ отеческой богословской литературѣ. Герардъ и Белларминъ отказывались имъ помочь; у тѣхъ свои вопросы, которыхъ Русская церковь не знала. Съ высоты школьнаго высокомѣрія богословы презирали раскольниковъ, считая ихъ сплошь невѣждами. Въ школьномъ смыслѣ такими и были даже главные учители старообрядчества, но богатствомъ келейной эрудиціи по первоисточникамъ (пусть переводнымъ) обладали они поражающимъ. Отсюда, во первыхъ, вѣчное qui pro quo, недоразумѣніе доселѣ продолжающееся; а во вторыхъ—пріемы поддѣлокъ, въ родѣ Ѳеогностова Требника или дѣтскихъ доводовъ, къ какимъ прибѣгъ Прокоповичъ въ книгѣ *О блаженствахъ*. Раскольники представлялись не только невѣждами, но и дураками, которыхъ можетъ провести pia fraus. Если спросить: кто больше виноватъ въ расколѣ, Никоновское ли исправленіе или дальнѣйшіе его защитники, то не обинуясь должно поименовать неумѣлыхъ оруженосцевъ Церкви, въ родѣ Питирима или Прокоповича.

ворится, что о имени Его благословятся всѣ языки земные. Такъ разсуждалъ *Жезлъ* и отсюда выводилъ именословное благословеніе, установленное въ новыхъ книгахъ.—Да мы на этомъ и стоимъ, возражаетъ книга *О преданіяхъ,* отсюда и ведемъ перстосложеніе, отъ Христа, возносившагося на небо; а какое было имъ тогда употреблено, объ этомъ свидѣтельствуетъ самъ евангелистъ, повѣствующій о Вознесеніи. Евангелистъ Лука писалъ икону Тихвинской Божіей Матери, а на ней изображенъ Христосъ, благословляющій двуперстно. Именословно, то есть изображеніемъ буквъ имени, не могъ благословить Христосъ, потому что въ числѣ благословляемыхъ были не одни Греки, а Евреи и Римляне; апостолы же всѣ были Евреи. На еврейскомъ и римскомъ перстами изобразить имя Іисусъ-Христово даже совсѣмъ невозможно; введенное новыми книгами благословеніе притомъ изображаетъ буквы и не греческія, а славянскія, потому что греческое *С* есть иное, нежели изображаемое именословнымъ перстосложеніемъ.

Рукопись, столь убѣдительная съ точки зрѣнія раскола и столь затруднительная для православнаго увѣщателя, была поднесена митрополиту Платону. Общій смыслъ ея выходилъ таковъ: вотъ, Ваше Высокопреосвященство, вы говорите, что все равно, а по вашимъ же книгамъ не все равно. Мы судимъ на основаніяхъ, вами же признаваемыхъ. Какъ же быть и чему вѣрить?

Прочелъ митрополитъ Платонъ книгу, почувствовалъ ея жало и на первомъ ея листѣ, передъ заглавіемъ, начерталъ:

„Церкви Христовой пастырю, и самому просвѣщенному, невозможно имѣть съ раскольниками преніе и ихъ въ заблужденіи убѣдить. Ибо въ преніяхъ съ обѣихъ сторонъ должно быть едино начало или основаніе, на которомъ бы утверждались всѣ доказательства. Но ежели у одной стороны начало будетъ иное, а у другой другое, то согласиться никогда будетъ невозможно. Богопросвѣщенный христіанскій богословъ для утвержденія всѣхъ истинъ вѣры Христовой не иное признаетъ начало, какъ едино Слово Божіе или Писанія Ветхаго

и Новаго Завѣта; а раскольникъ, кромѣ сего начала, которое и мало уважаетъ, ибо мало понимаетъ, признаетъ еще за равносильныя Слову Божію начала и всякія правила соборовъ, и всякія писанія церковныхъ учителей, и всякія повѣсти въ книгахъ церковныхъ обрѣтаемыя, да еще ихъ и болѣе уважаетъ, нежели Слово Божіе, ибо они для него понятнѣе. Но какъ и правила соборовъ или относились къ тѣмъ временамъ или писаны по пристрастію и непросвѣщенному невѣжеству; и въ писаніяхъ церковныхъ учителей много погрѣшительнаго, и съ самими собою и съ Словомъ Божіимъ несогласнаго; а въ повѣстехъ и зѣло много басней, небылицъ и безмѣстностей: то и слѣдовало бы правила и отцевъ и повѣсти не иначе принять, какъ когда они согласны съ Словомъ Божіимъ и служатъ тому объясненіемъ. Но раскольникъ сего не пріемлетъ и почитаетъ хулою, когда бъ ему открыть, что соборы или отцы въ иныхъ мнѣніяхъ погрѣшили, а повѣсти многія невѣроятны. „Какъ, вскликнетъ онъ, отцы святые погрѣшили? Да мы ихъ святыми почитаемъ, они чудеса творили, ихъ писанія суть богодухновенны“. Что на сіе богословъ? Легко можетъ возразить, но не посмѣетъ, дабы не только раскольниковъ, но и своихъ малосмысленныхъ не соблазнить и не сдѣлать зла горшаго. „Вотъ, провозгласятъ, отцевъ святыхъ не почитаетъ, соборы отвергаетъ, повѣстемъ церковнымъ смѣется!“ И такъ, богословъ богопросвѣщенный молчи, а раскольникъ ври и другихъ глупыхъ удобно къ себѣ склоняй“.

Объ этой любопытной резолюціи знаменитаго іерарха я сообщалъ ректору и даже читалъ ее. Должно-быть въ его головѣ переломилась она особеннымъ образомъ, и онъ понялъ такъ, что съ раскольниками не нужно спорить.

Книга представлена: ректоръ отнесъ ее къ митрополиту. Чрезъ нѣсколько дней онъ снова меня приглашаетъ и возвращаетъ книгу.

— А знаете ли, что нашъ старецъ сдѣлалъ? (Такъ иногда называлъ Алексій заочно митрополита).

И ректоръ засмѣялся свойственнымъ ему тихомъ смѣхомъ.

Я посмотрѣлъ вопросительно. Ректоръ развернулъ начало книги, и я увидалъ, что листъ, на которомъ было начертано мнѣніе митрополита, вырѣзанъ, и притомъ очень аккуратно, такъ что верхняя полоска бумаги, гдѣ не было Платоновой руки, осталась.

— Владыка мнѣ выноситъ книгу и говоритъ: Ну, извини, а я книгу-то урѣзалъ, щадя память митрополита Платона.

Неизвѣстно мнѣ, что́ сталось далѣе съ вырѣзкою, сжегъ ли ее митрополитъ или пріобщилъ къ секретнымъ документамъ, которые онъ имѣлъ обыкновеніе запечатавши сдавать куда-нибудь на храненіе (между прочимъ въ библіотеку Виѳанской семинаріи).

Что однако такъ встревожило „владыку“ въ откровенномъ признаніи Платона? Чѣмъ оскорблялась память знаменитаго іерарха? Какое пятно ложилось на нее? Если сказывался въ резолюціи оттѣнокъ протестантства, то протестантскія воззрѣнія еще яснѣе выражались въ печатныхъ сочиненіяхъ Платона, въ его Катихизисѣ и Богословіи, о чемъ самъ Филаретъ въ кругу нашемъ говаривалъ съ усмѣшкою, что Платонъ по немножку прибавлялъ таинствъ, сначала довольствовавшись только двумя. Въ Катихизисѣ самого Филарета долгое время не говорилось о преданіяхъ; только при Протасовѣ, послѣ непріятностей изъ-за *Исторіи ересей* Руднева, исправлена была и эта книга, и въ Катихизисъ внесена глава о преданіяхъ (вмѣстѣ съ ученіемъ *о блаженствахъ*). Кромѣ того мнѣніе, что провѣркой преданію должно служить Писаніе, оставалось собственнымъ мнѣніемъ Филарета до послѣднихъ дней, и онъ его неоднократно высказывалъ публично на экзаменахъ.

Вырѣзанная резолюція, прежде еще, чѣмъ книга *О преданіяхъ церковныхъ*, попала мнѣ въ руки, успѣла быть списанною, и между прочимъ Леонидомъ (Краснопѣвковымъ, скончавшимся въ санѣ архіепископа Ярославскаго), когда онъ былъ профессоромъ Виѳанской семинаріи и, кажется, библіотекаремъ. Въ его бумагахъ должна остаться рукописная книга въ четвертку, куда вносилъ онъ разныя выписки и изреченія.

Остается досказать о судьбѣ самой книги и ея автора. Къ которому году относится поднесеніе рукописи Платону и его резолюція, не могу сказать утвердительно; но сношенія митрополита со старообрядцами и его желаніе привлечь ихъ къ Церкви примирительнымъ воззрѣніемъ на разности между старыми и новыми обрядами не кончились его признаніемъ въ безуспѣшности преній; равно и на раскольниковъ не осталось безъ дѣйствія сердобольно-мягкое къ нимъ отношеніе. Тотъ же Никодимъ, при содѣйствіи Румянцева и Потемкина, ходатайствовалъ, чтобы старообрядцамъ даны были законнымъ образомъ священники, которые бы совершали богослуженіе по старопечатнымъ книгамъ. Хотя не безъ затрудненій, *) ходатайство было уважено: въ 1785 (самъ Никодимъ до этого не дожилъ) разрѣшено было въ Стародубѣ открытое старообрядческое богуслуженіе, съ „благословенными“ священниками. Это было фактическимъ учрежденіемъ такъ-называемаго теперь „единовѣрія“, на которое намекалось уже въ *увѣщаніи*. А затѣмъ, въ 1800 году, часть Московскихъ старообрядцевъ представила митрополиту Платону „правила“, на которыхъ могло бы состояться примиреніе ихъ съ Церковію, и митрополитъ на каждомъ изъ пунктовъ положилъ свои резолюціи, частію съ оговорками, частію безусловно соглашаясь на предлагаемое единеніе. Эти резолюціи и служатъ доселѣ основаніемъ условій, на которыхъ принимается „Единовѣріе“.

Не мѣшаетъ пояснить въ заключеніе, что новое учрежденіе, образовавъ дальнѣйшую стадію въ отношеніяхъ старообрядства къ господствующей Церкви, породило и новыя возраженія: не вступила ли Церковь, учреждая Единовѣріе, въ про-

*) Затрудненія впрочемъ поставлялись не верховнымъ правительствомъ и не Синодомъ, и истекали не изъ догматическихъ или каноническихъ основаній. Старообрядцамъ хотѣлось оставаться съ благословеннымъ священникомъ въ старомъ гнѣздѣ, въ Стародубѣ. А Потемкинъ пылалъ желаніемъ заселить скорѣе Новороссію, и туда приглашалъ старообрядцевъ, обѣщая свободу. Поэтому всесильный фаворитъ, хотя вообще расположенный лично къ Никодиму и къ его ходатайству о разрѣшеніи старообрядческаго богослуженія, находилъ интересъ тормозить исполненіе просьбы Стародубцевъ.

тиворѣчіе съ собою, въ виду того, что соборомъ 1667 года (или, какъ раскольники любятъ ссылаться, 1666 года) положены клятвы на соблюдающихъ обряды по старопечатнымъ книгамъ? Единовѣрецъ, присоединяясь къ Церкви, не подвергаетъ ли себя этимъ клятвамъ, пока онѣ не сняты властію, канонически равною съ соборомъ 1667 года? Недоразумѣніе это продолжается до сегодня и служитъ главнымъ препятствіемъ или предлогомъ, почему часть старообрядцевъ, признающая въ господствующей Церкви благодать сохранившеюся, не возсоединяется съ нею даже на условіи сохраненія старыхъ обрядовъ.

Письмо къ С. А. Юрьеву объ исповѣди гр. Л. Н. Толстого.*)

Тяжелую повинность возложили вы на меня, Сергѣй Андреевичъ, и тяжелѣе всего было для меня *дочитать* эту странную исповѣдь. Въ самомъ дѣлѣ, для чего авторъ выступаетъ съ нею на свѣтъ, что̀ имъ руководитъ? Выступаетъ-ли онъ учителемъ или ученикомъ, желаетъ просвѣтить ближнихъ или ищетъ отъ нихъ духовной помощи? Ни то ни другое. Самъ онъ объявляетъ, что только приступилъ къ изученію жизни, въ которой, по его мнѣнію, кроется истина вѣры, а затѣмъ во всѣхъ отзывахъ такъ категориченъ: это безсмысленно, то возмутительно и пр.

Состояніе души, свидѣтельствуемое исповѣдью, называется у отцовъ *духовною гордостью*. Духовная гордость сквозитъ въ каждой строкѣ, не говоря о томъ, что ею только можетъ быть объяснено появленіе исповѣди въ цѣломъ. „Посмотрите, вотъ я каковъ и вотъ, что̀ со мною было“, причемъ подразумѣвается, что я-то и умнѣе всѣхъ и лучше всѣхъ. Нужды нѣтъ, что исповѣдующій говоритъ о своихъ грѣхахъ и ошибкахъ; вслушайтесь въ тонъ, какимъ то и другое говорится.

Послѣ того, какая-же возможность и какой смыслъ входить въ логическую оцѣнку положительнаго содержанія умствованій, разсыпанныхъ по исповѣди? Ни одно изъ нихъ не выдерживаетъ логическаго прикосновенія, не то что разбора.

Вся эта цѣпь размышленія есть фактъ только психическій и не будь подписано подъ нею: „Левъ Толстой“, ничего

*) Напечатано въ *Русскомъ Архивѣ* 1889 г. № III, стр. 425.

кромѣ глумленій, ничего, кромѣ наименованій бредомъ, не вызвали бы они у человѣка, привыкшаго къ строгому мышленію. Между тѣмъ въ томъ-то самомъ и чувствуете вы, что имѣете дѣло съ длящеюся горячкою духовной гордости. Не будь гордыни, одушевляющей исповѣдь, авторъ самъ предварительно углубился бы въ себя и спросилъ: да что-же, въ самомъ дѣлѣ что-ли, я такое необыкновенное, выросшее надо всѣми головою существо, что лишь одинъ испыталъ всѣ муки внутренняго раздвоенія, и настолько мозговой аппаратъ мой совершенъ, что я свысока могу тремя словами побивать и Экклезіаста, и Канта, и Шопенгауера, и Буддизмъ, и христіанскихъ богослововъ? А этотъ аппаратъ оказывается флюгеромъ, сидящимъ на вертящейся оси. Нѣсколько періодовъ пережила душа и въ каждомъ повторяется необыкновенная самоувѣренность, именно къ нему относящаяся: въ періодъ изданія *Ясной Поляны* и въ періодъ исполненія механическихъ обрядовъ православія дѣйствовалъ человѣкъ, воображавшій и тамъ и тутъ, что онъ обрѣлъ истину и двѣ истины оказываются противоположными одна другой. Добросовѣстное самоиспытаніе должно бы привести человѣка къ выводу о собственномъ безсиліи. Я ошибался вчера, ошибался третьяго дня, ошибался третьимъ годомъ, каждый разъ однако увѣренный, что обладаю истиною и служу ей: очень возможно и даже $^{9}/_{10}$ вѣроятностей за то, что и теперь я ошибаюсь также и въ положительномъ содержаніи своего умствованія и въ отрицательной критикѣ воззрѣній, мною непризнаваемыхъ, и существенный порокъ мой есть страстность и самомнѣніе. Вотъ добросовѣстный выводъ, къ которому должно бы привести автора искреннее самоиспытаніе. Но тогда, конечно, не появилась бы и исповѣдь, онъ бы ее запряталъ и не сталъ бы показывать своего бѣлья передъ всѣмъ свѣтомъ.

Зачѣмъ жить?—Вопросъ не новый.

Даръ напрасный, даръ случайный
Жизнь, зачѣмъ ты намъ дана?

Какой смыслъ жизни? перифразируетъ свой вопросъ авторъ, воображая, что обоими вопросами спрашиваетъ о томъ-же. Но сперва бы нужно было еще додуматься, что эти два вопроса разные. Смыслъ жизни — ея существо, законы, которыми она управляется; а *зачѣмъ?*—это есть *цѣль* жизни. Да еще существуетъ-ли цѣль?—спросилъ-ли себя объ этомъ исповѣдникъ.

„Есть человѣчество цѣлое, которое жило и живетъ, очевидно, понимая смыслъ своей жизни, ибо не понимая его, оно не могло бы жить, а я говорю, что вся жизнь есть безсмыслица".

Утверждать и отрицать можно что угодно, и въ томъ числѣ, что жизнь есть безсмыслица; пускай это мнѣніе и остается при авторѣ. Но гораздо большая безсмыслица обнаружена антитезомъ, который предшествуетъ этому положенію; „ибо, не понимая смысла, не могло бы жить". Да развѣ это не безсмыслица? Собака понимаетъ смыслъ своей жизни? Должно быть понимаетъ; такъ выходитъ по Толстому, иначе она не могла бы жить.

Привожу только образчикъ; но каждая строка, гдѣ только встрѣчается какое нибудь умствованіе совершенно такого-же достоинства. А рядомъ идетъ постоянное озлобленіе, направленное впрочемъ въ единственную сторону—противъ церковныхъ формулъ и Церкви. „Возмутительное преподаваніе безсмысленныхъ изреченій катехизиса;" за что-же однако, графъ, сердиться? зачѣмъ эти эпитеты „возмутительное", „безсмысленныхъ", показывающіе неспокойное состояніе сердца? Можно не находить смысла, но не злиться. Вспомните спокойный отзывъ: „не вѣдятъ что творятъ". Та безсмысленность и возмутительность, которыя Васъ раздражаютъ, есть развѣ злонамѣренный обманъ? Вамъ такъ кажется? Не думаю, а стало быть нечего и браниться на заблужденіе, если оно только заблужденіе.

Эпитетами „возмутительный", „безсмысленный" и другими подобными авторъ выдаетъ коренной грѣхъ своихъ умствованій, и пока этотъ грѣхъ сидитъ, тщетны будутъ всѣ исканія „смысла жизни".

Не безсмысленно для автора только то, что подтверждается эмпирически и доказывается математически. Подъ этимъ, повидимому, однимъ условіемъ онъ согласенъ признавать за чѣмъ нибудь такъ называемую имъ разумность. Воззрѣнію, на этой почвѣ утвердившемуся, жизнь должна представляться химическимъ процессомъ, за которымъ ничего не слѣдуетъ, кромѣ червей и смрада, по выраженію автора. И прекрасно, такъ и слѣдуетъ быть. Но, чудакъ, что же онъ спрашиваетъ о *цѣли* жизни? Стоя на своей почвѣ, онъ имѣетъ спрашивать только: *откуда* жизнь, *какъ* она идетъ, *что такое* въ ней? А онъ спрашиваетъ: *зачѣмъ?* Вопросомъ *зачѣмъ* предполагается *преднамѣренность, сознаніе.* Обращаясь къ отдѣльному человѣку спрашиваете: зачѣмъ ты это сдѣлалъ? Своимъ вопросомъ выражаете вы увѣренность, что ранѣе, чѣмъ поступокъ совершенъ, ему предшествовалъ въ головѣ образъ его и затѣмъ ожидаемое послѣдствіе совершенія. Къ кому же вы обращаетесь съ вопросомъ: *зачѣмъ жизнь?* Вы предполагаете, стало быть, заранѣе, помимо производящей и производящихъ причинъ, элементовъ и механическихъ законовъ, въ силу которыхъ появляется живое существо человѣка, какую-то кѣмъ-то предустановленную цѣль, стало быть, чье-то сознаніе. Ибо безсознательная предустановленность есть чепуха, горькая сладость. Какое-же однако имѣете вы право на это предположеніе, къ которому не уполномочиваетъ васъ ни эмпирія, ни математика? Спрячьте вашъ вопросъ въ карманъ, онъ самъ есть безсмыслица, а не жизнь, которую вы обвиняете. Нѣтъ, жизнь не безсмыслица; она полна смысла и порядка, если остановиться на матеріалистическомъ—виноватъ, реалистическомъ—основаніи. Все идетъ исправно: происходитъ борьба за существованіе, эволюція, одни вымираютъ, другіе порождаютъ. Вамъ хочется знать, *какъ* вамъ жить? Не праздный-ли это вопросъ? Живите, какъ хотите, или точнѣе и строже сказать: вы будете жить такъ, какъ сложится ваша клѣточка вслѣдствіе такихъ и такихъ климатическихъ и соціальныхъ условій, такого-то питанія, такихъ-то впечатлѣній и рефлексовъ. „Хотите“ пред-

полагаетъ волю и свободу; но то и другое только самообольщеніе. А потому и вопросъ праздный. Но вы хотите еще болѣе: вы хотите еще знать, *зачѣмъ* вы живете? Вы обращаетесь къ свѣту, теплу, электричеству, магнетизму, словомъ, къ эфиру, обращаетесь къ матеріи, если кромѣ эфира существуетъ еще самостоятельная матерія, обращаетесь къ тяжести, упругости, химическому сродству, ко всѣмъ физическимъ дѣятелямъ, зачѣмъ де вы дали мнѣ жизнь, зачѣмъ вы даете ее безчисленному множеству, зачѣмъ вообще вы ее произвели? Къ эфиру и матеріи вы обращаетесь ровно къ сознательнымъ существамъ, допрашиваете ихъ какъ прокуроръ, предполагая въ нихъ и волю и совѣсть. Что вы дѣлаете, не многаго ли требуете?

Однако этотъ вопросъ васъ мучитъ. Очень жалко. Однако же вы можете спросить: откуда этотъ самый вопросъ? какъ онъ взялся въ этомъ, столь стройномъ мірѣ, предъявляя требованіе, о которомъ бы не должно было возникать и представленія? Это вопросъ не шуточный; и съ него бы по настоящему слѣдовало и начать. Но тогда прежде всего надо сойти съ почвы, на которой этотъ вопросъ, самъ въ себѣ, представляется нелѣпостью. А тогда слетитъ и вся самоувѣренность и всѣ категорически—презрительные отзывы о явленіяхъ, на которыя такъ гнѣвается авторъ исповѣди.

Возрожденіе Общества Любителей Россійской Словесности въ 1858 году.*)

(Рѣчь, читанная въ публичномъ засѣданіи Общества 7 декабря 1886 года.)

Мм. гг.! Мое чтеніе будетъ посвящено любопытному явленію въ жизни нашего Общества—Любителей Россійской Словесности. Основалось оно въ 1811 году и 24 года дѣйствовало; затѣмъ другіе 24 года бездѣйствовало и въ 1858 году пробудилось. Этого пробужденія я былъ свидѣтелемъ и участникомъ и о немъ буду повѣствовать.

Теперешніе люди съ трудомъ и представятъ себѣ конецъ пятидесятыхъ годовъ. Намъ легче вообразить времена, слѣдовавшія за царствованіемъ Екатерины или Александра I; съ начальными же годами Александра II наше время не имѣетъ аналогіи. То было состояніе влюбленныхъ передъ свадьбою: апрѣль мѣсяцъ, когда снѣгъ еще на поляхъ, но уже бѣгутъ ручьи, солнце пригрѣваетъ, почки надулись, жаворонки поютъ, скворцы суетятся около гнѣздъ. Облегчилось на душѣ; ждалось чего-то еще неизвѣстнаго, но непремѣнно свѣтлаго; въ умахъ бодрость, силы оживились, старики помолодѣли.

Вотъ къ какому времени относится событіе, о которомъ я говорю. Оглядываюсь: какъ давно это было! Щедринъ тогда только-что дебютировалъ *Губернскими Очерками*, Тургеневъ извѣстенъ былъ лишь *Записками Охотника*, о Львѣ Толстомъ

*) Напечатано въ *Сборникѣ Общества Любителей Россійской Словесности* на 1891 годъ.

говорили, что это будущій большой талантъ, Достоевскій еще не отбылъ наказанія. Но что же было тогда особеннаго? Откуда такое праздничное настроеніе?—Совершался переломъ, зачинался новый историческій періодъ. Крѣпостное право стояло въ самой силѣ, здравствовали уѣздные суды съ магистратами, рекрутчина и откупа. Но, какъ выразился тогда Н. Ф. Павловъ по поводу прощенія декабристовъ, слышалось, что „новымъ духомъ вѣетъ, новое время настало". Редакціонные комитеты и спеціальные отдѣлы толстыхъ журналовъ работали надъ крестьянскимъ вопросомъ; для обсужденія его явились даже два особыя изданія, исключительно имъ занимавшіяся. За исходомъ крестьянскаго виднѣлись въ туманѣ другіе вопросы, отъ рѣшенія которыхъ ждали тоже свободы или, какъ выражались тогда, избѣгая этого запретнаго слова,—ждали „улучшенія быта",—узаконенное выраженіе, затасканное потомъ до комизма и безсмыслицы.

Печать по наружности оставалась въ прежнемъ положеніи: тотъ же Цензурный Уставъ висѣлъ надъ нею, да еще въ добавокъ къ нему тринадцать или больше спеціальныхъ цензуръ каждаго вѣдомства. Еще сидѣли на мѣстахъ старые цензоры, изъ нихъ одинъ вычеркивавшій „вольный духъ" въ поваренныхъ книгахъ, и другой, тоже мой сослуживецъ, выходившій со двора не иначе, какъ въ сопровожденіи слуги и съ запискою въ карманѣ: „сей трупъ принадлежитъ статскому совѣтнику такому-то, жительствующему тамъ-то". Цензурная обязанность и страхи, съ нею соединенные, развили до такой болѣзненности мнительность старика, что онъ боялся умереть на улицѣ, быть поднятымъ и отправленнымъ въ полицейскій домъ, а не то въ анатомическій театръ.

Однако въ цензурѣ явились и свѣжія силы; однако носилось слово Государя министру Норову: „избавь меня отъ цензоровъ глупыхъ, дай мнѣ цензоровъ разумныхъ"; однако товарищемъ министра былъ Вяземскій, самъ писатель и поэтъ, считавшійся въ Николаевское царствованіе представителемъ либеральнаго направленія.

Циркуляры по цензурному вѣдомству сыпались, правда, какъ дождь; молодымъ цензорамъ слали выговоры, угрозы отставкой, да и отставляли ихъ; еще не забытъ былъ арестъ Никитенки, посаженнаго за то, что въ повѣсти, при описаніи бала, допустилъ фразу: „танцовалъ и инженеръ съ выпущенными воротничками“. (Выпускать воротнички противно дисциплинѣ, и вымыселъ такого факта оскорбителенъ для вѣдомства). Но плотина была прорвана, и если перечитать то, что писалось въ періодъ 1857—1861 годовъ, то даже усомнишься, много ли шагнула къ нашему времени впередъ свобода слова противъ того времени и не попятилась ли она даже назадъ нѣсколько.

Жажда публичности въ обществѣ,—разумѣю, конечно, мыслящій классъ,—была чрезвычайная. Отъ тѣхъ временъ и пошло выраженіе „благодѣтельная гласность“, истаскавшееся потомъ не менѣе „улучшенія быта“. Починъ „благодѣтельной гласности“ принадлежалъ, какъ извѣстно, еще *Морскому Сборнику*, въ послѣдніе годы Николаевскаго царствованія. Необходимость поворота уже тогда чувствовалась, и морское вѣдомство выступило застрѣльщикомъ, благодаря тому, что во главѣ его стоялъ сынъ Государя. Министерство, ему подчиненное, образовало лабораторію новыхъ государственныхъ силъ, гдѣ готовились будущіе министры: Головнинъ—просвѣщенія, Набоковъ—юстиціи, Рейтернъ—финансовъ, графъ Толстой—просвѣщенія, духовныхъ дѣлъ и потомъ внутреннихъ, князь Д. Оболенскій—государственныхъ имуществъ. Все это были тогда директорами и вицедиректорами морского министерства. Съ воцареніемъ новаго Государя гласность, по слѣдамъ *Морского Сборника*, уже завоевала право, хотя законъ ея не признавалъ. Все, вольно и невольно молчавшее, заговорило. Такъ было въ обѣихъ столицахъ; но въ Москвѣ, которая была общественнымъ центромъ, предоставляя Петербургу быть государственнымъ, жизнь била особеннымъ ключомъ. Въ этомъ горнилѣ, какъ вамъ извѣстно, выработались главные дѣятели и по крестьянской реформѣ, и послѣ—по судебной. Отсюда они вышли и здѣсь они надумались объ основаніяхъ. Два журнала въ Москвѣ выставили силы.

За ними вслѣдъ являлись непрерывно, хотя и лопались, газеты одна за другою. Но этимъ не довольствовались; зародился здѣсь обычай спичей, о которомъ въ Петербургѣ не посмѣли бы и думать. И ради нихъ,—да, ради спичей единственно,—устраивались богатые обѣды съ сотнями кувертовъ. Робко о своемъ правѣ заявлялъ этотъ обычай тоже еще въ прошлое царствованіе, начавшись чествованіемъ севастопольскихъ защитниковъ. Но теперь слово просилось по каждому поводу, хоть и теперь если не робость, то застѣнчивость не покидала еще знаменитыхъ даже впослѣдствіи ораторовъ. Какъ вспомнишь тогдашнее, да сравнишь теперешнее, то даже смѣшно становится. На знаменитомъ обѣдѣ-монстрѣ, который данъ былъ Кокоревымъ чуть ли не на 500 человѣкъ, куда названы были всѣ, кто только имѣлъ притязаніе на интеллигентность, говорилъ между прочимъ Ю. Ѳ. Самаринъ. Онъ читалъ свою рѣчь по рукописи, подобно другимъ. Я поразился и даже обидѣлся за него. Знавшіе Юрія Ѳедоровича засвидѣтельствуютъ, что въ дарѣ живого слова онъ не имѣлъ себѣ равныхъ. Это бывалъ потокъ, и притомъ искрящійся: рѣчь необыкновенно правильная, выдержанный логическій строй, и вмѣстѣ блескъ остроумія, пропитаннаго ироніей—все это было при немъ и ранѣе Кокоревскаго обѣда, какъ и послѣ, на земскихъ и дружескихъ собраніяхъ. Я выразилъ ему удивленіе. „Хорошо вамъ дѣлать замѣчанія, когда вы привыкли импровизировать на каѳедрѣ!“—отвѣчалъ онъ. Въ наше время развязнаго краснорѣчія „прелюбодѣевъ слова“, какъ ихъ назвалъ ихъ же собратъ, не правда ли, даже съ трудомъ вѣрится, о чемъ я разсказываю?

Боюсь злоупотребить терпѣніемъ собранія, но не могу умолчать о другомъ спичѣ, котораго авторомъ былъ недавно скончавшійся Николай Христофоровичъ Кетчеръ. Состоялись выборы предсѣдателя въ коммерческій судъ. Обѣдъ. Какъ же безъ спичей и какъ безъ гостей, интеллигентныхъ вообще, а не однихъ купцовъ и юристовъ? Приглашенъ и я. На этотъ разъ спичъ былъ импровизованный. Кетчеръ съ бокаломъ въ рукахъ вскочилъ на столъ (обѣдъ былъ въ Благородномъ Собраніи). По-

дробности рѣчи не помню. Ораторъ говорилъ, разумѣется, о новомъ времени и новомъ духѣ, о предвидимыхъ реформахъ, которыми обязанъ народъ Государю, и въ заключеніе воскликнулъ памятнымъ каждому, кто зналъ Кетчера, зычнымъ голосомъ, достойнымъ командовать полками: „на колѣни!“ Послѣдовалъ народный гимнъ. Всѣ опустились кромѣ двоихъ. Я не послѣдовалъ общему примѣру по неожиданности приглашенія; думаю, по тому же побужденію—Д. А. Ровинскій, теперь сенаторъ, одинъ изъ творцовъ судебной реформы, тогда служившій еще губернскимъ прокуроромъ. П. М. Леонтьевъ (его на обѣдѣ не было) смѣясь выразился мнѣ по этому случаю не безъ остроумія: „какъ вышло на-изворотъ: въ вѣрноподданнической демонстраціи не приняли участія прокуроръ да цензоръ“.

А было въ Москвѣ когда-то Общество, обладавшее даже законнымъ правомъ публичной свободной рѣчи (право это предоставлено было ему уставомъ)—Общество Любителей Россійской Словесности.—„Общество Любителей Россійской Словесности... да, помнится, было когда-то, и публичныя засѣданія были. Да его нѣтъ, оно прекратилось“.—Нѣтъ, оно не пракратилось; почему же такъ думать?

Да, мм. гг., Общество наше, ко времени, о которомъ говорю, то есть, къ концу 50-хъ годовъ, и продолжало существовать, и его не было. Оно продолжало существовать, потому что не было закрыто, хотя перестало уже и значиться въ оффиціальныхъ актахъ университета, при которомъ состояло. Оно не собиралось; приходили сроки выборовъ,—ихъ не возобновляли. Его не было уже: его должностныя лица и на дѣлѣ, и по уставу, опредѣляющему имъ извѣстный срокъ, кончили свою службу; печать, бумаги, библіотека были выморочнымъ имуществомъ, къ которому только не являлась полиція за описью, потому, конечно, что никто не находилъ интереса въ этой руинѣ.

Откуда произошла такая летаргія? Грѣхъ сказать, чтобы содѣйствовало внѣшнее давленіе. Никакихъ казусовъ не происходило, которые бы возбудили подозрѣніе, а тѣмъ болѣе гоненіе властей. Времена были крутыя, правда, и съ 1848 года

просторъ умственной жизни все болѣе и болѣе стѣснялся; но Общество Словесности замерло гораздо ранѣе Февральской революціи, и послѣднимъ предсѣдателемъ его былъ графъ Строгановъ, считавшійся въ свое время либеральнѣйшимъ изъ попечителей и поощрявшій свободу умовъ.

Замерло Общество потому, что цѣль, которой оно служило, преданія, которыми жило, потеряли смыслъ. Основалось оно, когда въ литературѣ видѣлась лабораторія, назначенная къ выдѣлкѣ просвѣщеннаго языка,—языка, какъ орудія, прибавлю для ясности. Возьмемъ его первоначальный уставъ. Цѣль Общества опредѣлялась: „распространить свѣдѣнія о правилахъ и образцахъ здравой словесности и доставить публикѣ обработанныя сочиненія въ стихахъ и въ прозѣ на россійскомъ языкѣ, разсмотрѣнныя предварительно и прочитанныя въ собраніи". Задача, какъ видите, теоретическая и практическая; отъ практической требовалось, при оцѣнкѣ произведеній, спрашивать не о томъ, что̀, а главное о томъ, *какъ* написано. Такое формальное направленіе было не исключительною принадлежностью нашего Общества,—вся литература ему служила. Припомнимъ Шишкова и Карамзина, *Бесѣду* и *Аѳамасъ;* припомнимъ, что даже при появленіи Пушкина журналы препирались о томъ, допустима ли такая вольность, какъ „топъ" вмѣсто „топотъ", не ошибка ли заглавія *Цыганы* вмѣсто *Цыгане*, и о подобныхъ вопросахъ. И этотъ колоссъ въ исторіи нашего просвѣщенія не служитъ ли самъ въ томъ уликою? Положивъ послѣдній камень въ строеніи литературнаго языка, онъ не оказался вполнѣ равнодушнымъ къ содержанію своихъ произведеній только потому, что былъ слишкомъ геніаленъ. Но безпечность его музы или даже безпринципность, какъ выражались иные, была, по моему, по крайней мѣрѣ, мнѣнію, главнымъ образомъ данью времени, искавшему больше формы, нежели содержанія. Добавлю: въ томъ-то между прочимъ и сказалась вся мощь этого художника-титана, что, несмотря на предписываемую временемъ исключительную заботливость о формѣ, онъ явился такимъ воплотителемъ эпохъ и лицъ, какимъ показалъ

себя, напримѣръ, въ сценахъ изъ среднихъ вѣковъ, гдѣ въ небольшой рамкѣ представлена полная картина цѣлаго историческаго періода.

Но жизнь перешагнула дѣтскій періодъ. Строеніе языка кончилось, и отъ формы общественная мысль обратилась къ содержанію. На мѣсто изящества потребовалась отъ авторовъ художественность, не стиль, а идеи. Поднялись вопросы жизни, и общественныя дѣла перестали считаться принадлежностью однѣхъ дѣловыхъ бумагъ. Народилась литтература, ученою назвать ее много, но—догматическая, въ формѣ критики и изслѣдованій, содѣйствовавшая сознанію не правилъ грамматическихъ и реторическихъ, а началъ политическихъ и соціальныхъ. Тѣмъ же одѣлся художественный вымыселъ. Явился Гоголь, Лермонтовъ, Тургеневъ съ „Записками охотника“. Уволены въ отставку Нарциссы, Аглаи, Хлои, даже и Людмилы съ Дмитріями Донскими, только прикидывавшіеся идеей, а въ сущности служившіе балластомъ, мякиной, чтобы только набить фигуру, во внѣшней отдѣлкѣ которой, какъ въ чучелѣ птицы или звѣря, полагалось главное достоинство. Итакъ, публика созрѣла и не могла не скучать, когда бы ей на засѣданіяхъ стали предлагать безсодержательные стишки съ щегольскою версификаціей (это послѣ Пушкина-то и Лермонтова) или красивыя описанія вымышленныхъ мѣстностей, послѣ Гоголя и Тургенева. А потомъ, смѣшно даже и представить себѣ, чтобы писатели новаго періода, предварительно печатанія, почли себѣ за честь подвергнуть себя суду московской публики чтеніемъ въ открытыхъ засѣданіяхъ. Умственную дѣятельность поглотили журналы со „всероссійскою“ публикою; слишкомъ бѣднымъ должно было казаться поощреніе со стороны столь тѣснаго круга, какъ комитетъ при нашемъ Обществѣ, состоявшій притомъ изъ лицъ, голосъ которыхъ для молодыхъ талантовъ не представлялъ и авторитета.

Общество должно было умереть, и умерло естественною смертью, медленною, постепенною, такъ что нельзя даже указать грани, когда оно разсталось съ жизнью,—было ли то въ

тридцатыхъ годахъ или въ сороковыхъ. Сначала публичныя засѣданія становились рѣже, за неимѣніемъ матеріаловъ для чтенія; о засѣданіяхъ 1833 и 1834 гг. даже неизвѣстно, въ чемъ они состояли, осталась память только, что они были. Потомъ выборъ должностныхъ лицъ прекратился за отсутствіемъ даже частныхъ собраній, и лишь въ адресъ-календаряхъ оставался ихъ слѣдъ, причемъ показывались должностныя лица, уже отбывшія срокъ; календарь ограничивался, очевидно, перепечаткой стараго изданія. Наконецъ, и перепечатки прекратились. Торная дорога превратилась въ тропинку; наконецъ и та затерялась.

За Обществомъ оставалась еще возможность трудиться по теоріи языка. Но эта сухая пища не по зубамъ большинства, и никогда она не предлагалась преимущественнымъ содержаніемъ публичныхъ засѣданій. Публикѣ требовался дессертъ въ видѣ образцовыхъ сочиненій, а его-то не было.

Позволяю себѣ мимоходомъ сказать, что общество наше по теоріи языка потрудилось таки. Имена Каченовскаго, Калайдовича, Болдырева, Снегирева, И. Давыдова, Мерзлякова значились въ его трудахъ. Наконецъ, многимъ ли даже извѣстно, что знаменитое разсужденіе знаменитаго Востокова *О Славянскомъ языкѣ*, произведшее переворотъ въ наукѣ и послужившее исходною точкой для новаго направленія славянской лингвистики, въ первый разъ напечатано въ нашихъ *Трудахъ* *)?

*) Вотъ, по перечисленію Лонгинова, научные труды членовъ, помѣщенные въ первомъ собраніи изданій общества. Мерзлякова: *Разсужденіе о Россійской Словесности, разсужденіе о синонимахъ, Разборъ 8 оды Ломоносова, О вкусѣ и его измѣненіяхъ, О началѣ, ходѣ и успѣхахъ словесности, Разсужденіе о драмѣ вообще, Державинѣ.* Его же во второмъ собраніи: *О вѣрнѣйшемъ способѣ разбирать и судить сочиненія, О характерѣ трехъ греческихъ трагиковъ;* Калайдовича: *Синонимы, О Бѣлорусскомъ нарѣчіи, О древнемъ церковномъ языкѣ славянскомъ, О времени перевода нашей Библіи.* Болдырева: *Разсужденіе о глаголахъ, Разсужденіе о средствахъ исправить ошибки въ русскихъ глаголахъ, Нѣчто о сравнительной степени;* Каченовскаго: *О славянскомъ и въ особенности о церковномъ языкѣ, Историческій взглядъ на грамматики славянскихъ нарѣчій;* Снегирева: *Опытъ разсужденія о русскихъ пословицахъ, О простонародныхъ изображеніяхъ;* Давыдова: *Опытъ о порядкѣ словъ;* Востокова *Разсужденіе о славянскомъ языкѣ* напечатано въ первомъ собраніи трудовъ (1816—1822).

Общество не съ охотой умерло; оно боролось съ агоніей. Тогдашніе старики сказывали мнѣ, что когда охладѣла публика, а потомъ и писатели, Общество стало набирать въ члены, чуть не зазывать, кого попало, лишь бы продлить дѣятельность и чѣмъ-нибудь наполнять публичныя засѣданія. Авторское самолюбіе этимъ подкупалось, но не соблазнялась публика. Наконецъ стали прибѣгать къ героическому средству: на засѣданія приглашался оркестръ, выписывали чтецовъ, отличавшихся декламаціей; не доставало, чтобы разносили мороженое и угощали шампанскимъ. Тщетно: публика не находила интереса. Съ другой стороны, серьезнѣйшіе изъ членовъ, и молодыхъ и старыхъ, находили профанаціею Общества шумиху внѣшнихъ эффектовъ.

Но Общество, какъ я сказалъ, обладало важнымъ правомъ, и притомъ единственное въ Россіи: правомъ свободнаго слова, подчиненнаго лишь своей внутренней цензурѣ. Право это оставалось за нимъ, и оставалось именно потому самому, что Общество перестало жить фактически; иначе, нѣтъ сомнѣнія, контроль надъ своими публичными рѣчами у него былъ бы отнятъ въ періодъ усиленія общей цензуры, сокращенія слушателей въ университетахъ, изгнанія философіи изъ аудиторій и прочихъ подобныхъ мѣръ. Когда на общественномъ воздухѣ полегчало, о правѣ свободнаго слова, принадлежавшаго Обществу, именовавшемуся Обществомъ Любителей Словесности, вспомнили. Это было въ кабинетѣ С. Т. Аксакова. Мысль принадлежала Константину Аксакову, исполненіе Михаилу Николаевичу Лонгинову.

Личность Константина Сергѣевича Аксакова достаточно очерчена въ печати и собственными его сочиненіями и воспоминаніями о немъ современниковъ. Исторіею моего семилѣтняго знакомства съ извѣстнымъ славянофиломъ я не буду обременять собранія. Для цѣли настоящаго разсказа достаточно упомянуть, что К. Аксаковъ былъ энтузіастъ свободнаго слова, я сказалъ бы даже фанатикъ, еслибы съ фанатизмомъ не соединялось понятіе, наоборотъ, о противодѣйствіи свободѣ. Вѣра въ сво-

бодное слово и его разумную силу, убѣжденіе, что въ немъ одномъ кроется цѣленіе всѣхъ золъ и источникъ всякаго прогресса, истекали изъ воззрѣній Аксакова, философскихъ и политическихъ, своеобразныхъ, но строго послѣдовательныхъ. А онъ самъ былъ членъ нашего Общества, выбранный еще мальчикомъ (полагаю, въ члены-сотрудники), вѣроятно, за какіе-нибудь стишки. Сергѣй же Тимофеевичъ, почетный членъ Общества, принадлежалъ къ числу немногихъ патріарховъ, сослуживцевъ и Мерзлякова, и Прокоповича-Антонскаго. Не разъ между авторомъ „Семейной хроники“ и сыномъ его заходила рѣчь, чтобы возобновить Общество; воспоминанія, въ которыхъ неистощимъ былъ Сергѣй Тимофеевичъ, тѣмъ болѣе разжигали это желаніе. Разсуждали, что Общество при настоящихъ обстоятельствахъ могло бы, видоизмѣнивъ задачу, стать важнымъ органомъ общественнаго сознанія, пусть и ограничиваясь сферою литтературы; но сама литтература теперь такъ связана съ общественною жизнью, что даже въ своей легальной рамкѣ можетъ Общество, не безразборчиво составленное, послужить общественному воспитанію. Случалось и мнѣ участвовать въ этихъ обсужденіяхъ; я любилъ бесѣду съ Сергѣемъ Тимоѳеевичемъ и часто его навѣщалъ.

Съ принципомъ нечего было спорить, но вопросъ: какъ его осуществить? Какъ поднять мертвеца изъ гроба? Объ основаніи новаго подобнаго общества нечего было и думать; въ уставѣ именно эта статья непремѣнно и была бы вычеркнута, ради которой воскрешеніе Общества признается необходимымъ. Средство одно: чтобы проснулось то самое Общество, которое есть, но завалилось гдѣ-то; чтобы оно само собралось въ томъ самомъ составѣ членовъ, который пока здравствуетъ. Но опять: какъ это исполнить? Члены Общества суть подлинные члены: никто ихъ не выключалъ, и они выбраны пожизненно. Они могутъ собраться легально; да кто же ихъ созоветъ? Нѣтъ ни предсѣдателя, ни временнаго предсѣдателя, ни секретаря, ни казначея. Точнѣе сказать: они есть пожалуй, но они отслужили срокъ, выбыли изъ своихъ полномочій. Не обратиться ли къ графу Строганову, послѣднему предсѣдателю? Это значило бы

только надоумить администрацію на исправленіе оплошности, которую она допустила,—напомнить ей, что она должна постановить и объявить о давно состоявшемся прекращеніи Общества. Общество считается состоящимъ при университетѣ; слѣдовательно, нужно обдѣлать здѣсь, въ университетѣ, и притомъ тишкомъ. Попечителемъ теперь Алексѣй Николаевичъ Бахметевъ, прекраснѣйшій человѣкъ, благороднѣйшая душа, не формалистъ; онъ же очень хорошъ съ Хомяковымъ; слѣдовательно, на него можно подѣйствовать. Можно ожидать косыхъ взглядовъ отъ Закревскаго и даже оффиціальнаго противодѣйствія, доносовъ. Противъ него выставить таранъ въ видѣ Лонгинова, который не только у него служитъ, но вхожъ къ нему, домашній человѣкъ. Таковъ былъ планъ заговора.

Въ статьѣ Лонгинова, напечатанной современно возобновленію Общества, сказано, что еще въ 1856 году, когда попечителемъ былъ Ковалевскій, состоялась просьба о разрѣшеніи членамъ Общества собраться и что даже послѣдовало разрѣшеніе высшаго начальства; подразумѣваю—министра. Но я сомнѣваюсь въ полной точности этого извѣстія. Кто же могъ подать просьбу? Вѣрнѣе были *переговоры*, конфиденціальная переписка, и въ *частномъ* письмѣ могъ министръ выразиться, что отъ него препятствій не послѣдуетъ. Но я помню, что при возрожденіи Общества возлагаема была главная надежда на благодушіе Алексѣя Николаевича Бахметева.

А кто такой былъ этотъ Лонгиновъ, которому поручалась исполнительная часть плана? По литературѣ онъ числился библіографомъ, по службѣ чиновникомъ особыхъ порученій при генералъ-губернаторѣ; какъ сынъ статсъ-секретаря, онъ принадлежалъ къ большому свѣту и имѣлъ связи при Дворѣ. Если для Константина Аксакова догматъ свободнаго слова былъ основаніемъ убѣжденій, къ которому онъ относился почти религіозно; то у Лонгинова служеніе тому же принципу, было фанфаронадою. Въ виду послѣдующей общественной дѣятельности покойнаго библіографа позволяю себѣ это выраженіе. Собраніе припомнитъ, что послѣ изданія временныхъ правилъ, опредѣлив-

шихъ съ извѣстными ограниченіями свободу печати, стѣсненіе ея и урѣзываніе ея правъ началось со времени именно, когда Главное Управленіе по дѣламъ печати поступило въ руки Лонгинова: онъ былъ зачинщикъ репрессивнаго направленія. Онъ примѣнилъ къ книгамъ средневѣковое ауто-дафе, придумалъ карательное запрещеніе розничной продажи; безцензурныя изданія обязалъ предварительною цензурою публикацій. Озлобленіемъ онъ дышалъ противъ печати во время управленія ею, видѣлъ въ ней какъ бы личнаго врага, исхищрялся въ средствахъ задавить то свободное слово, котораго выставлялъ себя нѣкогда самымъ ярымъ защитникомъ и самымъ рѣзкимъ порицателемъ цензурнаго учрежденія: „эти баши-бузуки печати"... такъ возглашалъ онъ въ какой-то статьѣ, разумѣя цензуру и смакуя это выраженіе, находя его художественно-точнымъ. Однимъ изъ предметовъ похвальбы его было, что нѣтъ запрещеннаго русскаго изданія, которое не стояло бы на полкахъ его шкапа. Герценъ былъ однимъ изъ божествъ его Олимпа; для изслѣдованій своихъ онъ выбиралъ преимущественно пикантныя событія, гдѣ являлись страдальцы за свободное слово, Радищевъ, Новиковъ. Не хочу хвалиться проницательностью, но и тогда я сомнѣвался если не въ искренности, то въ глубинѣ либерализма, которымъ направо и налѣво хвалился Лонгиновъ. Онъ былъ либералъ, пока дѣло его лично не касалось и ограничивалось словами. Съ 1860 г. въ тѣхъ же гостиныхъ, гдѣ онъ вопіялъ прежде противъ Держимордъ всякаго рода, онъ сталъ разливаться въ негодованіяхъ противъ пути, по которому направились редакціонные комитеты въ вопросѣ объ освобожденіи крестьянъ: изъ-подъ краснаго демократа вышелъ плантаторъ. Когда его назначили Орловскимъ губернаторомъ, онъ поставилъ себѣ за правило противодѣйствовать крестьянскимъ и земскимъ учрежденіямъ во всемъ, во всемъ безъ изъятія, даже по вопросамъ безразличнымъ. На этомъ онъ душу отводилъ, и этимъ хвастался предъ знакомыми.

Тѣмъ не менѣе онъ былъ необходимымъ человѣкомъ при возобновленіи Общества и затѣмъ оказалъ себя не только дѣль-

нымъ секретаремъ, но и безъ преувеличенія — лучшимъ изъ всѣхъ, какіе были. Надѣюсь, что преемники его не погнѣваются на меня за эту похвалу; но его заботливость объ Обществѣ и энергія были безпримѣрны. Онъ искалъ, понуждалъ, торопилъ. Самый первоклассный режиссеръ театра могъ позавидовать въ рвеніи и искуствѣ, съ какимъ Лонгиновъ *ставилъ* засѣданія, — можно такъ выразиться. Сейчасъ вижу его на публичныхъ собраніяхъ. Онъ весь впивался въ чтеніе; можно сказать сопутствовалъ чтецу, читалъ, только молча, вмѣстѣ съ авторомъ. Въ ожиданіи счастливаго мѣста рѣчи приготовительная улыбка уже озаряла лицо; глаза расширялись и всѣ мускулы начинали ходить, когда ожидаемый эффектъ достигнутъ и публика рукоплескала. Этой горячности къ дѣлу и успѣху въ немъ помогало между прочимъ самое отсутствіе направленія въ Лонгиновѣ; вездѣ онъ былъ свой: состоялъ непремѣннымъ членомъ вральной комнаты въ Англійскомъ клубѣ, вхожъ въ редакцію *Русскаго Вѣстника*, гдѣ и сотрудничалъ, постоянный гость на славянофильскихъ вечерахъ Аксакова, Хомякова, Елагиной, Кошелева. Но ему дорогъ былъ шумъ и блескъ, внѣшнее проявленіе свободы и сценическій эффектъ чтенія.

Въ статьѣ самого Лонгинова объяснено, какъ состоялось наконецъ первое собраніе возродившагося Общества. Скромность не позволила автору высказать, что весь подготовительный трудъ принадлежалъ ему. Онъ отрылъ и старыхъ членовъ, и мѣсто ихъ жительства; онъ успѣлъ удостовѣриться, что дѣла Общества сберегліись у Шевырева, бывшаго послѣднимъ секретаремъ. Онъ написалъ повѣстки, приглашавшія на собраніе, переговорилъ съ университетскимъ начальствомъ о мѣстѣ засѣданія. Собралось всего шестеро: Масловъ, Погодинъ, Кубаревъ, Хомяковъ, Вельтманъ и Максимовичъ. Не лишены краснорѣчія слѣдующія строки бытописателя, на предварительномъ совѣщаніи уже предназначеннаго въ секретари: „Странное чувство испытали, вѣроятно, члены Общества, сойдясь послѣ двадцатичетырехлѣтняго прекращенія своихъ собраній. Четверть вѣка съ бурными своими событіями унесла память минувшаго; нравы, люди, интересы измѣнились:

прошедшаго не осталось и тѣни... Мы не сомнѣваемся, что гг. члены встрѣтились въ этотъ день съ невольнымъ душевнымъ волненіемъ".

Въ этомъ засѣданіи, 27 мая 1858 года, въ 7-мъ часу вечера, выбраны были во временные предсѣдатели Хомяковъ и во временные секретари Максимовичъ. Копія съ протокола, подписанная старшимъ по времени членомъ Масловымъ, отправлена министру и послѣдовало утвержденіе, равнявшееся вторичному основанію Общества.

Собраніе 27 мая состоялось съ цѣлью только оформить бытіе Общества, заявить о его существованіи. Временный предсѣдатель и временный секретарь нужны были для того, чтобы слѣдующія повѣстки могли быть отправлены легальнымъ путемъ, а не апокрифическою рукою литтератора, даже не принадлежащаго къ Обществу. На слѣдующемъ собраніи выбранъ былъ уже полный составъ должностныхъ лицъ и новые члены.

Я сказалъ: „на слѣдующемъ собраніи", но не увѣренъ; точный отвѣтъ должны дать архивы Общества. Помню твердо, что я вмѣстѣ съ другими былъ выбранъ въ члены Общества и въ члены приготовительнаго собранія. Заразъ это сдѣлано или порознь, память мнѣ не сохранила. Знаю только, что я, должнобыть, въ качествѣ уже члена участвовалъ въ избраніи должностныхъ лицъ, потому что какъ сейчасъ вижу Сергѣя Тимоѳеевича Аксакова, къ которому поспѣшилъ я тотчасъ послѣ засѣданія. Съ удивленіемъ, не безъ примѣси даже негодованія, онъ воскликнулъ: „что это, кого вы выбрали еще въ члены приготовительнаго комитета?"—„Павлова"—отвѣчалъ я спокойно.—„Это Видокъ!"—возразилъ онъ. Что означало это восклицаніе, и чѣмъ это Н. Ф. Павловъ стяжалъ себѣ репутацію Видока, и основательно ли, я не зналъ и послѣ не сталъ разбирать; но восклицаніе удивленія осталось у меня въ памяти.

Затѣмъ пошли своимъ чередомъ собранія, какъ и теперь, частныя и публичныя. Первымъ предсѣдателемъ былъ Хомяковъ, секретаремъ Лонгиновъ. На собраніяхъ, особенно публичныхъ, подобно мертвецамъ, возставшимъ изъ могилъ, появ-

лялись старики, которыхъ имя изъ литтературы уже исчезло, а то и такіе, при видѣ которыхъ поднимался вопросъ: „да что же они писали?“ Меня этотъ вопросъ занималъ, но изъ деликатности я не допытывался. Ученая дѣятельность Кубарева мнѣ была извѣстна; но старецъ Зиновьевъ, но Антонъ Францовичъ Томашевскій, самъ по себѣ милый человѣкъ впрочемъ, но Николай Васильевичъ Путята, чѣмъ они ознаменовали себя въ россійской словесности? А Николай Васильевичъ былъ даже выбранъ во временные предсѣдатели.

Въ перечисленіи собравшихся на первоначальное засѣданіе не значится ни Сергѣя Тимоѳеевича Аксакова, ни Константина Сергѣевича. Но первый, состоявшій почетнымъ членомъ Общества, по болѣзни никуда не выѣзжалъ изъ дома. А второй былъ bête noire для высшихъ сферъ, и выставлять его сразу на показъ найдено было неудобнымъ, несмотря на то, что онъ былъ душою возрожденія. Да и послѣ, по самомъ открытіи Общества, я что-то не помню его *чтецомъ*. Хотя читалъ онъ несомнѣнно, но добродушіе его не настаивало, даже не предлагало къ прочтенію нѣкоторыхъ стихотвореній его, остававшихся въ рукописи. Всѣ ли они попали даже въ полное изданіе его сочиненій? Помню слышанное мною отъ него стихотвореніе, оканчивавшееся словами:

Имъ ярки золотыя главы,
Имъ оглушителенъ твой звонъ.

Дѣло шло о Москвѣ и петербургскихъ правящихъ сферахъ. Старикъ Сергѣй Тимоѳеевичъ, единственный свидѣтель, присутствовавшій при этомъ чтеніи, сказалъ мнѣ серьезно: „Я посовѣтовалъ ему уничтожить рукопись, когда онъ прочелъ мнѣ эти стихи. Ну, да вѣдь пойдите,—прибавилъ онъ смѣясь:—онъ ихъ помнитъ наизустъ“. И старикъ махнулъ рукой съ улыбкой, которая говорила: „неисправимый!“ Попало ли это стихотвореніе въ собраніе сочиненій и записано ли оно?

Въ первыя времена по пробужденіи Общества, выборъ членовъ былъ очень строгъ, и задачу оно поняло свою въ той строгости, которая предначертана была предварительными тай-

ными совѣщаніями, когда будущіе члены собирались своего рода заговорщиками. Я говорю о Хомяковѣ и Аксаковѣ. Общество Любителей Россійской Словесности должно стремиться къ тому, такова была мысль, чтобы образовать изъ себя въ Москвѣ общественную академію въ параллель Петербургской казенной. Предметъ ея—языкъ и словесность, но послѣдняя не въ томъ ограниченномъ смыслѣ, какъ понималось пятьдесятъ лѣтъ назадъ. Общество должно слѣдить за успѣхами литературы, служить для нея зеркаломъ, отчасти руководствомъ. Критическія обозрѣнія—безпристрастныя, стоящія выше партій—должны быть постояннымъ чтеніемъ на публичныхъ собраніяхъ. Языкъ и его исторія должны быть предметомъ тщательной разработки. И эта академія должна быть не scribens только, пишущая, но legens, читающая; рѣчи въ Обществѣ должны быть на половину и лекціями. Хомяковъ, при всей своей лѣни, послужилъ съ своей стороны добросовѣстно предначертанной задачѣ: онъ давалъ обзоры современной литературы. А Общество принялось за редакцію русскихъ пѣсенъ, собранныхъ Кирѣевскимъ. Душой этого дѣла былъ Константинъ Аксаковъ. Я былъ въ числѣ членовъ комитета, работавшаго надъ сокровищемъ, которое оставлено Кирѣевскимъ, и могу засвидѣтельствовать объ усердіи и внимательности работъ. Для самого Аксакова онѣ были священнодѣйствіемъ. Онъ возмущался даже, что при обсужденіяхъ—въ комитетѣ ли, въ собраніяхъ ли Общества—позволяютъ себѣ курить. Самъ онъ былъ изъ числа курящихъ; сигара не выходила у него изо рта. Но при обсужденіяхъ находилъ куреніе халатностью не только неумѣстною, но вредною для дѣла, разсѣивающею вниманіе. Долгія объ этомъ были пререканія, на которыхъ Аксаковъ уступалъ только одно—чай, но никакъ не папиросы или сигары.

Затѣмъ Общество на первыхъ же порахъ впрягло В. И. Даля за составленіе Словаря изъ собраннаго имъ матеріала, снабдивъ его на это чрезъ Кошелева средствами.

О строгости же выборовъ могутъ дать понятіе слѣдующіе три случая. Предложенъ былъ Григорій Ефимовичъ Щуровскій,

и поставленъ былъ вопросъ: профессоръ геологіи, при всѣхъ своихъ несомнѣнныхъ ученыхъ достоинствахъ, имѣетъ ли право быть членомъ Общества Словесности? Предоставляется ли ему это право тѣмъ однимъ, что его ученые труды напечатаны и представляютъ вкладъ въ литературу вообще? Вопросъ этотъ рѣшенъ былъ въ принципѣ отрицательно, но въ собраніи было прочитано его описаніе альпійскихъ ледниковъ, свидѣтельствовавшее, что Григорій Ефимовичъ не только ученый изслѣдователь, но и художникъ слова, и онъ былъ выбранъ.

Графъ А. С. Уваровъ былъ предложенъ въ члены, и выборъ его отклоненъ: иное дѣло занятія археологіею, иное—заслуги по словесности.

Наконецъ забаллотированъ былъ Илья Васильевичъ Селивановъ, авторъ, стоявшій тогда на виду, но избравшій себѣ подъ заглавіемъ, не помню какимъ, *Провинціальныя Воспоминанія Чудака*, спеціальностью обличительные очерки,—„ябеду, облеченную въ литературныя формы“,—какъ нѣкто выразился тогда на засѣданіи.

Хомяковъ вскорѣ умеръ. За нимъ послѣдовалъ Константинъ Аксаковъ. Общество разслабло, прежняя дружность исчезла. Руководители частью не обладали достаточнымъ авторитетомъ, частью не имѣли достаточнаго досуга, а можетъ-быть и любви. Но нельзя не признать высокими задачи, предносившіяся возстановителямъ Общества, и нельзя нашему Обществу не помянуть добромъ и Хомякова, и Константина Аксакова, и даже М. Н. Лонгинова.

Основныя начала экономіи.*)

Трудъ, въ смыслѣ производителя, не долженъ-ли быть раздѣленъ:

а) *на активный и пассивный.* Ткачъ стоитъ за станкомъ, а въ это время ходитъ кругомъ сторожъ. Занятіе сторожа трудъ или нѣтъ? Баба жнетъ, а вмѣсто себя смотрѣть за дѣтьми наняла другую. Трудъ это?

Время отнятое, которое могло-бы быть употреблено на трудъ, такъ сказать, изнанка труда, есть стоимость. Время обязано само давать заработокъ.

б) *на умственный и физическій.* Умственный можетъ являться въ осязательной цѣнности, но можетъ и не являться. Цѣнность докторскаго совѣта.

---

*) Изданы послѣ смерти автора отдѣльной книгою А. М. Гальперсонъ, подъ редакціей профессора И. Т. Тарасова, въ 1889 г. въ Москвѣ. Издательница свидѣтельствуетъ, что этотъ трудъ Гилярова-Платонова не предназначался для печати въ настоящемъ своемъ видѣ; что авторъ, набрасывая свои взгляды на предметы экономіи, имѣлъ въ виду впослѣдствіи привести свои записи въ систему и издать ихъ въ цѣльномъ видѣ; но смерть похитила его раньше, чѣмъ ему это удалось. Съ своей стороны профессоръ Тарасовъ въ предисловіи къ книгѣ предупреждаетъ читателей, что строгой системы въ «Основныхъ Началахъ Экономіи» нѣтъ, что это только «рядъ набросковъ, касающихся почти всѣхъ предметовъ политической экономіи, равно какъ и нѣкоторыхъ важнѣйшихъ политико-экономическихъ трактатовъ въ новѣйшей иностранной литературѣ. Но наброски эти мѣстами таятъ въ себѣ такую глубину мысли, свидѣтельствуютъ о такой шири взгляда, являются результатомъ такого объективнаго и всесторонняго изученія предмета, что они не только стоятъ иного цѣлаго, но и превосходятъ многое изъ появившагося до сихъ поръ въ области самостоятельной русской эко-

Изъ экономической жизни ни пассивнаго, ни умственнаго труда нельзя исключить. Слѣдовательно, самая цѣнность и богатство должны быть иначе опредѣлены.

Располагающій средствами не только пропитать себя, но и пользоваться удовольствіями, называется богатымъ. Кто нуждается въ средствахъ даже для жизни—бѣденъ. Вотъ истинныя понятія: избытокъ съ одной стороны, недостатокъ или нужда съ другой; достатокъ въ серединѣ.

Богатство есть-ли власть надъ вещами? Да, въ томъ смыслѣ что богатство, какъ и бѣдность, есть явленіе уже сложной жизни, общественной, когда является мѣна. Оно есть откидное понятіе отъ бѣдности, ея противуположеніе.

Надъ людьми?—Нѣтъ, это выводъ; обольщеніе, подкупъ, не власть.

Итакъ, богатство предполагаетъ:

а) существованіе средствъ для жизни,

б) обладаніе ими,

в) обладаніе ими въ избыткѣ.

Богатство поэтому исключаетъ трудъ. Въ этомъ смыслѣ обыкновенно оно и принимается: богатъ тотъ, кто не имѣетъ нужды трудиться, а если трудится, развѣ въ свое удовольствіе. Фурье поэтому надѣялся всѣхъ сдѣлать богатыми, а новѣйшіе соціалисты напротивъ прекратить существованіе богатыхъ.

Средства къ жизни назовемъ *благами*; погодимъ говорить о цѣнности и стоимости, чтобы не запутаться.

номической литтературы. Читая эти наброски, составившіеся, какъ выражается самъ авторъ, изъ разсужденій несвязанныхъ рутиной политико-экономическихъ учебниковъ какого-бы то ни было лагеря, невольно задаешься вопросомъ: что-же было-бы, еслибы преждевременная смерть не оторвала автора отъ начатой имъ работы, и онъ довелъ ее до конца, хотя бы даже только въ тѣсныхъ рамкахъ той программы, которая приложена къ концу книги? По всѣмъ вѣроятіямъ было-бы то, чего до сихъ поръ нѣтъ въ нашей литературѣ, а именно: вполнѣ самостоятельный очеркъ политической экономіи, который, конечно, скоро вытѣснилъ бы собою всѣ компилятивные или на контроверзахъ основанныя руководства, очерки и курсы, занимающіе пока первенствующее мѣсто въ русской учебной литературѣ политической экономіи.» (стр. III и IV).

Благо бываетъ *матеріальное* и *не матеріальное*, какъ и питаніе бываетъ физическое и духовное. Благо состоитъ не въ вещахъ только. Я не только сытъ и одѣтъ, но наслаждаюсь прекрасными окрестностями, созерцаніемъ искуствъ, пріятною бесѣдою. Поэтому пользованіе благами не однозначительно съ обладаніемъ. Совершая морскую прогулку, пользуюсь благомъ (свѣжаго воздуха, прекрасныхъ видовъ), но не обладаю. Заключающій любимую женщину въ объятія обладаетъ ею лишь въ переносномъ смыслѣ. Отсюда блага двоякаго рода и самое пользованіе ими двоякое:

Пассивное и активное. При первомъ—благо не убываетъ отъ пользованія имъ. Второе *потребляетъ* блага. Видъ Монблана теряетъ-ли отъ того, что я на него посмотрѣлъ? Ольриджъ, что я его послушалъ? Да, Ольриджъ теряетъ, потому что изнашивается. Но софизмъ будетъ сказать, что я его *потребляю*. Результатъ для него одинаковъ, слушаетъ его одинъ или тысяча человѣкъ. То-же и съ профессоромъ. Сущность различія заключается въ томъ, что помимо благъ, пользованіе которыми истребляетъ ихъ конкретный видъ, другое, пассивное, заключается уже въ свободномъ доступѣ къ нимъ. Благами будутъ и вещи, и лица, и дѣйствія.

Изъ числа первыхъ потребностей даже жилище принадлежитъ къ числу благъ, пользованіе которыми пассивно. Домъ ветшаетъ не отъ того, что я въ немъ живу, а отъ времени и стихій, которыя равно его разрушатъ, хотя-бы я въ немъ не жилъ.

Мимоходомъ укажу на связь, въ которой стоитъ одностороннее экономическое направленіе съ одностороннимъ философскимъ направленіемъ. Матеріалистическое направленіе мысли повело къ тому, что вопросъ общественности объявленъ вопросомъ *желудка*, а отсюда односторонность въ опредѣленіи понятій о богатствѣ и цѣнностяхъ, и односторонній идеалъ общественнаго устройства, не знающій, что̀ дѣлать съ интеллектуальными отправленіями. Марксъ посмѣивается надъ *услугами*, введенными въ число экономическихъ элементовъ. Названіе

дѣйствительно неудачно, но явленіе, имъ обозначенное, тѣмъ не менѣе существуетъ и принадлежитъ къ числу экономическихъ элементовъ.

Изъ доступа къ благу образуется *собственность* и отсюда *господство*. Оно еще не есть потребленіе, а отказъ въ доступѣ другимъ; на Монбланъ смотритъ всякій, а въ паркѣ герцога Вестминстера никто не можетъ кромѣ него гулять, хотя парку столько мало сдѣлается отъ гуляющихъ, сколько Монблану отъ созерцающихъ. Мы всѣ слушаемъ Патти, отъ которой самой и зависитъ себя слушать. А у Абдулъ-Гамида въ гаремѣ пѣвица только для него поетъ и поетъ по его приказу.

Собственность есть свободный для одного (или однихъ) доступъ, прегражденный для всѣхъ. Доступъ къ чему? Къ благамъ. То есть? Къ средствамъ жизни. Собственность получаетъ съ извѣстной точки зрѣнія названіе *имущества,* но это безразлично.

Откуда этотъ ограниченный доступъ, и всѣ-ли имѣютъ право на неограниченный доступъ ко всему? Вотъ задача.

Доступъ *физически* ограниченъ; я-бы желалъ любоваться коралловыми островами и ѣсть бананъ, но *разстояніе* препятствуетъ. Желалъ-бы слушать соловья и скушать рыбу, но соловей молчитъ, и рыба уплыла: мѣшаетъ *живое сопротивленіе*. Чтобы преодолѣть косное и живое сопротивленіе, я долженъ употребить усиліе, *трудъ*.

Отсюда мнѣніе, что всѣ блага и всѣ богатства отъ *труда*.

Но есть блага и *готовыя*, не требующія труда, въ родѣ картины Монблана, а въ пустынѣ—и въ родѣ финика, никому не принадлежащаго. Трудъ начинается съ того момента, когда начинается *собственность* и возникаетъ *сопротивленіе*. А сопротивленіе, и косное и живое, оказывается не только природою, но и людьми, и между прочимъ собственниками.

Откуда-же собственность? Изъ желанія избѣжать усилій, избѣжать труда; основной психическій законъ: желаніе получить большее наслажденіе при меньшемъ напряженіи. Послѣдняя цѣль стало-быть—полное наслажденіе безъ всякаго усилія.

Затѣмъ, блага бываютъ *естественныя* и *искуственныя*, то-есть созданныя трудомъ. Но хотя созданныя трудомъ, а доставшіяся нетрудящемуся. Необладающій говоритъ: пусти меня, не ты трудился. Обладатель имѣетъ право отвѣчать: но и не ты. Является споръ, и онъ-то есть сущность борьбы соціализма противъ современнаго устройства общественности.

Соціалистъ не отрицаетъ у каждаго право на то или эквивалентъ того, что̀ добыто личнымъ трудомъ, но отрицаетъ личное и частное право на то, что̀ дано и дается помимо труда, и, называя послѣднее *средствами производства* (впрочемъ не точно), утверждаетъ, что они должны принадлежать всему обществу безраздѣльно.

Экономисты отвѣчаютъ довольно нескладно, возражая, что и средства производства одолжены бытіемъ своимъ труду. Во первыхъ, относительно половины средствъ, поколику они суть готовыя блага природы, это невѣрно. Во вторыхъ, если созданы трудомъ, то не тѣхъ лично, кто простираетъ на нихъ право собственности.

Основательнѣе возраженіе, что и не тѣхъ-же однако, кто, лишенный права, простираетъ притязанія. Кому-же? Никому? Соціалистъ принимаетъ этотъ отвѣтъ и переводитъ его словомъ „всѣмъ“, обществу.

Переводъ неточенъ и переходъ смѣлъ отъ „никого“ до „всѣмъ“, отъ „не принадлежитъ“ до „принадлежитъ“ и отъ „всѣмъ“ до „общества“. Всѣ—это вселенная, а она просторна. Ограничиваясь *обществомъ*, соціалистъ становится на *національно*-экономическую почву, которой не оправдываетъ его *интернаціональность*. Обладающій можетъ сказать неимущему: иди туда, гдѣ нѣтъ живого сопротивленія. Неимущій частію не хочетъ, частію не можетъ, наталкиваясь на косное сопротивленіе. Я не могу и не моя вина, что не могу. И не моя, отвѣтитъ обладающій. Одинъ лишенъ безъ вины, другой обладаетъ безъ заслуги.

Когда-же онъ не хочетъ (положимъ, переселиться), его споръ есть споръ двухъ желаній на одну вещь. Если-бы то была

не вещь, а лицо, самъ предметъ спора и въ правѣ рѣшить, какъ самка, на которую притязаютъ два самца. Къ косной природѣ такой пріемъ неприложимъ.

У соціалиста есть основанія признавать средства производства общественными, а не всечеловѣческими, на томъ основаніи, что они суть плодъ кооперації именно *этого* общества. Но этимъ ставится вопросъ еще на иную почву. Во первыхъ, признается право собирательныхъ единицъ и притомъ наслѣдственность. Словомъ, ставится въ *органическую* почву совершенно правильную. Но тогда различіе теперешняго и предполагаемаго будущаго устройства лишь въ *степени*. Теперешнее положеніе признаетъ права рода и права корпорації, предоставляя внутренніе распорядки соглашенію. Соціалистическое—распространяетъ на общество, не доходя до человѣчества, но вмѣсто внутренняго соглашенія вводитъ регламентацію.

Иное дѣло—средства къ жизни, иное—сама *жизнь*. Пища, одежда, жилище—средства для жизни. Жилище можетъ быть разсматриваемо, какъ одежда, защита отъ внѣшняго дѣйствія стихій, но имѣетъ и самостоятельное значеніе, какъ мѣсто. Поэтому болѣе естественъ пожалуй обратный порядокъ: жилище, одежда, пища. Но тѣмъ и оканчивается?—Да, жизнь *растительная*, и притомъ *единичнаго* человѣка. Но къ растительному процессу принадлежитъ и *половая* жизнь, которая для жизни единичнаго человѣка не представляетъ неизбѣжности, но для человѣчества и общества есть то-же, что переходъ отъ сегодня къ завтра въ единицѣ. Для жизни общественной, именно въ смыслѣ простого существованія, необходимо воспроизведеніе, въ родѣ обмѣна матеріи въ единицѣ.

Блага жизни, представляемыя *средствами* къ жизни, суть такимъ образомъ блага еще несамостоятельныя. Ужели жизнь состоитъ въ голомъ бытіи, и много въ воспроизведеніи? Корова пасется на лугу; когда приходитъ время течки, понимается, затѣмъ телится, а въ промежуткъ этихъ дѣйствій совершаетъ жвачку, задумчиво устремляя глаза. И все? Жизнь исчерпывается

только жвачкой? Питаніе и удовлетвореніе половыхъ потребностей само въ себѣ есть наслажденіе и высшее удовлетвореніе?

Экономія какъ будто это и признаетъ, когда не знаетъ куда дѣваться съ элементомъ, который названъ Миллемъ *услугами*, за которыми признаетъ *посредственно* производительное значеніе. Куда-же въ самомъ дѣлѣ дѣваться съ докторомъ, совѣты котораго не подлежатъ мѣрѣ и вѣсу, какъ аршинъ сукна съ эквивалентомъ извѣстныхъ часовъ работы?

Есть однако и противуположное не только воззрѣніе, но направленіе, которое назовемъ *аскетическимъ*, которое всѣ средства къ жизни, возвышенныя въ чинъ самостоятельныхъ благъ, отвергаетъ, желало-бы совсѣмъ, если возможно, избавиться отъ нихъ, свергнуть ихъ. Ѳиваидскій аскетъ, индійскій факиръ доводятъ удовлетвореніе растительныхъ потребностей до *тіпітит'а* и находятъ въ этомъ наслажденіе, но не въ положительномъ смыслѣ: отрицаніе не есть положеніе, а въ смыслѣ простора для другой жизни, которой желаютъ дать только болѣе независимости отъ растительной.

Сама экономія должна признать основнымъ стремленіемъ человѣчества, утвержденнымъ на коренномъ, неистребимомъ свойствѣ индивидуальной природы: возможно большее наслажденіе съ возможно меньшими усиліями. Чтобы не впасть въ кругъ, мы должны замѣнить слово „наслажденіе“ словомъ „пріобрѣтеніе“, потому что именно въ томъ и вопросъ, что̀ признавать наслажденіемъ. Возможно больше пріобрѣтеній съ меньшимъ трудомъ: слѣдовательно, окончательная точка—пріобрѣтеніе или доступность *всего* безъ *всякаго* труда. Слѣдовательно, окончательная точка *досугъ*. Слѣдовательно—пустота, не наполненное время, потому что пища переваривается безъ жвачки. Отсюда оказывается, что сама экономическая цѣль есть средство для другой цѣли, или наполненіе, точнѣе—равновѣсіе растительной жизни есть средство для другой, духовной, и въ ней получаетъ смыслъ. Узломъ-же служитъ половая потребность или воспроизведеніе, которое впрочемъ не неизбѣжно для духовной жизни и вовсе опять неспособно наполнить досуга. Воспроизведеніе,

достигаемое удовлетвореніемъ половыхъ потребностей, облегчаетъ удовлетвореніе потребности въ духовной общительности. Но и оставленный себѣ индивидуумъ остается не безъ духовныхъ утѣшеній *созерцанія* (въ обширномъ смыслѣ, въ томъ числѣ эстетическаго) и *мышленія*. Совершается духовная работа, духовный обмѣнъ, духовное питаніе: употребляемъ эти экономическіе термины.

Спустимся въ низшую животную жизнь. Помимо ѣды, спанья и половыхъ процессовъ, мы видимъ *игру*, имѣющую чисто-гимнастическое, растительное значеніе, но свидѣтельствующее о досугѣ и намекающее на высшій процессъ, открывающійся только въ человѣкѣ, который между прочимъ одинъ способенъ даже къ *воздержанію*, то есть властенъ даже увеличивать досугъ и расширять время для духовной жизни.

Уже по этой одной способности къ воздержанію духовная жизнь есть не только цѣль растительной, но она ею и управляетъ; она даетъ бытіе самой экономіи, служитъ основаніемъ матеріальнаго прогресса. Не руки работаютъ надъ природою, изготовляя изъ нея способное къ растительному усвоенію благо, а *разумъ*. Поступая по методѣ Смита, при отыскиваніи экономическихъ факторовъ, мы должны-бы признать, что субстанціей всякой стоимости есть не трудъ, а умъ, потому что самъ трудъ въ томъ-же, даже болѣе точномъ смыслѣ, есть воплощеніе ума, какъ продуктъ есть воплощеніе труда. Трудъ есть не элементъ, вошедшій въ химическій составъ продукта, а сила, приложенная къ матеріалу, двигатель. Двигатель-же есть умъ. Слѣдовательно, стоимость приходится измѣрять количествомъ потраченнаго ума. Но здѣсь всякая мѣра исчезаетъ. Умъ рабочаго пожалуй можно отожествить съ его руками и назвать общимъ именемъ труда. Умъ въ этомъ случаѣ есть только маятникъ; но функція ума не ограничивается этимъ. Умъ распорядителя, умъ предпринимателя, умъ наконецъ изобрѣтателя: въ какомъ количественномъ отношеніи стоятъ они къ своему исполнителю — рукамъ? Во всякомъ случаѣ и съ этой точки зрѣнія трудъ не есть ни источникъ, ни мѣритель цѣнности; то и другое есть

умъ, истинная субстанція цѣнности. Умъ есть изобрѣтатель, слѣдовательно,—родоначальникъ *стоимости*; онъ-же есть цѣнитель, ибо опредѣляетъ потребности, которыя не представляютъ въ себѣ твердаго и неизмѣннаго; слѣдовательно, основаніе *цѣнности* и, слѣдовательно, субстанція въ обоихъ направленіяхъ. Взявъ въ руки кусокъ хлѣба, я, по рецепту Смита и его послѣдователей, чтобы доискаться до началъ его стоимости, долженъ представить себѣ всю цѣпь рабочихъ, вспахавшихъ поле, посѣявшихъ, смоловшихъ, испекшихъ, продавшихъ хлѣбъ. Нѣтъ, чтобы быть справедливымъ и послѣдовательнымъ, я вспоминаю объ изобрѣтателяхъ огня, жернова, сохи, печи, закваски, телѣги и проч. и проч. Въ хлѣбѣ воплощены всѣ эти изобрѣтенія, воплощены всѣ распоряженія по посѣву, размолу, перевозкѣ и печенью, всѣ наблюденія за всѣми послѣдовательными процессами; механическій-же процессъ, въ томъ числѣ и исполненный руками рабочихъ, есть только примѣненіе. Заслуженно-ли будутъ пользоваться рабочіе продуктомъ этихъ своихъ трудовъ или ихъ эквивалентовъ? Очевидно нѣтъ, когда представимъ въ живыхъ всѣхъ не только наблюдателей и распорядителей, но и всѣхъ изобрѣтателей до изобрѣтенія огня включительно. Пусть матеріализмъ настоящаго вѣка отвергнетъ раздѣленіе функцій труда на низшія и высшія, и умственную дѣятельность уравняетъ съ физическою. Но остается вотъ разница: изобрѣтатель незамѣнимъ; онъ есть монополистъ по природѣ, а мускулы замѣнимы. И не только изобрѣтатель, но распорядитель и наблюдатель. Не всякій рабочій способенъ быть десятникомъ, а всякій десятникъ есть уже способный рабочій. Способность къ мускульной работѣ есть перейденная ступень. А слѣдовательно интеллектуальная сила есть не спеціальность, а высшая функція, Mehrwerth, добавочная стоимость, употребляя выраженіе Маркса и, слѣдовательно, эквивалентъ, котораго заслуживаетъ умственный дѣятель за свое участіе въ производствѣ, заслуживаетъ несоизмѣримо большей преміи. *Несоизмѣримо* именно по своей незамѣнимости. Можемъ представить себѣ толпу африканскихъ негровъ, приставленныхъ къ работѣ, кото-

рые, оставленные себѣ, ничего не произведутъ, или произведутъ безтолочь, а подъ руководствомъ плантатора производятъ дорогія цѣнности. Какая доля выработанной цѣнности кому принадлежитъ?

Ясно, что существующимъ экономическимъ устройствомъ болѣе всѣхъ обиженъ не рабочій, а интеллектъ. Всѣхъ менѣе заслуженно въ большей части вознаграждается именно онъ. Во всякомъ случаѣ совершенно ложна теорема, что рабочему долженъ принадлежать весь его продуктъ, если изъ числа рабочихъ исключать интеллектъ или его уравнивать съ прочими рабочими по числу лицъ или рабочихъ часовъ. Прибѣгнемъ для ясности къ примѣру.

Работаетъ мельница. Предположимъ, какъ и бываетъ, что она есть общественная собственность. Предположимъ, что также бываетъ, что мелется зерно, снятое съ общественнаго поля и назначенное въ общественный раздѣлъ по превращеніи въ муку. Мельница работаетъ водой и утилизуетъ, какъ сплошь и рядомъ, 15% силы искуственнаго водопада. Мельникъ—догадливый: съ небольшимъ преобразованіемъ въ посадкѣ колеса и въ притокѣ, онъ доводитъ утилизацію сырой силы до 30%, не говоримъ ужъ больше. Кромѣ того подсѣкаетъ и насаживаетъ иначе жерновъ, благодаря чему получается обдирная мука, увеличивающая потребительную стоимость ея, то есть полезность, на 50%. Общество считаетъ свою выгоду. Въ разницѣ стоимости между зерномъ и мукою сбереженія оказалось ровно на 150%. Кому они принадлежатъ? Всему обществу? Это капитализмъ, совершенная несправедливость. Парнямъ, которые сыплютъ зерно, подвозятъ и отвозятъ зерно и муку, подымаютъ и опускаютъ вешки? Ихъ трудъ не прибавился ни на полчаса. А стоимость уменьшилась, или все равно сумма продукта увеличилась ровно на 150%, минусъ матеріалъ. Вся выгода истекаетъ отъ выдумки мельника, который вдобавокъ потратилъ на приведеніе ея въ исполненіе не болѣе нѣсколькихъ часовъ. А выдумка даетъ выгоды 150%, и притомъ на вѣчныя времена, слѣдовательно, 150% умножатся на все время и на все количество

зерна, какое будетъ только работаться на мельницѣ. Не мельникъ-ли одинъ и долженъ пользоваться? Не одинъ-ли Аркрайтъ и долженъ пользоваться всѣми выгодами бумаго-прядилокъ и притомъ на вѣчныя времена? По теоріи рабочаго вопроса должно-бы такъ, въ томъ по крайней мѣрѣ смыслѣ, что на сей разъ ни капиталистъ, ни рабочій ничего ровно не прибавили къ стоимости. Здравый смыслъ и чувство справедливости рѣшаютъ иначе, и практика въ послушаніи имъ выработала законъ половинчества. Мельнику, который-бы предложилъ упомянутое улучшеніе, общество предложило-бы раздѣлъ выгоды поровну на томъ основаніи, что если-бы не было мельницы и зерна, то и выдумка не осуществилась-бы, и наоборотъ, если-бы не было выдумки, не было-бы и сбереженія и прибавочной стоимости. Это участіе *исполу* и есть принадлежность всѣхъ непосредственныхъ, первоначальныхъ кооперацій: между прочимъ „твоя земля, мой трудъ, выработка пополамъ“, тоже и „мой умъ, твой капиталъ“. Половинчество есть коренной законъ, служащій точнымъ выраженіемъ взаимности, пока на степени ея одного бытія, еще не осложнившагося другими признаками. „Я безъ тебя не могу, ты безъ меня“,—своего рода супружество, равноправность. При болѣе усложненныхъ экономическихъ отношеніяхъ равноправность переходитъ въ процентное отношеніе сообразно различной степени, въ какой тотъ или другой нуждается въ участникѣ.

Законъ „исполу“ есть норма, и притомъ основанная не на положительной, а на *отрицательной* оцѣнкѣ.

* * *

Собственность.

Собственность проистекаетъ изъ *простора* и опредѣляется *безпрепятственностью*, и притомъ въ обоихъ смыслахъ, и 1, какъ *фактъ* и 2, какъ *право*. Я распоряжаюсь, потому что другіе *даютъ мнѣ* распоряжаться. Почему даютъ? Или потому что ихъ нѣтъ: я одинъ; или потому что не смѣютъ: я буду за-

щищаться, прогоню, можетъ быть и убью ихъ; или потому что сами находятся или надѣются находиться въ томъ-же положеніи собственника, по отношенію къ другимъ вещамъ. Въ обоихъ послѣднихъ случаяхъ право создается *спекуляціей*, рефлективнымъ путемъ. Въ первомъ-же случаѣ, когда нѣтъ соперниковъ, въ сущности еще нѣтъ собственности, и право ея опять опредѣляется предположеніемъ, что соперники *могутъ* явиться.

Слѣдовательно опредѣленіе права собственности есть внѣшнее и отрицательное. Я владѣю дотолѣ, доколѣ не отнимутъ и потому что не отнимаютъ. Пусть говорятъ, что собственность есть внѣшняя форма свободы; изъ этого еще ничего не слѣдуетъ или слѣдуетъ только, что не имѣющій собственности лишенъ свободы; но не слѣдуетъ права собственности въ смыслѣ безусловной справедливости, въ смыслѣ всеобщей обязательности уважать собственность на основаніи идеи справедливаго.

Пусть говорятъ, что собственность отъ труда. Во первыхъ, это исторически вѣрно только на половину. Но вопросъ остается: а гдѣ основаніе уважать собственность труда? Итакъ:

Право собственности есть условное право. Исторически оно начинается фактомъ перваго присвоенія. (Возраженіе, что нѣтъ *res nullius*, а каждая вещь кому нибудь уже принадлежитъ, если не частному лицу, то общинѣ или обществу или государству, не имѣетъ смысла. Оно уже предполагаетъ собственность и подставляетъ ей хозяина, тогда какъ вопросъ о первомъ ея происхожденіи. Откуда-же право у общины, общества, государства?)

Укрѣпляется согласіемъ, сначала безмолвнымъ, потомъ формулированнымъ (въ видѣ закона) другихъ.

Слѣдовательно справедливо, что собственность основывается на гражданскомъ законѣ, и потому на справедливости, такъ какъ законъ есть воплощеніе справедливости. Но справедливости, какъ ее понимаетъ общество. А потому основательно считать собственность и послѣдствіемъ договора, разумѣется подразумѣваемаго. Но сущность остается, что фактъ собственности обращается въ право, утвержденное единственно на добровольѣ-

ной или вынужденной уступкѣ другихъ, которые или не смѣютъ или не могутъ или не хотятъ отнимать. Совокупность трехъ основаній, абстрагированная и формулированная, и есть право, которое уже принудительно обращается на всѣхъ, кто-бы противъ него ни шелъ.

Не смѣютъ, не хотятъ, не могутъ (безсильны) отнять. А почему-бы отнимать? Остается не одинъ фактъ естественной возможности отнять, но естественность желанія отнять. Естественно желаніе, потому что собственность, власть надъ вещью, есть благо, то есть предметъ или условіе къ моему питанію, и внѣшняя форма и условіе моей свободы.

Такимъ образомъ и это опредѣленіе тоже вѣрно, хотя, какъ выше сказано, само оно еще не даетъ основанія для *права*. Естественно мнѣ желать собственности, но отсюда не слѣдуетъ, чтобы другіе мнѣ ее давали. Выступая во внѣшній міръ, естественное личное желаніе подчиняется условіямъ равновѣсія: оно выполняется, насколько и доколѣ допускаютъ подобныя-же естественныя желанія другихъ лицъ.

Законъ равновѣсія есть главный въ обществѣ. Но равновѣсія, прибавлю, не механическаго и даже не просто органическаго, а органически-духовнаго. Полное равновѣсіе было-бы покой, иначе смерть, чего нѣтъ и въ неорганическомъ мірѣ, гдѣ происходитъ взаимодѣйствіе и смѣна, вращеніе міровъ, чередованіе свѣтовыхъ, тепловыхъ, магнитныхъ и электрическихъ дѣятелей, химическихъ процессовъ. Въ органическихъ особяхъ равновѣсіе устанавливается соотношеніемъ между питаніемъ и изверженіемъ. То-же въ обществѣ, какъ организмѣ, но отличіе то, что здѣсь каждая изъ клѣточекъ (индивидуумъ) обладаетъ способностью самоумерщвленія и въ общемъ и въ частномъ смыслахъ. Это есть внутренняя свобода не выполнять своихъ желаній и потребностей. Ближе къ нашему предмету она опредѣлится способностью къ *воздержанію*, которое въ свою очередь упирается на *умствованіе* и на силу индивидуальной природы—противодѣйствовать исполненію естественныхъ законовъ. Такимъ образомъ здоровый членъ общественнаго организма

(индивидуумъ) еще внутри себя обсѣкаетъ свои желанія и внутри себя управляетъ собою по нравственному внутреннему закону, прилаживаясь къ окружающему нравственному-же міру. Тотъ-же процессъ повторяется во всѣхъ, и тѣмъ созидается нравственное равновѣсіе общества. Отсюда, между прочимъ, и признаніе собственности въ предѣлахъ и размѣрахъ, которые установлены общепризнаннымъ закономъ.

По условности, которая лежитъ въ самомъ существѣ собственности, не допускаетъ безусловнаго отвѣта и вопросъ: должна-ли существовать или оставаться собственность? Когда толкуютъ объ этомъ вопросѣ, въ самомъ основаніи кроется неясность. Что такое собственность? Власть надъ вещію, свобода ею распоряжаться, распоряжаться во всемъ, даже до бытія ея, власть истребить вещь, какъ таковую, сжечь домъ, разбить посуду. Этому крайнему проявленію права, которое впрочемъ и есть его преимущественная характеристическая черта, подлежатъ всѣ виды собственности, за исключеніемъ однако собственности поземельной. Ее уничтожить я не могу: могу истощить, могу содержимое ею перевезти въ другое мѣсто, но пространства, ею очерчиваемаго, истребить не могу. А между тѣмъ поземельная собственность есть существеннѣйшая изъ собственностей. Такимъ образомъ самое распоряженіе, присущее собственности, является въ двухъ видахъ и состоитъ изъ двухъ элементовъ: 1) въ прегражденіи доступа другимъ и 2) въ употребленіи вещи. Послѣдній элементъ имѣетъ силу только для движимаго имущества, и въ самой поземельной собственности только для того, что въ ней движимаго. Къ недвижимому, къ пространству право собственности является лишь въ доступѣ. Различеніе это страшно существенно, между прочимъ уже потому, что всякое движимое имущество тоже нуждается для себя въ мѣстѣ. Съ другой стороны, поземельная собственность въ большинствѣ случаевъ бываетъ лишь пользованіемъ движимостью, въ ней заключающеюся, а не властью надъ доступомъ. Дорогъ черноземъ, лѣсъ, каменный уголь, а не пространство. Пространство за то образуетъ ренту: домъ на Ильинкѣ дороже со-

вершенно такого же на Бутыркахъ. Разница въ цѣнахъ здѣсь зависитъ отъ случайной близости къ рынку. То же повторяется и вездѣ; нечего и ходить къ длинному объясненію, представляемому Рикардо, о порядкѣ воздѣлыванія земель. Этотъ порядокъ есть приложеніе той-же разности разстояній ко рту или брюху, а благороднымъ образомъ—къ рынку. Въ объясненіи Рикардо есть лишь одна особенность: указаніе на разность естественнаго плодородія. Въ сущности опять это все равно, сводится къ той-же близости, которая выражается между прочимъ въ численности населенія. Но указывается между прочимъ на даровую движимость, которая заключается въ лучшей по плодородію землѣ. Въ сущности такъ. Но не въ этомъ-же рента. Рента безразлична къ плодородію, потому что право собственности вознаграждается не одними продуктами, а и замѣщеніемъ, и притомъ однимъ замѣщеніемъ (Ильинка и Бутырки).

Кромѣ сказаннаго различенія между отношеніемъ права собственности къ пространству и къ вещамъ въ пространствѣ, необходимо прибавить еще разъясненіе, что въ самой собственности надъ вещами первый признакъ опять въ распоряженіи доступомъ. Это еще общая отрицательная черта обоимъ элементамъ собственности, за которыми слѣдуетъ относительно вещей уже право положительнаго распоряженія. Это безконечно властное распоряженіе не ограничивается правомъ потребленія въ смыслѣ удовлетворенія нуждъ, хотя это частное право и заключается какъ составная часть или послѣдствіе собственности вообще. Экономическій смыслъ собственности опредѣляется въ силу того не какъ блага, удовлетворяющаго непосредственно мои потребности, а какъ источника, откуда можетъ быть почерпнуто удовлетвореніе, иначе—какъ *обезпеченіе*. Обыкновенное словоупотребленіе не въ иномъ смыслѣ и употребляетъ выраженіе собственность, такъ что кушанье, поданное въ трактирѣ, пусть я за него и заплатилъ деньги, не назоветъ никто собственностью. Чтобы удостоиться этого названія, нужна даже предмету потребленія нѣкоторая продолжительность существованія, слѣдовательно, указаніе на то, что онъ не только слу-

житъ для потребленія или потребляется, но и обезпечиваетъ на извѣстное время удовлетвореніе той нужды, для погашенія которой онъ назначенъ; напримѣръ: домъ, отчасти платье, посуда и т. п.

Теперь приступаю къ анализу. Гдѣ моя неотъемлемая собственность? Во первыхъ, самъ. Власть моя надъ собою не есть собственность, но она есть, и во мнѣ есть стремленіе перенести ту-же власть на окружающее, чтобы оно было послушно мнѣ, какъ собственные члены. И она распространяется естественно.

1) Пространство никому не принадлежитъ, но то, что въ пространствѣ, можетъ кому нибудь принадлежать, даже какъ составная часть индивидуума. Коса, хотя и отрѣзанная, есть несомнѣнная принадлежность той, у кого она отрѣзана.

2) Готовое благо, находящееся въ пространствѣ, можетъ кому нибудь принадлежать въ томъ смыслѣ, что никому другому не принадлежитъ. Сорванный плодъ въ безлюдной пустынѣ становится принадлежностью сорвавшаго съ минуты присвоенія, отличаясь отъ органической части индивидуальнаго состава лишь формально.

3) Какъ самъ индивидуумъ не безпространственъ, но имѣетъ очертаніе, то по крайней мѣрѣ та доля пространства, которая занимается его массою, должна считаться его принадлежностью.

4) Доля пространства, необходимая для помѣщенія индивидуума, и доля готовыхъ благъ, ему доступная, не ограничивается предѣлами массы даже у растеній, организмовъ, лишенныхъ самодвижности. У организма самодвижущагося кругъ естественно расширяется, и предѣлы принадлежности опредѣляются не отношеніями индивидуума къ мертвому пространству, а отношеніемъ силы самодвиженія къ живому сопротивленію, иначе сказать—опредѣляются *соціально*.

5) Законъ распредѣленія принадлежностей есть законъ равновѣсія, механико-химическаго у растеній, животно-физическаго у животныхъ, животно-духовнаго у человѣка.

6) Человѣчество состоитъ не изъ индивидуумовъ, а изъ органическихъ группъ, которыя признаютъ себя и признаются за индивидуумы, каждый членъ котораго есть самостоятельный индивидуумъ, не переставая быть частью другого индивидуума. Сіамскіе близнецы—группа и вмѣстѣ индивидуумъ въ одномъ организмѣ. Супружеская чета, мать съ ребенкомъ въ извѣстные моменты даже физически представляютъ единое.

7) Группы-индивидуумы способны къ безконечному продолженію, преемственно смѣняя отдѣльныя части, безъ разрыва своего единства не только въ настоящемъ, но въ прошедшемъ и будущемъ, состоя первоначально изъ a+b, переходя въ a+b+c+d, затѣмъ въ a^2+b+c+d, потомъ b^2+c+d+f и такъ далѣе до безконечности.

8) Единство сложныхъ индивидуумовъ, сообразно съ вышесказаннымъ, распространяетъ предѣлы принадлежности еще далѣе и въ ширь, и въ глубь, пространство и время, ограничиваясь живыми сопротивленіями уже не индивидуумовъ, а группъ.

9) *Собственностью* или *имуществомъ* условлено называть совокупность внѣшнихъ благъ, признанныхъ неприкосновенною принадлежностью индивидуума или группы. Внутренній моментъ собственности есть полнота распоряженія благами, къ которымъ на низшихъ ступеняхъ культуры причисляемы бываютъ даже живые люди.

10) Законъ животно-духовнаго равновѣсія, которому подчинено распредѣленіе имуществъ, получаетъ различное примѣненіе, смотря по различному сочетанію двухъ противоположныхъ факторовъ: силы и доброй воли, эгоизма и любви.

11) Разъ достигнутое равновѣсіе, повторяясь однообразно въ частныхъ фактахъ, образуетъ *гражданскій порядокъ*, находящій себѣ выраженіе въ *гражданскомъ законѣ* на основѣ *обычая*.

Управляющимъ закономъ въ распредѣленіи собственности остается всетаки равновѣсіе, и естественнымъ побужденіемъ къ ней остается всетаки стремленіе обезпечить себя. Такъ какъ сочетанія силы и доброй воли всетаки различны, и такъ какъ самыя силы группъ различны, и это различіе усложняется

еще исторически, то размежеваніе собственности можетъ доходить и доходитъ до того, что индивидуумы и цѣлыя группы могутъ оказываться лишенными всякой собственности. Могутъ быть два примѣра,—древности, гдѣ самъ человѣкъ становился предметомъ собственности, и—современной цивилизаціи, гдѣ пролетарію остается власть единственно надъ собою, а остальное онъ долженъ покупать. За исключеніемъ дорогъ, площадей и рѣкъ, все состоитъ въ чьей-нибудь частной собственности. Сообразно съ экономическимъ смысломъ собственности, цѣлая половина народа остается слѣдовательно безъ обезпеченія. Однако и этого нельзя утверждать безусловно, и чтобы разъяснить истинное положеніе, необходимо войти въ разсужденія, что собственность, какъ всякая цѣнность, можетъ быть конкретная и отвлеченная, реальная и мнимая. Сосѣдъ мой владѣетъ домомъ, я нѣтъ, но домъ сосѣда у меня заложенъ. Сосѣдъ имѣетъ реальную власть надъ домомъ, я мнимую или точнѣе—оба мнимую, и оба въ сущности отвлеченную, хотя сосѣдъ распоряжается конкретной вещью. Но право его ограничено, какъ и мое. Обезпечены-же мы оба, и тою-же собственностью. Слѣдовательно, отсутствіе конкретной собственности само по себѣ еще не есть отсутствіе обезпеченія. Необезпеченность начинается съ той минуты, когда я не имѣю ничего ни реально, ни отвлеченно. Современная наука и имѣетъ въ виду это различеніе, когда дѣлитъ общество на имущихъ и неимущихъ, но не вполнѣ правильно ставитъ вопросъ, отсюда вытекающій. Правильно-ли, что 1) одни ничего не имѣютъ, 2) другіе много имѣютъ? Двѣ половины вопроса, и каждая допускаетъ два отвѣта. Соціалистическая школа отвѣчаетъ отрицательно на обѣ половины; манчестерская на обѣ утвердительно; но утвержденіе или отрицаніе одной половины еще не влечетъ необходимо къ подобному-же отвѣту на другую половину. Отъ ложной постановки выходитъ и ложное послѣдствіе. По однимъ statu quo должно быть оставлено: laissez faire, laisser passer. По другимъ, исправленіе должно состоять или въ коммунизмѣ или въ коллективизмѣ, то есть, если не въ разграбленіи имуществъ, то въ приведеніи

общества къ такому положенію, чтобы въ будущемъ по крайней мѣрѣ не было преимущества въ имуществѣ.

Правильно-ли, что одни много имѣютъ?—Само по себѣ правильно, но когда рядомъ другіе ничего не имѣютъ, неправильно.

Правильно-ли, что существуютъ ничего не имѣющіе?—Неправильно во всякомъ случаѣ и безусловно и относительно.

Истина этого положенія требуетъ раскрытія.

Объ *естественномъ* правѣ или *неправѣ* здѣсь не можетъ быть и рѣчи, какъ явствуетъ изъ вышеизложеннаго. Справедливость гражданскаго порядка есть относительная справедливость, только равновѣсіе, условливаемое взаимными уступками. Въ томъ и заключается погрѣшность школъ, что та и другая построиваютъ порядокъ на безусловномъ началѣ. Laisser faire желаетъ видѣть въ гражданскомъ порядкѣ естественно-историческій фактъ и обращается за оправданіемъ его къ естественно-историческимъ законамъ, какъ безусловнымъ. Соціалистъ требуетъ отвлеченной безусловной справедливости. Послѣдній неправъ вдвойнѣ, потому что самое понятіе о справедливости беретъ изъ круга идей, которыхъ самъ-же онъ не признаетъ. Государство признаетъ извѣстный порядокъ въ распредѣленіи богатствъ. Оно поступило-бы даже несправедливо, когда-бы вздумало преобразовать его на основаніяхъ безусловной справедливости, т. е. признаваемыхъ имъ за таковыя. 1) Оно есть только часть современнаго человѣчества, 2) оно есть только моментъ въ собственной исторіи. Кто-же его поставилъ судьей надъ всѣмъ человѣчествомъ и гдѣ его полномочіе отъ будущихъ поколѣній? При понятіи о справедливости предполагается понятіе о свободѣ, безъ чего справедливость есть не болѣе какъ математическое равенство. А допустивъ свободу, неизбѣжно придемъ къ заключенію, что единственное право у каждаго есть право на самоотреченіе. Въ этомъ смыслѣ и общество, или государство, въ правѣ только на самоотреченіе и притомъ только отъ себя, то есть отъ того, что ему принадлежитъ какъ обществу, и именно какъ части и какъ моменту. Съ другой стороны, нельзя отрицать и самостоятельное значеніе общества, незави-

симое отъ индивидуумовъ, къ чему приходимъ, становясь на почву манчестерской теоріи. Даже та свободная игра личныхъ эгоизмовъ, въ которой одной теорія находитъ и источникъ, и существо экономической жизни, возможна только при существованіи общественности, то есть извѣстнаго порядка, извѣстной взаимнозависимости частныхъ лицъ одного отъ другого и всѣхъ отъ своей высшей собирательной единицы. Каждое отдѣльное лицо, прежде чѣмъ стать активнымъ экономическимъ факторомъ, прежде чѣмъ быть сознательною личностью, есть уже гражданинъ: онъ раждается въ извѣстныхъ государственныхъ и общественныхъ условіяхъ.

* * *

(По прочтеніи Джорджа.)

Трудъ есть содѣйствіе природѣ къ изготовленію вещей въ той формѣ, въ какой онѣ годны для потребленія.

Природа, такимъ образомъ, есть главный дѣятель и остается имъ. Содѣйствіе ей можетъ быть большее и меньшее, стремленіе человѣка и человѣчества — ограничить свое содѣйствіе *minimum*'омъ и заставить природу работать на себя.

Домъ. Вся забота ограничивается поддержаніемъ его. Издѣліе труда, вещь, въ настоящемъ случаѣ домъ, ввѣряется законамъ тяжести, упругости, скважности. Мое дѣло наблюдать, чтобы тѣ-же физическія свойства не перешли въ разрушеніе, содѣйствовать равновѣсію.

Поле. Я вспахалъ, взбороновалъ, посѣялъ. Дальнѣйшую работу ввѣряю природѣ, дожидаясь времени, когда мнѣ останется только собрать ею приготовленное.

Скотъ. Онъ гуляетъ на волѣ, самъ о себѣ заботится, самъ себя прокармливаетъ. Мнѣ остается заколоть его, когда нужно мясо, или стричь и доить періодически, когда нуждаюсь въ шерсти иль молокѣ.

Фабрика. Работаютъ вода, огонь, искуственые пальцы. Они купаютъ и извергаютъ, подобно скоту, и приготовляютъ издѣліе, подобно полю.

Вездѣ работаетъ природа, но содѣйствіе человѣка требуется въ разной степени.

Когда вещь природою, при содѣйствіи труда, приведена въ видъ мнѣ нужный (годный для моего потребленія, приноровленный), она есть *капиталъ*,—дотолѣ пока не потреблена, не возвратилась въ прежній видъ, не отдана обратно природѣ въ разложенномъ видѣ. Не только фабрика, домъ, скотъ, но и зерно и самое поле есть капиталъ. Поле безъ поддержки глохнетъ, какъ и скотъ безъ надзора дичаетъ; то и другое возвращается въ состояніе природы. Капиталъ есть покоренная природа, въ какомъ-бы видѣ ни на есть; только степени участія человѣческаго разныя, начинаясь отъ величины почти равной нулю и доходя въ другомъ концѣ къ такому напряженію, гдѣ дѣйствіе природы доходитъ почти до нуля. Скотоводъ на одномъ концѣ, ремесленникъ на другомъ.

То, что достигнуто трудомъ, есть заработокъ, а капиталъ и заработокъ, согласно вышесказанному, одно и то же; разница, съ котораго конца смотримъ. *Откуда*—заработокъ; *куда*—капиталъ. Оставляя заработокъ капиталомъ, я хочу, чтобъ трудъ мой кончился, по крайней мѣрѣ дошелъ до возможнаго *minimum*'а, чтобы природа работала на меня даромъ. Говоря обыденнымъ языкомъ, я желаю имѣть *доходъ*, и онъ долженъ послѣдовать, въ чемъ-бы ни состоялъ мой заработокъ. Я ткачъ, получилъ за свою работу деньги, но я на нихъ куплю теленка, который черезъ два года будетъ коровой, или цыпленка, который черезъ годъ будетъ курицей, приносящей плодъ независимо отъ моихъ усилій. Слѣдовательно, капиталу присуща способность давать самостоятельный доходъ, самостоятельный, разумѣется, въ относительномъ смыслѣ. Слѣдовательно, процентъ есть заработокъ, продолжающійся съ моего заработка съ постепенно уменьшающимся моимъ участіемъ, заработокъ во второй степени, можно такъ выразиться, a^2.

Какъ же этотъ заработокъ во второй степени, a^2, достигается? Разнымъ образомъ, смотря потому, сколько я себѣ оставляю участія. Я покупаю курицу, но могу отдать деньги

другому, который купитъ курицу или что другое. Я разработалъ участокъ, повырылъ пни, распахалъ и посѣялъ, да не пшеницу, а траву, часть пустилъ подъ садъ. Садъ и трава берутъ меньше труда. Обращаюсь за примѣромъ къ орѣховому дереву; впрочемъ и луговина хорошій примѣръ.

Отсюда слѣдуетъ, что между *рентой* и *процентомъ* нѣтъ существеннаго различія; то и другое берется за даровыя силы природы; съ другой стороны между капиталомъ и поземельной собственностью исчезаетъ различіе; собственность обращается въ такой-же капиталъ, съ разницею единственною, относящеюся къ удободвижимости капитала въ тѣсномъ смыслѣ, чего нѣтъ за собственностью. Это выяснится изъ теоріи *найма* и *займа*.

Языкъ различаетъ эти два понятія. Оба они означаютъ временное пользованіе, оба предполагаютъ доходъ; но *заемъ* спеціально относятъ къ деньгамъ и къ операціямъ, существенно связаннымъ съ мѣною, чего въ *наймѣ* не предполагается. Кредитуясь, я обязываюсь возвратить лишь драгоцѣнную стоимость, а нанимая, возвращаю самую вещь, которую нанялъ: домъ, землю, фабрику. Наемъ и заемъ, во всякомъ случаѣ, различаются только формально.

Какъ понимать наемъ? Я понимаю его какъ *отступное*. Я не хочу засѣвать своего поля, косить траву на своемъ лугу, собирать плодовъ съ своего сада, производить работы на своей фабрикѣ; или другой *я* желалъ-бы и сѣять и плоды собирать и фабриковать, но не имѣетъ гдѣ и надъ чѣмъ проявить свой трудъ. Совершается сдѣлка, по которой одинъ даетъ, другой получаетъ все, что способна дать вещь, за вычетомъ заработной платы. Нѣкоторыя изъ перечисленныхъ имуществъ, напримѣръ, фабрика или поле, требуютъ сверхъ того еще и капиталъ значительный (незначительный требуется и для луга съ садомъ), но отбросимъ-ли его, или приложимъ, все равно, наемная плата будетъ дана за даровыя силы, даровыя *воспроизводительныя* силы природы, заключенныя въ полѣ, садѣ, машинѣ, а кстати и въ сырьѣ, зернѣ или хлопкѣ, которые играютъ въ отношеніи къ труду ту же роль, что поле или фабрика сами

по себѣ. Откуда эта даровая сила, отъ природы или отъ труда, это безразлично; то и другое уравнивается: натурально-черноземная земля потребуетъ за себя столько-же, сколько доведенная до черноземности удобреніемъ, и въ этомъ-то смыслѣ рента сливается съ процентомъ, и законъ ренты повидимому долженъ получить иное объясненіе, нежели даетъ ему Рикардо.

* * *

Капиталъ—сбереженный трудъ. Не точно. Сбереженное издѣліе, то есть продуктъ труда.

Трудъ—есть процессъ, приложеніе рукъ къ матеріалу. Да рукъ-ли однихъ? Силъ физическихъ и нравственныхъ. Результатъ—преобразованіе матеріала или перемѣщеніе; самое преобразованіе можно разсматривать какъ перемѣщеніе.

Итакъ, съ одной стороны матеріалъ, съ другой—трудъ. Матеріалъ есть всякое вещество, не только земныя произрастенія и земля, но самый воздухъ и свѣтъ.

Всякій матеріалъ, прежде чѣмъ испытать на себѣ дѣйствіе труда, то есть рукъ человѣческихъ, подлежитъ дѣйствіямъ природы и продолжаетъ имъ подлежать. Такимъ образомъ, собственно два дѣятеля надъ матеріаломъ: природа и искуство, физическіе законы и трудъ человѣка. Самый трудъ подлежитъ также физическимъ законамъ, а равно и пользуется ими, подставляя имъ матеріалъ. Физическій законъ, такимъ образомъ, есть орудіе производства, если употребить этотъ экономическій терминъ, и именно дѣйствующій 1) независимо отъ человѣка и 2) управляемый имъ.

Посмотримъ, что такое будетъ *капиталъ*, если разумѣть подъ нимъ орудіе.

Руки—капиталъ.

Здоровье—капиталъ.

Умъ—капиталъ.

А физическій законъ въ смыслѣ орудія есть-ли капиталъ? Капиталъ предполагаетъ возможность имъ распорядиться. Воздухъ, свѣтъ, тяжесть, которые суть дѣятели—не капиталъ,

потому что не составляютъ частной принадлежности. Это общій капиталъ человѣчества. Слѣдовательно, капиталъ предполагаетъ собственность, и какъ таковую именно частную собственность. Потому кромѣ

1. собственныхъ рукъ и ума, можно располагать
2. чужими руками — рабство,
3. механическими орудіями — топоръ, пила, или животною силою — лошадью, воломъ.

Опредѣленіе „капиталъ — сбереженый трудъ“ указываетъ на происхожденіе; „капиталъ — орудіе“ — примѣненіе; существо капитала не опредѣляется.

Капиталъ есть нѣчто способное быть употребленнымъ въ орудіе производства, и онъ есть какъ таковой именно пока не приложенъ. Самый трудъ есть не что иное, какъ приложеніе капитала, сперва первичнаго, каковы руки, или вторичнаго, каковы животныя и машины. Трудъ безъ капитала невозможенъ, имъ предполагается капиталъ, и, слѣдовательно, все сводится къ принадлежности, собственности, праву и возможности распоряженія, и во вторыхъ къ липнему орудію, которымъ располагаетъ работникъ, кромѣ рукъ.

Трудъ есть отличительная черта человѣка, если его разсматривать, какъ орудіе производства, а не потребленія. А въ этомъ смыслѣ единственно и правильно его пониманіе. Животное не производитъ, а только потребляетъ. Оно производитъ только дѣтей, но не въ смыслѣ капитала для добычи, для дальнѣйшаго производства. Человѣкъ — творецъ, и въ этомъ его особенность. Пчелы строятъ ульи и берегутъ медъ; бобры — цѣлыя государства, бѣлки и муравьи сберегаютъ запасы. Это не капиталъ; это виды и степени потребленія. Остатокъ отъ потребленія становится тогда капиталомъ, когда онъ становится для новаго производства, которому въ силу этого нѣтъ конца.

Выводъ отсюда странный повидимому, но достовѣрный, что человѣкъ — капиталистъ по природѣ и потому, что онъ человѣкъ.

Чтобы подойти къ понятію поближе, необходимо условиться, что *трудъ есть покореніе природы.* Это опять есть не потребленіе. Кто потребляетъ, тотъ не покоряетъ природы, а живетъ съ нею общею жизнью, но тотъ покоряетъ природу, кто управляетъ физическими явленіями, обращаетъ физическій законъ себѣ въ послугу, не только пользуется тѣмъ, что̀ даетъ природа, но заставляетъ ее давать. Корабль, разсѣкающій волны при пособіи парусовъ или пара, земледѣлецъ, бросающій сѣмена по взбороненной землѣ,—вотъ покорители природы. Она покоряется одноличною силою, еще лучше многоличною, но *посредствомъ ея же самой.* Помимо безъискуственнаго міра природы, человѣкъ создаетъ новый, искуственный міръ природы-же, противопоставляя ей же ее и побѣждая ея безцѣльное бытіе, которое обращаетъ въ цѣлесообразное, въ *полезное.* Природа, какъ созданный человѣкомъ дѣятель противъ природы-же, есть капиталъ. Послѣ того можно спросить: откуда-же онъ, какіе его виды и какое употребленіе?

Первый шагъ побѣды надъ природою есть пріобрѣтеніе независимости отъ нея,—побѣда отрицательная. Природа повинуется своимъ законамъ, не справляясь съ нуждами человѣка: она сегодня родитъ пшеницу, завтра сорную траву, родитъ снѣдь тамъ, гдѣ ея не нужно, а гдѣ есть люди, тамъ не даетъ ничего или даетъ мало сравнительно съ ихъ числомъ. Отсюда стремленіе обезпечить себя преодолѣніемъ пространства и времени, принести нужное издалека и запасти лишекъ на будущее время. Способами служатъ опять тотъ-же *трудъ* и *экономія.* Трудъ эластиченъ, можетъ готовить болѣе чѣмъ на потребленіе, и природа человѣка эластична, способна къ воздержанію. Строго говоря, запасъ и цѣлесообразное (полезное) перемѣщеніе продуктовъ (издѣлій) еще не есть капиталъ; пчелы, какъ сказано, собираютъ не капиталъ. Но запасы получаютъ характеръ капитала съ той минуты, какъ назначаются не на потребленіе, а на производство; капиталъ существенно есть производитель. Потому и запасъ можетъ быть капиталомъ, коль скоро назначается или обращается на производство; а такъ какъ производство

человѣку отличительно существенно, то въ этомъ смыслѣ и запасъ можетъ быть признаваемъ за капиталъ, потому что онъ есть человѣческій, потому что самые мускулы суть капиталъ, а пища или одежда равносильны въ этомъ случаѣ маслу для смазки машинъ. Сущность лишь въ перестановкѣ отношеній: не трудъ становится источникомъ продуктовъ, а продукты, въ смыслѣ капитала, родителемъ труда.

Во всякомъ случаѣ это есть первое выраженіе капитала, между прочимъ порождающее *плату* и *мѣну*. Сбереженые продукты порождаютъ трудъ не того, кто сберегъ, а другого. У одного сбереженъ хлѣбъ или уродился въ излишкѣ, другой нуждается. Избыточествующій предлагаетъ неимущему хлѣбъ за его трудъ. Излишекъ времени, которымъ располагаетъ неимущій, служитъ къ увеличенію производства у имущаго. Вотъ зерно, изъ котораго выростетъ понятіе *дохода* и *процента*, и вмѣстѣ понятіе *кредита* и *денегъ*. Но существенна здѣсь *неистребимость* капитала и способность его къ *творчеству*. Послѣднее яснѣе означается во второмъ видѣ капитала, въ орудіяхъ производства. Уже земледѣлецъ, или часть его труда, обращается въ орудіе, когда онъ платитъ своимъ трудомъ за удѣляемый ему запасъ. Но помимо запаса, по существенной эластичности труда и потребленія, сбереженое время можетъ быть употребляемо на приготовленіе пособляющихъ орудій труду. Дикарь на досугѣ обдѣлываетъ каменный топоръ, укрощаетъ лошадь, пріучаетъ овцу. Процессъ тотъ-же, разница въ непосредственности, въ томъ, что непосредственно изъ природы же создаются пособники труду. Главнымъ дѣятелемъ въ этомъ процессѣ есть *изобрѣтеніе*, истинное начало человѣческаго творчества во всѣхъ видахъ, и притомъ безконечное. Каменный топоръ есть предсказатель, что рядомъ преемствующихъ изобрѣтеній природа будетъ совершенно покорена, и трудъ не только упраздненъ, но упраздненъ въ смыслѣ тягостнаго напряженія, сведенъ къ *minimum*'у. Природа будетъ служительницею; мановенія перста достаточно будетъ для полученія всѣхъ предметовъ потребленія.

Страннымъ является выводъ, что капиталъ есть благодѣтель человѣчества. Однако это такъ. Смитъ основательно свелъ все къ труду, но самъ трудъ производителенъ только въ смыслѣ родотворнаго начала для капитала, а способность живить, творить, развивать остается за капиталомъ. Если перескочить отсюда къ современнымъ соціальнымъ вопросамъ, задача должна быть выражена обратно существующему. Война должна быть объявлена не противъ капитала, а противъ труда. Понятно, что подъ капиталомъ и трудомъ разумѣются не капиталисты и трудящіеся, а капиталъ и трудъ сами въ себѣ. Въ стадіи, на которой теперь стоитъ процессъ человѣчественнаго развитія, возмущаетъ неравномѣрность распредѣленія, незаслуженность богатства и кажующаяся незаслуженность угнетенія трудящихся. Неравномѣрность фактически существуетъ, но *незаслуженность* есть пришлый терминъ, понятіе, взятое не изъ экономической сферы, нуждающееся еще въ своемъ оправданіи. Найдетъ-ли оно еще его? Съ экономической точки зрѣнія можно ли ставить вопросъ о заслугѣ или незаслугѣ? Это вопросъ о справедливости, сфера понятій нравственная. Подойти къ ней нужно съ понятія о *собственности*. Возмущаетъ не капиталъ, а принадлежность капитала не тому, кто имѣетъ повидимому на него *право*. А право что такое? Въ немъ два элемента, элементъ *справедливости* и элементъ силы, точнѣе—насилія, принужденія. Я имѣю *право*, положимъ, на что? Ну, хотя жить въ этомъ домѣ, потому что я за него заплатилъ, или плачу наемную плату, или получилъ въ наслѣдство, а не то въ даръ. *Справедливо* жить въ домѣ тому, кто за него заплатилъ, его нанялъ, получилъ его по добровольной отдачѣ. Это—первое положеніе. А второе: если-бы кто вздумалъ отнять его, у того отнимутъ и отдадутъ кому справедливо или даже не допустятъ, въ обоихъ случаяхъ—силою. Сила, поставленная для фактическаго утвержденія справедливости, задняя сторона права. Справедливость—передняя или пожалуй внутренняя. Но что такое сама справедливость, откуда она, на чемъ она имѣетъ основаніе? Откуда это *должно* и почему оно должно существовать, да еще въ

господствующемъ положеніи къ *силѣ?* Не одна-ли сила и должна быть началомъ? Или, вычеркнемъ это *должна,* не одна-ли сила и есть законъ и основаніе? Послѣдняя точка есть точка реализма и позитивизма, и единственная ему приличная. Борьба за существованіе, сила — единственный законъ. И сама справедливость будетъ поэтому мнѣніемъ, и болѣе ничего. Фактъ силы установилъ мнѣніе и поддерживаетъ силою. Но такъ-ли? Стало быть міръ есть Англія съ преобладающимъ парламентскимъ большинствомъ? Большинство постановило, и народъ повинуется на томъ основаніи, что если-бы онъ отказалъ въ повиновеніи, то большинство его принудитъ силою? Происходитъ банковый переводъ, сложеніе и вычитаніе, разница уплачивается. Зачѣмъ спорить? Если дойдетъ до фактическаго сопротивленія, насъ побьютъ и всетаки заставятъ. Но однако и англійскій парламентъ и вся исторія двигаются къ справедливому не въ смыслѣ борьбы за существованіе, то есть права сильнаго, а наоборотъ къ справедливому, какъ отрицанію или возможному ослабленію силы. Это даетъ понять, что справедливость, какъ подкладка права, имѣетъ другое основаніе, а не ту-же силу, которая служитъ ей поддержкою.

Разсмотрѣно было логическое происхожденіе капитала или его первоисторическое, его перворожденіе. Чтобы выяснить его теперешнее распредѣленіе, нужно прослѣдить фактическую исторію человѣчества и ея дѣятелей въ частности. Но чтобы раскрыть вопросъ въ надлежащей ясности, надлежитъ обратиться къ *собственности,* что она такое въ логическомъ и своемъ перворожденіи? Откуда она? Кстати, и войти подробнѣе въ *плату, кредитъ, деньги,* которыя намекались въ понятіи о капиталѣ при первомъ-же его образованіи.

* * *

Руки (и умъ) *мой* капиталъ. Здѣсь повидимому не можетъ быть рѣчи даже о правѣ, которое можетъ быть и въ положеніи неосуществляемаго. Они мои, это фактъ, со мной нераздѣлимый. Однако мое можетъ быть не моимъ; это зависитъ отъ того, что

кромѣ рукъ дѣятель во мнѣ и умъ. Руки, во-первыхъ, можно еще связать, лишить меня дѣйствія; это отнятіе моего способомъ отрицательнымъ, но мой умъ можетъ отречь мои собственныя руки отъ меня и послать ихъ на работу для другого. Источникъ рабства въ рабѣ есть его умъ, нравственная сторона; всякое рабство есть нравственное. Взятому въ неволю велятъ работать; если не работаетъ—бьютъ. Внутри раба происходитъ разсчетъ, результатомъ котораго происходитъ рѣшеніе работать хотя на другого. Со временемъ переходитъ это въ привычку, чрезъ поколѣніе—въ преданіе и даже въ убѣжденіе о справедливости: „господинъ меня кормитъ, поитъ, слѣдовательно, я долженъ работать“. Отсюда видно, что принужденіе можетъ дѣйствовать даже на умъ, который можетъ быть обольщенъ, придавленъ, воспитанъ въ извѣстномъ направленіи. Стоитъ вниманія непослѣдовательность, съ какою соціалисты обыкновенно и атеисты или крайніе реалисты по крайней мѣрѣ (?). Послѣдовательно нечего возмущаться какимъ-бы то ни было рабствомъ и неравенствомъ и притязать на какую-нибудь свободу. Я запрягаю лошадь, держу ее въ неволѣ, рабочій не такая-ли-же лошадь? Или отпускай на волю лошадей со всѣмъ домашнимъ скотомъ или мирись съ положеніемъ человѣчества. Плантаторы были послѣдовательнѣе, когда однихъ негровъ выдѣляли изъ человѣчества, а бѣлой расѣ, присвоивая человѣчество, приписывали и права на свободу. Но это мимоходомъ.

Итакъ, *мои* собственно только руки, и даже только умъ, да и тотъ можетъ быть не моимъ, вслѣдствіе внѣшняго пригнетенія. Но пригнетеніе можетъ быть даже и не внѣшнимъ, но внутри человѣческаго существа происходящимъ. Іаковъ работалъ для Лавана за Рахиль; другой Іаковъ можетъ получить руку Рахили безъ посредства третьяго лица.

Въ самомъ человѣкѣ можетъ происходить отреченіе отъ себя даже до пожертвованія жизнью. Согласимся, что здѣсь тоже пригнетеніе: умъ пригнетается страстью. Но гдѣ-же тогда искать самого *я*, а отсюда и основанія для права? Человѣкъ обращается въ слагаемое или въ процессъ моментовъ, и

всякое противопоставленіе *должно* и *есть* теряется; существующее, по Гегелю, становится разумнымъ и наоборотъ. Самое понятіе о *мое* и *твое* становится несобственнымъ, иллюзіею; все ничье, все свое, все фактъ и болѣе ничего. Оставимъ борьбу за существованіе; остальное, чѣмъ потѣшается человѣчество, въ родѣ требованія справедливости, суть только прикрасы, реальнаго значенія не имѣющія.

Но странно изо всего, имѣющаго реальное бытіе, отрицать реальность за однимъ, которое несомнѣнно реально. Понятіе о справедливости *есть*, не менѣе животныхъ инстинктовъ и борьбы за существованіе; *потребность* въ немъ есть, безъ него не обходится человѣкъ, какъ безъ логики. Требованіе справедливости и есть нравственная логика; этимъ все сказано. Вычеркнуть ее невозможно, какъ нельзя вычеркнуть логику. Человѣкъ можетъ поступать и мыслить не логически, но безъ логики совсѣмъ человѣкъ не есть настоящій человѣкъ, точно также и безъ справедливости, отъ которой онъ можетъ также точно отступать какъ отъ логики. Чѣмъ-же очерчивается кругъ справедливости? Именно понятіемъ о *моемъ* и *твоемъ*, переходящимъ въ дѣйствіе.

* * *

Сила, *орудіе*, *средства* производства, *матеріалъ*.

Необходимо опознаться.

Единственная производительная сила есть *природа*. А человѣкъ? Онъ есть тоже производитель, но онъ же есть самъ созданіе природы и въ трудѣ его дѣйствуетъ та-же физическая природа. Если обратить вниманіе на различіе безцѣльнаго производства, совершаемаго природою, и цѣлесообразнаго, совершаемаго человѣкомъ, то можетъ быть признанъ дѣятелемъ *умъ* человѣческій въ противоположеніи съ природою, а не мускульный трудъ.

Итакъ, человѣкъ и природа оба дѣятели, и оба могутъ стоять въ отношеніяхъ *силы* къ *орудію*. Самъ человѣкъ, въ смыслѣ мускульной силы, есть орудіе въ рукахъ природы, которая между прочимъ вложила въ него аппетитъ, разнообразя его и

въ качествѣ и въ количествѣ, соотвѣтственно поставляемымъ ею условіямъ. Но и природа бываетъ орудіемъ, а человѣкъ силою, когда напримѣръ запирается рѣка и образуется, въ видѣ водопада, искуственная сила.

Сила, изъ матеріаловъ предложенныхъ природою составленная при ея пособіи человѣческимъ трудомъ, будетъ капиталъ. Онъ есть что, орудіе или сила? Опять, смотря по обстоятельствамъ: топоръ въ рукахъ плотника есть орудіе, прядильщикъ при машинѣ есть одно изъ орудій, которымъ она дѣйствуетъ, тогда какъ она сама есть орудіе для фабриканта или частнѣе и ближе—для директора фабрики, или еще ближе—для машиниста. Силы и орудія могутъ такимъ образомъ перепутываться, мѣняться ролями.

Средства. Что такое средства производства? Домъ, въ которомъ я живу, пища, которою питаюсь, суть средства производства, въ томъ смыслѣ, что представляютъ необходимыя условія производителя. Поле, на которомъ производится посѣвъ, помѣщеніе фабрики и каменный уголь—средства, безъ которыхъ невозможно самое производство. Въ этомъ смыслѣ и *матеріалъ* можетъ быть причисленъ къ средствамъ, ибо и пища и каменный уголь тоже матеріалъ, хотя не непосредственный. Но въ точномъ смыслѣ матеріалъ нѣчто другое. Вспомнимъ метафизику, которая отличала *causam materialem. Causa efficiens,* кто производитъ? Человѣкъ и природа, тотъ или другой, при взаимномъ содѣйствіи, въ которомъ одинъ можетъ обращаться въ орудіе другому. *Causa instrumentalis,* орудія, *чѣмъ* производитъ? Средства могутъ скорѣе подходить, потому что орудія могутъ быть прямыя, ближайшія и отдаленныя; активныя и пассивныя. Пропитаніе и каменный уголь—отдаленное орудіе; помѣщеніе—пассивное орудіе; но точнѣе назвать ихъ *средствами.* Останется *матеріалъ*, вещество непосредственно преобразуемое. Результатъ работы, правда, можетъ быть сложнымъ. На обои идетъ и краска, и бумага; матеріалы могутъ быть первостепенные и второстепенные. При посѣвѣ матеріаломъ служитъ не одно зерно, но отдаленнымъ способомъ и удобре-

ніе. Только ради этой невозможности точнаго разграниченія, матеріалъ, *causam materialem*, и можно причислить къ средствамъ, по крайней мѣрѣ второстепенные матеріалы.

* * *

Богатство, производство, потребленіе. Критика этихъ понятій у Милля. Понятіе о цѣнности, затемненное парадоксомъ Смита.

Опытъ о богатствѣ народовъ, опытъ о происхожденіи, распредѣленіи и потребленіи богатствъ, наука о матеріальномъ благосостояніи, насколько оно зависитъ отъ положеній и вещей, созданныхъ трудомъ: ни одно изъ этихъ опредѣленій не удовлетворительно, особенно послѣднее. Въ немъ прямо *petitio principii*. Благосостояніе матеріальное зависитъ отъ труда; это еще должно быть установлено въ наукѣ; а оно берется какъ готовое. Да притомъ положеніе и невѣрно: матеріальное благосостояніе лишь частію зависитъ отъ труда; природа здѣсь значитъ болѣе: благосостояніе прибрежнаго жителя южныхъ странъ иное нежели самоѣда, вслѣдствіе географическаго положенія. Затѣмъ, на благосостояніе оказываютъ вліяніе общественныя условія. Ни того, ни другого изъ условій нельзя миновать въ курсѣ политической экономіи; слѣдовательно, выдѣленіе благосостоянія, „насколько оно зависитъ отъ труда“, неосновательно ограничиваетъ предметъ.

Терминъ *богатство* основательно обвиняется въ неопредѣленности, какъ понятіе сравнительное. Однако до смысла его добраться, во всякомъ случаѣ, легче, нежели опредѣлить „благосостояніе“, которое очень условно, бывая благосостояніемъ для одного, бѣдствіемъ для другого. Можно протестовать противъ Смитовской прибавки „народовъ“. Почему не человѣчества, почему не о богатствѣ вообще? Положенія науки, постраиваемыя на требованіи *народнаго* богатства, лишаютъ науку ея безусловности, вводятъ въ ея общія положенія теоремы, относящіяся къ происхожденію богатствъ и къ богатству, а къ распредѣленію богатствъ. Прибавкою слова „народовъ“ Смитъ не же-

лаетъ отличить коллективное богатство отъ частнаго, которое подлежитъ нѣсколько инымъ условіямъ, но погрѣшилъ, остановившись на полдорогѣ, потому что коллективное богатство можетъ быть разсматриваемо, какъ общечеловѣческое, въ отношеніи къ которому народъ со своимъ богатствомъ есть такое-же частное лицо. Замѣчаніе это имѣетъ не одно формальное значеніе: ограниченіе предмета богатства неизбѣжно вводитъ положенія условныя подъ видомъ всеобщихъ. Иной вопросъ, имѣетъ-ли право на существованіе наука о богатствѣ вообще, когда ея еще нѣтъ. Но на этотъ вопросъ отвѣчать излишне: когда явленіе существуетъ, наука должна изучить его законы, и законы безусловные.

Итакъ, мы имѣемъ науку о богатствѣ, понятіе о которомъ должно быть опредѣлено и очищено отъ случайныхъ и относительныхъ представленій, которыя соединены съ нимъ въ житейскомъ быту. Выкинемъ, во-первыхъ, всякую сравнительность, отстранимъ понятіе о степени. Въ житейскомъ быту это понятіе дѣйствительно остается субъективнымъ и притомъ относительнымъ. Мужикъ считаетъ себя богатымъ, и таковымъ его признаютъ, когда у него амбары полны хлѣбомъ и скота десятки головъ, но предъ Дервизомъ онъ бѣднякъ, хотя и остается „мужикомъ“ богатымъ. Дополненіе опредѣленія словомъ „мужикъ“ показываетъ, что въ общемъ словоупотребленіи богатство признается явленіемъ относительнымъ, по мѣрѣ общественнаго положенія извѣстной особи. Наука, само собою, должна устранить это ограниченіе, искать въ богатствѣ признаковъ независимыхъ отъ случайныхъ признаковъ, каково общественное положеніе лица или его общественное довольство и недовольство, собственное сознаніе себя богатымъ или бѣднымъ. Нужно поискать всеобщихъ безусловныхъ признаковъ богатства, независимыхъ отъ личной оцѣнки и равнодушныхъ къ степени явленія. Существуютъ-ли такіе признаки? Ихъ отыскать нетрудно, хотя-бы идя тѣми-же сравненіями степеней богатства. Дервизъ богаче богатаго крестьянскаго богача, въ этомъ согласится каждый, и сами Дервизъ и крестьянинъ. Крестьянинъ, у

котораго есть запасъ хлѣба и скота, богаче того, у котораго нѣтъ запаса, ни скотины, а одинъ дворъ; но онъ если не богатъ, по просту прямо бѣденъ, то есть еще болѣе бѣдные, то есть менѣе богатые, нежели онъ, у которыхъ нѣтъ даже двора. Есть люди, о которыхъ говорятъ: „совершенные бѣдняки“, далѣе чего уже нѣтъ степеней, гдѣ если не богатство, то противоположность его, бѣдность, является уже безусловною, а въ этомъ смыслѣ, какъ противоположность, она служитъ къ опредѣленію, въ его безусловности, и богатства. Что такое „совершенный бѣднякъ?“ Тотъ, кто ничего не имѣетъ. Имущество есть первый признакъ богатства, но именно только первый. При дальнѣйшемъ разборѣ само имущество дастъ спросить о себѣ, что̀ оно такое, ограничивается-ли внѣшними вещами, имѣющимися въ моемъ распоряженіи, или охватываетъ что-либо другое. Я не имѣю ничего, кромѣ носильнаго платья, но я еще не бѣднякъ, потому что имѣю руки и голову, и поистинѣ богаче крестьянина, хотя у него полонъ амбаръ хлѣба. Но во всякомъ случаѣ имущество есть твердый признакъ, и притомъ всеобщій и объективный. Въ томъ смыслѣ, въ какомъ разсуждаетъ наука о богатствѣ народовъ, она разсуждаетъ о ихъ имуществѣ, и ни о чемъ другомъ, спрашиваетъ и отвѣчаетъ, откуда берется имущество, какъ оно распредѣляется и куда дѣвается. Процессъ добычи и истребленія имуществъ, законъ, которому онъ подлежитъ, условія, подъ которыми онъ развивается, вотъ ея задача. Понятіе о благосостояніи здѣсь должно быть отложено въ сторону; должно быть отстранено понятіе о самомъ человѣкѣ, о единичной и коллективной его личности. Богатство имѣетъ право быть разсматриваемо само въ себѣ; отношеніе его къ субъективнымъ ощущеніямъ богачей и бѣдняковъ, видоизмѣненія, пріобрѣтаемыя имъ отъ распредѣленія между частными людьми и между народами—законный предметъ прикладной экономіи, какъ есть прикладная механика. Но прикладная механика не упраздняетъ теоретической, напротивъ, имѣетъ въ ней основаніе. Такъ и экономическая наука должна изыскать чистые законы для своихъ явленій, которыя суть не менѣе са-

мостоятельныя явленія, какъ и механическія движенія или какъ міръ искуства и науки.

* * *

Производство и *потребленіе*. Милль и его комментаторъ связываютъ эти два момента экономической жизни вообще довольно правильно, но выводятъ примѣненія, которыя не оправдываются анализомъ явленій. И авторъ, и комментаторъ относятъ, напримѣръ, къ капиталу тѣ продукты, которые тратятся производительно, а комментаторъ еще болѣе ограничиваетъ понятіе, когда за капиталъ признаетъ только продукты, „идущіе на продовольствіе работниковъ“. Отсюда, всякая затрата, идущая не на продовольствіе работниковъ, стало быть, непроизводительна? И всякая непроизводительная затрата есть затрата чего-то другого, а не капитала? Чего-же? Сами-же мыслители употребляютъ выраженіе „капиталъ истребляется“, „уменьшается“. Стало быть, истребляемое и уменьшаемое есть всетаки капиталъ.

Опредѣливъ, что капиталъ есть только производительно употребленный запасъ, и въ частности употребленный на продовольствіе работниковъ, естественно придти къ выводу, что продовольствіе работниковъ и производительность тожественны. Такъ и поступаютъ оба мыслителя. Немного нужно внимательности, чтобъ увидѣть натяжку, смѣшеніе понятій. Если послушать Чернышевскаго, то каждый лишній стаканъ вина и кусокъ хлѣба, доставшійся рабочему, уже увеличиваетъ производство. Да развѣ это такъ? Развѣ человѣкъ механизмъ? Развѣ потребности не эластичны? И развѣ сумма продовольствія не можетъ измѣняться, по времени и мѣсту, оставляя производительность въ старомъ объемѣ? Вотъ тысяча, милліонъ пахарей. Завтра имъ дадимъ по полуфунту лишняго хлѣба. Эта прибавка пищи увеличитъ-ли жатву на то же количество? Понятно, увеличеніе продуктовъ произойдетъ, если эти полмилліона фунтовъ будутъ истрачены въ видѣ заработной платы другимъ рабочимъ, положимъ, до вчерашняго дня незанимавшимся пахотой. Но

такъ-ли непремѣнно? Можетъ постигнуть неурожай. Можетъ самъ рабочій наработать не въ мѣру полученнаго продовольствія. За то и съ другой стороны, могутъ, при неизмѣнившейся суммѣ продовольствія, наработать болѣе вчерашняго. Словомъ, производство и продовольствіе работника стоятъ въ зависимости одно отъ другого, но не въ такой тѣсной, чтобы ихъ отожествлять. Разберемъ, какъ смотрятъ понятія сами въ себѣ.

Продовольствіе работниковъ есть одинъ изъ видовъ потребленія. Откинемъ на минуту представленіе о существующемъ распредѣленіи богатствъ и о существованіи класса нетрудящихся. Всѣ трудятся и всѣ производятъ. Вообразимъ себѣ хотя такую общину. Итакъ, они трудятся и производятъ, короче производятъ просто, потому что производствомъ трудъ предполагается. Производятъ они, вмѣстѣ и потребляютъ. Одно безъ другого не существуетъ. Въ чемъ-же состоитъ связь?

Во-первыхъ, неосновательно признавать за чѣмъ нибудь первенство. Говорятъ: производство продуктовъ будущаго года совершается посредствомъ запасовъ отъ прошлаго. Вовсе не такъ, по крайней мѣрѣ не безусловно такъ. Я живу на островѣ Фиджи или въ лѣсу Канады; срываю кокосъ или убиваю тетерева, кушаю и ложусь спать, покрывъ себя листьями, сейчасъ нарванными. Встаю и повторяю то же. Въ какомъ смыслѣ приложима ко мнѣ приведенная теорема? А между тѣмъ все содержаніе трудящихся, за исключеніемъ продовольствія въ очень ограниченномъ смыслѣ хлѣба, именно таково. Тутъ нѣтъ прошлаго и будущаго года, а есть прошлая минута или секунда, и даже менѣе того, если говорить о цѣломъ народѣ или человѣчествѣ. Безъ пропитанія человѣкъ не можетъ жить, и однако докторъ Таннеръ постился сорокъ дней, и въ это время, вѣроятно, успѣлъ-бы, если-бы захотѣлъ, связать хоть пару чулокъ, то есть провести время производительно. Питаніе не есть процессъ, отъ котораго послѣ вчерашняго обѣда ничего на завтра не остается; питаніе продолжается всю жизнь, и сорокалѣтнія мышцы суть результатъ не вчерашняго дня и не прошлаго года, а всей жизни отъ рожденія. Слѣдовательно, нечего говорить о про-

довольствіи работниковъ, какъ средствѣ производства, и притомъ единственномъ, но будемъ говорить о производствѣ и потребленіи вообще. Работникъ продовольствуетъ себя не съ тѣмъ, чтобы производить, а чтобы удовлетворить свой аппетитъ; это первое. Онъ потребляетъ; самое производство есть средство для потребленія, а не наоборотъ; хотя становясь на сторону того, кто даетъ продовольствіе рабочему, оно будетъ средствомъ производства.

* * *

Понятія точнѣе всего опредѣлятся противоположеніями.

Производство и *потребленіе*, это есть точное противоположеніе. *Потребленіе* есть разрушеніе производства, точнѣе—разрушеніе *издѣлія* какъ такового, обращеніе его въ вещество природы (которое, конечно, можетъ служить и *матеріаломъ*).

Трудъ и *капиталъ* не противоположны, напротивъ, однородны и связаны. *Трудъ*, въ смыслѣ *рабочихъ рукъ*, есть первая степень капитала. Трудъ, какъ самое дѣйствіе, есть приложеніе *капитала* къ *матеріалу*.

Итакъ, точное противоположеніе: *капиталъ* и *матеріалъ*, активный и пассивный, мужескій и женскій элементъ производства, результатомъ котораго является полезная цѣнность, какъ выражаются, но точнѣе—просто *издѣліе*. Издѣліе есть матеріалъ, преобразованный трудомъ, то есть приложеніемъ капитала.

Издѣліе отъ вещества природы отличается тѣмъ, что оно состоялось по намѣренію человѣка, для его цѣлей и его распоряженія, тогда какъ простое вещество есть дѣло случая, управляемаго безъ вмѣшательства людей.

Итакъ, противоположеніе—сила *человѣческая* и сила *природы*.

Человѣкъ есть самъ созданіе природы и силы его такія-же физическія, какъ и ея. Слѣдовательно, противополагается человѣческая *воля* физической *силѣ*, *умъ* человѣческій *закону* природы.

Различимъ *добычу* отъ *издѣлія*, просто взять или *создать*. Издѣліе предполагаетъ новый видъ вещи и трудъ, которымъ новый видъ достигнутъ.

Изъ ничего человѣкъ не можетъ создавать; онъ ограниченъ *матеріаломъ* и *орудіями*. Въ этомъ смыслѣ трудъ и есть только покоритель природы, а не создатель, и производство отличается отъ творчества и состоитъ въ преобразованіи, только перемѣщаетъ (частицы и цѣлыя тѣла).

* * *

Не менѣе понятія о трудѣ и капиталѣ требуетъ разъясненія понятіе о цѣнности, которое затемнено парадоксомъ Смита, что единственнымъ основаніемъ цѣнности служитъ трудъ. Это не только не единственное основаніе, но даже не главное и даже не основаніе. Между тѣмъ на этомъ понятіи о цѣнѣ зиждется вся соціалистическая теорія. Смиту извинительно увлечься въ опредѣленіи, потому что онъ все сводитъ къ труду; но безпристрастный взоръ можетъ замѣтить коренное заблужденіе, заключающееся въ томъ, что въ цѣнности проглядывается существенный элементъ, *психологическій*. Цѣнность собственно и вноситъ этотъ элементъ въ экономическій процессъ, который черезъ нее перестаетъ быть чисто *физическимъ*. Пойдемъ глубже и скажемъ, что цѣнность есть отраженіе *годности* и уже въ годности лежитъ зародышъ психическаго элемента. Годность есть второй моментъ въ опредѣленіи экономическихъ явленій, первый моментъ которыхъ есть трудъ, вторая сторона дѣла, безъ которой первая теряетъ смыслъ. Цѣлый годъ я буду дѣлать кораблики изъ бумажки, которые никому не нужны, потрачу много труда, и они никому не будутъ нужны,—процессъ вовсе не экономическій, не смотря на трудъ: моимъ издѣліямъ не достаетъ годности. А годность—явленіе съ одной стороны реальное, съ другой мнимое. Кринолинъ и накладная коса въ сущности вовсе не годны, но имѣютъ цѣнность. Годность опредѣляется потребностью, какъ ее сознаетъ лицо: вотъ это и есть психическая сторона дѣла.

Сейчасъ сказано, что трудъ есть не только не единственное и не главное, но даже вовсе не основаніе цѣнности. Въ палящій зной арабъ стоитъ подъ пальмою въ тѣни; мѣста

хватаетъ только для одного. Подходитъ другой, изнемогающій отъ зноя; собравъ всѣ силы, онъ убьетъ затѣненнаго счастливца. Но нѣтъ, у него въ карманѣ есть деньги, съ нимъ лошадь, дорогая лошадь, которую онъ любилъ больше всего. Онъ предлагаетъ счастливцу деньги, предлагаетъ лошадь, составляется экономическая сдѣлка: первый изъ воспользовавшихся тѣнью дерева беретъ лошадь и уѣзжаетъ. Онъ взялъ деньги и лошадь за *мѣсто*, къ которому онъ не приложилъ труда, кромѣ того что сталъ на него. Правда, и это было уже движеніе, мускулы работали, но отожествлять это движеніе съ трудомъ въ экономическомъ смыслѣ будетъ натяжкою непростительною; всякое насиліе тогда будетъ трудъ, все зданіе политической экономіи тогда переворачивается къ верху дномъ, и бароны-завоеватели окажутся производителями и законнѣйшими обладателями. Слѣдовательно, трудъ не есть основаніе цѣнности, не бываетъ непремѣннымъ условіемъ ея, хотя можетъ и долженъ быть ея предметомъ, а слѣдовательно, не обосновываетъ и цѣны, по крайней мѣрѣ не обосновываетъ одинъ.

Цѣна что-же такое? Цѣна есть реальное выраженіе цѣнности, какъ свойства, присущаго вещи или явленію, но не явившагося. Цѣна возникаетъ изъ экономическаго сравненія вещей или явленій, имѣющихъ цѣнность, то-есть годность, опредѣляемую личнымъ сознаніемъ потребностей. Для того, чтобы сравненіе *явилось*, необходимы другая вещь или явленіе, съ которыми-бы сравнивать. Пока вторая вещь или явленіе не показались, первая имѣетъ цѣнность, предполагаемую на основаніи предполагаемой-же ея годности, но кому она, насколько нужна среди другихъ экономическихъ вещей или явленій, это не раскрылось. Чтобы не запутываться существующими соціальными отношеніями, возьмемъ Робинзона, къ которому обращается Дюрингъ, но Робинзона не на Тихомъ, а на Ледовитомъ океанѣ. Робинзонъ и голоденъ и холоденъ, но голоденъ онъ отчасти, а холодъ чувствуетъ смертельно. Кусокъ рыбы передъ нимъ и шкура бѣлаго медвѣдя, мясо котораго склевано, но вотъ есть опасность, что и шерсть растащатъ. Опасность и тому и

другому предмету продовольствія. Трудъ дойти до шкуры и до куска одинаковъ. Робинзонъ предпочитаетъ шкуру: онъ производитъ мысленно сравненіе, спрашивая потребности своего организма, и еслибы владѣтелемъ шкуры оказался второй Робинзонъ, ему предложилъ-бы первый не одинъ, а два куска, и даже всѣ какіе у него есть, въ надеждѣ достать кормъ, тогда какъ шкуры другой не имѣется. *Въ данное время, при данныхъ обстоятельствахъ, шкура безконечно дороже куска.* Да, безконечно. Смерть предстоитъ отъ холода и отъ голода, но голодная отсрочивается, а холодная неминуема.

Вступаетъ на вѣсы факторъ, который не имѣетъ цѣны, напротивъ, который и порождаетъ цѣну и цѣнность, который даетъ имъ бытіе,—человѣческая жизнь, потребность самосохраненія. Борьба за существованіе есть законъ не менѣе основной въ экономической жизни, чѣмъ въ естественно-исторической; соціалисты справедливо на него ссылаются, хотя онъ ведетъ совсѣмъ къ другимъ, вовсе нелюбезнымъ для нихъ выводамъ. Въ данномъ случаѣ одна вещь безконечно цѣннѣе другой, потому что вопросъ идетъ о жизни. Шкура остается безконечно цѣнною и безъ куска, опять потому-же. Но представимъ и обратный случай. У обоихъ Робинзоновъ, перенесенныхъ уже съ Ледовитаго на Тихій океанъ, и пищи и одежды вдоволь; въ послѣдней впрочемъ они вовсе не имѣютъ нужды, тепло и безъ того, а чтобы покушать, имъ достаточно протянуть руку къ банану. Ни одежда, ни пища не имѣютъ никакой цѣны, но уже въ обратномъ смыслѣ, потому что онѣ безконечно даны, безконечно готовы, тогда какъ шкура Ледовитаго океана, если такъ выразиться, безконечно конечна, ограничена единственнымъ кускомъ, тогда какъ на ставкѣ безконечно цѣнный предметъ—жизнь. И тамъ и здѣсь жизнь является первымъ и послѣднимъ факторомъ; она и остается во всѣхъ дальнѣйшихъ осложненіяхъ потребностей и условливаемыхъ ими цѣнъ. Въ обоихъ упомянутыхъ случаяхъ жизнь является въ своемъ непосредственномъ грубомъ понятіи, но чѣмъ далѣе, тѣмъ понятіе болѣе разнообразится и утончается. Жизнь получаетъ опредѣленіе не од-

ного избавленія отъ смерти, но отъ неудобствъ, непріятностей, скуки наконецъ; въ итогѣ всетаки это есть потребность жизни, опредѣляемая уже личнымъ сознаніемъ, личнымъ привольемъ.

Пища и одежда не имѣютъ на Тихомъ океанѣ цѣны, потому что онѣ даны, и достать ихъ нѣтъ затрудненія, не требуется напряженія. Здѣсь не указаніе-ли на трудъ? Несомнѣнно, потому что трудъ есть безспорный экономическій факторъ. Но вопросъ не о томъ, входитъ-ли трудъ въ число элементовъ цѣны, а въ томъ, служитъ-ли онъ ей основаніемъ. Цѣна дается прежде труда измѣреніемъ одной потребности. Шкура и кусокъ рыбы лежатъ передъ глазами, и притомъ на одинаковомъ разстояніи; еще не тронулась рука, чтобы достать то или другое, а онѣ уже имѣютъ цѣнность, каждая сама по себѣ и цѣну въ сравненіи одна съ другой; цѣна ихъ съ каждой минутой даже возрастаетъ одной, упадаетъ другой, по мѣрѣ чувства холода. Но вотъ замерзъ Робинзонъ, не успѣвъ окутаться; остается пустынный островъ; черезъ часъ растащатъ птицы шкуру, расклюютъ мясо. Цѣнность внезапно прекращается съ прекращеніемъ своего основанія, которое было чувство холода и голода; прекращается съ прекращеніемъ рынка. Совершенно то же продолжается во всѣхъ общественныхъ явленіяхъ, гдѣ рынокъ уже не совмѣщается въ одномъ лицѣ. На томъ-же островѣ Ледовитаго океана валяются самородки золота,— какое богатство, какая ихъ огромная цѣнность! Нѣтъ, это и не богатство и даже не цѣнность. Они—цѣнность, если смотрѣть на нихъ съ луны, безучастнымъ взоромъ, отвлеченно. Они—не цѣнность и въ богатствѣ не имѣютъ ровно никакого значенія, потому что не падалъ еще взоръ ни одного земного обитателя, и ни одинъ земной обитатель не присвоилъ его себѣ. Цѣнность ихъ начинается лишь съ минуты присвоенія, первоначально оставаясь однако предполагаемою, доколѣ присвоеніе не переходитъ въ обладаніе. Для обладанія нуженъ еще бываетъ трудъ, для присвоенія никогда.

Парадоксъ о поглощающемъ значеніи труда при опредѣленіи цѣны коренится на неразличеніи существенныхъ понятій, о которыхъ сейчасъ сказано, присвоеніи, обладаніи и трудѣ, или

короче—въ неясномъ понятіи о трудѣ. И присвоить вещь пожалуй тоже трудъ и захватить ее. Но тогда отказывайтесь отъ всѣхъ экономическихъ законовъ, отъ человѣческаго въ экономической сферѣ. Трудъ въ смыслѣ экономическаго фактора есть нѣчто другое, не одно движеніе мускуловъ. Тигръ, подстерегающій теленка и бросающійся на него, двигаетъ мускулами и напрягаетъ ихъ. Это простой обмѣнъ матеріи, съ равнодѣйствующими силами; качественно и теленокъ, и тигръ, и сѣроводородъ, который отдѣлится отъ тигра, когда тотъ околѣетъ, равны. Процессъ физическій, но не экономическій; экономическій начинается съ момента, когда физическое напряженіе перестаетъ быть непосредственнымъ орудіемъ непосредственнаго потребленія и переходитъ въ орудіе производства. Садясь за столъ, протягиваю руку къ хлѣбу, беру ложку, окунаю ее въ супъ, подвожу ко рту и обратно,—это не есть трудъ въ экономическомъ смыслѣ, хотя состоитъ въ движеніи и напряженіи мышцъ. Въ этомъ смыслѣ справедливѣе въ самомъ процессѣ производства дать первое мѣсто капиталу, а не труду; трудъ есть приложеніе капитала къ матеріалу (а не обратно, какъ обыкновенно толкуютъ). Капиталомъ являются первоначально не болѣе какъ руки или ноги, но всетаки ихъ существованіе дано прежде труда, который есть уже отношеніе данныхъ капитала и матеріала. Во всякомъ случаѣ, что касается цѣны, ни трудъ, ни капиталъ не служатъ ей основаніемъ, хотя и входятъ въ нее какъ элементы. Опредѣленіе ея лежитъ не въ производствѣ, а въ потребленіи: интенсивность потребительскаго аппетита устанавливаетъ то, что̀ мы называемъ цѣною.

Ясно, что изложенныя сейчасъ отношенія въ развитой экономической жизни получаютъ видъ „предложенія“ и „спроса“, и что цѣну опредѣляетъ спросъ, именно спросъ, даже не отношеніе его къ предложенію. Спросъ даетъ вещи цѣнность, которой безъ него она лишена. Цѣна—какъ сравненіе цѣнностей, по мѣрѣ увеличенія его экстенсивнаго или интенсивнаго, и интенсивность болѣе имѣетъ значенія, нежели внѣшнее

количество, численность, хотя въ житейскомъ быту, общественныхъ отношеніяхъ, гдѣ является на рынкѣ спросъ въ коллективномъ видѣ, то и другое количество уравниваются; интенсивность равнозначительна экстенсивности. Тѣмъ болѣе, что и предложеніе является также въ коллективномъ, а не индивидуальномъ видѣ. Равновѣсію помогаетъ особенно, что сила желанія, условливающая напряженіе, способна къ растяжимости, и по психологическому закону, вступающему здѣсь въ силу, желаніе экстенсивнымъ расширеніемъ ослабляется въ своемъ напряженіи. Законъ моды служитъ этому явленію замѣчательнымъ объясненіемъ. Психическій элементъ заслуживаетъ вообще бо̀льшаго вниманія въ политической экономіи, нежели ему оказываютъ, управляя цѣлою половиною экономическихъ отношеній.

Какъ-бы то ни было, цѣну опредѣляетъ спросъ, и, къ сожалѣнію, спросъ находится поэтому въ господствующемъ отношеніи къ труду, а трудъ въ подчиненномъ, коль скоро идетъ дѣло о реальномъ трудѣ, уже явившемся въ издѣліи. Спросъ властенъ всегда взять себя назадъ, даже если-бы угрожала опасность дѣйствительной голодной или холодной смерти; нравственная возможность пусть исчезаетъ, но физическая остается. Но трудъ лишенъ власти взять назадъ потраченный процессъ. Стоитъ, потупивъ голову, ремесленникъ, который принесъ мнѣ шкатулку въ надеждѣ, что я ее пріобрѣту. Не нужно ея мнѣ, и столяру остается надежда, не пріобрѣтетъ-ли другой, но за другимъ остается та же физическая способность отказаться. А трудъ уже потраченъ, его воротить и привести шкатулку въ первобытное состояніе матеріала значитъ все равно погубить трудъ. Вотъ почему и соціалистъ обезпокоивается возможнымъ несоотвѣтствіемъ предложенія со спросомъ и придумываетъ статистистическія бюро, которыя-бы опредѣлили заранѣе уравнительное отношеніе. Капля смысла, которая еще сохраняется въ этомъ, по сущности, химерическомъ предположеніи, заключается въ предоставленіи обмѣну исключительной формы *заказа*. При этой формѣ потребитель и производитель, спросъ

и предложеніе становятся дѣйствительно на равную ногу. Но согласимся на минуту, что подобное преобразованіе возможно. Помимо всего, оно внесетъ китаизмъ, пріостановитъ всякій прогрессъ, и попросту разрушитъ экономическія отношенія, обративъ ихъ въ неизмѣнно физическія и механическія. Сущность новаго положенія заключалась-бы въ томъ, что исполненіе и изобрѣтеніе будутъ разлучены безвозвратно; генію и таланту нѣтъ мѣста; работай по готовому шаблону, который однако не способенъ передать души, идеи изобрѣтенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ и личные вкусы исчезнутъ; каждое ихъ проявленіе будетъ встрѣчать сначала препятствіе въ неисполнимости, затѣмъ заглохнетъ навсегда, предоставляя человѣчеству въ перспективѣ повальный идіотизмъ.

Отсюда не слѣдуетъ однако, чтобы существующее отношеніе между спросомъ и предложеніемъ и неизбѣжное угнетеніе труда было справедливо. Только вопросъ долженъ быть иначе поставленъ. Вѣрно, что трудъ не получаетъ полнаго вознагражденія, чего онъ стоитъ, но не капиталъ его обсчитываетъ, а въ концѣ концовъ — потребитель, и обсчитывается не одинъ трудъ, а съ нимъ вмѣстѣ капиталъ, въ качествѣ производителя. Обсчитывается производитель вообще. Онъ долженъ обсчитываться и не можетъ не обсчитываться по упомянутому выше закону эластичности спроса, или, общѣе сказать — потребленія. Безчисленныя житейскія осложненія затемняютъ этотъ законъ, но нужно умѣть отыскивать его въ чистомъ видѣ.

Дикою, вопіющею нелѣпостью покажется, напримѣръ, чтобъ въ Англіи населеніе въ качествѣ потребителя угнетало ландлордовъ въ ихъ общемъ качествѣ производителей. Но не упустимъ изъ вида подпорки, которыми обставило себя въ Англіи земледѣліе монополіею поземельной собственности, а прежде и таможенными законами. Не упустимъ изъ вида скученности населенія. А все это, по нашему опредѣленію, относится къ прикладной уже экономіи, а не къ чистой; обстоятельства случайныя, а не вѣчныя. Посмотрѣть съ точки зрѣнія чистаго экономическаго закона, безчеловѣчная привилегія англійскаго

землевладѣнія окажется оградою, которую устроилъ себѣ производитель противъ потребителя, который одновременно грозитъ ему двумя опасностями: или сожрать даромъ все, что произведено, или-же даромъ проработать. Весь исторически-экономическій процессъ всего человѣчества не иное что есть, какъ самоограждение производителя отъ потребителя, борьба человѣчества противъ самого себя, человѣчества производящаго противъ человѣчества пожирающаго.

Отсюда и капиталъ—рогатка противъ случайности природы съ одной стороны и противъ алчности человѣчества съ другой. Отсюда производится всегда больше, нежели потребляется; отсюда и убытки вообще для производителя и въ частности тѣмъ большіе, чѣмъ непосредственнѣе агентъ производства стоитъ къ производству: слѣдовательно, послѣдній рабочій теряетъ въ опредѣленномъ случаѣ болѣе, нежели предприниматель, но за то въ другихъ случаяхъ предприниматель теряетъ уже все рѣшительно, тогда какъ рабочій спасъ по крайней мѣрѣ свое прокормленіе. Всѣ эти явленія однако принадлежатъ уже прикладной экономіи. Здѣсь достаточно остановиться на опредѣленіи, что цѣна диктуется спросомъ, если только существуютъ экономическія отношенія.

Варвары бросились на Римскую имперію, все пожрали и разрушили; это не экономическое отношеніе, это бѣдствіе, равносильное урагану, разрушеніе экономической жизни. Но ураганъ пронесся, производитель начинаетъ оживать, поправляется; начинается обмѣнъ и цѣна. Цѣною обмѣнъ предполагается. Но если обмѣнъ, скажутъ, то предложеніе и спросъ одинаково суть производители и потребители? Вѣрно, и каждый изъ нихъ несетъ потерю въ качествѣ производителя и выигрываетъ въ качествѣ потребителя, а въ концѣ выигрываетъ въ качествѣ того-же потребителя все человѣчество, потому что какъ производитель оно производитъ болѣе, нежели потребляетъ, и нескончаемо себя обсчитываетъ, а обсчитывая, обогащается. Въ этомъ все таинство соціальнаго прогресса.

Но нельзя-ли приложить Смитовскаго опредѣленія къ цѣнѣ внутренней, независимой отъ рынка? Она зависѣла-бы отъ

сравненія количествъ труда, потраченныхъ на ту и другую вещь. Предположеніе прежде всего само въ себѣ нелѣпо. Оно есть предположеніе о кисломъ или прѣсномъ звукѣ. Экономическія вещи сравниваются только по ихъ годности, которая неравнозначительна труду. Можно сравнивать паровую машину съ лошадью, и два издѣлія можно сравнивать съ этой механической стороны, но она не будетъ экономическая. Но допустимъ задачу поворотить экономическія отношенія на математическій путь. Разрѣшима-ли она? Такъ-же неразрѣшима, какъ живой организмъ не даетъ себя учесть механически. Придется прежде всего отказаться отъ качества и ограничиться однимъ количествомъ. Согласимся на минуту, что качество и есть тоже количество, предполагаетъ его, но гдѣ-же у насъ руководство къ уравненію, во сколько дороже цѣнить вещь изящную въ сравненіи съ грубою, сработанною въ то-же время? Но выводъ качества изъ количества есть во всякомъ случаѣ натяжка. Мы не будемъ знать, что дѣлать съ талантомъ и геніемъ, не будемъ знать, что дѣлать съ тонкимъ вкусомъ, какъ оцѣнить французскую шляпу въ сравненіи съ нѣмецкою, вообще съ тою печатью личнаго и народнаго эстетическаго вкуса, которая ложится на вещь. А всѣ произведенія ума и рѣшительно выйдутъ изъ подъ мѣрки. Мѣрка не приложима, если даже ограничиться мускульнымъ трудомъ. Относительная крѣпость и слабость мускуловъ, неравная способность къ утомленію, неодинаковое прилежаніе отъ роду и случайное, неодинаковое расположеніе духа у того-же индивидуума въ разныя времена, неодинаковый темпераментъ у разныхъ индивидуумовъ,—все это безконечно разнообразитъ даже количественное отношеніе мускуловъ къ работѣ и поставляетъ непреодолимыя препятствія къ справедливой и безобидной оцѣнкѣ, хотя, увы, неутѣшительно уже то, чтобъ всю работу человѣчества свести на мускулы. Среднее рабочее время, предполагаемое Марксомъ, есть только измышленіе, да если-бы удалось какъ-нибудь его опредѣлить, сколько за нимъ еще остается разнообразія, не поддающагося уравнительности, ведущаго непремѣнно къ мнимой или дѣйствитель-

ной обидѣ и несправедливости. Въ томъ-то и дѣло, что погоня за справедливостью совершается въ мірѣ, который собственно не знаетъ ея по существу. И математикѣ и физикѣ справедливость и обида чужды: это понятія другого порядка. Искать справедливости математическаго времени и матеріальнаго напряженія еще болѣе несообразно, нежели квадратуры круга. Зачеркнувъ чувства и желанія въ человѣкѣ, измѣряйте трудъ какимъ угодно динамометромъ и по немъ расцѣнивайте произведеніе; расцѣнка будетъ вѣрною, но справедливою и безобидною не будетъ. Ищите справедливости и безобидности, не отнимая у человѣка ни чувствъ, ни желаній, обратитесь къ другому инструменту, если таковой есть. Но его-то и нѣтъ; и то самое недостижимо въ томъ мірѣ, гдѣ ищете.

Справедливость, безобидность — явленія міра нравственнаго, математическими вѣсами неопредѣлимы и математическими пріемами недостижимы.

* * *

Стоимость, цѣна, цѣнность. Капиталъ есть *запасъ силъ. Запасъ и припасъ. Экономическій* процессъ *самъ въ себѣ* и съ точки зрѣнія *этической.*

Свобода, независимость и власть (экономическія). Попробую опредѣлить термины, и притомъ не стѣсняясь рутиной политико-экономическихъ учебниковъ, какого-бы ни было лагеря.

Стоимость, цѣна, цѣнность.

Стоимость, — значеніе генетическое, *цѣнность* — телеологическое. Изъ сколькой массы труда или изъ сколькихъ его моментовъ составилась вещь, принявшая форму *издѣлія?* Это есть *стоимость,* воплощенный трудъ, какъ справедливо опредѣляетъ Марксъ. Но *издѣліе* къ чему нибудь годно или нѣтъ?—Этимъ опредѣляется его *цѣнность,* которая безразлична къ *стоимости;* стоимость можетъ быть велика и цѣнность ничтожна и наоборотъ. Если стоимость имѣетъ за собою такъ называемое *производство,* то цѣнность опредѣляется *потребленіемъ.* Большая или меньшая потребимость опредѣляетъ большую или меньшую *цѣнность,* которая спадаетъ въ безцѣнность,

и притомъ въ противоположныхъ смыслахъ, именно выше всякой цѣны и ниже всякой цѣны. А что такое сама *цѣна?* Уравненіе стоимости съ цѣнностью, не отвѣчающее ни той, ни другой: стоимость умѣряется цѣнностью, цѣнность стоимостью, но болѣе находящееся подъ вліяніемъ цѣнности, то есть запроса. Стоимость играетъ роль почти единственно въ той мѣрѣ, въ какой она сама есть цѣнность; рабочій самъ есть потребитель, пусть другой вещи, а не своего издѣлія, и потому издѣліе, если не абсолютно лишено годности (въ такомъ случаѣ оно не экономическое), все еще сохраняетъ цѣнность настолько, чтобъ не умереть производителю съ голода.

Политико-экономическая рутина лишена одного термина, который однако неизбѣженъ для различенія понятій. Я называю *издѣліемъ* продуктъ труда; (общеупотребительное названіе *продуктъ* неопредѣленно, *издѣліе* точнѣе.). Издѣліемъ вещь имѣетъ право называться, пока имѣется въ виду исключительно ея происхожденіе, то есть трудъ; экономическое качество издѣлія есть стоимость. Чтобы перейти къ потребителю и прежде чѣмъ перейти, издѣліе должно имѣть *цѣнность*, опредѣляемую потребимостью; указателемъ цѣнности служитъ *цѣна.* Цѣна есть уравненіе: оно предполагаетъ сравненіе, которое однозначительно съ *мѣною* и вытекаетъ изъ нея. *Мѣна* оказывается равнозначительнымъ членомъ съ *производствомъ* и *потребленіемъ* и относится къ *цѣнѣ,* какъ производство къ издѣлію, потребленіе къ цѣнности. Къ моменту *мѣны издѣліе,* не переставая тѣмъ быть, чѣмъ оно есть, пріобрѣтаетъ новое опредѣленіе — *товара:* товаръ для мѣны есть то-же, что издѣліе для производства. А какое-же качество, какое наименованіе получаетъ *издѣліе-товаръ* въ моментъ, когда его роль товара кончилась, и онъ остается единственно предметомъ потребленія, *издѣліе-товаръ* предъ потребителемъ? Вотъ этого-то термина и не достаетъ. Наука оборачивается однимъ названіемъ *продуктъ,* который, какъ замѣчено выше, неопредѣленъ, лишенъ той точности, какая заключается, напримѣръ, въ понятіи *товара.* Я буду употреблять слово *припасъ;* припасъ будетъ товаръ, до-

шедшій до потребителя, вышедшій изъ рынка, переставшій быть товаромъ. Русскій языкъ даетъ счастливую возможность отличить *издѣліе-товаръ*, какъ *припасъ* отъ *запаса*.

Послѣдній терминъ будетъ имѣть важное значеніе при опредѣленіи понятія о *капиталѣ*. *Запасъ* будетъ непотребленный *припасъ*, и непотребленный въ двоякомъ смыслѣ: или онъ готовится быть потребленнымъ или остается отъ потребленія. Само собою разумѣется, оба эти опредѣленія сходятся: сбереженный припасъ готовится къ потребленію и готовящійся къ потребленію есть сбереженный. Но важно, на которой сторонѣ перевѣсъ, которое изъ значеній опредѣляетъ дальнѣйшую судьбу потребимаго-сбереженнаго. Гдѣ первое назначеніе припаса быть сбереженнымъ, а не потребленнымъ, тамъ онъ есть *капиталъ*. Капиталъ есть припасъ на степени запаса, не предназначенный къ непосредственному потребленію.

Это одна изъ сторонъ капитала, одна изъ составныхъ его частей: сбереженное издѣліе, или, что все равно, сбереженный трудъ. Съ этой стороны, и эта составная часть капитала имѣетъ страховое назначеніе — выравнивать случайные излишки и недостатки производства. Но есть другая сторона, гдѣ сбереженнымъ является не издѣліе и не трудъ, а *силы* экономическія. Въ теперешней борьбѣ экономической собственно это значеніе капитала и эксплуатируется изслѣдователями, которые отожествляютъ *капиталъ* со *средствами производства*. Но средство производства — не точное выраженіе. Въ своемъ значеніи капитала, капиталъ есть не средство производства, а *сила* производства, сбереженная, понятно. Логически средство не тожественно съ силою. Какая сила дѣйствуетъ въ производствѣ? 1) Природа, то есть ея законы; 2) человѣкъ, то-есть его мускулы и нервы; 3) сочетаніе того и другого,—мускулы, но не человѣческіе, а природы,—рычаги и паръ: природа, но не по слѣпымъ законамъ дѣйствующая, а по предустановленному плану человѣка съ искуственно подставленнымъ ей матеріаломъ и орудіями: свѣтъ, электричество, влага, тяжесть, какъ орудія, восполняющія и замѣняющія нервы и мускулы человѣческаго

мяса. Это есть *капиталъ*, одна изъ *силъ* производства. Въ этомъ смыслѣ капиталъ отчасти параллеленъ поземельной собственности; въ точности, если говорить, напримѣръ, о фабричной промышленности, поземельной собственности,—параллельно *помѣщеніе*, а машины—свѣту, влагѣ, электричеству, дѣйствующимъ на произрастенія.

Не забудемъ, что капиталъ есть сбереженная сила, запасъ силъ. Запасъ этотъ произведенъ, конечно, на счетъ того-же труда, и въ этомъ смыслѣ опять есть сбереженный трудъ и сбереженное издѣліе, но издѣліе, назначенное не къ потребленію, а, напротивъ, къ производству, какъ пособникъ недостаточнаго человѣческаго труда. Капиталъ въ этомъ смыслѣ принадлежитъ не одной промышленности, но и земледѣлію (само собою разумѣется—и торговлѣ, но торговля не производитель, а только мѣновщикъ).

Прудъ, устроенный для орошенія или для гидравлическаго дѣятеля, есть запасъ силы, искуственно сбереженный,—капиталъ; навозъ, положенный въ землю—такой-же капиталъ. Углубляясь дальше, мы найдемъ, что и естественный черноземъ есть капиталъ, потому что онъ есть запасъ силы, съ тою только разницею, что не трудомъ человѣческимъ накопленъ. Въ томъ-же смыслѣ капиталомъ можетъ быть названъ самый организмъ человѣка. Однимъ словомъ, если признать въ опредѣленіи капитала существеннымъ понятіе *запаса*, то подойдетъ подъ него все безразлично, и силы природы, и силы человѣка, и силы капитала въ тѣсномъ смыслѣ, тѣмъ болѣе, что если обратить вниманіе на силы природы, то капиталъ въ ней находящійся и даровой можетъ быть разсматриваемъ при настоящемъ соціальномъ положеніи, какъ результатъ труда. Черноземное имѣніе *куплено;* деньги, отданныя за него, въ дальнемъ концѣ своемъ пріобрѣтены тоже трудомъ. Въ тѣсно-экономическомъ смыслѣ, и человѣческая сила потому-же есть результатъ труда, именно воспитанія.

Можно двояко разсматривать, съ которой стороны стать: признать машины—искуственнымъ человѣкомъ, вытѣснившимъ настоящаго человѣка, и признать настоящаго человѣка—не-

совершенной и недоконченной машиной. И въ тѣсно-экономическомъ смыслѣ, разсматривая экономическій процессъ самъ въ себѣ и для себя, послѣднее объясненіе вѣрнѣе.

Но мы можемъ разсматривать экономическій процессъ, какъ существующій не самъ для себя, а для людей; такъ обыкновенно онъ и разсматривается. Да будетъ-ли это разсмотрѣніе строго-экономическое? Экономическій процессъ будетъ разсматриваться тогда съ точки зрѣнія этической; за экономическимъ процессомъ будетъ признано только значеніе средства; изученіе его будетъ отвѣчать на вопросъ не о томъ, какъ *есть*, а какъ *должно быть*, и есть-ли такъ, какъ быть должно. Такая точка зрѣнія имѣетъ свое оправданіе, но въ томъ-то и дѣло, что она не будетъ уже строго-экономическая. Да и почему напримѣръ рабочій долженъ быть содержимъ лучше, нежели рабочая лошадь или машина? Каждый долженъ быть удовлетворенъ пропорціонально, насколько требуется, чтобъ онъ годенъ былъ, какъ орудіе. На чемъ основано положеніе, что каждый рабочій имѣетъ право на весь свой заработокъ? Почему-же отказывать въ томъ-же правѣ, ну ужъ не скажемъ машинѣ, но лошади? Этотъ вопросъ способна рѣшить только нравственная философія, а безъ ея помощи утвержденіе правъ человѣка и притомъ преимущественныхъ предъ лошадью есть неосновательное утвержденіе, предразсудокъ.

Каждый человѣкъ имѣетъ *право*... ну, на что бы то ни было. Въ *правѣ* заключается отрицаніе факта, по крайней мѣрѣ оно равнодушно къ нему. Я пролетарій, но имѣю право на землю; у меня есть земля, и я на нее имѣю право, или владѣю ею по праву. Фактъ, какъ таковой, сличается съ какимъ-то понятіемъ, на основаніи его рѣшается, таковъ-ли онъ, какимъ долженъ быть. Понятіе, съ которымъ сличается фактъ, есть понятіе о *справедливомъ*, которое однако ничего не рѣшаетъ, представляя только повтореніе понятія. Каждый имѣетъ право на кусокъ хлѣба, или справедливо, чтобъ каждый имѣлъ кусокъ хлѣба. Почему-же однако такъ? Потому что всѣ люди равны. Согласимся, что это и такъ, хотя это не такъ: но изъ

того, что всѣ люди равны, какимъ образомъ слѣдуетъ, чтобы всѣ были сыты? Напротивъ, изъ того, что не всѣ одинаково сыты, слѣдуетъ, что не всѣ равны. Изъ того, что мнѣ голодному непріятно быть голоднымъ? Мало-ли что непріятно, но отсюда не слѣдуетъ, что мнѣ *должно* быть пріятнымъ. Потому-ли что иначе, то есть безъ справедливости, не можетъ существовать общество, что послѣдуетъ то и другое и третье, очень не хорошее, словомъ, что справедливости требуетъ *польза*, Бентамовское опредѣленіе? Во первыхъ, понятіе о пользѣ само шатко и во многихъ случаяхъ потребуетъ оправданія для себя; но тогда будетъ справедливымъ только то, что полезно, и кромѣ того, изъ пользы всетаки не выведешь понятія обязательности, заключающагося въ справедливости. Слѣдовательно, одно изъ двухъ: или жизнь есть борьба за существованіе, и тогда каждый фактъ правъ самъ въ себѣ, и понятіе права будетъ фикціей, отвлеченіемъ существующаго порядка вещей, соглашеніемъ большинства признать обязательными извѣстныя правила и поддерживать ихъ исполненіе предупредительными и карательными мѣрами; или-же *справедливость* есть понятіе данное прежде факта, прежде понятія объ обществѣ, и само общество признать обязаннымъ предъ справедливостью. Но тогда перенесется вопросъ съ экономическихъ отношеній самихъ въ себѣ къ вопросу *о соизмѣримости общества вообще со справедливостью*. Еще возможно-ли въ обществѣ воплощеніе справедливости, требованіе всеобщей справедливости не заключаетъ-ли само въ себѣ противорѣчія? Забѣжавъ нѣсколько впередъ, скажемъ, что и дѣйствительно здѣсь существуетъ неразрѣшимое противорѣчіе, потому что жизнь-то сама въ себѣ дѣйствительно есть борьба за существованіе, личныя цѣли съ требованіями безусловной справедливости (при предположеніи безусловной свободы) дѣйствительно непримиримы.

* * *

Экономическое рабство.

Разсуждая объ экономической свободѣ, нужно имѣть предосторожность, какъ и при разсужденіяхъ о политической свободѣ, чтобы не смѣшать *свободы, независимости* и *власти*.

Начну съ болѣе яснаго понятія о *независимости*. Человѣкъ съ первой минуты своего бытія лишенъ экономической независимости. Еще Плиній саркастически замѣчалъ, что для человѣка природа болѣе мачиха, нежели мать. Нѣтъ существа беззащитнѣе, нежели человѣкъ при рожденіи; онъ есть весь нужда, во всемъ, даже въ движеніяхъ. Смотря на младенца, задаемъ себѣ вопросъ: какъ творцы извѣстной „Декларації о правахъ человѣка“ просмотрѣли такой крупный фактъ? Они брали человѣка, очевидно взрослаго, и устанавливали для него различныя права, забывъ о томъ, что напримѣръ для того чтобы пользоваться правомъ „свободно говорить“, нужно еще выучиться говорить. Какое *право* у младенца? Если право есть, то и у жеребенка есть право. По отношенію къ младенцу можно говорить только объ обязанностяхъ другихъ въ отношеніи къ нему, а не о правахъ его, и объ обязанностяхъ безусловныхъ, независимыхъ отъ требованій общественной пользы или блага (иначе придемъ къ оправданію дѣтоубійства). Съ котораго-же момента начинается право самого новорожденнаго и наступаетъ-ли оно когда нибудь, не остается-ли и онъ съ одними обязанностями? Во всякомъ случаѣ правовое отношеніе ребенка указываетъ на возможное существованіе обязанностей безъ изнанки правъ. Несомнѣнно пока, что у каждаго есть право, опредѣляемое обязанностями или отсутствіемъ права у другихъ. Съ этой точки единственно и позволительно разсуждать о *правахъ* и относящихся сюда *свободѣ, власти, независимости* экономическихъ.

Если я не имѣю права, другой лишенъ также,—вселенная для насъ безразлична. Но я обязанъ предъ отцомъ, матерью, обществомъ, прежде всего въ моей жизни. Разберемъ поподробнѣе эту зависимость.

1) Отъ чего онъ зависитъ или въ чемъ онъ имѣетъ нужду (вопросъ однозначительный)? Онъ зависитъ отъ „куска хлѣба“. Кускомъ хлѣба называю а) пищу и питье, б) свѣтъ, воздухъ, тепло, но кромѣ того и прежде всего ему нужно в) мѣсто. Да, мѣсто: нужно пространство, въ которомъ помѣстился-бы объемъ его тѣла. Сперва этимъ пространствомъ служитъ материнская утроба, потомъ колыбель или хоть мѣшокъ, въ которомъ таскаютъ дѣтей цыганки, затѣмъ жилище, или по крайней мѣрѣ логовище, или просто наконецъ свободное мѣсто, гдѣ лечь и стать.

2) Отъ кого онъ зависитъ въ кускѣ хлѣба, то есть въ томъ, отъ чего зависитъ и чѣмъ условливается его земное существованіе? А непремѣнно онъ зависитъ. Начать ужъ съ младенчества, гдѣ зависимость, какъ сказано выше, оказывается во всей полнотѣ. При достиженіи возраста, всѣ три элемента, нужные для жизни, находятся въ распоряженіи только, доколѣ не мѣшаютъ другіе. Яснѣе: обладаніе пищей, питьемъ, свѣтомъ, воздухомъ, тепломъ, помѣщеніемъ, условливается безпрепятственностью со стороны, и эта безпрепятственность—состояніемъ и устройствомъ общественнымъ. Отвлеченнаго человѣка нѣтъ: онъ непремѣнно существо политическое, какъ выразился Аристотель, по крайней мѣрѣ общежительное. И это потому именно, что онъ существо изъ всѣхъ существъ наиболѣе зависимое. И отъ того, чѣмъ одиночнѣе онъ живетъ, тѣмъ шатче его существованіе, тѣмъ онъ беззащитнѣе, тѣмъ сомнительнѣе удовлетвореніе его нуждъ, тѣмъ нужды тѣснѣе и проще. И наоборотъ, чѣмъ болѣе онъ обезпеченъ, чѣмъ сложнѣе общественная жизнь, тѣмъ шире и его нужды, за то тѣмъ и зависимѣе. Переберемъ ступени.

1) Состояніе *звѣролова*. Полный просторъ и отсутствіе всякихъ обязанностей, то есть всякихъ заботъ о постороннихъ существахъ, за исключеніемъ самки и дѣтей. Состояніе семейное, но еще не общественное. Отсутствіе собственности и собственность надъ всѣмъ. Раздолье, гдѣ всякому и мѣста и добычи вдоволь. Потребности не сложныя: логовище, одежда или изъ шкуры наловленныхъ звѣрей или изъ листьевъ готовой пальмы; пища—добыча собственнаго искуства, отъ котораго одного и

зависитъ звѣроловъ. Запасовъ нѣтъ и не нужны: сегодняшній день принесетъ на сегодня, что изловится. Завидное и повидимому самое справедливое состояніе.

2) Состояніе *пастуха*. Ежедневная забота о пропитаніи, ежедневная борьба съ неизбѣжными неудачами внушаютъ мысль объ обезпеченіи, чтобы сегодня ручалось за завтра и завтра за дальнѣйшіе дни. Вмѣсто того, чтобы гоняться за звѣремъ, нельзя-ли его приручить, покорить, чтобы отдавался онъ безъ борьбы и былъ всегда готовъ къ услугамъ. Конь, верблюдъ, рогатый скотъ побѣжденъ,—первый видъ *капитала* и первое проявленіе *постоянной власти* надъ природою, въ видѣ пока четвероногихъ. Первое имущество, и притомъ даже не личное, а и наслѣдственное. Вмѣстѣ съ тѣмъ прежняя свобода и просторъ сокращаются. Нельзя рыскать подобно птицѣ, нужно беречь обузу, которою обзавелся. Для обузы этой притомъ нужно опредѣленное мѣсто и притомъ съ достаточнымъ количествомъ воды. А это ведетъ за собою намекъ на землевладѣніе. Предразсудокъ думаетъ, что кочевникъ двигается туда и сюда безъ цѣли. Нѣтъ, у него своего рода плодоперемѣнная система. Сегодня онъ здѣсь и остается, пока лошади поѣдятъ макушки травы, за ними коровы выщиплютъ остатки, а овцы выгложутъ. Онъ отправится далѣе на свѣжій подножный кормъ, а на его—придетъ другой въ опредѣленное, заранѣе разсчитанное время. О киргизскихъ ордахъ всегда извѣстно, гдѣ стоитъ какая именно на основаніи правильнаго чередованія въ кочеваніи, этого кочевого *передѣла* въ своемъ родѣ.

Съ первымъ признакомъ имущества является необходимость въ болѣе широкомъ общежитіи и намекъ на раздѣленіе труда. Имущество нужно беречь, чего не достигнешь силами одной семьи. Скотъ доставляетъ не одно мясо, но и шерсть и молоко,—зародышъ домашней промышленности.

3) *Земледѣлецъ*. Почему,—но вкусъ къ кочевой жизни и вмѣстѣ исключительно мясной пищѣ пропадаетъ. Утѣсненіе, конечно, служитъ одною изъ причинъ, а можетъ быть и бѣдность отдѣльныхъ лицъ. Каждая степь можетъ прокормить опредѣлен-

ное количество скота. Увеличеніе скота не можетъ двигаться пропорціонально возрастанію населенія. Съ тѣмъ появляется различіе бѣдности и богатства. Бѣднякъ, у котораго осталась пара-другая всего скотины, осаживается. Степь продолжаетъ быть общею собственностію, а для осѣвшаго выгономъ. Начинается ковырянье земли и постоянное жилище, у иныхъ сперва лишь на опредѣленное время года. Раздѣленіе труда яснѣе, и первыми земледѣльцами должны быть старики, женщины, рабы. Молодые остаются наѣздниками. Зачатокъ сословій. Типъ—кавказскій и текинскій аулъ. Зародышъ *города*.

4) Что такое *городская жизнь?* Чѣмъ въ первобытномъ состояніи условлено основаніе города и чѣмъ онъ отличается отъ осѣдлости земледѣльческой? Тою же заботою о сбереженіи имущества, а на сей разъ и личности, какая соединила пастуховъ въ общежитіе. Гдѣ укрыть семейства и стада на случай набѣга? Куда хоронить добычу? Одинъ удалецъ-наѣздникъ подбираетъ себѣ товарищей разбойничать: гдѣ они оснуются?—За стѣной. Стѣна и есть городъ.

Отъ земледѣльческой усадьбы до города переходъ очень небольшой. Но имъ рѣзкое отличіе даетъ а) окончательное выдѣленіе различія классовъ и б) возникновеніе личной поземельной собственности. Подъ защитою стѣнъ развиваются мирныя занятія, съ другой стороны обособляется военный (отчасти и разбойничій) классъ. Люди оружія—не разбойники только, но и защитники, подъ покровительство которыхъ бѣгутъ укрыться въ стѣнахъ мирные граждане, на большую половину потомки плѣнныхъ рабовъ. Начало подати. Все болѣе и болѣе утѣсняемое *мѣсто* окончательно разрушаетъ общественную собственность; воздвигаются дома,—имущество совершенно неспособное быть общественнымъ, цѣнность которыхъ безмѣрно превышаетъ цѣнность земли, ими застроенной.

Вотъ порядокъ естественный. Уклоненій не будемъ принимать въ разсчетъ. Но каждый изъ моментовъ есть необходимость,—вотъ что важно. Изъ звѣролова не можетъ не выйти скотоводъ; скотоводъ не можетъ не перейти въ земледѣльца, а

земледѣлецъ въ горожанина. И каждый моментъ, перерождаясь, не уничтожаетъ предшествующаго. Съ городомъ не прекращается земледѣліе, напротивъ укрѣпляется. Скотоводство служитъ подспорьемъ земледѣлію и обратно. Звѣроловъ не исчезаетъ, но продолжается въ охотникѣ, которымъ можетъ быть и селянинъ и горожанинъ. Между тѣмъ развитіе общественности съ каждымъ переходомъ изъ одного момента сопровождается слѣдующими явленіями: а) постепеннымъ стѣсненіемъ простора, необъятнымъ у звѣролова, меньшимъ у скотовода, еще меньшимъ у земледѣльца, и наконецъ ничтожнымъ у горожанина, б) усиленіемъ власти надъ экономическими средствами. Власть развивается въ обратной пропорціональности къ простору. Отсутствіе всякой собственности и всякаго владѣнія на первой ступени. Движимый капиталъ на второй. (Земля остается еще на равнозначительной степени съ воздухомъ и свѣтомъ.) На третьей ступени зачатки поземельной собственности. А въ городской жизни личная собственность въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Не только собственность поземельная, но съ нею и недвижимый капиталъ, въ видѣ дома. Усиленіе власти отдѣльныхъ лицъ надъ экономическими средствами усиливаетъ ихъ зависимость и между собою и зависимость отъ тѣхъ-же самыхъ средствъ. Хозяинъ дома есть и рабъ своего дома, цѣпная собака къ нему привязанная и вынужденная о немъ заботиться. А взаимная личная зависимость есть результатъ разложенія жизни на классы или профессіи, пусть на первый разъ—военную и земледѣльческую,—одинъ безъ другого жить не можетъ и въ другомъ нуждается.

Разборомъ 1-ой главы Милля дойдено было до того, что вмѣсто „богатства“ и „благосостоянія“ болѣе точнымъ признано „имущество“, какъ предметъ политической экономіи. Но терминъ остается еще двусмысленнымъ. Сущность имущества въ обладаніи или правѣ на обладаніе; оно можетъ быть разсматриваемо съ юридической точки зрѣнія. Чѣмъ же очерчивается *экономическая?* Подойдемъ съ другой стороны, не ближе-ли будетъ?

Истинное, прекрасное, справедливое могутъ быть предметомъ науки. Это не предметъ экономической наукй. Ближе къ ея предмету *полезное;* однако полезное, качество, разсматриваемое экономіей, обслѣдуется не со стороны самой пользы, а со стороны *цѣнности.* Полезное обсуживается экономіею, поколику оно есть *цѣнное.*

Съ другой стороны, если обратимъ вниманіе на слово *экономія*, оно означаетъ *хозяйство* или въ частности *домостроительство.* Если писать науку, положимъ, домашняго хозяйства, она должна быть изложена болѣе или менѣе по рецепту *Домостроя* и поваренныхъ книгъ: когда закупать хлѣбъ или какъ солить огурцы. Параллельна-ли такому трактату *экономія политическая*, экономія народовъ? И да и нѣтъ. Такая наука была-бы системою практическихъ совѣтовъ государственнымъ хозяевамъ. Происхожденіе политической экономіи дѣйствительно таково; этой цѣли она обязана своимъ бытіемъ. Но искомымъ служатъ не практическіе совѣты, а теоретическіе законы, изъ которыхъ выводятся самые совѣты. Политическая экономія должна изучить эти законы. Законы чего-же? Пріобрѣтенія, распредѣленія и расходованія. Распредѣленіе можно даже выкинуть, потому что оно уже не относится къ существу; это есть уже выводъ. Итакъ, законы пріобрѣтенія и расходованія имуществъ, какихъ? Цѣнныхъ. Иначе—*созиданіе и разрушеніе цѣнностей.* Но разрушеніе можно тоже выкинуть. Экономическая жизнь есть не переливаніе изъ пустого въ порожнее, а прогрессъ: разрушается и созидается, причемъ избытокъ на сторонѣ созиданія, а разрушеніе есть средство къ созиданію. Итакъ, наука будетъ наукою о созиданіи цѣнностей, о матеріальномъ прогрессѣ человѣчества,—*по какимъ законамъ совершается матеріальный прогрессъ человѣчества?* Вопросъ, такимъ образомъ поставленный, нѣсколько напоминаетъ опредѣленіе Чернышевскаго: „благосостояніе народовъ, зависящее отъ труда“. Но не забѣгается впередъ ни въ народъ, ни въ трудъ, которому мѣсто еще должно быть найдено. Остановимся пока на *матеріальномъ прогрессѣ* и на созиданіи *цѣнностей.*

Прогрессъ матеріальный: „матеріальный“ прибавляется для отличенія отъ прогресса духовнаго, умственнаго. Умственный кругозоръ человѣчества постоянно расширяется; но это не экономія. Ближайшій къ матеріальному прогрессъ *соціальный* опять не то; отношенія людскія могутъ улучшаться, и даже въ зависимости отъ матеріальнаго прогресса, но всетаки это не самъ матеріальный прогрессъ.

Чтобы жить, ѣсть, пить и проч., человѣкъ нуждается въ усвоеніи матеріи. Итакъ, съ одной стороны нужда, съ другой матерія.

Чтобы усвоить матерію, нужно *обладать* ею.

Обладать матеріею возможно только *покоривши* ее, потому что она косна и враждебна человѣку. Для покоренія матеріи нужно усиліе, *трудъ*. Итакъ, трудъ есть усиліе, употребляемое для покоренія природы, для приведенія безразличной матеріи въ состояніе, годное къ удовлетворенію нужды, въ *полезное издѣліе*. *Издѣліе* указываетъ на происхожденіе отъ труда, *польза*—на годность къ удовлетворенію нуждъ.

Трудъ способенъ производить больше, нежели требуется на удовлетвореніе нуждъ. Нужды способны расширяться. Болѣе и болѣе широкимъ и глубокимъ покореніемъ матеріи пріобрѣтаемая возможность все шире и полнѣе удовлетворять человѣческимъ нуждамъ и есть матеріальный прогрессъ.

Но *полезное* входитъ, какъ сказано, въ курсъ экономіи лишь въ смыслѣ *цѣннаго*. Что придаетъ полезному смыслъ цѣннаго?

Полезное переходитъ въ *цѣнное* съ той минуты, когда возникаетъ представленіе о *платѣ*, реальной или мнимой, то есть совершившейся или ожидаемой. Цѣнная вещь предполагаетъ сравненіе съ другою вещью по степени ихъ пользы, которая съ своей стороны въ силу того-же сравненія сама обращается въ цѣнную. Польза, съ своей стороны, дающая основаніе для вещи быть цѣнною, не нуждается для измѣренія своего и даже для существованія въ реальности, но держится исключительно на субъективномъ представленіи: нахожу полезнымъ, хотя мо-

жетъ быть и безполезно на самомъ дѣлѣ. Экономическая польза есть способность удовлетворять матеріальныя нужды, то есть нужды въ матеріи, а нужда опредѣляется личнымъ ощущеніемъ и сознаніемъ.

Итакъ, цѣнность предполагаетъ непремѣнно двѣ вещи или два явленія полезныхъ, предполагаетъ мѣну, но прибавимъ — полезныхъ не отвлеченно: вещь или явленіе должны быть уже усвоены, перейти въ распоряженіе, перестать быть просто предметомъ природы, должны быть способными къ *мѣнѣ*. Другими словами, цѣнныя вещи предполагаютъ *трудъ*, покореніе природы совершившееся или предполагаемое къ совершенію. Гора изъ чистаго золота не имѣетъ цѣнности, пока она никому не принадлежитъ, или можетъ быть представлена лишь въ теоретической односторонней цѣнности, „сколько можно было за нее заплатить“. Но платить-то некому. Она принадлежитъ всѣмъ и мнѣ въ томъ числѣ, и имѣетъ *стоимость* только, именно эту односторонне взятую цѣнность: „сколькаго-бы труда мнѣ стоило, чтобы усвоить эту гору?“

Во всякомъ случаѣ, основаніемъ цѣнности дѣйствительно служитъ *трудъ*, какъ и основаніемъ стоимости, но совсѣмъ въ иномъ опредѣленіи. Когда идетъ дѣло о стоимости, сравнивается количество труда съ вещью: „вырвать это дерево мнѣ стоило столько-то“, то есть труда. Но когда я хочу опредѣлить ея цѣнность, я спрашиваю: сколько мнѣ труда дадутъ за эту вещь? Опредѣленіе цѣны зависитъ не отъ меня, производителя, а отъ другого, пусть тоже производителя, но на данный случай *потребителя*, зависитъ отъ ощущаемой *нужды* въ моемъ деревѣ.

Итакъ, *мѣна* не только существенный моментъ политической экономіи, но съ нея она начинается. Иначе сказать, до мѣны существуетъ только экономія, хозяйство, а съ мѣны начинается ея политическій характеръ, то есть экономія взаимно мѣняющагося труда, что̀ предполагаетъ между трудящимися отношенія, общественную связь. Въ непрерывномъ преемствѣ продолжающаяся мѣна труда на трудъ и образуетъ

экономическую жизнь народовъ и человѣчества. Какіе-же законы ею управляютъ?

Выше много говорилось *о трудѣ*. Вся политическая экономія занимается *трудомъ*. *Трудъ* и его организація есть очередный вопросъ времени. Но что такое *трудъ?*

Выше объяснялось, что трудъ есть усиліе покорить природу, преобразовать продуктъ природы въ *издѣліе* перемѣщеніемъ частицъ тѣла или самыхъ тѣлъ. А *умственный трудъ* есть ли трудъ? Если да, тогда трудъ долженъ быть раздѣленъ на непосредственный—мускульный и посредственный—нервный. Не причислить же умственнаго труда къ труду не только въ смыслѣ усилія, но и въ смыслѣ покоренія природы, съ цѣлію усвоенія матеріи, невозможно. Даже безъ кооперації и безъ раздѣленія труда, мускульный трудъ, ограничивающійся самимъ собою, не существуетъ: ему предшествуетъ и ему соотвѣтствуетъ напряженіе нервовъ, которые двигаютъ мускулами, и еще прежде производятъ представленія и ощущенія, вызывающія на мускульный трудъ. Вѣрнѣе—именно нервный-то трудъ и есть главный производитель. Безъ него трудъ перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, творчествомъ, оставаясь механическою силою, тожественною съ паромъ или лошадью. Руки и мускулы только орудіе мозга. Въ раздѣленіи труда это яснѣе. Архитекторъ чертитъ планъ, плотникъ строитъ. Что плотникъ или каменьщикъ безъ архитектора? Но тогда онъ самъ архитекторъ. А безъ этого и дома не выйдетъ: выйдутъ слѣпыя, случайныя движенія, однозначащія съ явленіями природы.

Когда станемъ на эту точку зрѣнія, вся политическая экономія перевертывается, и Адамъ Смитъ со всѣми послѣдователями обличается въ односторонности. Прежде чѣмъ пускаться въ теоретическое разъясненіе, обращусь къ примѣру, и возьму для него, напримѣръ, хоть постройку знаменитаго Волжскаго моста. Разберемъ составные его экономическіе элементы, и слѣдуя господствующему воззрѣнію, переберемъ участвовавшихъ работниковъ: слесарей, плотниковъ, кузнецовъ, углекоповъ,

паровщиковъ, машинистовъ, словомъ всѣхъ, кто участвовалъ въ отдѣлкѣ матеріала, въ подвозкѣ и установкѣ его на мѣсто. Но не забудемъ и строителя. Его и не забываютъ конечно, объ немъ скажутъ, что онъ участникъ кооперативнаго труда. Но какъ опредѣлить его мѣсто? И такъ какъ вопросъ экономическій, то какую цѣнность справедливо опредѣлить его труду? Разомъ, во-первыхъ, бросается въ глаза вся неприложимость поплаго измѣренія, предлагаемаго Марксомъ, посредствомъ *рабочихъ часовъ*. Умственная работа по существу недоступна измѣренію временемъ, не основательно прибѣгнуть, при измѣреніи ея, и къ понятію интенсивности. Мѣритель, очевидно, долженъ быть приложенъ какой-то другой. Чудовищною несправедливостью будетъ, если всю цѣнность труда ограничимъ черченіемъ плановъ и временемъ, для нихъ требовавшимся. Прежде чѣмъ начертить, надобно обдумать, надобно произвести исчисленія, надобно свѣриться съ книжками. При исчисленіяхъ можно милліонъ разъ ошибиться, милліонъ разъ поправлять; можно просидѣть за планомъ многіе годы; можетъ планъ мгновенно предстать фантазіи въ конченномъ видѣ. Во все время работы матеріалъ (бумага и перо и даже мысленное представленіе) имѣютъ совершенно несущественное значеніе; ничто не тратится, кромѣ внутренней жизненной силы, и ничего не портится, какъ при мускульныхъ опытахъ съ матеріаломъ. Однако плодъ фантазіи и ума есть членъ равнозначительный всему остальному въ постройкѣ моста, всѣмъ этимъ каменьщикамъ, кочегарамъ, слесарямъ, взятымъ вмѣстѣ. Весь мостъ является только исполненіемъ идеи, и каждый изъ работниковъ по праву можетъ быть представленъ раздвоеннымъ на исполнителя и умствователя, и въ послѣдней половинѣ, умствованіи, заемщикомъ чужой мысли, ему переданной, безъ чего вся его работа—ничто и даже не можетъ возникнуть къ бытію.

То, что видимъ на постройкѣ Волжскаго моста, повторяется ежеминутно: въ каждомъ экономическомъ моментѣ неизмѣнно взаимно сопутствующими—*замыселъ* и *исполненіе*.

* * *

Монополія а) естественная: аа) въ самомъ человѣкѣ—умъ и дарованія, физическая сила, избытокъ здоровья, бб) въ окружающей природѣ, точнѣе мѣстѣ, географическая—климатъ, близость къ естественнымъ путямъ сообщенія, капиталъ въ нѣдрахъ земли и на поверхности, запасенный природою; б) случайная отъ сочетанія обстоятельствъ: аа) независимыхъ отъ нашей воли—землетрясенія, грозы, саранча, засухи, повальныя болѣзни, бб) соціальныхъ или даже устроенныхъ съ разсчетомъ—искуственные пути сообщенія, разница городскихъ условій отъ сельскихъ, войны, тарифы, политическія и соціальныя права.

Монополія и централизація одно и то-же: степень близости къ естественнымъ источникамъ богатства. Съ одного конца совершенная ихъ недоступность, съ другого—полное обладаніе ими, могущее принадлежать отдѣльнымъ лицамъ, обществамъ или цѣлымъ народамъ.

Совокупность всѣхъ условій, создающихъ искуственную монополію и предлагающихъ естественную, и есть источникъ неравномѣрнаго распредѣленія богатствъ, къ устраненію котораго недостаточно переустройства одной или нѣсколькихъ странъ. Необходимъ былъ бы переворотъ всего міра и кромѣ того уравненіе искуственныхъ условій съ естественными,—предпріятіе по крайней мѣрѣ для современнаго человѣчества невозможное.

Наука еще не согласилась подыскать одно короткое слово, которымъ бы обозначить—избытокъ дохода или разность заработка двухъ равныхъ трудовъ, зависящую отъ разныхъ видовъ монополіи и поступающихъ капиталисту или собственнику. Я бы назвалъ это *рентою*, прилагая это не къ земельной собственности только, но ко всѣмъ элементамъ производства. Рентою назывался бы не вообще доходъ, получаемый отъ даровыхъ силъ природы, но та разность, которая благодаря разнымъ видамъ монополіи обнаруживается въ этихъ самыхъ дарахъ природы. Рикардо обличился бы въ своей односторонности, и вся наука въ неполнотѣ выводовъ. Окажутся безчисленные виды и

степени ренты, начиная съ эскимоса и лапландца и кончая банкиромъ въ Сити, принадлежащіе не только земельной собственности и капиталистамъ, но даже рабочимъ классамъ.

* * *

Мыслимая цѣнность, кредитъ, спекуляція.

Цѣнность опредѣляется не тѣмъ трудомъ, который употребленъ на ея производство, а тѣмъ, который предлагается за ея пріобрѣтеніе. Обратимся опять къ одинокому человѣку. Онъ голоденъ, а впереди его кустъ съ плодами, отдѣленный препятствіемъ, пусть въ видѣ другого кустарника, который надо раздвинуть, словомъ преодолѣть. Посмотримъ процессъ: въ душѣ происходитъ умозаключеніе, торговля. Жизнь требуетъ себѣ поддержки; взору представляется кустъ съ плодами и кустъ препятствія. Умъ находитъ, что ягоды утишатъ, а можетъ быть удовлетворятъ чувство голода. Но для достиженія его нужно преодолѣть препятствіе, потратить жизненной силы. То подкрѣпленіе жизненныхъ силъ, которое дано будетъ ягодами, заслуживаетъ-ли траты жизненныхъ силъ, которое должно быть на то употреблено? При мѣнѣ совершается тотъ же процессъ въ раскрытомъ видѣ, но онъ совершается въ душѣ каждаго, оставленнаго съ собою.

Въ представленномъ примѣрѣ, вещь, назначаемая для потребленія, ягоды суть готовое произведеніе природы и притомъ въ пассивномъ состояніи: у нея нѣтъ живого обладателя. Но вмѣсто ягодъ можетъ быть печеный хлѣбъ, и онъ въ рукахъ у хлѣбника. Голодный же имѣетъ въ карманѣ нѣсколько копѣекъ. Эти копѣйки получены имъ за что нибудь, что нибудь онъ сдѣлалъ, за трудъ уже совершенный. Это второе различіе, трудъ не предстоитъ, но онъ уже совершенъ. Умозаключеніе принимаетъ нѣсколько иную форму, вслѣдствіе двухъ особенностей, вступающихъ въ процессъ, второго лица, участвующаго въ сдѣлкѣ, и въ оконченности труда. Предлагаемый хлѣбъ стоитъ ли того труда, который я долженъ употребить, чтобы пріобрѣсти требуемыя за него копѣйки? Другой разсуждаетъ: тѣ ко-

пѣйки, которыя пріобрѣту, покроютъ ли мнѣ тотъ трудъ, который я долженъ буду употребить на пріобрѣтеніе хлѣба, который я продаю?

Въ обоихъ представляемыхъ примѣрахъ умозаключеніе строится не на прошедшемъ, а на будущемъ, не на совершившемся, а на томъ, что́ имѣетъ совершиться. Прошедшее служитъ даннымъ лишь для измѣренія будущаго.

Это первый законъ. Второй, который есть вмѣстѣ и его послѣдствіе, заключается въ томъ, что рѣшителемъ служитъ догадка, а не реальный фактъ, не фактъ вообще, а предположеніе о фактѣ. И это относится не къ одному измѣренію труда, но и къ соотвѣтствію блага съ потребностью. „Хлѣбъ этотъ меня насытитъ“: это есть еще предположеніе. Сравненіе насыщенія (предполагаемаго), то есть подкрѣпленіе силъ съ требуемою тратою (то-есть трудомъ), тоже есть только умственное. Въ дѣйствительности издержка превышаетъ полученіе или наоборотъ.

Итакъ, величина потребнаго труда есть мнимая величина, величина подкрѣпленія есть мнимая величина, и равенство ихъ также мнимое. Величина подкрѣпленія на дѣлѣ можетъ быть даже отрицательною, т. е. не подкрѣплять, а еще разрушать силы. Во всякомъ случаѣ экономическій процессъ обращается въ мнѣніе, и каждая цѣнность уже по существу есть не реальная цѣнность, а мнимая.

Затѣмъ обратимъ вниманіе на послѣдовательность процесса и на послѣдовательность различныхъ его моментовъ. Въ обоихъ примѣрахъ трудъ предшествуетъ пріобрѣтенію, трата силъ — возобновленію. Хотя бананъ висѣлъ на деревѣ, но я долженъ хотя руку протянуть, чтобы его усвоить. Только въ пѣснѣ Гусару въ ротъ сами валятся галушки.

Таковъ, повидимому, непреложный законъ, но вопросъ снова встаетъ: а первый-то портной у кого же учился? На чей же, однако, счетъ первое пропитаніе получено? Откуда взялись тѣ самыя силы, которыя надо потратить, чтобы ихъ подкрѣпить?

Итакъ, вотъ діалектика: для питанія необходимъ трудъ, а трудъ предполагаетъ совершившееся питаніе. Между прочимъ это есть отвѣтъ на праздный въ сущности споръ: капиталъ ли даетъ продовольствіе рабочимъ? Джорджъ говоритъ, что нѣтъ, и онъ правъ, и противная сторона права. Продовольствіе и трудъ совершаются въ сущности одновременно, идя на встрѣчу. Рабочій, становясь на работу, уже продовольствованъ, капиталомъ конечно, но не тѣмъ капиталомъ, къ которому онъ сталъ на работу, а капиталомъ, и перспектива его продовольствія растетъ, по мѣрѣ того, какъ изъ-подъ рукъ его вырастаетъ произведеніе. Во всякомъ случаѣ, трудъ и продовольствіе и ихъ процентное отношеніе оцѣниваются мысленно, еще до ихъ совершенія, а когда они совершатся, они служатъ только данными для оцѣнки будущаго дальнѣйшаго. Спекуляція есть поэтому необходимый моментъ въ экономическомъ процессѣ, въ самомъ даже несложномъ, даже когда потребитель съ производителемъ совмѣщаются въ одномъ лицѣ. Точно также и кредитъ. Взять человѣка на самой первой ступени, гдѣ вся экономія состоитъ въ непосредственной тратѣ силъ на ихъ непосредственное возобновленіе, существенные признаки предмета осуществляются въ разстояніи между тратою и возобновленіемъ. Я трачу *въ надеждѣ* на возобновленіе. Если примѣнить сюда итальянскую бухгалтерію, то данный организмъ есть капиталъ, который кредитуетъ трудомъ и дебитуетъ питаніемъ; равно и наоборотъ: питаясь кредитую себя; мускулы—должникъ, который заплатитъ трудомъ.

Кредитъ есть затрата, совершаемая въ ожиданіи возвращенія затраченнаго съ прибылью. Ожиданіе и прибыль есть его двѣ существенныя черты, отличающія отъ простой мѣны. Хотя въ мѣнѣ уже скрывается кредитъ, но только скрывается. Выступаетъ же онъ по мѣрѣ того, какъ увеличивается разстояніе между затратою и возвратомъ и съ нимъ возрастаетъ требованіе прибыли.

Требованіе прибыли основывается на естественномъ законѣ органическаго роста и на естественномъ же стремленіи получить возможно больше съ наименьшей затратою силъ.

Ростъ.

Капиталъ есть цѣнность, дающая самостоятельный доходъ. Въ этомъ опредѣленіи согласны Лассаль и Джорджъ. Лассаль прибавляетъ: „въ которомъ обладатель не участвуетъ своей работой“. Но прибавленіе излишне, оно само собою подразумѣвается. Капиталъ есть саморастущая цѣнность. Насмѣшки Лассаля надъ объясненіемъ, что прибыль есть премія за воздержаніе или за умственную работу, отчасти справедливы. Но однако-же онъ долженъ допустить, что еслибы владѣлецъ капитала 1) не пустилъ его въ оборотъ, а пожралъ или закопалъ, 2) не распорядился его производительнымъ употребленіемъ самъ или чрезъ управляющаго,—капиталъ остался-бы мертвымъ и дохода бы не далъ, да и работы бы не далъ. Могутъ спросить: но откуда-же самое право распоряженія? Вопросъ основательный и поведетъ къ разсужденіямъ о правѣ наслѣдства. Но можно представить капиталъ и самолично нажитой; слѣдовательно и объясненіе Бастіа останется вѣрно.

Во всякомъ случаѣ опредѣленіе, что капиталъ есть саморастущая цѣнность, точно, а опредѣленіе или поясненіе Лассаля, что „капиталъ есть форма работы“, никуда не годится. Капиталъ естественный, лѣсъ и скотъ, не предполагаютъ работы, нуждаясь въ ней только для надзора. Лассаль и Марксъ не хотятъ знать этого капитала, ограничиваясь капиталомъ общественнымъ, а именно поколику онъ есть принадлежность имущихъ классовъ, поставленныхъ насупротивъ неимущихъ. Но напрасно. Для общественнаго капитала первообразомъ служитъ естественный, и на немъ-то основанъ саморостъ и общественнаго.

Саморостъ есть отличительная черта органическаго. Онъ состоитъ въ обмѣнѣ матеріи, происходящемъ внутри растенія, посредствомъ усвоенія и изверженія собственными его органами, чрезъ что особь увеличивается въ массѣ и измѣняется въ формѣ. Экономія повторяетъ процессъ органическаго возрастанія въ своей общественной сферѣ, частію пользуясь естественнымъ

процессомъ, частію уподобляясь ему. Разница между обоими всетаки та, что одинъ есть процессъ случайный, другой предустановленный. Дерево и животныя растутъ сами для себя. Человѣкъ, господинъ природы, заставляетъ ихъ расти для него. Природа производитъ особи, по химическимъ и механическимъ законамъ, повинуясь случайному ихъ сочетанію. Человѣкъ-же ставитъ силы природы въ опредѣленное, ему нужное сочетаніе, и онѣ производятъ тѣ-же особи, но въ иномъ видѣ, съ иною массою, въ иномъ мѣстѣ, тамъ, гдѣ человѣку нужно. Господинъ природы не довольствуется этимъ. Онъ заставляетъ природу производить новыя особи, новыя даже существа. Забудемъ на минуту, что человѣкъ есть духовное существо. Съ точки зрѣнія Лассаля или Маркса иначе даже не должно смотрѣть: школа мамоны не хочетъ знать, отрицаетъ безконечность, несоизмѣримость, различіе между духомъ и матеріею. Человѣкъ есть такой-же продуктъ природы, какъ папоротникъ, образовавшійся, можетъ быть, черезъ устрицу между прочимъ до настоящаго вида. Итакъ, человѣкъ есть только послѣдняя ступень, послѣднее звено въ цѣпи, отличающееся только количествомъ отъ осины-ли, отъ обезьяны-ли. Станемъ-же на эту точку зрѣнія, поднимемся надъ земнымъ шаромъ и будемъ смотрѣть. Безконечные аршины миткаля, извергаемые машиной, лишь количественно отличаются отъ меда, выступающаго на листьяхъ липы, сама бумагопрядилка — организмъ, напоминающій ту-же липу отчасти, отчасти и животное, но особаго новаго рода, безпозвоночное, существо, въ которомъ скелетъ преимуществуетъ, мускулы ограниченны, питаніе производится черезъ пожираніе угля, и притомъ на разстояніи. И такъ далѣе, и такъ далѣе, разберемъ это существо и опредѣлимъ особый классъ, въ которомъ должна его поставить естественная исторія. Кромѣ внутреннихъ мускуловъ, у этого существа есть самодвижущіеся внѣшніе мускулы, которыми оно соприкасается съ внѣшней природой и при содѣйствіи которыхъ совершается его питаніе,—человѣческія руки. Какъ создалось это существо? Тѣмъ же порядкомъ, какимъ остальныя, чрезъ усвоеніе окружающей

матеріи, чрезъ примѣненіе себя къ ней, черезъ подборъ, чрезъ борьбу за существованіе и т. д., и т. д. Разница есть, но мы не можемъ не признать въ немъ черты органическаго самороста и способности къ произведенію, даже къ воспроизведенію, правда не непосредственному. Сырая матерія пожирается, своимъ путемъ переваривается и извергается въ новомъ видѣ, пройдя извѣстный химическій и механическій процессъ. Пряжа или миткаль, выброшенные этимъ чудовищнымъ организмомъ, какъ сѣмя вѣтромъ на листкѣ, переносится на разстояніе въ суднѣ по морю, обмѣнивается съ другимъ продуктомъ, оборачивается деньгами и строитъ новую особь, подобную родительницѣ. Процессъ органическій.

1) Чѣмъ онъ отличается отъ грубо-естественнаго возрастанія? Количественно только степенью участія человѣческихъ силъ. Я бросилъ сѣмя, и тѣмъ кончилъ свое участіе; при благопріятныхъ климатическихъ условіяхъ, оно само пойдетъ, взойдетъ, выростетъ, дастъ плодъ. Я не довольствуюсь посѣвомъ, я озабочиваюсь доставленіемъ и благопріятныхъ условій, поливаю, окутываю и т. д. Количественное участіе человѣка въ сооруженіи бумагопрядилки и выдѣлки пряжи будетъ состоять только въ степени. Но оба процесса безконечно различны качественно. Бумагопрядилка есть совершенно новая особь въ природѣ, не имѣющая себѣ прямого родоначальника, есть созданіе, не гончая собака или англійскій скакунъ, которые, при всемъ своемъ отличіи отъ прародителей, воспроизводятъ ихъ-же субстанцію, представляя только большее или меньшее видоизмѣненіе. Субстратъ другой, и онъ есть произведеніе мозга, говоря матеріалистическимъ воззрѣніемъ.

2) Подъ какими условіями совершается жизнь этихъ необыкновенныхъ особей, особей, которыхъ природа, оставленная себѣ, не знаетъ, и которыхъ она не умѣетъ произвести? А она можетъ произвести. Что говорю, можетъ? Да она ее и производитъ. Вѣдь возможно-же представить, что все, совершенное при участіи человѣка, сооружено сырыми силами вѣтра, тяжести, тепла и прочихъ физическихъ дѣятелей, такимъ ихъ

сочетаніемъ, послѣдствіемъ которыхъ явилась именно бумагопрядилка. Наводненіе обточило валы, землетрясеніе ихъ подняло и т. д.: всѣ дѣятели, которыхъ сочеталъ человѣкъ, сочетались случайно и случайно-же произвелась Аркрайтова машина. Это дико, никогда этого не произойдетъ. Мы согласны, но нѣтъ основанія, что не можетъ произойти: физическая возможность есть. Но не произойдетъ по другой причинѣ, что дѣйствуетъ тутъ не физическая причина, а другая, духовная, не только безконечно различная отъ физической, но безконечно другая. Слѣпая природа улучшитъ шакала въ собаку, повинуясь условіямъ среды, но Аркрайтовой машины не произведетъ. Произведетъ-ли она еще изъ рыбы четвероногое, и даже изъ обезьяны человѣка?

Слѣдовательно, первое условіе для искуственныхъ организмовъ-производителей, назову ихъ механическими, есть присутствіе духовной силы, которая одна ихъ раждаетъ и воспроизводитъ. Второе условіе — духовная-же среда, общество. Производство машины превосходитъ силы не только одного человѣка, но силы одного поколѣнія. Изобрѣтенію ея должно предшествовать множество болѣе элементарныхъ изобрѣтеній, выработаться множество понятій, которыя черезъ слово должны войти въ умственное достояніе человѣчества. Однимъ словомъ, производителей можно раздѣлить на сырыхъ и культурныхъ по происхожденію, случайныхъ и предустановленныхъ по назначенію. Послѣднее опредѣляетъ ихъ *качество*, по которому одинъ производитель есть и растетъ по себѣ, другой кромѣ того и *для другого*. А отсюда возникаетъ:

3) Цѣлый *міръ нуждъ*, тоже человѣческихъ и тоже общественныхъ и тоже предполагающихъ культуру. Между значеніемъ общества и культуры для происхожденія и для назначенія производителей разница та, что причина дѣйствующая предполагаетъ реальность, а конечная есть идеальная: нужда существуетъ въ предположеніи, о чемъ уже было отчасти говорено. А потому производство не только удовлетворяетъ существующимъ нуждамъ, но и вызываетъ новыя. Совершается

взаимнодѣйствіе. Вопросъ о саморостѣ. Сейчасъ сказанное поясняетъ, что органическій процессъ можетъ совершаться не только въ мірѣ сырой природы, но и въ мірѣ общественной культуры. Въ образецъ представлены машины. Но не одна машина являетъ саморостъ, и не машина только воспроизводитъ органическое въ обществѣ. Все общество есть организмъ. Обмѣнъ матеріи, совершающійся въ индивидуумѣ, тѣмъ самымъ совершается и въ собирательной единицѣ множества индивидуумовъ, образующаго общество. Обмѣнъ матеріи въ обществѣ не есть только сумма потребляемыхъ предметовъ или удовлетворяемыхъ потребностей. Жизнь, какъ общественная, имѣетъ свои особенности, благодаря которымъ общество есть организмъ, въ которомъ индивидуумъ есть только членъ, но членъ самодѣятельный, хотя сохраняющій связь съ общественнымъ организмомъ. Эту чудную зависимость слѣдуетъ разсмотрѣть особо.

* * *

Не далѣе какъ вчера я слышалъ, что подъ Москвой нѣкоторые изъ деревенскихъ, изъ настоящей деревни, а не то что подмосковной въ тѣсномъ смыслѣ, покупаютъ *яйца* въ Москвѣ и везутъ въ деревню. Вотъ примѣръ, который годится на случай при разсужденіяхъ о „свободномъ обмѣнѣ“. Что это, невѣжество, лѣнь? Что-бы ни было, но мы имѣемъ дѣло съ психическимъ элементомъ, и слѣдуетъ, что его нельзя опускать изъ вниманія, когда разсуждаютъ объ обмѣнѣ-ли или вообще объ экономическомъ процессѣ.

Другой случай: мужикъ положилъ возъ дровъ везти въ Москву. Случившіеся москвичи просятъ отвезти въ Москву ихъ вмѣсто дровъ. Мужикъ не соглашается. Завтра базаръ.— Но чего стоятъ твои дрова? Мы тебѣ заплатимъ.—Нѣтъ!—Это что такое? Невѣжество, лѣнь? Нѣтъ, это есть нѣчто даже совсѣмъ другое: мужикъ добровольно отказывается отъ выгоды ясной, несомнѣнной, немедленной, чего не можетъ мужикъ не видѣть. Единственное разумное объясненіе можно было-бы придумать въ томъ, что мужикъ обязался поставить кому-нибудь

дрова въ назначенный день и не желаетъ нарушить аккуратность. Но мужикъ этого не объяснялъ. Кромѣ того существуетъ множество однородныхъ, и притомъ всемірныхъ фактовъ. Я въ Рузѣ не могу купить погонъ дровъ, отправляющійся чрезъ меня въ Москву. Въ Коломнѣ ни за какія деньги нельзя было купить рыбу, отправлявшуюся изъ Астрахани въ Москву. Хорошей икры нельзя достать въ Астрахани, апельсинъ въ Каннѣ и, вѣроятно, сигаръ въ Гаваннѣ. Я вывожу отсюда вотъ какое заключеніе: *трудъ добровольно ставитъ себя, любитъ ставить не въ хозяина и обладателя, а въ орудіе.* Базаръ, главный покупатель, для торговца то-же, что̀ машина для рабочаго; равно и всякая рутина имѣетъ то-же. Трудъ подчиняетъ себя ей сознательно, пренебрегая свои выгоды, вопреки прямымъ разсчетамъ. Отчего не оставить часть лучшей икры въ Астрахани и апельсинъ въ Каннѣ? Отбросимъ вѣроятность риска. Риска даже нѣтъ: сейчасъ предлагаютъ деньги, какъ мужику за дрова; но даже предложеніе наличной покупки безсильно. Установившійся путь торговли влечетъ торговца; онъ безсиленъ отъ него оторваться; онъ остается на немъ, движется вмѣстѣ съ нимъ, не находитъ въ себѣ силы съ него спрыгнуть, все равно какъ не въ силахъ прядильщикъ, разъ ставъ у машины, отказаться отъ повиновенія ей. Извольте послѣ того толковать о спросѣ, предложеніи, конкурренціи и тому подобныхъ законахъ, которые тутъ столь грубымъ образомъ нарушаются. Извольте толковать объ эксплуатаціи труда, когда трудъ самъ себя эксплуатируетъ, везетъ сперва икру или рыбу за тысячи верстъ съ тѣмъ, чтобы она воротилась къ нему-же по дорогой цѣнѣ, съ прибавленіемъ приплаты за двойной провозъ и за барышъ московскаго покупателя.

Короче выразиться: сила, выражающаяся въ перечисленныхъ сейчасъ фактахъ, есть сила *косности*, продолжающая влечь, когда двигатель даже отцѣпленъ.

Эскимосъ и Ямайскій плантаторъ, олень и бутылка рома,— вотъ съ чего можно начать разсужденіе о свободномъ обмѣнѣ.

Вопросъ, касающійся этого пункта, формулируется кратчайшими словами такъ:

Вѣрно-ли, что при обмѣнѣ обѣ стороны равно выигрываютъ?

Поставляя такой вопросъ, мы отстраняемъ предположеніе о болѣе или менѣе грубой эксплуатаціи, гдѣ, напримѣръ, мѣдное кольцо продаютъ за золотое. Нѣтъ, будемъ говорить о совершенно правильной торговлѣ.

Вѣрно-ли? Да, вѣрно, если дѣло идетъ о биржѣ, и притомъ такой, какова лондонская. Но въ чемъ эта обоюдная выгода при обмѣнѣ?

Я отдаю что у меня есть лишняго, получаю въ чемъ я нуждаюсь. Прекрасно, но надобно, чтобы для обоюдности оба эти условія равно существовали, чтобы я отдавалъ дѣйствительно лишнее и пріобрѣталъ дѣйствительно нужное. Замѣтимъ это и оставимъ разысканія о нуждѣ и излишествѣ, къ которымъ вернемся. Въ чемъ-же однако тутъ выгода, и притомъ обоюдная, гдѣ-же тутъ въ товарѣ *Mehrwerth* и откуда она явилась? Я отдалъ хлѣбъ и получаю сапоги, но тотчасъ раздумалъ и несу сапоги кому-нибудь, кто ихъ обмѣняетъ на свой лишній хлѣбъ; величины сами по себѣ остаются равными, предполагая условія, что та и другая имѣютъ одинаковую стоимость, потребовавъ для себя одинаковое количество работы. Равенство, положимъ, есть, но выгоды еще не видно. Выгода не сводится-ли единственно къ *скорости*, къ преодолѣнію времени и разстояній? Если-бы я не нашелъ готовыхъ сапогъ, долженъ-бы употребить на выработку ихъ время, гораздо, конечно, большее, нежели спеціалистъ; или если-бы готовые сапоги росли гдѣнибудь на деревѣ, или вмѣсто сапогъ мнѣ надобны апельсины, я долженъ туда брести, гдѣ они растутъ, и опять терять. А мой лишній хлѣбъ, оставаясь безъ призора и употребленія, тѣмъ временемъ загніетъ. Слѣдовательно, обмѣнъ способствуетъ скорѣйшему обращенію запаса въ дѣло, производительному употребленію труда, выводу капитала изъ мертваго состоянія.

Здѣсь бросается въ глаза противоположное значеніе времени. Вино чѣмъ долѣе стоитъ, тѣмъ болѣе возвышается въ цѣнности, домашнее животное, произрастеніе, съ каждымъ днемъ наращаетъ себѣ цѣнность. А съ нашими сапогами и хлѣбомъ совершается обратное: они теряютъ, когда лежатъ. Противорѣчіе кажущееся. Время необходимо для созрѣванія, но время же разрушаетъ и вообще, и въ частности, когда созрѣваніе кончилось. Дерево начинаетъ рыхлѣть, быкъ терять нѣжность мяса, о винѣ неизвѣстно, но непремѣнно есть предѣлъ, гдѣ созрѣваніе оканчивается, и цѣнность если не идетъ впередъ, то останавливается. Хлѣбъ, ссыпанный въ зернѣ, уже достигъ зрѣлости, сапоги сшитые — тоже. Не только хлѣбъ, но и сапоги переживаютъ тотъ-же процессъ, что замѣчаемъ въ быкѣ или произрастеніи. Матеріалъ подъ руками сапожника растетъ, зрѣетъ. Такимъ образомъ, самая работа есть наращеніе процента на матеріалъ, который всетаки есть капиталъ. Въ моментъ зрѣлости обмѣнъ подхватываетъ издѣліе и обращаетъ туда, гдѣ оно даетъ новый плодъ.

Мимоходомъ вопросъ: слѣдовательно, трудъ наращиваетъ стоимость? Само собою разумѣется, да. Но наращиваетъ на бо̀льшую сумму, чѣмъ самъ стоитъ? Опять да, потому что не по воздуху махалъ, а имѣлъ дѣло съ капиталомъ, въ видѣ матеріала и средствъ производства, которыя обладаютъ внутреннею способностью самонаращенія, именно благодаря обмѣну, посредствомъ котораго сапогъ уравнивается съ теленкомъ, аршинъ холста съ яблокомъ или другимъ саморастущимъ произведеніемъ.

Обращаемся къ обмѣну. Есть выгода, и обоюдная; она не мгновенна, мгновенно она только реализуется, но есть результатъ прошлаго. Процентъ, наращавшійся въ теченіе выдѣлки сапогъ и выработки хлѣба, получаетъ въ моментъ обмѣна свою валюту. Но равная-ли для обѣихъ сторонъ выгода?

Право рабочихъ на долю хозяйскихъ барышей, повидимому, самое святое. Но ему противостоитъ существенное возраженіе: а не обязаны-ли они, когда такъ, участвовать и въ убыткахъ?

Разложимъ фабричное производство на элементы: 1) рабочія руки, 2) машины, 3) помѣщеніе, 4) матеріалъ. Рабочія руки и машины величины однородныя, слѣдовательно можно считать три элемента: помѣщеніе, матеріалъ и руки (механическія или живыя). То и другое и третье представляютъ собою капиталъ. Отстранимъ помѣщеніе, какъ величину безразличную. Домовладѣлецъ отдалъ внаймы и получаетъ свой процентъ, притомъ застраховалъ себя. Остаются матеріалъ и рабочія руки. Представителемъ фабриканта или капитала въ тѣснѣйшемъ смыслѣ остается матеріалъ. Машины могутъ имѣть другого представителя и часто въ дѣйствительности имѣютъ. Итакъ, наемная плата за домъ внесена, рабочимъ и машинамъ жалованье уплачено. Матеріалъ обработанъ, но онъ нейдетъ съ рукъ, или имѣетъ на рынкѣ цѣну, непокрывающую издержекъ производства. Кто же отвѣчаетъ? Матеріалъ? Но матеріалъ самъ можетъ быть отдѣленъ отъ производства и имѣть особаго представителя, напримѣръ при аппретурѣ. Фабрикантомъ въ тѣсномъ смыслѣ остается слѣдовательно только распорядитель, слѣдовательно чья-то голова. Повидимому, на него одного и должны пасть убытки. Но однако справедливо-ли? Убытокъ можетъ произойти и отъ 1) матеріала (онъ понизился въ цѣнѣ или недоброкачественъ), 2) отъ машинъ, (которыя могутъ быть плохими, плохо управляться и ремонтироваться) и 3) отъ рабочихъ, небрежно или неумѣло исполняющихъ. Отъ всего этого *можетъ* происходить убытокъ, но какъ его разложить по справедливости? Наконецъ, можетъ убытокъ произойти просто отъ случая: новое изобрѣтеніе убиваетъ старое, прошла мода, предложеніе превышаетъ спросъ и т. п. Во всякомъ случаѣ отвѣтственъ распорядитель, ближайшій и отдаленный, покупщикъ матеріала, распорядитель машинъ, самъ рабочій какъ распорядитель своихъ рукъ, однимъ словомъ отвѣтственность на предпринимателѣ въ обширномъ и тѣсномъ значеніи; ему слѣдовательно и барыши. Руки и машины не отвѣтствуютъ: кто за ними смотрѣлъ, или руководилъ, ихъ выбиралъ? А слѣдовательно, прибыль есть законная премія предпринимателя, какъ такового, подобно какъ рента есть доходъ

собственника, какъ такового. Участіе въ преміи принадлежитъ, слѣдовательно, пропорціонально по мѣрѣ приложенія ума, разсчета, прилежанія и всего менѣе физическимъ рукамъ, какъ таковымъ. Короче сказать, и прибыль и убытокъ принадлежатъ умственной работѣ, *изобрѣтенію*, какъ сказалъ я въ другомъ мѣстѣ. Не участвуя въ распоряженіи, рабочіе не могутъ участвовать и въ прибыляхъ. Допуская ихъ къ прибылямъ, хозяинъ долженъ допускать ихъ и къ распоряженіямъ, а отсюда сталобыть возлагать на нихъ убытки. Осуществимо-ли это? Повидимому да, хотя отчасти, но только путемъ не прямымъ, а обратнымъ, именно идти отъ minimum работной платы, съ преміями для нея въ случаѣ удачи предпріятія вообще или старательности частныхъ лицъ въ частности. Но слѣдовательно, понятно, заработная плата должна быть при этомъ понижена, то-есть возможный убытокъ вычтенъ заранѣе и разложенъ на рабочихъ и распорядителей въ соотвѣтствующей пропорціи. Свободнымъ договоромъ трудно этого достигнуть, и если когда будетъ осуществлено, то развѣ путемъ законодательнымъ, потому что 1) заработная плата вообще растетъ, и 2) сама по себѣ едва покрываетъ нужды, такъ что отдѣлять на страхъ нечего. Иначе сказать, рабочій не согласится добровольно на такую сдѣлку.

Обратимъ еще вниманіе на трудность, которая представляется для правомѣрнаго распредѣленія прибылей и убытковъ. Вообразимъ себѣ, что собрались капиталисты и рабочіе, положимъ, для производства пряжи. Капиталъ предлагается въ милліонъ рублей; рабочихъ тысяча человѣкъ, и ихъ годовая работная плата, положимъ, равняется двумъ стамъ тысячамъ. Они оцѣниваютъ себя изъ стоящаго на рынкѣ размѣра процентовъ, положимъ, въ 4 милліона. Рабочіе и капиталисты выберутъ сообща руководителей дѣла. По существу, прибыль, а равно и убытокъ главною долею должны отчисляться: 1) на распорядителей, 2) на живыя руки, и наконецъ уже 3) на бездушный капиталъ, который въ сущности есть только матеріалъ въ данномъ случаѣ и орудіе. Но тогда 1) капиталъ совсѣмъ лишается своихъ процентовъ, то-есть становится безконечно дешевле, нежели на

рынкѣ, и поэтому не пойдетъ на предпріятіе, 2) главная отвѣтственность ляжетъ на тѣхъ, кто не имѣетъ чѣмъ отвѣтить, то есть на распорядителей, на умственный трудъ, у котораго нѣтъ капитала. Разложить на тѣхъ, кто ихъ выбиралъ? Но въ какой мѣрѣ это справедливо? Тогда нарушается основной принципъ, и тогда сами рабочіе лишаются права на барыши-ли, убытки-ли и остается въ тѣхъ и другихъ тотъ, кто ихъ нанялъ, собралъ. Словомъ, тяжесть отвѣтственности и благо выгоды обращается на одного предпринимателя, словомъ, возстановляется теперешнее положеніе.

* * *

Заработокъ и доходъ. Заработокъ, понятно, то, что сработано; доходъ—то, что при работѣ пріобрѣтено даровою силою, земли-ли, капитала-ли, рента или процентъ, все равно.

Заработокъ долженъ быть пропорціоналенъ усиліямъ, на трудъ положеннымъ. *А*=мускулы, умъ, словомъ, рабочій. Сколько *А* положено? Нужно взять механическій законъ,—массу и время, своего рода пудофутъ. Та же сила не можетъ произвести болѣе того, что есть сама въ себѣ, иначе какъ съ растяженіемъ времени. Итакъ, переводя на экономическій языкъ, рабочій при извѣстномъ напряженіи и времени долженъ отъ вѣка производить ту-же равную стоимость, заработокъ долженъ быть тотъ-же нынѣ, какъ вчера, здѣсь, что за океаномъ. А такъ-ли? Нѣтъ. То-ли даетъ мужику 10 часовой трудъ, что англійскому рабочему съ одной стороны и лапландцу съ другой, за трудъ того-же времени, того-же напряженія и, прибавлю, того-же качества? То-ли даетъ, что давалъ въ XIV столѣтіи тому-же мужику? Другими словами, ту-ли сумму и тѣхъ-ли же благъ можетъ онъ купить за 10 часовой трудъ? Нѣтъ, тамъ и тогда меньше, здѣсь и теперь больше.

Итакъ, *заработокъ* въ *общемъ* возвышается. Даже при меньшей заработной платѣ въ цивилизованной странѣ рабочій получаетъ больше, нежели въ варварской странѣ и въ прежнія времена (что впрочемъ въ существѣ то-же: лапландецъ есть тоже, что мужикъ древности).

А *доходъ?* Возвышается-ли? Что касается *процента*, то онъ *понижается* вмѣстѣ съ прогрессомъ; это, кажется, внѣ сомнѣнія. Но рента повышается, въ этомъ также нѣтъ сомнѣнія; то есть то-же пространство даетъ больше благъ, нежели давало. Но больше какъ? Безотносительно, или относительно? Если она поднимается безотносительно, то стало быть и относительно, по крайней мѣрѣ капитала, потому что процентъ понижается; а стало быть и относительно труда, который вѣчно въ одномъ положеніи, даетъ то, что̀ онъ даетъ.

Подойдемъ съ другой стороны. Можетъ производиться и производится болѣе, нежели потребляется,—капиталъ. Но капиталъ, этотъ остатокъ, или потребляется непосредственно, слѣдовательно, увеличиваетъ сумму довольства, или употребляется на производство, слѣдовательно, увеличиваетъ не только на настоящее, но и на будущее время. Не служитъ къ общему довольству капиталъ только, когда онъ хранится. Потому что, если онъ потребляется, то онъ не съѣдается-же обладателемъ въ томъ видѣ, въ какомъ полученъ, и не бросается въ огонь. Пріобрѣтаются вещи, слѣдовательно вызывается производство и поощряется трудъ. Все зависитъ отъ степени и направленія. Посмотримъ, какъ это совершается.

Я получаю капиталъ, какой—все равно, и откуда—все равно. Я его отдаю, кому—все равно, но для котораго вопросъ тотъ-же, что̀ для меня: куда его дѣвать? И наконецъ, первый-ли, второй-ли или десятый пріобрѣтатель пускаетъ на производительное употребленіе, какое—опять все равно. Но результатомъ того, что онъ пущенъ въ оборотъ, является, что сумма полезныхъ вещей, благо, увеличивается не только на сумму капитала, но плюсъ—на его процентъ, съ которымъ повторяется та-же исторія.

Но я капитала не отдаю и не потребляю. Что-жъ я дѣлаю? Храню? Это возможно, но это будетъ значить, что я его истребляю. Въ чемъ будетъ состоять этотъ капиталъ? Въ полѣ, домѣ, товарѣ? Но товаръ загніетъ и обезцѣнится, поле зарастетъ, домъ рухнетъ. Но, положимъ, домъ еще я могу самъ

потреблять, то есть жить въ немъ; во всякомъ случаѣ я лишаю общество благъ на ту сумму, которую я удерживаю. Наоборотъ, пуская въ оборотъ, я обогащаю общество. Чѣмъ-же я пользуюсь самъ? Могу ничѣмъ, то есть только увеличивать цифирно свое богатство, то есть пустивъ капиталъ, потомъ пустивъ процентъ съ капитала, потомъ процентъ съ процента: всѣмъ существенно пользоваться буду не я, а другіе. Но предположимъ, что я пользуюсь, *проживаю* доходъ: этимъ что я дѣлаю? Ѣсть и пить я могу больше, пожалуй даже до пресыщенія; но этотъ видъ потребности имѣетъ свои предѣлы. Могу надѣвать двѣ шубы вмѣсто одной, хотя этого никто не дѣлаетъ. Если-же ограничиваюсь только тѣмъ, что *имѣю* двѣ шубы, то отношеніе мое входитъ въ категорію уже разобранную выше, то есть держу мертвый капиталъ.

Но я могу возвысить свое потребленіе *качественно*, лучше кушать, пить дорогое вино, держать прислугу, лошадей и проч. Въ этомъ и состоитъ преимущественно все пользованіе капиталиста. Однако въ этомъ случаѣ на половину я употребляю свой капиталъ также производительно и точно также поощряю трудъ, положимъ, парижскаго портного или токайскаго винодѣла. Я ничего не похищаю у общества и въ частности у труда, за исключеніемъ рукъ, способныхъ быть производительными, а у меня употребляемыхъ на занятія лакеямъ, кучерамъ и т. под. Для общества результатъ этой жизни тотъ-же, что при храненіи богатства плюсъ отвлеченіе производительныхъ рукъ отъ работы. Я ни у кого ничего не отнимаю, отнимаю лишнюю возможность увеличенія лишнихъ благъ, но не отнимаю какія нибудь готовыя блага.

Въ окончательномъ итогѣ выходитъ что-же? Во первыхъ, главная бѣда не *неравномѣрность* распредѣленія богатствъ, а если такъ выразиться—монархическій режимъ въ распоряженіи ими. Ими распоряжается капиталистъ или собственникъ, давая имъ такое, а не другое направленіе, болѣе или менѣе полезное въ общемъ прогрессѣ, и никому въ частности не наносящее обиды и труду въ томъ числѣ. Одинъ увеличиваетъ производитель-

ность, а слѣдовательно и богатство, выпиваніемъ шампанскаго, другой—распахиваніемъ поля; но вѣдь и шампанское въ какомъ нибудь отдаленномъ концѣ обращается въ распахиваніе. Вопросъ сводится на посредственность и непосредственность результатовъ и во всякомъ случаѣ къ вліянію на общее благосостояніе, а не частное того или другого, или чью нибудь обиду.

Съ другой стороны попробуемъ упразднить упомянутый монархическій режимъ. Допустимъ, что нашли возможнымъ выдѣлить чистый заработокъ отъ его прироста, даваемаго даровыми силами, и возложили распоряженіе этимъ приростомъ на общественныя плечи. Но какъ? Совѣщательнымъ порядкомъ выборныхъ? Не будутъ-ли управлять опять лица? Не возобновится-ли старый порядокъ, только въ другомъ видѣ? Будетъ распоряжаться А вмѣсто Б. Рабочій-же нисколько не выигрываетъ: каждый получитъ то-же, что получаетъ, потому что каждый и безъ того получаетъ болѣе, чѣмъ вырабатываетъ. Отнимается у капиталиста или собственника лишь возможность беречь безъ толка, пить шампанское, держать лошадей и шить новомодные фраки. Но что-же черезъ это? Или предметы роскоши должны совсѣмъ исчезнуть, или-же будетъ кто нибудь другой роскошествовать. Въ послѣднемъ случаѣ то-же шампанское будетъ опять пить распорядитель; только лицо будетъ другое, а существо дѣла останется то-же. То-же оно останется, если совсѣмъ прекратятся: шампанское, рысаки и новомодные фраки. Войдетъ только своего рода запретительный тарифъ, упраздняющій одинъ видъ промышленности, поощряющій другое. Положеніе-же рабочаго вообще не измѣнится. Но нельзя не ожидать громадной разницы въ смыслѣ содѣйствія прогрессу. Предпріимчивость, если не умретъ, то ослабнетъ; изобрѣтательность заснетъ. Однимъ словомъ, то-же самое, что̀ съ казеннымъ управленіемъ промышленными заведеніями, гдѣ личная выгода перестаетъ быть двигателемъ.

Утверждали, что процентъ есть премія за воздержаніе: это справедливо лишь отчасти; процентъ есть приростъ или приходъ естественный, и откуда еще не слѣдуетъ, чтобы полу-

чатель процента пользовался какой нибудь премiей, кромѣ возможности прибавить лишнюю цифру къ счету своего капитала. Премiя начинается съ того момента, когда капиталистъ начинаетъ проживать процентъ, употреблять его на себя. Но эта премiя есть скорѣе премiя за управленiе, за предпрiимчивость, премiя за то, что капиталъ не зарывается въ землю. Пуская его въ оборотъ, хотя-бы для своего чрева, капиталистъ ублажаетъ себя, но благодѣтельствуетъ и другимъ. Въ какой кому степени, равномѣрно-ли и всѣмъ-ли по заслугамъ, и ему самому въ частности? Но съ экономической точки зрѣнiя на это отвѣтъ невозможенъ. Мы имѣемъ предъ собою естественно-историческiй фактъ, и съ естественно-исторической точки онъ правомѣренъ. Каковъ онъ будетъ съ психической, съ нравственной стороны, это вопросъ другой. Но нечего и задавать его экономисту. Экономистъ можетъ спрашивать развѣ о томъ, должна-ли экономическая жизнь оставаться со своими законами, или справляться съ нравственностью и имъ подчиняться? Но въ такомъ случаѣ экономическая жизнь даже возможна-ли, не упраздняется-ли она въ существѣ?

* * *

Зерно посѣянное даетъ черезъ годъ 10, 15 и болѣе зеренъ. Что это?

Самоумноженiе, *доходъ*, матерiальная прибавка.

Совершилось это внутренней жизнiю зерна. Дѣломъ человѣка или труда было:

подставить органическую особь подъ такiя физическiя условiя, которыя способствуютъ его внутреннему (само)возрастанiю.

Оставимъ *мѣсто*, которое есть общее условiе для всѣхъ производствъ и для самого человѣка. Имѣемъ:

1) *внѣшнихъ*, общихъ физическихъ дѣятелей (свѣтъ, воздухъ, тепло);

2) *почву*, дающую ближайшiй матерiалъ.

Итакъ 1) *дѣятели* и 2) *матерiалъ*.

Тряпка кладется въ рольный ящикъ и черезъ пять часовъ выходитъ *листомъ бумаги*, веществомъ новымъ, убавившимся въ вѣсѣ, но увеличеннымъ въ цѣнности, такъ что за единицу бумаги даютъ 5, 6 единицъ тряпки.

Совершилось самоумноженіе, *доходъ*, безъ матеріальной прибавки, даже съ уменьшеніемъ.

Процессъ тотъ-же. *Матеріалъ* подставляется *физическимъ дѣятелямъ*. Но разница:

а) Совершается не *приращеніе*, а *превращеніе*.

б) Дѣятели не атмосферные, всегда для всякаго готовые, а *искуственно устроенные*, механическіе.

в) Самъ первоначальный матеріалъ только въ отдаленномъ началѣ есть непосредственное произведеніе самой себѣ оставленной природы, то-же зерно (льняное), а есть плодъ того-же искуственнаго сочетанія силъ и матеріаловъ, какъ и листъ бумаги, который изъ него выйдетъ.

Здѣсь все—*приготовленное*, тамъ все—*готовое*. Но и тамъ можетъ быть все или почти все приготовлено. Почва накладена; искуственное тепло (въ теплицѣ) и орошеніе; самое мѣсто: зерно переносится изъ другого мѣста.

Разница неистребимая всетаки остается.

Тамъ естественно-органическій процессъ; здѣсь подражаніе ему обмѣномъ матеріи чрезъ искуственное сосредоточеніе и сопоставленіе механическихъ и химическихъ дѣятелей.

И здѣсь и тамъ, въ сущности, ничего не прибываетъ и не убываетъ, а только превращается. Прибываетъ лишь одинъ видъ на счетъ уменьшенія другого обмѣномъ матеріи. Въ одномъ случаѣ прибавочность состоитъ въ простомъ умноженіи количества, въ другомъ—увеличеніемъ годности, безъ матеріальнаго приращенія. Или: годное само въ себѣ увеличивается въ своемъ числѣ. Негодное или ненепосредственно годное пріобрѣтаетъ годность или увеличивается въ ней.

Природа не заботится о произведеніи годностей для человѣчества, примѣнительно къ его числу, его вкусамъ и его размѣщенію. Она производитъ годное, но не всегда и не вездѣ

въ такомъ количествѣ, въ какомъ требуетъ человѣкъ, и не всегда въ готовомъ видѣ, въ какомъ нужно. Многаго она и вовсе не производитъ готовымъ.

Содѣйствіе природѣ къ изготовленію нужнаго человѣку въ количествѣ и видѣ, которые онъ находитъ нужными, совершается самимъ человѣкомъ.

Дѣятель есть его *умъ*.

Орудіе—*рука*, совершеннѣйшее изъ орудій природы.

На что простирается содѣйствіе человѣка? На все, начиная съ общихъ физическихъ дѣятелей: человѣкъ можетъ сосредоточивать ихъ, размѣщать, приводить въ дѣйствіе и останавливать.

Представимъ себѣ, что природа производитъ только нужное для человѣка и въ томъ количествѣ и видѣ, въ какомъ ему нужно, подаетъ ему готовымъ.

Это и есть цѣль человѣчества: освобожденіе отъ труда.

То-же есть и цѣль индивидуума: получить готовое благо.

Если произведенія, нужныя человѣку, назвать вещественнымъ благомъ, то въ каждомъ, стало быть, различается *степень* его готовности быть употребленнымъ, и она можетъ быть разсматриваема съ двухъ сторонъ: а) внѣшней *близости* по времени или мѣсту къ желающему пользоваться, б) внутренней *зрѣлости*.

Такъ какъ нѣтъ произведенія, зрѣлость котораго не зависѣла-бы отъ природы, и нѣтъ произведенія, которому нельзя-бы было содѣйствовать для его готовности трудомъ, по крайней мѣрѣ въ смыслѣ *приближенія*, то различимы степени участія, принимаемаго тѣмъ и другимъ дѣятелемъ въ каждомъ произведеніи.

Таково различіе по *происхожденію*. Затѣмъ, по *назначенію* произведенія могутъ различаться степенью, въ какой угождаютъ потребностямъ и вкусамъ. Одна потребность сильнѣе другой; та-же потребность можетъ удовлетворяться въ различной степени не количественно только, а качественно (сытное просто, сытное и вкусное).

Сравненіе въ сказанныхъ отношеніяхъ имѣетъ мѣсто, пока человѣкъ одинъ остается предъ природою и ея благами. Эко-

номія начинается и въ этомъ состояніи; сравненіе есть оцѣнка. Она выражается въ предпочтеніи, которое выражается въ свою очередь частію выборомъ для употребленія, частію береженіемъ. Какой-же законъ расцѣнки въ этихъ условіяхъ?

Болѣе цѣнно то, что полнѣе и пріятнѣе удовлетворяетъ.

Болѣе цѣнно то, что готовое (ближе и зрѣлѣе).

Первое понятно само собою. Но второе противорѣчитъ обыкновеннымъ понятіямъ. Слѣдуетъ, что *дорого* то, *что не требуетъ труда.* Напротивъ, менѣе цѣнно то, для добыванія чего мнѣ необходимо употребить усиліе, разумѣется, при предположеніи, что обѣ вещи совершенно равно удовлетворили-бы и притомъ ту-же потребность. Я цѣню усиліе, которое долженъ употребить, а не вещь. Вещь имѣетъ свою реальную цѣнность: во первыхъ внутреннюю, безотносительную (зрѣлость), во вторыхъ относительную (къ моему аппетиту). Но я цѣню свою силу, свое здоровье, свою жизнь; это есть высшее для меня, и я не хочу ихъ издерживать. Въ душѣ моей происходитъ своего рода обмѣнъ и торговля. Получаю пищу, отдаю силу. Принимая пищу безъ затраты силъ, я увеличиваю свой капиталъ. Затрата его уменьшаетъ и слѣдовательно уменьшаетъ цѣнность потребленной вещи на всю сумму затраты.

Хозяйство возможно и бываетъ даже въ одинокомъ состояніи. Для этого не нужно воображать Робинзона, и достаточно вспомнить христіанскихъ пустынниковъ. Живетъ въ лѣсу, питается кореньями, частію ягодами, можетъ пріучить оленя или козу; сколочена хижина; звѣриная шкура—и постель и одежда, и пр. и пр. Здѣсь понятія о богатствѣ еще нѣтъ, хотя своего рода есть избытокъ. Дѣятели экономическіе предъ природою: физическія силы и физическія потребности, и надъ ними умъ, обоихъ господинъ. Стоимость и цѣнность мерцаютъ лишь въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ и въ ихъ отношеніяхъ къ природѣ.

Но является *второй человѣкъ.*

Если мѣста и произведенія природы вдоволь, силы обоихъ равны и потребности одинаковы, это то-же одинокое состояніе.

Два пустынника, изъ которыхъ каждый одинокъ, не завися отъ другого и не нуждаясь. Но а) окружающій міръ въ смыслѣ готовыхъ благъ можетъ быть тѣсенъ и скуденъ,

б) силы обоихъ неодинаковы и

в) потребности разныя.

Отсюда начинается экономическая игра. Вступаютъ новыя условія:

а) соперничество,

б) обмѣнъ и предполагаемое обоими

в) усвоеніе.

Соперничество можетъ доходить до изъявленія двухъ требованій на одну вещь въ данномъ мѣстѣ и въ данное время. Оно предполагаетъ одинаковость потребностей и скудость готовыхъ благъ.

Обмѣнъ предполагаетъ разность силъ и потребностей и разность окружающей природы.

Обмѣнъ есть и первое *раздѣленіе* благъ.

При обмѣнѣ каждый отдаетъ лишнее и получаетъ необходимое (недостающее).

Правильный обмѣнъ предполагаетъ съ обѣихъ сторонъ равныя цѣнности, но разнородныя. Безъ того обмѣнъ не имѣетъ смысла.

Что-же служитъ мѣрою или уравнителемъ?

Одна *нужда*.

Мнѣ нужно овса, сосѣду—ячмень. Оба товара предназначены къ удовлетворенію однородной потребности и матеріально доступны они тожественному измѣренію (вѣсомъ или объемомъ). Мнѣ нужнѣе овесъ, нежели сосѣду ячмень: во столько разъ уменьшеннымъ количествомъ овса довольствуюсь я.

Или: мнѣ овесъ менѣе нуженъ, то есть болѣе излишенъ, чѣмъ сосѣду овесъ: новое пониженіе цѣны ячменя.

Но мнѣ нужнѣе овесъ, чѣмъ сосѣду ячмень. За то въ ячменѣ у меня не такое излишество, какое въ овсѣ у сосѣда.

Этимъ сравненіемъ нуждъ балансируется мѣна и устанавливается *цѣна*, то есть сравненіе съ какою нибудь третьей равнодушной единицей.

Трудъ, степень готовности товара, издержки производства, словомъ *происхожденіе* не имѣетъ здѣсь самостоятельнаго значенія. Товаръ при мѣнѣ уже является готовымъ и даже излишнимъ. Степень труда, необходимаго на производство, имѣетъ значеніе лишь рефлективнаго, и опять въ зависимости отъ нужды. Не то опредѣляетъ возвышеніе или пониженіе цѣны, сколько *потрачено* силъ на производство, а сколько потребуется ихъ на возстановленіе товара, если онъ мнѣ будетъ самому нуженъ. Опять овесъ и ячмень. Добывка ячменя мнѣ стоила вдвое болѣе трудовъ, нежели сосѣду добывка овса. Обстоятельства этого я не принимаю въ соображеніе и отдаю дешево ячмень потому, что онъ мнѣ не нуженъ. Я отдаю его и еще дешевле, если предполагаю, что за продажею всего ячменя я буду имѣть его задаромъ саморослый, и онъ мнѣ притомъ равно будетъ не нуженъ, какъ и теперь. Но я *предвижу*, что онъ *будетъ* мнѣ нуженъ, и добывка его будетъ стоить мнѣ большихъ трудовъ: я удерживаюсь отъ продажи или цѣну возвышаю на столько, на сколько затруднительнымъ предполагаю удовлетвореніе мной *предвидимой* нужды. Напротивъ, сколько-бы ни предвидѣлось труда на возстановленіе ячменя, но когда я не предвижу въ немъ нужды, всетаки я отдамъ его по прежнему, дешево. Старомодный сюртукъ, и притомъ изъ матеріи, которой уже достать нельзя, я продамъ всетаки дешево, потому что онъ мнѣ не нуженъ теперь и не будетъ нуженъ послѣ; нужды нѣтъ, что онъ мнѣ обошелся дорого.

Итакъ, реальный, совершившійся трудъ собственно не имѣетъ значенія, а оказываетъ вліяніе на цѣну трудъ предполагаемый въ будущемъ на возстановленіе товара и притомъ въ зависимости отъ нужды.

Оттого, какъ я сказалъ уже въ другомъ мѣстѣ, производитель или трудъ всегда проигрываетъ, а потребитель выигрываетъ. Потому что издержки производства уже совершившійся фактъ, котораго нельзя взять назадъ или умѣрить, какъ потребность еще неудовлетворенную. За то, съ другой стороны, при обмѣнѣ каждый изъ мѣняющихся непремѣнно и выигры-

ваетъ, выигрываетъ какъ потребитель. Каждый получаетъ вещь, которой *не* могъ-бы самъ произвести или могъ-бы произвести, потративъ слишкомъ много силъ и времени. Мнѣ эта вещь безконечно дорога или очень дорога, а между тѣмъ я ее получаю за ничто или почти за ничто. Уже въ этомъ, потребительскомъ смыслѣ, оба выгадываютъ. Но бываетъ большею частію, что выгадываютъ оба даже какъ производители. Излишество, въ какомъ-бы его ни принимать видѣ, экстенсивномъ или интенсивномъ (т. е. болѣе чѣмъ нужно или вовсе не нужно, потому что нѣтъ на эту статью у меня потребности), связывается большею частію съ легкостью пріобрѣтенія. Слѣдовательно, каждый даетъ, что ему легко, слѣдовательно, дешево (безъ потраты жизненныхъ силъ) досталось, и получаетъ, что̀ ему досталось-бы съ трудомъ, слѣдовательно, дорого, безъ этого обмѣна.

Слѣдовательно:

1) Я продаю, а тѣмъ менѣе получаю, не трудъ, а благо, которое нахожу для меня нужнымъ.

2) Дороже всего я цѣню свою жизнь, здоровье, силы и только въ этомъ смыслѣ я цѣню трудъ, то есть еще не проявившійся.

3) Трудъ уже совершившійся, затрату силы уже сдѣланную, я цѣню столь-же мало, какъ и обыкновенный экскрементъ.

Поэтому-то происхожденіе высшаго блага, трудомъ-ли оно добыто или даровано готовое природою, обезразличивается. Самородная-ли рожь или посѣянная,—экономическое достоинство ея равно. Трудъ, издержки производства имѣютъ значеніе для одного производителя лично, и притомъ до той поры, пока они не произведены; общественной стоимости они не имѣютъ никакой, если только само общество не разсматривать, какъ производителя.

Сопротивленіе и его виды. Оно можетъ быть *пассивное* и *активное*. По крайней мѣрѣ есть различіе между *добычей* и *выработкой*.

Два конечные пункта: *индивидуумъ* (человѣческій) и *вселенная*.

Что нужно индивидууму? *Что* можетъ дать вселенная? Перспектива безконечнаго прогресса.

Готовыя блага и *непосредственныя* нужды. Травоядное существованіе въ тропическомъ климатѣ. Перспектива безконечнаго однообразія, когда-бы къ нуждѣ въ *питаніи* не присоединялась нужда половая, а отсюда неизбѣжность *воспроизведенія*.

Въ *воспроизведеніи* первый задатокъ *взаимослуженія* (кооперації и раздѣленія труда).

Нужды, условливаемыя *питаніемъ* и *воспроизведеніемъ*, остаются навсегда, составляя глубочайшее дно всѣхъ нуждъ.

Косность — первое сопротивленіе, представляемое готовыми благами, второе — *случайность* ихъ размѣщенія.

Задача, поставляемая индивидуумомъ: съ *меньшимъ* напряженіемъ достигнуть *лучшаго* удовлетворенія. Внутренняя борьба: сравненіе видовъ и степени напряженія, видовъ и степеней удовлетворенія. Первый зародышъ и *цѣнности* и *стоимости*.

II.

Мѣстность и *семья*. а) *Мѣстность* — первое проявленіе *случайности*, косное: ограниченные виды питанія. Оно переходитъ въ *потенцированную* случайность, падающую въ категорію времени: сегодня не походитъ на завтра (бури, землетрясеніе и т. п.).

б) *Семья* заключаетъ въ себѣ возможность другой семьи, и съ нею осложненія пассивныхъ сопротивленій косной природы активнымъ — силъ другой или другихъ семей. Выводъ: *внѣшняя* борьба, съ двумя представляющимися путями: на углубленіе въ косную природу и на преодолѣніе живого соперничества. Случайность, вступающая въ міръ самихъ потребителей: разная сила размноженія, болѣзни, неодинаковая крѣпость организма.

Борьба соперничествъ преодолѣнная и а) въ фактѣ и б) въ побужденіяхъ, съ направленіемъ общихъ силъ къ преодолѣнію мѣстной природы и углубленію въ нее, образуетъ:

III.

Общество. И его начало и его продолженіе совершается подъ вліяніемъ тѣхъ-же случайностей. Личная отвага, личная изобрѣтательность (случайная и неравномѣрная). Смиреніе слабаго передъ сильнымъ—законъ большинства. Это можно назвать активнымъ моментомъ общественной жизни, который впадаетъ другою стороною въ косность и управляется ею. Общественный организмъ стремится уподобиться механическому равновѣсію природы и избавить себя отъ активности. Такъ существуютъ всѣ общества; *contrat social* есть поклепъ на человѣчество.

Общество расположено не просто въ мѣстности, а на *территоріи.* Является отношеніе къ ней, пробѣгающее разныя степени, причемъ постоянно остаются дѣйствующими активный починъ индивидуумовъ и косное произрастаніе массъ. Появленіе *производства* и *мѣны.* Готовыя блага исчезаютъ, сокращаясь сначала въ воду, воздухъ и свѣтъ, затѣмъ прекращаютъ общедоступность и этихъ условій существованія. На мѣсто природы является общество, блага получаются не непосредственно изъ рукъ природы, а *черезъ* общество, и *благо* принимаетъ видъ *капитала.*

* * *

Сама *природа* обращается въ *капиталъ.* Потому что всѣ вещи обращаются въ собственность и въ томъ числѣ земля, вода, воздухъ и свѣтъ. Воздухъ и свѣтъ покупаются, за пользованіе ими, какъ водой, платятъ (государству или компаніямъ).

Во-вторыхъ, всѣ вещи, не исключая воздуха, являются дѣланными искуственно: самобытное исчезаетъ все.

Блага являются въ видѣ также *капитала.* Не только одежда и домъ, даже пища, вмѣсто готоваго банана или почти готоваго молока, является въ видѣ хлѣба, прошедшаго сквозь руки пахаря, мельника, транспортировщика, повара, ресторатора. Молоко и фрукты одни удерживаютъ часть непосредственности. А одежда! А домъ!

Человѣкъ остается *потребителемъ*, но *производителемъ* непосредственно перестаетъ быть. Хлѣбъ пекла печь, мололъ муку жерновъ, сѣяла соха, борона, сѣялка. Производство чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе превращается въ *духовное творчество*, которое одно и получаетъ право на титло истиннаго производителя. Производитель есть Ваттъ, Аркрайтъ, Эдиссонъ, затѣмъ инженеръ, архитекторъ и авторъ. Мускулы обращаются въ части машины, и весь міръ въ искуственный механизмъ.

Непосредственное отношеніе человѣка исчезаетъ не только въ отношеніи къ благамъ и природѣ, но даже къ капиталу и даже къ деньгамъ, которыхъ самостоятельность упраздняется *кредитомъ*. Цѣлые полсвѣта со всѣми его благами укладываются въ боковомъ карманѣ.

Условность, подтвержденная всеобщимъ, частію открытымъ, частію подразумѣваемымъ соглашеніемъ (косность), есть законъ, которому повинуются всѣ міровыя отправленія. Клочекъ бумаги за подписью Ротшильда способенъ произвести дѣйствіе, равное землетрясенію: производить всю цѣпь условій, въ силу которыхъ дѣйствіе этого клочка отразилось на мужичкѣ деревни Вантеевки Малоархангельскаго уѣзда, на его спинѣ, высѣченной за недоимку, ребенкѣ, захворавшемъ отъ скудной пищи, и исправникѣ, получившемъ благодарность начальства.

Марксъ красиво изобразилъ логическій процессъ капитализма. Но онъ ограничился а) почти одною мануфактурною промышленностью, удѣливъ сравнительно мало вниманія земледѣлію и ровно ничего интеллектуальному міру; б) беретъ одну страну, нужды нѣтъ, что образцовую, но судьба ея есть звѣно въ цѣпи другихъ. При опредѣленіи *прибавочной стоимости* онъ предполагаетъ готовыми матеріалъ и машины, начиная съ пункта, гдѣ приставленъ къ нимъ рабочій. Но отправимся выше: посмотримъ на корабельщика, привезшаго хлопокъ, на плантатора, который его собралъ, и негра, который его воздѣлалъ. Марксъ упоминаетъ, правда, о колоніальномъ хищеніи, составившемъ богатство Англіи, но въ своей картинѣ забываетъ американскаго негра и китайскаго кули. Попробуемъ-ка, однако,

приложить и къ нимъ ихъ право на полный заработокъ, пропорціонально рабочимъ часамъ,—много-ли останется не только для рабочаго, но и для капиталиста Великобританіи? Не одинъ капиталистъ, но и рабочій черезъ него эксплуатируетъ и грабитъ негра и малайца. Если собственность должна быть общая, то не одной Англіи, а всего міра. Марксъ—международной основатель, спора нѣтъ, но международность понимается въ смыслѣ частныхъ отношеній между хозяевами и рабочими цивилизованныхъ странъ. Развернемъ проповѣдуемое начало во всю широту и покроемъ имъ земной шаръ, не исключая ни одного въ свѣтѣ хозяина, ни одного въ свѣтѣ рабочаго: капиталистическій процессъ представится въ иномъ видѣ. „Крупная собственность пожираетъ мелкую и подъ конецъ экспропріаторы экспропріируются". Какъ? Во всемъ мірѣ? Не смотря на разнообразіе промышленностей? По большей мѣрѣ можно представить, что будетъ одинъ прядильщикъ на весь міръ, одинъ ткачъ, наконецъ и одинъ землевладѣлецъ. Вотъ къ чему долженъ идти процессъ поглощенія, и логически, тѣмъ путемъ, какимъ идетъ Марксъ, необходимо для перехода въ обратную экспропріацію, чтобы одинъ сосредоточилъ у себя и всѣ виды богатства. Это совершенная ахинея, противорѣчащая другому основному закону капиталистическаго производства—дробленію труда, неотрицаемому Марксомъ, напротивъ имъ самимъ признаваемому за одинъ изъ основныхъ законовъ.

Истина заключается именно въ одновременномъ движеніи производства по двумъ этимъ направленіямъ: во первыхъ—разложенію производства на составныя его части, изъ которыхъ каждая отвоевываетъ свою самостоятельность, а чрезъ это централизуется, то есть поглощаетъ мелкія промышленности, идя путемъ, такъ сказать, обобщенія, но сохраняя взаимность съ другими, соотносительными частями или моментами производства. Короче сказать, прогрессъ въ капитализмѣ идетъ путемъ абстрагированія, разложенія живого, конкретнаго, цѣлостнаго производства на отвлеченное, разрозненное само въ себѣ, мертвое. Цѣнности для производства имѣютъ значеніе не своими

потребительными годностями, а отвлеченными качествами. Для того, чтобы испечь хлѣбъ, нужно тепло, и для того, чтобы наутюжить платье и согрѣть комнату. Тепло отвлекается отъ этихъ трехъ употребленій и сосредоточивается, а я, капиталистъ, берусь отпускать тепло всѣмъ тремъ потребителямъ. Примѣръ швейцарскихъ часовъ слишкомъ извѣстенъ, но тамъ каждый рабочій имѣетъ дѣло всетаки съ опредѣленною вещью, опредѣленнымъ издѣліемъ, пусть лишеннымъ непосредственной живой потребности, но имѣющимъ отношеніе къ одному опредѣленному виду стоимости—часамъ. Но аппретурная, напримѣръ, машина равнодушна, что̀ ей дадутъ гладить. И въ часовомъ производствѣ возможно (да и будетъ) употребленіе такихъ орудій, которыя будутъ, напримѣръ, одни закаливать, равнодушныя къ тому, для часовъ-ли это пружина, для вагоновъ-ли рессора, другія—вычерчивать шестерни, опять равнодушныя къ ихъ назначенію. Закаливать будутъ въ Лидсѣ, вычерчивать въ Нью-Йоркѣ. Вотъ отвлеченное производство! До чего оно можетъ дойти, даже воображеніе безсильно нарисовать. Можетъ дойти до разложенія экономическихъ дѣятелей на самые простые физическіе дѣятели, въ родѣ тепла и электричества (что̀ уже и есть), и на самые общіе механическіе: будетъ производство, ограниченное проведеніемъ по чему-нибудь прямыхъ линій, другое—кривыхъ; будутъ дѣйствовать на разстояніяхъ;—да я и не знаю, что̀ будетъ. Это процессъ заразъ и спеціализаціи и обобщенія, но спеціализаціи и обобщенія не по живымъ признакамъ, а по отвлеченнымъ.

Просмотрѣвъ это направленіе прогресса, точнѣе сказать—не придавъ ему того первенствующаго, всеуправляющаго значенія, которое въ сущности ему принадлежитъ, Марксъ осудилъ себя на неизбѣжную односторонность, а слѣдовательно химеричность. Процессъ капитализма есть процессъ постепеннаго и постояннаго омертвѣнія и отвлеченія, а вмѣстѣ и чрезъ то самое—процессъ постояннаго и постепеннаго препобѣжденія интеллектуальныхъ силъ надъ матеріальными. Само матеріальное, всѣ матеріальныя отношенія, становятся исполнителями,

придатками, орудіями интеллектуальныхъ силъ въ производствѣ; движеніе матеріальнаго прогресса есть движеніе идеализаціи. Къ чему оно придетъ отъ настоящаго, дѣйствительно, во многомъ и для многихъ бѣдственнаго положенія? Діалектика процесса построится иначе, нежели у Маркса. А именно:

I. Отношеніе непосредственное (благъ къ человѣку).

II. Посредственное (процессъ разложенія конкретныхъ благъ и идеализаціи).

III. Побѣжденная посредственность и идеализація, возвращеніе къ непосредственному пользованію благами, но подъ единственнымъ управленіемъ интеллектуальныхъ силъ, съ полнымъ не только освобожденіемъ, но съ упраздненіемъ матеріальнаго мускульнаго труда.

Какъ все построеніе тогда измѣняется! Человѣчество живетъ теперь въ серединѣ второго періода, знаменательнаго между прочимъ, что дѣятелями и элементами являются не только не непосредственныя блага и непосредственные агенты, но даже не капиталъ, а уже деньги и кредитъ. Отвлеченные знаки самого капитала и его владыки!

* * *

Умственная экономія.

Есть умственный *трудъ*, умственныя *произведенія* и даже умственный *капиталъ*.

Такъ какъ и матеріальное производство все одушевлено, и умъ есть начальный двигатель самыхъ рукъ, и есть въ матеріальномъ производствѣ элементы, гдѣ руки даже не участвуютъ (надзоръ и изобрѣтеніе), то въ тѣсномъ смыслѣ умственность труда, произведеній и капитала опредѣляется точнымъ образомъ потребностями, которымъ они служатъ и которыя нематеріальны. Произведенія искуства и науки — таковы произведенія умственныя. Они суть умственныя, духовныя блага, параллельныя матеріальнымъ, назначенныя для питанія души, какъ тѣ для питанія тѣла. Они имѣютъ цѣнность и слѣдовательно также входятъ въ составъ богатства.

Какъ и матеріальныя, они бываютъ естественныя, готовыя, и — созданныя трудомъ. Красивое мѣстоположеніе имѣетъ цѣнность, независимую отъ его матеріальной доходности и возвышающія ее.

Общество имѣетъ цѣнность, и среди образованныхъ людей жить, за это можно заплатить лишнее, при равенствѣ всѣхъ остальныхъ удобствъ.

Иное слово буквально дороже золота, и за него охотно платятъ.

Глубочайшая особенность духовнаго блага та, что наслаждающійся имъ не потребляетъ его; отъ него не убываетъ ничего, сколько-бы ни пользовались, особенно когда оно прочно воплощено въ матеріальномъ выраженіи. Слово Гомера питаетъ такъ-же, какъ и питало тысячу лѣтъ назадъ, и напитавъ милліоны людей, способно питать еще сотни милліоновъ, оставаясь тѣмъ-же. Отъ того:

1) Ни одно матеріальное издѣліе неспособно такъ цѣниться дорого, какъ созданіе умственное. Пѣвецъ собираетъ въ одинъ часъ то, что̀ можетъ быть произведено въ видѣ матеріальнаго блага десятками тысячъ рабочихъ рукъ въ нѣсколько лѣтъ. Книги и газеты расходятся въ сотняхъ тысячъ и милліонахъ экземпляровъ и воспроизводясь продолжаютъ сохранять цѣнность.

2) За то никакой другой трудъ неспособенъ погибать такъ безвозвратно, такъ истощать невознаградимо силы, при всей своей цѣлесообразности. Десятки лѣтъ мысленнаго труда могутъ окупиться дешевле труда землекопа, и даже вовсе не окупиться, идти въ чистую потерю силъ. Законъ здѣсь выдерживается тотъ-же, общій. Сколько положено труда на созданіе, это для цѣнности безразлично. Сколько труда предлагается въ обмѣнъ на готовое созданіе, вотъ чѣмъ рѣшается цѣнность. Удовольствіе слышать Патти я цѣню въ десять рублей за часъ. То есть, я даю за часъ наслажденія, готовъ дать такое-то количество рабочихъ часовъ, употребленныхъ мною для полученія десяти рублей. Не трудъ производителя, а трудъ потребителя есть рѣшающая сторона, мѣра, мѣритель.

Задаютъ вопросъ: производительны-ли умственныя профессіи? Вопросъ этотъ отрицаю въ самомъ основаніи. Онъ предполагаетъ, что вся дѣятельность человѣка должна быть направлена на добывку физическаго пропитанія и только то оправдано въ общественной жизни, что́ даетъ или прибавляетъ матеріальный кормъ. Но почему-же такъ? Почему даже не обратно? Почему не спросить: посѣвъ картофеля питателенъ-ли для души? Умственная жизнь есть самостоятельное благо и самостоятельная цѣнность; соотношеніе умственной и матеріальной экономіи существуетъ и должно быть опредѣлено, но опредѣлено какъ отношеніе двухъ зависимыхъ, но самостоятельныхъ сферъ. Жизненная сила затрачивается, между прочимъ, трудомъ, и возстановляется питаніемъ въ разныхъ смыслахъ, между прочимъ и духовнымъ. Питаніе духовное есть даже высшая окончательная цѣль самаго матеріальнаго прогресса.

* * *

Когда разсуждаетъ К. Марксъ о рабочихъ часахъ, онъ разсуждаетъ какъ необразованный рабочій, а не какъ политико-экономъ или не какъ соціологъ (потому что политико-экономъ до нѣкоторой степени предполагаетъ филистера), — словомъ, не какъ ученый. Онъ торжествуетъ побѣду фабричнаго закона, но не какъ гигіенистъ, а какъ антикапиталистъ. Чему-же однако тутъ радоваться, вотъ что непонятно. Капиталистъ крадетъ рабочіе часы, и у него законодательнымъ путемъ уменьшаютъ этой кражи. Дѣло представляется такъ, и Марксъ торжествуетъ. Но дѣло совсѣмъ не такъ. Я выгналъ муху въ окно, когда двери отворены: изъ-за чего я буду радоваться? Уменьшеніе рабочихъ часовъ тогда достигаетъ цѣли, когда плата остается неизмѣнною. А развѣ не въ волѣ капиталиста уменьшить плату въ мѣру уменьшенія часовъ? Слѣдовательно, вся операція въ экономическомъ смыслѣ является химерою. Иное дѣло вопросъ санитарный. У Маркса и проскальзываетъ мысль, что за сведеніемъ работы къ 10 часамъ послѣдовало уменьшеніе платы, но такъ это вскользь и осталось, тогда какъ отъ головы столь

остроумной и столь способной мыслить ожидалось-бы, что она остановится на экономическомъ значеніи явленія. Съ точки зрѣнія, на которую Марксъ себя поставилъ, необходимо добиваться не только уменьшенія рабочихъ часовъ, но *рабочей таксы*. По правдѣ сказать, удивительно, почему на этомъ не агитируютъ, или агитируютъ такъ мало, хотя забастовки изъ-за платы и бываютъ.

Главу о *кооперації* нахожу вообще слабою. Она пытается найти въ кооперації прибавочную стоимость и объяснить ее механически. Но механически кооперація ничего не прибавляетъ и неспособна прибавить. Трудъ числа рабочихъ, раздѣленныхъ на время, вотъ механическій законъ, и результатъ совершенно равный, десять-ли рабочихъ въ одинъ часъ или одинъ рабочій въ десять часовъ. Если одинъ рабочій проработаетъ болѣе десяти часовъ, то причина будетъ уже не механическая, а какая-нибудь другая, именно психическая. А это даетъ мѣсто совсѣмъ другимъ выводамъ. А именно, во-первыхъ, если капиталистъ пользуется здѣсь прибавочною стоимостью, то слишкомъ малою, и именно настолько, насколько рабочій забываетъ, что онъ наемный рабочій; словомъ, прибавочная сила кооперації обратно пропорціональна выгодамъ капиталистическаго производства, и ужъ никакъ не слѣдовало ставить ее въ пику капиталисту. Вопросъ о кооперації стоитъ раньше капитала; это есть общій, основной вопросъ экономіи, и онъ дѣйствительно заслуживаетъ изученія, но иного, какъ и о раздѣленіи труда, гдѣ предвижу тоже односторонность.

Исключеніе психологическаго элемента составляетъ вообще капитальный недостатокъ Маркса и сообщаетъ его положеніямъ односторонность и даже прямо ложность. Отъ такъ называемой имъ *потребительной стоимости* онъ отдѣлался съ первыхъ строкъ и совершенно произвольно, равно произвольно признавъ единственною субстанціею стоимости *трудъ*. Сдѣлалъ-ли онъ это лемматически, то-есть заимствовавъ у Смита и Рикардо? Все равно, и совершенно неосновательно. Основательнѣе сказать, что трудъ вовсе не есть субстанція стоимости. Отчасти

у меня было это объяснено. Прекрасный примѣръ нахожу у самого Маркса. Стоимость есть *вѣсъ*, и дѣйствительно вѣсъ, только не физическій. Вѣсъ есть обнаруженіе тяжести, какъ и стоимость обнаруженіе тяжести. Но тяжесть опредѣляется не самимъ тѣломъ вѣсомымъ, а земнымъ центромъ, куда оно тянется. Этотъ центръ для стоимости есть человѣческій аппетитъ, алчность, даже не потребность, а потребность ощущаемая, субъективное чувство потребности. Но впрочемъ здѣсь и оканчивается сходство. Вѣсъ опредѣляется плотностью, и въ вѣсѣ экономическомъ соотвѣтствовалъ-бы труду, но не соотвѣтствуетъ. Экономическій вѣсъ ближе сравнить съ проявленіемъ магнитности. Трудъ способенъ дать вещи притяжимость, но не самъ по себѣ, а вниманіемъ своимъ къ аппетиту. Марксова точка зрѣнія приложима была-бы къ твореніямъ искуства, къ непотребляемымъ созданіямъ человѣчества, и именно съ этой художественной точки. Стоимость Шекспира и Аверкіева равняется размѣру воплощеннаго генія, но для экономической оцѣнки безразлично, сколько труда положено въ вещь, обладающую стоимостью и сравниваемую по стоимости. Нельзя даже сказать, чтобы трудъ давалъ вещи стоимость. Стоимость ей присуща, съ тѣхъ поръ и покуда передъ природою и среди природы стоитъ человѣкъ. Но она можетъ быть болѣе или менѣе развернута и выражена болѣе или менѣе положительно. Свѣтъ, воздухъ повидимому даровыя условія, а не совсѣмъ даровыя; они покупаются, когда ихъ не достаетъ, и они способны къ измѣренію, когда они въ достаткѣ. Воздухъ Мадеры и свѣтъ итальянскаго солнца очень большая стоимость для художника и чахоточнаго, и они покупаются, хотя обратнымъ путемъ, нежели обыкновенныя. Какъ Магометъ къ горѣ, такъ и художникъ съ чахоточнымъ придвигаются къ дорогимъ для нихъ стоимостямъ, не имѣя возможности притянуть ихъ къ себѣ. Рѣка есть даровой способъ сообщенія, но онъ перестанетъ быть даровымъ, когда рѣка засорится, а вслѣдствіе того и въ незасоренномъ видѣ она есть стоимость, стоимость въ будущемъ, даровая для нашего времени, но не для человѣчества. Категорія времени вообще несправед-

ливо пренебрегается экономистами, тогда какъ время не только въ своемъ проявленіи, но въ своемъ абстрактѣ и въ антиципаціи есть одинъ изъ существенныхъ факторовъ и даетъ бытіе цѣлому явленію *кредита*. Но въ кредитѣ, тѣсно понимаемомъ, категорія времени только выступаетъ осязательно, и притомъ отвлекаясь, тогда какъ во всякой экономической сдѣлкѣ скрывается кредитъ, даже въ такой операціи, какъ въ срываніи яблока съ дерева или отправленіи моемъ изъ кабинета въ столовую къ обѣду. Это опять психическій элементъ, это опять основаніе всей экономіи. Она и начинается съ предположенія, съ образа, котораго реальности еще не существуетъ, къ предустановленной *цѣли*, что́ и даетъ начало труду и за нимъ всякому производству.

Марксъ съ особенною силою настаиваетъ, что капиталистъ покупаетъ рабочую силу, а не трудъ. Невѣрно. Капиталистъ *нанимаетъ* рабочую силу, и этимъ отличается капиталистическое производство отъ рабства, и притомъ въ древнемъ его видѣ, то-есть съ правомъ жизни и смерти. А если только *нанимаетъ*, то слѣдовательно покупаетъ только проявленіе рабочей силы и слѣдовательно трудъ опредѣленнаго времени. Становясь на ту естественно-историческую или механическую точку зрѣнія, на которой стоитъ авторъ, имѣемъ право элементъ, заключающійся въ живой силѣ труда, приравнять ко всякому дѣятелю экономической жизни, напримѣръ къ машинѣ, и чтобы ближе было сравненіе, къ лошади. Я нанялъ лошадь на день, нанялъ рабочаго. Гдѣ-же разница? Въ качественности труда? Но я еще нанялъ машину, которая качественно исполняетъ то же, что́ рабочій, потому что у нея искуственные пальцы. Гдѣ же различіе? Стоимость, слѣдовательно, рабочаго времени должна быть усчитываема такъ же, какъ лошади или машины, а тогда падаетъ самое главное основаніе и вся система, падаетъ положеніе, что сущность стоимости есть *трудъ*, то есть человѣческій. Почему-же не сказать, что эта сущность есть паръ или еще лучше вода и уголь? Потому-ли что вода и уголь должны быть

принесены? Но принести пустое мѣсто не будетъ стоимость. Если опредѣлить стоимость по генетическому, а не практическому значенію, сведеніе всего къ человѣческому труду будетъ не только односторонне. Представимъ наблюдательный умъ, но принадлежащій не къ человѣческому роду, который-бы откуда нибудь, положимъ съ луны, посмотрѣлъ на земное производство. какъ мы смотримъ на муравейную кучу. Что-бы онъ увидалъ? Увидалъ-бы систему рычаговъ въ движеніи. Желѣзная дорога съ машинистомъ и кочегарами, подвозка матеріала къ зданію, паровщики, прядильная машина, прядильщики, все явилось бы въ безразличномъ видѣ, какъ намъ при наблюденіи всякаго физическаго процесса, особенно физіологическаго. Старый примѣръ о спорѣ желудка съ руками. Почему будемъ сводить весь процессъ къ одному органу? Отсюда выходятъ очень важныя послѣдствія. А именно, какъ мы уже и прежде сказали, управляющею въ экономическомъ процессѣ есть цѣль, *потребленіе*, а не средство или производство, которое существуетъ только ради своей цѣли; и слѣдовательно сущностью не трудъ. По крайней мѣрѣ не съ него надобно начинать, тѣмъ менѣе на немъ останавливаться. Основаніемъ стоимостей есть *потребимость*, то есть степень потребимости, а не количество труда. Второе послѣдствіе, отсюда вытекающее, то, что задачи, вытекающія изъ неправильнаго распредѣленія богатствъ, и самое понятіе о неправильности имѣютъ основаніе нравственное, а не экономическое въ тѣсномъ смыслѣ, то есть не физическое.

Посмотримъ однако, какъ станетъ дѣло, если расцѣнить рабочую силу, ограничиваясь однимъ физическимъ или механическимъ процессомъ, откидывая нравственную сторону. Я нанимаю лошадь на день. Что я плачу за нее? 1, Средства ея прокормленія, 2, процентъ погашенія ея стоимости.

Meyer 1, 189. По поводу Productiv-Associationen in Gewerkvereinen приводится мнѣніе, что раздѣлъ прибыли на дивидендъ капитала и дивидендъ работы есть *ложный принципъ*, потому что рабочій получаетъ лишнее не за прилежаніе и

сметливость, а за свой вкладъ; а стало быть это и нейдетъ къ сообществамъ, которыя стремятся избавить рабочихъ отъ Lohnverhältniss.—Выходитъ стало быть, что производство должно быть безъ капитала, на воздухѣ и изъ воздуха.

Система Bonus'овъ Борхерта дѣйствительно есть комедія; рабочій получаетъ премію соразмѣрно своему Lohn'у. Ну, стало быть Lohn долженъ понизиться въ ту-же мѣру.

Meyer говоритъ:

Kathedersocialisten обсуждаютъ дѣло исторически. Въ связи съ историческимъ обсужденіемъ стоитъ воззрѣніе на предметъ, отличное отъ манчестерской школы. Послѣдняя разсматривала человѣческое хозяйство лишь съ безличной, естественной и матеріальной стороны, и потому подчинило трудъ, какъ одну изъ сторонъ производительной силы, такъ называемымъ, безусловнымъ и вѣчнымъ хозяйственнымъ законамъ. Новѣйшая школа приписываетъ хозяйству человѣчески-нравственный характеръ и требуетъ потому слѣдующаго. Такъ какъ-де хозяйственная жизнь есть только часть всеобщей жизни человѣчества и должна совершаться въ гармоніи съ высшею духовною и религіозною жизнію, то и хозяйственные законы должны дѣйствовать не абсолютно и абстрактно, а въ созвучіи съ высшими законами общественной жизни. И далѣе,—что до сихъ поръ положеніе рабочаго было холодно безличное: въ глазахъ предпринимателя рабочій былъ просто рабочею машиной; а новая школа требуетъ, чтобы предприниматели смотрѣли на свое отношеніе къ рабочимъ не какъ на юридическое договорное отношеніе, а вмѣстѣ и какъ на нравственное.

Huber 342, равно и *Wagener:* два дѣятеля—капиталъ и трудъ. Капиталъ долженъ получить свой процентъ, трудъ свою плату, а прибыль должна быть между ними раздѣлена, и вступиться государство въ ихъ споры.

362. *Meyer* считаетъ Германію земледѣльческимъ государствомъ и требуетъ ему, какъ таковому, покровительства предъ возрастающею индустріею.

400. Приближается къ моей мысли объ артеляхъ. И въ частности—о призрѣніи.

Вотъ буквальныя слова Лассаля:

„Мѣдный, экономическій законъ, опредѣляющій заработную плату при нынѣшнихъ отношеніяхъ, подъ властію предложенія и спроса на работу, состоитъ въ томъ, что средній размѣръ заработной платы остается всегда на уровнѣ необходимаго жизненнаго продовольствія, которое, согласно усвоенной народомъ привычкѣ, требуется для продолженія существованія и для воспроизведенія. Дѣйствительный заработокъ постоянно тяготѣетъ къ этому пункту, подобно качающемуся маятнику, не будучи никогда въ состояніи на долгое время ни подняться выше, ни опуститься ниже. Онъ не можетъ на продолжительное время подняться выше этого уровня, ибо тогда послѣдовало-бы благодаря легчайшему и лучшему положенію рабочихъ умноженіе браковъ между рабочими и воспроизведеніе рабочихъ, умноженіе рабочаго населенія и, слѣдовательно, предложенія рукъ, которое снова понизитъ заработокъ на прежнюю ступень. Заработокъ не можетъ надолго и упасть ниже этого необходимаго продовольствія, ибо тогда послѣдуютъ выселеніе, безбрачіе, воздержаніе отъ дѣторожденія и наконецъ произведенное нищетою уменьшеніе числа рабочихъ, вслѣдствіе чего понизится предложеніе рабочихъ рукъ, и заработокъ снова возвысится до прежняго состоянія“.

Слѣдовательно: народонаселеніе всегда пропорціонально средствамъ продовольствія, или: существующихъ средствъ продовольствія всегда достаточно для существующаго населенія. Иначе, понятно, и не можетъ быть: чтобы жить, необходимо продовольствоваться. Но это пусть и „мѣдный законъ“, но вовсе не Мальтусъ и Рикардо, и не имѣетъ исключительнаго отношенія къ заработной платѣ. Теорія Мальтуса ложна совершенно.

„Народонаселеніе прибавляется въ геометрической пропорціи, а средства въ ариѳметической“. И та и другая половина неосновательны. Населеніе *можетъ* умножаться въ геометрической пропорціи, при благопріятныхъ, понятно, обстоятельствахъ, а не то, что *умножается*; это совсѣмъ иное. Иначе-бы земной шаръ давно имѣлъ милліарды милліардовъ населенія. А если такъ, то и средства продовольствія *могутъ* умножаться геометрически, и умножаются тамъ и въ той-же пропорціи, гдѣ умножается населеніе. Если въ Америкѣ (примѣръ Мальтуса) населеніе въ 25 лѣтъ удвоилось, то, стало быть, удвоилось и продовольствіе: не съ луны-же оно брало пищу. Въ другихъ странахъ населеніе медленнѣе прибываетъ: стало быть и продовольствіе прибываетъ медленнѣе. Что̀ отъ чего происходитъ, гдѣ причина, гдѣ слѣдствіе, это вопросъ другой. Но самый законъ изложенъ ложно, и, слѣдовательно, теорія изъ него выведенная, какая-бы ни была, никуда не годится.

„Населеніе постоянно держится на уровнѣ продовольствія“: вотъ настоящій законъ, если угодно въ новой, третьей редакціи. Я бы сказалъ (да это и дѣйствительно такъ): продовольствія всегда больше, чѣмъ нужно для населенія; но это отвлечетъ меня отъ прямого вопроса. Достаточно указать, какія средства употребляются для достиженія упомянутаго уровня, и какими обстоятельствами онъ поддерживается. 1) Дальнѣйшею разработкою естественныхъ богатствъ. 2) Уменьшеніемъ числа населенія. 3) Сокращеніемъ питанія. Воздержаніе отъ браковъ и дѣторожденія занимаетъ весьма умѣренное, можно сказать— послѣднее мѣсто. Напротивъ, мы знаемъ, что индѣецъ доволенъ нѣсколькими зернами риса, еврей питается цѣлую недѣлю одною селедкою. Стало быть, если предположить производительность природы даже неподвижною, растяжимость природы человѣческой сумѣетъ къ ней примѣниться, не насилуя естественнаго стремленія къ воспроизведенію, а стало быть даже не ведя за собою уменьшенія численности, какъ необходимаго послѣдствія. Мы знаемъ, что Ирландія во время самаго бѣдственнаго состоянія плодилась ужасно и доросла до 9 милліоновъ. Представимъ

себѣ, что производительность природы достигла даже послѣдней точки. Будетъ это или нѣтъ когда, не знаемъ, но логически не только возможенъ, но требуется предѣлъ, за которымъ уже невозможно приращеніе производительности. Люди даже перебрались частію на воздухъ, частію на воду, чтобы уберечь послѣдній кусокъ земли, способный дать произрастеніе. Отселѣ природа даетъ единообразное количество. Но что-же происходитъ, при сохраненіи той-же склонности къ произведенію себѣ подобныхъ, въ человѣчествѣ? Постоянный моръ? Ничуть. Пожалуй, и постоянный моръ; но прежде, вслѣдствіе уменьшеннаго питанія, родъ человѣческій будетъ мельчать; чѣмъ онъ мельче, тѣмъ меньше требуется питанія; чѣмъ меньше питанія, тѣмъ мельче. Наконецъ, если угодно, тѣмъ короче жизнь при томъ-же числѣ. Если при милліардѣ населенія средняя продолжительность жизни, положимъ, 50 лѣтъ, она можетъ сократиться на 20 лѣтъ и даже менѣе, люди могутъ дойти до величины блохи. Итакъ, здѣсь самые предѣлы сокращенія безконечны и способы сокращенія разнообразны; но законъ одинъ: средствъ продовольствія всегда хватитъ для населенія и даже всегда будетъ болѣе, чѣмъ нужно, разумѣется, принимая весь родъ человѣческій, а не часть его или, тѣмъ менѣе, единицы.

Теперь о заработной платѣ. Мѣдный законъ, какъ онъ выраженъ Лассалемъ, хочетъ сказать то, что рабочій получаетъ менѣе того, что онъ сработалъ, и это именно благодаря заработной платѣ и благодаря существованію спроса и предложенія. Въ сущности законъ даже въ томъ видѣ, какъ онъ значится у Мальтуса и Рикардо, къ спросу и предложенію не имѣетъ отношенія. Это новый членъ, введенный въ умозаключеніе. Раздѣлимъ мысленно человѣчество на спрашивающихъ и предлагающихъ. Большое или малое количество запроса равнозначительно будетъ большему или меньшему количеству продовольствія относительно числа рабочихъ или, все равно, населенія вообще. Слѣдовательно, нечего впутывать тутъ внутреннія отношенія рабочихъ къ капиталистамъ. Вообразимъ вмѣсто капиталистовъ сундуки съ продовольствіемъ или участки земли съ готовыми

произведеніями. Меньше населенія, достанется каждому больше изъ этихъ сундуковъ или участковъ, или наоборотъ. Это естественно; введеніе понятій о спросѣ и предложеніи затемняетъ дѣло. Главный смыслъ въ томъ, что рабочій получаетъ *только* то, что нужно ему для поддержанія жизни и воспроизведенія себя въ дѣтяхъ, а вырабатываетъ больше. Но изъ того, какъ выраженъ законъ, этого еще не видно. Чтобы рѣшить вопросъ, больше-ли вырабатываетъ рабочій, чѣмъ зарабатываетъ, должно условиться напередъ, въ какомъ смыслѣ понимается *больше:* больше чѣмъ можетъ, или больше чѣмъ нужно (для удовлетворенія первыхъ потребностей)? Больше чѣмъ *можетъ* въ данное количество времени и при данныхъ силахъ рабочій выработать не *можетъ*. Хотя это тождесловіе, но необходимо его повторить. Если рабочій можетъ выработать только пять фунтовъ въ день, то при равенствѣ прочихъ условій онъ не можетъ выработать шесть. Если онъ вырабатываетъ шесть, то причина уже не въ немъ, а во внѣшнихъ обстоятельствахъ: другое мѣсто, другое время, другое состояніе общественности: при кооперації и раздѣленіи труда, при болѣе плодородной землѣ, лучшихъ условіяхъ свѣта и тепла. Слѣдовательно, избытокъ вовсе не заслуженъ; понятно—равно какъ и недостатокъ.

Или больше чѣмъ *нужно?* Но нужда эластична. Самъ Лассаль прибавляетъ „согласно усвоенной народомъ привычкѣ“. Почему народомъ, не человѣчествомъ, не индивидуумомъ? Китайцы, отъ которыхъ не знаютъ какъ отдѣлаться американцы, получаютъ гораздо болѣе, чѣмъ нужно по ихъ привычкѣ. Американецъ же, получая то-же, только удовлетворяетъ первыя потребности; а сто лѣтъ назадъ эта-же заработная плата покрывала бы и вторичныя потребности и даже оставляла мѣсто сбереженію. Итакъ—сказать, что получаетъ не болѣе, чѣмъ нужно для первыхъ потребностей, значитъ еще ничего не сказать. Сказано во всякомъ случаѣ, что получается не менѣе. Потребности возрастутъ; согласно со сказаннымъ закономъ, получится опять не менѣе. Сумма заработной платы, стало быть, сама по себѣ не значитъ. Итакъ, если рабочій не зара-

батываетъ всего того, что онъ вырабатываетъ, это значитъ ни болѣе, ни менѣе какъ 1) рабочій не получаетъ того за свою работу, что принадлежитъ не ему, а случайнымъ обстоятельствамъ; 2) не получаетъ того, что для поддержанія его жизни и для воспроизведенія дѣтей ему излишне. Мѣдный законъ оказывается еще не столь несправедливымъ, какъ его выдаютъ. Рабочій желаетъ, или Лассаль считаетъ для него справедливымъ желать, чтобы онъ получалъ въ видѣ заработной платы удовлетвореніе своихъ прихотей или возможность откладывать капиталъ, или и то и другое вмѣстѣ, и притомъ и то и другое *незаслуженно.*

Вотъ о послѣднемъ пунктѣ должна быть поведена новая рѣчь. Въ дополненіе къ *мѣдному закону*, въ видѣ посредствующаго основанія, добавляютъ теорію Смита, что трудъ есть „не только всеобщій источникъ, но единственный точный *мѣритель* стоимости". Но такъ-ли? Объ этомъ въ своемъ мѣстѣ у меня достаточно разъяснено. Трудъ есть источникъ, это такъ (впрочемъ всетаки отчасти), но никакъ не *мѣритель;* мѣритель—польза, потребимость: дуги, которыя гнулъ медвѣдь, не имѣютъ стоимости, точнѣе—цѣнности. Стоимость относительно труда всетаки есть напряженіе, помноженное на время: ткачъ, стоящій у машины, произвелъ всетаки не болѣе того, чѣмъ ткачъ у ручного станка. Проработавшій на черноземѣ въ сутки произвелъ не болѣе того, чѣмъ онъ же или другой равносильный и равноприлежный въ денной срокъ—на пескѣ. Разница принадлежитъ не труду, а въ первомъ случаѣ машинѣ, во второмъ—почвѣ.

Но заслуженно-ли получаетъ капиталистъ разницу, которую заработала машина?—Нѣтъ, незаслуженно, если заслуга принадлежитъ только мускульному труду. Но не слѣдуетъ-ли лошади откладывать весь излишекъ овса, который она помогла рабочему обмолоть на машинѣ, или скосить сѣнокосилкой, сравнительно съ тѣмъ, что онъ скосилъ бы одинъ безъ пособія лошади? Или не потребовать-ли, чтобы воронежскій мужикъ дѣлился съ тверскимъ тѣми избытками хлѣба, которыми онъ одолженъ не своему трудолюбію, а болѣе благодарной почвѣ и благодатной погодѣ? Случайность еще не есть несправедливость.

Задача государства и человѣчества вообще бороться противъ случайностей, предупреждать и побѣждать ихъ; но это вопросъ совсѣмъ другой. Во всякомъ случаѣ соціальная задача переносится совсѣмъ на иную почву, нежели ставятъ ее вожди, подобные Лассалю и Марксу. О ней скажу дальше, а разсужденіе о мѣдномъ законѣ можетъ быть заключено замѣчаніемъ, что европейскій рабочій во всякомъ случаѣ зарабатываетъ *болье*, чѣмъ нужно для первыхъ потребностей: наглядный примѣръ—китайцы. Онъ зарабатываетъ болѣе именно благодаря тѣмъ самымъ машинамъ, которыя гнетутъ его, благодаря тому искуственному построенію окружающей обстановки, вслѣдствіе которой туманная Англія доведена до равенства и даже превосходства съ самыми богато-одаренными странами. Потребности, считаемыя англичаниномъ за первыя, въ существѣ уже не первыя и не вторыя: для готтентота или мадагаскарца онѣ роскошь, изъ-за которой тотъ и другой можетъ быть продалъ бы годъ и нѣсколько лѣтъ жизни. Слѣдовательно, болѣе, чѣмъ заслуженно, получаетъ и капиталистъ и рабочій; въ какой относительно мѣрѣ каждый,—это вопросъ, заслуживающій особаго разсмотрѣнія. Но капиталистъ, если употребляетъ свою прибыль на дальнѣйшее производство, обращаетъ косвенно свое богатство на того-же рабочаго. За капиталистомъ остается одна роскошь и еще легчайшее удовлетвореніе духовныхъ потребностей. Оба обстоятельства заслуживаютъ государственнаго вмѣшательства, не въ видахъ, впрочемъ, уравненія, а въ видахъ педагогическихъ и въ видахъ народнаго блага вообще. Когда же рабочій простираетъ руки къ долѣ избытка, ускользающей отъ него, онъ свидѣтельствуетъ лишь о похоти своей на роскошь (бо́льшую, чѣмъ онъ имѣетъ, ибо прогрессъ съ каждымъ днемъ ее у него самого увеличиваетъ) и на обладаніе капиталомъ, и часто тѣмъ самымъ капиталомъ, на который онъ гнѣвается. Ибо если онъ (или государство вмѣсто его) не употребитъ на роскошь, то долженъ пустить въ оборотъ и повторить капиталиста. Соціалистическое требованіе есть во всякомъ случаѣ забѣганіе впередъ.

Марксъ.

1. Между потребительною и мѣновою стоимостью нѣтъ субстанціальной связи.

„Полезность какой-нибудь вещи для жизни дѣлаетъ ее *потребительною стоимостью*“, и эти „потребительныя стоимости образуютъ вещественныхъ носителей мѣновой стоимости въ капиталистической формѣ общества“. Мѣновая стоимость есть „пропорція, въ какой потребительныя стоимости одного рода мѣняются на потребительныя стоимости другого рода“. Эта мѣновая стоимость можетъ существовать въ различныхъ вещахъ, и потому „субстанція мѣновой цѣнности независима отъ физически осязательнаго бытія товаровъ или ихъ бытности въ смыслѣ потребительной стоимости (ihrem Daseïn als Gebrauchswerth).“

Первое положеніе вѣрно, стоимость для потребленія измѣряется ея пользою, и самая стоимость есть степень пользы, или сравненіе двухъ вещей по этой пользѣ.

Вѣрно и второе положеніе. Одна полезная вещь мѣняется на другую полезную: ихъ сравненіе есть ихъ мѣновая стоимость. Слѣдовательно, прямое заключеніе то, что потребительная и мѣновая цѣнность, въ сущности, тожественны. Именно потому, что потребительная стоимость есть матеріальный носитель мѣновой. По крайней мѣрѣ одна стоимость зависитъ отъ другой и ею условливается. Тѣмъ неожиданнѣе заключеніе, что субстанція мѣновой цѣнности независима отъ потребительной или, какъ выражается Марксъ, отъ „физически осязательнаго существованія товаровъ“. Мѣновая стоимость есть же пропорція, въ какой мѣняются потребительныя стоимости. Словомъ *пропорція* ровно ничего не прибавлено къ умозаключенію. И потребительная стоимость сама въ себѣ есть *пропорція*, то есть пропорція ея пользы въ отношеніи къ другимъ пользамъ или пользамъ другихъ вещей. Въ силу пропорціональности своей она и есть стоимость; безъ того она есть вещественный предметъ и болѣе еще ничего. Но является ея отношеніе къ нуждѣ (потребителя), а отсюда вытекаетъ понятіе стоимости.

Потребительная стоимость мѣняется одна на другую; существенный, новый моментъ является въ томъ, что онѣ мѣняются. Субстанція остается та-же—потребимость. Но потребимость выходитъ изъ состоянія непосредственности. Потребительная стоимость вступаетъ въ зависимость отъ другой потребительной стоимости, и эта зависимость есть ея мѣновая стоимость. Мѣновая стоимость есть потребительная стоимость для другого и посредствомъ другого. Субстанція остается та-же потребительная стоимость, которая и даетъ ей быть стоимостью.

„Независимо отъ физически осязательнаго существованія товаровъ или бытности въ смыслѣ потребительной стоимости". Потребительная стоимость предполагаетъ физически осязательное существованіе вещи; но ея сущность не въ томъ, что она физически осязаема, а въ томъ, что физически осязаемый видъ ея полезенъ. То-же остается и для мѣновой стоимости: физически осязательное существованіе вещи ею предполагается. Сущность ея опредѣляется опять полезностью. Доселѣ различія никакого; различіе начинается съ пропорціи, и притомъ пропорціи одного товара къ другому въ смыслѣ его полезности.

Этотъ разводъ, даваемый Марксомъ двумъ видамъ стоимости, есть только фокусъ, и притомъ самый грубый фокусъ, съ подмѣномъ и неоправданнымъ умолчаніемъ существенныхъ понятій.

2. *Начало (Princip), образующее мѣновую стоимость, субстанція, образующая стоимость, заключается въ работѣ и притомъ въ общественной работѣ; мѣритель этихъ стоимостей есть поэтому общественное рабочее время, необходимое для ихъ произведенія.*

„Какъ потребимые предметы, товары суть вещи тѣлесно различныя. Бытіе ихъ, какъ стоимости (Werthsein), образуетъ ихъ единство. Это единство вытекаетъ не изъ природы, а изъ общества. *Общая* мѣновымъ стоимостямъ *общественная субстанція*, только различно представляемая въ различныхъ потребительныхъ стоимостяхъ, есть *работа*".

Но мѣновая стоимость, далѣе разсуждаетъ Марксъ, образуется не просто индивидуальною работою потому, что индивидуальная работа можетъ производить только потребительную стоимость для самого работника; поэтому не она, а *общественная* работа есть „субстанція мѣновой цѣнности". Подъ общественной работой разумѣетъ Марксъ то множество и тотъ родъ работы, которые, по силѣ мѣняющихся (Wechselnden) соціальныхъ условій производства, необходимы возникновенію какого-нибудь Güterquantum, въ смыслѣ мѣновой цѣны, то есть для рынка.

Примѣч. О томъ, что не работа образуетъ субстанцію стоимости, говорено довольно. Обратимъ вниманіе на то, какъ выскочило такое заключеніе. Стоимость даетъ единство потребительнымъ предметамъ. По просту сказать, стоимость есть общій признакъ потребимыхъ предметовъ. Но въ сущности это белиберда: ихъ общій признакъ есть потребимость. Это уже даетъ единство товарамъ, „тѣлесно различнымъ". Стоимостью вносится въ потребимые предметы новый признакъ или новое свойство, ни мало не прибавляющее единства, которое уже получено подведеніемъ подъ понятіе потребимости. „Стоимость" указываетъ только на новое отношеніе, въ которомъ разсматривается потребимость. Это отношеніе, какъ мы знаемъ, есть сравненіе. Пока нѣтъ сравненія, не возникаетъ понятія и о стоимости; остается только потребимость, пожалуй вмѣстѣ и стоимость, но это будетъ тождесловіе. Остается вопросъ: съ чѣмъ и что сравнивается? Нѣтъ, поступается не такъ.

„Это единство вытекаетъ не изъ природы, а изъ общества". 1) Терминъ „природа" выскочилъ неизвѣстно откуда. Еще сносно было-бы выслушать: это единство вытекаетъ не изъ индивидуума, а изъ общества. 2) Если единство вытекаетъ изъ общества, а оно образуетъ стоимость, стало быть потребительная стоимость не есть стоимость!

Общее мѣновымъ стоимостямъ, общественная субстанція, различно представляемая въ различныхъ потребительныхъ стоимостяхъ, есть *работа*.

Слѣдовательно, пока нѣтъ мѣны, нѣтъ работы! Она становится субстанціей только съ перехода потребительной стоимости въ мѣновую! Потребимыхъ предметовъ единство есть стоимость, а мѣновыхъ стоимостей работа! Работа является общественною, и притомъ субстанціею, потому что она есть общее!—Удивительный произволъ понятій.

И затѣмъ: мѣритель стоимостей *поэтому* есть *рабочее время*. Стало быть работа допускаетъ единственное измѣреніе—*время?* Изъ того что *комплицированную* работу можно разсматривать какъ *потенцированную,* ровно ничего не слѣдуетъ. Это голыя слова. Вопросъ о *качествѣ,* которое совершенно умалчивается. Развѣ оно есть комплицированная работа? Почему?

3) По силѣ раздѣленія общества на имущихъ и неимущихъ, капиталистъ (собственникъ) получаетъ работу на товарномъ рынкѣ, платитъ ея мѣновую стоимость, то есть обиходную жизненную нужду, и распоряжается потомъ ея потребительною стоимостью, т. е. полнымъ доставленіемъ работы (Arbeitsleistung).

Прим. Это вѣрно, но можетъ быть проще выражено. Работа мѣняется на деньги и обращается въ товаръ, перевертывается товаромъ. Товаръ пойдетъ на жизненныя потребности той-же работы. Между производителемъ и потребителемъ стоитъ посредникъ въ видѣ имущаго и даетъ рабочему не все, что онъ выработалъ.

4) Изъ разницы между мѣновою и потребительною стоимостью работы (необходимымъ и фактическимъ рабочимъ временемъ) возникаетъ Mehrwerth. Она остается у капиталиста, послѣ того какъ онъ уже получилъ обратно уплаченную мѣновую стоимость работы, рабочую плату, которую въ предѣлѣ рабочаго времени работникъ уплачиваетъ капиталисту эквивалентомъ. Что рабочій выработаетъ поверхъ этого времени, образуетъ Mehrwerth. Эта Mehrwerth, поэтому, созданіе не оплаченной работы, и притомъ не оплаченной работы *чужой,* потому что она присвоена капиталистомъ.

Прим. Еще выскочило понятіе о *чужомъ!*

5) Эта прибавочная стоимость, по естественному праву, принадлежитъ работѣ и субстанціи, порождающей стоимость; присвоеніе ея капиталистомъ есть хищеніе (Ausbeutung); оно возникаетъ изъ Lohnsystem (и права отдѣльной собственности на средства производства) и съ обоими должно пасть.

6) Средство къ тому — экспропріація капиталистовъ, превращеніе условій производства — земли и орудій работы — въ коллективное владѣніе; затѣмъ — общая ихъ обработка.

Прим. Единственное, что еще нахожу хорошимъ въ этихъ общихъ понятіяхъ, что̀ есть остроумнымъ у Маркса, это — опредѣленіе *денегъ*. Деньги — форма стоимости. Но и тутъ всѣ понятія, съ которыми онъ ворочается, есть пустословіе, въ родѣ формы своей формы и т. д.

Schäfle 32 и 47. Попадаетъ совершенно въ точку.

Опять таки *gelten* непреодолимое препятствіе, хотя Шефле и не теряетъ надежды на преодолѣніе. Сейчасъ мнѣ приходитъ примѣръ, о которомъ напомнило мнѣ заключеніе Leroy Beaulieu, что всего болѣе зарабатываютъ танцовщицы и пѣвцы. Это такъ и есть. Разберемъ-же это явленіе.

Слушаніе пѣвицы или созерцаніе танцовщицы принадлежитъ-ли къ естественнымъ удовлетвореніямъ? Нѣтъ, скажетъ какой-нибудь Писаревъ. Но почему-же? Извращенная это потребность! Но почему-же? Такого рода занятія должны быть запрещены. Но за что-же? Не кормите меня хлѣбомъ, я день охотно проголодаю, чтобы послушать Патти или видѣть какую-нибудь балерину. Нельзя мнѣ отказать въ этомъ удовольствіи: оно вложено природою, оно есть у дикихъ. Да наконецъ запрещеніе во всякомъ случаѣ есть деспотизмъ, нарушеніе свободы.

Итакъ, я хочу слышать Патти, а Патти хочетъ пѣть, удовлетворяетъ своей потребности пѣть.

Она пѣть будетъ, но она нуждается и въ ѣдѣ. Я откажусь отъ ѣды, еще тысячи откажутся и вручатъ ей свои билеты на полученіе разныхъ *Gebrauchswerthen*. Но что-же однако будетъ? Съ ея и съ нашей стороны, работа или нѣтъ? Если работою

назвать только то провожденіе времени, результатомъ котораго является осязаемое издѣліе, ни мы, ни она не работаемъ, а она въ частности будетъ совершенною тунеядицею, бо́льшею, нежели капиталистъ; полученіе, наслажденіе будетъ вовсе не равняться заслугамъ, то есть труду, потому что найдется очень много Патти, которыя окажутся въ томъ-же положеніи. Нѣтъ, придется вѣрно запретить совсѣмъ, а запретить даже нельзя. Нельзя требовать отъ меня, чтобы *я* не только работалъ, но и потреблялъ только то, что̀ мнѣ дадутъ, чтобы я лишенъ былъ права выбора.

Но Патти только рѣзкій примѣръ. Мнѣ должно быть предоставлено право выбора и между дозволенными продуктами. Я желалъ-бы растительной, а не мясной пищи, желалъ-бы вкуснѣе ѣсть, нежели теплѣе одѣться. Неужели и въ этомъ отказъ? Когда отказъ, тогда весь прогрессъ остановится, ибо онъ разсчитанъ частію на раздробленіе вкуса, частію вызывается развитіемъ вкуса, которое бываетъ съ начала прихотями одного. Но если выборъ дозволенъ, тогда неизбѣжна роскошь, роскошь питаемая уже не капиталистами, а другого рода дармоѣдами, въ родѣ Патти и даже вообще женскаго пола. Почему женщины необходимо будутъ работать? Самцы будутъ имъ, нѣкоторымъ по крайней мѣрѣ, волочь всѣ свои заработки. Нельзя-же имъ запретить воздержанія и подарковъ. Средствъ для наслажденій окажется у одного меньше, у другого больше, опять незаслуженно. Государство, конечно, можетъ вступиться и не смотря на требованіе безусловно воспретить безполезные или вредные виды промышленности. Но въ его власти совершить то же и при теперешнемъ капиталистическомъ процессѣ. Если-же оно не запретитъ, какъ не запрещаетъ теперь, то разница между тогдашнимъ и теперешнимъ, что дармоѣдство тогдашнее будетъ добровольнымъ даромъ работника, тогда какъ теперешнее одолжено происхожденіемъ или случаю (наслѣдство) или предпріимчивости (во всякомъ случаѣ производительной).

Къ Werth (Дюрингъ).

Дюрингъ о стоимости разсуждаетъ смутно, но сущность мысли та, *что дороже то, что труднѣе достается.* Стоимость, выходитъ, есть отношеніе достижимости къ напряженію силъ. Удивительно, что въ заголовкѣ главы обозначается между прочимъ, что различный тяжеловѣсъ (Schwergewicht) потребностей опредѣляетъ направленіе, куда издерживается сила. Повидимому правильно, и на этомъ бы нужно основаться. А въ самомъ трактатѣ вотъ какъ объяснено: „Вопросъ о томъ, какую стоимость имѣютъ вещи, не зависитъ отъ различнаго тяжеловѣса потребностей, а зависитъ отъ того, въ какихъ родахъ артикуловъ стоимость осуществима". И только, и прямое противорѣчіе съ заголовкомъ!

Величина напряженія опредѣляетъ одинъ изъ моментовъ стоимости, но Дюрингъ забываетъ или обходитъ мимо другой моментъ — потребность. Явленія природы тѣмъ дороже цѣнятся, чѣмъ они рѣже. „Но рѣдкость есть элементъ противодѣйствія, которое противопоставляется обладанію желаемою вещью". Но вѣдь вся сила въ *желаніи.* Землетрясеніе — рѣдкое явленіе, но дорогое оно? Для естествоиспытателя такъ, но не для хозяина, для котораго землетрясеніе есть не положительная, а уже отрицательная стоимость, именно то противодѣйствіе, о которомъ говоритъ Дюрингъ.

Стоимость опредѣляется потребностью, а степень потребностей опредѣляется отношеніемъ ихъ къ сохраненію жизни. Когда идетъ вопросъ о томъ, что спасти, спасаютъ то, говоритъ Дюрингъ, что труднѣе (больше матеріала и времени) будетъ воспроизвести. Прекрасно, вообразимъ себя на кораблѣ, и приходится послѣ крушенія перебраться на баркасъ. Въ каютѣ виситъ дорогая картина, въ трюмѣ ромъ, въ буфетѣ мясо. Что мы спасемъ, за что хватимся? Достать всѣ вещи въ открытомъ морѣ одинаково трудно, на первый разъ невозможно. Но мы хватимся за мясо, потомъ за ромъ, а никакъ не за картину, не смотря на ея рѣдкость и на трудность, даже невозможность возстановить ее впослѣдствіи.

Богатство.

„Богатство, по Дюрингу, есть экономическая власть надъ вещами и людьми“. Совершенно то же у Мейера; только безъ прибавки *экономическая* и потому точнѣе. Прибавка *экономическая* есть petitio principii. Вопросъ идетъ объ экономической сущности, въ чемъ она состоитъ, и отвѣчается, что она состоитъ въ *экономической* сущности. А прибавкою *надъ людьми* забѣгается впередъ. „Богатство есть власть надъ вещами“ или, какъ я сказалъ въ другомъ мѣстѣ, „имущество“. Власть надъ людьми бываетъ экономическою, но *черезъ* власть надъ вещами. Дюрингъ желаетъ поставить обратно, и рабство предпослать собственности. Совершенно произвольно и въ историческомъ и въ логическомъ смыслѣ. Самъ онъ, справедливо различая естественную стоимость отъ общественной, говоритъ о противникѣ, который стоитъ съ мечемъ и не допускаетъ до блага (удовлетворенія потребности). Вотъ гдѣ начало рабства, и собственность есть право primi occupantis.

Затѣмъ, что̀ предшествуетъ: богатство стоимости или стоимость богатству? Богатство есть сумма пріобрѣтенныхъ стоимостей, стало быть прежде, и въ историческомъ и въ логическомъ порядкѣ, стоимость, а потомъ богатство.

Стоимость есть понятіе относительное и первое ея отношеніе—къ потребностямъ, а потребностей—къ сохраненію жизни. Чѣмъ непосредственнѣе къ сохраненію жизни, тѣмъ она выше. Понятіе дано еще прежде труда, и разница его напряженія пока не имѣетъ значенія. Я голоденъ и нагъ, но въ тепломъ климатѣ; изъ двухъ вещей я предпочитаю пищу, и она дороже одежды для меня, предполагая необходимость равнаго напряженія силъ для удовлетворенія обѣихъ потребностей. Затѣмъ уже начинается разность потребнаго напряженія, иначе степень препятствій и противодѣйствій, которыя должно преодолѣть. При равномъ значеніи на лѣстницѣ потребностей дороже то, что требуетъ болѣе труда экстенсивно и интенсивно. Здѣсь начинается сравненіе и труда самого съ собою, и труда

съ желаніями. Потому что потребность не только существуетъ реально, но она опредѣляется сознаніемъ. Болѣе естественная потребность можетъ имѣть менѣе вѣса для моего сознанія, которое можетъ быть ложнымъ и истиннымъ. Въ этомъ-то смыслѣ и необходимо различеніе, мною дѣлаемое, между стоимостью и цѣнностью, между *kosten* и *gelten*, какъ выразился-бы я по нѣмецки. Вещь, очень стоящая, можетъ не имѣть цѣнности, вещь, очень цѣнимая, ничего не стоить. Женщина, за которую жизнь готовъ отдать мужчина, сама идетъ на сближеніе. Повидимому этотъ примѣръ не экономическій, и онъ будетъ дѣйствительно таковъ, когда тронемъ его по опредѣленіи богатства, предполагающаго владычество только надъ вещами, но до богатства, когда говорится объ его условіяхъ, стоимости и цѣнности, примѣръ подходитъ. Да впрочемъ Іаковъ трудился за Рахиль, и доселѣ готовъ трудиться: стало быть элементъ экономическій несомнѣненъ. Но впрочемъ вмѣсто женщины можно поставить звѣря или птицу: я дорого бы далъ за соловья, а онъ самъ прилетѣлъ. Вотъ цѣнная вещь, которая ничего не стоитъ. Обратныхъ-же примѣровъ множество, и крайнимъ проявленіемъ этого обратнаго есть *Ueberproduction*, производство свыше потребности. Такое явленіе случается съ общественною цѣнностью и, какъ показано въ предшествующихъ примѣрахъ, имѣетъ основаніе въ потребности естественной, то есть опредѣляемой только отношеніемъ потребителя къ желаемой вещи. Общественность вноситъ новый элементъ и въ стоимость и въ цѣнность. Общественность вноситъ измѣненіе въ стоимости—взаимопомощью (раздѣленіемъ труда и обмѣномъ), въ цѣнности—умноженіемъ и усложненіемъ препятствій, которыя противупоставляются уже не одною природою внѣшнею, но и людьми—соперничествомъ и противоборствомъ. Два араба передъ деревомъ, способнымъ прикрыть тѣнью одного человѣка, два турка предъ единственною одалискою,—вотъ гдѣ законъ борьбы за существованіе во всей силѣ, когда отдѣльныя личности предоставлены собственнымъ силамъ. Манчестерская школа и проповѣдуетъ такой идеалъ общественности, но онъ носитъ противорѣчіе въ себѣ:

законы общежитія представляются назначенными къ огражденію личнаго простора. Нѣтъ, когда дана идея общежитія, законъ его долженъ ограждать взаимосодѣйствіе, взаимную помощь, а не взаимную борьбу; борьбѣ, исходящей изъ личнаго простора, онъ долженъ полагать границы. Личность должна быть защищена, но права ея должны быть опредѣлены не ея стремленіемъ и потребностями (то есть ея личными опредѣленіями потребностей), а нуждами другихъ. Я лишній для другихъ, для сожителей моихъ, мало того что лишній, я вреденъ, и общество въ правѣ меня извергнуть, даже истребить. Для опредѣленія излишества и вреда вовсе нѣтъ нужды даже въ реальности того и другого, потому что потребность вообще для своего опредѣленія не требуетъ реальности. Если я лично могу желать вреднаго, считая его полезнымъ и нужнымъ, то цѣлое общество тѣмъ съ большимъ правомъ опредѣляетъ по своему свои потребности, свой вредъ и пользу. Умѣй не только сдѣлаться полезнымъ, но убѣдить твоихъ сожителей въ твоей пользѣ. Личность, какъ личность, оказывается безправной, это правда: но оказывается безправной и всякая абсолютная истина, и польза и правда. Вершина прогресса будетъ заключаться въ томъ, чтобы признать это отсутствіе абсолютности въ общественной жизни. Передъ этимъ признаніемъ одинаково будетъ виноватъ и Торквемада и Бабёфъ. Въ мірѣ общественномъ все есть сдѣлка, а мечты объ общемъ счастіи тогда только достигнутъ своего исполненія, если только достигнутъ, когда сдѣлка войдетъ не только во всеобщій фактъ, но во всеобщее сознаніе и всеобщую религію.

Я отклонился отъ предмета, но краткое упоминаніе объ общественномъ экономическомъ идеалѣ, впредь до подробнаго разъясненія о немъ въ своемъ мѣстѣ, необходимо для выясненія *стоимости* или *цѣнности общественной*. Благо, вступая, какъ элементъ, въ жизнь общественную (взаимодѣйствіе), вызываетъ необходимо сдѣлку для примиренія разнообразныхъ, предъ нимъ столпившихся, противорѣчій: противорѣчій между желаніемъ пріобрѣсти и возможностью пріобрѣсти, — потребностью и трудомъ; между реальною нуждою и сознаніемъ нужды;

между нуждою одного, имъ такъ сознаваемою, и нуждою другого и другихъ, такъ-же или иначе опредѣляемыхъ,—вызываетъ необходимость и соизмѣренія своего съ другими благами. Требуется равновѣсіе, уравненіе. Уравнитель есть *цѣна,* стоимость и цѣнность со всѣми подразумѣваемыми элементами, въ абстрактѣ, отрѣшенныя отъ своего непосредственнаго отношенія къ труду и потребности, къ желанію и препятствію. Цѣна есть среднее число, отбрасывающее высшія и низшія единицы; есть нивелиръ, проведенный по всей общественной работѣ и по всѣмъ каждаго потребностямъ. Выразителемъ и конкретнымъ носителемъ этого абстрактнаго уравнителя являются *деньги.* Къ нимъ можно примѣнить изреченіе Вольтера: если-бы ихъ не было, ихъ необходимо было-бы выдумать, потому что безъ нихъ общественный экономическій процессъ невозможенъ. Смитъ назвалъ трудъ мѣрителемъ стоимости. Вѣрнѣе деньги назвать такимъ мѣрителемъ, но точнѣе, онѣ суть мѣритель стоимости и цѣнности, противопоставленныхъ другъ другу (коль скоро уже найдено понятіе цѣнности, какъ противоположности къ стоимости); конкретный мѣритель, вызванный неизбѣжною абстрактною мѣрою, которою служитъ цѣна. Смитъ не могъ этого усмотрѣть, потому что вся теорія вызвана односторонностью меркантилизма. Но деньги, служа мѣрителемъ, и не составляютъ богатства, какъ полагали меркантилисты. Обладаніе аршиномъ еще не дѣлаетъ меня обладателемъ всего способнаго мѣриться на аршинъ. Но деньги и не есть одинъ только мѣритель: онѣ мѣритель конкретный, представитель и носитель уравненныхъ стоимости и цѣнности. Блага, какъ стоимость и цѣнность, въ нихъ воплощены, сокрыты, скрываются въ предположеніи, но могутъ быть вызваны къ дѣйствительности, способны реализоваться. Деньги это—слово въ отношеніи къ мысли, или, еще лучше, письмо въ отношеніи къ слову. Письмена мертвы и ничтожны, но, разъ выразивши слово, способны вызвать снова и слово и мысль. Также и деньги: онѣ не имѣютъ естественнаго значенія, онѣ вызваны общественностью, какъ и письмена со словомъ, но, разъ вызванныя къ

жизни, онѣ питаютъ самую мысль воздѣйствіемъ на нее чужихъ мыслей.

Безполезно обсуждать, что деньгами преимущественно представляется трудъ или капиталъ. Разумѣется, прежде всего капиталъ, но капиталъ самъ есть воплощенный трудъ. Деньги къ капиталу относятся такъ-же, какъ капиталъ къ труду: онѣ способны возстановить капиталъ, какъ капиталъ способенъ возстановить или точнѣе возобновить трудъ.

Упоминая здѣсь о капиталѣ, я употребляю это слово въ его обиходномъ значеніи,—трудъ, затѣмъ капиталъ. Въ моемъ построеніи это не такъ. Капиталъ не послѣдуетъ за трудомъ, а ему одновременъ и даже предшествуетъ, потому что есть капиталъ и природный. Впрочемъ для существа денегъ это различіе не имѣетъ значенія.

* * *

Энгельсъ, 1844. „У эконома плохо приходится тому, что въ производствѣ есть главное, есть „источникъ богатства“—свободной человѣческой дѣятельности. Какъ капиталъ былъ уже отдѣленъ отъ работы, такъ теперь вторично работа опять разорвана: продуктъ работы противостоитъ ей, какъ заработная плата, отдѣленъ отъ нея, и опять, какъ обыкновенно, опредѣляется конкурренціею, потому что, какъ мы видѣли, нѣтъ твердой мѣры для участія работы въ производствѣ. Это неестественное раздѣленіе падетъ, если уничтожить частную собственность: работа будетъ своею собственною заработною платою, и выяснится значеніе ранѣе обнаружившейся заработной платы, значеніе работы для опредѣленія издержекъ производства любой вещи“.

Poor Man's Guardian, 1851, во время чартистовъ:

„Вспомните, друзья и братья, что вы и вы одни производите все реальное богатство страны; припомните, слѣдовательно, что вы пользуетесь только самою малою порціею того, что въ дѣйствительности производите; а кто-же пользуется этимъ?“

Далѣе: „На дѣлѣ ваши хозяева, ваши торговцы, начиная отъ банкира и негоціанта до носильщика угольевъ, получающаго 10 фун. ежегодно, отъ лорд-мэра до „средняго человѣка“, не пользуются-ли они на вашъ счетъ?“

1849. Katechismus des Proletarier von Tedesco:

„Трудъ, когда онъ покупается и продается, есть товаръ, цѣна котораго называется заработною платою.

„Цѣна каждаго товара зависитъ отъ издержекъ, необходимыхъ на его производство.

„Заработная плата или цѣна товара—труда зависитъ отъ издержекъ, необходимыхъ для производства работы, то-есть отъ издержекъ на продовольствіе рода работниковъ.

„Два класса стоятъ одинъ противъ другого: богатые и пролетаріи.

„Причина власти богатыхъ: обладаніе орудіями и капиталами“.

1850. Родбертусъ, 2-е письмо къ Кирхману:

„Естественные законы, управляющіе распредѣленіемъ общественнаго продукта, при предоставленномъ самому себѣ обращеніи земельной собственности и капитала, не даютъ приращенію общественной производительности достигнуть полнаго благополучія (Segen). Ибо, благодаря имъ съ одной стороны, это распредѣленіе принимаетъ форму мѣноваго оборота, при которомъ частный обладатель земли и капитала не можетъ или вовсе или въ болѣе сильной мѣрѣ предпринять производство, чѣмъ въ силахъ одолѣть противостоящая покупная сила; а съ другой стороны, благодаря имъ, продуктъ не только дѣлится между владѣльцами и рабочимъ классомъ, но *участіе послѣднихъ въ продуктѣ, а чрезъ это и покупная сила общественнаго большинства, все уменьшается.* Это послѣднее происходитъ отъ того, что трудъ, творецъ всякаго продукта, становится такимъ товаромъ, который оплачивается по правиламъ спроса и предложенія, то-есть заработною платою, которая даетъ ему участіе въ продуктѣ, и что эти правила, при развитіи общества, и именно при возвышеніи производительности, въ возрастающей

мѣрѣ обращаются къ ущербу обладающихъ этимъ товаромъ, то-есть рабочаго класса. Такимъ образомъ, благодаря естественнымъ законамъ обращенія, увеличеніе имущества, вмѣсто того чтобы служить по своей природѣ увеличенію благосостоянія и счастія общественнаго, служитъ причиною противоположнаго. Такимъ образомъ общество естественными законами обращенія стоитъ въ непримиримомъ противорѣчіи, какъ-бы загнано въ волшебный кругъ... Общество должно быть выведено изъ этого волшебнаго круга, въ который вгоняютъ его только предразсудки, и естественные законы, поколику они вредны, должны быть замѣнены разумными.“

Дюрингъ, 3 сар. „Въ обширнѣйшемъ смыслѣ деньги суть все то, что̀ въ обращеніи имѣетъ общую Geltung, какъ цѣлесообразное Ausgleichungsmittel von Leistung und Gegenleistung и для обманнаго или законнаго погашенія обязательствъ.“ Благородные металлы: 1) легко дѣлимы, 2) Widerstandskraft, 3) трудность доставанія, 4) подвижность и способность къ обработкѣ, 5) эстетическое d....s,*) удовлетвореніе любви къ украшеніямъ.

„Das Capital ist ein Stamm aekonomischer Machtmittel zur Fortführung der Production und zur Bildung von Antheilen an den Früchten der allgem. Arbeitskraft“.

* * *

Рабочій, капиталистъ, землевладѣлецъ—правильное противопоставленіе; но неправильно такое перечисленіе: земля, капиталъ, трудъ. Земля и капиталъ если даютъ что̀, то или вполнѣ или отчасти также трудомъ. Слѣдовательно правильнѣе поставить: земля-капиталъ и трудъ; земля и капиталъ, разсматриваемые внѣ труда, и—трудъ, какъ дѣятель надъ ними.

Въ первомъ противопоставленіи разсматривается принадлежность, степень имущества: нѣкоторымъ принадлежатъ (землевладѣльцу и капиталисту) вещи; рабочій ничѣмъ не обладаетъ,

*) Слово, которое было невозможно разобрать.

кромѣ себя. Во второмъ—противополагаются дѣятели производства, и одинъ изъ нихъ (въ двоякомъ видѣ земли и капитала) является коснымъ элементомъ, матеріаломъ; другой—дѣятелемъ въ тѣсномъ смыслѣ: пассивный и активный элементы производства. Съ одной стороны нѣчто готовое, данное, съ другой—сила, превращающая данное въ нѣчто новое, въ продуктъ. Но сила не есть трудъ; трудъ есть только процессъ. Слѣдовательно, придется поставить опять рабочаго: земля-капиталъ и—рабочій. Трудъ есть *способъ* превращенія готоваго, предлагаемаго землею и капиталомъ, въ новое, въ продуктъ.

Хотя земля и капиталъ даютъ продукты чрезъ трудъ большею частью, но бываетъ, что даютъ самостоятельно. Поемная луговина и на ней пасется стадо, которое даетъ продуктъ въ видѣ приплода. Съ другой стороны самъ рабочій дѣйствуетъ тѣми-же силами, которыя ростятъ траву и производятъ приплодъ. Давая лошади кормъ въ стойлѣ, онъ замѣняетъ собственныя лошадиныя ноги, передвигающіяся за полученіемъ корма на пастбищѣ. Итакъ, законно говорить только о производящей силѣ вообще, которая во всякомъ случаѣ есть сила природы, дѣйствующая чрезъ лошадь, чрезъ рабочаго человѣка и безъ нихъ чрезъ тепло, свѣтъ, тяжесть, химическое сродство и т. д.

Слѣдовательно: производящая сила природы, дѣйствующая непосредственно тепломъ, тяжестью, химическимъ сродствомъ и проч., и посредствомъ лошадиныхъ ногъ и человѣческихъ рукъ и т. п. Рабочій такимъ образомъ, если экономическое производство разсматривать само въ себѣ, есть такое же орудіе, какъ лошадь, щиплющая траву, и дождь, которымъ камень скатился съ горы. Участіе ихъ въ производствѣ равнозначительно, если не считать, что лошадь и рабочій человѣкъ такія-же произведенія сложныхъ дѣйствій свѣта, тепла и прочихъ дѣятелей природы. Зерно, подъ вліяніемъ солнышка пустившее ростокъ, лошадь, бѣгущая къ овсу, пролетарій, отправившійся къ станку, чтобы прокормить семью, и банкиръ, подъ дѣйствіемъ сытнаго обѣда покупающій брилліанты своей возлюбленной, съ этой точки зрѣнія равнозначительны: въ одномъ случаѣ дѣйствуютъ

довольно извѣданные химическіе законы, въ другомъ—мало разслѣдованные біологическіе, и банкиръ повинуется имъ такъ же, какъ зерно солнцу и теплотѣ, лошадь и пролетарій—побужденіямъ голода.

* * *

Богатство, цѣнность, капиталъ: какая между ними разница? Не всякая цѣнность есть капиталъ, не всякая цѣнность есть богатство, не всякое богатство есть капиталъ.

Но всякое богатство и всякій капиталъ есть цѣнность.

Слѣдовательно, прежде всего, *цѣнность* предшествуетъ обоимъ понятіямъ.

Цѣнность есть сравненіе двухъ вещей (благъ) безотносительное къ тому, кто ими обладаетъ и обладаетъ-ли, хотя и предполагаетъ возможность обладанія. Блага сравниваются по своей годности.

Богатство имѣетъ въ виду обладателя и сравненіе его съ другимъ обладателемъ или съ нимъ-же въ другой моментъ. Богатство есть избытокъ за удовлетвореніемъ потребностей.

Капиталъ имѣетъ въ виду жизненность цѣнности самой въ себѣ: цѣнность, способная къ саморосту.

Вещь становится *цѣнною* съ той минуты, какъ доказана ея годность для человѣка,—способность быть употребленною на что-нибудь, предполагаемое нужнымъ.

Поступивъ во власть человѣка, она является *богатствомъ,* когда остается за удовлетвореніемъ нуждъ.

Обращается въ *капиталъ,* когда способна увеличиваться, не требуя труда отъ своего обладателя.

* * *

Весь экономическій процессъ сводится къ *тратѣ жизненныхъ силъ* съ цѣлью и въ надеждѣ ихъ *возобновленія* посредствомъ *усвоенія матеріи.*

* * *

1. Трудъ не есть ни мѣрило, ни основаніе цѣнности.
2. Трудъ не есть главный производитель.

3. Не производитель, а потребитель есть владыка экономической жизни.

Прим. Потому рискъ есть необходимая принадлежность производства.

4. Матеріальное богатство не есть самостоятельное благо.

5. Въ полученіи дохода рабочій обдѣленъ не болѣе другихъ дѣятелей производства.

6. Монополія и централизація есть неизбѣжное зло настоящаго состоянія природы и общества.

* * *

Программа.

Понемногу выясняется программа моего труда, который можетъ носить (въ той сферѣ, которой я пока касаюсь) заглавіе *основныхъ началъ человѣческой экономіи* или даже просто *началъ экономіи,* безъ прибавленія человѣческой, потому что другой не можетъ быть, а эпитеты *политической* или *національной* суживаютъ предметъ, указывая на частные законы, которымъ подчиняется экономія именно извѣстной группы, называемой *народами. Экономія* какъ относится къ *богатству,*—понятію, поставленному Смитомъ въ заголовкѣ?—Какъ *цѣль* къ *достиженію,* то-есть процессу достиженія. Экономія въ ближайшемъ смыслѣ есть домашняя экономія, „домостроительство“ въ буквальномъ переводѣ. Въ русскомъ переводѣ экономія равнозначительна хозяйству. Основныя начала экономіи или начала хозяйства,—равнозначительны, и не знаю еще, какъ назвать лучше. Вопросъ о томъ, въ какомъ отношеніи стоитъ понятіе хозяйства или экономіи къ понятію богатства. Экономія съ одной стороны предполагаетъ существованіе богатства, она имъ распоряжается. Ея задача не растерять богатства, а умножить. Но богатство для хозяйства можетъ быть не реальнымъ только, но предполагаемымъ, ожидаемымъ, мыслимымъ. Оно есть предметъ стремленій, все равно—есть или нѣтъ у меня какое-нибудь богатство. Экономія такимъ образомъ не имѣетъ нужды

предполагать богатство уже существующимъ, о которомъ возможенъ вопросъ: а какъ-же оно-то пріобрѣтено: а первый-то портной у кого учился? Стало-быть вопросъ о пріобрѣтеніи богатства и, слѣдовательно, о его сохраненіи, потому что богатство, отъ котораго черезъ минуту ничего не осталось, не есть богатство; его существенный признакъ—принадлежность человѣку. Безъ возможности сохраненія богатства, самое понятіе о немъ исчезаетъ: богатство есть не только пріобрѣтенное, но и сохраненное.

Но богатство есть не простое juxtapositio къ своему обладателю, не ограничивается внѣшнимъ сосѣдствомъ или отвлеченною возможностью власти: оно предполагаетъ власть реальную, распоряженіе, проявляемое или непроявляемое. Стало-быть предполагается жизнь, движеніе, измѣненіе какъ въ относящихся элементахъ, такъ и въ самомъ ихъ отношеніи. Это и есть процессъ экономическій или хозяйственный. Когда жизнь и измѣненіе, тогда стало-быть пріобрѣтеніе и сохраненіе есть не одно механическое приращеніе, а преобразованіе, такое преобразованіе, результатомъ котораго является приращеніе. Это вводитъ насъ въ понятіе о побужденіяхъ къ экономіи и цѣли ея.

Побужденіе къ экономіи или пріобрѣтенію и сохраненію богатства есть не властолюбіе. Чувство власти подчиняется здѣсь другому чувству: оно есть не цѣль, а средство; цѣль есть пользованіе богатствомъ, именно усвоеніе не внѣшнее механическое, а органическое. Для выясненія сущности этого явленія, необходимо войти подробнѣе въ понятіе о богатствѣ. Именно окажется, что богатство начинается съ того момента, когда за удовлетвореніемъ потребностей извѣстныя вещи остаются въ обладаніи. Богатство окажется, такимъ образомъ, однозначительнымъ съ капиталомъ. Слѣдовательно, съ богатства, во всякомъ случаѣ, нельзя начинать: оно будетъ понятіемъ уже выводнымъ.

Достатокъ, избытокъ, обезпеченіе.

Застрахованіе не принадлежитъ-ли къ *обезпеченію*, какъ частное понятіе?....

ПОМИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ.

ПОМИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ. *)

Филаретъ, Митрополитъ Московскій **).

Перваго декабря,—это былъ день тезоименитства митрополита Филарета. Москва, тѣснившаяся недавно около его гроба, и такимъ стеченіемъ народа провожавшая его останки, помянетъ его нынѣ снова и особенно. Огласятся храмы снова панихиднымъ пѣніемъ; снова и клиръ и народъ, съ особенною живостью, почувствуютъ свое лишеніе. Сѣтующій клиръ отдастся при этомъ естественнымъ сличеніямъ своего ушедшаго прошедшаго съ подходящимъ будущимъ; а сѣтующая паства отчасти и съ утѣшеніемъ воспомянетъ о томъ, что она удостоилась имѣть такого архипастыря, и что такого архипастыря умѣла сама почтить достойно и при жизни его и по смерти.

Начинаемъ и мы свою внутреннюю лѣтопись настоящаго дня этимъ общимъ всей Москвѣ воспоминаніемъ.

Разбирать необыкновенное явленіе, какимъ былъ митрополитъ Филаретъ, было бы теперь не къ мѣсту и не ко времени.

---

*) Издаваемый «Сборникъ Сочиненій» Гилярова-Платонова окончился изслѣдованіемъ о началахъ экономіи. Въ видѣ приложенія присоединяется нѣсколько выбранныхъ изъ *Современныхъ Извѣстій* поминальныхъ статей, которыя, вмѣстѣ съ вышеприведенной рѣчью Никиты Петровича о Хомяковѣ и воспоминаніями объ Аксаковыхъ и Лонгиновѣ, составляютъ весьма замѣчательныя характеристики выдающихся русскихъ дѣятелей, въ большинствѣ лично знакомыхъ автору.

**) «Современныя Извѣстія» 1867 г. № 1 (первое декабря).

Смерть замѣчательныхъ дѣятелей оставляетъ послѣ себя всегда пустоту, и пустота эта первоначально только ощущается. Время оцѣнки наступаетъ послѣ, и тѣмъ позднѣе, чѣмъ обширнѣе былъ кругъ дѣятельности умершаго, чѣмъ долговременнѣе была его дѣятельность и чѣмъ она была усиленнѣе; а къ митрополиту Филарету прилагается все это въ высшей степени.

Съ именемъ митрополита Филарета соединяется понятіе о цѣломъ періодѣ церковной исторіи. Въ этомъ періодѣ мы еще живемъ, въ немъ родились, притомъ всѣ одинаково, міряне какъ и духовные, и не только мы, но и отцы наши. Мы не можемъ отрѣшиться отъ того, въ чемъ сами живемъ, и потому не можемъ произнести яснаго сужденія. Сужденіе будетъ основано на впечатлѣніи, на ограниченномъ личномъ опытѣ, и потому непремѣнно будетъ односторонне, неполно и непремѣнно пристрастно въ ту или другую сторону. Легко понимаемъ время, изъ котораго вышелъ Филаретъ, и которому онъ преемствовалъ. Димитрій Ростовскій и Ѳеодосій Новгородскій, Тихонъ Воронежскій и Платонъ Московскій, Ѳеофанъ Прокоповичъ съ Стефаномъ Яворскимъ и Димитрій Сѣченовъ съ Арсеніемъ Мацѣевичемъ: ясно различаемъ всѣ эти лица, укажемъ ихъ значеніе для своего времени, объяснимъ, въ чемъ каждый былъ орудіемъ обстоятельствъ, въ чемъ служителемъ безусловной истины, что въ ихъ дѣяніяхъ и писаніяхъ было переходное, что вѣчное. Но то было и время другое; стоя вдали отъ него, чрезъ сличеніе съ нашимъ временемъ, равно какъ съ предшествующимъ, открываемъ его смыслъ. Не затруднимся оцѣнкою и ближайшихъ къ намъ, будетъ ли то Евгеній Кіевскій или Иннокентій Херсонскій, Павскій или Алтайскій Макарій; для всѣхъ не долго блуждая отыщемъ мѣсто, которое должны они занять въ исторіи. Но то были частные дѣятели: взаимнымъ ихъ сличеніемъ дознается значеніе каждаго. По отношенію къ Филарету невозможно и это. Онъ былъ не представителемъ эпохи; онъ самъ и былъ эта эпоха; онъ не выражалъ свое время, а руководилъ время. По первую половину царствованія Александра, ставъ во главу церковнаго управленія,— не саномъ своимъ или мѣстомъ служенія, а исключительно влія-

ніемъ своей нравственной силы, онъ до конца жизни такъ и остался.

Внѣшнее вліяніе его иногда оспаривалось, но никѣмъ и никогда не оспаривались его умственное и духовное первенство, и его нравственное вліяніе. Тѣмъ труднѣе для насъ его оцѣнка, и тѣмъ далѣе впередъ отъ насъ отодвигается ея возможность. Нужды нѣтъ, кто изъ насъ выработался своимъ воспитаніемъ: ханжа, нигилистъ, или здравомыслящій христіанинъ. Всѣ мы приняли первоначальное ученіе вѣры по книгамъ Филарета; всѣ имѣли учителей, еще полнѣе воспитавшихся подъ вліяніемъ воззрѣній того же высшаго учителя. Такъ или иначе, прямо или косвенно, усвоеніемъ или противодѣйствіемъ, сознательно или безсознательно, но всѣ мы отнеслись къ направленію, данному Филаретомъ, стоимъ съ нимъ въ связи, и отъ него зависимъ.

Оставляя въ сторонѣ общественное значеніе усопшаго, перейдемъ ли къ восхваленію его личныхъ достоинствъ? Но восхваленіе личныхъ достоинствъ, если они дарованы отъ природы, всегда основано на недоразумѣніи и заключаетъ въ себѣ нѣкоторую безнравственность: недозволительно хвалить никого изъ людей за то, въ чемъ можно видѣть только славу Божію; хвалить человѣка можно только за то, что принадлежитъ самому человѣку, что есть плодъ свободнаго употребленія дарованныхъ силъ. Но по отношенію къ нашему знаменитому святителю даже и то невозможно. Добрый семьянинъ, сострадательный человѣкъ, пріятный собесѣдникъ, вѣрный другъ: вотъ что говоримъ мы, когда желаемъ указать добрыя нравственныя качества государственнаго человѣка, знаменитаго ученаго, всемірнаго негоціанта, и при этомъ проводимъ мысленно черту между двумя различными дѣятельностями,—общественною и частною. Отыскивая значеніе первой сличеніемъ ея съ требованіями государственными, учеными или промышленными, мы подводимъ частную жизнь восхваляемаго подъ общечеловѣческій законъ нравственный, и подъ законъ христіанскій въ особенности. Но архіерей есть служитель этого закона по самому своему сану; какъ архіерей, онъ долженъ быть не только исполнителемъ этого закона,

но руководителемъ и образцомъ; различеніе между общественною и частною жизнію здѣсь теряетъ смыслъ, и никто не сознавалъ этого въ большей строгости, какъ именно митрополитъ Филаретъ. Онъ былъ епископъ отъ утра до вечера, и отъ вечера до утра. Напрасно стали бы мы искать у него того раздѣленія жизни на оффиціальную и конфиденціальную, которая столько намъ всѣмъ свойственна. Напрасно стали бы мы искать различія между его устнымъ словомъ и словомъ письменнымъ, между имъ въ священнослуженіи, имъ при отправленіи епархіальныхъ обязанностей и имъ въ домашней жизни. Немногіе часы, въ которые онъ пользовался отдохновеніемъ, могли бы быть причислены къ частной жизни; но то уже была жизнь келейная, въ которую никто не проникалъ. Все остальное время, когда только былъ онъ видимъ, ни на минуту не переставалъ онъ быть олицетвореніемъ своихъ понятій объ общественномъ долгѣ. Такимъ образомъ, чтобы судить и о его частной жизни, нужно было бы судить, какъ понимаемъ былъ имъ свой общественный долгъ, и вѣрно ли было выдержано на практикѣ воззрѣніе. Но это опять ведетъ къ тому же историческому вопросу, котораго рѣшать мы не въ силахъ.

Нѣтъ, останемся пока въ единственно доступномъ намъ, безмолвномъ ощущеніи. Достаточно сознавать одно то, что митрополитъ Филаретъ былъ историческое явленіе необыкновенное, и что потеря его громадна. Не оцѣнкѣ теперь время, или попыткамъ возстановить его цѣлый образъ, а воспоминаніямъ частностей, приведеніемъ въ извѣстность, по возможности, всего, что имъ сдѣлано, написано, сказано. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ пока предъ нами, кромѣ его учебниковъ, проповѣдей, нѣсколькихъ писемъ, да епархіальной дѣятельности, болѣе или менѣе извѣстной? Безчисленныя записки и мнѣнія, которыя были имъ писаны по вопросамъ догматическимъ, литургическимъ и вопросамъ высшаго церковнаго управленія, точно такъ же, какъ его безчисленныя письма, изъ которыхъ не было ни одного празднаго: все это пока подъ спудомъ. Его политическія отношенія, его сношенія съ восточными іерархами, съ церковью англиканскою и американскою, его

дѣятельность противъ раскола: и это пока точно также мало извѣстно. А между тѣмъ сверстники его уже давно сошли въ могилу, и не только сверстники, но даже второе поколѣніе. Остаемся мы, послѣдніе его современники и вмѣстѣ потомки современниковъ. Надобно спѣшить.

Поспѣшимъ и мы на сей же разъ привести въ извѣстность одно изъ произведеній, мало кому извѣстное, хотя оно и было напечатано. Послѣ его кончины оно получаетъ особое значеніе, ибо болѣе всѣхъ другихъ можетъ быть названо предсмертнымъ и по времени написанія, и по самому своему содержанію. Вотъ оно:

Близокъ послѣдній трудъ жизни: плаванье злое кончаю,
И уже вижу вдали казни горькаго зла:
Тартаръ ярящійся, пламень огня, глубину вѣчной ночи.
Скрытое нынѣ во тмѣ, явное тамъ въ срамотѣ.
Но, Блаженне, помилуй, и, хотя поздно, мнѣ даруй
Жизни останокъ моей добрый по волѣ Твоей.
Много страдалъ я, о Боже Царю, и духъ мой страшится
Тяжкихъ судныхъ вѣсовъ, не низвели бы меня.
Жребій мой понесу на себѣ, преселяясь отсюда,
Жертвой себя предая скорбямъ снѣдающимъ духъ.
Вамъ же, грядущіе, вотъ завѣтное слово: нѣтъ пользы
Жизнь земную любить. Жизнь разрѣшается въ прахъ.

Это переводъ *Увѣщательной пѣсни* св. Григорія Богослова, писанной въ греческомъ подлинникѣ тѣмъ же размѣромъ. Художественную красоту этого перевода оцѣнятъ читатели; необыкновенную его вѣрность подлиннику могутъ оцѣнить зпатоки. Но не опустимъ изъ вниманія и силу молитвеннаго возношенія, выражающагося въ этой пѣсни. Мысленнымъ повтореніемъ того же молитвеннаго возношенія объ усопшемъ достойно заключить настоящее наше о немъ воспоминаніе.

Іоаннъ (Соколовъ), Епископъ Смоленскій *).

На дняхъ скончался скоропостижно преосвященный Іоаннъ Смоленскій и удостоился, какъ немногіе изъ архіереевъ, некролога даже отъ обыкновенныхъ политическихъ газетъ. Епархіальныя пока еще не успѣли отозваться. Два петербургскихъ изданія чуть-чуть не вступили даже въ полемику относительно качествъ и заслугъ покойнаго преосвященнаго. Іоаннъ былъ дѣйствительно не изъ дюжинныхъ. Что однако онъ сдѣлалъ?

Его руководство по церковному законовѣдѣнію, хотя и доставившее автору степень доктора, не очень щедро раздаваемую въ духовно-учебномъ мірѣ, есть не болѣе какъ компиляція. Это даже не учебникъ и не руководство; это, скорѣе, историко-критическое введеніе, толкующее объ источникахъ законовѣдѣнія. Въ параллели съ прочими богословскими науками, трудъ преосв. Іоанна можетъ сравненъ быть съ экзегетикой. Самаго законовѣдѣнія, самаго права, самой науки авторъ не только не коснулся, но даже не догадался, что она требуется, какъ независимо отъ экзегетики требуется догматика. Иностранная литература не дала ему ничего, кромѣ сырого матеріала, ею же впрочемъ и обработаннаго. Такъ и оставилъ православно-русскій ученый, не догадываясь, что неспособность церковнаго законовѣдѣнія дойти до науки, найти себѣ смыслъ, понять и представить положеніе Церкви какъ сверхмірный фактъ въ мірѣ внѣшнеобщественныхъ отношеній,—естественна для западныхъ вѣроисповѣданій, по догматическому ихъ существу, потому что потеряно ими живое понятіе о самой Церкви.

Не школьникамъ преосвященный Іоаннъ сталъ извѣстенъ проповѣдью, которая въ свое время произвела много шума. То было при самомъ паденіи крѣпостного права. Когда кипѣла работа въ губернскихъ комитетахъ, и двѣ стороны, эманципаторовъ и консерваторовъ, ожесточенно, почти съ остервененіемъ

*) „Совр. Извѣстія“ 1869 г. марта 25.

бились, ректоръ Казанской академіи произнесъ слово противъ помѣщичьихъ правъ. Подхвачено было одними съ радостію и уваженіемъ, другими указано какъ явленіе опасное. Помнится, что Казанскій журналъ былъ тогда за это подвергнутъ отдаленной и строгой цензурѣ; право самостоятельной цензуры у академіи было отнято.

Что же еще? Чѣмъ оказалъ себя покойный преосвященный? Административная дѣятельность его была коротка и ничѣмъ не отозвалась особенно слышнымъ. И однако преосвященный имѣлъ замѣчательную извѣстность, и именно въ духовенствѣ. Чѣмъ онъ ее пріобрѣлъ?

Отчасти дарованіями; безспорно это не была посредственность. А болѣе всего—крутостью нрава. Она преимущественно доставила ему популярность. И кто-то въ одной петербургской газетѣ вздумалъ возвести покойнаго даже на такую высоту, что приравниваетъ его съ одной стороны Никону, съ другой—Хомякову. Ни малѣйшаго сходства съ первымъ, ни тѣни второго.

Хотя по пословицѣ о мертвыхъ ничего не должно говорить, кромѣ хорошаго, настоитъ надобность противостать этому восхваленію не только для возстановленія истины, но и въ предотвращеніе кривыхъ направленій мысли и воли въ церковномъ мірѣ. Что̀ показалось кому-то скорѣе непреклонностью Никона, то было непокорностью властолюбца. Духа любви, уваженія къ свободѣ можно было пожелать Іоанну и тогда, когда онъ былъ уже Іоанномъ, и прежде, когда онъ былъ Владиміромъ Соколовымъ. Знавшіе его въ дѣтствѣ и юности, слѣдившіе за нимъ въ лѣта мужества скажутъ одно и то же. Если иногда покровительствовалъ покойный слабому противъ сильнаго, виднѣе бывало желаніе уязвить сильнаго, нежели защитить слабаго. О примѣрахъ нѣжной попечительности, объ опытахъ смиренноодушевленнаго самопокоренія долгу, хотя бы и тяжелому, или же о самоотверженномъ ходатайствѣ за беззащитныхъ, намъ слышать не удавалось. Но мы слыхали иногда о выходкахъ презрѣнія, и даже неблагодарнаго, которое выказывалъ покойный съ рѣдкою и притомъ изысканною грубостью. И то выходило не изъ

разности убѣжденій, а изъ разности положеній, и вовсе не изъ нравственнаго негодованія во имя высшихъ началъ.

Разсужденіе покойнаго ученаго по вопросу о томъ, неизбѣжно ли епископство связано съ монашествомъ, между прочимъ даетъ намъ понятіе, какъ могъ относиться онъ къ случаямъ, требовавшимъ дѣйствительно прямого слова. На этотъ вопросъ, сколько извѣстно, заданный нѣкогда свыше, отвѣчено было осторожнымъ, добросовѣстнымъ изслѣдованіемъ въ Московской академіи. Оно было осторожно, ибо спрашивающимъ хотѣлось, чтобы нашли средство вынудить исторію къ отвѣту, благопріятному для монашества. Изслѣдованіе однако поступило добросовѣстно: сказали всѣ факты, какіе въ церковномъ бытописаніи отыскиваются на заданный вопросъ, и изъ которыхъ читатель самъ легко находитъ отвѣтъ:—нѣтъ, епископство не связано съ монашествомъ необходимо.—Изслѣдователь остерегся настоять на этомъ, удовольствовавшись сравнительнымъ заключеніемъ, что тѣмъ тѣснѣе связывалось высшее церковное званіе съ иночествомъ, чѣмъ болѣе Церковь нуждалась въ дѣятельной и сильной оборонѣ.—Не всѣми одобрительно посмотрѣно было на изслѣдованіе:—факты не сходятся съ заключеніемъ!—Таковъ отзывъ съ неудовольствіемъ данъ былъ нѣкіимъ изъ высшихъ сферъ лицу постороннему, но котораго считали за свѣдующаго.—Но это и есть свидѣтельство добросовѣстности,—отвѣчалъ тотъ. Хотите ли вы, чтобы вамъ насиловали исторію или еще болѣе огорчили васъ прямымъ отрицательнымъ отвѣтомъ на вашъ вопросъ? Не смѣшивайте коренного правила съ современнымъ и мѣстнымъ обычаемъ, имѣющимъ свое значеніе, но не безусловное.—Покойный преосв. Іоаннъ, тогда еще ректоръ академіи, не стѣснился однако, въ косвенное возраженіе добросовѣстному изслѣдованію, доказать то, чего хотѣлось спрашивающимъ. Какъ доказать, спеціалисты-богословы и историки оцѣняютъ по первой страницѣ....

Но накинемъ покрывало на это дѣяніе покойнаго, и не оскорбимъ его памяти. Сказалось это слово о немъ, чтобы во время остановить тѣхъ изъ молодыхъ богослововъ, которые, по-

вѣривъ можетъ быть неожиданному величанію, раздававшемуся въ Петербургѣ, найдутъ умѣстнымъ найти въ Іоаннѣ примѣръ достоподражаемый, или, что будетъ и печально и забавно, которые вздумаютъ продолжать параллель, столь легкомысленно проведенную между Іоанномъ и Хомяковымъ. Хомяковъ весь былъ убѣжденіе, весь живая мысль. Въ Іоаннѣ панегиристъ находитъ подобнаго Хомякову по отвращенію къ схоластикѣ. Да, оно было въ Іоаннѣ, но не къ схоластикѣ, а только къ старымъ, пошлымъ ея построеніямъ. Онъ искалъ новыхъ оригинальныхъ построеній, а не живого смысла. Мы не знаемъ ни одной новой мысли, которую бы сказалъ въ своихъ сочиненіяхъ покойный преосвященный. Если угодно, имъ первымъ провозглашена мысль, что въ недостаткахъ духовенства виновато само общество; мысль эту подхватили и трепали довольно. Но и эта новая мысль не есть ли отчасти скорѣе софизмъ, нежели истина? Того углубленія въ истину, которое находимъ въ двухъ истинномыслившихъ русскихъ церковныхъ писателяхъ—Филаретѣ и Хомяковѣ,—хотя въ каждомъ совершенно своеобразно и на своемъ особомъ пути,—и этой строгости мысли, которая присуща этимъ двоимъ, искать въ Іоаннѣ даже забавно....

А. И. Герценъ *)

„Русскій публицистъ Герценъ здѣсь опасно боленъ... Сегодня Александръ Герценъ умеръ...“ Быстро смѣнились эти телеграфическія извѣстія; коротко и ясно. Правда ли? Онъ ли? Но не все ли равно, живъ онъ или умеръ? Для Россіи и русскихъ онъ давно умеръ. Незавидную славу по себѣ оставляетъ этотъ человѣкъ!

Однако и онъ намъ принесъ свою долю пользы, хотя косвенно: своею судьбою доказалъ на дѣлѣ всю благотворность свободной печати, всю опасность отъ ея принужденнаго молчанія.

Припомнимъ пятидесятые года, пятьдесятъ седьмой по преимуществу и слѣдовавшіе за нимъ ближайшіе. Лондонская типографія съ издателемъ Трюбнеромъ въ *Pater-Noster-Row* зашибали деньгу; листки и книжки русскія, дотолѣ невиданныя въ Лондонѣ, разлетались оттуда въ неимовѣрномъ числѣ экземпляровъ; стекла магазиновъ въ Берлинѣ, Франкфуртѣ, Парижѣ, Дрезденѣ, Лейпцигѣ, Баденѣ, Гамбургѣ, Эмсѣ, Остенде, Біарицѣ, во всякомъ городкѣ, словомъ, Европы, куда только ступала русская нога, красовались разныя Звѣзды, Колокола, Голоса, революціонные катихизисы разныхъ наименованій; бралось дорого, платилось хорошо: жадные *буквдруккеры* и *ферлегеры* наперерывъ предлагали свои услуги русскимъ перьямъ; всякую дребедень легко было напечатать и даже хорошо сбыть. Не предполагали ль, въ самомъ дѣлѣ, иностранные книгопродавцы даже особенной въ насъ любви вообще къ печати?—А тѣмъ временемъ въ чемоданахъ, въ сапогахъ, въ подкладкахъ платья, подъ видомъ обертокъ, и наконецъ въ чистосердечныхъ тюкахъ, подъ охраной фактора-еврея, или подъ охраной еще болѣе сильной и надежной—высокопоставленнаго лица, котораго не смѣютъ въ таможнѣ ни обыскивать, ни заподозривать,

*) „Совр. Извѣстія“ 1870 г. № 10.

шли всѣми путями, сухопутными и морскими эти листки и книги въ Россію.

Входили; эти колокола звонили, звѣзды ослѣпляли, катихизисы поучали. Кто не читалъ, не слыхалъ, не видѣлъ? Только лѣнивый читать, лишенный любопытства, обдѣленный чувствомъ общественнымъ. Запрещенный плодъ манилъ тѣмъ сильнѣе; пряность слова не только смѣлаго, но дерзкаго, сопровожденнаго притомъ всегда фейерверкомъ несомнѣннаго остроумія, увлекала еще болѣе. Герценъ царилъ; его катихизисъ становился символомъ вѣры, особенно для возраставшихъ: это былъ высшій трибуналъ и плаха, гроза и кара. А онъ, до того было затерявшійся въ толпѣ изгнанниковъ и бѣглецовъ всего свѣта, возведенный внезапно въ званіе пророка, законодательствовалъ и изрекалъ тѣмъ самоувѣреннѣе, принимая въ минуты отдохновенія поклоны и доклады, личные и заочные, со всѣхъ концовъ Россіи.

Но нѣтъ, его не было; это былъ миѳъ, греза воображенья. Въ невинныхъ съ виду, смирныхъ, вялыхъ произведеніяхъ литературы, а еще болѣе публицистики, его имя у насъ даже не упоминалось. Сказать о немъ значило преступить законъ, въ видѣ предварительной цензуры, отрицавшей существованіе того, чему запрещено было существовать. Герценъ... да гдѣ же его имя? *Колоколъ*... да въ какомъ же каталогѣ значится это заглавіе? Гдѣ оно появлялось, оно было затерто или зачеркнуто: книги задержаны и конфискованы. Его нѣтъ, ихъ не существовало. Можно ли говорить о несуществующемъ? А, стало быть вы читали революціонныя сочиненія? Гдѣ вы ихъ достали? — „Что до того! Но я съ нимъ несогласенъ, я признаю вредъ его дѣятельности; я вступаю съ нимъ въ борьбу...“—Предоставьте это правительству; оно васъ охраняетъ, и не проситъ вмѣшиваться со своею помощью; революціонныхъ сочиненій даже бытіе должно быть неизвѣстно; упоминая о нихъ, вы разжигаете любопытство, компрометтируете правительство.

Молчали; должно было молчать. Теперешній издатель *Московскихъ Вѣдомостей* прервалъ молчаніе, хотя и подъ цен-

зурой, хотя и противъ правилъ, считавшихся законными, хотя и можно было подвергнуться отвѣтственности, въ силу близорукоохранительныхъ разсужденій. Имя Герцена произнесено безъ страха, и не только безъ уваженія, но съ негодованіемъ, съ презрѣніемъ.

Помнимъ впечатлѣніе этого неожиданно произнесеннаго слова. Помните вы? Мы помнимъ хорошо. Добрая половина жившихъ и дѣйствовавшихъ и разсуждавшихъ свободнѣе вздохнула: она также читала запрещенное, по крайней мѣрѣ слышала о немъ; также соглашалась, по крайней мѣрѣ молчала на изъявляемые восторги и угрозы, но внутри тяготилась и смущалась. Спорить было нельзя не только въ печати, но даже словесно. Это было время терроризаціи, нравственное всемогущество лондонскаго диктатора, осадное положеніе русской мысли: заграничная печать не только проповѣдала, но она гнела, она застращивала; она отнимала свободу разсуждать, подавляла нравственно. Половина вздохнула; порадовались другіе. Но школа уже произвела свое дѣло; курсъ уже былъ пройденъ цѣлымъ поколѣніемъ; пять, шесть лѣтъ, это цѣлое поколѣніе въ школѣ; это для слагающагося дитяти и юноши все; взошло, взросло, сѣмена созрѣли, даже упали, и снова уже отъ себя заростили вторичные экземпляры того, чего первыя зерна заброшены изъ Лондона. Новое поколѣніе озлобилось. И могло ли быть иначе? Положенія перемѣнились. Позволеніе осуждать Герцена и все, что отъ него, далось само собою, широко. Но вступиться за него прямо, но спорить съ порицателями, развѣ не преступленіе? Видъ угнетенной невинности возбуждалъ сочувствіе, придавалъ вѣсъ глумленіямъ, замѣняя здравый смыслъ, котораго имъ не доставало, и выманивалъ снисхожденіе къ ругательствамъ, которыми для большей силы приправлялись слова вмѣсто разсужденій.

Вы помните это? Мы помнимъ, и знаемъ также, что умы даже благонамѣренные равно сторонились отъ того и другого стана. Стать ли сюда? Но противно же говорить, не имѣя права слышать возраженіе; но непріятно же подвергаться обвиненіямъ въ инквизиторствѣ, въ намѣренномъ содѣйствіи гоненіямъ на

мысль, на убѣжденія, положимъ ложныя, положимъ жалкія, но чистосердечныя, въ которыхъ притомъ сами убѣжденные виноваты менѣе другихъ: мало учились, мало разсуждали; они слышали только приговоры, а не пренія, возгласы, а не разсужденія; случайныя встрѣчи ихъ съ сумасбродствами, распространявшимися подъ косвеннымъ покровительствомъ самого запрещенія, но ихъ ли это вина? можно ли судить ихъ слишкомъ строго?

А подъ эгидою этихъ отзывовъ полупрезрительнаго соболѣзнованія, они всетаки росли и пріобрѣтали силу. Прошло и еще четыре, пять, шесть лѣтъ; и еще взросло поколѣніе: выросли свои доморощенные герои и мыслители, пророки и апостолы. „Герценъ отсталъ; это человѣкъ слова, а не дѣла; онъ непослѣдователенъ; впередъ,—вотъ дорога, будемъ дѣйствовать мы, „новые люди“:—шли и гибли, разбивая ограниченную голову о здравый смыслъ народа и строгость закона.

А что же онъ, пророкъ ветхозавѣтный?—Нѣтъ Герцена, Герценъ исчезъ, Искандеръ замолкъ, *Колоколъ* безъ языка, *Звѣзда* закатилась.—„*Колоколъ*...“ Да развѣ онъ еще издается?—„Герценъ...“—Да вѣдь, кажется, онъ умеръ!—„А гдѣ онъ?..“—Не любопытствовалъ, право.—Помните эти разговоры?—Мы помнимъ, и они раздавались скоро, скоро послѣ перваго погрома, произведеннаго *Русскимъ Вѣстникомъ*. Пророкъ замолкъ; богъ свергнутъ съ Олимпа. Издатели и типографщики заграничные стали морщась принимать печатаніе, потомъ совсѣмъ отказывались. Ихъ дѣло—выгода; покупателей нѣтъ больше, хотя пріѣзжихъ русскихъ и не уменьшилось; исчезли и изъ-за зеркальныхъ стеколъ фейерверочныя произведенія лондонской печати. Остался отъ нея одинъ русскій шрифтъ, шрифтъ дѣйствительно хорошій, и не худо бы словолитцамъ перенять его рисунокъ, составленный со вкусомъ болѣе изящнымъ, чѣмъ награждаютъ насъ нѣмецкіе пунсонщики.

И какъ все это совершилось быстро! И какую мучительную казнь пришлось пережить заживо пережившему себя писателю! Съ силою вещей спорить было нельзя: оставалось ругаться, и онъ ругался. Но ругаться съ надеждою на успѣхъ можно

только при помощи остроумія; но при паденіи славы и силы, упалъ духъ, оставила и смѣлость остроумія. Что же было дѣлать? Бросить свою дѣятельность съ ненавистью. Брошено.— Пристать къ кому нибудь, дать о себѣ напомнить, хотя черезъ кого нибудь. Польское возстаніе подоспѣло, услуги предложены, приняты, но потомъ тѣми же самими, принявшими, осмѣяны на позоръ всей Европѣ. Вскормленные птенцы идутъ дальше, и смотрятъ сами хотя съ уваженіемъ къ памяти прошедшаго, но и съ нѣкоторымъ презрѣніемъ къ праотцу, обратившемуся въ остовъ: мучительно! А вотъ и старые знакомые, друзья и недруги, политическіе и литтературные, наѣзжающіе въ Европу; все идетъ мимо... О, Погодинъ! Вотъ и онъ случайно, давній литтературный непріятель, неистощимый предметъ моихъ насмѣшекъ! Бѣжитъ къ нему бывшій Искандеръ самъ съ своей исповѣдью, съ своимъ горемъ, своимъ отчаяніемъ, своею досадою на все, на всѣхъ, съ своимъ недоумѣніемъ: что же дѣлать? Какъ воротить хотя каплю уваженія, уваженія не къ убѣжденіямъ, котораго онъ не проситъ, потому что знаетъ, что съ ними не соглашаются, но уваженія къ себѣ, къ своей личности, избавленія хотя отъ презрѣнія, которому онъ подвергается, котораго не въ состояніи онъ скрыть ни отъ другихъ, ни отъ себя и которому не въ состояніи отвѣтить ничѣмъ кромѣ проклятій.

Нерадостная судьба! Но оставимъ, читатель, его, умершаго! Пожалѣемъ о несомнѣнномъ талантѣ, погибшемъ для Россіи, и вмѣсто громадной пользы, которую способенъ былъ бы принести, доставившемъ вредъ, вредъ существенный, ощущаемый доселѣ.

Кто же однако виноватъ въ этомъ вредѣ? Кто? Дѣлаемъ этотъ вопросъ, и оговариваемся, что точность выраженія требовала бы измѣненія формы. *Что* виновато?—такъ спросить правильнѣе.—Виновата была запретительная система, лежавшая гнетомъ на печатномъ словѣ. Ужели и эта судьба этого писателя не говоритъ убѣдительно? Гдѣ причины его успѣха, въ чемъ причины его паденія? Еслибы не выступилъ въ походъ, рискуя, издатель *Русскаго Вѣстника*, чѣмъ бы поколебалась власть

Колокола, скоро ли бы она потеряла силу? Нѣтъ, точнѣе: какими, еще гибельнѣйшими плодами успѣла бы она произрасти въ умахъ и направленіи общества? Когда бы съ первоначала борьбѣ открыто было поприще свободнаго пренія, пошли-ль бы далѣе зародыша, даже зародились ли бы тѣ разрушительныя направленія, противъ которыхъ пришлось воевать ссылками и казнями и усиленными заботами двойной полиціи? Каракозовъ... но откуда онъ, какая умственная почва его взростила, и благодаря чему стало возможнымъ подпольное воспитаніе, не испугавшееся замысловъ, ужаснувшихъ Россію? Если бы не было праотцевъ, были-ль бы потомки? Если бы дерево зачахло въ первую минуту цвѣтоношенія, родился-ль бы плодъ? Если бы не подоспѣла еще къ счастію даже та ограниченная свобода печати, которая намъ дарована, что стало бы съ подпольною печатью: заглохла бы она совсѣмъ, или усилилась? И что съ нею должно быть при свободѣ болѣе полной? Достаточно ли силъ, и есть ли вообще возможность остановить нравственную заразу однимъ административнымъ наблюденіемъ, безъ помощи того же оружія, того же свободнаго слова, той же свободной печати, той же свободной мысли, тѣмъ безопаснѣйшей, чѣмъ она болѣе свободна въ обѣ стороны, тѣмъ благодѣтельнѣйшей, чѣмъ борьба для сторонъ равнѣе? Нашъ народъ развѣ не консервативнѣйшій народъ въ мірѣ? Наша публика страдаетъ развѣ не лѣнью и равнодушіемъ болѣе всего, требующими подталкиванья скорѣе, чѣмъ удерживанья? Развѣ не рискуетъ публицистъ остаться съ читателями одного своего кабинета, если бы вздумалъ возставать противъ основъ нашего общественнаго устройства, и развѣ не запрещеніе или таинственный подстрочный смыслъ даютъ единственную силу разсужденіямъ, которыя кажутся столь страшными? Иль нѣтъ, есть у нихъ и дѣйствительная сила и опора; имъ даетъ силу цѣлая часть поколѣнія, уже успѣвшая воспитаться и воспитавшаяся опять подъ поощрительнымъ дѣйствіемъ того же запрета и той же тайны. Но и противъ нихъ одно врачевство, все одно, то же, неизбѣжное, за исключеніемъ всѣхъ остальныхъ невозможныхъ и гибельныхъ: свобода еще обширнѣйшая и еще менѣе ограниченная.

Да простятъ намъ наши читатели; да простятъ намъ власть имущіе наше можетъ быть слишкомъ горячее, можетъ быть, и слишкомъ длинное слово. Но эти революціонныя воззванія, о которыхъ пролетѣли недавніе слухи; эти поиски за виновниками и отсутствіе достовѣрныхъ слуховъ объ успѣхѣ; это ужасное убійство Иванова; эти руки, ищущія крови, замаранныя кровію, наслаждающіяся кровью; эти умы, покланяющіеся тѣнямъ Разина и Пугачева; и рядомъ съ этими припадками воспаленнаго мозга эта смерть пережившаго себя родоначальника болѣзней: какое сочетаніе! Какое напоминаніе, какое предостереженіе! Ужели и это не убѣдительно, повторимъ мы? Ужели не ясно, въ чемъ одномъ, въ одномъ и ни въ чемъ другомъ, дѣйствительное предохраненіе отъ заразы революціоннаго бреда, спасеніе отъ увлеченій фальшивымъ блескомъ дерзости, столько же безнравственной, сколько беззаконной: въ свободѣ слова, въ полномъ просторѣ совѣсти и убѣжденій. Того, что выросло подъ покровомъ соблазнительной тайны, уже не выростетъ снова. Не легко и не скоро, но отцвѣтетъ, поблекнетъ, засохнетъ и отпадетъ и то, что успѣло уже вырости и запускаетъ корни: засохнетъ однако и оно, и опадетъ подъ сіяніемъ свободной мысли, подъ вѣяніемъ свободнаго слова.

А. М. Бухаревъ *).

Газеты сообщили, что на-дняхъ скончался *Александръ Матвѣевичъ Бухаревъ*. Мы его знали близко, когда онъ былъ первоначальнымъ Александромъ Матвѣевичемъ Бухаревымъ; знали довольно, когда онъ сталъ отцемъ Ѳеодоромъ, іеромонахомъ и потомъ архимандритомъ; и разъ видѣли наканунѣ возвращенія изъ о. Ѳеодора снова въ Александра Матвѣевича.

Воспитанникъ духовной академіи, еще не кончившій курса, 21 года, почти мальчикъ, поступаетъ въ монахи. Начальство радовалось, залучивъ даровитаго воспитанника въ сонмъ равноангельныхъ; но совоспитанники качали головой, и каждый изъ постороннихъ безпристрастный, даже не зная юноши, строго бы осудилъ поспѣшный пріемъ. 21 годъ! Полное незнаніе жизни! Что можетъ случиться и какъ пускаться въ эту темную будущность, изъ которой нѣтъ возврата! А товарищи и тѣмъ болѣе ужасались: это былъ пылкій юноша, неопытный до смѣшного, впечатлительный и восторженный. Въ духовныхъ академіяхъ былъ прекрасный обычай: поступающіе въ монашество воспитанники, наканунѣ постриженія, обходили всѣхъ своихъ товарищей, прощаясь на „живое погребеніе“; каждый напутствовалъ, какъ умѣлъ. Помнимъ, пришлось Александру Матвѣевичу Бухареву выслушивать не отъ одного въ этотъ торжественный, послѣдній для него вечерній часъ товарищескаго общества, суровыя предсказанія, хотя и растворенныя любовію: „ты будешь несчастенъ, ты погибнешь, самъ не знаешь, что дѣлаешь; или съ ума сойдешь или сопьешься; подкрѣпи тебя Богъ!“

И вотъ первый урокъ,—впрочемъ, теперь уже запоздалый; нынѣ грѣхъ жаловаться на опрометчивую восторженность духовныхъ воспитанниковъ. Если въ былыя времена случалось, что въ одномъ выпускѣ, простиравшемся до пятидесяти, сорока человѣкъ не болѣе, бывало до восьми клобуковъ; теперь сплошь

*) «Совр. Извѣстія» 1871 г. № 117.

и рядомъ нѣсколько курсовъ проходитъ совсѣмъ безъ готовностей на это несвоевременное закланіе. Зато и плачивались дарованія въ былыя времена! Изъ десяти съ девятыми сбывалось, что̀ предсказывалось Бухареву.

Но съ Бухаревымъ одного совсѣмъ не сбылось, другое сбылось лишь на половину. Двадцатидвухъ-лѣтнему монаху дана была каѳедра при духовной академіи. При пылкомъ умѣ, живомъ воображеніи, нѣкоторомъ остроуміи, о. Ѳеодору недоставало одной, впрочемъ, весьма важной вещи: основательной исторической подготовки, того, что называютъ эрудиціей. Многихъ, самыхъ обыкновенныхъ познаній, доставляемыхъ первоначальнымъ образованіемъ, онъ былъ лишенъ, какъ лишенъ былъ вмѣстѣ и самыхъ обыкновенныхъ познаній практической жизни. На немъ отразился одинъ изъ недостатковъ прежняго семинарскаго воспитанія: развитой формально умъ и—отсутствіе матеріала, надъ которымъ могъ бы умъ работать, отсутствіе груза, который бы не давалъ заноситься отъ дѣйствительности. О. Ѳеодоръ крайне недостаточно знакомъ былъ даже съ языками: все устроилось, чтобъ играло только воображеніе, а умъ лишь подслуживался образамъ, облекая ихъ въ кажущіяся понятія. Каѳедра о. Ѳеодору была дана: экзегетика, то есть толкованіе Библіи; эрудиціи требовалось бы пропасть, и при подготовкѣ предстояла бы работа кропотливая, даже надсаживающая. Но это было не подъ силу, и молодой профессоръ предпочелъ взяться именно за то, гдѣ могъ дать просторъ совершенно произвольнымъ измышленіямъ,—за Апокалипсисъ! Это было въ восточную войну. Обложивъ себя дюжинными учебниками исторіи, о. Ѳеодоръ по Апокалипсису вздумалъ разгадывать и прошедшее и будущее. Онъ былъ такъ увѣренъ въ своихъ предсказаніяхъ, которыя, примѣнительно къ обстоятельствамъ, касались болѣе всего судьбы Востока, Константинополя и т. п., что уѣзжая изъ Сергіевской Лавры объяснялъ нѣкоторымъ изъ сослуживцевъ, не смущаясь: „я знаю, что надо мною смѣются, считаютъ полоумнымъ; но судьба всѣхъ великихъ людей такова; послѣдствія меня оправдаютъ“...

Углубляться въ изъясненія Апокалипсиса, это дѣйствительно преддверіе къ сумасшествію. Въ богословскомъ мірѣ успѣло составиться даже преданіе въ этомъ смыслѣ, и притомъ не безъ историческихъ основаній. Покойный митрополитъ Филаретъ, которому о. Ѳеодоръ, какъ благоговѣйный послушникъ, представилъ опытъ своихъ толкованій,—должно быть прозрѣлъ опасность и поручилъ молодого профессора одному духовному старцу, заповѣдавъ ничего не предпринимать увлекавшемуся юношѣ безъ его совѣта. Къ сожалѣнію, духовный старецъ, можетъ быть и опытный въ духовной жизни, былъ невѣжда въ наукѣ: самолюбіе профессора не покорилось наставленію, и Апокалипсисъ продолжалъ углублять его вниманіе.

Опускаемъ разныя частности, хотя психологически и очень любопытныя, которыя ознаменовали эту первую половину жизни Ѳеодора. Его вскорѣ перевели въ Казанскую академію инспекторомъ, должно-быть въ надеждѣ, что административная дѣятельность отвлечетъ умъ и воображеніе отъ опасной дороги. Затѣмъ онъ является членомъ духовнаго цензурнаго комитета въ Петербургѣ. О казанской дѣятельности о. Ѳеодора мало знаемъ; но въ Петербургѣ онъ выступаетъ уже на широкое, въ полномъ смыслѣ общественное поприще. Онъ былъ либеральнѣйшій изъ духовныхъ цензоровъ, но, впрочемъ, по особенному, совсѣмъ неожиданному соображенію, которое отчасти высказывалось имъ и печатно, а въ устныхъ бесѣдахъ развивалось очень подробно: по теченію его мыслей у него выходило какъ-то, что современное направленіе науки, и именно то, которое считается крайнимъ, есть истинное христіанство, что въ общемъ объ немъ мнѣніи есть недоразумѣніе, и что въ кажущемся атеизмѣ отыскивается Христосъ.

Апокалипсисъ, впрочемъ, не оставилъ мечтателя и на этомъ поприщѣ; о. Ѳеодоръ вздумалъ даже издать свое толкованіе. Это ему не удалось по цензурнымъ препятствіямъ, которыя съ тѣмъ вмѣстѣ были и іерархическія, и онъ, до глубины души оскорбленный за свои завѣтнѣйшія мысли, рѣшился снять съ себя санъ. Это былъ примѣръ небывалый: архимандритъ и

даже кавалеръ, примѣрной жизни, образцоваго трудолюбія, образа мыслей безукоризненнѣйшаго съ точки зрѣнія православія, добровольно снимаетъ санъ, обращается въ ничтожество, въ лицо лишенное всѣхъ правъ состоянія, въ произвольную нищету, истинную нищету, а не мнимую, какъ бываетъ въ монашествѣ. Зачѣмъ?—Чтобы проявить подвижничество внѣ монашества и послужить христіанству внѣ духовенства. Такъ самъ онъ себѣ объяснялъ, вѣровалъ и надѣялся.

Тяжело досказывать остальное. О. Ѳеодору пришлось еще выдержать нравственную пытку, прежде чѣмъ позволили снять ему съ себя санъ: его подвергли увѣщаніямъ, неоднократнымъ, частнымъ и торжественнымъ, отдавали подъ присмотръ. Наконецъ, когда желаніе его совершилось и просьба была уважена, пришлось ему испытать убійственное, горчайшее изъ разочарованій. Лишенный правъ состоянія, обращенный въ нищету, онъ увидалъ съ тѣмъ вмѣстѣ лишнимъ себя и въ умственномъ мірѣ. Взгляды его, неуспѣхъ которыхъ онъ приписывалъ дотолѣ своему положенію, оказались никому ненужными и никому неподходящими въ новомъ положеніи, какъ и въ прежнемъ; работать же онъ не могъ; онъ могъ и хотѣлъ только просвѣщать и наставлять, а наставленія его не находили читателей; единицами рублей оцѣнивались книгопродавцами его авторскіе труды, измѣряемые десятками печатныхъ листовъ. Отрадою горькой жизни послужило ему отчасти супружество, въ которое онъ вступилъ, опять также тенденціозно. Но этой стороны мы не смѣемъ касаться...

Почти наканунѣ перехода изъ монашества въ жизнь свѣтскую, въ тѣ дни тяжелой пытки, предшествовавшей разстриженію, видѣли мы о. Ѳеодора въ Переславѣ, который былъ предпослѣднимъ и послѣднимъ мѣстомъ его жительства. Намъ, помнимъ, бросилась эта трагическая противоположность: принявъ мальчика въ монашество, вопреки правиламъ, безъ искуса, томили зрѣлаго мужа пыткою искуса прежде, чѣмъ возвратить обратно въ міръ. Но несчастный смотрѣлъ спокойно, почти весело въ будущее. Тихимъ майскимъ вечеромъ, оплывая исто-

рическіе берега озера, онъ толковалъ о будущей своей просвѣтительной дѣятельности; мечталъ объ изданіи журнала; объяснялъ программу. Отвѣчать было нечего, оставалось только жалѣть. То было въ 1863 году. Казалось Ѳеодору, что свѣтская литтература усиливается проповѣдывать Христа, но ей мѣшаютъ съ духовной стороны; что законодательная и высшая административная власть преисполнены клерикализма, но встрѣчаетъ въ примѣненіи своего направленія противодѣйствіе со стороны духовенства. О механизмѣ періодическихъ изданій высказывалъ самыя младенческія понятія; о томъ, что нужно имѣть для этого еще дозволеніе, повидимому, даже не зналъ.

Сломило наконецъ. Да не могло и быть иначе, при голой нищетѣ, смертномъ разочарованіи и до конца не угаснувшихъ мечтахъ о великомъ просвѣтительномъ призваніи. А могло бы быть многое изъ этого человѣка! Могло бы изъ него многое быть сдѣлано, и притомъ на всѣхъ стадіяхъ его жизни, при осторожномъ обращеніи! Такіе люди идутъ на костеръ; надо лишь умѣть поставить ихъ на стезю, гдѣ общественное служеніе совпало бы съ задушевными ихъ стремленіями; такими людьми католическая іерархія горы ворочаетъ...

Заключимъ свои воспоминанія вопросомъ: ужели еще долго будетъ сохраняться эта казнь, налагаемая на лицъ, снимающихъ съ себя духовный санъ? За что равнять ихъ съ преступниками? За что отнимать у общества возможность пользоваться способностями лицъ достойныхъ? Гдѣ основаніе подвергать наказанію поступокъ именно за то, что онъ добросовѣстенъ? Бухаревъ есть свѣжая жертва этого жестокаго закона, ничѣмъ неоправдимаго ни съ политической, ни съ нравственной стороны. А съ нимъ еще совершена была двойная, если не тройная несправедливость: снятіе монашества лишило его священства (что отъ монашества независимо); лишило его внѣшняго отличія (ордена), что тѣмъ менѣе связано съ иночествомъ; наконецъ лишило его даже ученой степени,—онъ возвращенъ былъ просто въ „воспитанника“, а не магистра: какое для этого основаніе?..

В. И. Даль.*)

Почтимъ высокую память Владиміра Ивановича Даля...

Бываютъ напѣтыя славы. Высотою положенія созидаются другихъ заслуги. Приснопамятный В. И. Даль не искалъ славы; можно сказать—отвращался ея, и ничто не было противно столь его душѣ, какъ внѣшній блескъ положенія. Парадъ, вывѣска, „казаться", было ему, лично въ себѣ, невозможностью, въ другихъ—достойною сожалѣнія слабостью. Мужъ чистаго долга, неуклонно правдивый, безпритязательный, радушный; гражданинъ-труженикъ, служившій дѣлу для дѣла. И—послужившій!... Какъ воспѣлись бы другіе, когда бы дали хотя десятую долю съ него! Съ какою поспѣшностью полѣзли бы на вершины оффиціальной лѣстницы! А мы знаемъ, какъ отбивался въ свое время Владиміръ Ивановичъ даже отъ губернаторскихъ мѣстъ, для которыхъ нуженъ тоже свой парадъ, свое искуство не быть, а держать себя. И помнимъ мы также, какъ встрѣченъ былъ его колоссальный трудъ даже Академіею,—тою Академіею, которая во все время своего существованія не успѣла, даже при коллективномъ трудѣ, соорудить языку памятникъ, равный *Словарю великорусскаго языка*. И въ обществѣ едва ли не болѣе словаря надѣлали шума *Сказки* Аѳанасьева, который однако большею частію своего матеріала одолженъ былъ тому же неутомимому собирателю. Говоримъ это не въ укоръ Аѳанасьеву, который теперь тоже покойникъ; но здѣсь сказывается отчасти характеръ общества, а вмѣстѣ и та прекрасная черта покойнаго Даля,—готовность беззавѣтно дѣлиться съ другимъ плодами своихъ разысканій.

Молодость В. И. Даля знаемъ мало. Это была неособенно веселая часть его жизни. Морской офицеръ, онъ обстоятельствами вынужденъ былъ потомъ обратиться къ другой дѣятельности и—выслушать курсъ медицины. Въ качествѣ врача онъ

*) «Совр. Извѣстія» 1872, № 263.

совершилъ походы 1828 и 1829 года, и въ томъ же качествѣ врача состоялъ при арміи въ походѣ 1830 года. Но здѣсь случилось обстоятельство, заслуживающее быть упомянутымъ: врачъ спасъ цѣлый корпусъ отъ неминуемой гибели или даже плѣна. Надо было переходить рѣку, и не находилось, кто бы устроилъ переправу. Знаніе морского дѣла помогло Далю оказать неоцѣненную услугу. Но любопытное было въ томъ, что этотъ подвигъ не вошелъ даже въ реляцію, и несмотря на честныя хлопоты корпуснаго командира, обязаннаго спасеніемъ, донесеніе о заслугѣ врача положено было подъ сукно. Оно могло обнаружить, что организація корпуса страдала существеннымъ упущеніемъ—отсутствіемъ саперовъ....

При графѣ Л. А. Перовскомъ и потомъ при братѣ его, В. А. Перовскомъ, генералъ-губернаторѣ Оренбургскаго края, состоялъ далѣе покойный. Онъ совершилъ вмѣстѣ съ генералъ-губернаторомъ роковой походъ въ Хиву, котораго и описаніе имъ составлено. О трудовой дѣятельности Даля въ тѣ времена можно составить понятіе по тому, что въ продолженіе едва ли не 11 лѣтней службы при министрѣ, онъ не болѣе пяти разъ нашелъ возможнымъ выйти изъ своего кабинета не по дѣлу службы... Онъ жилъ въ Петербургѣ, но въ немъ не былъ.

Послѣднею службою Даля было управленіе Нижегородскою удѣльною конторою. Не безъ курьезовъ обошлось и здѣсь, подъ стать спасенію армейскаго корпуса врачемъ. „На какомъ основаніи—обращается къ губернскому начальству управляющій удѣльною конторою—позволено такимъ то лѣсопромышленникамъ, въ ущербъ удѣльнымъ имѣніямъ, производить сплавъ по такой-то рѣкѣ вопреки прямой статьѣ закона?“—А на основаніи того, что мнѣ такъ угодно,—послѣдовалъ буквальный отвѣтъ. И когда протестъ съ подлиннымъ отвѣтомъ, препровожденный выше, остался не только безъ отвѣта, но вызвалъ даже замѣчаніе за неумѣнье цѣнить личныя отношенія выше закона,—Даль оставилъ службу...

Но не службой въ бюрократической лѣстницѣ дорогъ онъ Россіи, хотя и здѣсь его честная, труженическая дѣятельность

должна быть помянута съ благодарною похвалою. Онъ дорогъ своими литтературными и въ особенности этнографическими и филологическими трудами, которые были дѣломъ всей его жизни и которые ставятъ ему несокрушимый памятникъ въ потомствѣ. Что оказала бы ему всякая другая страна за его Словарь вмѣстѣ съ Собраніемъ пословицъ!

Даль любилъ русскій языкъ; вникалъ во всѣ его изгибы; искрестивши Россію изъ конца въ конецъ, проведя дѣтство въ Малороссіи, служа на Черномъ морѣ, въ Петербургѣ, Оренбургѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, двигавшись по западнымъ окраинамъ,—онъ не упускалъ обогащать свой опытъ, ловилъ каждую особенность быта, каждый новый оттѣнокъ въ говорѣ, каждую слышанную побасенку, каждое, невзначай брошенное, новое слово. Онъ чтилъ русскій народъ глубоко, и наше о немъ краткое воспоминаніе погрѣшило бы существеннымъ опущеніемъ, если бы не сказало еще о новомъ опытѣ преклоненія его предъ народностью: уже въ преклонныхъ лѣтахъ, года два или три назадъ, Даль, рожденный въ лютеранствѣ, принялъ православіе. Помимо всего, онъ слышалъ противорѣчіе—быть столь глубоко русскимъ, какимъ онъ былъ, и быть русскому народу чуждымъ по вѣрѣ. Не безъ оттѣнка обиженной скорби, помнимъ мы, замѣтилъ онъ разъ какъ-то прежде, въ кругу близкихъ, разсуждавшихъ при немъ о существенныхъ элементахъ русской народности, когда единогласно къ ней причислено было и православіе. „Такъ какъ же я-то? Развѣ я не русскій?“ воскликнулъ онъ съ печальнымъ недоумѣніемъ.

Но недоумѣнію этому онъ потомъ положилъ конецъ, не безъ зрѣлаго размышленія, не безъ строгаго совѣта съ совѣстью, отъ которой онъ никогда не отступалъ. И этимъ дѣяніемъ его, на закатѣ дней совершеннымъ, становится память его для насъ, русскихъ, дороже вдвое. Онъ потрудился для народа не только какъ высоко-честный согражданинъ, но какъ братъ ему вполнѣ, по плоти и по духу....

М. П. Погодинъ *).

Кончина Михаила Петровича Погодина образуетъ послѣ себя крупную пустоту.

Чѣмъ крупнѣе утрата, тѣмъ невозможнѣе въ краткихъ словахъ подробно опредѣлить всю ея силу.

Далекіе отъ того, чтобы принимать на себя не легкій трудъ исчисленія многообразныхъ трудовъ, достоинствъ и заслугъ почившаго академика; не повторяя и тѣхъ краткихъ указаній, которыми мы сочли нужнымъ года три назадъ почтить его пятидесятилѣтній юбилей,—мы скажемъ, что Россія теряетъ въ Михаилѣ Петровичѣ Погодинѣ *одного изъ первыхъ, если не перваго своего гражданина.*

При обширномъ умѣ, при обширныхъ знаніяхъ, при безустанной дѣятельности ученой и публицистической, Михаилъ Петровичъ прежде всего былъ *русскій человѣкъ и человѣкъ общественный* въ высшемъ и полнѣйшемъ значеніи этого слова. Здѣсь та точка зрѣнія, которая по нашему мнѣнію объясняетъ все остальное, и въ этомъ смыслѣ мы не находимъ приличнѣйшаго эпитета почившему, какъ наименовать его однимъ изъ первыхъ, если не первымъ русскимъ гражданиномъ. *Ему дорога была русская слава, русская честь, русская наука, преуспѣяніе русской земли на всѣхъ путяхъ, и онъ жилъ этимъ, это было первою и послѣднею нотою всѣхъ его дѣяній.* Но онъ былъ въ то же время человѣкъ *общественный,* не кабинетный ученый и не ремесленникъ науки, хотя наука и не безъ гордости произнесетъ его имя. *Каждое значительное событіе въ русской жизни, каждое направленіе, вновь явившееся въ русской мысли, каждое новое произведеніе, чѣмъ либо оригинальное, каждое новое замѣчательное лицо, прерывали его* дѣятельность историка, сначала историческаго критика, а потомъ и прагматика, и внушали ему трактатъ, статью, вызывали его на путешествіе, пе-

*) „Совр. Извѣстія“ 1875 г. № 340.

реписку. Благо русскаго общества было все для Михаила Петровича; благо русскаго народа, сказали бы мы для большей точности, потому что патріотизмъ Михаила Петровича лежалъ не на одностороннемъ государственномъ и не на узкомъ аристократическомъ основаніи, хотя онъ и не принадлежалъ къ „народникамъ“ въ узкомъ смыслѣ.

Если бы насъ просили назвать сочиненія, съ которыхъ можно оцѣнивать всѣ остальные труды Михаила Петровича, мы назвали бы *два,* отдаленныя отъ себя чуть не цѣлымъ пятидесятилѣтіемъ: *Историческіе афоризмы,*—статья въ свое время мало даже замѣченная, можетъ быть потому, что многіе изъ афоризмовъ переросли далеко своихъ современниковъ, и—*Политическія письма,* изданныя въ *прошломъ* году, способныя одни составить славу любому публицисту. И послѣдняя книга, не смотря на то, что она гремѣла по всей Россіи еще въ рукописи, потому что была въ свое время не только глубокимъ сочиненіемъ, но и *гражданскимъ подвигомъ,* прошла опять едва замѣченною, на этотъ разъ по винѣ самого автора. Опасаясь перетолкованія своихъ политическихъ воззрѣній, онъ выразилъ свое опасеніе покойному Лонгинову, и тотъ, думая услужить, причислилъ *Политическія письма* къ книгамъ, о которыхъ, подобно какъ объ описаніяхъ царствованія Екатерины и Павла, не дозволяется разсуждать широко. Но *Историческіе афоризмы* заключаютъ въ себѣ такъ сказать философію исторіи еще молодого Погодина, хотя изложенную въ видѣ отрывочныхъ замѣтокъ, а *Политическія письма—цѣлый политическій взглядъ на прошедшее, настоящее и будущее Европы въ отношеніи къ Россіи и славянамъ* и на мѣсто, занимаемое славянскою національностью въ ходѣ всемірной исторіи. Не забудемъ, *что славянъ для русскихъ, можно сказать, открылъ Погодинъ, и его ходатайству* обязаны своимъ существованіемъ каѳедры славянскихъ нарѣчій и славянскаго народописанія въ нашихъ университетахъ. Можно сказать, что въ этихъ двухъ сочиненіяхъ сказывается внутреннее ученаго публициста; все остальное есть только внѣшнее примѣненіе, разнообразное, иног-

да поспѣшное, но часто и замѣчательное, гдѣ мѣткостью сужденій, гдѣ критическимъ остроуміемъ, гдѣ безспорнымъ талантомъ.

Великъ былъ бы трудъ, если бы отъ Михаила Петровича, какъ ученаго и публициста, мы перешли къ нему какъ человѣку. Сколькихъ онъ поддержалъ, сколькимъ далъ ходъ, и притомъ съ высшимъ безпристрастіемъ! Несогласіе съ его воззрѣніемъ, иногда даже враждебныя и прямо несправедливыя отношенія по литературѣ, не угашали въ немъ уваженія къ достоинствамъ и заслугамъ другого, и не мало было случаевъ, что онъ первый, въ виду событій и вопросовъ важныхъ, протягивалъ руку тому, кто за день публично издѣвался надъ нимъ. Его коренное убѣжденіе было, что *всѣ русскія независимыя силы, умственныя и нравственныя, должны держаться въ единодушіи*, и онъ твердо самъ слѣдовалъ этому правилу. „Хорошіе люди должны другъ за друга держаться," было однимъ изъ его изреченій, и онъ былъ первый его исполнителемъ. Не забудемъ никогда глубокаго впечатлѣнія, оставленнаго на насъ случаемъ, о которомъ мы передавали въ краткой рѣчи на юбилеѣ покойнаго,—тѣмъ радостно истерическимъ смѣхомъ, которымъ отвѣтилъ онъ намъ нѣкогда на разсказъ объ одномъ, дотолѣ неизвѣстномъ молодомъ человѣкѣ и его сочиненіи, о которомъ мы сочли нужнымъ сообщить Михаилу Петровичу, между словъ, какъ о произведеніи замѣчательномъ.—Чему же вы смѣетесь, Михаилъ Петровичъ?—„Какъ же, человѣкъ новый родился! Нельзя не радоваться".

Въ этомъ смыслѣ *русскіе „самородки" были особенною слабостью Михаила Петровича:* онъ заворачивалъ нарочно въ какой нибудь Касимовъ, прослышавъ, что тамъ есть самоучка, создавшій проектъ гигантскаго оригинальнаго храма; онъ поднималъ на ноги всѣхъ знакомыхъ вліятельныхъ лицъ, чтобъ дать ходъ сочиненію какого нибудь самоучки, или поддержать самого автора, въ которомъ прозрѣвалъ оригинальное дарованіе. Поклоняясь Ломоносову и самъ происходя изъ *плебеевъ*, онъ искалъ Ломоносовыхъ и считалъ своею обязанностью углаждать имъ путь къ наукѣ, дѣятельности, извѣстности.

Не мало было и есть хулителей Погодина. Для многихъ онъ бывалъ даже любимою „притчею“, общимъ мѣстомъ остроумія. Это—удѣлъ всѣхъ крупныхъ людей. Но къ тому присоединялись еще личныя особенности Михаила Петровича,—нѣкоторыя, дѣлавшія ему наоборотъ прямую честь. *Онъ былъ выше партій и самъ цѣлое направленіе,* хотя къ одному изъ литературно-политическихъ направленій и примыкалъ ближе. А худо у насъ на Руси тому, кто не „нашъ“ и у кого нѣтъ „нашихъ“: онъ окажется для всѣхъ „не нашимъ“; злословящихъ найдется много и поддерживающихъ ни одного. Но сверхъ того, какъ человѣкъ общественный въ полномъ смыслѣ и вмѣстѣ впечатлительный, онъ не на всѣ сочиненія свои и статьи накладывалъ послѣднюю руку, спѣша выступить съ ними въ свѣтъ, чѣмъ давалъ дешевую пищу желающимъ издѣваться.

Заключимъ свое слово напоминаніемъ, что Михаилъ Петровичъ, какъ самъ онъ говоритъ въ своей автобіографіи (напечатанной по поводу столѣтняго университетскаго юбилея), обязанъ первымъ воспитаніемъ своимъ *1812* году. Это было первое сильное впечатлѣніе на мальчика, жителя Москвы, и первая основа будущей его духовной личности. Въ немъ сказывается она сильно и ярко. Но онъ только типъ. Цѣлое поколѣніе прошло, воспитанное преданіями русской славы прошлаго вѣка и воспоминаніями судебъ 1812 г. Съ Михаиломъ Петровичемъ удаляется „послѣдній изъ могиканъ“ этого типа; вмѣстѣ и послѣдній *живой носитель литературныхъ преданій цѣлаго* пятидесятилѣтія. Михаилъ Петровичъ былъ носителемъ и представителемъ его по преимуществу: *Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ, Гоголь,—это были лица близкія къ Погодину,* нѣкоторые его друзьями. Далѣе, Островскій, Писемскій, Миллеръ, Бергъ и цѣлая половина слѣдующаго поколѣнія порождены Погодинымъ, вышли изъ его *Москвитянина* или прошли черезъ него. Къ пятидесятымъ годамъ подоспѣваетъ новая эпоха и съ нею починается новый періодъ русской мысли и жизни, гдѣ воспоминанія 1812 года, а тѣмъ болѣе преданія прошлаго столѣтія, совсѣмъ исчезаютъ. Что̀ заложено въ воспитательное

основаніе возросшему и грядущему поколѣнію, и чѣмъ замѣнится то „патріотическое“ (назовемъ такъ) основаніе, которое слышалось въ Карамзинѣ, Жуковскомъ, Пушкинѣ, Гоголѣ, Погодинѣ, С. Т. Аксаковѣ,—еще не явилось. Пожелаемъ грядущему, чтобы оно въ своемъ типѣ и въ свой циклъ приготовило людей и дѣятелей, подобныхъ вышеупомянутымъ, въ числѣ которыхъ не маловажное мѣсто занимаетъ и Погодинъ.

А. В. Горскій. *)

Глубоко сожалѣемъ мы, что обстоятельства не позволили быть намъ на засѣданіи, къ чему званіе члена Общества давало намъ право, а отношенія къ покойному *А. В. Горскому*, учителю и сослуживцу дѣйствительно *незабвенному, неоцѣнимому, безпримѣрному, возлагали* на насъ обязанность. Нельзя не быть глубоко-благодарнымъ профессору Тихонравову за то, что онъ познакомилъ Общество съ этою необыкновенною личностію; хотя нѣтъ сомнѣнія, почтеннымъ профессоромъ было высказано не все, потому что и не могло быть высказано: предъ нимъ была ученая дѣятельность Горскаго, и онъ не обязанъ былъ отъ нея отступать; если бы даже захотѣлъ идти далѣе, то не смогъ бы долго собрать всѣхъ матеріаловъ.

Мы довольны некрологомъ, прочитаннымъ въ засѣданіи Общества еще и потому между прочимъ, что до нѣкоторой степени облегчается наша отвѣтственность: *на насъ, именно на насъ, болѣе чѣмъ на комъ другомъ, лежалъ прямой долгъ* почтить первымъ публичнымъ словомъ могилу почившаго ученаго. Мы и пытались исполнить этотъ долгъ, при первомъ извѣстіи о неоцѣненной утратѣ; но нѣсколько исписанныхъ листковъ остаются единственными слѣдами попытки, которой одолѣть мы были не въ силахъ. Ученыя заслуги, нѣтъ сомнѣнія, разобраны будутъ по достоинству, и какъ видимъ уже разобраны отчасти; но необходимо *возсоздать всю духовную личность покойнаго, личность колоссальную*, сказали бы мы, если *бы нравственной высотѣ, высотѣ смиренія, исполненія долга до самозабвенія, могъ приличествовать эпитетъ „колоссальности“*. Этотъ аскетъ-профессоръ, этотъ инокъ-мірянинъ, съ подвижническою жизнію соединявшій общительную гуманность и готовность всякому служить своими знаніями и трудами, это было необыкновенное явленіе. Оно едва ли повторится. *Оно было созданіемъ особаго*

*) Совр. Извѣстія 1875 г., № 353.

духовнаго строя въ извѣстный періодъ московской Академіи, гдѣ А. В. Горскому предшествовалъ первообразъ его Ѳ. А. Голубинскій, съ тою же бездною эрудиціи, съ глубокимъ мыслительнымъ умомъ, и не только отсутствіемъ тщеславія, но смиреніемъ, о которомъ трудно составить даже понятіе: о такомъ смиреніи можно только читать въ учебникахъ нравственнаго богословія. Общество Любителей Россійской Словесности, поминавшее прошлые года и Ундольскаго и Капитона Невоструева, касалось этой воспитательной среды и ея вліянія. В. Ундольскій и К. Невоструевъ дѣйствительно вышли изъ нея; и дѣйствительно эти ученики Горскаго явили свѣту *часть* того воспитанія, которымъ они обязаны Горскому и Академіи.

Мы не будемъ продолжать, потому что въ краткой замѣткѣ только и придется ограничиваться общими выраженіями, которыя не въ состояніи произвести желаемаго живого впечатлѣнія. Но мы не удержимся, чтобы въ заключеніе не разсказать случая, имѣвшаго ближайшее отношеніе къ Горскому,—случая характеристическаго. Покойнаго митрополита Филарета разъ спросили: „Почему при посвященіи во священники иль дьяконы, если то мірянинъ, требуется непремѣнно женитьба? И почему нельзя вдоваго дьякона произвести во священники?“—Нѣтъ, можно, отвѣчалъ митрополитъ; не запрещено ни то, ни другое.—Отчего же вы не посвящаете?—Ищу достойнаго, отвѣтилъ іерархъ.

Предразсудокъ въ обществѣ вкоренился. Митрополитъ искалъ, чтобы переломить предразсудокъ, такое лицо, предъ выборомъ котораго смолкли бы всѣ. И онъ нашелъ. Послѣ сорокалѣтняго исканія, онъ предложилъ священную степень безженному профессору Горскому, уже извѣстному ученому и притомъ подвижнику, о которомъ узнававшіе его нѣсколько спрашивали только съ удивленіемъ: „Что за странность! Что жъ онъ не идетъ въ монахи, исполняя монашескіе обѣты и ведя жизнь святѣе монаха?“

Митрополитъ не обманулся: посвященіе холостого Горскаго во священники удивило въ свое время какъ новость, но никого не смутило.

Ю. Ѳ. Самаринъ *).

Еще борца не стало... Телеграфъ принесъ изъ Берлина извѣстіе о кончинѣ Юрія Ѳедоровича Самарина. Онъ извѣстенъ Москвѣ своею дѣятельностью по думѣ, Европѣ своими сочиненіями, всей Россіи — участіемъ въ крестьянской реформѣ и преобразованіи Царства Польскаго. Необыкновенно-логическій умъ, многостороннее развитіе образовали изъ него высокаго мыслителя, и надо было только удивляться жертвоприношенію, которое онъ совершалъ надъ собою въ послѣдніе года, когда его дѣятельность почти всецѣло была отдана городскому хозяйству. Авторъ диссертаціи *Ѳеофанъ Прокоповичъ и Стефанъ Яворскій*, авторъ *Іезуитовъ* и *Окраинъ*, одинъ изъ редакторовъ *Положенія о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости*, съ безпримѣрной добросовѣстностью засаживалъ себя, какъ послѣдній рабочій, за какой нибудь „вопросъ“ о прирѣзкѣ городской земли къ кладбищамъ, о вывозѣ городскихъ нечистотъ, или стѣнѣ Китая Города! Это, какъ мѣтко выразился нѣкто, было „топленіе печи краснымъ деревомъ, куда годились бы и осиновыя полѣнья“. Но Юрій Ѳедоровичъ былъ иного мнѣнія и нашелъ долгомъ отдать себя такой дѣятельности. „Теперь нужны не зодчіе, а каменьщики; не планы сочинять, а кирпичи класть“. Почти этими словами, но именно этимъ сравненіемъ, отвѣчалъ онъ намъ на наше удивленіе и сожалѣніе. Городское Общество впрочемъ и цѣнило его: помнимъ безпримѣрно громадное большинство, почти единогласіе, которымъ онъ призванъ былъ къ временному заступленію городскаго головы, по случаю отпуска князя Щербатова.

О политической дѣятельности Юрія Ѳедоровича и ея значеніи мы не будемъ распространяться, по особымъ уважительнымъ причинамъ. И. С. Аксаковъ въ предисловіи ко II тому сочиненій своего брата оговорился, что статьи, долженствую-

*) «Совр. Извѣстія» 1876 г. № 78.

щія войти въ III томъ, заключаютъ въ себѣ многое иное, еще „неудобь сказаемое“. То же, но еще въ большемъ размѣрѣ, можетъ быть приложено и къ другу К. С. Аксакова, Юрію Ѳедоровичу Самарину. Предоставляя будущему времени характеристику болѣе полную, мы ограничимся для оцѣнки дѣятельности Юрія Ѳедоровича въ этомъ отношеніи матеріаломъ болѣе или менѣе всѣмъ извѣстнымъ. Напомнимъ, что *Положеніе* о крестьянской реформѣ, выработанное редакціонными коммиссіями, есть трудъ главнымъ образомъ трехъ лицъ: Н. А. Милютина (тоже уже покойнаго), Ю. Ѳ. Самарина и князя В. А. Черкасскаго. Они были душа и умъ въ этихъ работахъ. Объ обширности и напряженности занятій Ю. Ѳ. въ этотъ періодъ времени можно судить потому, *что усиленный трудъ довелъ его до нервнаго удара, стоившаго ему потери зрѣнія отчасти.* Въ преобразованіи Царства Польскаго онъ принималъ участіе, какъ одинъ изъ главныхъ начертателей новой политической программы, принятой относительно этого края, послѣ его усмиренія. Въ этомъ случаѣ онъ является однимъ изъ членовъ опять той же тріады (съ кн. В. А. Черкасскимъ и Н. А. Милютинымъ). Н. А. Милютинъ и кн. В. А. Черкасскій приняли затѣмъ и административные посты по введенію предначертанныхъ преобразованій: Юрій Ѳедоровичъ ограничился тѣмъ, что со свойственною ему логикою и глубиною взгляда очертилъ современное положеніе и систему, которою противъ нея слѣдовало бороться, но остался въ частной жизни — каменьщикомъ, выкладывающимъ кирпичи, по его выраженію.

Удобнѣе было бы разобрать учено-литтературную дѣятельность знаменитаго нашего дѣятеля; но здѣсь только можно чувствовать невыразимую скорбь. *Какая ясность и глубина воззрѣнія въ его характеристикѣ двухъ извѣстныхъ писателей Петровскаго времени, или точнѣе сказать—всѣхъ судебъ нашего богословія и сущности православія!* Но трудъ этотъ, сколько намъ извѣстно, не во всѣхъ своихъ частяхъ даже напечатанъ. Какое тонкое пониманіе, какой прорѣзающій анализъ въ его *Іезуитахъ!* Лучшею оцѣнкой силы этого сочине-

нія служитъ то, что орденъ Лойолы не дерзнулъ даже выступить съ отвѣтной полемикой: пріемъ, между прочимъ предсказанный самимъ безсмертнымъ авторомъ. Но тѣмъ прискорбнѣе, что такая сила ума, такая громада таланта, такія знанія, такая способность труда, унесены, оставивъ послѣ себя количественно столь немногое, и убивъ послѣдніе годы мыслителя на подвижничество въ видѣ кладки кирпичей городского самоуправленія.

Да, Юрій Ѳедоровичъ былъ дѣйствительный подвижникъ. На эту тему можно бы сказать многое. Но мы заключимъ свой слабый некрологъ подробностями о горькой ироніи, съ какою посмѣялась судьба надъ нашимъ дорогимъ соотечественникомъ. Юрій Ѳедоровичъ, русскій человѣкъ и православный до мозга костей и до послѣднихъ жилъ; поборникъ народности и православія; ратователь за нихъ въ особенности противъ нѣмцевъ, не оставлявшій этой борьбы до конца и даже среди занятій по городскому хозяйству; за борьбу эту серьезно пострадавшій въ молодости,—этому Юрію Ѳедоровичу довелось скончаться въ Берлинѣ, среди нѣмцевъ, въ квинтэссенціи нѣмецкихъ городовъ, въ нѣмецкой лѣчебницѣ, и только *одинъ* русскій (изъ посольства, г. Араповъ) присутствовалъ при его послѣднихъ минутахъ...

Кн. В. А. Черкасскій *).

Въ лицѣ кн. В. А. Черкасскаго, о внезапной *кончинѣ* котораго извѣстилъ сегодня телеграфъ, Россія потеряла одного изъ самыхъ крупныхъ своихъ дѣятелей. Дѣятельность его мы не станемъ перечислять; она у всѣхъ на виду и въ памяти. Крестьянская реформа, въ которой онъ былъ однимъ изъ трехъ главныхъ двигателей (вмѣстѣ съ Н. А. Милютинымъ и Ю. Ѳ. Самаринымъ); организація Царства Польскаго послѣ возстанія, и теперь—начатая организація Болгаріи: вотъ эпохи его жизни. Не упоминаемъ объ эпизодической, сравнительно мелкой дѣятельности по общественному управленію городомъ Москвою и по устройству Земельнаго банка.

Покойный князь былъ умъ широко образованный и природа богато одаренная. Кто не восхищался его разговоромъ, его рѣчами, мѣткостію его отзывовъ о лицахъ и событіяхъ? При его находчивой, можно сказать непобѣдимой діалектикѣ, онъ былъ бы неоцѣнимъ въ дипломатической дѣятельности, гдѣ—высказываемъ наше личное мнѣніе—онъ можетъ быть не имѣлъ бы даже равнаго себѣ въ Европѣ, тѣмъ болѣе что политическіе взгляды его, основанные на ясномъ пониманіи хода исторіи, замѣчательны были столько же цѣльностью, сколько основательностью; образчикъ ихъ можно видѣть въ первыхъ книжкахъ *Русской Бесѣды* за 1856 годъ, гдѣ онъ писалъ свои Политическія Обозрѣнія. Но въ этой сферѣ ему не привелось дѣйствовать.

Въ сферѣ законодательной покойный князь былъ практикъ, не гонявшійся за теоретическою стройностью; онъ представлялъ въ этомъ отношеніи противоположность, а вмѣстѣ отчасти и восполненіе строго систематическому складу друга своего Ю. Ѳ. Самарина, съ которымъ дѣлилъ труды и по крестьянскому и по польскому вопросамъ. Труды редакціонной

*) «Современныя Извѣстія» 1878 г. № 52.

коммиссіи по крестьянской реформѣ сохранили много слѣдовъ той практической находчивости, съ какою князь Черкасскій умѣлъ примирять затрудненія, разсѣкая вопросы, запутанные иногда Гордіевымъ узломъ.

Недостаточно мы знакомы пока съ дѣятельностію покойнаго князя по устройству Болгаріи, къ чему онъ позванъ былъ послѣ немаловременнаго удаленія отъ дѣлъ. Не умолчимъ, что до общества болѣе долетали слухи недовольные: вполнѣ ли они были достовѣрны, не беремъ на себя труда рѣшать это, но позволяемъ себѣ высказать догадку: не были ли нѣкоторыя черты его характера, противъ которыхъ поднимались упреки, послѣдствіемъ болѣзненнаго возбужденія нервовъ, не были ли просто предтечами катастрофы, сразившей его въ самый день подписанія мира?

19 февраля съ подписаніемъ мирнаго договора, и кончина князя Черкасскаго,—какое роковое совпаденіе! 19 февраля было ежегоднымъ праздникомъ, особенно дорогимъ для покойнаго, ибо шестнадцать лѣтъ назадъ это былъ день, увѣнчавшій торжествомъ его борьбу съ защитниками отживавшаго крѣпостническаго порядка. То же 19 февраля увѣнчало теперь другую борьбу, тоже освободительную, но уже международную,—борьбу, въ которой князь тоже поспѣшилъ принять участіе,—и въ этотъ самый день его не стало, въ самый день подписанія свободы болгарскаго народа, для которой онъ работалъ, и на самомъ мѣстѣ подписанія! Крупные дѣятели наши одинъ за другимъ умираютъ; печально это, но еще недивно. Удивительно, что смерть ихъ обставляется все трагическими, роковыми совпаденіями. Два друга, Самаринъ и Черкасскій, умираютъ: одинъ, ратователь противъ нѣмцевъ, въ нѣмецкомъ госпиталѣ; другой, организаторъ политической эманципаціи народа,—въ самый моментъ эманципаціоннаго акта...

С. М. Соловьевъ *).

Сегодня гробъ уноситъ съ собою славу и гордость Россіи. Сегодня могила сокрываетъ отъ насъ славнаго и доблестнаго подвижника исторической науки. Сегодня Москва погребаетъ Сергѣя Михайловича Соловьева. Великое свѣтило закатывается: носитель самосознанія націи и историческихъ судебъ ея отъ насъ удаляется. Университетъ потерялъ въ немъ своего авторитетнаго представителя. Наука лишилась въ немъ силы творящей, движущей, могучей и неустанной. Общество потеряло въ немъ гражданина честности неподкупной, энергіи необъятной, стремленій высокихъ и идеальныхъ. Вся Россія лишилась въ немъ дѣятеля къ благу народному, во дни злобы нашей, безпримѣрнаго и незамѣнимаго. Самъ русскій Царь довѣрялъ ему историческое образованіе своихъ Августѣйшихъ дѣтей, и простому народу, въ живомъ, доступномъ для него разсказѣ, повѣдалъ онъ труды, подвиги и страды исторической жизни. Вся жизнь его была цѣльнымъ выраженіемъ той идеи, которой онъ посвятилъ себя; вся душа его всегда, всюду и всецѣло жила историческою жизнію народа.

Онъ удалился отъ свѣта и его суеты; ученый кабинетъ предпочиталъ онъ всякимъ общественнымъ собраніямъ; архивы и библіотеки были мѣстами его ученыхъ развлеченій. Каждый часъ былъ разсчитанъ и опредѣленъ на свое дѣло. И 30 лѣтъ прошло такой аскетической жизни; 30 лѣтъ подвизался онъ такимъ подвигомъ—ради русской науки! Не былъ онъ, да и не могъ при этомъ быть холоднымъ и безстрастнымъ изслѣдователемъ судьбы народа: онъ радовался его радостями и страдалъ его страданіями; особенно каждое явленіе въ современной жизни глубоко сказывалось въ его сердцѣ и отражалось на его здоровьѣ. И 30 лѣтъ такихъ біеній сердца—за народъ, за Россію! И вотъ мы имѣемъ 28 томовъ „Исторіи Россіи“,

*) «Совр. Извѣстія» 1878 г. № 276.

но 29-го уже не увидимъ конченнымъ. Нравственной могучей силы, широкихъ творящихъ думъ и глубокихъ движеній сердца не выдержала его физическая природа.

Его не стало, когда онъ не достигъ еще и 60 лѣтъ: это не старость еще для человѣка, который такъ трезво и правильно проводилъ свою жизнь. Онъ, быть можетъ, жилъ бы и долго, если бы нѣкоторыя явленія общественной жизни не подточили его здоровья.

Послѣдніе дни его, какъ и вся жизнь, исполнены также разума и поученія. Желая окончить 29 томъ „Исторія Россіи", онъ диктовалъ начатую главу по часу въ день, почти лежа на смертномъ одрѣ своемъ. Предчувствуя свою кончину, онъ принялъ благоговѣйно полное напутствіе Церкви и въ послѣдній день точно предсказалъ самый часъ своей смерти. Такъ умираютъ великіе подвижники и праведные люди. Уныло стоятъ и смотрятъ университетскія зданія, мрачно и скучно кругомъ. *Не живется у насъ людямъ труда и таланта.*

Москва, первопрестольная столица! слезы да будутъ тебѣ хлѣбъ на сей день!

Русь святая, Русь православная! Перекрестясь истовымъ знаменіемъ, помяни раба Божія Сергія!

Татищевъ, Щербатовъ, Шлецеръ, Карамзинъ, Погодинъ— спѣшите съ любовію встрѣтить и въ свои объятія принять доблестнаго и славнаго своего сподвижника и продолжателя!

Антоній, архіепископъ Казанскій *).

Кончина высокопреосвященнаго Казанскаго Антонія вызываетъ на размышленія. Мы не настолько знакомы съ дѣятельностью почившаго архипастыря, чтобы представить его полную характеристику, но достаточно одной, слишкомъ засвидѣтельствованной независимости его мнѣній и характера, чтобы почтить его память глубокимъ сожалѣніемъ объ его утратѣ. Въ особенную, между прочимъ, честь покойному ставимъ и то обстоятельство, что онъ служилъ однимъ изъ любимыхъ предметовъ для нападокъ тѣмъ изъ духовенства, которымъ на этихъ самыхъ страницахъ усвоено было нами названіе клерикало-бюрократовъ: ихъ нападки есть лучшая похвала. Для лицъ этого направленія вѣра, церковь, народъ, суть обветшалыя понятія или риторическія фигуры. Весь катихизисъ для нихъ ограничивается однимъ догматомъ о благоденствіи или, выражаясь общепринятою фразою, улучшеніи быта духовенства съ его чадами, въ смыслѣ, во первыхъ, матеріальнаго обезпеченія и во вторыхъ въ смыслѣ простора произволу. Подъ духовенствомъ же разумѣется исключительно такъ называемое бѣлое духовенство, и притомъ независимо отъ архіерейской власти и независимо отъ народа; для него допускаютъ они одну зависимость отъ бюрократіи, которую и лобызаютъ по этой причинѣ. Преосвященный Антоній былъ изъ числа тѣхъ немногихъ, которые не увлекаются либерализмомъ фразы, и для которыхъ вѣра и церковь не пустыя слова. Естественно поэтому, что онъ не былъ жалуемъ клерикало-бюрократами. Не далѣе какъ въ послѣдній годъ его жизни создана была цѣлая исторія о его притѣснительномъ самовластіи, котораго будто бы жертвою было одно изъ лицъ духовно-учебнаго казанскаго міра. Въ нашихъ рукахъ было полное изложеніе этого дѣла, и мы только дивились безстыдству лжелибераловъ, позорившихъ преосвященнаго за строгое

*) «Соврем. Извѣстія» 1878 г. № 318.

отношеніе къ своимъ архіерейскимъ обязанностямъ и къ благу учебныхъ заведеній его епархіи; скорѣе можно было винить его за долготерпѣніе.

Преосвященный Антоній, между прочимъ, былъ однимъ изъ рѣшительнѣйшихъ противниковъ извѣстнаго антиканоническаго проекта духовно-судебной реформы, чего равномѣрно не могли простить ему клерикало-бюрократы, причисляя его, какъ и всѣхъ таковыхъ, къ представителямъ „архіерейскаго самовластія". Мы не причисляемъ себя къ поборникамъ этого самовластія; но если оно заслуживаетъ протеста, то не во имя какой-то независимости низшаго клира, противной здравому смыслу и всякимъ іерархическимъ началамъ, не только церковнымъ, но и гражданскимъ, другими словами—всякому понятію о благоустройствѣ, и не съ цѣлію замѣнить высшую церковную іерархію гражданскими чиновниками. Основательность жалобъ на архіерейское самовластіе сама по себѣ, а то церковное устройство, или нѣтъ, точнѣе сказать, то устройство духовенства, которое предлагается клерикало-бюрократами, само по себѣ. Нельзя въ духовенствѣ представлять себѣ одну только духовную полицію, видѣть въ немъ лишь одну изъ отраслей государственной администраціи, лишенную всякаго другого значенія. По здравому смыслу, если нѣтъ у него другого значенія, то оно и не нужно будетъ совсѣмъ, будетъ лишнею спицею въ общественной колесницѣ. И даже, если признать его не болѣе какъ за отрасль государственной администраціи, и тогда противно здравому смыслу создавать изъ него какое-то самостоятельное, самоуправляющееся сословіе, развязанное отъ іерархическаго подчиненія. Вѣдь это все равно, если бы создавать самостоятельную корпорацію изъ становыхъ приставовъ и урядниковъ, предоставляя имъ, и притомъ независимо отъ губернатора и отъ обывателей, избирать изъ себя исправниковъ и даже судей по полицейскимъ проступкамъ.

Но всѣ эти извращенія и другія подобныя суть догматы для клерикало-бюрократовъ, и происхожденіе такихъ догматовъ естественно, въ слѣдствіе пренебреженія третьяго элемента, который наоборотъ есть существеннѣйшій въ вопросѣ, когда дѣло

идетъ о духовенствѣ и его отношеніяхъ въ государствѣ. Мы говоримъ о паствѣ, о народѣ, отъ котораго духовенство, по мнѣнію клерикало-бюрократовъ, должно быть не только независимо, но даже командовать имъ. Отсюда неизбѣжный выводъ и казенное жалованье, котораго также единогласно и неотступно требуютъ для духовенства клерикало-бюрократы, гнушаясь быть избранниками паствы. Отсюда и понятіе о церковномъ имуществѣ, которое клерикало-бюрократы признаютъ достояніемъ духовенства-же, то есть опять, понятно, духовенства бѣлаго съ его семействами. Отсюда, наконецъ, неизбѣжнымъ выводомъ долженъ быть и воспретъ свободы вѣрованію. Ибо если вѣрованію предоставляется свобода, и паства въ силу этой свободы не приметъ пастыря, при чемъ же будетъ пастырь? При чемъ будетъ все духовенство, если предположить, что вообще весь народъ будетъ чуждаться своихъ пастырей и перестанетъ ходить въ церковь? Слѣдовательно нужно будетъ гнать туда народъ насильно. Но впрочемъ клерикало-бюрократы и объ этомъ не безпокоятся; пускай народъ и оставляетъ церковь. Духовенство, по ихъ мнѣнію, есть состоящее само по себѣ и для себя, какъ выражаются нѣмцы; оно должно оставаться, и притомъ въ улучшенномъ бытѣ, хотя бы паствы у него не оказывалось; и вообще должно быть его столько, чтобъ лишь ему не быть бѣднымъ, а сколькіе въ немъ нуждаются, или наоборотъ не нуждаются ли въ немъ столькіе, что при данномъ числѣ оно удовлетворить ихъ не въ силахъ,—это считается вопросомъ постороннимъ.

Понятно послѣ этого, что мы ставимъ въ особенную честь почившему преосвященному свободу его отъ клерикально-бюрократическихъ воззрѣній. Эти воззрѣнія суть явленіе преходящее. Своекорыстная ложь ихъ не сломаетъ вѣковѣчныхъ основъ церкви, въ смыслѣ живаго организма, олицетворяющаго въ себѣ христіанскую вѣру и совѣсть. Тѣмъ большими похвалами будущая исторія почтитъ тѣхъ іерарховъ, которые имѣли мужество противостоять направленію, имѣвшему въ свое время за собою не только достоинство моды, но и покровительство сильныхъ.

А. С. Пушкинъ *).

I.

Тенденціозность, которой потребовала въ послѣднее время русская критика отъ художника и которой не нашла въ Пушкинѣ,—умалила поэта въ глазахъ многихъ. Но это не мѣшаетъ быть ему величайшимъ русскимъ и однимъ изъ величайшихъ европейскихъ поэтовъ.

Къ исторіи развитія Россіи, какъ и всякой страны, можно приступать съ тремя запросами: во первыхъ, о возрастаніи ея *вещественнаго благоденствія* и стоящими съ нимъ въ связи видоизмѣненіями въ государственныхъ и бытовыхъ формахъ. Во вторыхъ, о возрастаніи *просвѣщенія,* въ двоякомъ видѣ: развитія знаній въ массѣ народа, и вклада, единицами изъ народа даваемаго въ общую сокровищницу всемірной науки. Наконецъ, можно спрашивать *о движеніи народнаго самосознанія;* оно слагается изъ двухъ половинъ, взаимно связанныхъ и одна другую поддерживающихъ: понимать дѣйствительность и оцѣнивать ее, видѣть назадъ и впередъ, что̀ есть и что̀ еще должно быть. Съ требованіями въ этомъ смыслѣ обращаются при исторической оцѣнкѣ болѣе всего къ публицисту и поэту; ищутъ между прочимъ, чтобъ онъ былъ руководителемъ массы и освѣщалъ ей дорогу; и въ этомъ смыслѣ Пушкинъ оказался у критики послѣдняго времени безотвѣтенъ. Гдѣ же гражданинъ въ немъ? спрашивали, и не находили отвѣта; являлось поползновеніе даже обвинить его въ подлости. Сличая его съ Ломоносовымъ и съ Карамзинымъ, на первый разъ дѣйствительно поразишься. Въ Ломоносовѣ соединилось все: онъ и двигатель науки, и дѣятель утилитарный, и публицистъ; не доставало государственнаго дѣятеля. Но тогда, когда поэтовъ били еще по щекамъ въ передникъ у вельможъ, не совсѣмъ удобно было коллежскому

*) «Соврем. Извѣстія» 1871 г. № 106.

совѣтнику соваться съ государственными идеалами; притомъ недавній Петръ до такой степени заслонялъ собою все ото всѣхъ, что оставалось благоговѣть и размышлять лишь о лучшемъ приложеніи его предначертаній, чего Ломоносовъ тоже не упустилъ.

Эта всеобъемлемость — естественная принадлежность первыхъ періодовъ развитія, гдѣ дѣятельность еще не распадается, и начало раздѣленія труда еще отсутствуетъ, между прочимъ по простой причинѣ — отсутствія дѣятелей. Тѣснѣе значеніе Карамзина. Публицистъ по призванію, историкъ по назначенію, онъ пытался еще быть поэтомъ; но остался однако настолько благоразумнымъ, что не брался за ученость въ тѣсномъ смыслѣ спеціализма. Но у Пушкина нѣтъ не только учености, но даже публицизма; чего нибудь въ родѣ *Древней и Новой Россіи* не только не осталось въ видѣ особаго комментарія, но не сквозитъ и въ самыхъ твореніяхъ. Чему же онъ служилъ? Куда велъ? спрашиваютъ не безъ досады потомки.

Но, во-первыхъ, пора уже была и раздѣлиться труду: Пушкинъ былъ поэтъ, и за его задачами нужно обращаться къ тому, что̀ стояло кругомъ его. А кругомъ его была гвардія, были петербургскія гостиныя съ барскими преданіями и съ барскими воззрѣніями, подмалеванными французскою образованностію, воспоминаніями о Парижѣ и отечественной войнѣ, съ примѣсью внѣшняго патріотизма; пожалуй — Карамзинъ, но ужъ въ тѣсной области литтературы, и притомъ — лишь печатный, стало быть неполный. Остальной Россіи не было въ счету. О состояніи университетовъ сорокъ лѣтъ назадъ можно составить понятіе по тому, до чего успѣли они додвинуться черезъ сорокъ лѣтъ, теперь. Не было даже канцелярій въ томъ руководительномъ смыслѣ какъ теперь, когда засѣла туда петербургская интеллигенція, перемѣстившись изъ гвардейскихъ казармъ, и оттуда задавая тонъ и сочиняя идеалы. Тогда декабристы шли за величину. Такъ было у насъ, а на западѣ французскомъ, откуда мы исключительно тогда просвѣщались, какой-нибудь корчившійся Викторъ Гюго былъ ослѣпительною звѣздою.

Надо спрашивать не по теперешнему, а по тогдашнему: выбралъ ли поэтъ изъ представлявшагося окружающаго худшее или лучшее? Но въ немъ былъ даръ отнестись ко всему съ безразличною любовію и изобразить все съ положительной стороны: вотъ что и погубило его въ глазахъ нѣкоторыхъ, неумѣстно придирчивыхъ. Не замѣтили они, что онъ тосковалъ о рабствѣ и молилъ о часѣ, когда оно падетъ; ни во что поставили ему ссылку; не оцѣнили и той теплоты, съ какою онъ обращался къ русской природѣ, за неимѣніемъ ни времени, ни средствъ познакомиться съ русскимъ человѣчествомъ. Прошелъ мимо образъ русской няни, къ сожалѣнію почти единственный экземпляръ русскаго человѣка, который достигалъ ближайшаго общенія съ русскимъ бариномъ, каковымъ всетаки и по рожденію, и воспитанію, и положенію былъ Пушкинъ. Прошла мимо придирчивыхъ и легкая иронія, съ какою относился онъ вообще къ современному свѣтскому обществу; до болѣе рѣзкаго проявленія отрицательности не допускала его мягкая природа; но и она однако въ *Нулинѣ* возвысилась до такой крѣпкой насмѣшки, которой можетъ позавидовать самое крѣпкое негодованіе крѣпчайшаго изъ новѣйшихъ отрицателей.

Прозаическія повѣсти (особенно *Капитанская Дочка* и *Арапъ Петра Великаго*) повѣяли совсѣмъ ужъ другимъ духомъ. Вмѣстѣ со сказками въ народномъ складѣ открывался поворотъ въ дѣятельности, болѣе глубокой послѣдствіями въ общественно-воспитательномъ смыслѣ. Собственное знакомство съ эпохами и частями русской жизни дало возможность отнестись къ Россіи не риторически, какъ въ *Полтавѣ* и *Борисѣ Годуновѣ*, гдѣ поэтомъ могли говорить только исторія Карамзина и преданія петербургскаго общества. Но поэтъ палъ въ самую минуту поворота, и палъ смертію самою мелочною и самою знаменательною. Та же гостиная, дававшая ему въ первыя времена главнѣйшую пищу вдохновенія, отправила его и въ могилу, какъ бы въ отмщеніе за начинавшійся поворотъ, изъ котораго поэтъ могъ вынести только отвращеніе къ гостиной. Какъ смѣется иногда судьба!

А ему было только тридцать семь лѣтъ! Поймемъ это. Для всякаго другого, и даже не очень дюжиннаго, это только почти начало вполнѣ осмысленной общественной дѣятельности. Но къ тому времени поэтъ уже успѣлъ принести много, а одною изъ сторонъ своей дѣятельности успѣлъ совершить даже *все*, далѣе чего мы доселѣ не двинулись. Пушкинъ есть „творецъ русскаго языка“: вотъ заслуга, которой не слѣдуетъ забывать и которую едва удостоиваютъ замѣтить.

Если до Петра было въ Россіи единство быта и единеніе въ задачахъ просвѣщенія, то самого просвѣщенія, разработки знанія не было; не было и общественнаго самосознанія, другими словами — литературы; а оттого не было и русскаго языка, въ смыслѣ, въ какомъ онъ долженъ быть, какъ орудіе самосознающаго всенароднаго единства. Былъ языкъ народный,—пѣсенный и разговорный (по разнымъ областямъ разный); былъ языкъ приказный и былъ языкъ книжный; послѣдній ничуть уже не русскій, а отчасти общеславянскій и болѣе — полу-болгарскій. Единство жизни и рознь съ литературою; русская жизнь и — болгарская литература. Петръ, разорвавъ бытъ на двое, первый низшелъ къ народу за языкомъ, при подъемѣ, правда, вводя его въ насильственное родство еще съ новымъ элементомъ: съ воззрѣніемъ (и языкомъ какъ орудіемъ его) западно-европейскимъ. Ломоносовъ, Карамзинъ, Пушкинъ, тѣ же опять стоятъ и здѣсь тремя главными вѣхами, по дорогѣ этого примиренія разноязычности (служившей въ сущности выраженіемъ разности воззрѣній). Что̀ для языка въ этомъ смыслѣ оказалъ Ломоносовъ, первый пытавшійся сочетать народные словарь и грамматику съ нѣмецкимъ и латинскимъ синтаксисомъ и съ словаремъ славяно-церковнымъ; что̀ былъ Карамзинъ, подошедшій ближе къ чистому народу, но подбавившій и понятій, и словъ, и синтаксиса французскихъ,—довольно извѣстно. Но Пушкинъ первый заговорилъ „по-русски“, тѣмъ языкомъ, которымъ доселѣ говоримъ всѣ мы, и въ которомъ всѣ составныя историческія стихіи слились такъ, что и швовъ не видно. Пораженные современники назвали это *легкостью*, и эта лег-

кость была главнѣйшею причиною страшнаго, неимовѣрнаго успѣха, какимъ встрѣтили Пушкина, при первомъ же его появленіи, всѣ классы народа, не исключая даже высшихъ, гдѣ не читали и не говорили иначе какъ по-французски, и не исключая самыхъ низшихъ, гдѣ ровно ничего не читали. Отъ современниковъ мы знаемъ, что если бы считать всѣ экземпляры, въ какихъ расходились творенія Пушкина не только печатно, но и рукописно, то равной, и притомъ столь быстрой популярности не представилъ бы ни одинъ въ свѣтѣ писатель. Не содержаніе было причиною: оно не далеко уходило отъ предшественниковъ и не могло поразить. Поразило то, что въ немъ нашли первое, совершенно точное свое выраженіе. Оно было такъ точно, такъ чисто, что забывалось даже спросить: точно ли это такъ просто, какъ кажется? Убѣждался всякій, что не иначе и возможно говорить, не иначе писать;—и забывалъ, что цѣлые полтораста лѣтъ однако такъ заговорить не удавалось. За полнотою удовлетворенія, проглядѣли заслугу, и почти такъ осталось даже доселѣ. Но пора помянуть это: да, Пушкинъ есть творецъ русскаго языка; творецъ того языка, которымъ всѣ мы говоримъ и пишемъ; который, въ его устахъ, первыхъ, сталъ дѣйствительнымъ полнымъ орудіемъ всенароднаго единства.

О талантѣ *изобразительности,* въ которомъ съ Пушкинымъ едва ли кто даже изъ европейскихъ поэтовъ можетъ состязаться, мы не говоримъ. Объ этомъ много было говорено, пусть и не вполнѣ достаточно сказано. Но это есть принадлежность таланта, даръ природы, слава наша національная. Мы хотѣли указать не на славу, нами пріобрѣтенную въ лицѣ Пушкина, а на его заслугу, русскому народу оказанную.

Гдѣ же поставитъ ему Москва памятникъ? Одинъ изъ подписчиковъ въ письмѣ въ намъ указываетъ Театральную площадь, совѣтуя въ то же время, что слѣдовало бы Москвѣ образовать у себя отдѣленіе комитета по подпискѣ, и въ этомъ комитетѣ принять участіе представителямъ городского общества. Съ послѣднимъ совершенно согласны. Стыдно было бы Москвѣ,

родинѣ великаго поэта, которую удостоиваютъ чести имѣть его памятникъ, отнестись къ этому дѣлу, какъ къ чужому. Но о мѣстѣ для памятника еще можетъ быть рѣчь. Указаніе на Театральную площадь понятно, потому что она есть почти единственная свободная въ Москвѣ, столь бѣдной площадями, и притомъ центральная. Но Пушкинъ не драматургъ. Не отыщется ли другое мѣсто?

А. С. Пушкинъ.

(Открытіе памятника).

II. *)

Настоящій день—праздникъ всей образованной Россіи. Всеобщее одушевленіе, какимъ встрѣчены поминки великаго поэта, послужило вторичнымъ торжественнымъ обнаруженіемъ нашего духовнаго единства. Четыре года назадъ великія событія соединили насъ, вызвавъ народный духъ въ его стихійности. Представился случай сказаться единству въ сознаніи; но нужно было найтись умственному центру, нуженъ былъ писатель, въ которомъ бы каждый изъ просвѣщенныхъ русскихъ призналъ своего родоначальника. Такимъ писателемъ былъ и остается одинъ Пушкинъ.

Пушкинъ былъ гигантъ, обогнавшій не только своихъ сверстниковъ и ближайшихъ послѣдователей, но и наше время. Его произведенія—зерна, изъ которыхъ въ органическое цѣлое плоды выростутъ только въ будущемъ. Современники оцѣнили его какъ стихотворца; онъ завоевалъ и очаровалъ всѣхъ, открывъ русскому обществу русскую рѣчь и русскій стихъ. Но за звуками современники не доглядѣли образовъ, за образами проглядѣли мысли. Послѣ того какъ вся читающая Россія, отъ высшихъ слоевъ до низшихъ, отъ дѣтскаго возраста до старче-

*) «Совр. Извѣстія» 1880 № 154.

скаго, зачитывалась, выучивая наизусть *Руслана и Людмилу*, *Бахчисарайскій Фонтанъ* и *Кавказскаго Плѣнника*, о *Мазепѣ* и *Борисѣ Годуновѣ* она недоумѣвала, а за позднѣйшими произведеніями, гдѣ геній началъ развертывать крылья во всей широтѣ, уже скучала. Послѣдующее поколѣніе шагнуло еще далѣе современниковъ, но не впередъ, а назадъ, сбитое съ толку возникшими теоріями, изъ которыхъ одна отрицала самостоятельное значеніе словесныхъ произведеній, другая—значеніе искуства вообще. Расцѣнивали не произведенія Пушкина, а гражданина Пушкина; не біографію брали комментаріемъ къ его произведеніямъ, а наоборотъ, произведенія—комментаріемъ къ его жизни. Его истязали, его допрашивали, его судили, по узкимъ, преходящимъ мѣркамъ политическимъ и соціальнымъ, и недозрѣлая самонадѣянность засудила его. Его всесторонность признали за равнодушіе; необыкновенное чувство мѣры, зачатокъ и признакъ высшей духовной гармоніи—за внѣшнее мастерство; точность слова, прозрачность образовъ—принадлежностью какъ будто рядовою; о самой рѣчи, которую онъ намъ открылъ и внѣ которой нѣтъ и не стало возможнымъ русской рѣчи, забыто было, чья она. Забыто потому, что эта рѣчь именно наша, всѣхъ насъ, хотя и открыта только имъ, недовѣдомая никому до него, съ самого Ломоносова. И засудили потому, что вмѣсто искомаго резонерства находили цѣльность художественнаго выраженія. Но въ этомъ и все величіе его генія, вся необъятность его духовнаго значенія для насъ. Пушкинъ весь есть выраженіе, и выраженіе не себя и не своего времени, но всего русскаго человѣка, по всѣмъ сторонамъ духа и быта, по всѣмъ зародышамъ будущаго развитія. Набожность и вольномысліе, свободолюбіе и апоѳеоза власти, либерализмъ въ западномъ вкусѣ и славянофильство, даже панславизмъ: всѣ эти оттѣнки направленій найдутъ въ геніальномъ поэтѣ мѣста и цѣлыя стихотворенія, подъ которыми подпишутся. Самая вѣтренность музы Пушкина есть наша вѣтренность, историческое качество, плодъ смѣшенія непримирившихся разныхъ началъ просвѣщенія. Мы не чуемъ гармоніи, въ которую

кажущійся разладъ долженъ будетъ уложиться при дальнѣйшей нашей исторіи. Но цѣльная личность поэта, остающаяся тою же при всемъ противорѣчивомъ на видъ расчлененіи, даетъ намъ гадать, что и въ общественныхъ стремленіяхъ вся разновидность, кажущаяся непримиримою, созрѣетъ когда нибудь въ высшую гармонію цѣльной народной личности. Но потому-то Пушкинъ выше еще и нашего времени.

Какъ всесторонній выразитель народнаго духа, Пушкинъ— геній первой величины. Но чтобы оцѣнить всю мощь этого титана, вчитаемся въ тѣ его произведенія, гдѣ выражаетъ онъ не себя и свой народъ непосредственно, но взглядъ на другіе народы и чужую исторію. Возьмемъ напримѣръ коротенькое произведеніе, сцены изъ среднихъ вѣковъ, какихъ нибудь нѣсколько страницъ: по художественной глубинѣ и полнотѣ мы не найдемъ ни въ одной изъ всѣхъ литературъ произведенія, гдѣ бы такъ очерченъ былъ средневѣковой бытъ Европы. И не только очерченъ, но и оцѣненъ, и осужденъ: и бароны со своимъ чванствомъ, одностороннею честью и отсутствіемъ человѣческихъ чувствъ, и бюргеръ, ничего не цѣнящій кромѣ денегъ, и наука презираемая и гонимая, и это въ нѣсколькихъ сценахъ, на немногихъ страницахъ! И такому писателю приписывалось безразличное равнодушіе и одно внѣшнее мастерство!

Но мы пишемъ не критическую оцѣнку произведеній великаго писателя, который еще ждетъ своего всесторонняго и проницательнаго критика. Россія отдаетъ теперь долгъ своему генію пока внѣшнимъ памятникомъ. Единодушныя привѣтствія, которыя отовсюду несутся, одушевленіе, которое охватило всѣхъ, даютъ понять, что и сознаніе наше зрѣетъ. Настоящій праздникъ возможенъ ли былъ пятнадцать, даже десять лѣтъ назадъ? Мысли общества все еще были въ разбродѣ; еще заслоняли истиннаго генія скороспѣлыя знаменитости; еще бродилъ во многихъ головахъ хмѣль самоувѣреннаго недомыслія, литературнаго и политическаго. Послѣдніе два года отрезвили вѣроятно всѣхъ, когда практическіе плоды разнуздавшейся мысли и нравственности встали предъ нами во всемъ ужасающемъ безобразіи и

злодѣйствѣ. Почувствовалась потребность опознаться, свести умственные итоги. Какъ кстати явился намъ напоминаніемъ и воодушевленіемъ великій поэтъ! А онъ былъ кстати не только великій поэтъ, но и гражданинъ честный и человѣкъ чистый....

III.*)

Мы переполнены впечатлѣніями двухъ минувшихъ дней. Ихъ не передастъ краткое описаніе, которое найдетъ читатель далѣе, не передастъ и подробное воспроизведеніе читаннаго и говореннаго. Дѣло въ живомъ обмѣнѣ впечатлѣній, связывавшихъ единодушіемъ цвѣтъ русской словесности съ кругомъ избранной публики. Всякій читалъ Пушкина, слышали мы сегодня; но въ какомъ новомъ свѣтѣ предстаетъ онъ, когда видишь его такъ сказать въ лицахъ и когда слышишь его изъ устъ такого чтеца, какъ Самаринъ! И утѣшительнѣе всего: и публика и представители всѣхъ направленій словесности слились на сей разъ дѣйствительно въ одномъ идеалѣ, чистомъ и безсмертномъ. Пушкинъ предсталъ выясненный и такъ сказать очищенный,—не отъ самого себя или своихъ ошибокъ и увлеченій, но отъ одностороннихъ и иногда предвзятыхъ взглядовъ на него, хотя успѣвшихъ обратиться въ наслѣдственные предразсудки, но тѣмъ не менѣе произвольныхъ. Замѣчательна была въ этомъ отношеніи особенно рѣчь Я. К. Грота, произнесенная сегодня въ Обществѣ Словесности, гдѣ онъ шагъ за шагомъ прослѣдилъ нравственное возрастаніе поэта, выяснилъ нравственный ликъ его, такъ сказать, обнажилъ тайникъ его души, далеко не столь безпечной и легкомысленной, какъ представляется поверхностному большинству. Та же задача отчасти выполнена Московскими Вѣдомостями въ прибавленіи ко вчерашнему нумеру, посвященномъ памяти Пушкина, за что нельзя не отдать имъ благодарности. Съ удовольствіемъ выписываемъ изъ нихъ слѣдующія строки:

---

*) «Совр. Извѣстія» 1880 г. № 156.

„Онъ самъ (Пушкинъ) изобразилъ намъ ничтожество среды, которая потомъ держала его въ своихъ оковахъ. Лишь одна была у него опора, одно спасеніе — его божественный даръ, его геній, который питалъ и направлялъ его и былъ его карающею совѣстью, когда легкомысліе и грубая чувственность овладѣвали его воображеніемъ. Совѣсть художника спасала въ немъ и человѣка. Онъ обязанъ ей перлами своей поэзіи, и она же поднимала его нравственно. Онъ глубоко чувствовалъ двойство въ себѣ, и свое ничтожество и высоту своего дара, и правдивый стихъ его запечатлѣлъ это чувство. Въ тѣ минуты, когда „божественный глаголъ“ касался его чуткаго слуха, совершалось его воспитаніе и созрѣваніе, и онъ, со своего Синая, возвращался каждый разъ съ новыми лучшими силами. Мысль его возвышалась и умудрялась; душа освобождалась отъ оковъ „хладнаго сна“. “

Достойно начатый праздникъ остается только достойно окончить. Говоримъ не о завтрашнихъ засѣданіяхъ, которыя будутъ до извѣстной степени однородны съ нынѣшними и вчерашними, но о второй части праздновательнаго воспоминанія, которая должна состоять, выразимся такъ, въ популяризаціи Пушкина посредствомъ печати: хрестоматія изъ Пушкина и о Пушкинѣ, вотъ что требуется и что предполагалось. Подъ руководствомъ всего произнесеннаго и напечатаннаго о поэтѣ въ теченіе послѣднихъ дней, можетъ выйти изданіе вполнѣ воспитательнаго характера. Поучительны въ этомъ отношеніи два обстоятельства, заявленныя на сегоднишнемъ засѣданіи Общества Словесности; именно, сообщеніе профессора Шпилевскаго о воспитательномъ значеніи Пушкина для инородцевъ, и адресъ народныхъ учителей Московскаго уѣзда, которые свидѣтельствуютъ о томъ же значеніи Пушкина для русскихъ крестьянскихъ дѣтей.

Наконецъ, еще напоминаніе. Высоко воспитательное для всего общества значеніе празднествъ, подобныхъ нынѣшнему, неоспоримо. Они поднимаютъ, освѣжаютъ, объединяютъ и, позволимъ себѣ такъ выразиться, очищаютъ общественное созна-

ніе. Предъ памятникомъ общепризнанному генію народному смолкаютъ личныя и частныя предубѣжденія, сглаживаются шероховатости направленій, часто способныхъ примириться въ одномъ общемъ идеалѣ, не смотря на кажущуюся враждебность. Видимъ, Пушкинъ являетъ на насъ эту объединяющую силу; но за Пушкинымъ тотчасъ стоитъ другое имя, равно цѣнимое людьми всѣхъ направленій. Памятникомъ Пушкину Россія отдала одинъ долгъ: ей остается заплатить тотъ же долгъ Гоголю... Будто пророчески сравнили мы всеобщее воодушевленіе, вызванное сооруженіемъ Пушкину памятника, съ подобнымъ же одушевленіемъ въ сербскую войну, лишь различивъ, что то былъ подъемъ русскаго духа въ его стихійности, а нынѣ предстоитъ объединеніе въ сознаніи. Сегоднишнее засѣданіе Общества Словесности было торжественнымъ исполненіемъ нашихъ гаданій. Рѣчь, произнесенная Ѳ. М. Достоевскимъ, произвела истинный фуроръ. Никогда съ такою глубиною не анализированъ былъ нашъ великій поэтъ отчасти, а отчасти и идеалы русскаго народа. Это была молнія, прорѣзавшая небо. О силѣ впечатлѣнія, произведеннаго на слушателей, можно судить по тому, что зала буквально была свидѣтельницею истерическихъ припадковъ; женщины плакали, а одинъ молодой человѣкъ, потрясенный, стремительно, внѣ себя, бросился къ оратору. Не найдя его тамъ, потому что члены Общества, вмѣстѣ съ ораторомъ, удалились тѣмъ временемъ въ смежную съ эстрадою залу, молодой человѣкъ вбѣжалъ туда и упалъ безъ чувствъ; нѣсколько минутъ продолжался этотъ его нервный припадокъ.

Члены Общества не менѣе постороннихъ слушателей поражены были рѣчью, бросились, какъ одинъ человѣкъ, поздравлять оратора, и тутъ же провозгласили его своимъ „почетнымъ“ членомъ. Слѣдовавшій затѣмъ антрактъ засѣданія былъ довольно продолжителенъ. Публика недоумѣвала, изъявляла нетерпѣніе. Но среди Общества, удалившагося въ залу, шелъ вопросъ: ужъ продолжать ли засѣданіе? И. С. Аксаковъ, которому наступалъ чередъ говорить въ слѣдъ за Достоевскимъ, отказывался отъ слова, выражаясь, что все, что онъ можетъ сказать, будетъ

слабою тѣнью того, что̀ услышано, и потому излишне. Словомъ, засѣданіе грозило разстроиться и продолжалось благодаря лишь настоянію публики, чтобы говорилъ Аксаковъ, на что онъ согласился только отчасти, прочитавъ не всю рѣчь, а только отрывки изъ нея.

Чтобы кончить съ внѣшней стороной этого поистинѣ событія, добавимъ, что говорившій послѣднимъ А. А. Потѣхинъ предложилъ ознаменовать Пушкинскій праздникъ подпискою на памятникъ Гоголю, на что публика отвѣчала восторженными рукоплесканіями. По окончаніи засѣданія снова потребовали Достоевскаго и поднесли ему лавровый вѣнокъ, мысль о которомъ возникла послѣ его рѣчи тотчасъ же и осуществилась. Но дѣло не въ этой внѣшней сторонѣ событія, а въ томъ, что на опредѣленіе, какое далъ чествуемому поэту Ѳ. М. Достоевскій, и на идеалахъ, которые онъ вывелъ изъ его твореній, одинаково примирились лица разногласныхъ повидимому направленій. Это былъ праздникъ дѣйствительно совершившагося единства въ сознаніи.

Мы не станемъ передавать существа рѣчи, да въ газетной статьѣ и невозможно это. Ораторъ разобралъ два русскихъ типа, пророчески изображенныхъ Пушкинымъ: типъ отрицательный—„скитальца“, котораго первый образъ является въ Алеко, повторяется потомъ, видоизмѣненный, въ Онѣгинѣ, и положительный—въ Татьянѣ. Ораторъ перешелъ затѣмъ къ тому разряду твореній Пушкина, гдѣ поэтъ, не переставая быть народнымъ, возвысился къ рѣшенію всемірныхъ вопросовъ (*Изъ Фауста*, *Каменный гость*, *Пиръ во время чумы*). Но это опять, съ нашей стороны, только внѣшнее перечисленіе: самый анализъ характеровъ и положеній, выводы нравственныхъ основаній, вотъ что поражало необыкновенной силой и глубиной,—„геніальностью“, какъ выразился публично И. С. Аксаковъ.

IV. *)

Всѣ рѣчи, произнесенныя на минувшемъ праздникѣ, всѣ статьи, писанныя по его поводу, посвящены были Пушкину, какъ поэту, почти не касаясь его, какъ человѣка и гражданина. Это вполнѣ законно: памятникъ поставленъ поэту; самъ онъ оставилъ себя намъ въ своихъ писаніяхъ: и неумѣстно, и неприлично, мало того—оскорбительно было бы для памяти чествуемаго генія распинать его убѣжденія или жизнь, и особенно въ такіе торжественные, можно сказать, священные дни. Впрочемъ не совсѣмъ оставлена и эта сторона безъ вниманія: гг. Гротъ, Анненковъ, Бартеневъ, отчасти Аксаковъ и *Московскія Вѣдомости* (въ руководящей статьѣ) коснулись убѣжденій Пушкина, религіозныхъ и политическихъ; рѣчь г. Грота, какъ мы уже знаемъ, даже исключительно была направлена на очищеніе памяти Пушкина отъ упрековъ въ легкомыслiи. О Пушкинѣ, какъ гражданинѣ, сказано менѣе. П. И. Бартеневъ коснулся отношеній поэта къ покойному Государю; упомянулъ о монаршихъ милостяхъ Пушкину, объ отзывѣ Пушкина послѣ перваго представленія Государю, что онъ видѣлъ и слышалъ самаго умнаго человѣка въ Россіи, о признаніи его, что онъ въ чувствахъ своихъ къ Государю неволенъ. Но помимо этой частной причины была другая, общая, заключавшаяся въ историческихъ убѣжденіяхъ и политическихъ идеалахъ; о ней мы можемъ гадать изъ черновыхъ набросковъ, оставшихся послѣ него; можемъ гадать и изъ глубокаго благоговѣнія, которое онъ питалъ къ памяти Карамзина. Въ политическихъ убѣжденіяхъ ближе всего и стоялъ онъ къ Карамзину. Тотъ и другой между прочимъ совмѣщали въ себѣ полнѣйшее уваженіе къ свободѣ съ полнѣйшею преданностью Государю; о Карамзинѣ извѣстно, что онъ называлъ себя республиканцемъ и вполнѣ искренно однако въ Старой и Новой Россіи высказывался за самое строгое самодержавіе. И съ тѣмъ и съ другимъ повторилось еще, что въ молодости они были только ультралиберальны, а чѣмъ болѣе мужали,

*) «Совр. Извѣстія» 1880, № 158.

тѣмъ болѣе и болѣе становились монархистами и кромѣ того тѣмъ болѣе цѣнили связь съ преданіями прошедшаго. Разсчетъ ли это? Нравственное обольщеніе или матеріальный подкупъ? Найдется ли даже изъ величайшихъ невѣждъ кто либо, чтобъ дерзнуть на подобное предположеніе о лицахъ, высокая нравственная независимость которыхъ слишкомъ несомнѣнно засвидѣтельствована? Было ли это отсталостью? Но такое обвиненіе имѣло бы смыслъ, когда бы убѣжденія были неподвижны, остались неизмѣнными отъ молодыхъ лѣтъ, между тѣмъ какъ сверстники шли далѣе. Видимъ обратное, находимъ переходъ убѣжденій. Слѣдовательно пришлось бы объяснить ретроградствомъ, отступленіемъ назадъ. Но не странно ли это объясненіе о людяхъ замѣчательнаго, даже геніальнаго ума, и притомъ относительно такого періода жизни, когда они во всемъ остальномъ несомнѣнно стали зрѣлѣе прошлаго: Карамзинъ XIX и Карамзинъ XVIII столѣтія, Пушкинъ 20-хъ и Пушкинъ 30-хъ годовъ, какая разница въ возмужалости ума и таланта! Преждевременное старчество въ единственной клѣточкѣ мозга, при полной жизненности и постоянномъ укрѣпленіи всѣхъ остальныхъ, это есть окончательная нелѣпость.

Глубокопоучительные примѣры, глубокознаменательное совпаденіе! Покойный М. П. Погодинъ, лично и коротко знавшій Пушкина, говорилъ о немъ, что это былъ человѣкъ не только геніальнаго таланта, но замѣчательнаго, глубокаго ума. Слѣдовательно приходится допустить, что крайнія убѣжденія молодости и были въ немъ, какъ и въ Карамзинѣ, таковыми именно потому, что принадлежали незрѣлому возрасту и уму; что оба они отлагали въ сторону крайности либерализма именно потому, что стали зрѣлѣе и вдумались глубже; что ихъ позднія убѣжденія были не отсталостью и отступленіемъ назадъ, а напротивъ ступенью выше прежняго и шагомъ впередъ противъ пошлаго, поверхностнаго большинства. Заключеніе конечно только внѣшнее, но оно не лишено силы, особенно когда явленія повторяются. Многимъ верхоглядамъ и нашего времени стоило бы въ это вдуматься.

V. *)

Минувшіе праздники *выяснили величайшаго изъ нашихъ поэтовъ;* они возстановили въ обществѣ чистый вкусъ. Въ послѣднемъ отношеніи прожитые знаменательные дни, мы вѣримъ, послужатъ эпохою, поворотнымъ пунктомъ. Если Пушкинъ былъ синтезъ, въ противоположность тому какъ, послѣ него, Гоголемъ, по счастливому выраженію г. Потѣхина, начатъ анализъ, то Пушкинскій праздникъ будетъ началомъ синтеза въ самой жизни нашей послѣ разложенія нравственнаго и умственнаго, которому она подверглась. Но это не единственная заслуга праздника; укажемъ еще на одну его сторону. Это былъ первый нашъ литературный конгрессъ. Фактъ и самъ по себѣ не лишенъ значенія, но не долженъ остаться безъ замѣчанія тотъ высокій характеръ, то полное приличіе, то совершенное соотвѣтствіе своимъ цѣлямъ, которыми ознаменовалось это первое собраніе цвѣта нашихъ литераторовъ и представителей всей публицистики. Имя Пушкина объединило всѣхъ, это такъ; но независимо отъ того, всякій съѣздъ представителей литературы непремѣнно ознаменовался бы тѣмъ чувствомъ мѣры, котораго мы были свидѣтелями въ эти дни, и непремѣнно отозвался бы столь же плодотворно, столь же воспитательно и на публикѣ и на самой литературѣ. Образчикъ въ небольшихъ размѣрахъ мы уже видимъ отчасти и на обычныхъ засѣданіяхъ Общества Словесности, какъ въ сущности ни малъ размѣръ его дѣятельности и обычный личный составъ. Но въ теченіе двадцати лѣтъ со времени его возстановленія, ни разу оно не потеряло такта, ни разу не уронило своего достоинства передъ публикой; ни разу не измѣняло своему призванію. Скажемъ болѣе: какъ ни скудны бывали, по временамъ, литературныя силы и средства Общества, ни разу не были пусты залы его собраній, и ни объ одномъ изъ его публичныхъ засѣданій нельзя было сказать, чтобы оно прошло безъ впечатлѣній на общество, и впечатлѣній чистыхъ, высокихъ, благородныхъ.

*) «Совр. Извѣстія» 1880 г. № 159.

Расширимъ же вопросъ, благо Пушкинскій съѣздъ даетъ намъ основаніе. Выигрываетъ или проигрываетъ литтература и публицистика, что представители ея сидятъ по угламъ, каждый въ единственномъ собственномъ соку? Пріобрѣтаетъ или теряетъ общество отъ этого разъединенія? Когда мы говоримъ „общество“, мы разумѣемъ настроеніе общественной мысли, разумѣемъ общественные вкусы, разумѣемъ наконецъ общественные спокойствіе и порядокъ, въ какомъ бы смыслѣ ни понимать ихъ. Напротивъ, не отъ разъединенія ли и происходитъ нестроеніе въ печати, и ея раздоръ, и разрывъ съ преданіями, наконецъ самая грубость въ пріемахъ полемики, доходящая иногда до предѣловъ, просто нетерпимыхъ въ обществѣ, сколько нибудь уважающемъ приличія? Не тратится ли и много силъ по пустому, не поднимаются ли распри, иногда даже очень озлобленныя, просто изъ недоразумѣнія, а то и изъ самолюбія, неумѣренно развившагося именно вслѣдствіе постояннаго взаимнаго разлученія? Короче сказать, произошло ли бы самое то разложеніе, умственное и нравственное, противъ котораго первымъ спасительнымъ противоядіемъ, надѣемся, послужитъ Пушкинскій праздникъ? Когда бы между представителями печати было постоянное общеніе, не исключающее ихъ разности во мнѣніяхъ, но соединяющее всѣхъ ихъ во имя общаго призванія, намъ кажется, не предстояло бы тогда, между прочимъ, надобности и защищать Пушкина и возвращать къ нему вкусы публики, какъ по необходимости понадобилось это на праздникѣ. Есть вещи, которыя не позволяются въ семьѣ; Писаревъ не существовалъ бы, и его направленіе, пусть оно при немъ бы и осталось, приняло бы несомнѣнно другой оттѣнокъ.

Увѣрены мы, что кромѣ безграничныхъ, необузданныхъ самолюбій и самомнѣній, которыя, повторимъ опять, сами суть результатъ взаимнаго отчужденія, не найдется ни одна писательская душа, которая бы не одобрила нашихъ мыслей. Но мы пользуемся опытомъ Пушкинскаго праздника, чтобы поставить на видъ власть имѣющимъ, что и въ высшихъ государственныхъ интересахъ всякое собраніе литераторовъ и вообще

представителей печати можетъ приносить только пользу, въ смыслѣ воспитанія общественнаго и въ смыслѣ воспитанія самой печати, среди которой не замедлятъ образоваться свои правила чести, свой нравственный судъ, свое общественное мнѣніе среди самихъ органовъ общественнаго мнѣнія, которое заклеймитъ недостойныхъ, обуздаетъ неумѣренныхъ, наведетъ на путь блуждающихъ. Лишь бы только всякій конгрессъ происходилъ гласно, на виду всѣхъ, и общества, и правительства. Гласность здѣсь, какъ и вездѣ, есть лучшая узда и лучшая школа отвѣтственности.

Ѳ. М. Достоевскій.*)

Сподоблялся ли кто изъ русскихъ писателей такой чести, какая воздана вчера Ѳ. М. Достоевскому? Монаршая щедрота, вниманіе особъ царствующаго дома, депутаціи, вѣнки, процессія отъ Морской до Николаевскаго вокзала; если бы не краткость времени, знаки почтенія къ усопшему выказались бы торжественнѣе. Но не въ помпѣ дѣло, а во *всеобщности участія* всѣхъ образованныхъ классовъ общества и всѣхъ представителей образованности, безъ различія мнѣній, и всѣхъ ступеней гражданской іерархіи. Этого еще не бывало, за исключеніемъ развѣ прошлогодняго юбилея въ честь поэта уже давно минувшихъ дней, на которомъ, къ тому же, вчера похороненному писателю между прочимъ выдалась особенно значительная роль.

Чему же, кому воздавалась честь? Таланту? Не совсѣмъ, то есть отчасти только. Гражданскимъ заслугамъ? Ихъ во внѣшнемъ смыслѣ не было. Мыслителю? Почти такъ: воздавалась честь именно *соединенію въ одномъ лицѣ художника, страдальца и мыслителя-публициста, таланту, убѣжденію и жизни въ нераздѣльной живой совокупности, честь идеалу, котораго вѣрнымъ служителемъ и носителемъ былъ художникъ-мыслитель,—пророкъ, какъ назвалъ его нѣкто на днѣхъ.* Не всѣ раздѣляли его образъ мыслей, но никто не могъ отказать въ почтеніи тому, *что мысли эти выстраданы, куплены цѣною не одного отвлеченнаго, празднаго кабинетнаго умствованія, но цѣною незаслуженной каторги,* каторги во всемъ ея буквальномъ смыслѣ, *цѣною Мертваго Дома.* И къ этому художественный талантъ съ глубиною и проницательностью психическаго анализа, отъ котораго каждому читателю его твореній становилось подъ часъ страшно! Не просто художественная, но *нравственная сила,* и этой-то силѣ воздавали честь вчера, помимо внѣшнихъ достоинствъ таланта.

---

*) «Совр. Извѣстія» 1881 г. № 32.

Нѣкоторые изъ несоглашающихся съ образомъ мыслей усопшаго художника-пророка высказывали и высказываютъ сожалѣніе, что онъ вдался въ „*мистицизмъ*“. Очень удобное слово, особенно для тѣхъ, кто не даетъ въ немъ отчета. То же ставили въ вину *и Гоголю, къ которому впрочемъ душевною судьбою Ѳ. М. Достоевскій подходилъ ближе всѣхъ; мистиками обзывали и старыхъ славянофиловъ (Хомякова, К. Аксакова и И. Кирѣевскаго);* того же прозвища несомнѣнно *дождался бы и Пушкинъ, если бы подольше пожилъ, какъ можно судить изъ направленія, къ которому повернулись его мысль въ послѣдніе годы.* Пусть упрекъ Гоголю представлялъ за себя основаніе въ его несомнѣнномъ *нервномъ* разстройствѣ передъ кончиною, хотя направленіе, за которое его упрекали, зародилось въ немъ еще задолго ранѣе. Но забавно усматривать „мистицизмъ“ въ людяхъ, столь основательно изучившихъ европейскую науку, каковыми были Хомяковъ и Кирѣевскій. Вдумывались ли несогласные съ Ѳ. М. Достоевскимъ, какъ публицистомъ, почитатели его, какъ художника, вотъ въ какой вопросъ однако: возможно ли представить, не скажемъ увлеченіе мистицизмомъ, но даже вообще поверхностное усвоеніе какихъ либо началъ человѣкомъ, обладающимъ *тою силою анализа,* какая всѣми безспорно признана за Ѳ. М. Достоевскимъ? И если начала, которыя исповѣдывалъ пророкъ-художникъ, были плодомъ глубоко обдуманной мысли надъ собою, *дерзнутъ ли состязаться съ нимъ въ этой глубинѣ саморазмышленія поспѣшные его критики,* не уличаютъ ли они сами себя въ верхоглядствѣ?

Насъ вотъ что поражаетъ. Ѳ. М. Достоевскій былъ самородокъ, какъ тѣмъ же самородкомъ былъ Гоголь, самородками были Аксаковъ, Хомяковъ и Кирѣевскій, въ самородка обращался подъ конецъ Пушкинъ. Самородкомъ мы называемъ не самоучку, лишеннаго элементарныхъ свѣдѣній, *а того, кто вырывается изъ общаго тока мысли и создаетъ себѣ собственную систему, безъ учителей, внѣ преемственной связи съ непосредственно предшествующимъ и въ противорѣчіе окружающему мнѣнію.* Это не мистики, *и эксцентрики въ области*

ума, какъ бываютъ эксцентрики въ бытовой области. И вотъ что замѣчательно: каждый изъ поименованныхъ, несомнѣнно великихъ умовъ и талантовъ, *въ поръ зрѣлыхъ силъ, эксцентрически обращался, независимо одинъ отъ другого, именно къ направленію, окрещиваемому именемъ мистическаго, съ тѣми или другими видоизмѣненіями.* Верхогляды называютъ рѣчь Ѳ. М. Достоевскаго, произнесенную на юбилеѣ, даже „ретроградною“, на каковой эпитетъ впрочемъ не скупились ни для Гоголя, ни для Пушкина, ни для славянофиловъ. Общаго во всѣхъ этихъ мистикахъ и ретроградахъ, за что и получали они такое наименованіе, было то, *что они искали внутренняго нравственнаго и даже прямо религіознаго идеала, его признавали право на господство и къ нему взывали.* И всѣ шли порознь, каждый самъ по себѣ (за исключеніемъ славянофиловъ), но *приходили каждый къ тому же съ своей стороны, одинъ строгимъ мышленіемъ, другой поэтическимъ чутьемъ правды, третій художественнымъ чутьемъ, мышленіемъ и жизненнымъ опытомъ, какъ Ѳ. М. Достоевскій.* И именно по мѣрѣ возмужалости силъ подходила *эта мистическая*, и если уже такъ угодно называть ее, ретроградная струя. Да и перечисленными ли умами оканчивается рядъ? Ѳ. М. Достоевскому наслѣдуетъ другой громадный творческій талантъ, другой самобытный умъ въ лицѣ *Л. Н. Толстаго*, о которомъ *слышимъ*, что онъ издалъ даже толкованіе на Евангеліе. Мы не имѣли случая читать толкователя-художника. Очень можетъ быть, въ немъ пропасть неосновательнаго, односторонняго, натянутаго, поспѣшнаго, но несомнѣнно все отмѣчено, вѣримъ мы, оригинальностью и талантомъ. И всетаки это опять *тотъ же „мистицизмъ“, къ которому свертываетъ крупный талантъ. Такое тожество исхода глубоко поучительно, а въ томъ, что каждый приходитъ къ нему въ одиночку своею дорогою, съ необходимыми, благодаря одинокому развитію, уклоненіями — въ этомъ пропасть трагическаго.*

М. Д. Скобелевъ.

I.*)

„Не можетъ быть, это не онъ“, это какой нибудь однофамилецъ. Вотъ въ первыя минуты о чемъ говорила толпа, заливавшая Неглинный Проѣздъ. Однако именно и совершилось казавшееся невозможнымъ; отнятъ отъ насъ именно онъ, надежда и слава Россіи, отнятъ въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ. И какая иронія! Смерть берегла, когда онъ ее искалъ на поляхъ битвъ, и подкралась потихоньку, въ мирное время, именно тогда, когда всего меньше можно было ея ожидать.

Потеря Скобелева необъятна: *со времени Суворова еще никто не пользовался такою любовью и солдатъ и народа.* Его имя стало *легендарнымъ* и одно стоило сотенъ тысячъ штыковъ. Со Скобелевымъ не можетъ не быть побѣда: таково было убѣжденіе солдатъ, которому подобное внушали только Наполеонъ I-й и Суворовъ.

Бѣлый генералъ былъ не просто храбрый рубака, какъ первоначально отзывались о немъ завистники. Текинскій походъ показалъ, что бѣлый генералъ вмѣстѣ и образцовый полководецъ и превосходный администраторъ, въ чемъ наконецъ отдали ему справедливость сами его соперники.

Но всего дороже въ Скобелевѣ было его *русское сердце и патріотизмъ въ самомъ широко и глубоко объемлющемъ смыслѣ слова.* Кто его зналъ и кто читывалъ его письма, тотъ не могъ не подивиться проницательности его историческихъ и политическихъ воззрѣній. Ненависть, съ какою встрѣтила иностранная печать извѣстный разговоръ со студентами, внушена была именно тѣмъ, что генералъ затронулъ самую сердцевину вопроса и затронулъ именно онъ, чрезвычайныхъ дарованій котораго никто не осмѣлился отрицать. Съ какимъ гнуснымъ злорадствомъ встрѣтятъ

*) «Совр. Извѣстія» 1882 г. № 174.

извѣстіе о кончинѣ нашего героя заграничные шовинистскіе листки, особенно въ Германіи! Русскій же народъ долго не придетъ въ себя послѣ этой ужасной, невознаградимой потери.

II. *)

Все еще не придешь въ себя отъ ужасной, неожиданной *всенародной потери*. Ничто не идетъ на умъ. Всѣ событія внѣшней и внутренней политики кажутся ничтожными, блѣдными, недостойными служить предметомъ обычнаго вступительнаго слова.

Петербургъ, по выраженіямъ Московской печати, замѣтилъ, что Москва оплакиваетъ въ похищенномъ героѣ не просто генерала, но государственнаго человѣка. Нота заслышана вѣрно; мы прибавимъ лишь, что въ Скобелевѣ погибъ государственный человѣкъ, не въ смыслѣ пошломъ „штатскаго“ администратора иль законодателя; погибъ политическій дѣятель, болѣе того— погибъ дѣятель историческій, еще не свершившій, что ему назначено, даже не приступавшій къ совершенію, но въ немъ таились силы, и то оцѣпенѣніе, въ которое слова имъ произнесенныя повергли на нѣсколько недѣль цѣлую половину Европы, были порукою за то, чего бы достигли дѣянія такого лица. И порукою за то было, помимо его боевой славы и прошедшихъ подвиговъ, его прозорливый умъ, обширное образованіе, необычайная популярность и въ войскѣ и во всемъ народѣ, его безпощадная энергія и наконецъ его патріотизмъ,—патріотизмъ въ самомъ высокомъ, честномъ, самоотверженномъ смыслѣ. Онъ былъ сынъ, слуга Россіи и царя, послушникъ ихъ историческихъ задачъ, орудіе, казалось, изъ жалости надъ нашею дряблою полумертвечиною, выбранное Провидѣніемъ быть спасителемъ нашимъ во время благопотребное.

Насъ поразило тожество выраженій скорби въ полученныхъ нами нѣсколькихъ письмахъ: теперешнее народное чув-

*) «Совр. Извѣстія» 1882 г. № 177.

ство сравниваютъ съ чувствомъ, объявшимъ Россію при утратѣ Скопина-Шуйскаго, тоже Михаила, тоже похищеннаго въ молодыхъ лѣтахъ (даже въ болѣе молодыхъ) и тоже унесшаго съ собою въ гробъ лучшую надежду отечества въ Смутную годину. Тотъ же образъ, то же воспоминаніе, воскресшіе у разныхъ лицъ по поводу того же событія; это удивительное повтореніе у лицъ, несговаривавшихся между собою, знаменательно: оно указываетъ, что въ существѣ оцѣнка вѣрна. Сила въ томъ, что мы дѣйствительно переживаемъ второе Смутное время, въ своемъ новомъ, особомъ характерномъ видѣ, со своими особыми самозванцинами всѣхъ сортовъ, со своими милліонами „воровъ“ и „воришекъ“, съ своимъ новымъ, но столь же полнымъ „шатаніемъ“ всего, во всѣхъ сферахъ, и въ сферахъ власти и въ сферахъ общества. Мы переживаемъ соціальный тифъ со всѣми его, знакомыми патологу признаками. Ни одно нравственное начало нетвердо: всякій авторитетъ пошатнутъ; повидимому (такъ казалось и въ первую Смутную годину), общество уже разложилось, и государство должно рухнуть. Тяжело живется въ такое тифозное время тому, кто сохранилъ и здравый смыслъ, и почтеніе къ правдѣ, любовь къ своей родинѣ и вѣру въ нее. Этой любви, этой вѣры былъ выраженіемъ самымъ полнымъ, самымъ свѣжимъ, самымъ несокрушимымъ, мало того—выраженіемъ побѣдоносящимъ былъ Скобелевъ. При взглядѣ на него, при воспоминаніи о немъ, объ этомъ необычайномъ сочетаніи и военнаго генія, и орлинаго взора на политическія событія, и преданности патріотическому долгу, и необычайной популярности въ массахъ,—становилось легко: этотъ тифъ не къ смерти, когда выростаютъ и назрѣваютъ такія воплощенія народныхъ идеаловъ. И тѣмъ тяжелѣе его потеря. Помимо почтенія къ его личнымъ достоинствамъ, томитъ еще печаль о родинѣ въ родѣ печали современниковъ Скопина-Шуйскаго.

Мы имѣли въ рукахъ одно изъ частныхъ писемъ покойнаго генерала. Не станемъ упоминать, что подъ нимъ за честь почелъ бы подписаться каждый общественный мыслитель: такъ

оно зрѣло не только по мыслямъ, но и по выраженію краткому, мѣткому и глубокому, какъ у всѣхъ великихъ полководцевъ-писателей, въ родѣ Цезаря и Наполеона. Но мы приводимъ изъ него одно мѣсто, заранѣе испрашивая у особы, къ которой письмо писано, прощеніе за нескромность, которая во всякомъ другомъ случаѣ была бы неизвинительна. Соглашаясь съ мнѣніемъ, что „позорящая нынѣ Россію крамола есть, въ весьма значительной степени, результатъ того, почти *безвыходнаго разочарованія, которое навязано было Россіи мирнымъ договоромъ (т. е. Берлинскимъ)*, незаслуженнымъ ни ею, ни ея знаменами", незабвенный Бѣлый генералъ обращается къ запасу своей исторической памяти и находитъ только одинъ случай подобнаго нравственнаго паденія—Испанію послѣ сраженія при *Лепантѣ*. „Поколѣніе сражавшихся при Лепантѣ, заключаетъ онъ, оставило исторіи лишь *одно* имя—автора Донъ-Кихота, геніальная сатира котораго потрясла до основаній католическую, монархическую и рыцарскую Испанію, уготовивъ вѣковое паденіе этой страны. *Сервантесъ—тотъ же нигилизмъ*. Caveant consules!"

Восточная война, слава Богу, оставила намъ не одно имя, хотя въ числѣ многихъ одно очень большое, самого автора приведенныхъ строкъ. И между прочимъ въ немъ-то именно, въ томъ же Бѣломъ генералѣ та же Восточная война и дальнѣйшія событія показали, что задатки будущаго нашего не тѣ, что у Испаніи послѣ Лепанта, когда выростаютъ такія лица, какъ самъ Скобелевъ. А Скобелевъ былъ именно отраженіемъ и воплощеніемъ не себя только, а своего времени. Объ этомъ въ поясненіе два слова.

Кружку дѣятелей, теперь рѣдѣющему день ото дня и сходящему со сцены, такъ называемому—„сороковыхъ годовъ" (пошлое само по себѣ выраженіе) не разъ приходится озираться промежду себя съ тоскливымъ вопросомъ: „чтожъ послѣ насъ растетъ и выросло?" Каждый изъ оставшихся задавалъ себѣ и другимъ сверстникамъ этотъ тоскливый вопросъ навѣрное. Происходя духовно изъ того же періода, мы лично отвергаемъ

это дѣленіе поколѣній, дѣятелей и типовъ дѣятельности по десятилѣтіямъ. Мы дѣлимъ поколѣнія по крупнымъ событіямъ, потрясавшимъ Россію изъ конца въ конецъ, впечатлѣвавшимся на всемъ народѣ, и полагавшимъ вслѣдствіе того особое знаменіе на духовной его личности. Мы, тѣ люди, которыхъ зовутъ людьми сороковыхъ годовъ, а отчасти и отцы ихъ—дѣти двѣнадцатаго года. Его преданіями жили, воспоминанія о немъ, въ разнообразныхъ примѣненіяхъ, сознательно и безсознательно ложились на духовное воспитаніе и образовали типъ дѣятелей и дѣятельностей, идеалы и вкусы. Севастопольская война была вторымъ всепотрясающимъ событіемъ. Можно указать и писателей и вообще дѣятелей, которыхъ духовный возрастъ начинается съ этой, и злосчастной и славной годины. Генералъ, кончину котораго оплакиваемъ, есть весь порожденіе уже новой великой годины. Къ 19 февраля 1861 года ему было едва 17 лѣтъ: онъ дитя, вполнѣ дитя *новой* Россіи! И вотъ это-то представленіе уже способно вселить бодрость: не одно размноженіе бактерій въ крови общественнаго тѣла, не одно „шатаніе“ и отрицательный духъ съ своимъ естественнымъ концомъ, нравственнымъ разложеніемъ,—новая Россія способна выработать такія цѣльныя натуры, такіе энергическіе характеры, такіе многообъемлющіе умы и притомъ съ такою патріотической душой, созвучной всему стомилліонному населенію: это есть утѣшеніе, если только можно чѣмъ нибудь утѣшиться въ невознаградимой, ужасной потерѣ. Скобелевы еще будутъ, они воскреснутъ.

III. *)

Въ тѣ самые часы вчера, когда мы въ (руководящей статьѣ) пытались объяснить, въ какомъ смыслѣ московская печать оплакиваетъ въ Скобелевѣ государственнаго человѣка, *Московскія Вѣдомости* въ своей руководящей статьѣ ту же

*) «Совр. Извѣстія» 1882 г. № 178.

мысль выражали другими словами. Скобелевъ, выражались мы, былъ дѣятель политическій, мало того—историческій; еще точнѣе было бы выразиться, что онъ былъ сила политическая и историческая, потому что не свершила всего, что̀ свершить была способна. *Московскія Вѣдомости* пишутъ: „онъ былъ не просто зубцомъ машины, но понималъ вещи въ ихъ обширной связи, и каждой подробности давалъ значеніе съ точки зрѣнія цѣлаго“. Прибавимъ: цѣлаго, не только въ смыслѣ современной совокупности, но въ связи вѣковъ. Въ этомъ смыслѣ онъ и былъ великій политическій умъ и историческая сила.

Мы не передаемъ здѣсь подлинныхъ словъ Скобелева, предлагаемыхъ въ подтвержденіе *Московскими Вѣдомостями*; читатели найдутъ ихъ въ отдѣлѣ *Періодической печати*. Наши закаспійскія завоеванія были бы овчинкой, не стоящей выдѣлки, когда бы не связана была съ ними судьба всего восточнаго вопроса, и когда бы отъ судьбы восточнаго вопроса не зависѣла въ свою очередь безопасность и цѣлость имперіи. Глубоко замѣчательны слова геніальнаго полководца, что въ данномъ положеніи, когда судьба Востока еще на вѣсу и пока Босфоръ еще не въ нашемъ обладаніи, нельзя считать рѣшенною и участь Польши и всѣхъ западныхъ нашихъ окраинъ. И объ этой-то орлиной прозорливости, которая обозрѣваетъ связь политическихъ событій, можно сказать, съ высоты вѣковъ, нашелся сказать, и притомъ на этихъ самыхъ дняхъ, одинъ убогій умъ, не только въ политическомъ, но и во всякомъ смыслѣ, что „Скобелевъ не могъ де быть хорошимъ политикомъ, потому что въ воззрѣніяхъ-де его отражалась славянофильская доктрина“. Петръ Великій тоже вѣроятно былъ плохимъ политикомъ и Екатерина тоже, не говоря уже о князьяхъ и царяхъ, собирателяхъ Русской земли: должно быть они были тоже заимствователями изъ славянофильской доктрины. Несчастные, убогіе умы, неспособные къ какой либо мысли, должно быть имѣли въ виду извѣстную, прогремѣвшую рѣчь покойнаго генерала къ сербскимъ студентамъ, которую въ свою очередь должно быть приняли за маниловщину своего рода, соединенную съ

пѣтушинымъ задоромъ. Но когда бы немногія слова, произнесенныя въ Парижѣ, были маниловщиною къ „славянскимъ братьямъ“ и пѣтушинымъ задоромъ армейскаго рубаки, тогда бы они и не произвели ничего, кромѣ смѣха. Но то озлобленіе, озлобленіе неслыханное, которымъ они были встрѣчены, именно показывало, что слова должно быть попали въ самую цѣль. Дѣло тутъ вовсе не въ братьяхъ и не въ племенной борьбѣ, внушаемой будто бы антипатіею. Никакой антипатіи нѣтъ, а дѣло въ столкновеніи интересовъ, и—въ вопросѣ, быть ли Россіи должнымъ образомъ обороненною въ своей безопасности, истощаться ли цѣлые вѣки на содержаніе громадной арміи, оставаться ли стѣсненною даже въ своихъ торговыхъ сношеніяхъ. А все зависитъ отъ географической позиціи. Что же дѣлать, когда Россія не островъ, подобно Великобританіи, и когда у нея нѣтъ даже моря? Что же дѣлать, когда вполнѣ независимую позицію можетъ занять она лишь чрезъ обладаніе Босфоромъ, какъ указывалъ Скобелевъ, или даже болѣе—съ обладаніемъ устьями Евфрата? Но на счастье наше, Босфоръ облегаютъ племена родственныя, съ освобожденіемъ которыхъ пріобрѣтается и наша независимость и безопасность; а на несчастье наше, интересы наши въ этомъ сталкиваются съ интересами другого народа, который рвется занять ключъ къ той же позиціи, для чего ему необходимо препятствовать освобожденію юго-славянскихъ народовъ, и если возможно—ихъ денаціонализировать, лишить народности. Вотъ до разумѣнія этого-то никакъ не могутъ дорости убогіе умы, обзывая пониманіе вещей, какъ онѣ есть, которое обнаружилъ Скобелевъ, „заимствованіемъ изъ славянофильской доктрины“.

Москва, 1 іюля 1882 г.

Отъ кончины и похоронъ Скобелева обращаемся къ впечатлѣнію, ими произведенному и производимому. Оно трогательно и знаменательно. Трогательно и знаменательно это единодушіе

скорби и почтенія, въ которомъ не отличается статскій отъ военнаго, въ которомъ слились и высшіе классы и низшіе и въ которомъ одинаково сердечное участіе принимаетъ царь. Нѣтъ, мы оговоримся, единодушіе, но не полное. Какъ вездѣ, должны быть исключенія, и на сей разъ именно фактъ кончины народнаго любимца можетъ служить оселкомъ, въ какой мѣрѣ въ данномъ лицѣ или кружкѣ сохранились русское чувство и русскій смыслъ. Мы помнимъ моментъ, когда исторія представила подобный же фактическій оселокъ, и когда дешевое благоразуміе и пошлое, бездушное умничанье, основанное на общихъ мѣстахъ, выдѣлилось изъ общаго хора, въ родѣ мякины изъ зерна. Мы разумѣемъ время сербскаго возстанія. Со стороны пошлаго умничанья, дѣйствительно, казалось бы, за что же такая честь молодому генералъ-адъютанту, пусть и оказавшему нѣкоторые подвиги? И мы, признаться, не безъ сожалѣнія прочли въ одномъ даже изъ сочувствующихъ памяти Скобелева органовъ, что почести, оказанныя праху Скобелева, возданы его заслугамъ. Нѣтъ, не заслугамъ, противъ этого мы протестуемъ: заслуги его, какъ ни велики онѣ (разумѣемъ заслуги военныя) сами по себѣ взятыя, еще не уполномачивали бы на то всенародное вниманіе, которое ему оказано. Тайна обаянія, которое покойный производилъ, заключается и не въ его личныхъ талантахъ и сказочной личной храбрости, опять взятыхъ самихъ по себѣ. Тайна—во всей личности, въ душѣ покойнаго, въ которой усмотрѣлъ народъ воплощеніе своей души; въ ней почуялъ онъ носительницу своихъ идеаловъ. Это безпримѣрная русская душа, и притомъ съ русской же отвагой и съ желѣзною волей: вотъ и тайна обаянія, дѣйствовавшаго одинаково и на царя, и на крестьянина, и на солдата, и на разночинца.

Все это очень знаменательно, сказали мы, и очень поучительно, прибавимъ. Во первыхъ, нельзя не обратить вниманія на чуткость народную, и именно политическую. Она есть явленіе сравнительно новое, но проявляется не въ первый разъ и заслуживаетъ того, чтобы имѣть ее въ виду. Достойно горести, что она выражается стихійно, еще не нашла себѣ формулы и

слѣдовательно можетъ скорѣе отгадываться сочувственнымъ чутьемъ же, а не отыскиваться и вычисляться анализомъ. А отсюда приходимъ уже ко второму выводу, практическому и притомъ ближайшему къ событію, по поводу котораго говоримъ. Необходимо издать поскорѣе не только жизнеописаніе покойнаго генерала, но и всю его переписку, ту разумѣется ея часть, которая относится къ общественнымъ дѣламъ и событіямъ. Тайна обаянія, которое онъ производилъ, и которое впечатлѣніемъ, произведеннымъ его смертію, засвидѣтельствовалась такъ торжественно, раскрылась бы намъ яснѣе и послужила бы назиданіемъ. Въ числѣ надписей на вѣнкахъ, возложенныхъ на гробъ покойнаго, насъ поразила одна болѣе всѣхъ:— полководцу, Суворову равному.—И надпись эта не отъ кого иного, какъ отъ Академіи Генеральнаго Штаба, высшаго вмѣстилища русскихъ военныхъ знаній. Заслужить такое наименованіе и отъ такого учрежденія—очень много, и притомъ тогда, когда чествуемый лично уже не нуждается въ похвалахъ и не можетъ за нихъ благодарить. Это и не должно быть одною риторическою фигурою, которая была бы не подъ стать столь почтенному учрежденію. Въ глубинѣ стало быть лежитъ фактическая оцѣнка, и притомъ внушенная вовсе не шовинизмомъ. Доказательство тому—отзывъ американца, который ставитъ Скобелева на уровень пяти величайшихъ знаменитостей военныхъ. Если основанія для того находятся въ дѣяніяхъ Скобелева, то они еще яснѣе выступятъ изъ его описаній. Скобелевъ не совершилъ всего, что способенъ былъ совершить: изъ писаній его узнаемъ, вѣроятно, что̀ именно способенъ онъ былъ совершить и что остается совершить желающему идти по его стопамъ и стяжать себѣ такую же всемірную славу и такую же любовь въ народѣ.

И. С. Тургеневъ.*)

I.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ скончался. Нѣтъ грамотнаго человѣка въ Россіи, кому бы не было знакомо его имя, кто бы не прочелъ хотя нѣкоторыхъ изъ его произведеній, а все молодое и даже возмужалое поколѣніе училось по немъ. Печать всѣхъ странъ признала за нимъ почетное мѣсто не въ русской только, но во всемірной литературѣ. Онъ наша слава.

Печальное событіе не поразитъ неожиданностію; оно предвидѣно. Не ощутится и горечь сиротства. Покойному выпала рѣдкая для русскаго писателя доля, счастливая или несчастная, какъ ее назвать: онъ совершилъ свой полный циклъ. Онъ оставилъ наслѣдство, но не унесъ въ могилу ничего.

А какое богатство, какое чарующее наслѣдство онъ оставилъ! Перечислять ли? Анализировать ли его художественныя достоинства и достоинства его языка? Упоминать ли объ исторической заслугѣ, которая оказана имъ общественному сознанію „Записками Охотника“?—Онъ былъ первымъ піонеромъ, проложившимъ образу крестьянина путь къ русскому, нѣтъ мало того—къ барскому сердцу. Онъ былъ предтеча 19 февраля. Но это все извѣстно, и повторять мы не будемъ, а упомянемъ объ одной, дорогой чертѣ его твореній, которая даетъ имъ воспитательное значеніе и которая роднитъ его съ Диккенсомъ. Нѣтъ ничего разнороднѣе этихъ двухъ талантовъ, но въ Тургеневѣ—авторѣ, какъ въ Диккенсѣ—авторѣ, о чемъ бы они ни писали, вы слышите добраго человѣка, гуманную, теплую, сочувствующую натуру. Это сочувствіе его, эта мягкость натуры обращалась даже въ ущербъ таланту Тургенева, особенно въ послѣднихъ произведеніяхъ, носившихъ отъ того печать неопредѣленности. Ему тяжело было положить рѣзкія черты на типы, несомнѣнно антипатическія его характеру и его убѣжденіямъ; онъ

*) „Совр. Извѣстія“ 1883 г. 25 августа.

желалъ отыскать разумность и оправданіе для явленій, возбуждавшихъ въ немъ отвращеніе, и искалъ своими твореніями внести примиреніе въ общественный разладъ, которымъ огорчался. Не мѣсто объяснять, въ какой мѣрѣ ему удалось это желаніе, но онъ не угодилъ никому. Тѣмъ не менѣе та же теплота слышится въ „Дымѣ“, какъ и въ „Запискахъ Охотника“.

Въ лицѣ И. С. Тургенева нами потерянъ не только великій писатель, но писатель чистаго вкуса, какихъ уже почти не осталось. Оставляя въ сторонѣ колоссальную величину Льва Толстаго, который стоитъ особь, если обратимъ вниманіе на продолжателей и послѣдователей Тургенева, какой подъ часъ отвратительный балаганъ предстаетъ предъ нами! Цѣлую школу литературы, а она есть почти господствующая, къ несчастію, можно обозвать пародіей на Тургенева. И какъ высоко взлетаетъ онъ надъ всѣми ними съ своей безукоризненно-художественной музой!

II. *)

„Московскія Вѣдомости“ передали, что въ газетѣ *Justice* революціонеромъ Лавровымъ напечатано извѣщеніе, касающееся И. С. Тургенева. Лавровъ объявляетъ, что знаменитый беллетристъ нашъ выдавалъ ежегодно 500 франковъ субсидіи революціонному журналу „Впередъ“. Не будемъ подвергать сомнѣнію достовѣрность извѣщенія, хотя оно и могло быть только похвальбою Лаврова. Но кому же не помогалъ покойный Иванъ Сергѣевичъ и кто къ нему не обращался? Въ этомъ отношеніи онъ напоминалъ незабвеннаго Жуковскаго. Но изъ того, что Жуковскій исходатайствовалъ Герцену возвращеніе изъ ссылки и, кажется, самый отпускъ за границу, слѣдовало ли, что Жуковскій былъ направленія, родственнаго Герцену? Мы знаемъ и то и другое и знаемъ, что они противоположны. Такъ и здѣсь, если Лавровъ сообщеніемъ своимъ надѣялся увѣрить публику

*) „Совр. Извѣстія“ 1883 г. сентября 13.

въ политическомъ единомыслiи знаменитаго писателя съ журналомъ „Впередъ“, то онъ не успѣлъ въ этомъ; субсидiя еще ничего не доказываетъ, кромѣ извѣстной сердечной мягкости, податливости знаменитаго романиста.

Гдѣ-то сказано было, кажется, въ „Новомъ Времени“, что Тургеневъ не былъ политическимъ руководителемъ. Это вѣрно, хотя нѣкоторые органы печати и увѣряютъ въ противномъ и даже какъ будто обижаются за покойнаго беллетриста. Напрасно; сколько мы понимали и знали И. С. Тургенева, онъ не успѣлъ себѣ составить ясныхъ политическихъ убѣжденiй и не имѣлъ мужества въ этомъ сознаться. Онъ называлъ себя западникомъ, причислялъ себя къ либераламъ, исповѣдывалъ даже, что онъ—либералъ-монархистъ; но всѣ эти клички ничего еще опредѣленнаго не означали. Какъ угодно, а Тургеневъ всетаки былъ идеалистъ сороковыхъ годовъ, и такимъ остался: его политическiе идеалы витали въ теоретической неопредѣленности, да едва ли когда-нибудь онъ и допрашивалъ себя о нихъ настойчиво, тѣмъ болѣе что слишкомъ рано удалился изъ русскаго общества, являясь въ него только временнымъ гостемъ. Все, что совершилось съ освобожденiя крестьянъ, вся новѣйшая исторiя Россiи прошла мимо него, а не черезъ него: ему не приводилось быть живымъ участникомъ ни обще-народнаго горя, ни обще-народнаго энтузiазма или негодованiя; онъ былъ издали только свидѣтелемъ ихъ. А мы прожили за это время цѣлый историческiй перiодъ, прошли цѣлую школу политическаго воспитанiя; назрѣли конкретные практическiе запросы, на которые недостаточно отвѣчать восхваленiемъ свободы вообще или поклоненiемъ вообще западной цивилизацiи. Географическое отчужденiе отъ родины мститъ за себя въ такихъ случаяхъ неумолимо, и чтобы удостовѣриться въ разницѣ, сравнимъ Тургенева съ Достоевскимъ. Достоевскiй сострадалъ именно каждой минутѣ отечественной жизни, и отъ того онъ не только художникъ, но и проповѣдникъ, тогда какъ Тургеневъ только художникъ-бытописатель. Художественнымъ чутьемъ онъ угадывалъ жизнь, воплощалъ ея постепенныя стадiи въ своихъ произведенiяхъ, но не руково-

дилъ ею и не пытался руководить. Общія сочувствія къ свободѣ и прогрессу сохранялись, и отсюда его радушное участіе ко всему, что̀ носило на себѣ наружные признаки свободы и прогресса; отсюда его слабость къ молодежи вообще; этимъ объясняется и субсидія журналу „Впередъ“. Это во всякомъ случаѣ органъ свободной, безцензурной мысли, это—во всякомъ случаѣ—молодое поколѣніе.—Чтобы понять увлекательную силу этихъ терминовъ, нужно перенестись въ сороковые года.

Впрочемъ потеряли-ли мы отъ того, что великій писатель остался тѣмъ же неопредѣленнымъ идеалистомъ, какимъ покинулъ родину тридцать лѣтъ назадъ? Да и нужны ли намъ его политическія убѣжденія, если бы они какія и были? Онъ оставилъ намъ свои произведенія; вникайте въ нихъ и не ищите далѣе. Расцѣнкою помысловъ и дѣяній, неотпечатлѣнныхъ въ созданіяхъ, оставленныхъ потомству, только оскорбляется память писателя, свѣжая могила котораго еще не засыпана.—„Записки Охотника“,—„Рудинъ“,—„Дворянское Гнѣздо“,—„Наканунѣ“,—„Дымъ“,—и—„Новь“—не умалятся и не увеличатся въ своемъ достоинствѣ отъ того, чьей политической дѣятельности знаменитый талантъ оказывалъ радушіе и къ чьей выказывалъ холодность или даже непріязнь.

III. *)

Мы высказали предположеніе, что было только похвальбой извѣщеніе Лаврова, будто покойный И. С. Тургеневъ выдавалъ его революціонному журналу ежегодную субсидію. Послѣдовавшими обнаруженіями это болѣе нежели подтвердилось. Г. Стасюлевичъ былъ въ Парижѣ, когда статья Лаврова въ *Justice* появилась. Домашніе Тургенева (семейство Віардо) были очень огорчены извѣстіемъ, которое, какъ они знали хорошо, было клеветою. Тургеневъ былъ не такой человѣкъ, чтобы въ душѣ его могло таиться что-нибудь. Кромѣ того, не только

*) «Совр. Извѣстія» 1883 г. сентября 18.

общія убѣжденія его были слишкомъ извѣстны, но и отношенія его въ частности къ Лаврову были таковы, что не допускали даже отдаленнаго предположенія объ его солидарности съ революціоннымъ журналомъ. Затѣмъ сумма, въ какую объявляетъ Лавровъ мнимую себѣ субсидію, для Тургенева, получавшаго ежегодно до 40,000 рублей, столь ничтожна, что если бы она и выдавалась, то могла быть только благотворительною подачкою, а никакъ уже не выраженіемъ сочувствія къ политической дѣятельности или соучастія въ ней. Лавровъ велъ себя попрошайкою до того, что разъ не постыдился выманивать даровой билетъ на чтеніе, въ которомъ Тургеневъ участвовалъ; въ его интересахъ конечно было дѣлать видъ, что Тургеневъ близокъ къ нему, хотя знаменитый писатель тяготился его докучливостью. Такъ было и въ настоящемъ случаѣ, какъ свидѣтельствуетъ г. Стасюлевичъ: лицу, которое было послано къ Лаврову за объясненіемъ басни о субсидіи, революціонеръ цинически отвѣчалъ, что для него всѣ средства хороши, а въ настоящемъ случаѣ сенсація, которую должно было произвести извѣстіе о солидарности знаменитаго, любимаго Россіею и извѣстнаго Европѣ писателя съ революціонернымъ журналомъ, для революціонныхъ цѣлей выгодна.

Оставляемъ на отвѣтственности г. Стасюлевича и того лица, которое вело переговоры съ Лавровымъ, достовѣрность разсказаннаго. Въ сущности даже безразлично, получалъ или не получалъ Лавровъ сказанную субсидію. Тургеневъ не сочувствовалъ революціоннымъ путямъ; это онъ высказалъ печатно, а искреннѣе его и открытѣе едва ли еще былъ у насъ писатель. Какъ мы выразились прошлый разъ, любящая душа автора „Записокъ Охотника“ неспособна была никому отказывать въ просьбѣ, а Лавровъ не такой человѣкъ, чтобы стѣсняться въ попрошайствѣ. „С.-Петербургскія Вѣдомости“ не безъ ядовитости замѣчаютъ, что издатель журнала „Впередъ“ могъ бы указать еще и на административныхъ лицъ, отъ которыхъ онъ получалъ помощь. Стало быть, даже административныя лица не удерживались отъ благотворительности революціонеру. Какъ же судить

добраго, мягкаго, сердечнаго Тургенева, когда бы онъ дѣйствительно бросалъ подачку человѣку, хотя антипатичному, но съ которымъ судьба неизбѣжно заставляла сталкиваться!

Грустно во всей этой исторіи то, что нѣтъ у насъ великаго писателя, котораго судьба, въ особенности кончина, не омрачалась бы своего рода трагизмомъ. Есть трагизмъ даже въ этомъ добровольномъ отшельничествѣ Тургенева, въ этой осѣдлости, которую онъ нашелъ вдали отъ родины, среди чужой семьи, притомъ, какъ увѣряютъ теперь, чужой ему даже въ душѣ: Тургеневъ, прилѣпившійся сердцемъ къ ней, говорятъ, былъ для нея только предметомъ эксплуатаціи!

Но добровольно ли было это отшельничество въ строгомъ смыслѣ? Никто покойнаго не угонялъ, правда. Отчего же ему было покойнѣе, уютнѣе, вольготнѣе тамъ, около Парижа и Баденъ-Бадена, нежели здѣсь, среди насъ, не смотря на всеобщую любовь, на всеобщее уваженіе, которыми онъ пользовался у соотечественниковъ? Не трагизмъ ли это?

Отмѣтимъ и утѣшительную сторону. Клевета, которою хотѣлъ революціонеръ смутить русское общество, вызвала единодушный протестъ. Единодушно выразилась увѣренность въ чистотѣ дѣйствій покойнаго писателя, и столь же единодушно сказалось отвращеніе къ дѣятельности Лаврова не только въ данномъ случаѣ, но и вообще. Ударъ, занесенный революціонеромъ, упалъ на его голову. Даже у тѣхъ въ глазахъ, кто имѣетъ несчастіе сочувствовать его направленію, послѣ тѣни, которую дерзнулъ онъ бросить на любимаго писателя, несомнѣнно онъ понизился.—Всѣ средства хороши:—достаточно этого одного, чтобы судить о направленіи, и для многихъ можетъ быть настоящій случай послужитъ предостереженіемъ, какого рода люди воздвигаютъ заманчивое знамя—впередъ—и чего отъ нихъ можно ожидать и опасаться.

Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ.

Москва, 28 января. *)

Потеря невознаградимая! И. С. Аксаковъ былъ не только литтераторъ, публицистъ, общественный дѣятель: онъ былъ знамя, онъ былъ общественная сила. Въ этомъ было его главное значеніе, и поэтому-то особенно тяжела его потеря, и именно теперь, когда положенъ на вѣсы вопросъ: достойно ли Россія встрѣтитъ надвигающіяся событія, а они касаются тѣхъ глубочайшихъ ея задачъ, того коренного ея призванія, которымъ и посвящена была вся жизнь покойнаго.

Голосъ покойнаго издателя „Руси“ не былъ отголоскомъ правящихъ сферъ даже отдаленнѣйшимъ образомъ. Оффиціальной опоры, матеріальной и нравственной, онъ не только не искалъ, не принималъ, напротивъ всегда тщательно оберегался, не изъ оппозиціи, которой въ немъ, искреннѣйше вѣрноподданномъ, никогда не было, но чтобы сохранить независимость, оставить за собою свободу говорить правду, нестѣсняемую частными отношеніями. При свѣтѣ началъ, завѣщанныхъ ему первыми учителями славянофильской школы, онъ подвергалъ вопросы общественные и политическіе оцѣнкѣ съ точки зрѣнія народной, а не казенной, московской, а не петербургской.

И это дало ему свою силу. Честенъ, какъ Аксаковъ; это почти была пословица. Онъ не льстилъ никому и не подлаживался ни въ верху, ни въ низу, ни съ боковъ. Онъ не былъ любимцемъ публики и даже самъ не высоко чтилъ „популярность“, которая большею частью создается толпою легкомысленною и дается мыслителямъ и дѣятелямъ поверхностнымъ. Но его слово для иныхъ звучало укоромъ совѣсти, для другихъ служило нравственною уздою.

Сквозь преслѣдованіе оффиціальное, которому подвергалась его публицистическая дѣятельность, по удивительному недора-

*) Совр. Извѣстія, 1886 г., № 28.

зумѣнію, объясняемому впрочемъ свойствомъ Петербурга; сквозь глумленіе литературное, непереставшее издѣваться надъ тѣмъ, чего отчасти не понимало, а отчасти намѣренно искажало,—авторъ „Бродяги“, издатель „Московскаго Сборника“, „Паруса“, „Дня“, „Москвы“, „Москвича“, пронесъ непоколебимыми свои убѣжденія, пока памятный 1876 годъ, заставъ его предсѣдателемъ Славянскаго Комитета, не преобразилъ его изъ вѣщателя въ дѣятеля. Не онъ вызвалъ народное движеніе, но народное движеніе нашло въ немъ чуткое орудіе, послушнаго и разумнаго исполнителя своихъ чаяній. Мы читали тогдашнія многочисленныя письма, летѣвшія въ Славянскій Комитетъ иногда изъ-за Урала и изъ-за Енисея; самъ И. С. еще недавно напоминалъ въ „Руси“, какъ приходившіе откуда-нибудь изъ-за Волги падали предъ нимъ на колѣна и молили, чтобы онъ далъ имъ „сподобиться пострадать и умереть за братьевъ“. Москва 1612 года освобождена всею Землею, а не Мининымъ, но Мининъ оказался; народное движеніе къ освобожденію балканскихъ христіанъ нашло своего Минина и въ 1876 году.

За то и поспѣшили убрать его. По мѣткому выраженію самихъ Аксаковыхъ, Земля выступаетъ только въ торжественныхъ случаяхъ, затѣмъ выходитъ въ отставку. Съ подписаніемъ Берлинскаго трактата, закрыли Славянскій Комитетъ и бывшаго предсѣдателя сослали въ деревню. Для торжествовавшихъ побѣду надъ нами заграничныхъ „друзей“ Аксаковъ былъ bête noire, и Славянскій Комитетъ представлялся революціоннымъ гнѣздилищемъ, готовымъ и способнымъ низвергнуть государства. По жалкому заблужденію, воображаютъ тамъ, что у насъ есть „партія“, славянофильская или панславистская, какъ они ее называютъ, и лучшимъ поясненіемъ глубокаго недоразумѣнія, кроющагося въ этомъ мнѣніи, можетъ служить отвѣтъ самого покойнаго И. С. одному иностранному путешественнику.— Сколько вы считаете въ своей партіи?—Никого, отвѣчалъ мнимый глава; или, если хотите—всю Россію.

И дѣйствительно, для русскихъ людей Аксаковъ остался знаменемъ, по которому безошибочно можно было провѣрять,

„коего духа“ суть мнѣнія, мѣры, направленія; если не для каждаго опредѣленнаго случая можно было узнавать, гдѣ *русское* (человѣкъ идеаловъ, онъ не признавалъ себя созданнымъ для подобныхъ регламентовъ), то съ точностью можно было отличать *нерусское*.

Онъ умеръ. Болѣзнь поразила его еще прошлымъ годомъ, но онъ пріѣхалъ выздоровѣвшимъ и посвѣжѣвшимъ. Онъ бы долженъ былъ жить. Къ числу причинъ, сведшихъ его въ могилу, мы несомнѣнно увѣрены, относилось и то глубочайшее страданіе, которое испытывалъ онъ при видѣ направленія, принимаемаго политикою въ Балканскомъ вопросѣ. Говорятъ, была болѣзнь сердца, но однако врачебныя знаменитости даже за нѣсколько часовъ до кончины обѣщали ему еще много лѣтъ при „спокойной жизни“. Но когда къ физической болѣзни сердца присоединяются еще нравственные удары, бьющіе въ то самое, чѣмъ жилъ и для чего жилъ человѣкъ,—сосудъ не устоитъ, и нравственное страданіе прекратитъ физическую жизнь.

II.

Москва, 31 января *)

Сегодня хоронимъ И. С. Аксакова. Къ чувству общественной утраты присоединяются и личныя воспоминанія, подступающія тѣмъ настойчивѣе, что мѣстомъ вѣчнаго покоя усопшему избрана Троице-Сергіева Лавра, гдѣ 33 года назадъ впервые довелось узнать молодого публициста и сблизиться съ нимъ, съ молодымъ, повторяемъ, но уже побывавшимъ въ Третьемъ Отдѣленіи и затѣмъ выпущеннымъ оттуда съ резолюціею покойнаго Николая Павловича, обращенною къ шефу жандармовъ: „призови, прочти, вразуми и отпусти“. Вспоминаются тогдашнія бесѣды наши о расколѣ, который только-что передъ тѣмъ былъ

*) «Совр. Извѣстія» 1886 г., № 31.

предметомъ служебныхъ занятій Ивана Сергѣевича. Вспоминается и отъѣздъ его на изслѣдованіе Украинскихъ ярмарокъ, и по возвратѣ оттуда вечеръ, когда для приведенія въ порядокъ собранныхъ матеріаловъ пріѣхалъ изслѣдователь къ Троицѣ изъ Абрамцева, бѣжа отъ деревенскаго уединенія еще въ большее уединеніе, чтобы легче опознаться въ грудѣ собранныхъ свѣдѣній. Въ номерѣ монастырской гостинницы, въ часы глубокой полночи, за большими чашками крѣпчайшаго чая (для прогнанія сна) исповѣдывался онъ о тѣхъ новыхъ впечатлѣніяхъ, которыя вынесены имъ изъ наблюденія надъ купеческимъ бытомъ, надъ разницею характера великороссійскаго и малороссійскаго. Несмотря на свои тридцать всего лѣтъ, онъ уже сравнительно со своими годами обладалъ богатою опытностью, побывавши съ самаго начала службы въ Астрахани, затѣмъ перекинувшись въ Ярославль, изъѣздивши кромѣ того Бессарабію. И ни одна поѣздка не оставалась безъ того, чтобы не возбудить его замѣчательной наблюдательности, не привести его къ мѣткимъ выводамъ, соціальнымъ и этнографическимъ.

Припоминается и еще вечеръ,—нѣтъ, это было днемъ, когда изслѣдователь, окончивъ предисловіе къ своему статистическому труду, читалъ его въ кругу близкихъ, а вѣчно памятный родитель его, Сергѣй Тимоѳеевичъ, бывшій въ числѣ слушателей, вѣчно юный, несмотря на свои семидесятые годы, всегда отзывчивый, восторженный, отозвалъ пишущаго эти строки, среди самаго чтенія, въ другую комнату. „Вы запомните это слово, запомните, сказалъ онъ: Иванъ будетъ *великимъ* писателемъ, *великимъ!*“ Старца поразила основательность и глубина изслѣдованія; поразило въ особенности мастерство, съ какимъ *поэтъ* (а только поэтомъ числился пока его сынъ въ литературѣ) справился съ сухимъ предметомъ, съ данными, состоявшими изъ мертвыхъ цифръ, только изъ цифръ—и умѣлъ освѣтить ихъ не только точно, но и художественно.

Но вотъ и отъѣздъ въ ополченіе, и напутствіе друзей, и благословеніе А. С. Хомякова, отвѣчавшаго на возраженіе

нѣкоторыхъ о безполезности Ивана Сергѣевича въ этой новой дѣятельности. „Нѣтъ, *должно*, чтобы изъ насъ, людей слова и мысли, *дѣломъ* засвидѣтельствовали свое слово и мнѣніе“. И началась ополченская служба, сопровождаемая полемикою литтератора-ополченца съ командовавшимъ Московскою дружиною графомъ Строгоновымъ. Оригинальная полемика, философская и политическая, ведшаяся подъ видомъ оффиціальныхъ приказовъ и оффиціальныхъ рапортовъ, гдѣ Аксаковъ-ополченецъ былъ тотъ же непреклонный боецъ за меньшую братью, какъ Аксаковъ—редакторъ „Дня“, „Москвы“ и „Руси“. „Это Аксаковское вліяніе!“ воскликнулъ Строгоновъ, когда при роспускѣ ополченія, собравъ дружину, обратился къ рядамъ съ предложеніемъ, не хочетъ ли кто изъ ратниковъ перейти въ военную службу. „Кто хочетъ, ребята? воскликнулъ графъ, поднимайте руку, кто хочетъ!“ И услышалъ въ отвѣтъ невольный каламбуръ: „кто-жь, ваше сіятельство, на себя руку подниметъ?“

А время бѣжитъ, бѣжитъ... Вотъ ужь роковое 18 февраля 1855 года. Вотъ мягкій февральскій день—то былъ день присяги для троицкихъ жителей; Иванъ Сергѣевичъ пріѣзжаетъ изъ Абрамцева подѣлиться впечатлѣніемъ, вызваннымъ перемѣною царствованія. Послѣ обмѣненныхъ нѣсколькихъ словъ, поѣздка обоихъ въ Абрамцево обратно тройкою, гуськомъ, „при ласкающемъ полувесеннемъ солнцѣ“, съ цѣлію отвести душу въ общей бесѣдѣ и со старикомъ-отцомъ, и со всею семьею. Ополченецъ говорилъ о новомъ ощущеніи, которое охватило писателя, о непривычномъ положеніи, въ которое писатель поставленъ,—что „приходится перестраивать лиру“, какъ сказалъ онъ своимъ образнымъ языкомъ...

Что же мы распространяемся однако?

Столбцовъ, страницъ, листовъ не достанетъ, чтобы перечислить эти обмѣны мыслей, впечатлѣній, чтобы перечислить всѣ разнообразныя событія, въ которыхъ выражалась душа оплакиваемаго нынѣ дѣятеля, та его неустанная энергія, несокрушимая, упорная настойчивость, которая при полномъ единствѣ

образа мыслей отличала его среди всѣхъ его ближайшихъ и близкихъ. Помимо всего, этотъ неугомонный дѣятельный нервъ былъ его характеристическою чертою, выдѣлявшею его изъ славянофильской плеяды: Хомякова, К. Аксакова, Кирѣевскихъ, Самарина, Чижова и проч. Съ этой стороны онъ изъ перечисленныхъ сейчасъ ближе подходилъ къ Чижову, который точно также былъ весь энергія.

Предсказаніе отца сбылось. „Иванъ“ сдѣлался великимъ писателемъ, но не писателемъ только, а дѣятелемъ, чего не предвидѣлъ, по крайней мѣрѣ не предсказывалъ ни Сергѣй Тимоѳеевичъ, ни Хомяковъ. Но то были времена, когда тѣсная семья единомыслящихъ, заподозрѣнная и гонимая, не мечтала о практическомъ вліяніи, ограничивая свою дѣятельность теоретическими усиліями къ исправленію общественнаго сознанія. 19 февраля вызвало эти силы на поприще практической дѣятельности, и только съ Ю. Ѳ. Самарина начался благопріятный славянофиламъ поворотъ общественной оцѣнки, если и не государственной все еще. И теперь, при удручающемъ чувствѣ глубочайшей скорби, которую вызываетъ свѣжая переживаемая утрата, находишь еще утѣшеніе въ единодушіи выраженнаго сожалѣнія. Насъ трогаетъ между прочимъ отношеніе петербургской печати, столь восторженно почтившей усопшаго славянофила, какъ тронуло десять лѣтъ назадъ подобное же единодушіе почтенія, оказаннаго Ю. Ѳ. Самарину по его кончинѣ. Но какая иронія въ то же время! Когда всѣ прославляютъ его, нынѣ почившаго, какъ пламеннѣйшаго патріота, когда Высочайшій отзывъ находитъ въ немъ „честнаго человѣка, *преданнаго русскимъ интересамъ*“, онъ умираетъ однако съ оффиціальнымъ аттестатомъ „недостаточнаго патріотизма“. И одного мѣсяца же вѣдь не прошло еще, какъ редакторомъ „Руси“ получено публично оффиціальное предостереженіе именно въ этихъ выраженіяхъ...

Возвратившись съ похоронъ Аксакова изъ Троицы, Н. П. Гиляровъ-Платоновъ писалъ Кн. Н. В. Шаховскому: „Пріѣхавши изъ Троицы съ послѣднихъ проводовъ Аксакова, я нашелъ вашу посылку и въ ней письмо; пробѣжалъ его

и сейчасъ же отвѣчаю на то, что́ прямо ко мнѣ относится. „Поднимите упавшее знамя“,—вотъ что вы пишете. Въ близкомъ къ тому же смыслѣ читаю я еще въ письмѣ изъ Кіева; слышалъ въ родѣ того же отъ одного пріятеля въ Москвѣ. Въ этихъ благожеланіяхъ, ко мнѣ обращенныхъ, я нахожу недоразумѣніе. Что значитъ поднять знамя? Развѣ я несъ какое-нибудь другое? Или я долженъ измѣнить своему направленію, если оно было какое другое?

«*Русь* не должна погибнуть, говорите вы. *Русь* считаетъ себѣ пять лѣтъ, а съ 1868 по 1881 Аксаковъ не издавалъ ничего. Съ прекращеніемъ *Москвы* знамя исчезло, валялось подъ лавкой? Нѣтъ, потому что Аксаковъ былъ живъ, и вы чрезвычайно вѣрно замѣтили, что съ потерею Аксакова Москва потеряла часть значенія. То есть, именно какъ Аксакова, а не какъ редактора *Руси;* то есть, онъ оставался тою же Сухаревой башней, тѣмъ же Иваномъ Великимъ (употребляю ваше сравненіе), какъ и безъ газеты.

«Итакъ, Аксаковъ невозвратимъ. И вникните: что́ ему давало значеніе? статьи ли его? Нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ; статьямъ его придавали значеніе, потому что онѣ исходятъ отъ Аксакова. Россія и Европа признали его представителемъ и вождемъ извѣстнаго направленія (а Европа даже партіи). Признавъ бытіе такого направленія, такой партіи, предположили въ ней извѣстную силу и стали къ ней прислушиваться, отчасти даже бояться. Въ своей поминальной, первой о почившемъ статьѣ я сказалъ, что слово его «звучало для иныхъ укоромъ совѣсти, для другихъ было нравственною уздою». Другими словами: въ немъ олицетворили славянофильство (онъ и былъ его прямымъ выразителемъ и продолжателемъ), за которымъ признали честность, а нѣкоторые и правду (то есть, за направленіемъ); вотъ и значеніе Аксакова.

«Итакъ, родной голубчикъ, сила Аксакова не въ немъ была, а въ тѣхъ, кто его признавалъ. Вы понимаете, что я не отрицаю его дарованій и его общественныхъ подвиговъ, но если позволите уже продолжить ваше сравненіе, то въ Москвѣ, сверхъ Ивана Великаго и Сухаревой башни, есть еще терема, и вы ихъ не назвали. Обращусь къ другимъ образамъ въ томъ же сравненіи. Когда я въ прошломъ году уговаривалъ покойнаго издавать русскій «Times» вдвоемъ со мною, когда я уговаривалъ капиталистовъ, что органъ будетъ имѣть чрезвычайное значеніе, если во главѣ будетъ стоять имя Аксакова, я прибавлялъ: Аксаковъ есть имя европейское; пріѣзжій иностранецъ смотритъ въ Москвѣ Царь-пушку и Царь-колоколъ и ищетъ случаевъ видѣть Каткова и Аксакова. Но въ томъ же Кремлѣ есть пушка Единорогъ; объ ней не говорятъ, и гиды ее не упоминаютъ. Я о себѣ не великаго мнѣнія, но однако и не маленькаго, но я не признанъ, вотъ что, родной! Я въ положеніи какого-то Донъ-Карлоса. Аксаковъ меня цѣнилъ, ставилъ меня очень высоко; во многихъ случаяхъ я былъ для него авторитетомъ. Мало того: покойный Ю. Ѳ. Самаринъ склонялся предо мной (по моему мнѣнію, даже сверхъ заслуженнаго); для Хомякова я былъ даже единственнымъ человѣкомъ, съ которымъ онъ признавалъ полное свое согласіе. И однако Д. Ѳ. Самаринъ, напримѣръ, смотритъ не то косо, не то сухо. Когда Аксаковъ началъ издавать *Москву* и предложилъ мнѣ писать руководящія статьи съ неограниченною властью (я и писалъ ихъ), онъ выбралъ въ оффиціальные замѣстители себя по редакціи Н. А. Попова... и не заикнулся ни разу мнѣ предложеніемъ

соредакторства. Немногіе знали даже, что нѣкоторые изъ самыхъ серьезнѣйшихъ передовыхъ принадлежали мнѣ. Итакъ, Единорогъ оставленъ былъ въ тѣни. Не помню, чуть ли даже я не жаловался вамъ, что духъ мой падаетъ иногда при сознаніи, что у меня нѣтъ учениковъ, что меня игнорируютъ и что потому я безполезенъ. Кончина Аксакова и восклицанія, которыя слышу,—«поднимите знамя», воскрешаютъ эту мысль снова. Я игнорированъ, я замолчанъ: нео-славянофилы, народившіеся когда я былъ уже въ цвѣтѣ силъ (въ родѣ Ламанскаго и Миллера), имѣютъ обо мнѣ только внѣшнее понятіе, благоволятъ знать только по наслышкѣ; покойный Гильфердингъ, въ глазахъ моихъ, Хомякова и К. Аксакова мальчикъ нѣкогда и ученикъ, умеръ превознесеннымъ и препрославленнымъ; онъ былъ авторитетъ и предсѣдатель Славянскаго Общества. Я не авторитетъ ни для кого; ни разу никто меня не назвалъ кандидатомъ на выдающееся общественное положеніе...

«И вы погибли бы, какъ погибли тысячи другихъ, которыхъ я не знаю... Но у васъ есть друзья»... и пр. Вотъ что нѣкогда сказалъ Николай Павловичъ Самарину, привезенному изъ Петропавловской крѣпости къ нему въ кабинетъ. Да, у Самарина были друзья, и онъ былъ двоюродный братъ такихъ-то, племянникъ такихъ-то, и ему не дали сгнить въ крѣпости. И Аксакова положеніе соціальное таково было: его нельзя было забельшить какъ иголку. Онъ былъ извѣстенъ Двору; Анна Ѳедоровна тамъ и выросла; товарищи и знакомые—на высшихъ степеняхъ государственной службы; словомъ, большія связи и притомъ даже не въ Россіи только,—вотъ что давало ему значеніе вождя и вліяніе до извѣстной степени, по крайней мѣрѣ отрицательное. Въ этомъ смыслѣ положеніе Аксакова не повторится, и не отъ меня уже, милѣйшій мой, это зависитъ.

«Прибавлю къ этому: Аксаковъ долженъ былъ умереть, не могъ не умереть. Я намекнулъ объ этомъ, сказавъ, что къ причинамъ смерти его должно отнести страданіе, причиненное восточной политикой (моя первая о немъ статья). Это несомнѣнно. Помимо негодованія, которое въ немъ возбуждалось направленіемъ дипломатіи, въ немъ не могло не произойти разочарованія. Онъ не признавался въ этомъ; онъ отбивался, но въ глубинѣ души не могъ же не чувствовать, что идеалъ славянскаго братства, начертанный его учителями (Хомяковымъ и К. Аксаковымъ), разлетается, на распростертыя объятія «братья» отвѣчаютъ пренебреженіемъ, завистью, коварствомъ, зложелательствомъ. Пусть виноватъ Берлинскій трактатъ и дипломатія; пусть вѣрно (до извѣстной степени однако жъ только), что нельзя отожествлять народовъ съ правительствами, но... Вотъ этого-то «но» онъ не могъ не чувствовать, и онъ умеръ, какъ умеръ Хомяковъ и К. Аксаковъ наканунѣ освобожденія крестьянъ, какъ Самаринъ унесенъ смертью наканунѣ второй Восточной войны. Теперь тоже канунъ, и если не 27 января, то въ мартѣ, въ апрѣлѣ, нынѣшнимъ годомъ во всякомъ случаѣ, Аксаковъ пересталъ бы жить. Тотъ постъ, который занималъ онъ въ Славянскомъ вопросѣ, во всякомъ случаѣ бы пустовалъ. Русское великодушіе къ славянамъ упраздняется самими обстоятельствами, самою исторіею. Я это предсказывалъ еще въ 1878 году, я объ этомъ настаивалъ: но кому же нужно было меня слушать?

«О послѣднихъ часахъ Аксакова вы узнаете изъ газетъ; я прибавить могъ бы не многое. Да и рука устала, и бумаги не хватаетъ.

А. Н. Островскій *).

Въ лицѣ А. Н. Островскаго русская литература и русская сцена потеряли первокласснаго дѣятеля; сцена въ частности лишилась авторитета, который задавалъ тонъ драматической литературѣ; а нынѣшнимъ годомъ онъ былъ призванъ и управлять сценою (Московскою).

Драматургія въ теченіе почти сорока лѣтъ была исключительнымъ поприщемъ покойнаго, хотя и не всегда была такою. Началъ онъ свою литературную дѣятельность въ такъ называвшейся „молодой редакціи“ *Москвитянина*, противопоставившей себя въ концѣ сороковыхъ годовъ засилію *Отечественныхъ Записокъ* и потомъ *Современника*. Здѣсь работалъ Александръ Николаевичъ рядомъ съ Аполономъ Григорьевымъ, Колошинымъ, Писемскимъ, Бергомъ, Миллеромъ и другими, пока пьеса *Свои люди, сочтемся* вдругъ выдвинула его, какъ достойнаго преемника Гоголю на драматическомъ поприщѣ.

Эти два обстоятельства,—участіе въ „молодой редакціи“ и успѣхъ первой комедіи (сперва носившей названіе *Банкротъ* и имѣвшей нѣсколько иную развязку, нежели теперешняя) и въ связи съ ними третье обстоятельство, что А. Н. былъ коренной москвичъ, послужили основаніемъ дальнѣйшей его дѣятельности, направивъ ее въ опредѣленную сторону. Долго упражнялся молодой писатель на типахъ грубаго купеческаго быта и отчасти мелкаго подъяческаго, довольно однообразныхъ, нужно прибавить, и притомъ почти исключительно мѣстныхъ, московскихъ, прежде чѣмъ сталъ пробовать силы на характерахъ и драматическихъ положеніяхъ болѣе общаго значенія и на пьесахъ историческаго содержанія. Во всякомъ случаѣ ему сроднѣе были пьесы *жанровыя*, если выразиться терминомъ

*) «Совр. Извѣстія» 1886 г. № 153.

живописи, „комедія мѣщанская“, какъ выражались въ старину, и въ ней онъ былъ мастеръ.

Успѣхъ такихъ пьесъ, какъ *Свои люди, сочтемся* и *Бѣдность не порокъ*, особенно первой, повлекъ за собою подражателей и образовалъ цѣлую школу, которая воображала себя выразительницею реализма, тогда какъ въ сущности была каррикатурой, и притомъ чѣмъ дальше шло время, тѣмъ она дальше шла отъ дѣйствительности. Тѣмъ не менѣе и доселѣ московская печать, повинуясь данному толчку, не иначе изображаетъ напримѣръ купеческій бытъ (особенно въ органахъ мелкой печати), какъ съ изуродованною рѣчью и съ грубостью нравовъ, которыя и полвѣка назадъ были отживающимъ явленіемъ.

Толчекъ, данный Островскимъ, можно сравнить съ подобнымъ же, произведеннымъ повѣстью *Антонъ Горемыка*. Но Григоровичъ былъ счастливѣе нашего драматурга: онъ если повелъ къ преувеличеніямъ, то въ смыслѣ идеализаціи крестьянина, тогда какъ изображатели купеческаго и подъяческаго быта остались на каррикатурѣ.

Какъ авторъ, едва ли бы Александръ Николаевичъ подарилъ насъ еще чѣмъ нибудь особенно замѣчательнымъ. Сценическій успѣхъ вообще портитъ писателей, набивая руку, и надобно еще удивляться, что при множествѣ произведеній, одно за другимъ выданныхъ, драматургъ нашъ совсѣмъ не обратился въ ремесленника. Но потеря во всякомъ случаѣ очень велика: оркестръ потерялъ капельмейстера. Сцена остается при посредственностяхъ, которыя однако чуть не лѣзутъ въ Шекспиры, но не возвышаясь разумѣется далѣе риторическихъ декламацій и голой морали. Самая комедія слаба. Какъ и во всей нашей литературѣ, за отбытіемъ мастеровъ, ведущихъ генеалогію отъ сороковыхъ годовъ, остается пустое мѣсто. Гдѣ же онѣ или когда же народятся новыя творческія силы?

М. Н. Катковъ. *)

Въ Михаилѣ Никифоровичѣ Катковѣ Россія потеряла крупную „государственную“ силу. Говоримъ „государственную“, не „литературную“, не „общественную“.

Когда бы смерть похитила тридцать два года назадъ редактора Московскихъ Вѣдомостей, бывшаго профессора философіи, на современникахъ лежалъ бы долгъ помянуть его заслуги *наукѣ* и *литературѣ*, сказавшіяся въ высокомъ значеніи диссертаціи *Объ элементахъ и формахъ славяно-русскаго языка*,—произведеніи, которому равнаго по глубинѣ и основательности долго не появлялось потомъ. Не пройдены были бы молчаніемъ *Очерки древней до-Сократовской философіи*,—опытъ самостоятельнаго изслѣдованія объ этомъ періодѣ, представленный русскимъ ученымъ. Редакторская дѣятельность оставлена была бы незамѣченною или помянута была бы добромъ лишь съ формальной издательской стороны, за талантливый выборъ болѣе интересныхъ свѣдѣній, насколько давала возможность существовавшая цензура.

Когда бы жизнь нынѣ скончавшагося пресѣклась въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ, на другой день крестьянской реформы, тогда ушелъ бы отъ насъ замѣчательный дѣятель *общественный*, будившій и поднимавшій политическое сознаніе своими обозрѣніями въ Русскомъ Вѣстникѣ и Современной Лѣтописи; критическою статьей о Пушкинѣ разъяснившій обществу значеніе этого гиганта нашей литературы; открывшій беллетристикѣ новую дорогу гостепріимствомъ, которое предлагалось свѣжимъ тогдашнимъ талантамъ.

Тѣхъ заслугъ довольно было бы для славы любого обыкновеннаго писателя, но обозрѣніе дальнѣйшаго двадцатичетырехлѣтія низводитъ всю предшествовавшую дѣятельность почившаго публициста, какъ ни была она богата и плодородна,

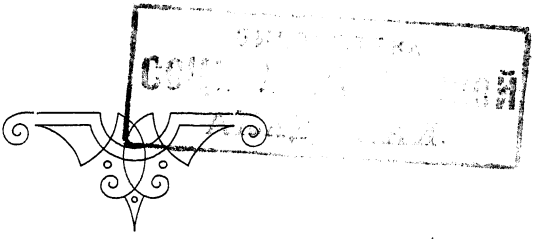
*) «Совр. Извѣстія» 1887 г. № 202.

на степень подготовительной. Со вторичнаго поступленія Московскихъ Вѣдомостей въ руки бывшаго профессора философіи, совокупно съ другимъ профессоромъ, П. М. Леонтьевымъ, началась для Каткова государственная служба,—служба въ законѣ неписанная, добровольная, но исполняемая по долгу присяги, какъ объяснялъ неоднократно самъ этотъ государственный слуга: явленіе небывалое, безпримѣрное, положеніе исключительное. Хотя зачатки его и являлись въ другія времена и въ другихъ лицахъ, но отрывочно и случайно: Карамзинъ, представляющій Александру I записку *О Древней и Новой Россіи* и иногда подающій совѣты царю при прогулкахъ въ Царскомъ Селѣ; Погодинъ, пишущій и потомъ печатающій свои *Политическія Письма;* Сергѣй Глинка, возбуждающій населеніе къ патріотизму въ памятную годину Двѣнадцатаго Года, вотъ эти зачатки. Но постоянное соединеніе государственнаго дѣятеля и публициста въ одномъ лицѣ, но самое пониманіе обязанности публициста какъ стража государственныхъ интересовъ, это явилось съ Катковымъ и, должно полагать, съ нимъ прекратится. Прекратится потому, что, помимо блестящаго таланта и глубокаго образованія, особенное сочетаніе обстоятельствъ вывело издателя Московскихъ Вѣдомостей на мѣсто, которое онъ занялъ. Нужно было польское возстаніе, нужна была анархистская пропаганда, чтобы голосъ со Страстного бульвара получилъ силу трубную архангельскаго гласа, который будилъ мертвыхъ въ обществѣ и отъ котораго содрагались даже власть имущіе. Такія сочетанія повторяются только столѣтіями. Тревога, громко пробитая въ годину государственной бѣды, мужественное слово ободренія, произнесенное въ часы всеобщаго разслабленія, дали потомъ этому слову силу, вѣсъ, авторитетъ и на обычное, будничное теченіе государственной жизни; Московскія Вѣдомости образовали своего рода департаментъ, въ которомъ обсуждались и подготовлялись къ рѣшенію важнѣйшіе вопросы по внутренней и внѣшней политикѣ,—департаментъ не оффиціальный, съ голосомъ независимымъ и невластнымъ, но къ звукамъ котораго нельзя было оставаться глу-

химъ и котораго сила удвоивалась настойчивымъ повтореніемъ разъ поставленныхъ положеній и безпощадною полемикой съ противниками, кто бы они ни были и гдѣ бы ни стояли, въ рядахъ ли публицистики, на верхнихъ ли ступеняхъ государственной іерархіи. Отсюда преобладающее значеніе Московскихъ Вѣдомостей въ русской печати и ихъ привилегированное положеніе. Борьба съ Катковымъ стала невозможною, вопервыхъ, по таланту и образовательной подготовкѣ издателя, предъ которымъ противники оказывались пигмеями, и вовторыхъ потому, что за нимъ стояла государственная сила, и не могла не стоять, ибо ея-то онъ и былъ проповѣдникомъ и поборникомъ.

Кто-то сказалъ о почившемъ, что онъ былъ „человѣкъ борьбы“; это опредѣленіе болѣе нежели вѣрно: оно всеобъемлюще. Катковъ былъ не догматикъ, не творецъ, а боецъ, и это опять условлено было обстоятельствами времени. Чѣмъ бы вышелъ въ спокойное время авторъ замѣчательной филологической диссертаціи, мы не знаемъ. Но во время государственнаго и общественнаго шатанія приходилось тратить силы на то, чтобъ отбивать разрушительныя нашествія, при той службѣ государству, которую себѣ предначерталъ издатель Московскихъ Вѣдомостей и на которую поставили его обстоятельства. Отсюда нерѣдкія противорѣчія въ его частныхъ положеніяхъ: ихъ должно судить съ точки зрѣнія общей идеи, которой они подчинялись. А идея эта—*единство Русскаго Государства и его мощь*. Частные факты, теоретическія права и интересы преклонялись предъ ней, исчезали въ ней. Идея русской государственности проходитъ красною нитью по всей дѣятельности, по всѣмъ статьямъ знаменитаго публициста, начиная съ памятнаго похода его противъ Герцена. Походъ этотъ былъ рубежемъ, за которымъ въ бывшемъ теоретикѣ, доктринерѣ, преклонявшемся предъ англійскими идеалами, проснулся русскій человѣкъ, узрѣвшій опасности для Русской Земли, надвигавшіяся отъ тѣхъ самыхъ доктринъ, которыя, отвлеченно взятыя, казались неоспоримыми положеніями, но которыя въ примѣненіи къ Русской странѣ грозили сгубить ее.

Въ самомъ апогеѣ своего государственнаго значенія отнята отъ насъ эта громадная сила. Пустота отсутствіемъ Каткова оставлена будетъ ужасная. Всѣ ли сознаютъ великость потери? При огромномъ числѣ сѣтующихъ, найдутся, знаемъ, многіе и ликующіе, въ сферахъ предержащей власти и въ сферѣ публицистики: будутъ ликовать о просторѣ, который образованъ отшествіемъ этой сдерживающей силы. Но чему просторъ? Дѣйствительной ли свободѣ, истинному ли прогрессу? Если кому казался Катковъ силой задерживающею движеніе впередъ, то не покатимся ли мы назадъ съ неудержимою быстротой по кончинѣ того, кому всякая общественная свобода многимъ обязана, а свобода печати, какъ она ни умѣренна, обязана даже всѣмъ? Если въ государственныхъ сферахъ порадуются нѣкоторые, что исчезла помѣха административному механизму отправлять свое ординарное теченіе, то радующимися окажутся не тѣ ли именно, кого почившій нашъ передовой собратъ, съ дерзновеніемъ ни для кого другого недоступнымъ, обзывалъ „измѣнниками“. Впрочемъ, ко благу или къ бѣдствію отечества послѣдовала кончина знаменитаго публициста, вѣрнѣе всего рѣшается этотъ вопросъ наблюденіемъ, какъ принято это событіе за границей. Кто оттуда шлетъ вѣнки и депутаціи? Въ чьихъ строкахъ сквозитъ злорадная улыбка? Прочтите французскія газеты съ одной стороны, нѣмецкія, австрійскія и англійскія съ другой.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

1. Личное и общественное . . . . . 3.
2. О судьбѣ убѣжденій. *По поводу смерти А. С. Хомякова* . 34.
3. Письмо Н. П. Гиляров-Платонова къ Ю. Ѳ. Самарину о терминологіи А. С. Хомякова . . . . . 63.
4. Замѣтка по поводу статьи г. Чистовича объ Арсеніи Маціевичѣ. . . . . 68.
5. Два слова объясненія къ отвѣту «Сіона». . . . . 76.
6. По поводу будущаго суда присяжныхъ. . . . . 82.
7. Необходимое объясненіе «Герою Нашего Времени». . 117.
8. Работа и трудъ . . . . . 122.
9. О первоначальномъ народномъ обученіи . . . . . 127.
10. Программа для составленія исторіи министерства народнаго просвѣщенія . . . . . 141.
11. О надписи на антиминсахъ . . . . . 148.
12. Откуда нигилизмъ? . . . . . 158.
13. Логика раскола . . . . . 193.
14. Экскурсія въ русскую грамматику . . . . . 236—270.
    a) Письмо первое. Выговоръ письму не указъ . . . . . 236.
    b) Письмо второе. Почитайте родителей . . . . . 246.
    c) Письмо третье. Совѣсть въ русскомъ языкѣ . . . . . 256.
    d) Письмо четвертое. Творящая этимологія . . . . . 263.
15. Урѣзанный документъ. *Отрывокъ изъ воспоминаній* . . . 271.
16. Письмо къ С. А. Юрьеву объ исповѣди гр. Л. Н. Толстого. 287.
17. Возрожденіе Общества Любителей Россійской Словесности въ 1858 году . . . . . 292.

18. Основныя начала экономіи . . . . . 309—432.
Собственность . . . . . 319.
По прочтеніи Джорджа . . . . . 328.
Экономическое рабство . . . . . 361.
Мыслимая цѣнность, кредитъ, спекуляція. . . . . 372.
Умственная экономія . . . . . 401.
Марксъ . . . . . 415.
Къ Werth (Дюрингъ) . . . . . 421.
19. Поминальныя статьи . . . . . 433—524.
a) Филаретъ, митрополитъ Московскій. . . . . 435.
b) Іоаннъ, епископъ Смоленскій. . . . . 440.
c) А. И. Герценъ. . . . . 444.
d) А. М. Бухаревъ. . . . . 451.
e) В. И. Даль . . . . . 456.
f) М. П. Погодинъ. . . . . 459.
g) А. В. Горскій. . . . . 464.
h) Ю. Ѳ. Самаринъ. . . . . 466.
i) Кн. В. А. Черкасскій. . . . . 469.
k) С. М. Соловьевъ. . . . . 471.
l) Антоній, архіепископъ Казанскій . . . . . 473.
m) А. С. Пушкинъ . . . . . 476.
n) Ѳ. М. Достоевскій. . . . . 493.
o) М. Д. Скобелевъ. . . . . 496.
p) А. Н. Островскій . . . . . 519.
q) М. Н. Катковъ . . . . . 521.